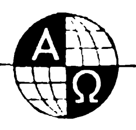
Роман Якобсон

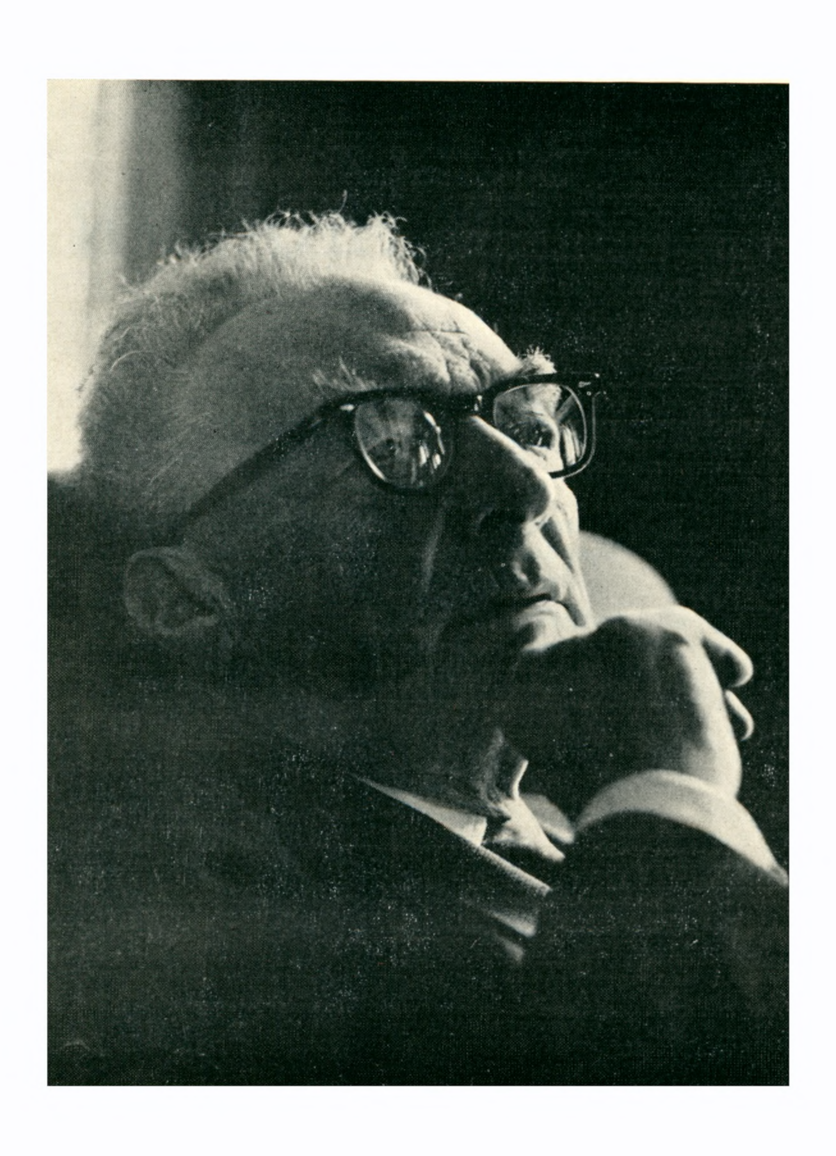


ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

Роман Якобсон ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ



ЯЗЫКОВЕДЫ
МИРА



Роман Якобсон

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

Переводы с английского,
немецкого, французского языков

Составление и общая редакция
доктора филологических наук
В. А. Звегинцева

Предисловие доктора филологических наук
Вяч. Вс. Иванова



МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1985

Рецензенты:
академик АН Грузинской ССР
член-корреспондент АН СССР
Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ,

доктор филологических наук профессор
А. А. ЗАЛИЗНЯК,

доктор филологических наук профессор
Н. И. ТОЛСТОЙ

Редактор М. А. ОБОРИНА

Широкий круг советских языковедов и литературоведов уже знаком с трудами одного из крупнейших ученых современности Р. Якобсона по переводам отдельных его работ. Однако они не охватывают всего многообразия научного творчества Р. Якобсона, включающего не только лингвистику в самых разных ее аспектах (в том числе его теоретические труды по русистике, славистике и т. д.) и ее связях с другими науками, но также поэтику, теорию коммуникации, проблемы связи языка и мозга и пр. В настоящем сборнике собраны наиболее важные работы Романа Якобсона, отражающие достаточно полным образом его научные взгляды.

Я $\frac{4602000000\text{-}058}{006(01)\text{-}85}$ 69-85

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РОМАНА ЯКОБСОНА

1.

Научная деятельность Романа Осиповича Якобсона (1896—1982) с самого начала была связана с глубоким усвоением принципов русской филологической традиции, воспринимавшихся на фоне бурных исканий новых словесных и художественных форм, которыми определялась атмосфера творческой Москвы накануне первой мировой войны. Учась в гимназии при Лазаревском Институте Восточных языков, Якобсон испытал воздействие фольклористических интересов видного ученого Вс. Ф. Миллера (1848—1913), который в ту пору был директором Института [1]. Еще в гимназические годы (1906—1914) Якобсон начинает собирать московский городской фольклор — «московские предания, продолжавшие жить на городских дворах, хороводные и обрядовые песни, глубоко укоренившиеся поверья и приметы, а также уснащавшие обыденный разговор пословицы и загадки и в обилии бытовавшие среди московской детворы считалки и игровые прибаутки» [2]. Не будет натяжкой, если мы сравним это раннее погружение будущего лингвиста в городское народное словесное творчество, оставшееся предметом его занятий и позднее с аналогичными просторечными истоками урбанистической поэзии его современника Б. Пастернака(1890—1960), чьими сочинениями позднее проницательно занимался Якобсон. Но знакомство с Пастернаком и его будущей поэзией и прозой впереди. В юношеские годы Якобсон сближается прежде всего с художниками-экспериментаторами — Филоновым (1883—1941) и Малевичем (1878—1935) — и с Велимиром Хлебниковым (1885—1922), которого Якобсон продолжал ценить выше всех других поэтов XX века на протяжении всей жизни. Позднее Якобсон вспомнит: «С Хлебниковым я обсуждал внутренние законы русских сектантских глоссолалий, записанных в XVIII веке, и ткань непонятных магических заклинаний». Заумные (на первый взгляд кажущиеся лишенными

---

[1] Jakobson R., Pomorska K. Dialogues, Paris: Flammarion, 1980, p. 9.
[2] Там же, с. 9—10.

значения) русские народные заклинания из старинного сборника, показанные Якобсоном Хлебникову, настолько того поразили сходством с его собственными стихами, что он включил их в свою „Ночь в Галиции“ [3]. По свидетельству самого Якобсона, у него интерес к подобным образцам русского фольклора пробудился в отрочестве благодаря чтению университетской дипломной работы Александра Блока о поэзии народных заговоров и заклинаний [4]. Добавлю, что в предельно заостренной форме соотношение между звуком и значением Якобсон исследовал еще в гимназические годы и на примере французского поэта-символиста Стефана Малларме. Сохранился (и незадолго до смерти Якобсона был напечатан) сделанный им при сочинении гимназических разборов поэта стихотворный русский перевод одного из наиболее трудных для понимания сонетов Малларме „Une dentelle s'abolit“ („Кружева истлевают“). Когда уже незадолго до смерти в последней своей книге (в той ее главе о звуковом символизме, которая, вероятно, надолго сохранит свое программное значение) Якобсон снова возвратился к занимавшей его всю жизнь проблеме связи звука и значения, он поставил ко всей главе, ей посвященной, эпиграф из Малларме: «Que tels sons signifient ceci»[5] (Чтобы такие звуки обозначали именно это).

В гимназические же годы под воздействием одного из учителей — этнографа В. В. Богданова — Якобсон увлекается и составлением «собственных длинных списков различных значений каждого падежа, с предлогами и без предлогов, в сопоставлении со всеми прочими падежами», в чем он позднее оправданно увидит раннюю подготовку к своим будущим работам об общих значениях русских падежей [6]. Поступив в 1914 г. на славяно-русское отделение историко-филологического факультета Московского университета, Якобсон сознательно стремился усвоить принципы строгой дисциплины лингвистической мысли, которой славилась школа, основанная акад. Ф. Ф. Фортунатовым. Не без гордости Якобсон вспоминал потом: «„бронированными москвичами“ называли нас наши петербургские сотоварищи» [7].

---

[3] Хлебников В. Собр. соч., т. 2. Л.: Изд-во писателей, с. 200, 316—317; Jakobson R. Retrospect.— In: Selected Writings, vol. IV. Paris — The Hague: Mouton, 1966, p. 640.

[4] Там же, с. 639.

[5] Jakobson R., Waugh L. The sound shape of language. Bloomington, 1979.

[6] Jakobson R., Pomorska K. Op. cit., p. 9.

[7] Там же, с. 15. Именно о московской школе акад. Ф. Ф. Фортунатова думал Р. О. Якобсон и тогда, когда он участвовал в подготовке первоначального варианта настоящего издания. Он хотел предпослать ему следующий текст:

«*Вместо эпиграфа*. Московская лингвистическая школа, верная заветам своего основоположника Филиппа Федоровича Фортунатова, была и остается призвана осознать, обосновать и развить его учение о том, что язык — не одна лишь „внешняя оболочка по отношению к явлениям мысли“ и не только „средство для выражения готовых мыслей“, а прежде всего „орудие для мышления“, то есть, как отважно уточняет Ф. Ф. Ф., „явления языка по известной стороне сами принадлежат к явлениям мысли“, и сам язык, „когда мы говорим, выражая наши мысли, существует потому, что он существует в нашем мышлении“.

Д. Н. Ушаков поддерживал молодежное лингвистическое движение в Москве. Позднее проф. МГУ М. Н. Петерсон вспоминал, что Якобсона и других молодых студентов называли «ушаковскими мальчиками». Встречи в диалектологическом кружке при возглавлявшейся Ушаковым диалектологической комиссии послужили основой для создания в марте 1915 г. Московского лингвистического кружка, душой и первым председателем которого был Якобсон. Кружок отличался широтой интересов, сказавшейся и на составе его членов: кроме будущих крупнейших ученых, в него входили (и реально участвовали в его заседаниях) и многие талантливые поэты того времени: Маяковский, Пастернак, Мандельштам (кружок — и его библиотека — помещался в том доме, где жил Маяковский и где сейчас находится музей Маяковского). Это было связано с тем, что кружок обратился с самого начала к поэтике, метрике, фольклору.

Вместе с двумя своими товарищами по кружку — лингвистом Н. Ф. Яковлевым (1892—1974) и этнографом П. Г. Богатыревым (1893—1971), ставшим позднее соавтором Якобсона по важнейшим работам в области фольклора,— Якобсон совершает в годы первой мировой войны экспедицию с целью описания словесного народного творчества Верейского уезда Московской губернии. Подготовленная тремя молодыми учеными рукопись книги, бывшей первым в мире опытом широкого социофольклористического и социолингвистического обследования, погибла, но опыт работы над ней много значил для Якобсона при формировании методов полевой работы.

Еще во время занятий в университете и, позднее, в Московском лингвистическом кружке Якобсон испытывает воздействие феноменологии Гуссерля. Он изучает немецкий текст его „Логических исследований". Виднейший последователь Гуссерля Г. Г. Шпет становится одним из руководителей Московского кружка. В настоящее время такие видные исследователи творчества Якобсона, как немецкий философ Эльмар Холенштейн, считают, что в основе всей его концепции лингвистики и поэтики лежит «феноменологический принцип». Согласно этому принципу, объект (в частности, языковой или эстетический) исследуется не сам по себе, а в связи с тем, как его наблюдает и воспринимает субъект. Но строгое доказательство того, в какой мере все основные пункты концепции Якобсона связаны с феноменологией, до сих пор не дано. Можно думать, что именно воздействие этой сис-

---

Согласно программному тезису фортунатовского *Общего курса*, „предметом, изучаемым в языковедении, является не один какой-либо язык и не одна какая-либо группа языков, а вообще человеческий язык в его истории". Соответственно с неизменно своевременными напутствиями отдела, озаглавленного *Значение звуковой стороны в языке*, необходимо „уяснить себе, что не только язык зависит от мышления, но что и мышление, в свою очередь, зависит от языка", и, в частности, „надо понять, что звуки речи в словах являются для нашего мышления знаками", а именно „знаками того, что непосредственно вовсе не может быть представлено в мышлении".

Сейчас все полней воспринимается и все живее захватывает мудрая простота этих увесистых, чарующе угловатых строк, строго поровну воздающих должное языку и мысли в их многообразном сопряжении.»

31.XII.1967 *Р. О. Якобсон*

темы взглядов (например, в статье „Часть и целое“) для многих ученых представляет спорную сторону исследований Якобсона. Но представляется, что его зависимость от феноменологии не следует преувеличивать.

Почти одновременно с Московским лингвистическим кружком возникло и еще одно сообщество молодых ученых, активное участие в работе которого принимал Якобсон. Весной 1916 г. в Петрограде (на масленицу, на блинах в доме Бриков) был создан ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка. В него вошли преимущественно петроградские исследователи, с которыми Якобсона связала длительная научная дружба: Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум. Книга Якобсона о чешском стихе в сопоставлении с русским была одной из первых монографий, изданных ОПОЯЗ'ом.

Несомненно, что многие из основных научных идей, развивавшихся позднее в трудах Якобсона по лингвистике и поэтике, явились в той или иной мере отзвуком тех лет „бури и натиска“, когда участники Московского лингвистического кружка и ОПОЯЗ'а стремились пересмотреть все основные принципы науки о языке и словесном творчестве. Многие вопросы были заданы еще тогда. Ответы Якобсон продолжал искать всю жизнь, не довольствуясь и теми, которые он сам давал раньше.

К числу постоянных черт личности Романа Якобсона, рано проявившихся и по сути не менявшихся, принадлежит его умение не просто участвовать в общих начинаниях, направленных на крутой пересмотр общепринятых взглядов, а становиться их центром. Якобсон на протяжении нескольких десятков лет был едва ли не наиболее деятельным участником всех основных новых лингвистических сообществ Европы и Америки, возникавших чаще всего благодаря его инициативе и энергии. Но в этом ряду особая роль принадлежит Московскому лингвистическому кружку и ОПОЯЗ'у. Их деятельность протекала во время расцвета русской поэзии, изобразительного искусства, гуманитарной мысли, с виднейшими представителями которых Якобсона связывала личная дружба. Эти начальные корни питали все дальнейшее его научное творчество.

Пастернак рассказывал, как в юности поразил его Якобсон, совсем молодой, огненно-рыжеволосый, читавший свой неподражаемый французский перевод „Облака в штанах“ Маяковского (перевод не был закончен и не был опубликован, но сохранились магнитные ленты с записью голоса Якобсона, его читавшего). Пульс того времени лучше всего можно почувствовать, перечитав рассказ Якобсона о том, как он после первой короткой поездки в Прагу в 1920 г. вернулся в Москву и рассказывал дружившему с ним Маяковскому о теории относительности. По словам Якобсона, Маяковский «заставил меня повторить мой сбивчивый рассказ об общей теории относительности и о ширившейся вокруг нее в то время дискуссии. Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч, образным движением во времени,— все это захватывало Маяковского. Я редко видел его таким внимательным и

увлеченным» [8]. Космический уровень собеседников и характер новостей, которыми они обмениваются, говорит сам за себя. Многолетняя дружба Якобсона с Маяковским сказалась и в деятельности Якобсона: в исследовании поэтики Владимира Маяковского, в его участии в „Новом ЛЕФ'е", издававшемся Маяковским.

Начиная с 1920 г. Р. Якобсон живет в Чехословакии. Сохраняя дружеские связи и переписку с московскими, ленинградскими и харьковскими коллегами (в том числе с П. Тычиной и его друзьями, едва не устроившими в 1927 г. его на работу в Харьков [9]), Якобсон с присущей ему деятельной искрометностью включается в культурную жизнь Праги. Он дружит с Незвалом, Ванчурой и другими крупными чешскими писателями-авангардистами. Обсуждения основных проблем изучения языка и поэтики, начатые Якобсоном с чешскими учеными, сыграли важную роль в разработке и популяризации фонологии и структурной лингвистики в целом [10]. Пражский лингвистический кружок был основан 6 октября 1926 г. В этот день крупнейший чешский лингвист и литературовед В. Матезиус пригласил участников Кружка на доклад Бекера, посвященный сходству языков европейского культурного круга. Позднее Матезиус так описал роль Якобсона по отношению к своим собственным теоретическим занятиям: «Этот очень хорошо осведомленный о ходе научных дел и поразительно умный молодой русский привез с собой из Москвы живой интерес к тем самым лингвистическим проблемам, которые были в центре моего внимания, и он весьма поощрял мои лингвистические усилия, доставляя мне свидетельства того, что такими же проблемами постоянно занимаются и в других местах» [11]. Кружок был создан благодаря содружеству чешских, словацких и русских лингвистов. Из последних, кроме Якобсона, в нем участвовали С. И. Карцевский (1884—1955), вернувшийся в 1925 г. в Женеву, где он жил и до этого после тюремного заключения, вызванного его политической деятельностью в царской России, Н. С. Трубецкой (1890—1938), гениальный русский лингвист, с 1914 г. регулярно общавшийся с Якобсоном, а с 1920 г. ведший с ним постоянную переписку из Софии, а потом из Вены, где он стал профессором [12]; из чешских лингвистов — В. Матезиус, Б. Трнка, Б. Гавранек и другие [13].

---

[8] Jakobson R. Selected Writings, vol. V. Paris — The Hague: Mouton, 1979, p. 367.

[9] Trubetzkoy N. S. Letters and notes. Prepared for publication by R. Jakobson. The Hague — Paris, 1975, p. 103. Там же см. о намерении Якобсона вернуться на работу в Москву.

[10] Vachek J. The linguistic school of Prague. Bloomington—London, 1966; Recycling the Prague Linguistic Circle, ed. by M. K. Jonson (Studia 6). Ann Arbor: Karoma publischers, 1978; Fontaine J. Le circle linguistique de Prague: Maison Mana, 1974; „Sound, sign and meaning". Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle (Michigan Slavic Contribution, N 6). Ann Arbor, 1978.

[11] Mathesius V. Deset let Pražského lingvistického kroužků.— „Slovo a slovesnost", 2, 1936, c. 138.

[12] Trubetzkoy N. S. Op. cit.

[13] См. о них подробнее: „Пражский лингвистический кружок", М.: Прогресс, 1967.

Энергия Якобсона стимулировала не только начало выхода знаменитых „Трудов" „Кружка" (до оккупации Гитлером Чехословакии и до разгрома чешской культуры нацистами вышло 8 томов [14], из них второй целиком посвящен труду Якобсона по истории фонологической системы русского и других славянских языков), но и широкое приобщение к его идеям мировой лингвистической общественности — на общелингвистических, фонологических и славистических всемирных конгрессах, где одним из главных докладчиков и вдохновителей дискуссий становится Якобсон. Лингвистика к тому времени была частично подготовлена к принятию идей и методов фонологии и структурного языкознания. Объясняя позднее, почему именно Прага стала центром современной лингвистики, Матезиус упомянет два сошедшихся в трудах Пражской школы направления современной лингвистики: одно, связанное с именем Ф. де Соссюра (непосредственным его учеником среди пражских структуралистов был Карцевский), другое — с Бодуэном де Куртене, заложившим основы фонологической теории (освобожденной от психофонетической терминологии Бодуэна в начале 20-х годов Н. Ф. Яковлевым [15], за которым последовали и Якобсон и Трубецкой). Теорией Бодуэна и его ученика Крушевского Якобсон в деталях стал заниматься много позднее. Книгу Соссюра Якобсон продолжал изучать и в последующие годы, все чаще с ним не соглашаясь. Недавно в его архиве найден французский текст читанного им в годы второй мировой войны в Нью-Йорке курса лекций, посвященных переосмыслению общелингвистической теории Соссюра [16]. Из этих лекций видно, как далеко он ушел от начальных точек отправления нового языкознания. Якобсон никогда заученно не повторял чужого, хотя любил находить у лингвистов прошлого мысли, до того пришедшие ему на ум. Во всем он оставался „будетлянином" (хлебниковский перевод слова „футурист"): всегда он глядел в будущее.

После оккупации Чехословакии немецкими войсками Якобсон вынужден был около года жить на нелегальном положении, продолжая участвовать под псевдонимом в пражских изданиях. Затем для Якобсона, по его собственным словам, «наступили годы вынужденных бездомных блужданий из страны в страну» [17]. Остается удивляться тому, как каждую из временных передышек Якобсон сумел использовать для расширения кругозора и продолжения работы в одной из ранее намечавшихся областей.

Несколько месяцев, проведенных Якобсоном в 1939 г. в Дании, были посвящены дружеским спорам с Луи Ельмслевом и другими датскими членами Копенгагенского лингвистического кружка, создан-

---

[14] „Travaux du Cercle linguistique de Prague", vol. 1—8. Prague, Jednota československých matematiků a fysiků, 1929—1939.

[15] Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М.: Наука, 1970.

[16] Jakobson R. La théorie saussurienne en rétrospection. Cours de 1942 à l'École libre des Hautes Études (ксерокопия рукописи из архива Р. Якобсона, за ознакомление с которой я признателен проф. К. Поморской).

[17] Jakobson R., Pomorska K. Op. cit, p. 37.

ного по образцу Пражского. Дискуссия главным образом касалась природы фонологической системы языка; не случайно здесь Якобсон пишет свой доклад о звуковых законах детского языка для предполагавшегося Международного съезда лингвистов в Брюсселе, которому не суждено было состояться из-за начала второй мировой войны. Когда Якобсон переезжает в Норвегию, тут же завязывается тесная дружба с Альфом Соммерфельтом (1892—1965), блестящим норвежским специалистом по общему языкознанию и кельтологии. Они задумывают совместную работу над фонологическим атласом Европы; война помешала как этому начинанию (к сожалению, так до сих пор и не реализовавшемуся), так и другим планам сотрудничества Якобсона с норвежскими лингвистами. Началось немецкое вторжение в Норвегию — Якобсон должен был за очень короткий срок пройти по снежным нагорьям к шведской границе, чтобы и на этот раз чудом спастись от нацистов. Короткое время, проведенное Якобсоном в Норвегии, навсегда сблизило его с тем блестящим соцветием лингвистов, которыми в середине века славилась эта страна. В 1957 г. на Международном конгрессе лингвистов в Осло, который открылся пленарным докладом Якобсона, можно было наблюдать степень любви и преданности ему Соммерфельта, замечательного слависта Станга, видного индоираниста Моргенстьерне, открывшего ранее науке неизвестную группу живых индоиранских языков в Нуристане, кавказоведа Фогта, индоевропеиста Боргстрёма и многих других норвежских ученых, чьи лингвистические воззрения сложились под непосредственным воздействием Якобсона. Отношение к нему лингвистов именно в Норвегии Якобсон называл всегда образцом дружбы и товарищества, говоря, что на них он может положиться.

В Швеции Якобсона ждали две научных удачи: гостеприимство шведских научных библиотек и врачей-афазиологов (которые помогли ему закончить в течение года книгу о детском языке, афазии и звуковых законах) и встреча с двумя выдающимися финно-угроведами — венгерским ученым Яношем Лотцем (1913—1972) и немецким специалистом по обско-угорским языкам Западной Сибири Вольфгангом Штейницем (1908—1967). Штейниц, антифашист, после прихода Гитлера бежавший из Германии и работавший в 30-е годы в ленинградском Институте народов Севера, после войны был вице-президентом Академии наук ГДР. Значение для него Якобсона оставалось на протяжении всей жизни огромным. В Стокгольме, где их случайно соединили превратности войны, Якобсон с ним и с Лотцем еженедельно обсуждал принципы фонологического анализа, что сказалось на подготовлявшейся тогда книге Штейница по истории обско-угорской звуковой системы. Содружество с Лотцем привело к написанию совместной работы об аксиоматике мордовского стиха, оставшейся непревзойденным образцом использования фонологических идей в стиховедении. Ко времени пребывания в Норвегии и Швеции относится и сосредоточенная работа Якобсона над нивхским языком, на котором он в ту пору научился немного говорить. Он продолжал заниматься им и на пароходе „Remmaren", на котором с 20 мая до 4 июня 1941 г. плыл из

Гётеборга в Нью-Йорк [18]. По приезде в Нью-Йорк Якобсон включается в работу Вольной школы высших исследований (École libre des hautes études), созданной французскими и бельгийскими эмигрантами. Его лекции среди прочих посещали и такие лекторы этого удивительного института, как знаменитый антрополог Леви-Стросс (род. 1908), считающий знакомство с Якобсоном поворотным пунктом в своем научном развитии [19], математик Адамар, которому мы обязаны интереснейшим описанием научной психологии Якобсона, чьи ответы на его вопросы Адамар включил в свою книгу наряду с ответами Эйнштейна и других больших естествоиспытателей и математиков [20], историк культуры А. Грегуар и другие крупнейшие ученые. Тридцать лет спустя Леви-Стросс вспоминал: «Эти новаторские взгляды... были тем более убедительны, потому что Якобсон излагал их с тем бесподобным искусством, которое делает из него наиболее блестящего профессора и докладчика, какого мне когда-либо приходилось слышать» [21].

Нью-Йорк сорок второго года, о котором позднее Ахматова в „Поэме без героя" напишет:

...А кто — в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький,
Как отравленное вино.

Если историк науки захочет когда-нибудь выстроить детерминистскую схему, объясняющую бурное развитие структурной лингвистики в середине XX в., ему труднее всего будет объяснить, как в это время в одном городе могли оказаться вместе с Якобсоном и названными французскими и бельгийскими учеными еще и такие эмигранты, как итальянский лингвист Дж. Бонфанте, задолго до того уехавший из фашистской Италии, или немецкий философ Эрнст Кассирер. Все они объединялись сперва в Вольной школе высших исследований и в Колумбийском университете, потом — в Нью-Йоркском лингвистическом кружке, созданном в 1943 г.

На протяжении многих лет (с 1949 по 1967 г.) Якобсон преподает в одном из лучших американских университетов — Гарвардском, с 1957 г. соединяя преподавание в нем с одновременной работой в Массачусетском Технологическом Институте (MIT — „эм-ай-ти"). Этой последней он придавал особое значение: по его словам, «в Гарварде он учил, а в эм-ай-ти сам учился». Особенно его вдохновил совместный семинар, который они вели в MIT с Нильсом Бором; установленные при этом сходства и различия в интерпретации показаний приборов физиками и словесных сообщений лингвистами были положены в

[18] Jakobson R. Selected Writings, vol. 2. The Hague — Paris: Mouton, 1971, p. 97; Cassirer T. Aus meinem Leben mit Ernst Cassirer. N. Y., 1949, S. 261.

[19] Иванов В. В. Клод Леви-Стросс и структурная теория этнографии.— В кн.: Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983, с. 401, 415.

[20] Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. М.: Сов. радио, 1970, с. 86, 92.

[21] Lévi-Strauss, C. Préface.— В кн.: Jakobson R. Six leçons sur le son et le sens (collection „Arguments"). Paris: Les Éditions de Minuit, 1976, p. 9.

основу многих лекций и докладов Якобсона. В это время он целиком ориентируется на установление самых широких связей лингвистики с другими науками, выступая против любых форм изоляционизма.

Начиная с 1956 г. Якобсон часто приезжает в СССР — почти ежегодно на протяжении более чем десятилетия, после выхода на пенсию в 1967 г.— реже (последний раз он был в Тбилиси в 1979 г. на Международном Симпозиуме по исследованию бессознательного). С первых же приездов он задумывается о возвращении на родину, много говорит об этом с друзьями. Акад. Г. В. Церетели ставит вопрос о его избрании в Академию наук СССР. Приходится только пожалеть о том, что Р. О. Якобсону так и не удалось осуществить свое желание вернуться на Родину. Перед смертью в одном из интервью он назвал себя «русским филологом». Эти слова начертаны и на его могиле.

Приезды Романа Якобсона в СССР, его доклады и лекции, участие во многих научных съездах в Москве, Ленинграде, Тбилиси сыграли большую роль в развитии лингвистики и семиотики в нашей стране за последние четверть века. Многое из сделанного за это время (особенно младшим поколением наших лингвистов) было сопряжено с продолжением идей Якобсона [22]; в свою очередь он всячески поощрял новые направления работ наших ученых, внимательно в них вчитывался. За более чем полвека мало найдется изданных в СССР существенных по методам и материалам лингвистических трудов, на которые Якобсон не отозвался бы с удивительной быстротой. Когда он начал приезжать в СССР в 50-е годы, в первых же его лекциях прозвучали имена тех наших ученых — М. М. Бахтина, Л. С. Выготского и др.,— мировое значение которых приоткрывается только в последние годы. Если бы не Якобсон, сделанное нашими лингвистами не было бы в такой степени известно на Западе.

Мировая научная (и шире — культурная) общественность высоко оценила Якобсона. При всем огромном уважении к тому, что он сделал, в отношении к нему, пока он был жив, всегда оставалась и вера в то, что он еще сделает. Но и самый характер его трудов — не завершенных, как у классика (например, у Трубецкого), а раскрытых, как у романтика, навстречу будущему — согласовался с таким отношением. Хотелось бы и теперь, ретроспективно оценивая совершенное им, не столько перечислять всем известные достижения, сколько оценить значимость сделанного Якобсоном для настоящего и будущего лингвистики.

2.

Всю жизнь Якобсон мечтал написать большую книгу „Звук и значение“,— так назывался курс лекций, прочитанных им «посередине странствия земного» в Нью-Йорке [23]. Вокруг двуединства звучания и

[22] См. Гамкрелидзе Т. В., Елизаренкова Т. Я., Иванов В. В. Лингвистическая теория Р. О. Якобсона в трудах советских лингвистов.— В кн.: „Roman Jakobson: Echoes of his Scholarship“. Lisse: The Peter de Ridder Press, 1977, pp. 90—121.

[23] Jakobson R. Six leçons sur le son et le sens. Paris, 1976.

значения складывалась изначально и поэтика Якобсона, и его фонологическая теория. Младограмматическую науку XIX в. Якобсон мог смело упрекнуть в невнимании к значениям: сам он всегда в своих работах по поэтике и лингвистике был на них ориентирован, это его отличало от крайних формалистов в литературоведении и от дескриптивизма, господствовавшего в американской лингвистике в то время, когда жизненный и научный путь Якобсона привел его в США.

Новизна подхода Якобсона и других фонологов к звукам языка заключалась в том, что звуки исследовались не сами по себе, как в классической фонетике, а с точки зрения их функций. Нужно было понять, как звуковые единицы—фонемы—служат для различения единиц высших уровней. В начале пражского периода основной задачей было исследование структур системы фонем, что оживленно обсуждалось в переписке Трубецкого с Якобсоном и позднее отразилось в их публикациях того времени. Но в середине 30-х годов Якобсон отчетливо выявляет двоичное противопоставление звуковых признаков как лежащее в основе каждой системы. Обсуждению этой его идеи была посвящена его последняя встреча с Трубецким, трагические внешние обстоятельства которой (готовившееся присоединение Австрии, где жил Трубецкой, к нацистской Германии) не помешали двум ученым сопоставить свои точки зрения. Как вспоминал позднее Якобсон: «В драматической обстановке 37-го и 38-го годов, предвещавшей близость роковых событий, мысль невольно отвлекалась от побочных академических тем и сосредоточивалась на вопросах наибольшей, как мне представлялось, научной значимости и срочности... Может быть, в моей жизни не было такого лихорадочного наплыва новых исканий и мыслей, как в начале 38-го года, когда мне, думал и думаю, удалось довести до конца разложение согласных на основные оппозиции. Эти счастливые находки и открывавшиеся, как я полагал, фонологические и общелингвистические перспективы — все это побуждало меня немедленно обсудить назревшие вопросы с Трубецким, и я снова нагрянул к нему в середине февраля 38-го года. Мы два дня взволнованно обсуждали возможность нового подхода к согласным и к вопросам фонологических оппозиций вообще» [24].

23 марта 1938 г. Якобсон доложил Пражскому кружку свой опыт сведения фонем (в частности, согласных) к сочетаниям нескольких основных двоичных различительных признаков; позднее доклад на эту тему он сделал на III Международном фонетическом съезде [25]. Этот его доклад, опубликованный в 1939 г.— накануне войны, можно считать началом того периода, который обозначил новый этап в истории современной фонологии [26]. Речь шла об изменении самого предмета

---

[24] Jakobson R., Pomorska K. Op. cit., p. 35.

[25] Jakobson R. Selected Writings, vol. 2. The Hague — Paris, 1971 (2 ed.), pp. 272—279, 636.

[26] Halle M. Roman Jakobson's contribution to the modern study of speech sounds.— In: „Roman Jakobson: Echoes of his scholarship", Lisse: The Peter de Ridder Press, 1977, pp. 129—130.

исследования: если раньше в качестве него рассматривались фонемы, то теперь Якобсон предлагал „квантами“ (элементарными единицами языка) считать различительные признаки.

Эта идея была развита в его нью-йоркском курсе лекций, где он опирался на мысль Соссюра о значимости оппозиций в языке. По его собственным словам, «с самого начала моих французских лекций в Нью-Йорке важно было объяснить моей аудитории и моим коллегам, в чем же состоит ревизия и развитие идеи языковых оппозиций вообще и применительно к языку в первую очередь. Необходимо было точно отграничить понятие оппозиции как элементарной логической операции от всех остальных классов различий. Эту специфическую особенность оппозиций неоднократно подчеркивали теоретики междувоенной эпохи, особенно голландский феноменолог Hedrik Pos (1898—1955) и русский диалектик Алексей Федорович Лосев, в своем анализе коррелятивных терминов остро поставивший проблему импликации... („Музыка как предмет логики“, Москва, 1927). Из самого понятия оппозиций непосредственно вытекает их бинарный характер, и это дихотомическое отношение с особенной ясностью проявляется в языковой системе, как фонологической, так и грамматической» [27].

Развитию теории фонологических оппозиций Якобсоном и его сотрудниками в начале 50-х годов способствовало два обстоятельства. Во-первых, именно в это время качественный скачок был сделан в области электроакустического изучения звуков речи; Якобсон со свойственным ему умением увидеть главное в развитии науки использует выводы электроакустических исследований для построения стройной теории двоичных различительных признаков гласных и согласных [28]. Основы этой теории остаются до сих пор неизменными; те дополнения, которые были сделаны как со стороны собственно экспериментальной [29], так и лингвистами-теоретиками, не меняют сути построений Якобсона. В самые последние годы нейрофизиологические исследования передачи информации от слухового анализатора в верхние отделы центральной нервной системы подтвердили гипотезу Якобсона, согласно которой должен существовать нейрологический коррелят установленным им акустическим признакам; с этими новейшими открытиями Якобсон успел ознакомиться перед самой своей смертью и по достоинству оценить их значение.

Другим обстоятельством, благоприятствовавшим развитию идеи двоичного противопоставления в фонологии, явилось то, что это понятие естественным образом сочеталось с принципами теории информации (и, в частности, теории кодов, на ней основанной), в американских и английских работах часто именуемой „теория коммуникации“; в соавторстве с К. Черри и другими специалистами Якобсон пишет специальные работы на эту тему. Одним из первых он увидел, что начи-

---

[27] Jakobson R., Pomorska K. Op. cit., p. 45.

[28] Якобсон Р., Фант Г. М., Халле М. Введение в анализ речи: Различительные признаки и их корреляты.— В сб.: „Новое в лингвистике“, II. М.: ИЛ, 1962; Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике, там же.

[29] Фант Г. М. Акустическая теория речеобразования. М.: Наука, 1964.

нающееся сотрудничество лингвистики с математикой может основываться на уже достигнутом в фонологии. Позднее Якобсон был одним из главных докладчиков на симпозиуме Американского Математического Общества, посвященном связям языкознания и математики. Эта же проблема играет существенную роль в серии последующих его работ, посвященных месту лингвистики среди других наук. Якобсон обращал особое внимание на то, что количественные методы значительно менее важны, чем выработанные в новейшей математике способы описания структур. Здесь опять-таки сказался опыт его фонологических исследований.

Якобсон не только наметил общую схему иерархически упорядоченных различительных фонологических признаков, но и попробовал обосновать установленную им иерархию признаков на материале детского языка, законы которого были сопоставлены им с закономерностями распада оппозиций при афазии и с универсальными законами звукового развития, выявляемыми в истории языка. Отдельные частности в предположенной Якобсоном общей картине могут измениться благодаря накоплению новых данных [30]. Многочисленные критики фонологической концепции Якобсона выступали главным образом против принятой им теории фонологических признаков. В частности, далеко не все фонологи согласились с переориентацией на признаки (а не фонемы) в качестве основных единиц и с движением мысли Якобсона и его последователей от утверждения реальности признаков (в работах 40-х гг.) к более формальному описанию, обязательно в терминах двоичных противопоставлений, не всегда удобному (в частности, по отношению к гласным). Но при всех различиях в подходе само понятие дифференциального признака используется теперь всеми направлениями фонологии.

Пристальное внимание к диахронической фонологии было отличительной особенностью исследований Якобсона с самого начала его пражского периода. Его переписка с Трубецким в большой степени была посвящена продумыванию возможностей фонологического метода в историческом изучении русского и других славянских языков; этой же теме посвящается первая большая книга Якобсона, вышедшая в изданиях Пражского лингвистического кружка в 1929 г. Одно из главных отличий Якобсона (и вообще Пражской школы) от Соссюра состояло в том, что диахрония начала мыслиться не как изолированные изменения, а как системные сдвиги, объясняемые структурой меняющихся систем. Этот подход был в какой-то мере подготовлен еще Московским лингвистическим кружком, где слушались доклады одного из наиболее блестящих лингвистов того времени Е. Д. Поливанова по теории фонологических изменений. В статье Якобсона о принципах диахронической фонологии используется ряд основных результатов работ Поливанова в этой области, в частности различение дивергенции (расщепление фонем) и конвергенции (слияния фонем) [31].

[30] Rūķe-Draviņa. V. Child language studies.— In: „Roman Jakobson: Echoes of his scholarship". Lisse: Peter de Ridder Press, 1977, pp. 403—410.

[31] Поливанов Е. Д. Избранные работы: Статьи по общему языкознанию.

Разумеется, разница между психофонетической терминологией школы Бодуэна де Куртене, которому верно следовал Поливанов, и теми новыми терминами и понятиями, которые вводил Якобсон, достаточно велика. Конвергенция двух „звукопредставлений", по Поливанову,— не совсем то же, что слияние двух фонем у Якобсона; в первом случае имелась ссылка на „языковое сознание" носителя языка, у Якобсона отсутствующая. Поэтому историческая связь между работами Поливанова и Якобсона сложна. Но несомненно сходство общей устремленности их работ: обоих ученых занимало построение теории эволюции языка.

В конце 20-х годов Якобсон обдумывал основные проблемы эволюции языка и литературы вместе с другим своим товарищем по ОПОЯЗ'у — Ю. Н. Тыняновым, приезжавшим в Прагу вместе с Г. О. Винокуром и Б. В. Томашевским в 1927 г. Результатом явились их совместные тезисы [32], в большой мере подготовленные предшествующей статьей Тынянова о литературной эволюции [33]. По сути, в этих и других работах было предвосхищено то диахроническое осмысление лингвистики в целом, к которому мировая наука вплотную подошла в самые последние годы.

Принципиально новые черты, внесенные Якобсоном в историческое языкознание, были в большой мере связаны с последовательным проведением типологической точки зрения. На каждом из этапов язык может проходить только такие стадии фонологического развития, которые представляются типологически вероятными. Детально эту точку зрения, намеченную в сообщении Нью-Йоркскому лингвистическому кружку в 1949 г., Якобсон изложил в своем докладе на VIII Международном лингвистическом съезде в Осло. По отношению к такой традиционной и наиболее разработанной области сравнительно-исторического языкознания, как реконструкция индоевропейского языка, развитие этих идей Якобсона привело к радикальному пересмотру точки зрения, существовавшей на протяжении более века [34].

Совершенно новой областью, связанной с именами Трубецкого и Якобсона (а также и Поливанова, занимавшегося той же проблемой на материале языков Средней Азии), явилось исследование фонологических черт языковых союзов. Если лингвистика предшествующего периода была сосредоточена на генетических связях между языками, входящими в одну семью, то типологическое языкознание стало за-

---

М.: „Наука", 1968; ср. Иванов В. В. Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова.— „Вопросы языкознания", 1957, № 3; Виноградов В. А. Теория фонетических конвергенций Е. Д. Поливанова и принцип системности в фонологии.— См. Материалы конференции „Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова", 1. Самарканд: изд. Самарк. ун-та, 1964, с. 13.

[32] Тынянов Ю. Н., Якобсон Р. О. Проблемы изучения литературы и языка.— „Новый ЛЕФ", 1928, № 12; Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

[33] Ср. Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Статьи и очерки. Л.: Сов. пис., 1982, с. 5, 310, 311 и сл.

[34] Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Предисловие Р. О. Якобсона, т. 1. Тбилиси: изд. Тбилисск. ун-та, 1984.

ниматься сходствами между географическими близкими языками независимо от их генеалогических отношений. Обширный труд Якобсона о евразийском языковом союзе был одним из первых в этом ряду. Из двух основных высказанных в нем выводов — один — наличие мягкостной корреляции (противопоставления по палатализованности) в языках от японского на востоке до литовского на западе — остается бесспорным, тогда как другой, касающийся распространения в Евразии разных типов противопоставлений по ударности, в настоящее время пересматривается.

Исследование фонологии ударения в одной из специальных больших работ Якобсона пражского периода связано с тем большим циклом его работ, которые были начаты еще сопоставительным анализом русской и чешской просодической системы. В дальнейшем Якобсон развил типологическое исследование энклитических слов в славянских (и других индоевропейских) языках, основываясь, в частности, на счастливом наблюдении Поливанова о сходстве этих слов с японским дзэнхейным типом слов (низкого тона [35]). Как в этих славистических работах Якобсона, так и в его статье о древнегреческом ударении наибольший интерес состоит в выделении основного структурного типа, с точки зрения которого исследуется материал конкретного языка. Типология оказывается мощным инструментом как для синхронного описания, так и для изучения истории.

3.

С именем Якобсона связан первый смелый опыт перенесения структурных принципов и в область морфологии. Исследование Якобсона о структуре русского глагола, впервые опубликованное в 1931 г., было далеко идущей попыткой введения в область морфологии корреляций „признаковых" („маркированных") и „беспризнаковых" категорий и форм. В этой своей работе Якобсон проводит последовательное разграничение двух видов языковых противопоставлений: сигнализирование некоего А и несигнализирование этого А (как в слове *осёл* по отношению к существу женского пола, которое может быть обозначено и специально словом *ослица*) Якобсон отличает от сигнализирования некоего не-А, противопоставляемого несигнализированию (как в слове *осёл*, когда оно противопоставляется слову *ослица*). Якобсон поясняет это различие такими примерами. Когда мы говорим: *осёл*, то имеется в виду животное вообще, без уточнения его пола. В ответ на вопрос *„Это ослица?"* может последовать: *„Нет, осёл"*, где значение мужского рода специально сигнализируется [36]. Эти виды противопоставлений Якобсон прослеживает на всех категориях русского глагола, впервые построив (с учетом достижений лучших русских грам-

---

[35] Ср. о роли этого направления: Дыбо В. А. Славянская акцентология. М.: Наука, 1981, с. 7; Birnbaum H. Roman Jakobson's contribution to Slavic accentology.— In: „Roman Jakobson: Echoes of his Scholarship". Lisse: The Peter de Ridder Press, 1977, pp. 29—37.

[36] Jakobson R. Selected Writings, vol. II, pp. 4, 16.

матистов от Н. П. Некрасова до А. М. Пешковского) стройную картину значений русского глагола и форм, их выражающих. Особенно при этом Якобсон подчеркивал бинарный характер выявленных им противопоставлений (типа совершенный — признаковый вид: несовершенный — беспризнаковый).

Дальнейшее развитие общая система значений глагола (не только русского) получила в известном исследовании Якобсона 1957 г.[37]. Здесь Якобсон строит максимально полную систему глагольных категорий. В основу его схемы положены различия между фактом, описываемым в речи, и самим фактом речи (речевым актом). Глагольная форма может характеризовать либо участников сообщаемого факта, либо сам сообщаемый факт. В свою очередь по отношению к акту речи возможно аналогичное разделение. Каждая из известных глагольных категорий в разных языках мира получает свое место в построенной по этому принципу Якобсоном таблице. Например, категория очевидности (адмиратива, как в балканских языках или в латышском) описывается как качественная характеристика сообщаемого факта относительно некоторого другого сообщаемого факта в их отношении к речевому акту. Весьма существенны не только конкретные результаты этой работы, но и самый ее принцип: аксиоматическое задание некоторого набора исходных элементарных значений, из комбинаций которых получаются все те категории, которые характеризуют глагол в известных языках мира. По этому пути позднее пойдет лингвистическая семантика нашего времени.

В той же работе Якобсон детально развивает понятие „шифтера", заимствованное им у О. Есперсена (Есперсен сам не был изобретателем этого термина, который встречался и до него). Под „шифтером" Якобсон понимает любой языковой элемент, глагольный или местоименный, который обозначает связь сообщения с актом речи, в частности говорящим (формы 1 лица) и слушающим (формы 2 лица). Удачное развитие идея Якобсона нашла в исследовании по семантике языка у французского математика Р. Тома. Согласно Тому, всякое языковое высказывание описывает пространственно-временной процесс. Шифтеры же локализуют область, в которой этот процесс развертывается. Локализация дается по отношению к той пространственно-временной области, в которой находятся говорящий и слушающий[38]. В подавляющем большинстве высказываний естественного языка такая локализация необходима, поэтому шифтеры представляют важнейшую часть языковой системы.

Для их описания Якобсон в духе характерного для его работ 50-х годов обращения к сближению лингвистики с точными науками воспользовался терминами теории информации — „код", под которым понимается способ представления информации в форме, пригодной для

[37] Якобсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: „Принципы типологического анализа языков различного строя". Перев. с англ. М.: Наука, 1972.

[38] Том Р. Топология и лингвистика. Перев. с франц. с пред. Ю. И. Манина.— „Успехи математических наук", 1975, т. XXX, вып. 1, с. 215.

ее передачи по каналам связи, и „сообщение", которым обозначается последовательность сигналов, переданная по каналу. Якобсон охарактеризовал шифтеры как такие кодовые элементы, которые в самом коде (в естественном языке) определяются отсылками к речевому сообщению (высказыванию). Собственно лингвистическая значимость этих идей Якобсона заключалась в том, что они прокладывали путь и к глубокому осознанию особенностей использования „эгоцентрических" слов естественного языка, и к пониманию его как средства общения, в который встроены отсылки на самый акт общения [39], в отличие от других систем знаков. Вместе с тем следует отметить и то, что в работе о шифтерах Якобсон, ссылаясь на ранние труды М. М. Бахтина, по существу, впервые строит такую лингвистическую теорию, которая дает четкие грамматические основы и для анализа ключевых проблем лингвистики текста.

Из отдельных более частных грамматических проблем, связанных с тем, как шифтеры выражаются в глагольных категориях, Якобсон тонко изучил такие вопросы, как обобщенно-личное значение формы 2-го лица глагола, являющейся в русском языке беспризнаковой (немаркированной) [40]. Следует отметить, что грамматические открытия Р. Якобсона (продолжавшего наблюдения Пешковского) в этой области давно были использованы в общих работах по русской грамматике [41].

В те же годы, когда Якобсон строит общую систему шифтеров и грамматических категорий глагола, он дает и общую бинарную схему грамматических значений английского глагола — в статье о грамматических воззрениях Боаса, впервые опубликованной в 1959 г.[42]. Эта статья имеет большое значение для общей грамматики еще и потому, что в ней, как и в опубликованной годом раньше статье о теории перевода [43], Якобсон со всей ясностью определил суть того, что следует считать грамматическим значением: это то, что является обязательным, что должно (а не может) быть выражено в данном языке.

Важное место в общеграмматической теории Якобсона занимают его исследования 1937—1939 гг., касающиеся нулевой формы [44]. В них он рассматривает не только проблемы, касающиеся собственно морфологических нулевых форм — таких, как нулевой именительный падеж существительных мужского рода (русск. *бог*, *супруг*), но и синтаксического нуля: эллипсис (в предложениях типа *Что делал дядя в клубе? — Обедал*) рассматривается как анафорический (или деиктический) нулевой знак [45]; эта точка зрения нашла развитие в ряде позднейших исследований наших лингвистов по семантическому синтаксису.

---

[39] Ср. об этом в связи с идеями Якобсона: Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Сов. радио, 1978, с. 121—142.

[40] Jakobson R. Selected Writings, vol. II, p. 9.

[41] Ср. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.: Учпедгиз, 1947, с. 459, 465.

[42] Jakobson R. Selected Writings, vol. II, pp. 489—491.

[43] Там же, с. 264.

[44] Там же, с. 209—222.

[45] Там же, с. 216.

В развитии современных методов грамматического описания роль Якобсона особенно отчетливо обнаруживается благодаря его небольшой работе 1948 г. о русском спряжении [46], где все правила образования глагольных форм русского языка уместились на нескольких страницах благодаря введению понятий полной и усеченной основы и законов преобразования основ при присоединении к ним гласных и согласных окончаний. В подлинном смысле здесь речь идет о порождающей грамматике, притом изложенной в предельно четком формализованном виде. Стоит в этой связи заметить, что основные принципы порождающей грамматики были сформулированы в сохранившихся французских текстах первых курсов лекций (о Соссюре), читанных Якобсоном в Нью-Йорке в начале 40-х годов [47].

В наиболее наглядном виде описание грамматической системы значений было проведено Якобсоном в двух его работах (1936 и 1958 гг.) о системе русских падежей. Якобсон исходит из принципиально важного для грамматики тезиса о наличии инвариантного общего значения у каждого падежа, к вариантам которого должны быть сведены отдельные частные значения, перечисляемые в грамматиках.

Общие значения падежей, по Якобсону, входят в бинарные оппозиции, совокупность которых и образует систему падежей в целом. Следует заметить, что именно эти работы Якобсона породили целый цикл как синхронных описаний падежей (в частности, латинских [48]), так и диахронических исследований. Наш выдающийся компаративист И. М. Тронский в одной из последних своих работ дал характеристику общеиндоевропейской падежной системы, представляемой, по Р. Якобсону, в виде ряда бинарных оппозиций, выдержав не только принцип организации падежных противопоставлений, введенный Якобсоном, но и сохранив выделенные им три основных признака, хотя и дав им иные обозначения и несколько отличную от якобсоновской интерпретацию [49]. Вслед за Якобсоном вся система падежных значений в целом представляется в виде параллелепипеда, причем отмечается, что падежный синкретизм обычно имеет место на ребрах этого параллелепипеда. По-видимому, общая система падежных значений именно в том духе, как ее описывал Якобсон, особенно рельефно выступает в истории языка. Недаром достаточно близкое ко всей системе Якобсона (ему, по-видимому, оставшееся неизвестным) описание применительно к праиндоевропейскому есть уже в книге В. А. Богородицкого [50]. Наоборот, основные возражения против системы Якобсона и лежащего в ее основе понятия общего значения падежа выска-

---

[46] Там же, с. 119—129.

[47] Более осторожная формулировка (не учитывающая, однако, ранних текстов нью-йоркских лекций) дается в посвященной этой проблеме статье: McCawley J. Jakobsonian ideas in generative grammar.— In: „Roman Jakobson: Echoes of his Scholarship". Lisse: The Peter de Ridder Press, 1977, pp. 269—283.

[48] Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.

[49] Тронский И. М. Общеиндоевропейское языковое состояние (Вопросы реконструкции). Л.: Наука, 1967, с. 73—82.

[50] Богородицкий В. А. Краткий очерк сравнительной грамматики арио-европейских языков. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1916.

зываются при принятии строго синхронной точки зрения, рассматривающей (как во многих трудах по алгебраической лингвистике) падежные словоформы существительных исключительно как обозначения синтаксических ролей или зависимостей, которые не сохраняют собственной внесинтаксической семантики. Граница в лингвистическом описании между семантикой и синтаксисом, значением отдельной словоформы и целостной конструкции, однако, в данном случае оказывается не менее подвижной, чем в других сферах исследования. Отличные от предложенной Якобсоном точки зрения на падеж позднее были выдвинуты акад. А. Н. Колмогоровым и его учениками в работах по математической лингвистике, к которым, однако, сам Якобсон отнесся с энтузиазмом [51].

Новизна результатов, получаемых при подходе, который был предложен Якобсоном, видна не только по отношению к таким языкам номинативного (аккузативного) строя, как русский, но и по отношению к эргативным языкам. Отправляясь от исследований К. Уленбека и С. Д. Кацнельсона, Якобсон верно оценил уже в первой своей работе по теории падежей отличие отношения эргативный (признаковый) падеж : абсолютный (беспризнаковый) падеж от отношения именительный (беспризнаковый) падеж : винительный (признаковый) падеж в языках номинативного (аккузативного) строя [52].

Одной из интереснейших проблем, поставленных Якобсоном в поздних его работах, было изучение на субморфном уровне связи между составными элементами падежного значения и фонемами или фонологическими признаками. В русском языке фонема /m/ встречается во флексиях всех тех падежей (творительного, дательного, предложного), которые Якобсон причисляет к периферийным. Шумные щелевые фонемы (или, иначе говоря, сочетание признаков /+согласный/, /—гласный/, /+шумный/, /+щелевой/) являются приметой падежей, характеризуемых, по Якобсону, как объемные: /-x-/ — предложного, /-v-/ — родительного. Развитие такого рода исследований по существу означало бы введение особого — субморфного — уровня в лингвистические описания, что представило бы большой интерес как для диахронии, так и для синхронии (в частности, для более тонкого изучения звукового символизма в языке). К сожалению, однако, эта линия работ Якобсона осталась почти непродолженной (если не считать отдельных энтузиастических замечаний наших лингвистов среднего поколения).

Проблема такого символизирования общих грамматических значений на субморфном уровне может служить одним из примеров того, как на материале соотношения фонологии и грамматики Якобсон вновь и вновь обращался к центральной для него проблеме соотнесения звучания и значения. Соотношению фонологического уровня с грамматическим, в частности фонологическим особенностям грамматических единиц, Якобсон посвятил свой доклад на VI Международном конгрес-

---

[51] J a k o b s o n R. Selected Writings, vol. II, pp. 182, 587.

[52] Там же, с. 37. Ср. К а ц н е л ь с о н С. Д. Типология языка и речевое мышление. М.: Наука, 1972, с. 70; К л и м о в Г. А. Очерк общей теории эргативности. М.: Наука, 1973, с. 115.

се лингвистов в Париже в 1949 г.[53]. Особенной тщательностью анализа соотношений между этими двумя уровнями отличаются исследования Якобсона по нивхскому языку, законченные в 1957 г. Выявленные Якобсоном в нивхском специфические морфонологические чередования смычных и щелевых были им сопоставлены с типологически аналогичными явлениями в кельтских языках и в некоторых языках Африки[54]. На основе этих чередований Якобсон произвел правдоподобную внутреннюю реконструкцию исходных соотношений в нивхском (до исчезновения местоименного префикса, отразившегося на характере последующего согласного).

Одной из важнейших областей исследования в последние десятилетия жизни Якобсона было для него изучение того, как грамматические значения и выражающие их формы находят особое использование в поэзии. Исследования по «поэзии грамматики и грамматике поэзии», составившие один из самых объемистых томов его собрания сочинений[55], на материале самых разных европейских и некоторых других языков проясняют, в какой степени анализ поэтических структур может пролить свет на функционирование грамматических форм (в русской лингвистической традиции отчасти сходные задачи ставил перед собой акад. Л. В. Щерба в своих опытах лингвистического разбора стихотворений). В какой-то мере и здесь можно говорить о зарождении будущей особой научной дисциплины, которая имела бы первостепенное значение не только для академического литературоведения и языкознания, но и для школьного преподавания.

4.

Научное творчество Р. Якобсона было проникнуто стремлением установить место языкознания среди наук и оценить как возможный вклад каждой из смежных наук в лингвистические исследования, так и роль лингвистики для других наук. С самого начала его научной деятельности и до ее финала он напряженно думал над неразрывной связью лингвистики и поэтики. Опираясь на общую модель акта коммуникации, Якобсон намечает шесть основных функций языка в зависимости от принятой установки, что позволяет определить и место поэтического языка: 1) установка на отправителя — адресанта (в частности, передача его эмоций), которой отвечает эмотивная функция; 2) установка на адресата (стремление вызвать у него определенное состояние), отвечающая конативной функции; 3) установка на сообщение (установка на его форму) — поэтическая функция; 4) установка на систему языка — метаязыковая функция; 5) установка на действительность — референтивная, иначе денотативная или когнитивная, функция; 6) установка на контакт — фатическая функция (в смысле

---

[53] Jakobson R. Selected Writings, vol. II, pp. 103—114.
[54] Там же, с. 84—90, прим. 4i.
[55] Jakobson R. Selected Writings, vol. III, The Hague — Paris, 1981.

Малиновского)[56], сходная с фасцинацией в смысле Ю. В. Кнорозова. Многое в этой системе функций (в частности, выделение метаязыка как определенной темы лингвистических исследований[57]) принадлежит к выдающимся достижениям Якобсона. Его самого с начала деятельности ОПОЯЗ'а более всего занимало четкое отграничение поэтической функции и тех языковых средств, которые ее обслуживают (последняя задача изучается в серии исследований по поэзии грамматики). Занимаясь на протяжении всей жизни поэтикой в ее неразрывной связи с лингвистикой, Якобсон в первых же своих работах — о Хлебникове и в посвященной Маяковскому части книги о чешском стихе — предложил новое понимание языка поэзии. Позднее внимание его распространилось и на то, как грамматика языка взаимодействует с поэтической композицией, чему посвящен большой цикл работ о поэтах разных эпох и народов.

В конце 20-х годов Якобсон вместе со своим соавтором и товарищем по Московскому и Пражскому лингвистическим кружкам — нашим замечательным фольклористом П. Г. Богатыревым намечает общие черты, объединяющие лингвистику (в частности, теоретическое языкознание, исходившее из соссюровских принципов) и фольклористику[58]. Помимо чисто теоретического сближения исходных положений двух этих наук в работах Якобсона осуществляется и планомерное использование лингвистических методов при решении задач исторического исследования фольклора. В частности, начиная с 30-х годов Якобсон подступает к решению задачи восстановления исходных форм славянского народного стиха на основании сопоставления архаических южнославянских форм с северновеликорусскими. В 1952 г. Якобсон публикует завершающую работу, где реконструированный праславянский стих сопоставлен с теми древнейшими формами стиха древнегреческого и древнеиндийского, которые в свое время использовал Мейе для восстановления общеиндоевропейских истоков греческого стиха[59]. Эта работа Якобсона послужила основой для многочисленных современных исследований общеиндоевропейского стиха, создавших (в трудах К. Уоткинса, М. Уэста и других ученых) надежные сравнительно-исторические основы для его реконструкции.

Другое направление исследований Якобсона, занимавшее его буквально до самых последних дней жизни, соединяло лингвистические (в том числе и этимологические) исследования с изучением мифологии славянских и других индоевропейских народов. Якобсону принадле-

---

[56] Якобсон Р. Лингвистика и поэтика.— В кн.: „Структурализм «за» и «против»". М., 1975.

[57] Jakobson R. Metalanguage as a linguistic problem.— In: Jakobson R. The framework of language (Michigan studies in the humanities). Horace H. Rackhan School of graduate studies, 1980, pp. 81—92.

[58] Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971; ср. Иванов В. В., Топоров В. Н. Вклад Р. О. Якобсона в славянские и индоевропейские фольклорные и мифологические исследования.— В кн.: „Roman Jakobson: Echoes of his Scholarship". Lisse: The Peter de Ridder Press, 1977, pp. 163—184.

[59] Jakobson R. Selected Writings, vol. IV, pp. 414—463,

жит заслуга воскрешения этой области исследований, в индоевропеистике и славистике переставшей вызывать былой интерес после разочарования в кажущихся (а иногда и реальных) успехах, достигнутых еще в прошлом веке. Якобсон не только в этой, но и во многих других областях славистики был противником гиперкритицизма, распространявшегося в двадцатилетие между двумя мировыми войнами. Работы Р. Якобсона по „Слову о полку Игореве" и другим произведениям славянского эпоса отличаются широтой сравнительного охвата материала. Так, в рассказе о князе-оборотне Всеславе, умевшем превращаться в волка, Якобсон (развивая замечательные идеи французского специалиста по античности Жерне) находит отражение не только общеславянских, но и общеиндоевропейских верований. Представляет огромный интерес намеченное им мифологическое понимание волка-оборотня одновременно как преследователя и жертвы (сходные мысли позднее были развиты в работах Леви-Стросса о мифе). Ему удалось не только возродить лингвистический подход к сравнительной мифологии [60], но и соединить эту область исследований с другими сферами структурной антропологии — науки, возникшей в большой мере под воздействием пражской фонологии.

По мысли Якобсона, лингвистика, исследующая обмен словесными сообщениями, входит в один комплекс наук с этнологией (по другой терминологии — культурной антропологией), исследующей другие типы обменов в обществе. В 1952 г. Якобсон должен был подытожить лингвистические результаты одной из первых встреч лингвистов и этнологов [61] (последних в своем заключительном докладе представлял К. Леви-Стросс). Встреча проходила на фоне первых внушительных успехов теории информации, которая дала представителям каждой из наук возможность пользоваться терминологией, в равной мере удобной (и, добавим, тогда в равной мере новой) для каждой из них. Становилось ясным, что вырисовываются контуры более общей науки о коммуникации, которая в известной мере включит в себя и лингвистику, и этнологию. Уже тогда Якобсон (за десять лет до оживления семиотической работы во всех основных центрах мира) подчеркнул необходимость воплощения программы построения общей науки о знаковых системах, заложенной еще в прошлом веке Пирсом. Согласно Якобсону, без этого нельзя выяснить специфики именно языковых знаков. Несомненно, что энергия Якобсона, постоянно говорившего о необходимости широкого развертывания семиотических исследований, немало способствовала тому, что начиная с 60-х годов эти исследования получают развитие — сперва в СССР, затем в США и несколько позднее в разных странах Запада и Центра Европы. Якобсон был постоянным советчиком и участником первых семиотических встреч. Те, кто участ-

---

[60] Ср. Якобсон Р. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии.— В кн.: „VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук", т. V, М.: Наука, 1970, с. 608—619; Jakobson R. The Slavic god Veles and his Indo-European cognates.— In: „Studi linguistici in onore di Vittore Pisani". Brescia, 1969, pp. 579—599.

[61] Jakobson R. Selected Writings, vol. II, pp. 554—567.

вовал в Международном семиотическом симпозиуме в Варшаве в августе 1965 г. и в заседаниях очередной летней школы по семиотике в Кяярику (под Тарту) в июле 1966 г., могут удостоверить, как велика была степень заинтересованности Якобсона и увлеченности его при обсуждении общесемиотических проблем и частных вопросов семиотики. Постоянно думая о до сих пор еще как следует не освоенном семиотическом наследии Пирса (которому была посвящена одна из самых последних его статей), Якобсон стремился сформулировать именно те проблемы, которые остаются (или становятся) наиболее актуальными для современной семиотики. Блестящее изложение основ семиотической концепции, заложенной Пирсом, и ее приложение к естественному языку дается в статье Р. О. Якобсона „В поисках сущности языка" (она не включена в настоящий том, потому что недавно дважды издавалась в русском переводе; см. библиографию русских переводов работ Якобсона в конце книги). Р. Якобсон показал, какие существенные изменения нужно внести с этой точки зрения в понятие языкового знака, предложенное Соссюром и повторявшееся без особых изменений многими лингвистами. То, основанное на глубоком изучении трудов Пирса постепенное превращение семиотики из импрессионистического набора замечаний о разных знаках в серьезную науку, которое происходит в самые последние годы, по сути было начато Якобсоном. Небольшой очерк истории семиотики [62], им написанный, сосредоточен прежде всего на том, что́ еще предстоит сделать. Охарактеризовав основную семиотико-логическую традицию, заложенную мыслителями трех предшествующих веков (Локк, Ламберт, Хёне-Вронский, Больцано, Пирс, молодой Гуссерль), Якобсон подчеркивает обособленное место в истории этой науки лингвистического направления, начатого Соссюром, и отмечает, что знаковым системам искусства в семиотике долго не уделялось должного внимания, несмотря на исключительную значимость этой проблемы. Только в последнее время семиотика восполняет этот пробел.

Значение контактов лингвистики с биологическими науками Якобсон оценил очень рано, задолго до начала „века биологии", потому что он одним из первых среди лингвистов серьезно занялся проблемой афазии. Он понял, что нарушения речи, вызванные поражениями речевых зон коры головного мозга, могут представить исключительный интерес для лингвиста. В афазиях, по Якобсону, должны проявляться некоторые общие принципы построения (соответственно и распада) языковой структуры. В частности, афазии с несомненностью говорят о функционировании фонологических различительных признаков как иерархически построенной системы [63].

В специальных работах по афазиологии и общей лингвистике [64]

---

[62] J a k o b s o n R. Coup d'oeil sur le développement de la sémiotique. Bloomington, Indiana, 1975.

[63] Л у р и я А. Р. Основы нейропсихологии. М., 1973, с. 151—155; В и н а р с к а я Е. Н. Клинические проблемы афазии. М., 1971, с. 22—24, 156—157, 165.

[64] L u r i a A. R. The contribution of linguisties to the theory of aphasia.— In: „Roman Jakobson: Echoes of his Scholarship". Lisse: The Peter de Ridder Press, 1977,

особое внимание было обращено на введенное Р. Якобсоном и осмысленное им в общесемиотическом плане различие между нарушениями операций выбора элементов языка по сходству и комбинирования элементов языка по смежности. Проявляющееся в этом различие двух осей языка (парадигматической и синтагматической) Якобсон сопоставляет с аналогичными различиями (условно говоря, метафорической и метонимической установок) в ряде других знаковых систем — от мифа и ритуала до символики бессознательного и кино. Хотя эти сопоставления (как и многие другие общесемиотические выводы Якобсона) изложены им весьма лаконично, в них можно видеть эскиз целой серии семиотических исследований, отчасти уже начатых его последователями.

Афазиологические труды Якобсона привели его и к обсуждению проблемы соотношения языка и мозга в целом, особенно его занимавшей в последние годы жизни. Большое впечатление на него произвели исследования покойного Л. Я. Балонова и его сотрудников, где на материале односторонних электросудорожных шоков было убедительно показано различие функций правого и левого полушария по отношению к слуху и речи. Якобсон был хорошо подготовлен к усвоению выводов этих работ, так как в свое время он внимательно изучил работы Х. Джексона — замечательного английского невролога прошлого века, на столетие опередившего науку своего времени — и в понимании функций двух полушарий, и в ряде других проблем, пограничных с лингвистикой. Обдумывая набор иллюстраций к задумывавшейся им итоговой книге „Звук и значение“, Якобсон всегда говорил и о том, что рядом с портретами таких уже признанных первооткрывателей в лингвистике прошлого века, как Бодуэн де Куртене, хотел поместить и портрет Джексона: его он считал одним из самых проницательных исследователей языка.

Основная ценность последних трудов Якобсона, посвященных соотношению языка и мозга, заключается в их общесемиотической ориентированности. Прочитав статью наших исследователей Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой, где намечены особые связи одного из полушарий с временными соотношениями, Якобсон телеграммой попросил срочно прислать ему книгу этих авторов [65]. Позднее он пояснил, что его заинтересовала возможность конкретизации на исследованном ими материале предположения Пирса, согласно которому символы связаны с будущим [66] (проблема будущего для Якобсона с его „будетлянских“ времен оставалась центральной). В этом духе он хотел бы интепретировать и гипотезу о преимущественной связи речевого левого полушария с планированием будущего поведения.

Одну из поздних своих работ, наиболее удавшихся по методу и

---

pp. 237—251; Винарская Е. Н. Указ. раб.; Кацнельсон С. Д. Указ. раб., с. 122.

[65] Доброхотова Т. А., Брагина Н. Н. Функциональная асимметрия и психопатология очаговых поражений полушарий мозга. М.: Медицина, 1977.

[66] Jakobson R. A few remarks on Peirce, pathfinder in the science of language.— In: Jakobson R. The framework of language, p. 38.

результатам, Якобсон посвятил проблемам, пограничным между лингвистикой и психиатрией. Вопрос об особенностях языка при шизофрении он исследовал на материале творчества великого немецкого поэта Гёльдерлина, который после начала своей болезни продолжал писать стихи, по языку существенно отличающиеся от предшествующего его творчества. Как установил Якобсон, главное отличие состоит в полном отсутствии шифтеров — показателей 1 и 2 лица, на которых строилась грамматическая структура предшествующих стихотворений [67]. Якобсон писал по поводу этого основного вывода своей работы: «В тяжело больном поэте нашла себе максимальное проявление утрата способности и воли к диалогической речи, и характернейший признак этой утраты — полное исчезновение „шифтеров", в частности грамматических лиц и времен. Я убежден, что эта первая рекогносцировка должна положить начало последовательным лингвистическим разысканиям о психопатологической речи и поэзии и что такие сравнительные разыскания, в частности, необходимы для всестороннего понимания языка в роли инструмента взаимной коммуникации и личного познания» [68].

С осуществлением последней, более общей задачи связана и работа Якобсона о языке и бессознательном. Эта тема занимала Якобсона задолго до того, как он принял участие в тбилисском симпозиуме, посвященном бессознательному. Следует отметить, что эта область исследований в последние десятилетия испытала особенно значительное влияние идей Якобсона и всего основанного им лингвистического направления. Лакан, на протяжении многих лет возглавлявший французскую школу психоанализа, стремился переосмыслить его именно на лингвистической основе, используя в качестве модели труды Якобсона. Самого же Якобсона занимала другая проблема в лингвистике, как он показывает в своем тбилисском докладе, ставшая давно традиционной: выяснение того, в какой мере язык используется бессознательно. В этот круг вопросов, по Якобсону, входит и гипотеза Сепира — Уорфа о предопределенности модели мира языком.

Помимо конкретных проблем, общих у языкознания с некоторыми из наук биологического цикла, Якобсона в последние годы особенно занимали представлявшиеся ему несомненными общие аналогии в структуре языка и генетического кода. Эти идеи Якобсона вызвали большой интерес у крупнейших специалистов по молекулярной биологии [69]. Но, возможно, что в той конкретной форме, которую предполагал Якобсон, зависимость одного кода (лингвистического) от другого (генетического) и не имела места. Однако исследования Якобсона, подытоженные в ряде его работ последних лет, впервые наметили место лингвистики во всей совокупности современных естественных и гу-

---

[67] Jakobson R. Hölderlin. Klee. Brecht (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 162). Baden-Baden, 1976, SS. 27—96.

[68] Jakobson R., Pomorska K. Op. cit., p. 132.

[69] Jacob F. The linguistic model in biology.— In: Roman Jakobson: Echoes of his Scholarship, 1977, pp. 185—192.

манитарных наук. Этот цикл работ Якобсона имеет значение, выходящее далеко за границы лингвистики как таковой.

Размеры этой статьи не позволяют коснуться многих существенных областей деятельности Якобсона, выше совсем не названных или упомянутых только мимоходом. Ему принадлежит целая серия исследований и очерков по истории лингвистики. Идеи многих недостаточно оцененных по достоинству или полузабытых ученых были им соотнесены с нынешним состоянием науки. Одни его разыскания по материалам архива Соссюра (в частности, по анаграммам, ценность открытия которых Соссюром оценил впервые именно Якобсон) заслуживают специального изучения. Ученый, так много сделавший для открытия незаслуженно забытых больших лингвистов, сам должен быть оценен своевременно [70].

Многие работы Якобсона за последние двадцать лет были изданы в русском переводе в различных сборниках. Настоящее издание не ставит задачу повторения уже изданных ранее работ, а, напротив, добавляет к уже известным русскому читателю новое, ориентируясь преимущественно на общелингвистические труды Якобсона. Но и это можно считать только началом. Для полного знакомства с лингвистическим наследием Якобсона потребуется, вероятно, продолжение, которое должно включить, кроме других его общелингвистических работ, также и все его специальные работы по славянскому и русскому языкознанию. Только тогда наследие большого лингвиста будет предоставлено русскому читателю в достаточном объеме.

Вяч. Вс. Иванов

---

[70] Первый опыт посмертной оценки трудов Р. О. Якобсона представляет сборник, включающий статьи ряда лингвистов (среди них статьи К. Уоткинса, М. Халле, Н. Хомского) и таких крупных этнологов, как Э. Лич: „A tribute to Roman Jakobson, 1896—1982“, New York, 1983.

Из сборника видно, как начинают осмыслять значение наследия Р. О. Якобсона для развития науки нашего времени.

ЗВУК И ЗНАЧЕНИЕ *

I

Вы, конечно же, помните знаменитое стихотворение Эдгара По „Ворон“ (The Raven) и меланхоличный рефрен этого стихотворения „Nevermore“ (‘никогда’). К этому слову, единственному слову, которое произносит мрачный гость, сводится, как подчеркивает поэт, «весь запас его знаний». Хотя эта вокабула и состоит всего из нескольких звуков, у нее тем не менее очень богатое семантическое содержание. Она выражает отрицание: того, что было, уже не будет, не будет никогда. Это зловещее слово, состоящее из семи звуков — семи, поскольку По настаивает на конечном r, которое, как он считает, является «самой энергичной (most producible) согласной»,— этот рефрен обладает достаточной силой, чтобы перенести нас в будущее, более того — в вечность. Действительно, этот рефрен раскрывает для нас очень многое, но еще больше он от нас скрывает; у него много потенциальных значений, а также различных частных значений, выводимых из контекста диалога или из самой ситуации. Если вообще отвлечься от контекста, то мы можем интерпретировать этот рефрен самыми различными способами. «Я внимательно следил за тем,— пишет поэт,— чтобы мысли непрерывно следовали друг за другом. Я пытался понять, что хочет выразить своим криком, своим Nevermore (никогда), эта вещая древняя птица, эта угрюмая, уродливая, мрачная, тощая, вещая птица давних времен! Так я сидел, теряясь в мечтах и догадках... Я хотел понять...» И поскольку наш рефрен появляется каждый раз

---

* Roman J a k o b s o n. Six leçons sur le son et le sens. Paris, 1976.

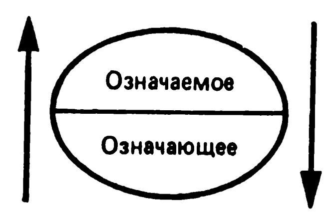
Настоящая работа представляет собой письменный текст лекций, прочитанных Р. Якобсоном в 1942 г. в École libre des hautes études, организованной находящимися во время войны в Нью-Йорке французскими и бельгийскими учеными. Впервые эти лекции (с некоторыми редакционными поправками) были опубликованы только в 1976 г. в Париже в серии „Arguments“ издательством „Les Éditions de Minuit“.— *Прим. ред.*

в новом контексте, значение его все время меняется: ты больше никогда ее не забудешь, ты никогда не обретешь душевный покой, ты больше никогда не обнимешь ее, я больше никогда тебя не покину! Кроме того, это слово может употребляться как имя собственное, как символическое имя, данное автором своему ночному гостю.

Но семантика этого слова (его общее значение и окказиональные, контекстно-обусловленные значения) не охватывает всей его значимости. Эдгар По нам рассказывал, что именно ономатопоэтический потенциал, заложенный в звуках слова nevermore, вызвал у него ассоциацию с криком ворона и даже вдохновил на создание этого стихотворения. И наконец, несмотря на то что поэт не стремится нарушить единство и монотонность рефрена и каждый раз звучит строка «Каркнул ворон: „Nevermore!"», не вызывает сомнения тот факт, что различные звуковые средства языка, такие, как мелодика речи с ее модуляциями, интенсивность и темп речи, оттенки в артикуляции отдельных звуков и их сочетаний,— что все эти разнообразные средства позволяют в любом случае влиять количественно и качественно на эмоциональную значимость слова.

Рефрен Эдгара По состоит всего из нескольких артикуляций, или, если мы перейдем от артикуляторного аспекта речи к акустическому,— из небольшого числа колебательных движений, необходимых для восприятия этого слова. Короче говоря, минимальных звуковых средств достаточно для того, чтобы донести до слушающего богатое в семантическом, эмоциональном и эстетическом плане содержание. И тут мы сталкиваемся с таинством мысли, воплощенной в звуковой материи, с загадкой слова, языкового символа, Логоса, с тайной, которую нужно раскрыть.

Разумеется, мы давно уже знаем, что слово, как и любой другой языковой знак, является двусторонней сущностью. С одной стороны, это звуки — его материальная сторона, с другой — это смысл — его содержательная, „духовная" сторона. Все слова и вообще все языковые знаки являют собой единство звука и значения, или, иначе говоря, единство означающего и означаемого, единство, которое обычно схематически изображают так:



Но если сам факт такого объединения совершенно очевиден, структура его остается еще малоизученной. Последовательность звуков является носителем смысла, но каким образом звуки справляются с функцией «носителя»? Каковы в точности отношения между звуками и значением внутри слова и вообще в языке? И наконец, необходимо выделить минимальную, неделимую звуковую единицу, наделенную зна-

чением, или, если так можно выразиться, найти языковой квант. Но несмотря на всю фундаментальную важность этого комплекса проблем для науки о языке, они совсем недавно стали объектом углубленного и систематического исследования.

Разумеется, не следует забывать о блестящих догадках о роли звука в речевой деятельности, разбросанных по страницам трудов античных философов Древней Греции и Рима, а также средневековых мыслителей, например, об идеях одного из самых блестящих и глубоких исследователей в области философии языка — Фомы Аквинского. Тонкие наблюдения принадлежат также языковедам Древнего Востока, в особенности древнеиндийским ученым. Но только в течение двух последних столетий наша наука посвятила себя подробному и последовательному изучению вопроса о роли звука в речевой деятельности.

Сначала интерес к звукам речи был связан с чисто практическими целями. Эти вопросы рассматривались в теории пения или в рамках преподавания языка глухонемым. Изучением звукообразования как одной из множества проблем, связанных с физиологией человека, занимались врачи. Но в XIX в., по мере того как развивалась наука о языке, именно она взяла на себя все, что было связано с проблемой звуков в речевой деятельности. Этот раздел языкознания был назван *фонетикой*. Сенсуальный эмпиризм, в своем самом наивном проявлении слепо прикованный к внешнему опыту, прочно укоренился в языкознании второй половины прошлого века, и, естественно, содержательные аспекты языковой деятельности, смысл, мир значений исчезли перед лицом того, что мы могли непосредственно воспринять, того, к чему можно было прикоснуться, то есть перед материальной стороной речевой деятельности, перед звуковой материей. Изучение значений, семантика, осталась далеко позади, в то время как фонетика переживала период бурного развития и даже претендовала на ведущую роль в науке о языке. Самое ортодоксальное и типичное направление лингвистической мысли того времени, так называемая школа младограмматиков, занимавшая ведущие позиции начиная с последней четверти XIX в. вплоть до начала первой мировой войны, практически исключила из рассмотрения, в рамках нашей науки, все вопросы, связанные с целевой установкой. Ученые изучали первопричины различных явлений в области языка, но упорно обходили вопрос об их назначении. Лингвистические исследования не касались вопроса о месте языка в нашей культуре. Когда одному из самых видных представителей младограмматического направления задали вопрос о содержании литовской рукописи, которую он только что подробно изучил, он смутился и ответил: «Что касается содержания, то я не обратил на него внимания». В то время основное внимание уделялось *формам* без учета их *функций*. Самым интересным и симптоматичным в учении младограмматиков было то, как они представляли себе звуки речи. Это представление полностью согласуется с духом их эпохи, пронизанным эмпиризмом и натурализмом. Преднамеренно упускался из виду тот факт, что речь идет об означающем, поскольку лингвистов

интересовала отнюдь не функция звуков в языке, а звуки как таковые, звуки «сами по себе», без учета их роли в языке.

Звуки речи, если подходить к ним как к эмпирической данности, можно рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения звукообразования и с акустической точки зрения. Какова непосредственная цель акта фонации? Акустический эффект или звукообразование само по себе? Совершенно очевидно, что говорящий направляет все свои усилия на получение акустического эффекта и что только акустическое явление непосредственно доступно слушающему. Я говорю для того, чтобы быть услышанным. Таким образом, из двух аспектов речевой деятельности в межсубъектном, социальном плане значим прежде всего акустический аспект, в то время как звукообразовательный аспект, иначе говоря работа речевого аппарата, является просто физиологическим условием физического явления. Фонетика эпохи младограмматиков занималась прежде всего *артикуляцией* звука, а не его акустической стороной. Другими словами, внимание исследователей было сосредоточено не на самом звуке, а на его подготовке, на его получении, и именно артикуляция лежала в основе описания и классификации звуков. Такая точка зрения может показаться странной и неправильной, но она естественно вписывается в контекст учения младограмматиков. Для этой теории, так же как и для всех ведущих научных течений того времени, генетическая концепция была единственно возможной. Предпочтение в научных исследованиях отдавалось не самому объекту, а условиям его возникновения. Описание того или иного явления подменялось отсылкой к его истокам. Так, вместо того чтобы изучать звуки речи, исследователи занимались исторической фонетикой, то есть поиском прототипов этих звуков на более ранних стадиях развития данного языка. С другой стороны, так называемая статическая фонетика сводилась к наблюдениям над голосовым аппаратом и его функционированием. Фонетика как научная дисциплина была присоединена к лингвистике, несмотря на очевидную разнородность двух своих составных частей. Лингвисты стали часто некомпетентно использовать данные из области физиологии. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Известный фонетист Эдвард Скрипчер, имевший также и медицинское образование, с иронией цитировал довольно распространенное описание одной из гортанных артикуляций, которая, если бы это ее описание было верным, неминуемо привела бы к смерти от удушия говорящего! Но, оставив в стороне подобного рода ошибки, можно задаться вопросом о том, какие вообще результаты могут быть получены путем исследования артикуляционного аспекта речевой деятельности.

Даже и тогда, когда первоначально лингвисты стремились описать звуки с сугубо натуралистических позиций и ни в коем случае не касаться вопроса о функции звуков в языке, они тем не менее бессознательно учитывали собственно языковые критерии в вопросе о классификации звуков речи и в особенности в вопросе о фонетическом членении речи. Это невольное протаскивание чуждой идеологии легко сходило с рук еще и потому, что лингвисты, так же как и психологи

того времени, недооценивали роль бессознательного в научных исследованиях, и особенно то огромное значение, которое имеет этот фактор во всем, что связано с языком. Но по мере того как совершенствовалась методика наблюдения над процессом звукообразования, по мере того как использование специальных инструментов приходило на смену сугубо субъективному опыту, данные физиологии все дальше и дальше оттесняли свой языковой коррелят.

С конца прошлого века начинается бурное развитие инструментальной или экспериментальной фонетики (последний термин менее точный, но более употребительный). При помощи растущего числа все более совершенных технических приспособлений удается достичь исключительной точности в исследовании всех факторов ротовой артикуляции и в измерении объема выдоха. Рентгенография открыла новую эру в изучении физиологии речи. Звуковая киносъемка с использованием рентгенографии показывает работу артикуляторного аппарата во всех подробностях, раскрывает весь механизм зарождения *звука*, все фазы акта фонации становятся доступными наблюдению, и мы можем проследить за ним с начала до конца. Когда этот метод станет более доступным для фонетистов как в практическом, так и в техническом отношении, многие привычные фонетические приборы станут совершенно ненужными.

Именно при помощи рентгенографии была выявлена важная роль задних частей артикуляторного аппарата, труднодоступных и плохо поддающихся изучению обычными методами экспериментальной фонетики. До использования рентгенографии имелись только весьма нечеткие сведения, например о работе подъязычной кости, надгортанника, глотки и даже мягкого неба во время акта фонации. Исследователи подозревали, что эти факторы, и в особенности работа глотки, играют существенную роль в процессе звукообразования, но точными данными они не располагали. Напомним, что глотка — это перекресток, от которого кверху отходит проход в полость рта и проход в полость носа, а вниз — к гортани. Оба верхних прохода открываются и закрываются при помощи нёбной занавески, тогда как доступ в нижний проход открывается и закрывается при помощи надгортанника. Несколько десятилетий назад известный лингвист и фонетист Людвиг Зюттерлин, рассматривая вопрос о роли глотки в процессе образования звука, писал в своем учебнике: «По всей видимости, глотка играет очень важную роль в производстве звука, поскольку она может сужаться и расширяться, но до сих пор мы не располагаем никакими точными данными об этом»*.

Сейчас, и этим мы обязаны в основном последним работам французских и чешских фонетистов, использующих рентгенографию, мы располагаем достаточно полной информацией о работе глотки в процессе образования звука и можем утверждать, что с точки зрения фонетики роль глотки не менее значительна, чем, например, роль губ, обнаруживающих с ней некоторое сходство. Эти новые эксперимен-

---

* Ludwig Sütterlin, Die Lehre von der Lautbildung. Leipzig, 1908.

тальные данные показывают, что до тех пор, пока в исследованиях по физиологии речи будет неправильно оцениваться роль глотки и смежных факторов, полученные описания будут носить фрагментарный и неадекватный характер. Физиологическая классификация звуков речи, со всей тщательностью учитывающая все степени раствора рта, но не принимающая во внимание степень раствора глотки, может только ввести нас в заблуждение. Фонетисты всегда обращали большее внимание на работу губ, а не на работу глотки не потому, что было установлено, что один из этих факторов существеннее другого. Надо отдавать себе отчет в том, что в рамках физиологии речи, если не обращаться к данным других областей, невозможно установить иерархию рассматриваемых ею факторов. Следовательно, фонетисты учитывали в своей классификации звуков речи лабиальный фактор и не учитывали фарингальный только потому, что первый был более доступен наблюдению, чем второй. Изучение звукообразования, расширяя область своих исследований и становясь все более точной научной дисциплиной, расщепляло анализируемые звуки на слишком большое количество разнообразных частей, причем в пределах самой этой науки невозможно было дать ответ на главный вопрос, а именно — какова с точки зрения языка значимость каждого из этих многочисленных факторов. Анализируя различные звуки в рамках одного языка или в разных языках, артикуляторная фонетика обрушивает на нас колоссальное количество самых разнообразных деталей; у нас нет критериев для определения функции и степени важности каждой из них. Таким образом, в рамках этой науки невозможно увидеть инварианты во всем разнообразии вариантов.

Но изоляция звука речи в целях его изучения — прием искусственный. Как показал Фердинанд де Соссюр, фонетика, в виду того что объектом ее исследования является акт фонации, то есть звукообразование при помощи органов речи, не может пользоваться этим приемом. В курсе общей лингвистики, который Ф. де Соссюр читал с 1906 по 1911 г. и который был опубликован его учениками Шарлем Балли и Альбером Сеше уже после кончины Соссюра (1913), великий лингвист со свойственной ему прозорливостью пишет: «Если бы оказалось возможным при помощи киносъемки воспроизвести все движения рта и гортани, порождающие звуковую цепочку, то в этой смене артикуляций нельзя было бы вскрыть внутренние членения: начало одного звука и конец другого. Как можно утверждать, не прибегая к акустическому впечатлению, что, например, в звукосочетании *fal* имеется три единицы, а не две или четыре?» Соссюр предполагал, что, воспринимая акустическую цепочку, мы всегда можем сказать, остается ли звук самим собой или это уже другой звук. Однако, как показали более поздние исследования, акустические данные сами по себе не могут служить основой для установления внутренних членений между разными единицами в речевой цепочке: это возможно только с учетом языковой значимости этих данных. Большая заслуга Соссюра состоит в том, что он понял, что мы, сами того не сознавая, уже имеем представление о значимости акустических данных, когда, изучая акт

фонации, сталкиваемся с фонетическими *единицами* или когда производим членение речевой цепочки. Примерно через двадцать лет после смерти Соссюра был снят фильм, который он так хотел увидеть. Немецкий фонетист Пауль Мензерат сделал рентгенокиносъемку работы артикуляторного аппарата с синхронной звукозаписью, и этот фильм полностью подтвердил предсказания Соссюра. Воспользовавшись этой лентой, а также новейшими данными в области экспериментальной фонетики, Мензерат и его коллега из Португалии Армандо Ласерда показали, что речевой акт — это постоянное, безостановочное движение („Koartikulation, Steuerung und Lautabgrenzung", 1933). В противоположность традиционному различию двух типов звуков — *устойчивых*, для которых характерна выдержка с остановкой, и *переходных*, у которых нет устойчивой выдержки и которые возникают при переходе от одной устойчивой позиции к другой, — Мензерат и Ласерда показали, что в действительности все звуки являются переходными. Что касается речевой цепочки, то они пришли к еще более парадоксальному выводу. Если рассматривать речевую цепочку только с артикуляционной точки зрения, то вообще нельзя говорить ни о какой последовательности звуков. Звуки не следуют друг за другом, — они переплетаются друг с другом: артикуляция звука, который по акустическим впечатлениям следует за некоторым другим звуком, может происходить одновременно с артикуляцией последнего или частично даже до нее. Каким бы интересным и важным ни было изучение звуков речи с чисто артикуляционной точки зрения, мы каждый раз убеждаемся в том, что для лингвистики это всего лишь вспомогательный инструмент и что не там следует искать принципы, организующие звуковую субстанцию языка.

Уделяя основное внимание артикуляционному аспекту речевой деятельности, фонетисты тем не менее не могли недооценивать того самоочевидного, не требующего никаких доказательств факта, что звук как таковой имеет акустическую природу. Но они полагали, что, изучая образование звуков вместо самих звуков, можно получить артикуляционный эквивалент акустического явления, а этот эквивалент, как считал, например, Пьер Руссло, доступнее, информативнее, и способов для его анализа у нас значительно больше. Предполагалось также, что между этими двумя аспектами существует строгий параллелизм и что, имея систематическое описание данных физиологии, можно получить систематическое описание, совершенно адекватно отображающее данные акустики: последнее, таким образом, совершенно автоматически получалось из первого. Но рассуждения такого рода, которые можно услышать и в наши дни и которые чреваты существенными последствиями для нашей науки, вступают в прямое противоречие с фактами и должны быть опровергнуты самым решительным образом. Против такого утверждения уже выдвигались контраргументы, причем довольно давно, еще до появления первого руководства по фонетике. В этой связи следует прежде всего упомянуть книгу под названием „Аглоссостомография, или описание рта без языка, способного говорить и естественным образом выполнять все прочие

свои функции", увидевшую свет по Франции в 1630 г.* В 1718 г. Жюссьен опубликовал в „Мемуарах Королевской Академии Наук" трактат под названием „О девушке без языка" **. В этих трудах подробно описываются люди, имеющие вместо языка только маленький отросток. Они тем не менее могут безупречно произносить все звуки, которые сейчас в фонетике принято называть „язычными" и в артикуляции которых активная роль принадлежит языку. С тех пор эти странные факты получили множество подтверждений. Так, еще в самом конце прошлого века один из наиболее известных специалистов в области патологии речи, врач Герман Гутцман был вынужден признать, что, хотя мы и используем одно и то же слово „язык" для обозначения органа, находящегося во рту, а также для обозначения лингвистического понятия, второе может прекрасно существовать без первого; он вынужден был признать также, что все произносимые нами звуки могут быть получены в случае необходимости совсем иным путем, причем это никак не отразится на акустическом эффекте***. Если же один из органов, призванных участвовать в звукообразовании, не может справиться со своей функцией, он подменяется другим, причем слушающий этого не замечает. Гутцман тем не менее считал, что есть исключения из этого правила. Так, свистящие — фрикативные z, s и соответствующие аффрикаты — требуют участия зубов. Но более поздние исследования показали, что это лишь кажущиеся исключения. Директор венской клиники речевых расстройств Годфрей Е. Арнольд показал в „Archiv für gesamte Phonetik" (III, 1939), что даже после потери передних зубов произношение свистящих не нарушится, если у человека нормальный слух. Если зубная аномалия вызывает искажения в произношении, то это свидетельствует лишь о том, что здесь налицо нарушения слуха, и именно эти нарушения не позволяют функционально компенсировать физический недостаток.

Кристоф Хелльваг, один из выдающихся первооткрывателей в области артикуляционной фонетики (ему принадлежит открытие треугольника гласных), предвидел это обстоятельство и написал об этом важном открытии в своей диссертации „De formatione loquelae" (Тюбинген, 1781). В самом начале своей книги он вдруг задает следующий вопрос: если действительно наша способность говорить объясняется тем, что у нас есть органы речи, то как в таком случае мог Змий, не имеющий соответствующих органов, вести беседу с Евой? Вместо этого курьезного вопроса можно задать другой, по сути своей равнозначный первому, но более прозаический по содержанию. Фонетика стремится описать звуки речи на основе различного рода сужений и смычек — с нёбом, зубами, губами и т. д. Но если место образования различных звуков имеет такое большое значение, если оно действитель-

* Франц. назв. „Aglossostomographie ou description d'une bouche sans langue qu'elle parle et fait naturellement toutes ses autres fonctions", 1630.

** J u s s i e u. Sur la fille sans langue.— In: „Mémoires de l'Académie royale des sciences", 1718.

*** Hermann G u t z m a n n. Des Kindes Sprache und Sprachfehler. Leipzig, 1894.

но играет решающую роль, то как удается попугаю так точно воспроизводить многие звуки нашей речи, несмотря на то, что его артикуляторный аппарат так сильно отличается от нашего? Все эти факты подводят нас к очень простому выводу, который, однако, игнорируется в большинстве трудов по фонетике. Невозможно построить классификацию звуков, более того, невозможно даже правильно описать различные артикуляции, не решив вопроса об акустической функции того или иного артикуляционного движения.

Описывая согласные, фонетисты аккуратно определяли место их образования и классифицировали их по рангам, именно в зависимости от места их образования в полости рта: сначала лабиальные, затем дентальные, за ними палатальные и, наконец, велярные, место образования которых находится за твердым нёбом. Долго оставался непонятным факт частого перехода велярных в лабиальные или лабиальных в велярные. В качестве объяснения иногда приводился мистический довод о том, что «крайности сходятся». Но если не рассматривать место образования как самоцель и задаться вопросом, какова его роль, то мы тут же увидим, что в зависимости от места образования могут быть получены два разных типа резонаторов: при артикуляции лабиальных (в области губ) и велярных (в области мягкого нёба) образуется удлиненный резонатор без внутренних делений, тогда как при артикуляции дентальных и палатальных ротовой резонатор делится с помощью языка на два коротких отсека.

Но в соответствии с законами акустики характерный тон повышается, если уменьшается объем резонатора. Следовательно, как велярным, так и лабиальным соответствует удлиненный резонатор, и, стало быть, низкая тоновая настройка. Этим объясняются такие факты, как переходы lact-/lapt и direct/drept в румынском, которые долго были загадкой для исследователей. Кроме того, возможность получить один и тот же акустический эффект при помощи разных артикуляционных средств (в особенности, когда речь идет о функциональной компенсации дефектов органов речи) позволяет нам и, я бы сказал, призывает нас заняться поисками того общего, что характерно для различных артикуляций, что обусловливает тождественность их акустических эквивалентов, что составляет суть артикуляции, является ее константой, ее значимым элементом.

А акустическая фонетика существует уже давно. Физики изучают звучащую речь, и в особенности акустические свойства гласных, еще с середины XIX века. Но, в отличие от артикуляторной фонетики, акустическая фонетика не оставила следа в традиционной лингвистике и, в частности, никак не была отражена в работах младограмматиков. Как мы уже говорили, это может отчасти объясняться генетической направленностью лингвистики того времени, а также и излишней гипотетичностью и некоторой неуверенностью первых работ в области акустики речи. Но за последние двадцать — тридцать лет акустическая фонетика сделала большой, хочется даже сказать — огромный, шаг вперед. Множество факторов способствовало этому развитию, в частности совершенствование методов „эмпирического описания“ в

современной психологии и в современной феноменологии, совершенствование, которое нашло свое отражение, в частности, в основополагающих трудах Вольфганга Кёлера * и Карла Штумпфа **. Нам надлежит полнее использовать результаты акустических исследований в области телефонии, радио и звукового кинематографа, проводимых в Европе и в особенности в Соединенных Штатах, а также освоить новые точные приборы, созданные для этих целей, такие, как спектрографы, осциллографы и т. п. Благодаря телефону, патефону и в особенности радио мы привыкли воспринимать звучащую речь в отрыве от говорящего. Акт фонации как таковой исчезает, уступая место своему звучащему продукту и именно последний вызывает сейчас все больший и больший интерес.

Хотя экспериментальная фонетика и называется „экспериментальной", изучение артикуляции при помощи различных приборов остается, по крайней мере в подавляющем большинстве случаев, научной дисциплиной, основанной на простом наблюдении фактов, в отличие от современной акустики, где очень широко используется эксперимент. Звуки фильтруются, их можно, по желанию, рассматривать без некоторых составляющих, их можно раскладывать на составляющие и вновь складывать из них. В XVIII в. исследователи, делавшие первые шаги в области фонетики, пытались создать говорящую машину, имитирующую наш речевой аппарат. В наши дни уже удается синтезировать звуки речи, воспроизводя их различные акустические компоненты при помощи специальных приспособлений. Пусть это еще не гомункулус, но по крайней мере фонетическую субстанцию его речи нам удалось получить. Впервые звуки речи издаются машиной, а не человеком. Однако по этому пути, по пути акустического эксперимента, можно пойти еще дальше. Возможности звукового кинематографа позволят нам сильно продвинуться в этом направлении. Звуки речи, представляющие собой с физической точки зрения сложное колебательное движение в воздушной среде, источником которого являются органы речи, воспроизводятся в зрительных образах на звуковой дорожке, идущей параллельно изображению на пленке звукового фильма. Те, кто внимательно изучали звуковую дорожку на пленке, знают, что каждый звук, запечатленный на дорожке, имеет свои характерные оптические свойства. Они настолько ярко выражены, что люди, постоянно работающие в кинематографе, могут считывать реплики прямо со звуковой дорожки. Во время демонстрации фильма эти зрительные отпечатки звуков снова превращаются в акустические образы. Этот прием можно использовать в рамках фонетического эксперимента. Зная зрительный образ каждого звука, можно просто «рисовать» звучащую речь, а потом при помощи киноаппаратуры превращать эти рисунки в звучащую субстанцию. Так, например, можно синтезировать слова, которые вообще никто никогда не произносил.

---

* См. Wolfgang K ö h l e r. Akustische Untersuchungen.— „Zeitschrift für Psychologie", 1910—1915.

** Carl S t u m p f, Die Sprachlaute, Berlin, 1926.

Но следует ли при этом ограничиваться точной имитацией реально существующих звуков речи? Рисуя звуки, можно по-разному влиять на них, деформируя их зрительный образ, и получать при этом доселе неизвестные акустические разновидности.

Акустическая фонетика прогрессирует изо дня в день. Средствами этой науки можно дать объяснение множеству загадок, связанных со *звуком*, загадок, которые оказались не под силу артикуляторной фонетике. Но несмотря на то что ее возможности в области синтеза речи намного превышают возможности последней, она тем не менее не может служить автономной основой для систематизации и классификации звуков речи. В принципе она сталкивается с теми же трудностями, что и артикуляторная фонетика. Сначала акустика рассматривала звуки в терминах ограниченного числа признаков. Это не значило, однако, что привлекаемые признаки выявляют самые существенные особенности рассматриваемых звуков. Ограничения были вызваны тем, что аналитические возможности новой научной дисциплины были еще очень скромны. Но если мы обратимся к какой-нибудь хорошей современной работе по акустической фонетике, например к прекрасной монографии Антти Совиярви о финских гласных и носовых *, то на нас снова обрушится колоссальное количество деталей, характеризующих каждый звук: звук раскалывается на бесконечное множество разнообразных частиц. В рамках акустики, так же как и в артикуляционной фонетике, мы не в состоянии сориентироваться в этом хаосе, мы не можем выявить значимые, существенные свойства звука, указать их неотъемлемые характеристики. Акустика позволяет нам получить поразительно точное микрографическое изображение каждого звука, но она не может интерпретировать это изображение, она не в состоянии использовать собственные данные, они для нее как иероглифы на непонятном языке. Когда, как это обычно бывает, два звука обнаруживают как сходства, так и различия, мы не можем, используя только акустические данные, отдать предпочтение сходству или различию, поскольку акустика не располагает собственными критериями, позволяющими отличить существенное от несущественного. Мы так и не узнаем, идет ли речь о двух вариантах одной единицы или о двух самостоятельных единицах.

Такая ситуация является критической не только для инструментальной акустики, но и для любой транскрипции, сделанной на слух, поскольку транскрипция текста опирается только на слуховые впечатления. Транскрипции, в которых мы стремимся запечатлеть все, даже самые тонкие, трудноуловимые, а также случайные нюансы произношения, являются, как отмечает Антуан Мейе, трудными для чтения и тяжелыми для печати. И речь здесь идет не только о технических трудностях. Нас снова мучает проблема выделения звуковых единиц из наблюдаемого разнообразия вариантов; пока не будет решен этот не дающий покоя вопрос, не может быть системы, не может быть и

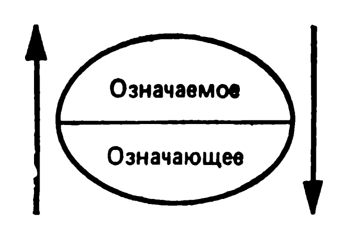
* См. Antti S o v i j ä r v i. Die gehaltenen, geflüsterten und gesungenen Vokale und Nasale der finnischen Sprache, Helsinki, 1938.

классификации: звуковая материя языка обращается в прах. Когда мы ставили аналогичную проблему для артикуляторной фонетики, нам пришлось прибегнуть к внешнему критерию и поставить вопрос о непосредственной цели артикуляции звуков, или, точнее, об акустической цели. На сей раз мы задаем тот же вопрос о назначении звука, только звук мы рассматриваем теперь как физическое явление. Задав этот вопрос, мы уходим из области означающего, покидая пространство чистых звуков, и попадаем в область означаемого, в пространство значений. Как было сказано выше, мы говорим для того, чтобы быть услышанными. Теперь к этому следует добавить, что мы хотим быть *услышанными*, для того чтобы нас поняли. Мы проходим путь от акта фонации к *звуку* как таковому и от звука к значению! И тут мы покидаем область фонетики, научной дисциплины, изучающей звуки только с артикуляционной и акустической точек зрения, и вступаем в область фонологии, которая занимается изучением звуков речи с точки зрения системы языка.

Сто лет назад русский писатель-романтик Владимир Одоевский написал повесть о человеке, которого маг наградил способностью все видеть и все слышать: «Все в природе разлагалось пред ним, но ничто не соединялось в душе его», и звуки речи несчастный воспринимал как лавину артикуляторных движений и механических колебаний, лишенных смысла и цели. Нельзя было более точно предвидеть и более проникновенно описать торжество слепого эмпиризма! В своих лабораториях ученые-эмпирики расчленяли звуковые средства языка на множество микроскопических данных, которые они потом с усердием измеряли, сознательно забывая об их назначении, о цели их существования. В соответствии с этими тенденциями специалисты в области стихосложения того времени утверждали, что поэзию можно изучать, только забыв язык, на котором говорил поэт, забыв о смысле стихотворного текста. Изучение звуков речи теряло связь с одной из важнейших лингвистических проблем, с вопросом об их значимости как языковых знаков. Отталкивающая картина хаотического скопления признаков, как и следовало ожидать, привела к возникновению антитезы, к провозглашению принципа организующей единицы. Фонология, по словам выдающегося французского лингвиста Антуана Мейе, «избавила нас от некоего кошмара, долго довлевшего над нами».— В следующем разделе мы постараемся уточнить, что такое фонология и как ей удается связать проблему звука с проблемой значения.

II

Мы знаем, что слова, как и все языковые знаки, являются двусторонними сущностями. Языковые знаки представляют собой объединение звука и значения, или, другими словами, единство означающего и означаемого. Обычно это иллюстрируется следующей схемой:



Справедливо принято считать также, что оба эти элемента теснейшим образом связаны между собой и каждый из них предполагает существование другого, как на то указывают стрелки в схеме. В качестве примера рассмотрим слово, которое пишется pain (франц. 'хлеб'). Это написание, то есть способ воспроизведения этого слова средствами письма, является традиционным, оно уходит корнями в историю и уже не соответствует современному произношению. Поэтому в некоторых словарях в скобках приводится также более или менее точная фонетическая транскрипция этого слова. Какова же теперь звуковая форма этого слова? Его означающим будет pɛ̃ (согласный *p* плюс *носовой* гласный). Затем в словарях указывается, что́, собственно, означает это слово: «Пищевой продукт, выпекаемый из теста, приготовленного из муки с добавлением дрожжей». Это и есть означаемое слова pain.

Если нам говорят pɛ̃, то это означающее вызывает в нашем сознании соответствующее означаемое, то есть представление о пищевом продукте, выпекаемом из теста, приготовленного с добавлением дрожжей. И наоборот, если мы думаем об этом продукте питания, и мысли наши связаны с французским языком, то в нашем сознании возникает соответствующий акустический и артикуляционный образ, то есть звуковой образ pɛ̃.

Совершенно очевидно, что звук и значение связаны между собой теснейшим образом, но структура этого единства только с недавних пор стала предметом систематического исследования, и ученым предстоит еще очень много сделать в этом направлении. Мы знаем, что звуковая цепочка является материальным подспорьем для значения, но вопрос весь в том, каким образом звуки справляются с этой функцией. Выше мы позволили себе прибегнуть к метафоре: мы говорили, что мы хотим найти языковой квант, то есть выделить минимальный звуковой элемент, наделенный значением.

Нельзя не признать, что звуковая материя языка была изучена самым тщательным образом. Эти исследования, особенно за последние пятьдесят лет, дали много интересных результатов. Но звуки рассматривались в отрыве от их функции в языке, и это обстоятельство не позволило классифицировать их должным образом, а также правильно понять суть связанных с ними фактов. Ведь если мы, имея дело со станками или другими приборами, будем ориентироваться только на сырье, из которого они изготовлены, и на их внешний вид, не касаясь вопроса об их назначении, то вряд ли нам удастся при таких усло-

виях разобраться в их устройстве и классифицировать их должным образом. Для того чтобы иметь возможность как-то интерпретировать и классифицировать все фазы работы наших органов речи, нужно прежде всего понять, на получение какого акустического эффекта они направлены. Только поняв это, мы сможем построить соответствующую классификацию. Ведь *мы говорим для того, чтобы быть услышанными*. Для того чтобы иметь возможность интерпретировать, классифицировать и различать звуки речи, мы должны помнить о том, что они являются носителями смысла, поскольку *мы хотим быть услышанными для того, чтобы быть понятыми*.

Если мы рассмотрим с чисто фонетической точки зрения, то есть только с точки зрения чистого сенсуализма, какой-нибудь звуковой феномен, например динамическое ударение, то из непосредственного наблюдения артикуляционных и акустических факторов и их анализа при помощи приборов мы сможем заключить, что внешняя характеристика этого явления в различных языках, по сути дела, одна и та же. Ударение изучалось с точки зрения интенсивности звучания и с точки зрения физиологии речи. Исследователи подчеркивали в этой связи важную роль такого фактора, как удлинение голосовых связок. Для того чтобы звучание было более интенсивным, мы усиливаем поток воздуха на выдохе: эта механическая сила удлиняет голосовые связки, они начинают колебаться с большей амплитудой, и звук в соответствии с этим становится громче. При сравнении динамического ударения в разных языках было установлено, что оно может обладать большей или меньшей силой, что оно может по-разному соотноситься с голосовым тоном и длительностью звука, но что сам механизм силового ударения не меняется от языка к языку. Однако его использование, его функции в различных языках разные.

В связи с этим я позволю себе сравнить два несложных предложения — одно на русском, другое на чешском языке. Я выбрал эти языки именно потому, что в славянских языках, при том, что они унаследовали много общих черт и обнаруживают сходство во многих отношениях, совершенно по-разному используется ударение:

русский: baba kosit pole *

чешский: baba kosī pole.

В каждом слове этой фразы ударение падает как в русском, так и в чешском на первый слог, и может показаться, что роль ударения в обоих языках одна и та же. Однако это не так! Динамическое ударение, несмотря на большое внешнее сходство, выполняет в каждой из приведенных фраз совершенно разные функции. В русском языке ударение свободное, а это значит, что в некоторых словах ударение падает на первый слог, в других — на второй и так далее. Следовательно, при помощи ударения можно различать слова с разным значением. Последовательность звуков múka означает 'страданье', когда ударение падает на первый слог, muká — 'пищевой продукт', когда уда-

* Здесь и далее мы придерживаемся способа записи, который используется Р. О. Якобсоном.— *Прим. ред.*

рение падает на второй слог. И если в русской фразе мы вместо bába kósit скажем bába kosít, то мы получим совсем другое значение. Что касается чешского, то там ударение всегда падает на первый слог, и, следовательно, при помощи ударения нельзя дифференцировать значения слов. Оно не имеет смыслоразличительной функции, но зато в чешском оно несет разграничительную функцию, то есть указывает на начало слова: bAba kOsī pOle. Ударение показывает, где проходят границы слов в предложении. В русском языке ударение не выполняет разграничительной функции. Но в обоих языках ударению присуща суммирующая (разделительная) функция: по количеству ударений во фразе можно судить о том, из скольких слов она состоит, сколько в ней составляющих: bAba kOsī pOle. Здесь три ударения, три слова, три простых члена предложения. Кроме этой функции, ударение может иметь выделительную (логическую) функцию. Выделяя при помощи ударения какое-либо слово в предложении, мы как бы подчеркиваем его, как бы указываем на то, что именно оно является точкой отсчета во фразе. Если в нашей фразе мы усилим ударение на подлежащем — bÂba kOsit pOle,— мы тем самым сообщим, что именно *баба* косит поле. Если фразовое ударение падает на прямое дополнение bAba kOsit pÔle — то это будет значить, что баба косит *именно пóле*. Или же, наконец, можно выделить при помощи ударения предикат *кóсит* и противопоставить его всем остальным членам предложения.

Из всех названных функций ударение во французском языке имеет только разделительную функцию. Но кроме всех перечисленных функций, обслуживающих процесс интеллектуального общения, существует еще одна: это эмоциональная, экспрессивная, эмфатическая функция. Именно в этом качестве французское ударение может перемещаться с конца слова к его началу. Фонетист Леонс Руде первым заметил этот факт, и здесь я воспользуюсь его примерами: «Vous êtes *mi*sérable.» ('Вы подлец.'), «C'est *bar*bare!» ('Это варварство!').

Выше мы перечислили несколько функций звуковых элементов в языке. Но какая из них является наиболее существенной с точки зрения языка? Без какой язык вообще не может обойтись? Можно без труда ответить на этот вопрос. Если кто-нибудь заговорит с нами на неизвестном языке, мы в первую очередь захотим узнать, что значит это высказывание, что значат эти слова. Именно смыслоразличительная функция, именно способность звуков дифференцировать значения слов является для нас наиболее существенной. Итак, мы убедились в том, что звуки могут выполнять множество разнообразных функций в языке, но в первую очередь мы должны заняться наиболее важной из них — смыслоразличительной функцией.

Если мы сравним французские слова dé(de) 'игральная кость', и dais (dɛ) 'свод', то мы увидим, что различие между двумя звуками — закрытым *e* и открытым *ɛ* — используется здесь для различения этих слов. Если мы теперь обратимся к звуковому инвентарю русского языка, то обнаружим среди ударных гласных два похожих звука: один из них — более закрытое *e*: mel' (=m'el'), другой — более открытое *ɛ*: mel (=m'ɛl). В русском (закрытое) *e* встречается только перед мяг-

кими согласными, а (открытое) ɛ — во всех остальных позициях. Напомним, что артикуляция мягких согласных предполагает подъем спинки языка к твердому нёбу, что приводит к сужению резонатора. Следовательно, этим согласным соответствует высокий характерный тон. Таким образом, русские закрытое *e* и открытое ɛ не могут встретиться в одинаковых позициях, и они не могут различать слова. Как видите, есть принципиальная разница между парой *e* —ɛ во французском и аналогичной парой в русском. Во французском эта пара выполняет смыслоразличительную функцию, в русском — нет.

Звуки, наделенные различительной значимостью, звуки, при помощи которых можно дифференцировать значения слов, получили в науке о языке специальное название. Их называют *фонемами*. Так, в русском языке закрытое *e* и открытое ɛ — всего лишь варианты одной фонемы, *варианты*, которые называют *позиционными (комбинаторными)*, поскольку они зависят от позиции, которую занимает звук, от его окружения: перед мягкими согласными звук *e* может быть только закрытым, во всех остальных случаях — только открытым.

В чешском закрытое *e* и открытое ɛ также не могут различать смыслы слов. Они и тут — всего лишь варианты одной фонемы, но распределение этих вариантов совсем иное, чем в русском. Если мы имеем дело с так называемым нейтральным стилем речи, то нам встречается только открытое ɛ, однако в эмоционально окрашенной речи — это касается прежде всего грубой речи, воровского жаргона,— появляется закрытое *e*. Если в русском эти два гласных являются позиционными вариантами и появление того или иного гласного обусловлено звуковым окружением рассматриваемой фонемы, то в чешском они функционируют как стилистические варианты: звательный падеж pɛpiku! ('парень!') звучит как pepiku! в более свободном стиле речи. Несмотря на то, что и в русском и в чешском произносятся как открытое ɛ, так и закрытое *e* (в русском это зависит от позиции, в чешском — от стиля речи), правильное употребление открытого ɛ и закрытого *e* во французском языке связано как для русского, так и для чеха с большими трудностями, поскольку во французском это две разные фонемы. И русскому и чеху даже трудно заметить это различие в таких парах, как dais 'свод' и dé 'кость', lait (lɛ) 'молоко' и lé (le) 'полотнище'. Это объясняется тем, что в рассматриваемых славянских языках разница между данными гласными не может быть использована для различения значений слов.

В чешском, так же как и в венгерском, наряду с дентальными согласными имеется близкая группа согласных — препалатальные, место образования которых находится за местом образования дентальных, то есть все они артикулируются в передней части *твердого нёба*: ср. чешское sít 'сеять' и sít' 'сеть' (мы передаем чешские слова в условной фонетической записи). Следовательно, здесь речь идет о двух разных фонемах, одна из них — дентальная, вторая — препалатальная. Соответствующую пару мы находим среди сонорных: dej! 'дай!' (повелительное наклонение) и děj 'действие'. Те же препалатальные встречаются во французском просторечии, например перед полугласным в

слове pitié 'жалость', когда его произносят жители парижских предместий. Но в отличие от чешского или венгерского в этом французском говоре дентальные взрывные не противопоставлены препалатальным взрывным. Дентальные и препалатальные взрывные в этом случае — всего лишь позиционные варианты одной фонемы. Перед препалатальной полугласной выступает передненёбный вариант, во всех других случаях зафиксирован дентальный. Хотя препалатальный согласный и входит в фонетический инвентарь парижского просторечия, он не несет смыслоразличительной функции. То же самое можно сказать о двух разновидностях k. Первое, велярное, артикулируется в области мягкого нёба (velum), второе, более переднее, нёбное, артикулируется в области тведого нёба (palatum). Оба эти варианта мы находим во французском произношении. Более передняя разновидность встречается в разных французских говорах перед передними гласными, особенно перед i. В начале слова, например в паре cas 'случай', qui 'кто', это различие очень четко прослеживается, но тем не менее здесь речь идет лишь о позиционных вариантах, и это различие для французского языка не имеет автономного значения. Однако в польском или в румынском это две совершенно разные фонемы. Так, в румынском палатальная разновидность этой взрывной в chiu 'крики' или chiar 'даже' (здесь мы продолжаем пользоваться условной записью) противопоставлена велярной в cu 'с' или car 'повозка'.

В ирландском глухими и звонкими бывают не только такие согласные, как t и d, k и g и т. п., но и различные латеральные фонемы. Так, сонорное l противопоставляется шумному l̥: la и l̥a. Во французском произношении встречаются оба эти звука, но неискушенный в области фонетики француз вряд ли подозревает об этом, поскольку эта смыслоразличительная в ирландском пара звуков не может быть использована во французском для различения значений слов. Во французском это позиционные варианты: шумное l̥, произносимое без вибрации голосовых связок, появляется в конце слова после шумных, например в слове peuple 'народ'. Во всех остальных случаях произносится сонорное l, как, например, в слове peupler 'населять'. В английском языке различают две разные фонемы: лабио-дентальную, которая на письме передается как v, и билабиальную, которой соответствует w. В словацком лабио-дентальное v и билабиальное w суть позиционные варианты одной фонемы: лабио-дентальное v перед гласными и билабиальное w во всех остальных позициях. Функции двух плавных r и l в наших языках настолько разные (ср. *рак* — *лак*, *лечь* — *речь*), что нам кажется странным, когда в некоторых других языках они являются всего лишь позиционными вариантами одной фонемы. Так, в корейском этой фонеме соответствует l в начале и r в конце слога (весьма возможно, что исходно в индоевропейском праязыке была аналогичная ситуация). И, естественно, кореец, изучающий французский язык, начинает с того, что произносит слово rond 'круглый' с начальным l, а слово sel 'соль' — с конечным r. Он также будет путать порядок плавных в императиве roule 'катит', и у него это слово сольется по звучанию со словом lourd 'тяжелый'. Француз различает три разные

гласные фонемы в таких словах, как si 'если', su 'известный' и sou 'су', тогда как для черкесского это лишь позиционные варианты одной фонемы — узкой гласной,— и выбор того или иного варианта зависит от свойств предшествующей согласной.

Итак, нескольких несложных примеров достаточно, для того чтобы показать принципиальную разницу между чисто *фонетическим* подходом и так называемым фонологическим подходом. Фонетика занимается составлением инвентаря звуков, которые рассматриваются ею как явления физические и двигательные (артикуляционные). Фонология прежде всего ставит вопрос о языковой значимости звуков, выявляет фонемы, то есть описывает систему звуков с точки зрения их способности различать значения слов. Сравнивая фонологический и фонетический инвентари, мы видим, что они существенным образом отличаются друг от друга. Набор фонем гораздо меньше, у него более четкая внутренняя организация, он более дискретен в математическом смысле этого слова. Набор фонем представляет собой систему взаимосвязанных, согласованных единиц. Если сравнить два конкретных языка, то может оказаться, что с фонетической точки зрения состав звуков у них одинаков, но они по-разному группируются в фонемы. На Дальнем Востоке есть несколько соседствующих языков с дентальным r; в некоторых из них, например в тунгусском, r и l являются разными фонемами. В других, например в корейском, r, так же как и l, представляют собой один из возможных позиционных вариантов единственной для этого языка плавной фонемы. Что касается старогиляцкого (нивхского), то в этом языке позиционными вариантами одной и той же дентальной фонемы выступают r и t. В позиции между двумя гласными смычка, то есть полная преграда на пути воздуха, необходимая для артикуляции t, отсутствует, и в этих условиях дентальная фонема произносится как r. С другой стороны, одинаковые по своей сути фонемы могут быть представлены в разных языках чрезвычайно разнообразными в артикуляционном и акустическом отношении звуками. Так, в большинстве дальневосточных языков существует только одна плавная фонема, и если в китайском эта фонема представлена звуком l, в японском — звуком r, а в корейском, как мы уже сказали, двумя позиционными вариантами, то эти чисто внешние отличия не отменяют того факта, что всем этим языкам присуща лишь одна плавная фонема.

Идея фонемы, представление о различительном звуке, или, точнее, представление о том, чтó различительно в звуке, появилась в лингвистике давно. Здесь основная заслуга принадлежит Бодуэну де Куртене, поскольку именно он впервые в истории нашей науки обратил внимание исследователей на эту проблему. Выдающийся лингвист впервые коснулся этого вопроса в 1870 г. в своей вступительной лекции в Петербургском университете, когда ему было двадцать пять лет. Он считал, что звуки надо изучать не только с точки зрения артикуляции и акустики. Он придавал особое значение их роли «в механизме языка, их значению для чутья народа». Эти аспекты звука, как отмечал молодой Бодуэн, не всегда находят адекватное выражение

при классификации звуков, основанной на их физиологических и физических свойствах. Короче говоря, он считал, что звуки речи интересуют как лингвиста, так и говорящего прежде всего с точки зрения их роли в организации слова. Бодуэн де Куртене думал о создании новой лингвистической дисциплины, которую собирался назвать „этимологическая фонетика". По замыслу автора эта новая дисциплина должна была заниматься анализом отношений между акустико-двигательными представлениями, с одной стороны, и лексическими и грамматическими значениями — с другой.

Сила творческого гения Бодуэна позволила ему с удивительной прозорливостью обрисовать основополагающие для современной лингвистики проблемы и набросать в общих чертах их решения. Но, с другой стороны, теоретическая слабость, или, точнее, теоретическая неопределенность, характерная для его времени, не позволила этому выдающемуся исследователю в полной мере использовать результаты собственных открытий, а также найти прямых последователей. Мы упоминали о вступительной лекции, прочитанной Бодуэном в 1870 г. Эта лекция является ярчайшим свидетельством исключительной самостоятельности творческого мышления Бодуэна, нашедшей отражение в его juvenalia. Во всем мире для языкознания наступила пора дискуссий, творческого «брожения», благотворная пора для высказывания оригинальных идей и выдвижения смелых научных проектов. Младограмматическое направление, основные представители которого собрались в Лейпциге, определилось и стабилизировалось только в конце семидесятых годов. Это научное течение вскоре заняло ведущие позиции в мировой лингвистике, позиции, которые ему удалось удержать вплоть до первой мировой войны. Хотя Бодуэн никогда открыто не примыкал к младограмматикам, нельзя не признать, что он, как почти все лингвисты того времени, испытывал влияние этой школы, и мы находим в его трудах явные отголоски их идей.

Самой характерной чертой младограмматического направления является, быть может, постоянная подмена вопросов о средствах и целях вопросами чисто причинного порядка. Любая попытка определить какое-либо явление из области языка через его функцию не вызвала бы в то время никакой симпатии и была бы объявлена недопустимой ересью. В более поздних трудах Бодуэна этимологическая фонетика, или, что то же самое, функциональная фонетика, задуманная им в молодости, в соответствии с духом времени уступила место „психофонетике" (термин Бодуэна). Предметом изучения этой новой дисциплины была уже не функция звуков, не цель звукообразования, не соотношение звуков и значения. Если этимологическая фонетика была задумана молодым Бодуэном как мост между фонетикой и грамматикой, то психофонетика, судя по его программным высказываниям, должна была служить связующим звеном между фонетикой и психологией. Фонетика должна была заниматься изучением звукообразования и слухового восприятия речи, а задачи психофонетики сводились к выявлению психологических условий фонации и слухового восприятия речи.

Если мы абстрагируемся от этой фразеологии, забудем о терминологии бодуэновской программы и займемся тем, что составляло суть его трудов в этой области, тем, что было их реальным содержанием, то увидим, что он подходил к звукам речи не как психолог, а как лингвист. С самого начала он правильно оценил важность дифференциального фактора, показал различительную сущность звука, иными словами, определил фонему. И именно понятие фонемы он положил в основу своего учения о звуковой стороне языка. Если в области языкознания Бодуэн проявил себя изобретательным и оригинальным ученым, то в области философии и психологии он полностью находился под влиянием представлений своей эпохи. И поскольку в соответствии с требованиями времени определяющим фактором для любого явления считалась не функция, а генезис, Бодуэн попытался сформулировать генетическую концепцию фонемы, не входящую в противоречие с господствующими представлениями. Для того чтобы как-то узаконить само понятие фонемы, он был вынужден давать ответы на весьма коварные вопросы: где локализуется фонема? В какой пласт действительности уходит она корнями? Ученый полагал, что справится с этими вопросами, если он поместит понятие фонемы, понятие чисто функциональное, чисто лингвистическое, в мир наших мысленных образов. Он думал, что ему удастся поставить фонему на твердую основу, если он определит ее как «психический эквивалент звука». „Психологизм" Бодуэна был всего лишь маскировкой, оправдывающей его новаторские изыскания в глазах современников и в его собственных глазах. И именно этот камуфляж помешал ему дать правильную оценку своим собственным открытиям и сделать из них надлежащие выводы.

К сожалению, учение Бодуэна и в дальнейшем сохранило свой двойственный характер. Замечательный русский лингвист, один из лучших учеников Бодуэна де Куртене Л. В. Щерба в своей книге о русских гласных, появление которой в 1912 г. было большим событием для развития школы Бодуэна и для лингвистической мысли в целом, подверг понятие фонемы самому тщательному и подробному изучению и назвал ее «основополагающей единицей» в науке о языке. Такое определение свидетельствует о том, что Щерба с бóльшим вниманием, чем Бодуэн, отнесся к функциональному аспекту фонемы, но вместе с тем он еще крепче, чем его учитель, привязал это понятие к генетическим и механистическим догмам традиционной психологии. Безусловно, Щерба рассматривал способность фонемы различать слова как ее наиболее существенное свойство, но в то же время он настаивал на психологическом критерии в ее определении. Фонема и звук рассматривались им не как два аспекта одного и того же явления, а как два смежных явления. Вместо того чтобы отождествить фонему с функциональным аспектом звука, а звук рассматривать как материальный субстрат фонемы, он противопоставляет звук фонеме, как объективный факт действительности психическому, субъективному факту. Такой подход был ошибочным. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о существовании внутренней речи, не имеющей внешних, объективных проявлений,

Мы разговариваем сами с собой, и при этом мы не издаем и не воспринимаем никаких звуков. Вместо того чтобы реально произносить и слушать, мы произносим и слушаем в нашем воображении. Слова внутренней речи состоят не из произнесенных звуков, а из их артикуляционных и акустических образов. И если русский произносит про себя слова *мел* и *мель*, о которых мы говорили выше, то в первом из них встретится акустический и артикуляционный образ открытого *ɛ*, а во втором — образ закрытого *е*. Следовательно, единство фонемы по отношению к многообразию звуков (например в русском, единство фонемы /е/ по отношению к двум ее вариантам — открытому *ɛ* и закрытому *е*) не может быть интерпретировано как единство психического образа по отношению к многообразию произнесений. Что же все-таки имеется в виду под единством фонемы, например под единством фонемы /е/ в русском языке? Здесь имеется в виду то, что разница между открытым *ɛ* и закрытым *е* никак не используется в системе семантических средств этого языка. При помощи этого различия нельзя дифференцировать слова. Признак, который позволяет различать слова, это средний подъем /е/ (как в закрытом, так и в открытом варианте), так как он противопоставлен верхнему подъему /i/ *(мил)* и нижнему подъему /а/ *(мял)*.

Только путем анализа функционирования звуков в языке можно построить систему фонем для данного языка. Щерба и еще ряд учеников Бодуэна де Куртене предпочли воспользоваться другим методом — методом психологического самонаблюдения. Они ввели в рассмотрение понятие языкового сознания говорящего. В их концепции фонема определяется как акустико-двигательное представление, которое может быть выделено языковым сознанием говорящего. Нельзя не согласиться с тем, что различительные элементы языка гораздо четче очерчены в нашем сознании, чем те, которые не имеют различительной функции. Но первичным в этой ситуации является именно факт различительной значимости того или иного элемента, а его присутствие в нашем сознании — лишь результат его значимости. Поэтому было бы логично использовать в качестве основного критерия анализа этого явления именно первичный фактор, то есть различительную способность рассматриваемых элементов, а не вторичный — наше более или менее осознанное отношение к ним. Второй критерий уводит нас из области лингвистики в область психологии. Но самое большое его неудобство заключается в том, что когда речь идет обо всем, что связано с языком и его элементами, обычно очень трудно установить границу между сознательным и бессознательным. В общем случае язык для нас является не самоцелью, а средством, и, как правило, языковые элементы остаются ниже порога нашей осознанной цели. Как говорят философы, язык функционирует, сам того не ведая. И даже если человеку без специальной подготовки и удастся выделить некоторые функциональные языковые единицы, фонемы или грамматические категории, он не сможет установить, какими законами регулируются отношения между ними, то есть не сможет построить систему грамматических категорий или фонем. Показательно то, что Щерба, положив в основу своего уче-

ния о фонеме сознание говорящего, был вынужден отказаться от какой бы то ни было классификации этих единиц.

Но несмотря на все эти отклонения, здоровая основа учения Бодуэна — мысль о различительной значимости фонем — в конце концов была воспринята лингвистами во всем мире. Надо сказать, что аналогичные мысли возникали у других языковедов прошлого века, не принадлежащих к школе Бодуэна и независимо от него. Здесь следует в первую очередь упомянуть швейцарского диалектолога Йоста Винтелера, который в своей блестящей монографии, посвященной одному из немецких диалектов швейцарского округа Гларус, увидевшей свет в 1876 г., не только продемонстрировал поистине научный подход в диалектологии, но и ясно указал на то, что не следует путать два типа звуковых различий: различия первого типа используются в языке для передачи лексических и грамматических значений, различия второго типа не выполняют этой функции. Но поскольку книга Винтелера вышла одновременно с первыми крупными работами, пропагандировавшими идеи младограмматиков и поскольку ее центральная идея явным образом шла вразрез с общей тенденцией, этот труд прошел практически незамеченным. Два знаменитых фонетиста — англичанин Генри Суит и его ученик датчанин Отто Есперсен — отмечали, что среди множества звуковых явлений есть такие, которые несут смысловую нагрузку, и такие, у которых ее нет, но они не извлекли из этого принципа никаких методологических выводов для общей теории языка. В начале XX в. понятие фонемы, предложенное Бодуэном де Куртене и Николаем Крушевским и их учениками, начало проникать в мировую науку. Это понятие было необходимо как для теории, так и для практики. С каждым днем росло число языков, которым надо было дать научное описание. Исследователи записывали тексты, и на каждом шагу перед ними вставал один и тот же вопрос: что в звуковой материи существенно, а что нет? Что следует фиксировать? Само собой разумеется, что исследователи не были в состоянии зафиксировать все бесконечное множество звуковых оттенков, различаемых на слух. Надо было выбирать: все искали критерии для такого выбора. Понятие фонемы было встречено с энтузиазмом африканистами, специалистами по многочисленным кавказским языкам, американистами и востоковедами.

Французская лингвистика осознала всю важность понятия фонемы в начале XX в. Еще до начала первой мировой войны Антуан Мейе понимал, что значимость фонем станет центральной проблемой любого лингвистического исследования, посвященного звукам речи. В „Курсе общей лингвистики", который Фердинанд де Соссюр читал в последние годы своего пребывания в университете и который был написан и издан его учениками несколько лет спустя, мы находим странное смешение всех стадий изучения звуков речи, начиная с эпохи младограмматиков и кончая современностью. Соссюр утверждает, что для слова важны не звуки сами по себе, а звуковые различия, которые позволяют нам отличить это слово от всех остальных слов в языке, поскольку именно эти различия наделены значением. В „Курсе" мы находим формулиров-

ку, ставшую впоследствии знаменитой: «Фонемы — это прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности». Но Соссюр на этом не останавливается, он утверждает, что система четко дифференцированных фонем, *фонологическая система*, как он ее называет, является единственным реальным объектом, интересующим лингвиста в области звучащей речи. Но, с другой стороны, мы находим в „Курсе" Соссюра такой же след наивного психологизма, какой был свойствен и Бодуэну. Переходя от предварительных замечаний к внутренним принципам лингвистической обработки звуковой материи, в качестве «естественной основы» для нее он использует не функциональную значимость звуков и даже не языковое сознание говорящего, на которое ссылался Бодуэн, а «слуховое впечатление от звука». Но как только он приступает к конкретному рассмотрению «фонологической системы», он расстается с этим слуховым критерием и заявляет, что анализ фонологической системы «может быть проведен только на артикуляционной основе». Иными словами, он возвращается к самым примитивным приемам артикуляторной фонетики.

Несмотря на многочисленные противоречия в учении Бодуэна де Куртене, именно ему и представителям его школы мы обязаны первым основополагающим понятием в функциональном изучении звуков речи — понятием *фонемы*. Фердинанду де Соссюру и его последователям, несмотря на всю противоречивость их теории, мы обязаны вторым важнейшим понятием в этой области — понятием системы отношений между фонемами, или понятием *фонологической системы*. Итак, этими двумя лингвистами был дан исходный толчок для изучения соотношения между звуком и значением, и теперь речь шла о том, чтобы извлечь из имеющихся положений все возможные следствия, заложить реальную основу новой научной дисциплины, то есть заложить основу систематизированному изучению звуков речи с точки зрения их функций в языке. Первыми исследователями в этой области знания, которую принято теперь называть „фонологией" (англ. phonemics), были, с одной стороны, Эдуард Сепир и Леонард Блумфилд в Америке, а с другой стороны — чехословацкие и русские лингвисты, входившие в Пражский лингвистический кружок (в лингвистической литературе это направление называют Пражской школой). Эта группа выступила в 1928 г. на Первом Международном конгрессе славистов в Гааге с рабочими тезисами, которые были приняты участниками конгресса. «Любое научное описание фонологии языка,— говорилось в „Тезисах",— прежде всего должно включать в себя характеристику его фонологической системы, то есть описание множества значимых для данного языка различий между акустико-двигательными образами». В этой формулировке видны следы псевдопсихологической терминологии Соссюра и Бодуэна. Затем авторы тезисов настаивают на более детальном описании этих значимых различий: надо вскрывать общие законы, управляющие этими отношениями, изучать фонетические изменения, происходящие в языке, с точки зрения его фонологической системы. В тридцатые годы изучение фонологии развивалось как «вширь», так и «вглубь» во всех странах мира, где вообще существовала

лингвистика. Эти исследования захватывали самые разные области, как-то: синхроническая и историческая лингвистика, лингвистическая география, сравнительно-историческое языкознание, реконструкция праязыковых состояний, изучение патологии речи, детского языка, языка поэзии, письменности.

Используя весь этот богатый опыт, мы можем спросить: что можно сказать на современном этапе развития науки об отношении между звуком и значением? Ниже мы попытаемся сделать обзор современного состояния этой проблемы.

III

[Как мы уже говорили, еще в 1870 г. ряд исследователей поставил в той или иной форме проблему соотношения звука и значения, проблему функционирования звуков в механизме языка. Но только после первой мировой войны лингвистика приступила к систематическому и последовательному изучению звуков с точки зрения их функции в языке. Эти исследования выделились в особую лингвистическую дисциплину, и, по сути дела, только с появлением этой новой дисциплины изучение звуков речи стало частью науки о языке, разделом лингвистики, поскольку изучение звуковой материи, изучение звуков с артикуляционной и акустической точек зрения без учета той функции, которую они выполняют в процессе коммуникации, не имеет прямого отношения к области лингвистики. Из фонетических исследований такого рода мы черпаем ценные сведения о звуковой материи, но они не могут прояснить вопроса о том, как в языке используется это звуковое „сырье", как оно служит его целям. Фонетика в этом случае находится вне лингвистики, так же как химическое исследование красок, строго говоря, не имеет прямого отношения к теории живописи. Но изучение использования звуков в речевой деятельности (другими словами, их использование в качестве языковых знаков) является составной частью лингвистики, так же как изучение функции красок как изобразительных знаков относится к теории изобразительного искусства, и, в частности, к теории живописи.

Итак, исследование звуков с точки зрения языка, с точки зрения тех функций, которые они выполняют в речевой деятельности, получило название *фонологии*. В XIX в. термин „фонология" часто использовался просто как синоним фонетики, но в большинстве стран укоренился именно термин „фонетика". Так, например, Мишель Бреаль, предшественник Мейе в Коллеж де Франс, отверг термин „фонология" на том основании, что он легко ассоциируется с греческим phonos 'убийство' и, следовательно, наводит на мысль о некой науке об умерщвлении! Фердинанд де Соссюр использовал оба термина — и фонетику и фонологию — для обозначения, с одной стороны, описания звуковых средств конкретных языков или языка вообще и, с другой стороны — для исследований чисто генетического толка — для наименования науки о фонетических изменениях в языке.

Как мы уже упоминали, в „Курсе общей лингвистики" встречаются глубокие противоречия, когда речь идет о сфере представления и описания звуковых средств языка. Эти противоречия вызваны тем, что учение Соссюра занимает промежуточное положение между двумя научными течениями в лингвистике: наивным эмпиризмом и пришедшей ему на смену структурной ориентированностью современной науки. В разделе „Курса", посвященном фонологии, эти противоречия усугубились еще больше по вине составителей, которые позже сами высказали сожаление по поводу того, что они соединили записи Соссюра по фонологии механически, не учитывая того факта, что эти записи относятся, по сути дела, к различным периодам его научной деятельности. Так, в главе VII Введения мы находим решительное отождествление фонологии с физиологией речи и тут же через несколько строк Соссюр утверждает, что для анализа «важны не движения органов речи, необходимые для получения каждого акустического впечатления», а исключительно «только механизм противопоставлений, используемых языком». Ниже можно прочитать, что «с точки зрения слова не важно, из каких конкретно звуков оно состоит, важны только звуковые различия, позволяющие отличить данное слово от всех остальных слов, поскольку именно эти различия несут на себе смысловую нагрузку» (часть II, глава II). Ученики Соссюра совершенно справедливо настаивали на смыслоразличительном аспекте фонологии, на том, что звук — это прежде всего означающее.

В дальнейшем последователь Соссюра Альбер Сеше в своей книге „Программа и методы теоретической лингвистики", вышедшей в 1908 г., один из первых четко сформулировал и развил положения соссюровской доктрины. Он писал: «Мы боремся с неправильным представлением, основанным на смешении двух совершенно разных понятий: надо различать науку о звучащей речи с точки зрения физики и физиологии и фонологию — науку о звуках, организованных в языке (с. 132)» *. Отправной точкой в рассуждениях должен быть символ, и основное значение следует придавать не столько его внутренним свойствам, сколько его отношениям со всеми остальными символами, то есть свойствам, которые позволяют отличить его от всего того, что им не является, и вместе с тем уподобить его всему тому, что грамматически ему тождественно. Его материальность должна позволить нам осуществить эту двойную операцию. Для этого мы должны иметь возможность разложить его на фонологические элементы с четко определенными свойствами. Но для того чтобы можно было четко определить эти свойства, они должны существовать не в каких-то конкретных, мимолетных проявлениях, а в виде идей, как сами символы. Мы не смогли бы справиться со слишком большим количеством таких звуковых идей, меняющихся от слова к слову. В каждом языке есть *фонологическая система*, то есть набор звуковых идей («идей, или, если хотите, звуковых представлений»,— добавляет Сеше,— чтобы его терминология, и вообще вся его

---

* См. Albert Sechehaye, Programme et méthodes de la linguistique théorique, 1908.

концепция, выглядели менее странно). Выявление этой системы является результатом применения особого грамматического приема, который во многих отношениях сходен, однако, со всеми прочими грамматическими приемами. После полного прохождения всех этапов анализа полученная система является выразителем любой мысли в языке, поскольку символы вообще существуют и имеют собственное лицо только благодаря этой системе. Эта система также является *формой*, поскольку «можно рассматривать фонологическую систему как алгебраическую и заменить тридцать, пятьдесят или сто входящих в нее в данном языке элементов на такое же количество абстрактных символов, отражающих их индивидуальные свойства, но не их материальную сторону!» (с. 150 и сл.). Отдавая себе отчет в том, что «мы еще очень далеки от понимания всех явлений в области фонологии», Сеше в своей работе ясно показал, что зародилась новая научная дисциплина, указал на ее суть и дал ей название — „фонология", которое вскоре получило широкое распространение, и этим названием пользуемся и мы.

Наше употребление термина „фонетика" тоже частично соответствует соссюровской традиции. Мы мыслим себе фонетику как изучение звуков речи без учета той нагрузки, которая возлагается на них языком. А что характерно для фонетики с точки зрения Соссюра? Это принцип, в соответствии с которым «все то, что относится к фонетике, лишено значения». Но мы не разделяем предвзятую точку зрения Соссюра о том, что фонетические изменения не имеют никакого отношения к языковой значимости звуков. Соссюр считал, что фонетические изменения носят случайный, необоснованный характер и «не имеют никакого отношения к системе языка». Однако опыт показывает, что эти изменения могут быть правильно поняты только с точки зрения фонологической системы, в рамках которой они происходят. Следовательно, систему звуков как значимых элементов языка можно изучать как в развитии, так и в некотором заданном состоянии. Фонология таким образом включает в себя и изучение фонем с исторической точки зрения. Таким образом, противопоставление фонология/фонетика, не имеет ничего общего с противопоставлением описание/история.

Я старался подчеркнуть сходство между теоретическими положениями современной фонологии и некоторыми положениями и терминологией школы Соссюра потому, что очень часто приходится слышать ошибочное мнение, что наше употребление термина „фонология" не имеет ничего общего с традициями Женевской школы.

Исследования в области фонологии,— будь то описательная фонология или историческая, теоретическая или конкретная,— заметно продвинулись за последние пятнадцать-двадцать лет. Не так-то легко сориентироваться в этих исследованиях. Мы не располагаем ни одним библиографическим списком, который мог бы претендовать на полноту. А работы в области фонологии имеют очень богатую географию. Достаточно перечислить языки, на которых они написаны, чтобы составить себе представление об их разнообразии: это французский,

итальянский, испанский и румынский; английский, скандинавские языки, немецкий и голландский; русский, украинский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский и болгарский; литовский и латышский; венгерский, финский и эстонский; десятки работ по фонологии были также опубликованы на японском языке. К концу тридцатых годов исследования по фонологии достигли той стадии, когда уже могли бы увидеть свет первые общие пособия, но события в мире приостановили ее развитие. Выдающийся лингвист, наш современник Николай Трубецкой (1890—1938) посвятил последние десять лет своей жизни почти исключительно фонологическим исследованиям. Он сделал множество блестящих открытий, но особого упоминания заслуживает его первая в мире попытка построить фонологическую классификацию гласных и, следовательно, получить типологию систем гласных для языков всего мира. Это поистине выдающиеся, глобальные открытия: недаром их сравнивали со знаменитой системой химических элементов Д. И. Менделеева. Трубецкой, профессор Венского университета, усердно трудился над пространным трактатом по общей фонологии, но оккупация Австрии во время второй мировой войны ускорила кончину ученого, и его посмертный труд „Основы фонологии", вышедший в седьмом выпуске издания „Трудов Пражского лингвистического кружка" в 1939 г.*, включает в себя лишь одну из двух запланированных частей, но даже этот первый том не был закончен автором. В том же 1939 г. языковед из Лейдена Николай Ван-Вейк опубликовал единственный полный учебник по фонологии, но эта книга под названием „Фонология" **, написанная на голландском языке, была доступна лишь узкому кругу читателей. Автор надеялся опубликовать новый вариант этого труда на более доступном языке, но не смог осуществить своего замысла: он умер в 1941 г. в оккупированных Нидерландах. Множество работ по фонологии, принадлежащих перу лингвистов из разных стран мира, можно найти в „Трудах Пражского лингвистического кружка" — в выпусках с первого по восьмой (1929—1939 гг.). Прекрасное начало в области фонологических исследований в Америке было положено работами Эдуарда Сепира, преждевременная кончина которого (1939 г.) является тяжелой утратой для всей мировой науки, а также выдающимся американским лингвистом Леонардом Блумфилдом. Я хочу попросить вас обратить особое внимание на главы, посвященные вопросам фонологии в книге Блумфилда „Язык" ***, опубликованной в Нью-Йорке в 1933 г., а также на блестящий труд Сепира под названием „Звуковые модели языка" ****, опубликованный в 1925 г. в первом номере журнала „Language", печатного органа Американского Лингвистического

---

* См. N. S. Trubetzkoy. Grundzüge der Phonologie, 1939. [См. перев. на русск.: Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., ИЛ, 1960].

** Nicolas van Wijk. Phonologie, 1939.

*** Leonard Bloomfield. Language. New York, 1933. [См. перев. на русск.: Л. Блумфилд. Язык. Москва: „Прогресс", 1968.]

**** Edward Sapir, Sound Patterns in Language.— „Language", I, 1925.

Общества. Этот журнал продолжает помещать на своих страницах интересные работы в области фонологических исследований.

Так как же в свете всех этих многочисленных и разнообразных по форме исследований обстоит дело с основным вопросом фонологии — с вопросом о фонеме, то есть с вопросом о смысловой значимости звуков? Очевидно, что в современном определении фонемы первое место занимает именно ее языковая значимость. Теперь определяющая роль принадлежит уже не „психофонетическим" основам фонемы, а той функции, которая возлагается на нее языком. В свете такого чисто языкового определения фонемы естественно было бы ожидать, что в своих новых работах исследователи займутся прежде всего анализом ее внутренней структуры. Однако эти ожидания не оправдались. Структурный анализ фонемы — это дело будущего, и вместо такого анализа мы находим в большинстве современных исследований о фонеме ожесточенную дискуссию о способе ее существования. Очень показательно в этом отношении название одной из таких работ — статьи польского лингвиста Витольда Дорошевского: „Autour du phoneme" („Вокруг фонемы"). Действительно, в большинстве случаев читателя продолжают водить вокруг да около фонемы, вместо того чтобы подвести его прямо к ее сути. Наследие „психофонетики", пусть в скрытой форме, но еще живо, и признавая, что фонема — это языковое явление, определяемое своей языковой функцией, мы с упорством продолжаем задавать все тот же наивный вопрос: так где же все-таки локализуется это языковое явление? Мы продолжаем разыскивать эквиваленты фонем в сознании говорящего. Как это ни странно, лингвисты, занимающиеся изучением фонемы, больше всего любят подискутировать на тему о способе ее существования. Они, таким образом, бьются над вопросом, ответ на который, естественно, выходит за рамки лингвистики.

Онтологическая проблема, состоящая в том, чтобы определить, какой реальный объект соответствует понятию фонемы, никоим образом не является специфической для фонемы. Это всего лишь частный случай гораздо более общей проблемы: реальный объект какой природы можно сопоставить языковой значимости или вообще любой значимости в любой знаковой системе? Рассмотрим для примера минимальную грамматическую единицу (корень или простой суффикс, или префикс), то, что в современной лингвистике называют „морфемой" (термин этот принадлежит Бодуэну де Куртене). Если мы решим, что именно психическая реальность лежит в основе бытия каждой конкретной морфемы и морфемы вообще, каждого слова и слова вообще, каждой части речи и всех частей речи, конкретных синтаксических правил и синтаксических правил вообще и, наконец, в основе бытия некоторого данного языка и языка вообще,— короче, если мы решили взять за основу бытия языковых значимостей или их систем психологический фактор, то мы eo ipso * должны признать, что фонема и вообще любая

* 'В силу этого'.— *Прим. ред.*

фонологическая значимость также имеет чисто психологическую основу. Но если мы будем рассматривать все названные языковые значимости как социальное достояние, как элемент культуры, то и фонема автоматически должна быть интерпретирована таким же образом. И наконец, если речь идет об ученом, рассматривающем понятие значимости как рабочую гипотезу, как фиктивный объект, просто как эвристический прием (необходимое для научного анализа предположение), не сопоставляя понятию значимости никакого реального объекта, то такой ученый должен будет таким же образом подходить и к понятию фонемы и так далее.

За немногими исключениями, дискуссия лингвистов по поводу сущности фонемы являлась простым повторением философских дебатов номиналистов и реалистов, сторонников психологизма и сторонников антипсихологизма, и т. п.; кроме того, эта дискуссия велась явно недостаточными средствами. Так, нет никакой необходимости возобновлять обсуждение вопроса о правомерности психологического истолкования фонемы после знаменитой кампании феноменолога Гуссерля и его сторонников против применения к теории значимостей устаревших психологических методов. Попытки некоторых лингвистов отрицать объективный факт существования фонем отражают по сути дела (хотя они делают это непреднамеренно) парадоксальные идеи философа Бентама и его последователей о необходимости введения фиктивных значимостей. Эти вторжения лингвистов в чуждые им сферы мы расцениваем либо как ненужные, либо как просто опасные. Опасны они в тех, к сожалению, слишком частых случаях, когда специалист, прекрасно разбирающийся в своей области, вторгается в чужую научную дисциплину, не имея достаточно четкого представления о ее основных законах и ее методах. Так произошло, например, с лингвистом Альфредом Шмиттом, который пытался доказать несостоятельность понятия фонемы при помощи псевдопсихологической аргументации, не разбираясь при этом в достаточной степени в вопросах психологии (см. журн. „Wörter und Sachen", XII, 1936). Шмитт считал, что можно опровергнуть факт существования фонемы следующими аргументами: 1) в большинстве случаев внимание собеседников не фиксируется на фонемах, 2) чаще всего вырванная из своего окружения фонема не выполняет никакой функции. Автор ссылается при этом на данные психологии, не подозревая о том, что именно силами этой науки было доказано, что существует множество сущностей, функционирование которых не обязательно является объектом нашего внимания, более того, мы не в состоянии отделить их от определяющего их контекста.

Шмитт полагал, что для говорящего минимальной языковой единицей является слово. Но такое положение вещей относится, на самом деле, к области явной патологии речи. Слово является минимальной единицей языка для человека, страдающего особым видом афазии, известной под названием атаксической. Такие больные прекрасно владеют бытовой лексикой, они еще в состоянии безупречно произносить привычные слова, но они не могут употреблять в речи входящие в них фонемы и слоги. Именно этим и объясняется наличие у них этого

„лексического“ остатка. Они могут сказать kafe (‘кофе’), но если попросить их произнести feka или fake, они не смогут этого сделать. В отличие от таких больных и от „нормальных“ людей в представлении Шмитта нормальный говорящий не воспринимает слово как нечто окаменелое, неделимое, употребляемое им в совершенно автоматическом режиме. Именно поэтому нормальный человек — если бы он, например, участвовал в создании тайного языкового кода — вполне мог бы заменить слово cabaret ‘кабаре’ на baréca, les princes ‘принцы’ — на linspré и т. д.; по той же причине он может понимать или даже сам придумывать „перевертыши“ (англ. spoonerisms), то есть игру слов, при которой комический эффект достигается перестановкой звуков в словах или целых выражениях. Вот несколько примеров таких выражений, подсказанных мне Клодом Леви-Строссом; это игры слов и в то же время игры с фонемами, демонстрирующие их автономность: un sot pâle ‘бледный глупец’ — un pot sale ‘грязный горшок’; tendez votre verre ‘протяните ваш бокал’ — vendez votre terre ‘продайте вашу землю’; mort de faim ‘умерший от голода’ — fort de main ‘силен на руку’. Как мы уже говорили в предыдущей лекции, r и l для француза — две разные фонемы, в то время как для корейца это всего лишь позиционные варианты одной фонемы. Этой фонеме соответствует r в начале и l в конце слога. Louez les rois ‘Хвалите королей’ — rouez les lois ‘Колесуйте законы’: путем перестановки плавных звуков мы получили „перевертыш“ с заменой r и l, но для корейского восприятия речи перестановка плавных согласных не приводит к образованию „перевертыша“ — здесь нет изменения смысла, это просто неправильное, с корейской точки зрения, произношение.

Приведем еще один аргумент в пользу относительной автономности фонемы, который в то же самое время опровергает мнение о том, что слово является минимальной единицей в языке. Представим себе француза, не владеющего жаргоном, который вдруг в первый раз в жизни услышал слово mɛk (mec — ‘хмырь’). Он не знает, что значит это слово, но он воспринимает его как французское, потому что все входящие в него фонемы, а также правила, по которым они сгруппированы, существуют во французском языке. Односложное слово mec (‘хмырь’) состоит из трех фонем. Во французском языке существует ряд слов, которые отличаются от слова mec только первой фонемой: bec ‘клюв’, sec ‘сухой’, chèque ‘чек’, или только второй фонемой: moque ‘юферс’, macque ‘вяло’, manque ‘нехватка’, или, наконец, только третьей фонемой: mer ‘море’, messe ‘месса’, mèche ‘прядь’. Наш француз не знает, что означает слово mɛk, но он знает, что оно отличается от перечисленных выше слов, и, следовательно, по всей вероятности, и его значение отличается от значений этих слов. Представим себе теперь, что наш француз услышал среди знакомых ему слов односложные слова, которые отличаются от mec ‘хмырь’, mer ‘море’, и т. п. конечной согласной: в конце они имеют глухой взрывный препалатальный или фрикативный велярный, как в чешском слове mech ‘мох’. Как воспримет он эти формы? Он либо заметит странное звучание конечного согласного и сочтет эти слова иностранными, или же он не обратит внимания

на необычность этого звука и ошибочно соотнесет его с какой-нибудь французской фонемой, например фрикативную велярную соотнесет с взрывной велярной или же с фрикативной шипящей — и интерпретирует это слово как mec 'хмырь' или как mèche 'прядь'. Итак, даже когда речь идет о незнакомом слове, фонемы, из которых оно состоит, позволяют нам найти для него возможное место в языке и установить различия между словами, то есть различия между их значениями.

А теперь попробуем задаться вопросом, который очень часто обходили вниманием, вопросом о „специфичности" фонемы. Чем фонема отличается от всех остальных языковых значимостей? Мы можем сразу убедиться в том, что фонема занимает совершенно особое место среди языковых значимостей и вообще любых значимостей в любой знаковой системе. Каждая фраза, каждое предложение, каждая группа слов, каждое слово и каждая морфема имеет свое собственное значение. Это значение, безусловно, может быть очень общим, очень фрагментарным или имплицитным, то есть оно может требовать уточнения или дополнения, исходя из контекста или из ситуации. Например, житель Берлина может ограничиться кратким mit 'с' или ohne 'без'. Если он скажет это в кафе, то такие краткие высказывания будут значить: «Дайте мне кофе со сливками» или «без сливок», но если эти слова будут произнесены в пивной, то это будет означать: «Дайте мне стакан светлого пива с малиновым соком» или «без малинового сока». Общее значение обоих предлогов — наличие или отсутствие некоторого добавления — остается в силе в обоих случаях. Рудольф Карнап в своей книге „Логический синтаксис языка" * разбирает фразу, состоящую сплошь из выдуманных слов: Pirots karulize elatically... Мы не знаем, что это за загадочные pirots, но знаем, что их много и что точное число их неизвестно, знаем, что они активны и что в приведенной выше фразе содержится какая-то неясная для нас характеристика их непонятной деятельности. Мы даже можем, исходя из этого предложения, строить другие предложения, такие, как „A pirot karulizes or karulized before". Мы понимаем грамматическое значение и, стало быть, синтаксическую функцию бессмысленных слов, потому что нам известны их окончания **.

Рассмотрим теперь обратный случай. Допустим, что мы знаем корни слов, но не можем расшифровать суффиксы. В качестве примера приведем пары русских слов с заимствованными из западных языков корнями: interes-y student-a 'интересы студента', interes-naja student-ka 'интересная студентка', interes-ujtes' student-ami 'интересуетесь студентами'. Те, кто не знают русского языка, могут констатировать тождество лексических значений в этих трех парах, а также тот факт, что здесь налицо две сферы значений — сфера „интереса" и сфера „студентов", однако различные грамматические значения в этих трех словосочетаниях не будут ими поняты. Но даже если нам в обычном

---

* Rudolf C a r n a p. Logical Syntax of Language, 1937.

** Русским аналогом такого предложения является хорошо известная *Глокая куздра*... Л. В. Щербы.— *Прим. ред.*

тексте встречается совершенно незнакомое слово, мы a priori не считаем, что это слово лишено смысла. Мы всегда рассматриваем слово как некоторую семантическую единицу, но в этом случае такая семантическая единица имеет для нас нулевое значение. В романе Кнута Гамсуна „Голод" герой придумывает слово „кубоа". «Я имею право,— говорит он,— приписать ему то значение, которое считаю нужным: я сам еще не знаю, что это слово значит». Иначе говоря, как только некоторая последовательность фонем объявляется словом, она тут же начинает подыскивать себе значение. Другими словами, она является потенциальной семантической единицей. Означающее: *кубоа*, означаемое: семантическая единица неизвестного содержания. Или же означающее: pirots, означаемое: множественное число существительного неизвестного семантического содержания.

Поскольку слово являет собой семантическую единицу, любое звуковое средство, используемое для того, чтобы отметить его границы или указать количество слов в синтаксически оформленном целом, указывает eo ipso на границы и на количество семантических единиц на рассматриваемом отрезке речи. Таким образом, разграничительные звуковые средства имеют свою собственную семантическую значимость. Так, в немецком перед начальной гласной в слове всегда есть гортанный взрыв (кнаклаут) — Achtung — и кроме, как в начале слова, такой кнаклаут нигде больше не встречается. Наличие гортанного взрыва функционирует в немецком языке как сигнал начала слова. Мы уже говорили, что в чешском ударение в слове всегда падает на первый слог; таким образом, ударение указывает на начало слова, то есть на начало новой семантической единицы. Следовательно, ударение имеет собственное положительное и постоянное значение. Означающее: ударение, означаемое: начало семантической единицы. Слова объединяются в предложения, которые в свою очередь также являются смысловыми единицами более высокого порядка, чем слово. И любое звуковое средство, которое позволяет определить границы предложения, разделить его на составляющие или установить иерархию его составляющих, является также автономным знаком. Так, понижение голоса, то есть нисходящая интонация в конце предложения, указывают на конец смысловой единицы, выраженной этим предложением. Ударение в своей логической функции прямо указывает на существенность ударного слова в высказывании. Мы можем не понимать значения слов, входящих в предложение, но мы знаем, что определенный интонационный рисунок указывает на его конец, знаем, что число ударений равно числу слов, входящих в предложение, знаем, что самое сильное ударение падает на самое важное слово, значение которого служит отправной точкой для понимания всего предложения.

Звуковые элементы, характеризующие целое предложение, указывают на его границы, выделяют его части, устанавливают его внутреннюю структуру, тогда как звуковые элементы, характеризующие слово, нужны только для того, чтобы различать значения слов. Утверждения некоторых лингвистов о том, что язык располагает не только средствами для различения значений слов, но и звуковыми средствами для

непосредственного различения значений предложений, явно не точны и могут привести и, можно сказать, уже привели к разного рода недоразумениям. Эти звуковые средства не несут никакой информации о когнитивном содержании предложения: они выражают только эмоциональный или „апеллятивный" аспекты — эмоциональную окрашенность или побуждение. Нельзя считать вопросительное предложение информативным в полном смысле слова. Задавая вопрос, мы не передаем информацию, мы побуждаем собеседника дать нам информацию. Вопросительная интонация совершенно независимо от содержания вопросительного предложения указывает на факт вопроса. Такая интонация может даже обойтись без слов, накладываясь на нечленораздельное бормотание.

В романах и в других видах художественнной прозы нам иногда встречается в диалогах что-то вроде вопроса без слов, который в письменной форме передается просто знаком вопроса (—?). Вопросительная или восклицательная интонация или любое другое языковое средство для выражения побуждения или эмоций, одним словом, все звуковые средства языковой экспрессии всегда непосредственно связаны с выражением эмоций или побуждения. Например, экспрессивное удлинение ударных (mīlyj 'милый') или предударных (spāsíbo 'спасибо') гласных в русском языке или экспрессивная перестановка ударения (fórmidable 'потрясающе') во французском самостоятельно выражает интенсивность эмоции. Непосредственным означающим этих фонетических средств является сам факт эмоциональной окрашенности или побуждения.

Все приведенные выше факты соответствуют определению знака, данному схоластами и принятому теоретиком языка Карлом Бюлером в его обширном трактате „Теория языка" *: aliquid stat pro aliquo. Слова, так же как и морфемы, такие, как корень или аффикс, замещают некоторое концептуальное содержание; они являются, если так можно выразиться, его представителями. «Слово,— говорит Соссюр,— можно обменять на объект другой природы: *на идею*». Звуковые средства, ограничивающие и членящие предложение, можно обменять на внутренние членения цепочки понятий, экспрессивные звуковые средства — на выраженные ими эмоции. Но что же в таком случае соответствует фонеме?

Означающее: звуковое свойство; означаемое? Фонема (и ее составляющие, которые мы будем анализировать ниже) отличается от всех остальных языковых значимостей тем, что ей не соответствует постоянное значение. Морфема или даже целое слово может состоять из одной фонемы. Так, во французском, назальная фонема *а* функционирует как окончание причастия настоящего времени (cach-ant 'прячущий', all-ant 'идущий') или как самостоятельное существительное (an 'год'). Но та же назальная фонема *а* в таких словах, как entrer 'войти', vent 'ветер', vente 'продажа', sang 'кровь', cancan 'канкан', не имеет постоянного смыслового эквивалента, в то время как вопросительная

* Karl B ü h l e r. Sprachtheorie. Iena, 1934.

интонация всегда указывает на факт вопроса, удлинение гласных в русском всегда выражает эмоциональную окрашенность, а немецкий кнаклаут перед гласными всегда указывает на начало слова. Но языковая значимость назальной фонемы *a* во французском, так же как и любой другой фонемы в любом другом языке, *сводится к тому, что с ее помощью можно отличить слово, которое содержит эту фонему, от другого слова, сходного с ним во всем, кроме того, что вместо этой фонемы в него входит другая*. Так, sang 'кровь' отличается от son 'звук', sein 'грудь', ça 'это', seau 'ведро', sou 'су', si 'если', su 'известное' и т. д.; cachant 'скрывающий' отличается от cachons 'прячем', cacha 'спрятал', cacher 'прятать', cachot 'тюрьма' и т. д.; слово an 'год' отличается от eau 'вода', où 'где', eu 'имевшиеся' и т. д. Если два слова отличаются друг от друга несколькими фонемами или порядком фонем, то эти несколько фонем берут на себя различительную функцию. Так, в русском языке, с одной стороны, есть несколько инфинитивов, отличающихся друг от друга только начальной согласной: drat' 'драть', brat' 'брать', vrat' 'врать', žrat' 'жрать'; с другой стороны, существуют инфинитивы, которые противопоставлены этим словам порядком двух начальных согласных: rvat' 'рвать', ržat' 'ржать'.

Определение схоластов aliquid stat pro aliquo остается в силе для любого знака, для каждой из его составных частей. Мы видели, что все грамматические и лексические элементы языка отвечают этой формулировке, так же как и все звуковые средства, характеризующие фразу в целом, и все средства языковой экспрессии. Каждому из этих элементов соответствует в языковой системе четко очерченная и постоянная значимость. Звуковой форме каждого из этих элементов соответствует свое особое содержание. Но какое содержание соответствует звуковой форме фонемы? Различие в значении, различие точное и постоянное, соответствует различию между двумя морфемами. Разница, существующая между вопросом и ответом, соответствует различию между двумя интонационными рисунками во фразе, но что же соответствует различию между двумя фонемами? Различию между двумя фонемами соответствует только сам *факт* различия значений, тогда как *содержание* этих значений меняется от слова к слову.

Именно в средние века философия наиболее тонко подошла к проблеме знака и, в частности, к проблеме языкового знака и его составляющих. Фома Аквинский со всей ясностью осознал тот факт, что в нашем случае речь идет об «условных» означающих (significantia artificialiter), предназначенных ad significandum, но которые сами по себе ничего не значат. И дело именно в том, что в этом отношении фонема занимает совершенно особое место в системе языка (да и вообще в мире знаков). Именно этот факт является решающим для понимания сущности фонемы.

К сожалению, вместо того чтобы всячески настаивать на этом кардинальном различии, вместо того чтобы каждый раз напоминать о нем, исследователи старались его как-то смягчить, если вообще не забыть о нем. Так, некоторые ученые, в частности венгерский лингвист Лазициуш, недавно высказались в пользу того, что нет принципи-

альной разницы между фонемами, с одной стороны, и другими звуковыми средствами языка, такими, как, например, разграничительные и экспрессивные элементы — с другой: речь идет, якобы, о второстепенном количественном различии. Но, как мы уже отмечали, это совершенно очевидное различие, различие по существу. Непосредственному, собственному, позитивному смыслу всех остальных элементов фонема противопоставляет чисто дифференциальную и, следовательно, чисто отрицательную значимость. И пока не была правильно оценена важность этого различия, при анализе фонемы возникали разнообразные трудности, и исследователи не могли довести его до конца. Фердинанд де Соссюр прекрасно понял, что фонема по природе своей чисто отрицательна и дифференциальна, но вместо того чтобы сделать из этого необходимые для понимания фонемы выводы, он с поспешностью обобщил это положение и попытался применить его вообще ко всем языковым сущностям. Он дошел до того, что заявил, что в языке нет ничего, кроме различий, и что позитивных значений нет вовсе. С точки зрения Соссюра, грамматической категории также соответствует чисто отрицательная значимость; единственное, что имеет значение,— это факт несовпадения с противопоставленными ей категориями. Но в этом случае Соссюр допустил серьезную ошибку: он спутал два разных понятия. Грамматические категории являются относительными сущностями, их значения обусловлены всей системой грамматических категорий данного языка и механизмом противопоставлений внутри этой системы. Совершенно очевидным является тот факт, что, например, грамматическая категория множественного числа предполагает и имплицирует существование противоположной категории, то есть категории единственного числа. Но решающим для категории множественного числа является именно наличие у нее собственной положительной значимости — указания на множественность; именно она дает ей право на существование в языке. Соссюр приводит пример из немецкого: единственное число Nacht 'ночь', множественное число Nächte 'ночи'. Действительно, каждое из этих двух понятий предполагают существование другого, но вряд ли можно согласиться с Соссюром, когда он пишет, что «взятые в отдельности ни Nacht, ни Nächte ничего не значат». Мы не можем признать, что это так, поскольку для любого говорящего Nächte является самостоятельным и точным обозначением конкретной множественности. Но, с другой стороны, мы имеем полное право сказать, что назальная фонема *a* ничего не значит, если рассматривать ее отдельно, поскольку вся ее значимость сводится к ее несовпадению со всеми остальными фонемами французского языка. Любое противопоставление грамматических категорий обязательно имеет положительное содержание, которое всегда отсутствует при противопоставлении двух фонем. Фонемы, в соответствии с „Курсом" Ф. де Соссюра,— прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности. Грамматические категории — тоже оппозитивные и относительные сущности, только они не отрицательны. Вот в чем заключается незамеченное Соссюром различие.

Определяя фонемы как дифференциальные и отрицательные сущ-

ности, Соссюр констатирует, что так же устроена другая система знаков — письменность. Он утверждает, что буквы — это знаки «с чисто отрицательной дифференциальной значимостью». Так, один и тот же человек может по-разному изображать на письме одну и ту же графему, но главное заключается в том, чтобы она не смешивалась «с другими графемами». Совершенно очевидно, что внутреннее строение каждой буквы обусловлено существованием определенной системы графем. Но наиболее существенным обстоятельством при этом является то, что каждая графема наделена своей особой положительной значимостью. Безусловно, буква *бета* должна отличаться от букв *альфы*, *гаммы* и *дельты* и т. д., но греческая графема *бета* прежде всего нужна для обозначения фонемы b, и все остальные графемы имеют аналогичную функцию. Графический образ выступает в качестве означающего, а фонема — в качестве его означаемого.

Показательным является тот факт, что фонема, эта основа основ системы языка, в корне отличается от всех остальных элементов языковой системы. Не менее характерен и тот факт, что в других знаковых системах мы не находим сущностей, которые могли бы служить ее аналогом. В этом отношении нет сходных сущностей ни в языке жестов, ни в языке научных формул, ни в геральдической символике, ни в знаковой системе изящных искусств, ни в языке обрядов. Карл Бюлер попытался провести аналогию между фонемами и другими видами знаков, такими, как почтовая марка или клеймо, но такое сопоставление носит чисто поверхностный характер. Нет сомнения в том, что почтовая марка или клеймо предприятия-изготовителя являются дифференциальными знаками, но, в отличие от фонем, каждому из этих знаков присуще, кроме того, свое собственное постоянное, положительное и точное значение. Так, разница между почтовой маркой в два и почтовой маркой в три американских цента заключается не только в том, что они имеют разную стоимость. Основное различие состоит в том, что в первом случае марку можно наклеить на письмо, адресат которого проживает в том же населенном пункте, что и отправитель (марка в 2 цента), а во втором — на письмо в другой город (марка в 3 цента). Только фонема является дифференциальным знаком в чистом виде, знаком пустым, лишенным какого бы то ни было значения. Содержание фонемы с точки зрения языка, или, если подходить к этому вопросу с более общих позиций, ее семиотическое содержание, сводится к различию между этой фонемой и остальными фонемами данной системы. Каждая фонема в данной позиции означает не то, что означала бы другая фонема в той же позиции: к этому сводится вся ее значимость. Француз может и не знать арготизма mɛk (mec 'хмырь') и специального термина mok (moque 'юферс'), но, услыхав эти два слова, он может предположить, что они обозначают разные объекты, поскольку отличаются друг от друга одной из своих фонем. Именно к этой „инаковости", если воспользоваться философским термином, сводится значимость фонемы, это aliquo из приведенной выше цитаты.

Таким образом, язык как таковой отличается от других знаковых систем самим принципом своей организации. Язык — это единствен-

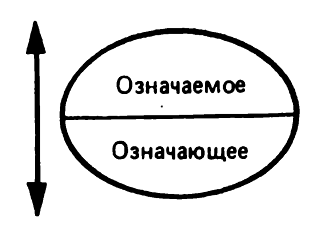
ная в своем роде система, элементы которой, являясь означающими, вместе с тем полностью лишены значения. Итак, именно фонема является характерной единицей языка. Философская терминология часто трактует различные знаковые системы просто как *языки*, а естественный язык — как *язык слов*. Быть может, было бы уместнее, для большей четкости, определить естественный язык как *язык фонем*. Этот язык фонем является самой важной из знаковых систем, для нас он — язык в чистом виде, язык как таковой, просто язык, и можно задаться вопросом, не является ли это привилегированное положение языка фонем прямым следствием того особого парадоксального свойства его элементов, которое сводится к тому, что они, обозначая, вместе с тем полностью лишены значения.

IV

Сам факт функционирования фонемы в языке приводит нас к следующему выводу: фонема функционирует, ergo она существует. Слишком много дискуссий было посвящено способу ее существования: этот вопрос, затрагивающий не только фонему, но и любую языковую и, более того, вообще любую значимость, разумеется, не относится к области фонологии и вообще к области лингвистики. Было бы уместнее передать его в ведение философии, и, в частности, онтологии, занимающейся вопросами бытия. Лингвисту же следует сосредоточить свои усилия на более глубоком анализе фонемы, на систематическом изучении ее структуры. Мы уже убедились в том, что фонемы, звуковые элементы, при помощи которых различаются слова, отличаются от всех прочих звуковых средств языка, так же как и вообще от всех языковых значимостей тем, что они лишены какого бы то ни было собственного, фиксированного и вместе с тем положительного значения. Из всех знаковых систем только естественный язык как таковой, и в нем — слово — состоит из значимых, но пустых, лишенных собственного значения элементов.

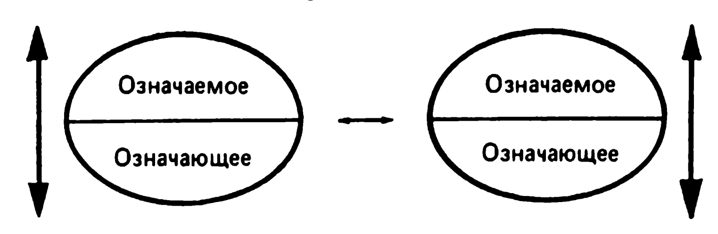
Как тонко заметил Соссюр в своем „Курсе" в главе, посвященной языковой значимости, два фактора необходимы для существования любой языковой значимости, два отношения — одно гетерогенное, другое — гомогенное. Для того чтобы можно было говорить о языковой значимости, «необходимо:

1) наличие какой-либо *непохожей* вещи, которую можно *обменивать* на то, значимость чего подлежит определению»:



(Например, в латинском языке понятие аккузатива amic-um обменивается на слуховой образ окончания -um и наоборот.)

«2) наличие каких-то *сходных* вещей, которые можно *сравнивать* с тем, о значимости чего идет речь»:



Таким образом, мы сравниваем две значимости, принадлежащие к одной системе — amic-um и amic-ō: в плане означающего — это различие между двумя разными звуковыми формами, в нашем случае — -um и -ō, в плане означаемого — различие, или, точнее, оппозиция между двумя грамматическими значениями. Фонемы также являются двусторонними сущностями, но специфика их заключается в том, что, противопоставляя две разные фонемы, мы имеем дело только с одним конкретным и постоянным различием. Это различие затрагивает означающее, тогда как разница в плане означаемого сводится просто к способности этих фонем различать значения слов. Таким образом, речь идет о неопределенном множестве конкретных различий.

Следовательно, классификация морфем — грамматически неделимых, минимальных грамматических единиц, таких, как корни или простые аффиксы, а также классификация всех прочих языковых сущностей, обладающих собственным, определенным и положительным значением, основывается совсем на иных принципах, нежели классификация фонем. В основе системы морфологических и грамматических оппозиций обычно лежит означаемое. Так, в основе системы склонения лежат противопоставления падежных значений; вся эта система определяется ими. Например, в латинском языке есть четкое противопоставление между общими значениями датива и аккузатива и совершенно такое же противопоставление между общими значениями номинатива и аблатива. С другой стороны, значение номинатива логически противопоставлено значению аккузатива, так же как и значение аблатива — значению датива. Что касается внешней формы соответствующих падежных окончаний, то она каждый раз представлена конкретными звуковыми отрезками, которые логически никак не противопоставлены друг другу. Представление о косвенном объекте действия не может существовать без представления о прямом объекте действия. Короче говоря, из значения датива выводится значение аккузатива, но из звуковой формы окончания -о никоим образом не выводится форма -um. Указание на то, что объект затронут действием, является общим свойством аккузатива и датива. Но такое указание необходимо противопоставлено отсутствию такового, и это отсутствие является общим свойством номинатива и аблатива. Значение „множественное число“

3*

предполагает существование „единственного числа“, но, с точки зрения формы, из того, что окончание множественного числа выглядит как -i, никак не следует a priori, что соответствующим окончанием единственного числа будет -us.

В отличие от морфем, различие между двумя фонемами не затрагивает области положительного содержания, и оппозиция в этом случае касается только означающего. В качестве примера рассмотрим несколько пар французских фонем: назальные гласные или согласные (/ã/ или /n/), противопоставленные неназальным (/a/ или /d/), фрикативные согласные (/s/ или /f/), противопоставленные взрывным (/t/ или /p/), и огубленные гласные (/ü/ или /ö/), противопоставленные неогубленным гласным (/i/ или /e/). В плане означающего эти оппозиции выглядят как:

$$\overline{\tilde{a}-a} \quad \overline{s-t} \quad \overline{\ddot{u}-i} \text{ и т. д.}$$

Но все эти разные типы оппозиций имеют один и тот же аналог в области означаемого: они различают значения слов.

$$\frac{x \neq y}{\tilde{a}-a} \quad \frac{x \neq y}{s-t} \quad \frac{x \neq y}{\ddot{u}-i}$$

Таким образом, *специфическим* для каждой конкретной пары фонем является только противопоставление их означающих. Только этими оппозициями определяется место различных фонем в фонологической системе данного языка. Исходя из этого, в основу классификации фонем может быть положено только означающее. Опыт показывает, что если означающее связано с положительным, постоянным и гомогенным означаемым, то между ними может возникнуть очень прочная, можно даже сказать, неразрывная связь, и если такое постоянное соотношение действительно имеет место, то означающее можно очень легко распознать.

На множестве разнообразных опытов было доказано, что собаки способны воспринимать и узнавать самые тонкие акустические сигналы. Биологи школы Павлова доказали, что если перед подачей пищи подавать собаке один и тот же звуковой сигнал, то собака сможет правильно воспринимать значение этого сигнала и отличать его от всех других, даже очень близких по звучанию сигналов.

Если верить итальянским исследователям, то даже рыбы обладают такой способностью. Ученые утверждают, что некоторые виды рыб наделены исключительно тонким слухом и что они в состоянии с поразительной точностью различать акустические сигналы с разными значениями. По определенному сигналу рыбки в аквариуме узнают, что сейчас их будут кормить, другой сигнал, немногим отличающийся от первого, предупреждает об опасности. Все остальные сигналы не имеют фиксированной семантики. После периода обучения рыбки привыкают к этому „языку“ сигналов. В первом случае они всплывают к поверхности воды, во втором — прячутся в глубине. Все остальные сигналы не вызывают у них никакой реакции. Они узнают сигналы по их значениям, и только благодаря наличию такового,

благодаря механическому и постоянному объединению означаемого и означающего.

По данным экспериментальной психологии мы прекрасно можем справиться с самыми разнообразными слуховыми впечатлениями, даже если они неупорядочены и трудны для восприятия; мы в состоянии различать и опознавать их, но только при том условии, что для нас они самым тесным и непосредственным образом соотнесены с определенными значениями, и, следовательно, функционируют как простые сигналы. Но если наши слуховые впечатления нечленимы и если они беспорядочны и в то же время лишены непосредственной связи со значением, то нам будет очень трудно распознать эти стимулы, и вряд ли они смогут оставить след в нашей памяти.

Но, как мы уже отмечали, сами по себе фонемы не имеют собственного значения, и в то же время на слух различия между разными фонемами одного языка бывают настолько тонкими и незначительными, что их трудно уловить даже при помощи самых чувствительных приборов. Сейчас специалисты в области акустики с беспокойством задаются вопросом о том, каким образом человеческое ухо без труда различает такое многообразие звуков речи, при том, что они порой так мало отличаются друг от друга. Но идет ли речь в данном случае только о возможностях человеческого уха? Нет, ни в коем случае! В звучащей речи мы распознаем не столько различия между звуками как таковыми, сколько различия в их употреблении в рамках данного языка, то есть различия, не имеющие своего собственного значения, но используемые для того, чтобы отличать друг от друга сущности более высокого уровня (морфемы, слова). Коль скоро данное, пусть даже минимальное звуковое различие играет смыслоразличительную роль в том или ином языке, оно всегда будет точно воспринято всеми носителями языка без исключения, тогда как для иностранцев, пусть даже квалифицированных наблюдателей или просто профессиональных лингвистов, улавливание таких различий часто сопряжено с большими трудностями, поскольку в их родном языке эти различия не несут смыслоразличительной функции.

В качестве иллюстрации этого положения можно привести множество примеров. Так, различие между твердыми и мягкими согласными в русском языке является значимым, несет смыслоразличительную нагрузку. Оно используется для различения слов. В русском языке мягкое t (/t'/) и твердое t являются двумя разными фонемами, так же как и /s'/ и /s/, /p'/ и /p/ и т. д. В трехлетнем возрасте ребенок, для которого русский язык является родным, прекрасно улавливает это различие и использует его в своей речи. Для русских оно столь же очевидно, как различие между огубленной и неогубленной гласной, например различие между ö и e для француза. Но различие между твердой и мягкой согласной, столь бесспорное и явное для русских, практически неуловимо для чехов, шведов или французов, в чем я много раз имел возможность удостовериться сам. Я произносил в присутствии чешских и шведских студентов пары слов типа krov' (кровь) и krov (кров). Конечная согласная первого слова — мягкое f,

второго — твердое r. Русский различает слова udar' (ударь) с мягким r, и udar (удар) с твердым r. Иностранец, не имеющий в активе противопоставления твердых и мягких согласных, улавливает эту разницу с большим трудом, хотя русский не прикладывает при этом никаких усилий. Разумеется, было бы совершенно неправильным заключить из этого, что у русских со слухом дело обстоит лучше! Здесь речь идет лишь о разном восприятии звуков, а это восприятие определяется системой фонем, фонологической системой данного языка. Оппозиция твердых и мягких согласных улавливается русскими именно потому, что в русском она используется для различения слов.

Еще Соссюр справедливо настаивал на том, что для фонем важна не конкретная звуковая индивидуальность каждой из них, взятая „в себе“ и существующая „для себя“. Важны противопоставления, членами которых они являются в рамках фонологической системы. Каждая фонема предполагает наличие сети противопоставлений с другими фонемами этой системы. Соссюр уточняет: «Фонемы — это прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности». Мы вникли в суть этого основополагающего тезиса. Теперь посмотрим, что отсюда следует.

Прежде всего вспомним, что вообще нам известно из логики о природе оппозиции. В оппозиции всегда два члена, и связаны они между собой особым образом: если присутствует один из них, мысленно мы выводим отсюда другой. Оппозиция двойственна, и когда задан один из ее членов, второй тоже присутствует в нашем сознании, хотя формально он и не задан. Понятию „белый“ противопоставлено только понятие „черный“, понятию „красивый“ — понятие „некрасивый“, понятию „большой“ — понятие „маленький“, понятию „закрытый“ — понятие „открытый“, и т. д. Члены оппозиции так тесно связаны между собой, что предъявление одного из них автоматически напоминает о существовании другого.

Попробуем теперь применить эти простые логические истины к паре фонем. Рассмотрим в качестве примера отношение между парой гласных фонем u и a. Не возникает никаких сомнений в том, что каждая из этих фонем вполне может мыслиться вне всякой связи с другой, но нельзя думать о величии, забыв о том, что существуют ничтожества. Понятие дороговизны необходимо противопоставлено понятию дешевизны. Но понятие „фонема *a*“ никоим образом не предполагает существование понятия „фонема u“. Обязательная связь между этими представлениями отсутствует. Следует ли из этого, что отношения между фонемами были ошибочно определены как оппозиции и что в действительности речь здесь идет просто о различиях, о случайном сопоставлении двух смежных явлений, а не об оппозициях в полном смысле слова?

Перед тем, как ответить на этот вопрос, я позволю себе на минуту отвлечься. Мы говорили, что *главное в фонемах — это различия, при помощи которых можно дифференцировать слова*. К этому сводится вся языковая значимость фонем. И именно эти различия являются отправной точкой в любом исследовании по фонологии. Значимые

различия, как мы уже говорили, более доступны для восприятия и легче усваиваются памятью, чем различия незначимые. Но, с другой стороны, фонологические различия лишены какого бы то ни было собственного значения и, следовательно, их восприятие и запоминание требуют от нас значительных усилий. Поэтому можно предположить, что число таких первичных немотивированных значимостей будет относительно небольшим для каждого конкретного языка.

Для того чтобы проблема стала понятнее, попробуем проиллюстрировать ее на примере из области визуальных явлений. Представим себе, что мы хотим освоить неизвестную нам систему письменности, например коптское письмо. Задача эта была бы чрезвычайно тяжелой, если бы эта письменность была дана нам в виде простого скопления бессмысленных росчерков и линий. Было бы, например, очень трудно воспроизвести по памяти коптский текст, не имея представления о значимости его компонентов. Но задача тут же упростилась бы, если бы мы знали положительную, постоянную и точную значимость каждой буквы. Можно рассмотреть и промежуточный случай: мы не можем определить положительную значимость букв. Мы не знаем звучания каждого коптского слова в тексте, но нам известно, каково значение каждого из них, нам пословно перевели текст. Следовательно, буквы в этом случае выступают для нас в роли чисто различительных элементов: с их помощью дифференцируются значения слов, но они лишены собственного значения. Таким образом, в этой ситуации буквы с функциональной точки зрения несут ту же нагрузку, что и фонемы. Овладение системой письменности в этом случае, без сомнения, не вызывает таких затруднений, как в первой из рассмотренных нами гипотетических ситуаций, когда буквы никак не были связаны со значением и воспринимались нами как бессмысленные фигуры. Но в этом промежуточном случае при освоении письменности трудностей будет значительно больше, чем во втором случае, когда каждая буква обладала своей собственной положительной значимостью. Напомню, в чем состоит промежуточная ситуация: мы ничего не знаем о значении коптских букв, нам известно только значение каждого слова в коптском тексте.

Чем легче свести все многообразие букв к простым и упорядоченным графическим различиям, тем больше шансов у исследователя постичь язык через его письменность. Но поскольку в общем случае системы письменности организованы довольно сложным образом и поскольку они не сводятся к ограниченному числу четких зрительных противопоставлений, вряд ли мы сможем достичь цели. Конечно, можно объяснить глухонемому ребенку значения написанных слов, так же как нормальным детям объясняют значение звучащих слов. Но специалисты, обучающие глухонемых языку, утверждают, и это очень показательно, что усвоение и закрепление грамоты невозможно при недостаточно полном знакомстве со звуковой формой языка. И тем не менее усвоение фонем связано, по существу, с аналогичным

кругом проблем. В качестве примера рассмотрим систему турецких гласных. Она состоит из восьми фонем:

o a ö e
u y ü i

Поскольку фонем восемь, мы можем получить, воспользовавшись математической формулой, двадцать восемь сочетаний, двадцать восемь противопоставлений и, следовательно, двадцать восемь бинарных отношений между фонемами. Фердинанд де Соссюр показал, что в фонеме нет ничего, кроме отношений. Но если, следуя соссюровской традиции, мы будем считать, что для турецкого языка двадцать восемь названных различий являются его первичными значимостями, а фонемы будем рассматривать как производные, вторичные образования, то мы рискуем прийти к парадоксальному выводу, что первичных элементов гораздо больше, чем производных: сравните двадцать восемь с восемью! Итак, мы столкнулись со вторым явным противоречием — первое, напоминаю, заключалось в том, что в фонологических „оппозициях" не соблюдался логический принцип, заложенный в основу этого понятия.

Для того чтобы одним махом избавиться от всех этих противоречий, достаточно просто отказаться от одной, ставшей традиционной, презумпции, которая ставит под удар любое исследование в области фонологии. Нас учили, что фонологические оппозиции, и в особенности сами фонемы, неделимы. Следуя за Бодуэном де Куртене и Соссюром, фонологи в качестве исходного приняли следующее определение: «Фонема — это фонологическая единица, не подлежащая разложению на более мелкие и более простые фонологические единицы». Но это определение (которое было предложено на Первом фонологическом конгрессе двенадцать лет назад в нашем „Проекте стандартизованной фонологической терминологии" и которое было принято на этом международном форуме) оказалось неточным. В фонологической системе турецкого языка гласные o, a, ö, e противопоставлены гласным u, y, ü, i как открытые фонемы закрытым, гласные o, u, a, y противопоставлены гласным ö, ü, e, i как фонемы заднего ряда фонемам переднего ряда, и, наконец, гласные o, u, ö, ü противопоставлены гласным a, y, e, i как огубленные фонемы неогубленным. Таким образом, двадцать восемь упомянутых различий между турецкими гласными в действительности можно свести к трем основным оппозициям: 1) открытый — закрытый, 2) задний — передний, 3) огубленный — неогубленный. Именно из этих трех пар дифференциальных элементов — на сей раз это, действительно, неразложимые элементы — формируются восемь турецких гласных. Так, например, турецкая фонема i является сложным образованием, состоящим из трех дифференциальных элементов: закрытая, передняя, неогубленная.

Мы определили дифференциальные элементы в терминах артикуляционной фонетики, во-первых, потому, что это более привычные

термины, а во-вторых, потому, что для того чтобы дать соответствующие акустические определения (они были бы более уместны при описании характеристик рассматриваемых признаков), предварительно надо было бы разъяснить некоторые положения из области акустики, а эти разъяснения заняли бы у нас слишком много времени. Здесь мы лишь подчеркнем, что каждый дифференциальный элемент имеет четкую и легко узнаваемую акустическую характеристику, и когда мы рассматриваем звукообразование с точки зрения конкретного акустического эффекта, мы всегда можем вычленить из множества артикуляторных движений тот единственный основной фактор, при помощи которого достигается этот эффект.

И не только различия между турецкими гласными, но и вообще любые различия между любыми фонемами в любом языке распадаются без остатка на простые неразложимые бинарные оппозиции. И, следовательно, все фонемы во всех языках — будь то гласная или согласная,— разлагаются на неразложимые *различительные признаки*. Итак, мы показали, что упомянутые выше противоречия только кажущиеся. Оппозиции между дифференциальными признаками суть полноценные бинарные оппозиции с точки зрения логики, поскольку в этих оппозициях каждый из членов *необходимо* предопределяет наличие другого. Так, идея закрытости может быть противопоставлена только идее открытости. Передний и задний ряд не могут существовать друг без друга и т. д.

Отношения между двумя фонемами сложны, они могут включать в себя несколько простых оппозиций. Так, противопоставление между турецкими фонемами u и o сводится к одной оппозиции закрытый — открытый, фонемы u и a противопоставлены еще и по признаку огубленный — неогубленный, а в противопоставление между u и e входит, в дополнение к двум предыдущим, еще и третья оппозиция, оппозиция задний — передний. Число различий между фонемами в языке естественным образом превышает число фонем, тогда как число различительных признаков значительно меньше числа фонем. Напомним только, что дифференциальные элементы, используемые для различения значений слов, лишены какого бы то ни было собственного значения. Носители языка тем не менее с легкостью различают, запоминают и используют их именно в силу того, что число этих пустых единиц весьма ограничено в каждом конкретном языке.

„Дифференциальные элементы" (или, другими словами, „дифференциальные признаки, свойства", или „дифференциальные черты") существуют в языке в виде пучков. Фонема — это пучок дифференциальных элементов. Но дифференциальные элементы сами по себе имеют собственное место в языковом механизме и могут функционировать в нем самостоятельно. Например, во многих языках мира мы сталкиваемся в той или иной форме с явлением, известным под названием „сингармонизм". В таких языках для всех гласных в слове характерен общий различительный признак. Так, в большинстве тюркских языков в одно слово не могут входить гласные заднего и переднего ряда: либо все гласные будут переднего ряда, либо все

будут заднего ряда. В турецком суффикс множественного числа принимает форму -ler после корня с гласными переднего ряда и -lar после корня с гласными заднего ряда, например ev-ler 'дома' и at-lar 'кони'. Следовательно, оппозиция передний ряд — задний ряд функционирует здесь автономно. В некоторых тюркских языках существует, кроме того, еще и лабиальный сингармонизм. В этих языках в пределах слова огубленные гласные не могут сосуществовать с неогубленными. И наконец, есть языки, например, в маньчжурской группе, где в пределах слова несовместимы закрытые и открытые гласные. Так, например, в гольдском [совр. нанайский] (на нем говорит народ, живущий на берегах Амура) закрытые гласные u-y-i противопоставлены открытым o-a-e: ga 'покупать', bi 'существовать' и ga-pogo '(для того) чтобы купить', bi-pugu '(для того) чтобы существовать'. Во всех этих случаях дифференциальный элемент выполняет автономную функцию как бы отдельно от фонем, в которые он входит.

В русском языке набор гласных после мягких согласных отличается от набора гласных после твердых согласных. Таким образом, мягкость согласных как таковая учитывается во внутреннем устройстве языка.

Первейшей задачей фонологического анализа является выявление различительных признаков, поскольку именно их можно подвергать точному сравнению. Различительный признак, характеризующий фонологическую систему данного языка, по существу совпадает с тем же признаком в другой системе. Но если мы будем сравнивать фонемы в разных языках, не расчленяя их на различительные признаки, то мы рискуем отождествить единицы, объединенные лишь внешним сходством. Так, в турецком, русском, в американском варианте английского, в черкесских и в албанском фонеме i соответствует разное фонологическое содержание:

— *турецкий*: i = закрытая, передняя, неогубленная.

— *американский вариант английского*: i = закрытая, передняя (в Standard American English, описанном Блумфилдом, различие одной из пар системы front/back сводится к оппозиции гласная переднего ряда (/a/ в alms) — гласная заднего ряда (/â/ в odd), и, таким образом, два ряда гласных, противопоставленных по одному измерению, приводятся к общему знаменателю).

— *русский*: i = закрытая, неогубленная. В оппозиции фонем /i/ и /u/ единственным постоянным признаком является огубленность, всегда присутствующая в /u/ и отсутствующая в /i/. Характеристика ряда зависит только от контекста. Так, в позиции между двумя мягкими согласными фонема /u/ продвигается к переднему ряду и произносится примерно как ü в таких словах, как l'ul'ka 'люлька', а фонема /i/ продвигается к заднему ряду в позиции после твердых согласных.

Когда речь шла о столь разных звуках, как, например, палатальное i и велярное y в русском, лингвисты спорили о том, можно ли интерпретировать эти звуки русской речи как два варианта одной

фонемы. Они пытались понять, какие критерии могут оправдать включение двух или нескольких явно непохожих звуков в состав одной фонемы. Исследователи безуспешно искали такие критерии в области психологии: опять зашла речь о сознании говорящего. Но если мы рассматриваем фонему как *пучок дифференциальных элементов*, то отсюда вытекает, причем совершенно недвусмысленно, по объективным соображениям, что палатальная гласная /i/ и велярная гласная /у/ в русском относятся к одной и той же фонеме, поскольку они не противопоставлены ни по какому различительному признаку и обладают рядом общих элементов, то есть пучком дифференциальных элементов, отличающих эти гласные от всех остальных фонем русского языка: *закрытая, неогубленная гласная*. Так, именно фонемой /i/ слово byk 'бык' отличается от таких слов, как buk 'бук', bak 'бак' и bok 'бок', и та же самая фонема позволяет различать слова lik/l'ik/ 'лик', ljuk /l'uk/ 'люк', ljag /l'ak/ 'ляг', ljog /l'ok/ 'лег'. Бодуэн де Куртене понимал, что переднее i и заднее у в русском относятся к одной фонеме, которую он назвал *изменяемым i*. Название это неточное: фонема не меняется в зависимости от варианта, которым она представлена, фонема — это всего лишь пучок постоянных дифференциальных элементов. Фонему нельзя отождествлять со звуком, но не следует также считать, что она не связана с ним: она всегда в нем присутствует, она «накладывается» на него, она неотделима от него: фонема — это инвариант, который стоит за вариантами.

Рассматриваемая гласная фонема представляет собой сочетание двух дифференциальных элементов: закрытость и неогубленность. Это сочетание признаков объективно присутствует в палатальном звуке i в русском языке так же, как и в велярном у в этом же языке. Но в то же время эта комбинация накладывается на оба эти звука, поскольку она присутствует в каждом из них. Она накладывается на них как различительная значимость. Эта значимость входит в фонологическую систему русского языка, короче, является частью русского языка. Любой компонент языка и, в частности, любая фонема и любой различительный признак является социальным достоянием (= значимостью). Упомянутая выше фонема входит в модель (pattern), в совокупность норм, называемую „русский язык". И эта фонема присутствует в каждом речевом акте, в каждом i и в каждом у, произнесенном человеком, говорящим по-русски. Для того чтобы эти звуки могли выполнять свою функцию, оба дифференциальных элемента — закрытость и неогубленность, то есть сама эта фонема — должны присутствовать в каждом i и в каждом у, произнесенном по-русски.

Для того чтобы проблема стала понятнее, оставим на некоторое время область языковых значимостей и попытаемся рассмотреть другую сферу значимостей. Представим себе, что у нас есть три франка: один франк бумажный и две монеты по одному франку — одна стертая, другая блестящая. Ребенок отдаст предпочтение блестящей монете, нумизмат же расклассифицирует их по году выпуска. Но

для общества все три франка имеют одну и ту же ценность, если, конечно, какой-нибудь из них не изымут из обихода.

Другой пример, на сей раз из области музыковедения — элементы, по которым представители коренного населения Африки определяют, что два исполнения африканской мелодии суть повторение одного и того же музыкального произведения. Европейцы могут воспринять их как две разные композиции. И наоборот, любая попытка европейца воспроизвести эту мелодию покажется африканцу странной. Такая разница в оценке получается из-за того, что европеец и африканец являются носителями разных систем музыкальных значимостей. То, что значимо и неизменяемо для одного из слушающих, воспринимается другим как случайное и несущественное. Описывать систему значимостей и классифицировать ее элементы можно только «изнутри», с точки зрения самой этой системы, то есть с точки зрения ее назначения, ее функций, задач, которые она решает. Когда речь идет о денежных ценностях, нельзя делить монеты на блестящие и стертые. По тем же самым причинам нельзя приписывать элементам музыкальной системы или фонемам, принадлежащим к определенной фонологической системе, свойства, относящиеся к совсем другим системам значимостей. И именно под этим углом зрения мы рассмотрим сейчас систему французских согласных.

V

Для того чтобы описать фонологическую систему конкретного языка, то есть систему звуковых средств, используемых для выявления смысловых различий между словами, мы прежде всего должны определить и классифицировать все элементы этой системы. Чтобы решить эту задачу, ко всем этим элементам, как мы уже говорили выше, следует подходить с точки зрения их функции в данном языке. Любая попытка описать звуковые элементы языка с чисто внешних позиций, любая попытка классификации этих элементов без учета их функций в данном языке, любая попытка описать и классифицировать звуки речи без учета их связи со значением обречена на неминуемый провал. Элементы фонологических систем двух разных языков при полном внешнем сходстве могут иметь в этих системах совершенно разные функции и вследствие этого занимать разные места в каждой из этих систем.

Попытаемся рассмотреть с этих позиций систему согласных современного французского языка. Для экономии времени мы не будем рассматривать фонемы, занимающие промежуточное положение между согласными и гласными, то есть оставим в стороне плавные. В фонетике, ориентированной прежде всего на место образования каждой согласной, принята примерно следующая классификация:

	велярные	препалатальные	альвеопалатальные	альвеолярные	апикальные	лабио-дентальные	билабиальные
назальные		n̮			*n*		*m*
взрывные	*k/g*				*t/d*		*p/b*
фрикативные			*š/ž*	*s/z*		*f/v*	

Все эти согласные могут быть использованы для различения слов с разными значениями. Следовательно, все они являются разными фонемами, и речь идет о том, чтобы провести анализ, то есть определить различительные признаки, входящие в состав каждой из этих фонем, различительные признаки, к которым сводится каждая из них. Прежде всего мы видим главную оппозицию носовых [назальных] согласных, с одной стороны, и так называемых ртовых (неносовых), с другой. У носовых согласных наряду с ртовым резонансом имеется и носовой, отсутствующий у ртовых. Ртовые согласные делятся в свою очередь на взрывные и фрикативные; полная смычка при артикуляции взрывных противопоставлена отсутствию таковой у фрикативных. Приступая к изучению функционирования французских согласных с фонологической точки зрения, мы, таким образом, сразу же сталкиваемся с дихотомией в классификации фонем:

назальные	
ртовые	{ взрывные фрикативные

С другой стороны, во всех согласных рассматриваемой системы, как взрывных так и фрикативных, представлена бинарная оппозиция: наличие — отсутствие голоса. Звонкому g противопоставлено глухое k, ž противопоставлено š, d противопоставлено t и т. д.

Если сравнить между собой ряд назальных, ряд взрывных и ряд фрикативных, то можно заметить, что внутри каждого класса представлены три артикуляционные зоны, которые несут различительную функцию. Тем не менее в нашей классификации не удалось привести все эти три ряда к общему знаменателю из-за того, что место образования согласных рассматривалось отдельно, как самоцель, или потому, что несколько точек образования согласных были объединены в один общий класс, без учета системных критериев.

Так, в таблице различаются велярные и препалатальные согласные, хотя такое противопоставление имеет смысл только для языков,

где есть и велярные и препалатальные согласные, тождественные во всех отношениях, кроме этого. Например, в чешском, словацком и венгерском есть взрывные, отличающиеся друг от друга только оппозицией велярный — препалатальный: с одной стороны, k, с другой — ť. Во многих азиатских и африканских языках встречается различие между велярной назальной и препалатальной назальной, тогда как в европейских языках в лучшем случае имеется всего одна назальная — велярная, как в английском, или препалатальная, как во французском (ср. англ. sing/siŋ/ и франц. signe/siɲ/). Вообще во французском нет согласных, которые ceteris paribus * отличались бы друг от друга только велярной и палатальной артикуляцией. Следовательно, мы можем и даже должны объединить французские велярные и препалатальные в один класс, в класс велярно-палатальных, артикулируемых в области нёба, как мягкого, так и твердого.

Обычно принято объединять в один класс, в класс дентальных, или переднеязычных, не только апикальные и свистящие, но и шипящие. Поль Пасси, например, в книге „Звуки французского языка" ** различает велярные, палатальные, язычные и лабиальные. Он конструирует класс язычных (в действительности, переднеязычных), артикуляция которых затрагивает в основном переднюю часть языка. В своей классификации он так же, как и многие другие, смешивает роль активного органа (языка) с ролью пассивного органа (мягкого и твердого нёба). К классу язычных он относит не только t, d, n, s и z, но и шипящие š и ž. Но такое часто встречающееся объединение в один класс шипящих и свистящих свидетельствует только об отсутствии функционального подхода. В такой классификации не учитывается оппозиция шипящих и свистящих. Здесь выбирается произвольный поверхностный и малоэффективный критерий, который сводится к различению согласных, артикулируемых у альвеол верхних зубов, с одной стороны, и согласных, артикулируемых у верха нёбной впадины — с другой, то есть шипящих (альвеопалатальных) и собственно палатальных. В действительности же шипящие относятся к палатальным и, следовательно, к более обширному классу велярно-палатальных.

Если вместо того чтобы наблюдать исключительно за различиями по месту образования, мы постараемся понять, какой акустический эффект вызывается этими различиями, то без труда заметим, что место образования велярно-палатальных, или, как их еще называют, „центробежных", находится *за* единственным, или доминирующим, ротовым резонатором, тогда как для всех остальных согласных, то есть для дентальных и для лабиальных, или, в целом, „центростремительных" согласных, оно находится *перед* этим резонатором! В соответствии с этим основным различием у центробежных согласных звук более насыщенный, и, в частности, он легче воспринимается, чем менее насыщенный, и, следовательно, более трудный для восприя-

* 'При прочих равных условиях'.— *Прим. ред.*

** См. Paul Passy. Les sons du français.

тия звук центростремительных согласных. Таким образом, шипящие отличаются от свистящих тем же, чем вообще все центробежные отличаются от соответствующих центростремительных: местом образования, которое находится за (а не перед) главным ротовым резонатором, и соответственно с этим более насыщенным звучанием. Мы видим, что класс назальных и два класса ртовых устроены совершенно одинаково, и принцип дихотомии последовательно пронизывает весь французский консонантизм.

		„центробежные“	„центростремительные“	
назальные		ṉ	дентальные *n*	лабиальные *m*
ртовые	взрывные	*k/g*	*t/d*	*p/b*
	фрикативные	*š/ž*	*s/z*	*f/v*

Центростремительные согласные подразделяются на дентальные и лабиальные. Высокий тембр дентальных противопоставлен низкому тембру лабиальных. Низкий тембр возникает у лабиальных за счет вытянутого неперегороженного ротового резонатора с суженной задней частью, тогда как при артикуляции дентальных язык делит ротовую полость на два коротких резонантных отсека, при этом глотка — задний выход из ротовой полости — расширяется. Высокий тембр дентальных, напротив, возникает в результате перегороженного резонатора с расширенным выходом. Мы видим, что система французских согласных приобретает внутреннюю связность и симметричность, как только мы прибегаем к внутренним классификационным критериям.

Последовательность фонем не сводится к простому сложению: это структура с некоторыми дополнительными свойствами. Так, русская фонема i состоит в принципе только из двух дифференциальных элементов: это закрытая, неогубленная фонема, но в конкретном контексте к этим различительным признакам добавляются специфические позиционные признаки, а именно задний ряд [y] после твердой согласной и передний ряд [i] во всех остальных позициях. Что касается французского консонантизма, то, как мы уже говорили, в классе велярно-палатальных имеется только одна глухая взрывная фонема. Это фонема /k/, которая, в зависимости от окружения, может приобретать различные дополнительные позиционные признаки, и, в частности, она отодвигается назад перед гласными заднего ряда и продвигается вперед перед гласными переднего ряда, особенно перед i. Эта разница особенно заметна, если сравнить cou ‘шея’ и qui ‘кто’. Есть языки, в которых различия между позиционными вариантами еще более разительны. Так, в индо-иранском соответствующая фонема перед гласными заднего ряда выступает в форме взрывного велярного

[k], а перед гласной переднего ряда — в форме полусмычного шипящего [č]. Поскольку в рассматриваемом языке оппозиции взрывные/полусмычные, велярные/шипящие лишены различительной значимости, разброс позиционных вариантов [k] и [č] никоим образом не влияет на единство соответствующей фонемы.

Все, что сказано о сочетании последовательно расположенных фонем, применимо и к сочетанию (но уже „одновременному") дифференциальных элементов. Фонему также нельзя рассматривать как результат простого механического сложения входящих в нее дифференциальных элементов. Фонема также является структурой с некоторыми комбинаторными свойствами. Так, например, в системе французских согласных признак „велярно-палатальный", или, иначе говоря, „центробежный", сопровождается различными комбинаторными признаками, в зависимости от пучка дифференциальных элементов этих согласных. Так, в соединении с признаком „взрывной" он должен сопровождаться признаком „велярный" (k/g), тогда как в сочетании с признаком „фрикативный" он всегда будет сосуществовать с признаком „шипящий" (š/ž). Поскольку во французском языке оппозиция „велярный — шипящий" не имеет никакой различительной значимости, разброс вариантов никак не влияет на единство различительного признака.

Таким образом, внутри системы французских согласных зафиксировано пять оппозиций различительных признаков: 1) наличие или отсутствие носового характера звука, 2) полная или неполная смычка, сопровождающаяся более или менее сильным трением, 3) более или менее интенсивная артикуляция с присоединением или без присоединения голоса, 4) центробежность или центростремительность, 5) перегороженный или неперегороженный ротовой резонатор. Этих пяти оппозиций достаточно, чтобы получить все пятнадцать рассмотренных нами согласных. Этих пяти различительных признаков достаточно для того, чтобы привести в движение весь французский консонантизм, всю систему согласных, которая во французском имеет весьма значительный функциональный выход; коротко говоря, во французском система консонантных оппозиций очень широко используется для различения слов, но вся эта система укладывается лишь в пять различительных признаков. Вначале мы говорили о том, что мы ставим своей целью выделить минимальный звуковой элемент, имеющий функциональную значимость. Этим элементом является *различительный признак*, признак, который мы получили путем разложения фонемы или, если можно так выразиться, раскалывая фонему на кванты. Именно к дифференциальным элементам подходит определение, которое Соссюр пытался применить к фонеме. Дифференциальные элементы суть «оппозитивные, относительные и отрицательные сущности», и к этому сводится вся совокупность их свойств.

Теперь мы займемся рассмотрением вопроса об отношениях между различительными признаками и фонемой и постараемся набросать в общих чертах ее модель. Начнем со следующего вопроса: почему

исследователи так долго обходили вниманием различительные признаки и их оппозиции и продолжали рассматривать фонему как минимальную, неделимую, простейшую фонологическую единицу. По-видимому, два обстоятельства сыграли здесь решающую роль.

Во-первых, фонологические исследования, и в особенности изучение фонемы, очень медленно высвобождались из-под гнета эмпиризма. Очень долго сугубо материальный подход к звуку полностью оттеснял фонему как функциональное понятие. Все слишком сжились с механическим перечислением различных аспектов фонации, чтобы сразу усмотреть то, что *существенно* для той или иной фонемы. Некоторые бинарные оппозиции были очевидны для исследователей, но другие не были еще обнаружены. В частности, дифференциация согласных по месту образования долго не укладывалась в рамки дихотомической классификации.

Но есть не менее существенное препятствие, из-за которого фонема долго не могла быть разложена на более мелкие единицы. Речь идет о законе, который был предложен Соссюром, в качестве одного из двух основных принципов, лежащих в основе учения о языковом знаке. В соответствии с этим принципом означающее всегда имеет линейный характер, и эта линейность приписывается внешней форме любого языкового знака. Вот что говорится по этому поводу в „Курсе“: «Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) оно обладает протяженностью и б) эта протяженность имеет одно измерение — это линия». Поразительно, что этот принцип зародился в той самой женевской школе, которой удалось показать нелинейный характер другой стороны языкового знака, нелинейность или „дистаксию“ означаемого. Так, Шарль Балли, верный последователь Соссюра, решительно возражал против упрощенного мнения о том, что речь при нормальных условиях линейна и что в нормальных условиях эти „речевые“ отрезки просто следуют друг за другом. Как он показал в своей книге „Общая лингвистика и вопросы французского языка“ *, знак может иметь в одной точке одновременно несколько различных означаемых. Балли писал: «Мы говорим о *совмещении означаемых*, когда одно неразложимое означающее имеет несколько значений...», которые легко поддаются анализу благодаря ряду оппозиций. Так, окончание -ō латинского глагола am-ō выражает идею первого лица, образуя оппозицию с окончанием в am-ās, и идею единственного числа, образуя оппозицию с окончанием в amāmus, идею настоящего времени, образуя оппозицию с окончанием в amābam и т. д.

Но, как мы уже показали при помощи сходной аргументации, в звуковом аспекте языковой значимости, то есть в области означа-

---

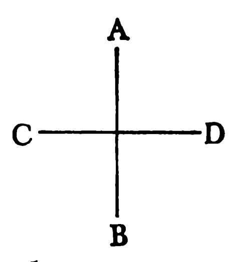
* Charles B a l l y. Linguistique générale et linguistique française. Berne, 1932. (См. перев. на русск.: Ш. Б а л л и. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: ИЛ, 1955, с. 164.)

ющего, наблюдается сходное во всех отношениях явление, которое можно было бы назвать *совмещением означающих*. Так, французская фонема /b/ противопоставлена по признаку интенсивности артикуляции (с присоединением голоса) фонеме /p/, по признаку наличия смычки (со слабым трением) она противопоставлена /v/, по признаку отсутствия подключения носового резонанса — /m/, по низкому тембру (неперегороженный резонатор) — /d/ и т. д. По своим теоретическим воззрениям Балли вообще был склонен искать в фонологической системе явление, соответствующее „совмещению" значений, но весьма правдоподобный контраргумент остановил его на полпути. Соссюр в своем „Курсе" (с. 171 2-го издания) пишет, что: «линейный характер языка исключает возможность одновременного произнесения двух элементов», и, верно следуя заветам своего учителя, Балли в конце концов приходит к выводу, что невозможно произнести два звука одновременно! Такое рассуждение приводит к порочному кругу, ибо под звуком речи имеется в виду именно все множество артикуляторных движений, которые мы производим, вернее, думаем, что производим, одновременно. Иначе говоря, про звук утверждается, что две его единицы нельзя произнести одновременно. Нельзя произнести две фонемы сразу. Но мы вполне в состоянии произносить одновременно несколько различительных признаков. Мы не только в состоянии это сделать, но мы именно это все время и делаем, поскольку *фонемы являются сложными единицами*.

Еще Соссюр, определяя, по его собственному выражению, «дифференциальные элементы фонем», затронул вопрос о различительных признаках, но не смог разобраться в нем прежде всего из-за своего собственного тезиса о «линейном характере означающего». Единство акта фонации, по его мнению, исключает возможность скопления «в одной точке различных значимых элементов» („Курс", с. 103). Но, во-первых, единство акта фонации не исключает того факта, что он имеет сложную структуру. В этом отношении его можно сравнить с музыкальным аккордом, представляющим собой одновременно и единство и пучок. Бодуэн де Куртене уже проводил эту аналогию. Сам Соссюр замечает, уже по другому поводу, что у каждой фонемы «используется несколько факторов», каждый из которых имеет «дифференцирующую значимость». Но прежде всего, как определяет Соссюр единство акта фонации? Он пишет, что звуковая цепочка может быть разделена на отрезки, для которых характерно единство акустического впечатления, и акт фонации, соответствующий этому единству, то есть этому отрезку, в силу самого этого соответствия сам рассматривается как единство.

Соссюр несколько раз повторяет, что лингвистике так же, как и всем наукам, оперирующим понятием значимости (ценности), следует тщательно разграничивать те оси, по которым располагаются входящие в их компетенцию объекты. Он четко различает две оси: «1) *ось одновременности* (AB), касающуюся отношений между сосуществующими явлениями, где исключено всякое вмешательство времени, и 2) *ось последовательности* (CD)».

На какой оси располагается, по Соссюру, единство акта фонации



как целое, не сводимое к более мелким единицам? Он расположен, как мы уже видели, на оси последовательности. Только в акустической цепочке можно непосредственно воспринять, остается звук тождественным самому себе или нет; пока сохраняется впечатление чего-то однородного, звук продолжает оставаться самим собой. Артикуляторное время, соответствующее времени однородного акустического впечатления, рассматривается как единство. В силу однородности акустического впечатления соответствующее артикуляторное время также расценивается как единство. Это единство акта фонации. Таким образом, речь идет о единстве во времени, об однородности во времени, о неразложимости на более простые единицы во времени. Эти факты находятся на оси последовательности, но из них мы не можем почерпнуть никакой информации о единстве, однородности и неразложимости акта фонации на оси одновременности. Следовательно, из фактов, которые приводит Соссюр, никак не следует, что означающее имеет линейный характер, они не могут также опровергнуть идею „совмещения" различительных признаков.

Соссюровская концепция линейности означающего получила, пусть негласное, но широкое распространение; она используется в большинстве работ по лингвистике, но она кажется еще более странной ввиду того, что Соссюр недвусмысленно указывал на то, что обе оси координат в языке функционируют безостановочно. Как он утверждал, именно работа этой двойной системы, именно это множество узуальных отношений и образуют язык, именно они лежат в основе его функционирования. Идет ли речь о словах внутри синтаксического единства, или о морфемах в слове, или о фонемах в морфеме, все они следуют друг за другом, то есть выстраиваются на оси последовательности. С другой стороны, в языке каждая из упомянутых единиц обязательно входит в систему сходных с нею значимостей, а также значимостей, которые могут быть ей противопоставлены. Эти классы смежных значимостей расположены на оси одновременности. Так, на оси последовательности amō связано с patriam, или, точнее, переходный глагол связан с винительным падежом существительного; а на оси одновременности amō, с одной стороны, связано с amās, amāmus, amābam и т. д., а с другой стороны — с ōdi, invideō и т. д. На оси последовательности фонема /u/ в слове sourd 'глухой' связана с предшествующей фонемой /s/ и с последующей фонемой /r/, а на оси одновременности наша гласная u связана со всеми фонемами,

которые могли бы заменить ее в сходной позиции, например, с /i/ (sire 'сударь', 'ваше величество'), или с /ü/ (sûr 'надёжный'), или с /o/ (sort 'судьба'), или с /ö/ (soeur 'сестра').

Пытаясь сохранить принцип линейности означающего, Соссюр замечает, что на оси последовательности мы имеем дело с отношением in praesentia *: «оно связывает две или несколько имеющихся в наличии единиц в реальном ряду», в то время как ось одновременности «объединяет единицы in absentia **, объединяет их в мнемонический, воображаемый класс» („Курс", с. 171). Но именно этот условный класс, эта скрытая система, является источником оппозиций, необходимых для образования знака. Вернемся еще раз к глаголу amo. Противопоставленные ему *формы*, разумеется, не входят в этот знак, они существуют in absentia, но *различительные признаки* являются неотъемлемой частью этого знака, они in praesentia вместе с ним, именно из них он состоит. Речь идет в данном случае о значении первого лица единственного числа настоящего времени и т. д. Если мы возьмем теперь гласную фонему /u/ в слове sourd 'глухой', то вновь убедимся в том, что другие гласные фонемы отсутствуют в реальном ряду, но именно благодаря их присутствию в языке, благодаря возможности заменить ими рассматриваемую фонему, последней присущи различительные признаки, признаки, из которых она образована. Каждая фонема содержит пучок различительных признаков, именно in praesentia.

Таким образом, можно утверждать, что означающие в действительности располагаются на обеих осях и что их составляющие не только образуют цепочку на оси последовательности, но и ряды на оси одновременности. Как замечает Соссюр, эта цепочка на оси последовательности приобретает реальные очертания, если только мы представим себе ее в виде последовательности письменных знаков, отождествляя при этом пространственную линию письма с временной осью. В нашей письменности это горизонтальная линия. Но на письме можно также передать и ось одновременности, заменив вертикальную последовательность диакритических знаков „совмещением" различительных признаков. Мы имеем в виду диакритические знаки, которые пишутся над буквой и под буквой. В фонологической транскрипции можно каждый различительный признак записывать при помощи *отдельного* знака, а запись любого „совмещения" признаков, то есть запись любой фонемы, можно расположить по вертикали, используя принцип записи, принятый в музыке, mutatis mutandis, сходный с записью аккордов.

Таким образом, на оси одновременности фонема „протяженна", поскольку она представляет собой „совмещение" различительных признаков. Но как ведет себя фонема на оси последовательности? Для Соссюра любая группа фонем линейна, а отдельно взятая фонема — точка на оси. В „Курсе" (с. 66) сказано, что фонема — это «отрезок,

---

* 'в наличии'.— *Прим. ред.*
** 'в отсутствии'.— *Прим. ред.*

не подлежащий дальнейшему членению», который «можно рассматривать in abstracto, вне времени». Но все сказанное здесь ошибочно, поскольку фонема „протяженна" не только на оси одновременности, но и на оси последовательности, она не может быть представлена в виде точки. Попытаемся доказать это положение! Соссюр признает, что у фонем может быть разная длительность, но единство фонемы, как он считает, обеспечивается не количественным (временным) равенством, а качественной однородностью. «Значение имеет вовсе не ее *длительность*, в одну восьмую или одну шестнадцатую такта... а *качество* акустического впечатления».

Существуют языки, в которых различаются краткие и долгие гласные (—=◡◡). Если гласная однородна в обеих своих частях, то никаких проблем не возникает. В этих случаях единство фонемы очевидно. Но рассмотрим, например, долгие гласные в древнегреческом. Для них различают два вида тонического ударения — акут и циркумфлекс. В первом случае вторая мора гласной обладала более высоким тоном, во втором, наоборот, тон первой был выше. В обоих случаях первая мора, первая половина долгой гласной отличается от второй. Тем не менее утверждение Соссюра о решающей роли качественного единства остается в силе и для этих случаев. Древнегреческая долгая гласная как с акутом, так и с циркумфлексом представляет собой одну-единственную фонему. Обеим морам присущи одни и те же неотъемлемые свойства, а что касается относительного различия в их высоте, то это свойство нельзя рассматривать вне времени. Повышение или понижение тона — это отношение на временной оси, на оси последовательности. И только при сравнении последовательностей мор устанавливается значимость более высокой и более низкой моры.

Все так называемые *просодические* свойства отличаются от неотъемлемых различительных признаков фонем именно тем, что они относятся к оси последовательности. Здесь всегда учитывается временной фактор, просодические свойства проявляются только в последовательности единиц. Так, например, ударение — это признак, предполагающий присутствие в реальной последовательности противопоставления ударных и безударных единиц. Изолированное односложное слово не может быть ударным или безударным. Или еще один пример: в языке противопоставлены слоговые (слогообразующие) фонемы, то есть фонемы, образующие слог, являющиеся вершиной слога, и фонемы, лишенные этой функции. Эта оппозиция слогообразующих и неслогообразующих фонем находится на оси последовательности. Она не может существовать вне реальной последовательности фонем, она представляет собой отношение между следующими друг за другом фонемами. Эта оппозиция не представлена в отдельно взятой фонеме. Совершенно очевидно, что все количественные оппозиции — оппозиции по долготе и краткости, оппозиции гласных с одной и двумя морами, оппозиции по протяженности — находят свое место на оси последовательности. Короче, именно просодические свойства связывают фонему с этой осью. Таким образом, нельзя рас-

сматривать фонему как нечто неразложимое на оси последовательности. На примере гласных, состоящих из двух мор, можно со всей очевидностью показать, что мнение о том, что фонема неделима на этой оси, является ошибочным.

Мы рассматриваем обе моры как одну фонему, потому что на оси одновременности они представляют собой единое целое:

закрытый передний неогубленный		закрытый передний неогубленный	
ĭ	+	ĭ	= ī

Мы рассматриваем несколько различительных признаков как одну фонему, постольку поскольку на оси последовательности они представляют собой единое целое.

Мора уже несводима к более мелким единицам, она точечна на оси последовательности. Различительный признак тоже неразложим и представляет собой точку, но только на оси одновременности. Иными словами, „мора" — это единица, которая не может быть разложена на более мелкие единицы на оси последовательности, в то время как „различительный признак" — это единица, которая не может быть разложена на более мелкие единицы на оси *одновременности*. Что касается фонемы, то это единица, существующая в двух измерениях, „двумерная единица", и она неразложима на более мелкие „двумерные" единицы: она располагается на обеих осях и, следовательно, является минимальной двумерной фонологической единицей.

Утверждение, что фонема как таковая да и вообще все языковые знаки, как, впрочем, и сам язык, существуют вне времени, оправдано только до тех пор, пока речь идет о *измеряемом физическом времени*. Но если время рассматривать как отношение, то можно сказать, что оно играет исключительно важную роль в системе языковых значимостей, начиная с наиболее крупной из них, с языка, и кончая простой фонемой. Объявив, что наука о языке имеет дело со значимостями, Соссюр в своей концепции не учел того факта, что в системе значимостей фактор времени сам становится значимостью. Итак, мы построили модель фонемы. И в свете этой модели оказалось возможным пересмотреть принцип линейного характера означающего.

На этой же основе можно было бы также пересмотреть и принцип произвольности знака. Так же как признак линейности означающего, это свойство, как утверждает Соссюр, присуще всем языковым знакам. В какой мере выбор имеющихся в данном языке фонем может рассматриваться как случайный, произвольный? Каким внутренним законам подчиняются отношения между имеющимися различительными признаками, например отношения между пятью различительными признаками, в терминах которых описывается французский консонантизм? Здесь мы вплотную подходим к основным вопросам, связанным с внутренним устройством фонологических систем.

VI

В начале нашей последней беседы о звуках и значении я позволю себе подвести краткий итог наших предыдущих рассуждений. Звуки речи можно понять, разграничить, классифицировать и объяснить только с точки зрения тех функций, которые они выполняют в языке. Артикуляторное и акустическое описание звуковой материи, а также описание ее с точки зрения слухового восприятия должны быть подчинены ее структурному анализу. Иначе говоря, *фонетика* — это вспомогательная дисциплина, она должна быть подчинена *фонологии* — составной части лингвистики. Фонология, которая на первых порах своего существования находилась под сильным влиянием ползучего механистического эмпиризма, унаследованного от фонетики тех лет, все более и более обретает статус самостоятельной науки. В ее компетенцию входит рассмотрение звуков речи относительно смысла, который они несут, то есть звуков в роли означающих, и прежде всего выяснение структуры отношений между звуками и значением. Анализируя звучащее слово, мы членим его на различительные единицы, то есть фонемы. Хотя функция фонемы непосредственно связана со смыслом, сама она лишена собственного значения. Она отличается от всех прочих языковых значимостей, да и вообще от всех семиотических значимостей в семиотических системах тем, что она несет только отрицательную нагрузку.

Фонема может быть разложена на различительные признаки. Она представляет собой пучок этих признаков. Итак, идя в разрез с устаревшей, но все еще бытующей концепцией, мы можем утверждать, что фонема является сложным образованием: не фонема, а каждый из ее различительных признаков является неделимой, чисто оппозитивной сущностью. Все языковые знаки существуют в двух измерениях: на оси одновременности и на оси последовательности. Фонема является минимальной двумерной языковой сущностью, то есть она расположена на обеих осях. Различительные свойства фонемы делятся на две группы: первая группа — это ее неотъемлемые свойства, расположенные на оси одновременности, вторая группа — это просодические свойства, имеющие отношение только к оси последовательности.

Фердинанд де Соссюр приписывал языковому знаку два основных свойства, которые он сформулировал в „Курсе" в виде двух основных принципов. Но анализ фонемы, и в особенности рассмотрение „совмещения" различительных признаков, выступающих в качестве составляющих фонемы, заставили нас отказаться от одного из этих принципов, а именно принципа «линейного характера означающего». Анализ системы фонем позволяет нам также пересмотреть другой принцип: принцип «произвольности знака». Один из первых исследователей в области общей лингвистики в Америке Уилльям Дуайт Уитни *, по словам Соссюра, совершенно справедливо настаивал на

* William Dwight W h i t n e y, The Life and Growth of Language, 1875.

произвольности языковых знаков, и именно поэтому, как утверждает Соссюр, «указал правильное направление развития лингвистики».

В последние годы этот принцип стал вызывать множество возражений. Соссюр пишет (с. 100), что означаемое слова не связано никаким внутренним отношением с последовательностью фонем, выступающей в роли его означающего. «Оно могло бы быть выражено любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самим фактом существования разных языков: означаемое „бык“ выражается означающим b-ö-f (франц. bœuf) по одну сторону границы и означающим o-k-s (нем. Ochs) по другую сторону ее». Но эта теория, у истоков которой стоит учение Уитни, вступает в явное противоречие с наиболее ценными и продуктивными идеями соссюровской лингвистики. В упомянутой теории утверждается, что единственному, общему, неизменяемому означаемому в разных языках соответствуют разные означающие, но именно Соссюр в своем „Курсе“ совершенно справедливо подчеркивал, что смысл слов в свою очередь тоже меняется от языка к языку. Содержание слов bœuf и Ochs не совпадают, и сам Соссюр пишет о «различии в значимости» французского слова mouton 'баран, баранина' и английского слова sheep 'овца' (с. 160). Смысл не может существовать „в себе“ и „для себя“, он всегда является частью чего-то, что используется нами как знак; например, мы понимаем смысл языкового знака, смысл слова. В языке нет ни означаемых без означающих, ни означающих без означаемых.

Самый выдающийся современный французский лингвист Эмиль Бенвенист в своей работе „О природе языкового знака“ * возражает Соссюру, утверждая, что «связь между означающим и означаемым отнюдь не произвольна; напротив, она *необходима*». С точки зрения французского языка, означаемое „бык“ обязательно отождествляется с его означающим — с последовательностью звуков b-ö-f. «Обе эти стороны вместе запечатлелись в моем сознании,— настаивает Бенвенист,— они всегда и везде присутствуют вместе. Между ними существует столь тесный симбиоз, что понятие „бык“ как бы является душой акустического образа b-ö-f».

Соссюр ссылается на различия между языками, но, по правде говоря, вопрос о том, является ли знак произвольным или же связь между означаемым и означающим следует рассматривать как необходимую, можно решить только с точки зрения данного состояния данного языка. Напомним прозорливое высказывание самого Соссюра: «Было бы нелепостью, рисуя панораму Альп, фиксировать ее одновременно с нескольких вершин Юрских гор, панорама должна быть зафиксирована из одной точки». (См. с. 115 русск. изд.). И именно с точки зрения своего родного языка французская крестьянка из Швейцарии задавала абсолютно правомерный вопрос: как можно называть сыр Käse (нем. 'сыр'), когда fromage (франц. 'сыр') является единственным его естественным названием?

---

* Émile Benveniste, Nature du signe linguistique.— „Acta linguistica“, 1939.

Вопреки тезису Соссюра, связь, соединяющая означающее с означаемым, или, что то же самое, последовательность фонем со смыслом, является необходимой. Но единственно необходимым отношением в этой связи является объединение этих двух аспектов на основе смежности, то есть на основе внешнего фактора, в то время как объединение по сходству (то есть основанное на внутреннем факторе) является лишь факультативным. Оно присутствует только на периферии понятийной лексики, в ономатопоэтических и экспрессивных словах, таких, как „кукушка", „зигзаг", „хрустнуть" и т. д. Но вопрос о внутреннем отношении между звуками и значением слова этим не исчерпывается. Из-за недостатка времени мы только вскользь коснулись этого сложного и тонкого вопроса. Мы уже говорили, что, выполняя смыслоразличительную функцию, сами различительные признаки лишены значения. Ни отдельно взятый различительный признак, ни отдельно взятый пучок различительных признаков, то есть отдельно взятая фонема, сами по себе ничего не значат. Признак „назальный", так же как назальная (носовая) фонема /n/, не имеет собственного значения.

Но природа не терпит пустоты. В силу тесной связи между звуками и значением в слове, у говорящих возникает потребность это внешнее отношение дополнить внутренним, смежность дополнить сходством, „рудиментом" изобразительного начала. В нейропсихологии известно явление синестезии: по ее законам звуковые противопоставления могут выражать отношения, связанные с музыкальным, цветовым, обонятельным, тактильным и т. д. восприятием. Например, оппозиция высоких и низких фонем может вызвать ассоциацию с противопоставлениями светлый — темный, острый — круглый, тонкий — толстый, легкий — массивный, и т. д. Хотя этот „звуковой символизм", как называл его Сепир, который специально занимался данным вопросом, эта внутренняя значимость различительных признаков, и существует в скрытом, неявном виде, она может тут же проявиться, как только возникает соответствие между ней и значением данного слова, нашей эмоциональной или эстетической позицией относительно этого слова; еще ярче это проявляется в нашем отношении к словам с полярными значениями.

В поэтическом языке, где звук как таковой имеет самостоятельную значимость, звуковой символизм актуализируется и создает нечто вроде аккомпанемента означаемого. Чешские слова den 'день' и noc 'ночь', в которых противопоставлены высокая и низкая гласная, легко ассоциируются в поэзии с контрастом полуденного света и ночного мрака. Малларме сожалел о том, что во французском в соответствующих словах jour 'день' и nuit 'ночь' звуки вступают в противоречие со смыслом. Но используя средства поэтического языка, можно справиться с этим несовпадением, выбирая для слова jour окружение из слов с высокими гласными, а для слова nuit окружение с низкими гласными или же можно, наоборот, подобрать такое семантическое противопоставление, которое сочеталось бы с противо-

поставлением низких и высоких гласных в этих словах, например: тяжесть дня и легкость ночи.

Исследуя символическую значимость фонемы как таковой, мы рискуем дать повод для двусмысленных и легковесных утверждений, поскольку фонема является сложным образованием, пучком различительных признаков. Эти последние по своей природе носят чисто оппозитивный характер, и каждая из этих оппозиций, взятая в отдельности, может быть объектом синестезии, ярчайшие примеры которой мы находим в детской речи.

Для Уитни все в структуре языкового знака произвольно, случайно, все, включая органы звукообразования. По этому поводу Соссюр пишет: «Уитни заходит слишком далеко, когда утверждает, что наш выбор пал на голосовой аппарат совершенно случайно» и что «люди с таким же успехом могли бы избрать для этой цели язык жестов или воспользоваться языком зрительных образов вместо образов акустических». Соссюр с полным основанием возражает, что голосовые органы «в каком-то смысле были навязаны нам природой», но в то же время, с точки зрения Соссюра, американский лингвист прав по существу: «Язык — это конвенция, и природа принятого по конвенции знака сама по себе роли не играет». Обсуждая вопрос о взаимоотношениях между «статической и эволюционной лингвистикой», Соссюр и его ученики утверждают, что «природные данные никак не должны учитываться в науке о языке» и провозглашают «*случайный* характер» любого данного состояния всякого языка, а также тех изменений, которые привели к этому состоянию. Инвентарь различительных элементов в любом языке только по чистой случайности включает эти, а не другие единицы, и каждый из этих элементов можно заменить другим, не имеющим ничего общего с данным с точки зрения чистой материи, но имеющим ту же самую различительную значимость и отождествляющим себя с ней. Соссюр усматривает в этом аналогию с шахматной игрой, во время которой вполне можно заменить сломанную или потерянную фигуру совсем другой вещью, но только при том условии, что она будет выполнять в игре ту же самую роль. При этом возникает вопрос, почему именно эти, а не другие различительные признаки или фонемы входят в фонологическую систему данного языка: является ли этот выбор совершенно случайным, произвольным, или ввиду того, что язык — это все-таки явление социальное, этот выбор так же, как и использование голосового аппарата, «в каком-то смысле навязан нам природой».

Мы уже говорили, что различительные признаки являются чисто оппозитивными сущностями. Отсюда вытекает, что в фонологической системе ни один различительный признак не может существовать изолированно, вне оппозиции. В соответствии с природой оппозиции, и в частности с ее логической природой, каждый из этих признаков требует присутствия в той же системе противоположного ему признака. Долгота не могла бы существовать без краткости, прерывистость — без непрерывности, свойство „высокий“ — без свойства „низкий“, и наоборот. Таким образом, двойственность членов оп-

позиции не является произвольной, она необходима. Оппозицию в свою очередь также нельзя рассматривать как изолированный факт в фонологической системе. Оппозиции различительных признаков связаны между собой, то есть существование одной оппозиции может необходимо требовать, допускать или не допускать присутствия некоторой другой оппозиции в той же фонологической системе, так же как и присутствие некоторого различительного признака в составе фонемы может исключать возможность или, наоборот, требовать присутствия некоторого другого признака или по крайней мере предсказывать его с большой вероятностью. Здесь фактор произвольности также весьма ограничен.

Кроме типологических исследований фонологических систем самых различных языков мира, структурный анализ языка в его становлении или распаде — с одной стороны, детская речь с ее общими закономерностями, с другой стороны — изучение афазии — позволяют нам выявить набор фонем, различительных признаков и их внутренних отношений и тем самым несколько ближе подойти к выявлению общих принципов определения состава фонем, различительных признаков и зависимостей между ними, что в конечном итоге позволит обнаружить и объяснить общие законы, лежащие в основе фонологической структуры языков мира. Систематическое изучение использования фонологических ресурсов в процессе построения грамматических форм, именуемое „морфонологией“ и начатое школой Бодуэна и Пражской школой, позволяет перебросить необходимый мостик от изучения звука к изучению значения с учетом различных уровней языка и их неотъемлемых свойств.

О ТЕОРИИ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ СОЮЗОВ МЕЖДУ ЯЗЫКАМИ [1]

Напоминать сейчас о том, что языкознание является социальной, а не естественноисторической наукой,— это значит высказывать банальную истину. И все же, как это часто бывает в истории науки, устаревшая теория может быть опровергнута, сдана в архив, а довольно многочисленные пережитки ее, ускользающие от контроля критической мысли, тем не менее остаются.

Уже давно отвергнута доктрина А. Шлейхера, завзятого натуралиста в области языкознания, а пережитки ее живучи еще и по сей день. Именно ее тезису о физиологии звуков как «основе всей грамматики» эта вспомогательная и по существу внелингвистическая дисциплина обязана тем почетным местом, которое она продолжает занимать в науке о языке. Уступая дорогу интегральному пониманию фактов, лингвистическая традиция лишь с большим трудом отказывается от укоренившегося принципа, который отстаивал автор „Compendium'a", согласно которому «vor allem versenkt man sich in das genaueste Einzelstudium des Objektes, ohne an einen systematischen Aufbau des Ganzen zu denken» ('прежде всего следует погрузиться в точнейшее изучение отдельных объектов, не думая о систематическом строении целого'). Однако несомненно, что наиболее устойчивым элементом этой доктрины является стремление объяснять звуковые и грамматические сходства двух языков их происхождением от одного общего языка-предка и исследовать только такие сходства, которые поддаются подобного рода объяснению.

Даже у тех, кто не принимает более всерьез упрощенную генеалогию языков, образ *родословного древа* (Stammbaum), как правильно замечает Шухардт, несмотря ни на что, все еще остается в

---

[1] R. Jakobson. Sur la théorie des affinités phonologiques entre les langues.— Статья представляет собою доклад на IV Международном конгрессе лингвистов (Копенгаген, август 1936 г.); доклад опубликован в протоколах конгресса (1938), в переработанном виде перепечатан в „Приложениях" к французскому переводу монографии Н. С. Трубецкого „Principes de phonologie", Paris, 1949. [Авторизованный перевод.]

силе; проблема общего наследия, обязанного единому предку, продолжает выдвигаться в качестве важнейшей предпосылки при сравнительном изучении языков. Однако эта тенденция находится в вопиющем противоречии с социологической направленностью современной лингвистики: в самом деле, рассмотрение сходства, унаследованного от некоего общего доисторического состояния, является всего лишь одной из проблем в социальных науках, использующих компаративный метод, например при изучении искусства, нравов и обычаев; проблема развития тенденций к новшествам берет здесь явно верх над проблемой пережитков.

Впрочем, эта склонность к загадкам и решениям строго генеалогическим не соответствует более нынешнему положению дел в самом естествознании, и лингвистике угрожает опасность оказаться естественно-исторической наукой в большей мере, нежели само естествознание. Позволим себе сослаться на таких выдающихся ученых, как Л. Берг, А. Мейер, М. Новиков, Г. Ф. Осборн, Л. Плейт (Plate) [1]. Прежнему атомизму ныне противостоит концепция целого, детерминирующего все свои части. Если ортодоксальный эволюционизм учит, что «сходство в строении органов необходимо принимать во внимание лишь в том случае, если оно указывает на то, что обладатели этих органов происходят от одного и того же предка», то в наше время исследователи придают значение сходствам вторичным — либо приобретенным вследствие конвергирующего развития организмами родственными, либо усвоенным организмами абсолютно разного происхождения. Таким образом, «сходства, которые обнаруживают две формы в своей организации, могут оказаться вторичными, приобретенными позже, а различия — первичными, унаследованными». При этих условиях различение родственных и неродственных организмов перестает быть решающим. Конвергирующее развитие, охватывающее необъятные массы индивидов на обширной территории, следует рассматривать как господствующий закон.

Одной из незабываемых заслуг учителя современных лингвистов А. Мейе является выдвижение слишком часто недооцениваемого (несмотря на его громадное значение) утверждения о том, что соответствия между двумя или большим числом языков часто возникают после распада праязыка и проистекают гораздо чаще, чем это кажется на первый взгляд, из параллельного развития. Традиционному образу двух последовательных состояний — единство, множество — доктрина Мейе противопоставляет, с одной стороны, идею единства во множестве, а с другой — идею множества в единстве: сызначала, подчеркивает он, языковая общность «не предполагает полного тождества в языке». Так, наряду с традиционным понятием „первоначального тождества“ возникло важное понятие „тождественного развития“. Н. С. Трубецкой попытался разграничить эти два

---

[1] См. в особенности Л. Берг. Номогенез, или эволюция, на основе закономерности. Пб., 1922, и N o v i k o f f . L'homomorphie comme base méthodologique d'une morphologie comparée, Prague, 1936.

понятия, предложив на Первом Международном конгрессе лингвистов два типа группировки языков: „языковые союзы“ (Sprachbünde), обладающие заметным сходством в синтаксической, морфологической и фонологической структуре, и „языковые семейства“ (Sprachfamilien), характеризующиеся прежде всего общим фондом грамматических морфем и обиходных слов. (Заметим, кстати, что, согласно Мейе, «родство языков нельзя установить лишь с помощью одного сходства или различия в словаре» [1].) Все же языковая семья может обладать и обычно обладает наряду с этими материальными элементами еще и сходством в грамматической и фонологической структуре. Это значит, что сходство в структуре независимо от генетических отношений данных языков и может связывать равным образом как языки с общим происхождением, так и языки разного происхождения. Сходство структур, таким образом, не противостоит „изначальному родству“ языков, а накладывается на него. Это вызывает необходимость в понятии *языковых союзов*; согласно справедливому замечанию Ван Гиннекена на Третьем Международном конгрессе лингвистов, благоприобретенное сродство не исключает изначального родства, а лишь устанавливается безотносительно к последнему.

Сродство, или, другими словами, структурное сходство, охватывающее смежные языки, соединяет их в *союз*. Союз языков является более широким понятием, нежели понятие семьи; последняя является всего лишь частным случаем союза. Мейе заметил, что «там, где развитие было заметно одинаковым, результат оказывается таким, как если бы речь шла об изначальном единстве». *Конвергенция развитий* (Wahlverwandschaft, как говорил Гёте) обнаруживается как в изменениях системы, так и в консервативных тенденциях, и особенно в отборе конструктивных принципов, предназначенных остаться незатронутыми. „Изначальное тождество“, которое вскрывает сравнительная грамматика, является не более чем состоянием, возникшим в результате конвергирующего развития, и никоим образом не исключает одновременных или последующих расхождений.

Хорошо известна тенденция многих фонологических фактов расширяться в пространстве, и неоднократно отмечалось, что соседние языки, разные по происхождению, обнаруживают много общего как в фонологической, так и в грамматической структуре (Есперсен, Сандфельд, Шмидт, Вандриес, особенно Боас и Сепир) [2]. Зачастую эти сродственные черты, сближая соседние неродственные языки, расщепляют языковые семьи. Так, область русского (включая сюда белорус-

---

[1] В итальянской лингвистике (Бартоли, Пизани), вдохновляемой идеями Асколи, этой классификации соответствует различение родства по происхождению, или кровного родства, и родства благоприобретенного, или свойства. Патер Шмидт сближает смежные языки, обнаруживающие сходства в структуре, в так называемые языковые круги; он усматривает, однако, в такой группировке лишь пережиток более древнего состояния (um so grossere Zeittiefen) по сравнению с тем, которое мы обнаруживаем при изучении языковых семейств. Таким образом, проблеме приобретенных сходств вновь угрожает опасность быть отодвинутой на задний план в связи с выдвижением на передний проблемы изначального сходства.

[2] Ср. R. Jakobson.— In: „Int. Journal of Amer. Ling.“, X, p. 192 ff.

ский и украинский) и польского языков противополагается области чешского и словацкого языков отсутствием квантитативной оппозиции гласных и составляет в этом отношении одно целое с большинством финно-угорских и тюркских языков европейской, то есть предуральской, части России [1], тогда как некоторые другие языки финно-угорской и тюркской семей обладают этим противопоставлением: например, венгерский в этом отношении принадлежит к тому же кругу языков, что и чешский и словацкий. Изофоны сродства пересекают не только границы языковой семьи, но зачастую даже границы одного языка. Так, например, восточные говоры словацкого языка, ввиду отсутствия квантитативной оппозиции гласных, примыкают к соседним языкам северо-востока, а именно к русскому и польскому языкам. И все же, столкнувшись с этим непривычным вопросом фонологического сродства, лингвисты незаслуженно оставляют его на периферии своих интересов. Факты тем не менее ждут обследования и объяснения.

Известно, что у двух лиц, говорящих на одном и том же языке, речевая деятельность не является тождественной. Замечательный специалист по вскрытию лингвистических антиномий Фердинанд де Соссюр выявил эти два антитетических аспекта: *язык* (langue) как стремление к тождеству, неотъемлемое условие понимания, и *речь* (parole) как индивидуальное проявление, индивидуализирующее роль каждого из собеседников. К подобного рода дуализму свел Ф. де Соссюр и взаимные отношения областных говоров одного идиома. Здесь тоже «непрерывно и одновременно действуют в двух разных направлениях две силы»: с одной стороны, сепаратизм, или, другими словами, «дух родимой колокольни», и, с другой стороны, дух общности, или унифицирующая сила, типичным проявлением которой является „взаимообщение“ (intercourse — выражение, заимствованное Соссюром из английского). Но игра этих двух противоположных сил не замыкается в рамках одного языка: конвергенции, или схождения (как консервативного, так и инновационного типа), в структуре двух или большего числа соседних языков берут начало в унифицирующей силе, тогда как дивергенции, или расхождения, обязаны своим существованием духу сепаратизма.

Не существует принципиальной разницы между проявлением унифицирующей силы в рамках одного языка и в рамках целой группы соседних языков. Где контакт является более тесным (например, на границах, в областях со смешанным населением, в торговых центрах), там наблюдается стремление к выработке средств взаимного общения, тяготение к общему языку; многие черты этого общего языка обнаруживают часто особую легкость к распространению за пределами зоны взаимного общения. Короче говоря, совершенно безразлично, каким будет этот общий язык — междиалектным, имеющим целью установить связь между представителями одной нации, или смешанным языком, обслуживающим межнациональные связи. Стремление

[1] Ср. V. Skalička в „Archiv Orientální“, VI, 272 и сл.

говорить, как «другие», не ограничивается рамками родного языка. Мы хотим быть понятыми иностранцем и в свою очередь стремимся говорить так, как он. Так, русские и норвежцы, вступая друг с другом в контакты по торговым делам, прибегали к так называемому russe-norsk, то есть русско-норвежскому смешанному языку [тонко обследованному Олафом Броком (Broch)], будучи уверенными, что они говорят на языке собеседника, что, между прочим, отражается и в самоназвании этого языка: «моя по твоя» (то есть 'я, как ты'). Русские, проживающие на Дальнем Востоке, разговаривая на своем родном языке с китайцами, прилаживали его к китайскому до такой степени, что, по словам Георгиевского, некоторые из их китайских собеседников нередко против этого возражали. Фонологические особенности смешанных образований, каковы бы они ни были, имеют экзотическую привлекательность чужого; экспрессивный язык и мода используют элементы этих смешанных образований, навязывают им новые функции и способствуют их распространению.

Следовательно, ни образование смешанного языка, ни распространение результатов смешения не предполагают непременно биологического скрещения, так же как биологическое скрещение не ведет непременно к смешению языков. Иначе мы были бы вынуждены допустить, что язык А. С. Пушкина, создателя русского литературного языка, в жилах которого текла также и африканская кровь, является всего лишь „artfremde Sprache" ('чужеродный язык')[1]. Гуго Шухардт, выдающийся представитель немецкого языкознания, отрицал не только необходимость причинной связи между языковым и биологическим скрещиванием, но и самое возможность подобного отношения: «Wo Blutmischung im Verein mit Sprachmischung auftritt, beruht diese nicht auf jener, sondern beide auf einem dritten. Die Ursache der Sprachmischung ist immer sozialer, nicht phyziologischer Art»[2] ('Там, где кровное смешение сопутствует языковому,— там не второе основывается на первом, а оба они зависят от третьего фактора. Причины языкового смешения — всегда социального, а не физиологического характера'). Если переход аффрикаты c в s в греческом произношении русских слов проник в язык русских горожанок на побережье Азовского моря, поскольку сами греки встретили у них благосклонный прием, то здесь лингвистический факт сопровождает метисацию, отнюдь не являясь ее биологическим результатом.

Подражание, безусловно, является могущественным фактором в образовании лингвистических волн, независимо от того, охватывают они область одного языка или область ряда смежных языков. Однако было бы ошибочно видеть в нем единственный или по меньшей мере решающий и необходимый фактор. Согласно убедительному тезису А. Мейе, доминирующим фактором является коллективная тенденция, тогда как бóльшая или меньшая роль подражания является всего лишь побочным моментом в осуществлении изменений, так что линг-

[1] Ср. фашистские бредни в „Muttersprache", 1933, S. 420 ff.
[2] Schuchardt-Brevier, 1922, S. 128—129.

вист легко может им пренебречь. Изменение языковой структуры никогда не имело бы места, если бы не существовало коллективной склонности к этому изменению. Таким образом, существенным в конечном счете оказывается конвергенция; факультативная роль индивида, которому здесь принадлежит инициатива, состоит исключительно в том, чтобы предвосхищать и ускорять конвергирующее развитие. В рамках одного языка или языкового союза структурное новшество может распространиться точно так же, то есть, говоря словами Соссюра, путем воздействия, „заражения" (contagion) или же в силу простого тождества тенденций, стремлений в случаях независимо протекающего параллельного развития. „Заражения" или воздействия не произошло бы, если бы не было тождества стремлений, тенденций, но само воздействие не является неизбежным, хотя центр излучения и способствует распространению изменения, а конвергирующее развитие облегчается и ускоряется, когда оно может опереться на образец. Явления воздействия или «заражения», таким образом, вовсе не представляются чем-то необходимым, и их недостаточно для образования языкового (и, в частности, фонологического) сродства.

Под влиянием начального ударения в карельском языке некоторые русские диалекты Олонецкой губернии перенесли ударение с последнего слога на первый; в то же самое время ударение на других слогах сохранилось. Несмотря на это подражательное изменение, ударение сохранило в этих диалектах свою *сигнификативную* функцию, неизвестную карельскому ударению (например, *посыпали* — форма множественного числа прош. вр. соверш. вида; *посыпáли* — та же форма несоверш. вида), тогда как *делимитативная* функция карельского ударения (оно сигнализирует о начале слова) нашла здесь только частичный и чисто отрицательный эквивалент (ударный слог не может быть в конце многосложного слова) [1]. Юго-восточные диалекты Македонии могут служить примером противоположного свойства. В этих диалектах изменению подверглось свободное ударение; образцом в данном случае, очевидно, было греческое ударение с его правилом трех слогов. Но если в греческом ударение выполняет сигнификативную функцию и если делимитативная функция ударения в этом языке является исключительно отрицательной (третий слог после ударения не может входить в состав того же слова), то в части македонских диалектов третий слог от конца (в других диалектах — второй) стал во всех случаях ударным, и благодаря такому обобщению ударения его функция превратилась из сигнификативной в чисто делимитативную: оно стало указывать на то, где кончается слово. Изменение, таким образом, оказалось более радикальным, чем можно было ожидать, приняв во внимание саму модель. Ни в одном из этих случаев «заражение» не привело к полному сродству.

Однако в некоторых случаях результат подражания не имеет даже частичного сходства с образцом. Согласно наблюдению Сергиев-

[1] О различении двух категорий фонологических средств см. N. Trubetzkoy в „Proceedings of the Second Intern. Congr. of Phonetic Sciences", p. 45 ff.

ского, в языке русских цыган ударным, как правило, является последний слог слова, хотя в заимствованных из русского словах с окситонным ударением это ударение переходит всегда на предпоследний слог (русск. *зима́*, *судьба́*, *весна́*, цыг. zýma, súd'ba, vósna); в цыганском языке принцип свободного ударения неприемлем, ударение должно зависеть от конца слова, но цыгане подметили, что в русском языке, в противоположность их родному языку, ударение не связано с концом слова, поэтому они фиксировали его на предпоследнем слоге слова, тем более что этот слог является ударным в относительном большинстве русских слов [1]. Класс слов, ощущаемых как исконно свои, и класс слов, воспринимаемых как чужие, образуют в языке, как это хорошо показал В. Матезиус в своих статьях о структуре заимствований, два особых стилистических слоя. В приведенном выше примере эти два слоя противополагаются один другому различным местом фиксированного ударения. Если ощущение иностранного происхождения русских заимствований в цыганском исчезнет и если эти два слоя сольются в один, то результатом будет либо унификация места ударения, либо противоположение двух типов ударения для различения значения слов: одного — на последнем слоге, а другого — на предпоследнем. Таким образом, мы видим, что заимствования сами по себе не изменяют фонологического строя языка: лишь ассимиляция этих заимствований способна внести в него новые элементы. Но даже в этом последнем случае язык не обязательно усваивает необычные элементы. Наиболее простое и, как кажется, наиболее обычное решение состоит в том, чтобы приспособить слова иностранного происхождения к законам структуры родного языка. Так же как мы можем воспроизводить иностранные слова со свойственными нам навыками произношения, точно так же мы можем, с другой стороны, подражая иностранному, воспроизводить иностранное произношение наших родных слов. Знаменитый чешский реформатор XV в. Ян Гус упрекал своих соотечественников в том, что они произносят «more Teutonicorum» [на немецкий лад] о б ы ч н о е l вместо т в е р д о г о ł. На чешский язык городов, а через его посредство и на чешский язык сельских местностей повлияло распространение чешского языка среди немецкого населения городов Богемии, и это привело к тому, что чешский язык утерял различие двух латеральных фонем. Таким образом, одних лексических заимствований недостаточно, чтобы фонологическое „заражение" оказалось налицо, во всяком случае, они не являются необходимым условием такого „заражения". Следовательно, между фонологическим (или грамматическим) сродством и общим лексическим фондом нет необходимой связи.

---

[1] Чехи, слушая русскую речь, убеждены, что слова в ней имеют постоянное ударение на предпоследнем слоге. С точки зрения чешского, которому присуще начальное ударение, ударение должно быть связано с границами слова и, как показывает изучение эмфатического ударения в этом языке (вторичного или диалектного), допустимым вариантом как раз является ударение на предпоследнем слоге.

Язык воспринимает элементы чужой структуры лишь в том случае, если они соответствуют тенденциям его развития. Следовательно, внесение извне элементов чужого словаря не может быть движущей силой фонологического развития, оно является всего-навсего одним из источников, используемых для нужд этого развития.

Рассматривая случаи фонологического воздействия, мы не можем объяснить посредством внешних факторов ни отбора фактов, которым подражают, ни даже направления воздействия. Если „общий русский язык" (см. определение Соммерфельта)[1] принял и распространил существенную фонологическую черту южных диалектов великорусского языка — слияние безударных *о* и *а* в одной фонеме,— то предпочтение, которое он оказал этому факту, нельзя объяснить какими-либо условиями экономического или политического порядка; внутренние же основания этого явления вполне очевидны: говорящим гораздо проще отказаться от того фонологического различия, которым они обладают, нежели ввести дополнительное различие там, где его нет.

Внешние обстоятельства допускают два противоположных направления фонологического воздействия. Вопреки распространенному мнению, действие, которое один язык оказывает на фонологическую структуру другого языка, не предполагает с необходимостью политического, социального или культурного преобладания нации, говорящей на первом языке. Если верно, что язык народа, над которым господствуют, испытывает влияние со стороны языка господствующего народа, то, с другой стороны, этот последний в своем стремлении к распространению приспособляется к языковым навыкам народа, над которым он господствует. В XV и XVI вв. поляки занимали господствующее положение по отношению к своим непосредственным соседям на востоке, и как раз в эту эпоху сформировался белорусский язык, существенные фонологические черты которого восходят к русскому в польском произношении; в то же самое время, как показывает полонистика, общий польский язык, польское койне приспособилось к фонологической структуре белорусского и украинского языков. На способности языка зависимого народа передавать основные черты своей структуры языку господствующего народа как раз и основывается в настоящее время теория *субстрата*[2].

Наряду с фонологическими особенностями, которые стремятся выйти за пределы одного языка и распространиться на обширные и н е п р е р ы в н ы е области, мы обнаруживаем иные особенности, которые лишь редко выходят за границы одного языка и даже диалекта. Они-то в первую очередь и ощущаются обычно как отличительная черта, отделяющая языки, которые они характеризуют, от всех прочих, окружающих их. Так, противоположение палатализованных (или мягких) и непалатализованных (или твердых) согласных ощуща-

---

[1] „Actes du Quatrième Congrès International de Linguistes". Copenhague, 1938, p. 42 ff.

[2] Cp. J. P o k o r n ý.— In: „Mitteilungen du Anthropol. Ges. in Wien", LXVI, S. 70 ff.

4*

ется как фонологическая доминанта русского и соседних с ним языков. Как раз это противоположение и сопутствующие ему факты русский поэт и языковед К. Аксаков и назвал „эмблемой и венцом“ звуковой системы русского языка. Другие русские поэты усматривали в этом „туранскую“ черту (Батюшков, А. Белый), чуждую европейцам (Тредиаковский, Мандельштам). Ученые других национальных республик СССР с увлечением искали чистую сущность данного явления как раз в его локальном варьировании. Так, украинец Пушкар превозносил «нейтрализуемую оппозицию» [1], свойственную его родному языку, тогда как удмурт Баушев подчеркивал отчетливость и определенность «устойчивой оппозиции» [1] в том виде, в каком мы находим ее в удмуртском и коми-зырянском языках. Равным образом любопытно, что представители тех языков, которым фонологическое смягчение согласных было неизвестно, испытывали по отношению к нему иной раз истинное отвращение. «Довольно распространенным,— замечает по этому поводу Хлумский,— является взгляд на смягченные звуки как на свидетельство артикуляционной слабости. Больше того, дело доходило до того, что эту слабость готовы были перенести даже на тех, кто употребляет эти смягченные звуки, в частности на русских. «О, эти бедные русские! Все-то у них смягчено!» [2]. В языках Европы, соприкасающихся с «палатализующими языками», довольно часто наблюдается палатализация для образования уничижительных слов [3]. Эти произносительные соотношения притяжения и отталкивания показывают всю заразительность и стойкость данного явления.

Языки, обладающие последовательно проведенным противоположением палатализованных и непалатализованных согласных, образуют обширную и непрерывную область. Этот тип сродства расщепляет многие языковые семьи. Так, из славянских языков к палатализующим языкам относятся русский, белорусский и украинский [4], бóльшая часть польских диалектов и восточноболгарские говоры; из германских и романских языков ни один не принимает участия в этом противоположении, за исключением румынских диалектов, с одной стороны, и языка идиш в Белоруссии — с другой; из индийских языков сюда принадлежат лишь говоры цыган в России и Польше; из угро-финских языков сюда относятся мордовский, марийский, удмуртский и коми-зырянский, восточные говоры саамского ([стар.] лопарского), финского и эстонского, южные диалекты карельского и вепсского. Кроме нескольких периферийных случаев (например, иранизованных форм узбекского), в этом противоположении принимают участие также тюркские языки СССР, Польши и Молдавии; однако в большинстве тюркских языков этой области противо-

---

[1] Об этих терминах см. N. Trubetzkoy.— In: „Journal de Psychologie“, XXXIII, p. 18.

[2] „Recueil des Travaux du Premier Congrès des philologues Slaves“, II, p. 542.

[3] Ср. Machek.— In: „Fac. Phil. Univ. Carolinae Pragensis, Práce“, XXII, p. 10. ff.

[4] *Лишь старое русское чересполосье на территории Эстонии (полуверцы) утеряло палатализацию согласных.*

положение палатализованных и непалатализованных согласных выполняет *делимитативную функцию*, тогда как в большинстве перечисленных выше финно-угорских языков и в прочих языках той же географической зоны оно выполняет *сигнификативную функцию*[1]. Рассматриваемое сродство охватывает на востоке также самодийские языки, большинство монгольских языков, дунганский диалект китайского, корейский и японский, на юге — северокавказские языки, а на западе — литовский и частично латышский. Это сродство приобретает особую рельефность, если мы заметим, что вне той непрерывной области, которую мы рассмотрели, тот континент, который называют „Eurasia sensu latiore" ('Евразия в широком смысле'), не знает (за исключением ирландского и баскских говоров) палатализации согласных как фонологического факта.

Один и тот же язык может одновременно принадлежать нескольким фонологическим союзам, которые не перекрывают друг друга, точно так же как один и тот же говор может сочетать особенности, связывающие его с разными наречиями. Так, если ядро указанного языкового союза имеет в своем составе лишь монотонические языки (лишенные политонии), то восточная (японский, дунганский диалект китайского) и западная (литовские и латышские говоры, эстонский) периферии относятся к двум обширным союзам политонических языков (то есть языков, способных различать значения слов с помощью двух противоположных интонаций). Политония, как правило, стремится охватить значительное число языков. Это наблюдается как в Центральной Африке, так и в Америке. Союз политонических языков Тихого океана содержит, помимо японского и корейского, айнский, сино-тибетские языки, вьетнамскую и малайскую группы и некоторые языки на побережье Северной Америки. В Европе в состав политонического ареала входят языки, окаймляющие Балтийское море: наряду с перечисленными выше языками его восточного побережья сюда относится основной массив скандинавских языков, северокашубский диалект и некоторые приморские немецкие говоры; этот союз вклинивается далеко на юг, захватывая, как это показал Фрингс, прирейнские немецкие и голландские диалекты[2]. Вопрос о географических границах немецкой политонии остается пока открытым[3]. По сообщению Н. С. Трубецкого, Эбергард Кранцмайер обнаружил интонационные противоположения фонологического характера в некоторых альпийских говорах немецкого языка. Далее на юг мы находим замкнутую политоническую область, в которую входит боль-

---

[1] Среди угро-финских языков часть диалектов марийского использует это противоположение в делимитативной функции (см. В а с и л ь е в. Элементарная грамматика марийского языка, 1927); с другой стороны, некоторые тюркские диалекты кыпчакской группы, а именно: 1) караимский на северо-западе, 2) вымерший армяно-кыпчакский (оба изучены Ковальским) и 3) диалекты центрального Крыма (как отметил Поливанов), сходным образом преобразовали указанное противоположение из делимитативного в сигнификативное.

[2] „Braunes Beiträge", LVIII, S. 110 ff.

[3] Ср. P. M e n z e r a t h.— Статья в „Teuthonista", V, S. 208 ff.

шинство сербохорватских и словенских диалектов, а также североалбанский. Этот далеко продвинутый на юг отрог балтийского союза политонических языков Европы образует лишь разветвление более широкого союза, а именно союза языков с двумя смыслоразличительными разновидностями словесного ударения. Этот дуализм осуществляется либо в виде двух противоположных интонаций (политония в собственном смысле), либо в виде противоположения гласного с гортанным усилением и гласного без гортанного усиления (к этому типу принадлежат наряду с ливским те говоры датского, литовского и латышского, которые не входят в первый тип; здесь встречаются также такие говоры, которые соединяют в себе оба типа), либо в виде противоположения сильного и слабого усечения слога (явление, распространенное в немецкой и голландской языковых областях). Переходы между этими типами легки и незаметны.

Итак, изучение географического распределения фонологических фактов позволяет заключить, что некоторые из них распространяются за пределы одного языка, стремясь объединить ряд смежных языков независимо от наличия или отсутствия генетических связей между ними. Помимо упомянутых выше видов сродства [1], укажем в качестве примера на фонологический союз, охватывающий обширную территорию от южной Аляски до центральной Калифорнии, с многочисленными языками, принадлежащими к разным языковым семьям, но неизменно наделенными серией глоттализованных согласных [2]; далее можно назвать союз языков Кавказа, который характеризуется целым рядом сходных черт в консонантизме и охватывает северные и южные кавказские языки — армянский, осетинский,— а также цыганские говоры и тюркские языки Закавказья [3]; отметим далее балканский языковой союз [4] и союз различных языков Самаркандского ареала (ряд иранских разновидностей, частично узбекский и остатки арабского) [5].

Все это, однако, лишь начальные и разрозненные попытки дать представление о той обширной области, которая еще подлежит систематическому изучению. Поскольку изофоны, выходящие за пределы того или другого языка, представляют собой довольно частое и, как кажется, почти обычное явление в лингвистической географии и поскольку фонологическая типология языков находится в явной связи с их распределением в пространстве, для языкознания (как исторического, так и синхронического) было бы весьма важно развернуть коллективную

---

[1] Ср. Р. Якобсон. К характеристике евразийского языкового союза. Париж, 1931.
[2] E. Sapir. Language, XX, chap. IX.
[3] N. Trubetzkoy.— In: TCLP, IV, p. 233.
[4] B. Havránek.— In: „Proceedings of the First Intern. Congr. of Phonet. Sciences", p. 28 ff.
[5] Е. Поливанов. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент, 1933, с. 10 и сл.

работу и составить *атлас фонологических изоглосс* для всех языков мира или по крайней мере для отдельных континентов [1].

Изолированное изучение фонологических фактов в рамках одного языка опасно, так как это может раздробить и исказить проблему; рассмотрение тех или иных фактов в рамках одного языка или — шире — в рамках одной языковой семьи представляется нам лишь результатом действия духа сепаратизма; достаточно, однако, поместить эти факты в более широкие рамки, как тотчас же мы обнаруживаем в них действие духа взаимообщения. Так, например, политония северокашубских говоров, противополагая их всему остальному кругу кашубских и польских диалектов, в то же самое время указывает на их участие в балтийском союзе политонических языков; языки, смежные с восточнославянским ареалом, располагают в большей части своих пограничных диалектов фонологической палатализацией согласных, и надо заметить, что это явление представляет собой как раз следствие присоединения этих диалектов к обширному союзу палатализующих языков, а не результат простой дивергенции внутри финского, латышского, польского и др. языков. Средневековое разделение славянского мира на политонические (сербохорватский и словенский), монотонические со свободным количеством (западнославянские языки) и монотонические со свободным ударением (болгарский и восточнославянские) языки не может быть полностью понято, если мы не примем во внимание наличия трех разных союзов, в которых участвовали указанные славянские языки.

Исчерпывающий анализ фонологического феномена не имеет права замыкаться ни в рамки одного языка, ни даже в рамки языкового союза, обладающего этим феноменом. Взаимное распределение разных фонологических союзов вовсе не является случайным. Наблюдаются фонологические факты, которые стремятся образовывать смежные ареалы: ареал политонии, например, соприкасается обычно с ареалом произношения гласного с гортанным усилением. Соседство способствует появлению или сохранению близких фонологических явлений, которые наряду с особенностями обнаруживают известные общие черты: так, политонический языковой союз входит в Европе в более обширный союз языков с двумя формами ударения. Следует заметить, что палатализующий языковой союз как на восточной, так и на западной окраине сочетается с политоническим языковым союзом. Маловероятно, чтобы эта симметрия двух границ одного союза была бы обязана простой случайности.

Сопоставляя различные изофоны, образующие языковые союзы, с одной стороны, и распределение фактов грамматической структуры, с другой стороны, мы обнаруживаем характерные пучки изоглосс, а также любопытные совпадения между границами языковых союзов, с одной стороны, и некоторыми политическими физико-географическими границами — с другой. Так, ареал палатализующих монотони-

---

[1] Международная фонологическая ассоциация на своем заседании 29 августа 1936 г. приняла решение о подготовке фонологического атласа Европы.

ческих языков совпадает с географическим целым, известным под названием „Eurasia sensu stricto“ ('Евразия в строгом смысле, собственно Евразия'), которое выделяется в европейской и азиатской области многими особенностями политического и физико-географического свойства. Конечно, соответствия разных изоглосс обычно оказываются приблизительными; так, на западе граница фонологической палатализации согласных выходит за западные рубежи Евразии, как их определяют географы, но превышение захватывает какой-нибудь один процент территории палатализующих монотонических языков, и совпадение все-таки остается убедительным.

Дело, однако, не в том, чтобы выводить языковое сродство из внешних факторов. В настоящее время важно описать типы языкового сродства и обратить внимание на совпадение этих типов с географическими ареалами различного характера без предвзятого мнения и без преждевременных обобщений, каковыми являются объяснение фонологического сродства родством, смешением или экспансией языков или же языковых коллективов.

ЗВУКОВЫЕ ЗАКОНЫ ДЕТСКОГО ЯЗЫКА И ИХ МЕСТО В ОБЩЕЙ ФОНОЛОГИИ [1]

Опубликованная недавно превосходная работа А. Грегуара „Об овладении речью“ [2] составляет эпоху в изучении начатков детской речи. По словам выдающегося бельгийского лингвиста, исследователь «должен изо дня в день находиться среди грудных детей и ежеминутно подмечать внешние проявления их жизнедеятельности»; с другой стороны, он должен соблюдать сугубую точность в трудном деле обозначения языковых явлений, в определении условия их появления и их функционирования. Микроскопический анализ Грегуара удовлетворяет этим двум качествам и позволяет нам правильно оценить и использовать многочисленные данные предшествующих работ, представляющих собой, как правило, либо тонкие и здравые, но очень сжатые и фрагментарные наблюдения опытных лингвистов, либо пространные труды психологов и педологов, которым, к сожалению, очень часто недостает знания лингвистических методов.

Богатство наших опытных данных способствует структурному анализу языка в его становлении и поискам его общих или (если предпочесть более скромную формулу) имеющих тенденцию стать общими законов. Впрочем, эту проблему с поразительной точностью сформулировал уже в начале нашего века Граммон; у ребенка, говорил он, нет «ни разнобоя, ни господства случая.... Он, несомненно, попадает мимо цели, но он последователен в своих промахах... Вот это постоянство в отклонениях и делает значимым его язык, позволяя в то же время лучше понять природу этой разновидности языка». Каков же в таком случае закон этого *отклонения* в последовательном овладении инвентарем фонем?

---

[1] R. Jakobson. Les lois phoniques du langage enfantin et leur place dans la phonologie générale.— Доклад написан для несостоявшегося пятого международного конгресса лингвистов в Брюсселе (сентябрь 1939 г.); опубликован в качестве приложения к французскому переводу работы Н. С. Трубецкого „Principes de phonologie“. Paris, 1949. [Авторизованный перевод.]

[2] A. Grégoire. L'apprentissage du langage. Les deux premières années. Liège, 1937.

После Бюффона обычно ссылаются на *принцип наименьшего усилия*: легкие артикуляции якобы усваиваются первыми. Но основные факты языкового развития ребенка явно противоречат этой гипотезе. В период детского лепета ребенок свободно произносит самые разные звуки (например, щелкающие, палатализованные, лабиализованные согласные, аффрикаты, сибилянты, увулярные и т. д.); почти все они исчезают, как только он вступает в стадию «нескольких слов» (по выражению Оскара Блока), то есть в стадию овладения первыми семантическими значимостями. Правда, часть этих исчезающих звуков отсутствует в речи окружающих и потому не поддерживается их примером; и все же среди этих исчезающих звуков есть и такие, которые, существуя в языке взрослых, тем не менее разделяют общую участь; ребенок овладевает ими вновь лишь после долгих усилий. Зачастую так обстоит дело с велярными, сибилянтами и плавными. В период лепета ребенок воспроизводит эти артикуляции; следовательно, их двигательный образ был ему знаком, а акустический образ тоже не должен ему изменять. Сын внимательного сербского исследователя Павловича говорил tata вместо kaka, различая при этом на слух слова kaka и tata. Пасси рассказывает про одного мальчугана, который постоянно подставлял tosson на место слов garçon 'мальчик' и cochon 'свинья', но сердился, когда мать, подражая ему, не различала этих двух слов. Факты этого рода широко известны. Подобного рода забвение фонаций стремились объяснить отсутствием связи между акустическим и двигательным образами; однако, как показывают наблюдения, в первых словах, которые воспроизводит ребенок, он вначале иной раз произносит *K*, но затем вдруг отказывается от велярных, упорно заменяя их дентальными.

Таким образом, отбор звуков во время перехода от детского лепета к языку в собственном смысле можно объяснить фактом этого самого перехода, иными словами, той фонологической значимостью, которую приобретает звук. Ребенок переходит шаг за шагом от непроизвольного и бесцельного разговора с самим собой к некоему подобию беседы. Пытаясь сообразоваться со своим окружением, он учится отождествлять звуковое явление, которое он слышит и которое он производит сам, которое он хранит в своей памяти и которое он воспроизводит по своей воле. Он отличает его от других звуковых явлений, которые он слышит, удерживает в памяти и повторяет. И это различие, ощущаемое как нечто интерперсональное и постоянное, стремится стать осмысленным. К желанию общаться с другими присоединяется способность что-то сообщить. Именно эти первые различия, стремящиеся стать значимыми, требуют фонологических противопоставлений, простых, ясных, устойчивых, способных запечатлеться в памяти, а также реализоваться по желанию. Ф о н е т и ч е с к о е б о г а т с т в о детского лепета уступает место ф о н о л о г и ч е с к о м у о г р а н и ч е н и ю.

Тесная связь, которая существует между отбором фонем, с одной стороны, и немотивированным и строго условным характером языкового знака, с другой стороны, подтверждается тем, что междометия и ономатопоэтические слова не подчиняются этому фонологическому

ограничению. Эти *звуковые жесты*, которые и в языке взрослых проявляют склонность к образованию особого лексического слоя, как бы специально выискивают звуки, недопустимые в других случаях. Не столько соответствие референту, сколько необычная экспрессивная значимость способствует тому, что дети используют в своих ономатопейях огубленные палатальные гласные, тогда как в других случаях они продолжают замещать их либо неогубленными, либо огубленными. Так, например, одиннадцатимесячный мальчик, описываемый в известной книге супругов Штернов [1], изображает с помощью *оо* движение лошадей и экипажей, маленький Грегуар в свои год и семь месяцев пользуется этими же звуками для передачи ударов колокола, а пятнадцатимесячная девочка Марселя Коэна подражает с помощью тех же гласных лаю собаки. Превращая это звукоподражание в простое обозначение собаки, она произносит *оо*, то есть приспосабливает вокализм к той системе фонем, которой она располагает в своем возрасте.

Отвлекаясь от этих специфических случаев и прослеживая шаг за шагом образование фонологической системы у детей, мы замечаем строгую *правильность* в последовательном усвоении фонем, которые большей частью образуют строгие и константные сцепления на оси времени. Вот уже почти столетие, как эта правильность поражает наблюдателей: идет ли речь о детях французов или англичан, жителей Скандинавии или славян, немцев или японцев, эстонцев или мексиканских индейцев, всюду тщательное лингвистическое описание с удивительным постоянством подтверждает тот факт, что *относительная хронология* определенных новшеств везде и всюду остается одной и той же. Что же касается темпа в последовательном появлении новшеств, то он, наоборот, оказывается весьма различным: два последовательных факта, которые у одного ребенка следуют непосредственно друг за другом, у другого могут быть разобщены промежутком времени в несколько лет. Такие случаи замедленного фонологического развития — нечто вроде замедленного фильма — особенно поучительны.

Обычно вокализм начинается с широкого гласного, а консонантизм одновременно с взрывного, образуемого в передней части полости рта; как правило, это А и губной взрывной. Первым противоположением в области консонантизма является противоположение носового и ртового согласных; затем появляется противоположение губных и зубных (Р—Т, М—N).

Эти два противоположения составляют *консонантный минимум* в живых языках мира; они могут отсутствовать лишь в случае каких-либо механических и чисто внешних изменений и повреждений. Таково, например, отсутствие лабиальных в языке тлингит (и в женской речи у некоторых племен Центральной Африки), объясняемое искусственным калечением губ. Однако и в этом случае класс лабиальных стремится быть представленным в фонологической системе языка в виде специфических субститутов.

---

[1] C. und W. Stern. Die Kindersprache, Leipzig, 1928.

Вслед за указанными двумя консонантными противоположениями узкий гласный начинает противополагаться в языке детей широкому гласному; следующий этап вокализма привносит либо третью ступень раствора, либо расщепление узкого гласного на палатальный и велярный. Каждый из этих двух процессов приводит к системе из трех гласных, что и составляет *вокалический минимум* в живых языках мира. Этот вокалический минимум, подобно консонантному, вызывает, очевидно, существование фонем, совмещающих два „дифференциальных элемента", согласно соссюрианской терминологии; так, в „треугольной" системе из гласных U, A, I фонема U является велярной по отношению к I и узкой по отношению к A; в „линейной" системе средний член является сложным: он широкий по отношению к крайнему узкому и одновременно узкий по отношению к крайнему широкому.

Приступая к изучению дальнейшего развития консонантизма и вокализма в речи ребенка за пределами указанного минимума, мы замечаем, что порядок появления новых элементов точно соответствует общим законам *необратимой взаимосвязи* (solidarité irréversible), которые управляют синхронией во всех языках мира.

Так, в фонологической системе ребенка усвоение велярных и палатальных согласных предполагает предварительное усвоение лабиальных и дентальных; точно так же в любом языке мира наличие веляро-палатальных подразумевает одновременное существование лабиальных и дентальных. Эта взаимосвязь является необратимой: существование лабиальных и дентальных не требует наличия велярно-палатальных, как это показывает язык острова Таити и язык касимовских татар, где веляро-палатальный ряд отсутствует полностью; укажем также на отсутствие велярных и палатальных носовых во многих языках мира.

Усвоению щелевых у ребенка предшествует усвоение взрывных; параллельно этому и в фонологической системе любого языка наличие щелевых обусловлено наличием взрывных. Нет языков, где бы не было взрывных согласных; с другой стороны, можно назвать много языков (в Океании, в Африке, в Южной Америке), где совершенно нет щелевых; среди языков Старого Света назовем в качестве примера каракалпакский и тамильский, где отсутствуют щелевые как самостоятельные фонемы.

Усвоение ребенком аффрикат, противопоставленных соответствующим им взрывным, предполагает усвоение им щелевых того же ряда; равным образом и в языках мира противоположение аффрикат и взрывных (дентальных, лабиальных и веляро-палатальных) подразумевает наличие дентальных, лабиальных и веляро-палатальных щелевых.

Ребенок не в состоянии усвоить ни одного вокалического противоположения по горизонтали у гласных высокого подъема, пока он не выработает подобное противоположение у гласных низкого подъема. Эта последовательность развития в точности соответствует общему закону синхронии, сформулированному Н. С. Трубецким.

Усвоение ребенком огубленных палатальных гласных, вторичных,

согласно Русело, предполагает усвоение гласных первичных, то есть соответствующих им огубленных велярных и неогубленных палатальных. Но во всех языках мира вторичная серия гласных тоже предполагает наличие первичных гласных той же степени подъема.

Противоположения, сравнительно редкие во всех языках мира, усваиваются детьми в последнюю очередь. Так, второй плавный является одним из последних приращений в фонологической системе детей; сибилянтное R /ř/ — фонема, исключительно редкая во всех языках мира,— обычно завершает фонологическую учебу чешских детей; у различных индейских племен, употребляющих глоттализованные согласные, дети медлят с усвоением этих фонем; у французских и польских детей назализованные гласные появляются лишь после усвоения всех остальных гласных фонем.

Можно было бы легко умножить примеры совпадения между последовательностью усвоения фонем в детской речи и общими законами, которые обнаруживаются в языковой синхронии; и мы наверняка найдем еще больше подобных соответствий по мере того, как будут собраны точные данные о языке детей разных этнических групп. Но уже и сейчас можно сделать определенные заключения, вытекающие из самого факта параллелизма.

Любая фонологическая система является *стратифицированной структурой*, образуя наложенные друг на друга пласты. Иерархия этих пластов является почти универсальной и постоянной. Она проявляется как в синхронии, так и в диахронии. Это значит, что здесь мы имеем дело с *панхроническим порядком*. Когда между двумя фонологическими значимостями имеет место отношение необратимой взаимосвязи, то вторичная значимость не может появиться раньше значимости первичной, а первичная значимость не может быть устранена раньше значимости вторичной. Такой порядок обнаруживается в фонологической системе в е е б ы т и и, управляя в ней всеми мутациями. Но тот же самый порядок, как мы видели, определяет и процесс овладения языком, то есть систему в е е с т а н о в л е н и и; добавим к этому, что он действует и при расстройствах речи, то есть в системе п р и е е р а с п а д е.

Как свидетельствуют наблюдения психиатров, при расстройствах речи первыми стремятся исчезнуть назализованные гласные; равным образом склонны к исчезновению оппозиции с участием плавных; вторичные гласные выпадают скорее, чем первичные, щелевые и аффрикаты превращаются во взрывные, велярные исчезают раньше согласных, местом образования которых служит передняя часть полости рта; лабиальные согласные, а также гласная А оказываются последними фонемами, которые сопротивляются распаду,— состояние, в точности соответствующее начальной стадии детской речи. Верхние пласты снимаются прежде нижних. Опустошения афатического типа воспроизводят в обратном порядке приобретения детского возраста. Углубленный фонологический анализ *афазий* (то есть таких расстройств речи, которые имеют внутренний характер, не будучи связанными с повреждениями речевого аппарата) бросает свет на рассматри-

ваемые соответствия, плодотворные как для психиатра, так и для лингвиста

В свое время не раз отмечались отдельные точки соприкосновения между детским языком, с одной стороны, и инвентарем фонем в ряде так называемых примитивных языков, с другой; однако такие языки рассматривали обычно как пережитки, отражающие, так сказать, детство человечества, ссылаясь при этом на биогенетический закон Геккеля, согласно которому индивидуум повторяет в своем развитии филогенез, развитие рода. Однако недостаток тех или иных фонем в языке не обязательно является свидетельством изначальной бедности этого языка; наоборот, историческое изучение часто показывает, что оскудение оказывается поздним явлением. Единственно убедительным соответствием между детской речью и языками мира является только *тождество структурных законов*, которое управляет всеми языковыми модификациями как у индивидуума, так и в обществе; это, иными словами, одинаковая и притом устойчивая стратификация (superposition) значимостей, которая лежит в основе любого приращения и любой убыли в фонологической системе.

Однако недостаточно констатировать регулярность этой стратификации; дело заключается в том, чтобы ее объяснить, показав ее необходимость. Недостаточность изолированных объяснений очевидна. Законы детского языка не могут быть отделены от соответствующих фактов, наблюдаемых во всех языках мира. В детском языке, например, было замечено раннее появление лабиальных и дентальных по сравнению с велярными; это пытались объяснить привычными сосательными движениями грудного ребенка. Однако едва ли можно будет найти такого рьяного фрейдиста, который ссылкой на детские воспоминания стал бы объяснять другое проявление того же закона, а именно выпадение велярных в некоторых татарских диалектах и языках Полинезии. Вместо того чтобы рассматривать совокупность фонематических противоположений, последовательно усваиваемых ребенком, эту упорядоченную систему дробят. Так, объясняя первичность губных протрузией губ или зрительным подражанием, забывают при этом, что первичное, более отчетливое и более устойчивое противоположение лабиальных ртовых и лабиальных носовых остается в этом случае совершенно непонятным.

Однако фонологическая стратификация является строго последовательной; она следует *принципу максимального контраста*, а в последовательном ряду противоположений она восходит от простого и гомогенного к сложному и дифференцированному. Ограничимся пока немногими примерами.

Период детского лепета начинается с неопределенных звуков, которые, как свидетельствуют наблюдатели детского языка, еще не являются ни согласными, ни гласными, или, что то же самое, являются тем и другим одновременно. Период лепета завершается строгим разграничением согласных и гласных. С моторно-двигательной точки зрения обе категории звуков противополагаются друг другу как сужение и расширение. Максимум расширения обнаруживает А — откры-

тый гласный; с другой стороны, взрывные согласные дают раскрытие нулевой степени, среди же взрывных полость рта полностью прикрывается при губных. Можно было ожидать a priori, что как раз этот максимальный контраст и послужит началом для дифференциации вокализма и консонантизма на пороге детской речи. И опыт подтвердил это ожидание.

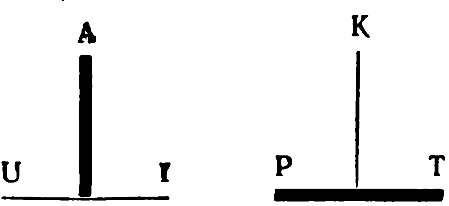
Противоположение этих двух категорий возникает вначале на *оси последовательности*. Губной взрывной в сочетании с гласным образует зародыш слога. Противоположения фонем на другой оси, которую Соссюр удачно назвал *осью одновременности*, еще не существует. И тем не менее именно это противоположение является необходимой предпосылкой смыслоразличительной функции фонем. Слог, фонематическая *рамка*, требует фонематического *содержания*; рамка и ее содержание, как это заметил еще В. Брёндаль, являются двумя взаимосвязанными понятиями.

Открытая и закрытая надставная труба, иными словами, гласный и согласный сменяют друг друга в слоге, и тут присоединяется новое: возникает первое противоположение *на оси одновременности*, противоположение взрывных ртовых и взрывных носовых. В то время как гласный продолжает, как и прежде, характеризоваться однозначно — отсутствием закрытости,— согласный расщепляется на два звука: один, характеризующийся только закрытой надставной трубой, и другой, характеризующийся, помимо закрытой надставной трубы, дополнительно участием открытой надставной трубы, соединяя в себе таким образом специфические черты ртового взрывного и гласного. Этот синтез является естественным следствием противоположения „согласный ~ гласный". Носовые гласные, противопоставленные ртовым как две открытые надставные трубы одной открытой надставной трубе, представляют в этом отношении явление более специальное и менее контрастное. Вот почему носовые гласные, так же как и согласные с двойной смычкой[1], встречаются лишь в небольшом числе языков. У детей же, которые говорят на этих языках, они появляются весьма поздно. Наоборот, универсальное противоположение ртовых и носовых согласных является первой парадигматической оппозицией, которая стремится приобрести смыслоразличительную функцию в детской речи.

Чтобы стало ясным второе консонантное расщепление, мы должны напомнить в общих чертах гениальные открытия Кёлера и Штумпфа, из которых лингвисты еще не сделали всех надлежащих выводов. Этим корифеям современной акустики мы обязаны различением и установлением двух несводимых друг к другу звуковых качеств в языке. Подобно цветку, звуки языка являются *хроматическими* (в разной степени) или *ахроматическими*, с одной стороны, и *светлыми* или *темными* — с другой. По мере убывания хроматизма все большую значимость приобретает противоположение „светлый ~ темный". Среди гласных А является как раз наиболее хроматическим

[1] Например, эйективные.— *Прим. перев.*

звуком и потому его менее всего затрагивает противоположение „светлый ~ темный". Наоборот, закрытым гласным наиболее свойственны противоположения этого рода, и они наименее хроматичны. Два измерения в треугольнике гласных, *основанием* которого является горизонталь U — I, а *высотою* — вертикаль A, соответствуют, согласно тонкому анализу Штумпфа, двум психофизиологическим процессам: „п р о ц е с с у U — I", соотносящемуся с противоположением „светлое~темное", и „п р о ц е с с у A", который определяет степень хроматизма. Первый процесс является о с н о в н ы м [1], а второй — д о п о л н и т е л ь н ы м, п о б о ч н ы м [2].



Правда, Штумпф признает, что нет ни одного языка, вокализм которого базировался бы исключительно на основном процессе. Исследователь высказывает робкое предположение, что, быть может, такой вокализм существовал в чистом виде лишь в доязыковом периоде. Но такое предположение нисколько не решает проблемы. Линейный вокализм в действительности существует в известных нам языках мира, но он как раз и исключает основание треугольника. Так система гласных оказывается сведенной к высоте A 1) во многих языках Западного Кавказа, проанализированных Н. Трубецким, и 2) у детей (так же, как у афатиков) на том этапе, где они не проводят различий между гласными одной и той же степени подъема (например, между U и I), используя их в качестве комбинаторных или стилистических вариантов или употребляя из них только один. Эти факты как будто призваны доказать несостоятельный парадокс: оказывается, основной процесс неразрывно связан с дополнительным процессом, последний же может существовать сам по себе!

Однако это кажущееся противоречие сразу же разрешается, как только мы будем рассматривать вокализм и консонантизм как д в е ч а с т и о д н о г о ц е л о г о и как только мы сделаем все выводы, которых не сделал Штумпф из его собственного блестящего определения, согласно которому гласные отличаются от согласных в первую очередь наличием «ясно выраженного хроматизма». Если известно, что гласные являются хроматическими фонемами par excellence, то из этого следует, что оптимальным гласным, princeps vocalium, по выражению Хелльвага, оказывается A как вершина хроматизма. Вертикаль A, дифференцирующая степени хроматизма, естественно, является основной осью, иной раз даже единственной осью вокализма. Согласные представляют собой фонемы, лишенные «ясно выраженного

[1] Светлая линия на левой схеме, жирная — на правой.
[2] Жирная линия на левой схеме, светлая — на правой.

хроматизма», и противоположение светлого темному, возрастающее по мере ослабления хроматизма, является, таким образом, основной осью консонантизма. Акустический анализ показывает, что в тембровом отношении лабиальные противостоят дентальным как темные светлым. Так как доказано, что темный тембр, согласно Штумпфу, представляет собою квантитативный максимум данного процесса, то отсюда следует, что консонантный оптимум находится как раз в лабиальных.

Тем самым многие законы сразу находят свое иммaнентное объяснение; мы имеем в виду первичность лабиальных согласных и гласного А, первичность основания (см. схему на с. 112) в области консонантизма, иными словами, первичность расщепления ртовых и назальных согласных на лабиальные и дентальные; первичность высоты (см. схему на с. 112) А в вокализме, другими словами, первичность дифференциации гласных по степени раствора, и, наконец, последовательность расщепления гласных на велярные и палатальные, то есть развитие этого расщепления в направлении от закрытых к открытым.

При усвоении языка ребенком первое вокалическое противоположение оказывается более поздним по сравнению с первыми консонантными противоположениями; это значит, что существует период, когда согласные уже выполняют смыслоразличительную функцию, тогда как единственный гласный служит всего лишь опорой согласного и носителем экспрессивных вариаций. Таким образом, оказывается, что согласные приобретают фонологическую значимость прежде гласных. Иными словами, сперва появляются ахроматические фонемы, которые расщепляются по горизонтали,— линии темного и светлого; затем возникают хроматические фонемы, дифференцируясь по вертикали,— линии различных степеней хроматизма. Первичность основного процесса по отношению к дополнительному процессу, таким образом, полностью подтверждается.

Ахроматические звуки или, что более точно, звуки без резко выраженного хроматизма обнаруживают, как показал Штумпф, разные степени ахроматизма. Это значит, что и в консонантизме мы находим два измерения, соответствующие двум измерениям вокализма, но расположенные иерархически в обратном порядке. Линейный вокализм сводится к высоте — вертикали, тогда как линейный консонантизм — к горизонтали основания. Минимум ахроматизма обнаруживают веляро-палатальные согласные. Они занимают в системе согласных то же место, какое занимают в системе гласных широкие гласные. Отстоящие столь же далеко, как и широкие гласные, от «прямой, где господствует лишь признак яркости» (von der Linie der blossen Helligkeiten), по выражению Штумпфа, они относительно слабо склонны к расщеплению на два класса — палатальные и велярные — по степени светлости. Они, таким образом, образуют вершину консонантного треугольника. Фонемы вершины обнаруживают более высокую степень звучности (intensité spécifique, Hallfähigkeit, Eindringlichkeit)

по сравнению с фонемами основания [1]. Напомним, что ceteris paribus по своей слышимости открытые гласные превосходят закрытые, а веляро-палатальные согласные — соответствующие им лабиальные и дентальные. Но то, что является всего лишь второстепенным, побочным для вокалических противоположений, составляет самую сущность веляро-палатальных согласных. Штумпф подверг *K*, *T* и *P* акустической фильтрации: оказалось, что в условиях полного исчезновения *T* и *P* у велярного смычного *K* все еще сохранился легкий шум отрывистого толчка (coup sec, ein trockenes Klopfgeräusch). В этой связи следует заметить, что к такой гортанной смычке (coup de glotte, Knackgeräusch), взрывной фонеме неопределенного качества, оказываются редуцированными велярные в языках с линейным консонантизмом и нередко в детской речи (а также у афатиков) на соответствующей ступени ее развития.

Ясно, что противоположение гласных и взрывных или, другими словами, противоположение полного раствора и полного смыкания предшествует противоположению полного смыкания и смыкания ослабленного, то есть противоположению смычных и щелевых. Противоположение U — I содержит два параллельных различения: различение велярных и палатальных, с одной стороны, и различение лабиализованных и нелабиализованных, с другой стороны. Выделение этих двух различений, позволяющее комбинировать два противоположных признака в лабиализованной палатальной типа у или, реже, в нелабиализованной велярной фонеме типа *ш*, является, само собою разумеется, позднейшим приобретением. Сложность аффрикат обнаруживает сходный характер.

Продолжая сопоставлять языковые приобретения ребенка с типологией существующих языков, мы замечаем, что группировка фонем и система грамматических значений в одинаковой мере подчинены одному и тому же принципу: *стратификации значимостей* (suppergposition des valeurs).

Универсальность и внутренняя логика изложенного иерархического порядка позволяют, как кажется, принять его и для глоттогонии. Неизменность этого порядка дает нам возможность подтвердить и принять, например, остроумную гипотезу, высказанную недавно Ван-Гиннекеном (а еще раньше — Нуаре), о рудиментах человеческого языка: консонантные противоположения предшествуют противоположениям вокалическим. Правда, Ван-Гиннекен предполагает существование еще более древней стадии — стадии щелкающих звуков; однако он сам замечает, что по своей функции это еще не фонемы, а лишь звуковые жесты, образующие, собственно говоря, доязыковой, внеязыковой и, прибавим от себя, „послеязыковой“ пласт, как это показывает изучение афазий. Равным образом подтверждается и гипотеза Тромбетти о первичности взрывных в противоположность взгляду о первичности аффрикат, который высказывал Марр.

[1] Уже Я. Гримм обозначал k как «den vollsten Konsonant, den die Kehle vermag» ('наиболее полный согласный, на который способна гортань') („Deutsche Grammatik“, III).

Мы пытались выдвинуть положение о строгой стратификации некоторых фонологических противоположений и показать, в каком порядке они проявляются. Принцип прост до банальности: нельзя крыть крышу, не поставив сруба, так же как нельзя разобрать сруб, не сняв предварительно крышу. Но это как раз тот принцип, которому подчиняется как статика, так и динамика языка; он приводит в систему факты, которые считались несвязанными, он устраняет некоторые якобы «неразрешимые загадки», и, наконец, он дает единое осмысление законам, кажущимся разрозненными и слепыми. Фонологическое развитие ребенка, так же как и развитие афазии, в своих основных чертах является не чем иным, как следствием этого принципа.

Все это доказывает, что выбор дифференциальных элементов того или иного языка далеко не случаен и не произволен; наоборот, он управляется законами (или тенденциями) универсального и постоянного характера. Мы рассмотрели в самом общем виде некоторые *законы импликации*: наличие Y предполагает наличие X в рамках одной и той же фонологической системы. Равным образом можно было бы рассмотреть и другую группу законов, не менее важную для типологии языков. Таковы, например, *законы несовместимости*: существование Y исключает существование X в рамках одной и той же фонологической системы.

Увлеченный, несмотря на весь свой новаторский порыв, антителеологическим духом конца прошлого века, Ф. де Соссюр утверждал, что «в противовес часто встречающемуся ошибочному представлению, язык не есть механизм, созданный и приспособленный для выражения понятий». Ныне мы в состоянии возразить на это, что в противоположность разрушительному сверхкритицзму той эпохи полностью правым оказывается как раз здравый смысл, именно то представление, с которым мы, говорящие, так легко свыклись: язык действительно является инструментом, созданным и приспособленным для выражения понятий. Он действительно овладевает звуками и преобразует этот данный природой исходный материал в оппозитивные качества, способные быть носителями смысла. Законы фонологической структуры, которые мы рассмотрели, являются доказательством этого.

ПРИНЦИПЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ [1]

Первоначально все внимание фонологов (что вполне закономерно) было сосредоточено преимущественно на элементарных понятиях новой дисциплины: на фонемах, их взаимных отношениях, их сочетаемости. Но как только основы были заложены, появилась необходимость в подробном исследовании фонологических явлений с учетом как фактора пространства (*фонологическая география*), так и фактора времени (*историческая фонология*). Ниже мы попытаемся дать предварительный набросок основ исторической фонологии [2].

I

Интегральный метод. Традиционную историческую фонетику отличало изолированное рассмотрение звуковых изменений, невнимание к системе, в которой происходят эти изменения. Такой подход к фактам полностью отвечал господствовавшему в ту эпоху мировоззрению: для ползучего эмпиризма младограмматиков система вообще и лингвистическая система в частности представляли собой, в терминах современной психологии, механическую *сумму* (Und-Verbindung), а никак не *структурное единство* (Gestalteinheit) [3].

---

[1] R. Jakobson. Principes de phonologie historique.— Настоящая статья была представлена на Международный съезд фонологов 20 декабря 1930 г.; опубликована на немецком языке в TCLP, IV, 1931, переработана для „Приложений" к французскому переводу работы Н. С. Трубецкого „Grundzüge der Phonologie" („Principes de phonologie". Paris, 1949) и перепечатана во французском варианте в „Roman Jakobson. Selected Writings", I. 'S-Gravenhage, 1962. pp. 202—220. Авторизованный перевод.— *Прим. ред.*

[2] Вопрос о возникновении исторической фонологии здесь не рассматривается.

[3] Ср., например, K. Koffka. Psychologie.— In: „Die Philosophie in ihren Einzelgebieten". Berlin, 1925: «Чтобы понять тождество или, в более общем виде, отношение, необходимо, чтобы оба члена были не просто соположены, а входили бы на правах частей в состав целого. Если раньше их отрывали друг от друга, то теперь они рассматриваются как связанные между собою и воздействующие друг на друга» (с. 531).

Фонология противопоставляет изолирующему методу младограмматиков *интегральный метод*; фонологический факт она рассматривает как целое, которое входит в качестве части в состав других целых, которые в свою очередь являются частями еще более высшего порядка, и т. д. Таким образом, первый принцип исторической фонологии гласит: *всякое изменение следует рассматривать в соотношении с системой, в которой оно происходит.* Звуковое изменение нельзя понять, не выяснив его роли в системе языка.

Допустим, что произошло то или иное звуковое изменение. Спрашивается: изменилось ли что-либо в фонологической системе? Были ли утрачены некоторые фонологические различия и какие именно? Были ли приобретены новые фонологические различия и какие именно? Не произошло ли, наконец, изменений в структуре отдельных различий, тогда как вся совокупность их осталась неизменной? Иными словами, не изменилось ли место, занимаемое определенным различием либо по отношению к другим различиям, либо в отношении его дифференциального признака? Любую фонологическую единицу данной системы следует рассматривать в ее взаимосвязях с другими единицами той же системы как до, так и после того, как произошло то или другое звуковое изменение.

Пример 1. В белорусском t' изменяется в c', а d' — в ʒ'. Описывая изменение t' в c', мы первым делом должны установить отношения фонемы t' к другим фонемам той же системы, то есть к t, d, d', s, s', c и т. д.; далее, отношения фонемы c' к другим фонемам той же системы, то есть к незатронутым изменениями фонемам t, d, s, s', c и т. д. и, наконец, к вновь образовавшейся фонеме ʒ'[1].

II

Нефонологические звуковые изменения. Звуковое изменение может не иметь фонологического значения. Оно может просто увеличить число и разнообразие комбинаторных вариантов фонемы.

Пример 2. Во многих великорусских диалектах e перед палатализованными согласными изменяется в ẹ (закрытое е).

Пример 3. В некоторых норвежских говорах фонема r палатализуется в исходе слова.

Возможно обратное: один из комбинаторных вариантов получает перевес над другим, и оба варианта сливаются в один.

Пример 4. Во многих южновеликорусских диалектах безударное *a* реализуется как *a* перед узкими ударными гласными и как гласный среднего подъема перед открытыми ударными гласными. В части этих

[1] Чтобы интерпретировать фонологически звуковое изменение, необходимо достаточно хорошо знать фонологическую систему данного языка и ее эволюцию. Поэтому в дальнейшем все свои примеры я буду заимствовать из истории славянских языков, историческая фонология которых мне наиболее известна.

диалектов позже возобладал вариант *a*. Современные звуковые формы m'ilá, p'iták и т. п. свидетельствуют о том, что звуковой форме vadá предшествовала звуковая форма vαdá: средняя гласная, которая появилась после палатализованной согласной, исчезла, совпав с вариантом фонемы i в той же позиции. Таким образом, здесь имела место фонологическая мутация: безударная фонема *a* в указанной позиции уступила место безударной фонеме i; вследствие этого наступившая позже унификация вариантов фонемы *a* не могла распространиться на эти случаи фонологической мутации.

Пример 5. В некоторых славянских языках звонкая губная смычная реализуется перед гласными как лабиодентальная v, а во всех прочих позициях — как билабиальная w. Однако в большинстве славянских языков один из этих двух вариантов (чаще всего v) возобладал над другим.

Наконец, основной вариант фонемы может фонетически изменяться; если система фонем остается той же самой, а отношения между данной фонемой и всеми другими фонемами не меняются, то такое изменение тоже следует рассматривать как *нефонологическое*.

Пример 6. В ряде великорусских диалектов система гласных в положении под ударением содержит семь фонем. Некоторые из этих диалектов имеют следующую систему гласных под ударением:

a
ɔ ε
u͜o i͜e[1]
u i

В других диалектах того же типа на месте u͜o, i͜e появляются закрытые гласные ọ, ẹ, что, по-видимому, представляет собой вторичное явление: ọ, ẹ занимают в данной системе то же место, что u͜o и i͜e. Следовательно, замещение одной пары фонем другой ничего не меняет в фонологической системе.

III

Фонологическая мутация. Если звуковое изменение сказывается на фонологической системе, оно может рассматриваться как явление *фонологической мутации* или пучка фонологических мутаций. Пользуясь термином „мутация“, мы подчеркиваем скачкообразный характер фонологических изменений.

Пример 7. В южновеликорусских диалектах безударное *o* совпало с *a*. Весьма возможно, что здесь существовали промежуточные ступени: сперва *o* изменилось в очень открытое o^a, далее — в a^o, и, наконец, в *a*, теряя постепенно свой лабиализованный характер. Однако с фонологической точки зрения здесь представлены лишь два этапа: 1) *o*

[1] u͜o восходит к *o* с восходящей интонацией, i͜e — к общеславянскому дифтонгу ĕ („ѣ“).

(o^a, a^o) отличается от *a*: это две разных фонемы; 2) рефлекс *o* не отличается больше от *a*: обе фонемы совпали в одной. Третьей возможности не дано.

Формула фонологической мутации:

$$A:B > A_1:B_1$$

Следует различать два основных типа мутаций: в одном случае фонологическим является одно из двух отношений: либо A : B, либо $A_1 : B_1$; в другом случае фонологичны оба отношения: как A : B, так и $A_1 : B_1$ являются разновидностями фонологического противоположения. Первый тип в свою очередь распадается на два подтипа: *упразднение фонологического различия можно назвать „дефонологизацией"* (или *„фонологической девалоризацией"*, то есть *лишением фонологической значимости*), а *возникновение фонологического различия — „фонологизацией"* (или *„фонологической валоризацией"*, то есть *приобретением фонологической значимости*) [1].

IV

Дефонологизация. A и B противопоставлены друг другу фонологически, тогда как A_1 и B_1 фонологически не различаются.

При анализе дефонологизации возникают следующие вопросы: каков характер фонологической оппозиции A : B? Чем является эта оппозиция — дизъюнкцией или коррелятивной парой? Если это коррелятивная пара, то что представляет собой утрата такой оппозиции: является ли она лишь частным случаем более общего процесса, то есть полной утраты корреляции, или же такой утраты не происходит? Каков характер нефонологического отношения $A_1 : B_1$? Является ли оно отношением вариантов, и если да, то каких: комбинаторных или стилистических? Или же здесь имеет место звуковое тождество (две одинаковые реализации одной и той же фонемы)? Если нефонологическое отношение $A_1 : B_1$ является отношением вариантов, то A_1 фонетически тождественно A, а B_1 фонетически тождественно B; изменились лишь условия появления каждого из них? Но если A_1 фонетически

[1] „Фонологизация" и „дефонологизация" представляются мне более удачными терминами, нежели „дивергенция" и „конвергенция", предложенные Е. Поливановым в его превосходных статьях о дефонологизации („Из теории фонетических конвергенций" в „Сборнике Туркестанского Восточного Института в честь проф. А. Е. Шмидта", Ташкент, 1923, с. 106—115 и „Факторы фонетической эволюции языка как трудового процесса" в „Ученых Записках Института языка и литературы РАНИОН", том III, Москва, 1928, с. 20—42). Термины Е. Поливанова употребляются в научной литературе обычно в другом значении. В биологии под конвергенцией понимают приобретение различными организмами сходных черт независимо от того, родственными или неродственными являются эти организмы (ср., напр., Л. Берг. Номогенез, 1922, гл. IV). Равным образом в языкознании конвергенцией называют сходные явления в независимом развитии разных языков (ср. Meillet. Convergence des développements linguistiques.— In: „Linguistique historique et linguistique générale". Paris, 1921, p. 61 et suiv.).

тождественно B_1, тогда либо $A_1 \neq A$ и $B_1 \neq B$, то есть A и B совпали в одном звуке C, который фонетически отличается как от A, так и от B, либо же $A_1 \neq A$, но $B_1 = B$, то есть $A > B$. Выделение типов дефонологизации, таким образом, должно происходить с учетом отношения между фонемами до мутации, отношения между звуками, возникающими в результате мутации, и отношения между каждым рефлексом и его прототипом. Рассмотрим несколько примеров дефонологизации.

Дизъюнкция превращается в отношение комбинаторных вариантов.

Пример 8. В некоторых великорусских диалектах две дизъюнктных фонемы — безударное *е* и ударное *а* — изменились, дав комбинаторные варианты одной и той же фонемы: после палатализованных согласных эта фонема реализуется как *е*, а после непалатализованных согласных — как *а*. Эта дефонологизация возникла следующим образом: *а* после палатализованных согласных перешло в *е* (p'aták > p'eták, p'at'í > p'et'í), *е* после непалатализованных согласных перешло в *а* (žen'íx > žan'íx).

Дизъюнкция превращается в отношение комбинаторных стилистических вариантов.

Пример 9. В большинстве японских диалектов ʒ и z совпали в одной фонеме: в начале слова и после носового эта фонема реализуется как ʒ, между гласными в небрежном стиле речи — как z, а в полном стиле речи — как ʒ [1].

Дизъюнкция превращается в тождество (A > B).

Пример 10. В некоторых польских диалектах две серии согласных — 1) š, ž, č, ǯ и 2) s, z, c, ʒ — совпали в одной — š > s, ž > z, č > c, ǯ > ʒ, и, таким образом, š: s > s: s и т. д.

Дизъюнкция переходит в тождество (A > C, B > C);

Пример 11. В некоторых северных и центральных великорусских диалектах палатализованные s' и z' и не утерявшие еще своей палатализации š и ž совпадают соответственно в одной промежуточной согласной фонеме, а именно в палатализованных дорсальных ŝ и ẑ.

Коррелятивная пара превращается в отношение комбинаторных вариантов (корреляция утрачивается).

Пример 12. В чувашском языке оппозиция b : p и все прочие оппозиции между звонкими и глухими шумными потеряли свой фонологический характер: в положении между фонемой сонорной (то есть гласными и звонкими согласными) и гласной оппозиция b : p и другие были сняты в пользу b и прочих звонких согласных; в других положениях, наоборот, оппозиция b : p и др. была снята в пользу p и прочих глухих согласных.

Коррелятивная пара превращается в тождество (корреляция утрачивается: A > B).

Пример 13. В восточнословацком долгое ā совпало с кратким *а*; равным образом сократились и все прочие долгие гласные: количественная корреляция гласных перестала существовать.

---

[1] Е. Поливанов. Факторы..., с. 35.

Пример 14. В общеславянском придыхательные согласные утратили свое придыхание и совпали с соответствующими непридыхательными согласными.

Коррелятивная пара превращается в тождество (но корреляция сохраняется: A > B).

Пример 15. В некоторых украинских и белорусских диалектах палатализованное г' превратилось в непалатализованное г. Это изменение не затронуло другие пары согласных, связанные корреляцией палатализации.

Характерно, что при устранении корреляции обычно утрачивается как раз ее маркированный член: в примере 13 — долгота гласного, в примере 14 — придыхание согласного, в примере 15 — палатализованное г'.

V

Фонологизация. A и B фонологически не различаются, тогда как между A_1 и B_1 такое различие существует. При анализе фонологизации возникают следующие вопросы: что представляют собой A_1 и B_1 — дизъюнкцию или коррелятивную пару? Если это коррелятивная пара, то не означает ли данная мутация лишь расширения объема уже существующей корреляции? Или она является частью более общего явления — образования новой корреляции? Что касается отношения между A и B, то надо заметить, что Поливанов и Ван Гиннекен считали наличие нефонологических вариантов непременным условием любой фонологизации. Фактически отношение тождества между A и B, по-видимому, исключено. Следовательно, с фонетической точки зрения A_1=A, B_1=B. A и B большей частью являются комбинаторными вариантами.

Комбинаторный вариант превращается в дизъюнкцию.

Пример 16. В литовском языке k, g перед гласными переднего ряда дали соответственно c, ʒ. Звуки k и c (или g и ʒ) были комбинаторными вариантами одной и той же фонемы; после перехода в конечных слогах дифтонга ai в i оказалось, что k возможно в тех же позициях, в каких появляется c; иными словами, k и c стали дизъюнктными фонемами [1].

Комбинаторный вариант превращается в коррелятивную пару (возникает новая корреляция).

Пример 17. В литовских диалектах дентальные согласные палатализовались перед гласными передними. Они были комбинаторными вариантами дентальных фонем, но так как при известных условиях безударные гласные выпали, то возникла фонологическая оппозиция между палатализованными согласными, которые им предшествовали, и соответствующими непалатализованными согласными. Так в этих диалектах образовалась корреляция палатализации [2].

---

[1] См. J. Endzelin. Lettische Grammatik. Heidelberg, 1923, § 89.
[2] См. J. Endzelin, ibid., § 90.

Комбинаторный вариант превращается в коррелятивную пару фонем (корреляция уже существовала).

Пример 18. В древнем полабском фонема x реализовалась перед одними гласными как велярный глухой спирант x, а перед другими — как палатальный глухой спирант x̂. Это были два комбинаторных варианта; они превратились в две самостоятельные фонемы, как только слабые гласные среднего и нижнего подъема совпали в *a* и возникли такие различения, как жен. р. sαu̯xa—ср. р. sαux̂a. Пара x̂ : x вошла в состав уже существующей в полабском языке корреляции палатализации [1].

Можно привести и такие примеры, которые показывают, что фонологизируемые члены отношения A : B являются стилистическими вариантами. Эти варианты могут постепенно лексикализоваться; эмоциональный вариант фонемы закрепляется за теми словами, которые чаще всего произносятся с эмоциональной окраской; такие слова образуют особый стилистический пласт в словаре данного языка. Затем в части слов подобного рода эмоциональная окраска мало-помалу стирается: соответствующий вариант фонемы теряет свою эмоциональную основу и начинает восприниматься как особая фонема.

Пример 19. Мейе отмечает в латинской лексике характерный признак экспрессивности — геминацию согласных. Геминированные согласные, несвойственные понятийному слою лексики индоевропейского языка, представляют собой в таких случаях обычное явление в эмоционально окрашенных словах. Они были закреплены за этими словами, и, когда такие слова теряли свой эмоциональный характер и нейтрализовались, геминированные согласные сохранились как особые фонемы [2].

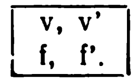
Подобного рода примеры преобразования эмоционального варианта фонемы в самостоятельную фонему относительно редки, но им родствен другой ряд явлений, имеющих широкое распространение. Когда язык заимствует какое-то слово из другого языка, он частично приспособляет фонемы этого языка к своей системе фонем, а частично их сохраняет. Слова с подобного рода фонемами продолжают и в дальнейшем ощущаться как чужие слова, как особый стилистический пласт лексики. Но порой такие слова начинают растворяться в общей массе слов, и тогда язык обогащается новыми фонемами, инородный характер которых больше не ощущается. Легче всего усваиваются те фонемы, которые включаются в уже существующие корреляции.

Пример 20. Русский, как и другие славянские языки, заимствовал значительное число иностранных слов, содержащих фонему f. Когда возникла тенденция полностью русифицировать заимствованное слово с фонемой f, она стала замещаться xv, x или p. Звук f был указанием на иностранный характер слова, и поэтому иной раз его вводили даже в такие заимствованные слова, где он никогда не встре-

---

[1] N. Trubetzkoy. Polabische Studien. Wien, 1929, S. 38 ff., 91 ff., 123.
[2] A. Meillet. Esquisse d'une histoire de la langue latine. Paris, 1928, p. 166 et suiv.

чался, например в слове *куфарка* (вместо *кухарка*) и т. д. Но постепенно некоторые слова, сохранившие f, ассимилировались и стали чисто русскими словами (*фонарь*, *лиф*, *филин*, *Федя* и др.), и тогда основная русская архифонема |v, v'| обогатилась двумя новыми фонемами:



VI

Рефонологизация. Наряду с дефонологизацией и фонологизацией существует еще одна группа фонологических мутаций; мы имеем в виду *рефонологизацию* (или *переоценку фонологических значимостей* [revalorisation phonologique]) — *превращение одного фонологического различия в другое, инородное фонологическое различие, которое находится в ином отношении к фонологической системе, нежели первое.* A и B, так же как A_1 и B_1, противополагаются друг другу фонологически, но фонологическая структура этих оппозиций различна. В этой перестройке фонологической структуры кроется принципиальное различие между рефонологизацией и приведенными выше случаями нефонологических звуковых изменений (примеры 5, 6).

Существует три типа рефонологизации: 1) превращение пары коррелятивных фонем в дизъюнкцию; 2) превращение дизъюнкции в пару коррелятивных фонем; 3) превращение пары фонем, входящих в одну корреляцию, в пару фонем, входящих в другую корреляцию. При этом необходимо постоянно иметь в виду, о чем идет речь: о судьбе одной пары коррелятивных фонем (а) или же о судьбе корреляции как таковой (б).

1а. Пара коррелятивных фонем превращается в дизъюнкцию (но тип корреляции в языке сохраняется).

Пример 21. В древнепольском палатализованная согласная r' перешла в шипящую согласную ř. Другие пары корреляции палатализации сохранились.

Пример 22. В южных областях северо-западных и восточных славянских языков g перешло в спирант γ того же места образования, и его отношение к k, имевшее характер корреляции, превратилось в отношение типа дизъюнкции.

1б. Пара коррелятивных фонем превратилась в дизъюнкцию (при этом корреляция в языке утрачивается).

Пример 23. В италийской группе индоевропейских языков bh перешло в f; равным образом перешли в спиранты и все прочие придыхательные смычные; затем все эти рефлексы совпали в одном f, за исключением x, которое дало h.

Пример 24. В древнечешском корреляция палатализации была устранена. Палатализованные s' и z' потеряли смягчение, то же самое при известных условиях произошло и с палатализованными губными, которые в других условиях дали группу „непалатализованный губ-

ной+j". Противопоставления между фонемами t, d, n и соответствующими палатализованными рефонологизовались: противопоставления коррелятивных фонем превратились в дизъюнктные различия по месту образования между апикальными и палатальными согласными [1].

2а. Дизъюнкция превращается в пару коррелятивных фонем (тип корреляции существовал уже раньше).

Пример 25. Индоевропейское палатальное ĝ дало в старославянском z, то есть превратилось в звонкое соответствие фонеме s.

Пример 26. Переход g в γ, свойственный части славянских языков (ср. пример 22), дал фонеме x, которая находилась в дизъюнктных отношениях с g, соответствующий коррелят в виде звонкого γ.

Мне неизвестны ни примеры образования новой корреляции путем рефонологизации дизъюнктной пары (2б), ни такие случаи, где пара коррелятивных фонем выделилась бы из существующей корреляции и вошла бы в состав другой корреляции, то есть изменила бы свой дифференциальный признак (3а).

3б. Один вид корреляции изменяется в другой. Типы мутаций этого рода весьма разнообразны.

Пример 27. Согласно описанию Мейе, целый пучок рефонологизаций изменил тип корреляций согласных в армянском языке [2]. Индоевропейская оппозиция придыхательных и непридыхательных перешла в оппозицию звонких и глухих; придыхательные звонкие стали непридыхательными, а исконные звонкие непридыхательные — глухими. Индоевропейская оппозиция непридыхательных и придыхательных глухих была заменена делением придыхательных глухих на сильные и слабые: сильные придыхательные глухие восходят к придыхательным глухим, а слабые придыхательные глухие — к непридыхательным глухим. Характерно, что маркированный ряд корреляции придыхания (придыхательные согласные) был замещен маркированными рядами новых корреляций (а именно сильными и звонкими согласными).

Пример 28. В ряде польских диалетов оппозиция гласных a — å заменяется оппозицией ä — a [3]. Это изменение одной пары коррелятивных фонем свидетельствует об изменении дифференциального признака корреляции в целом: в первом случае имела место корреляция лабиализованных и нелабиализованных гласных, во втором случае — корреляция гласных переднего и заднего ряда [4]. Все прочие оппозиции коррелятивного типа отвечают обеим интерпретациям: e — o, ę — ǫ, i — u. Один из членов в этих парах фонетически противополагается другому как нелабиализованный лабиализованному и одновременно как гласный переднего ряда гласному заднего ряда [5].

---

[1] Ср. R. Jakobson. Über die phonologischen Sprachbünde.— TCLP, IV.

[2] A. Meillet. Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique. Vienne, 1903, p. 7 ff., а также: A. Meillet. Les dialectes indo-européens. Paris, 1922, X, XI, XIII.

[3] K. Nitsch. Dyalekty języka polskiego (Encyklopedya Polska, III, Dział III, Część, II, 264).

[4] R. Jakobson. Über die phonologischen Sprachbünde.— TCLP, IY.

[5] **Этот пример поучителен и с другой точки зрения. Например, пара i—u не изменилась (A_1=A, B_1 = B), и условия существования обеих фонем остались теми же.**

Рефонологизацию, о которой шла речь, не следует смешивать с фузией двух существующих корреляций; при фузии все существующие пары одной корреляции в конечном счете совпадают с существующими парами другой корреляции, что является разновидностью дефонологизации.

Пример 29. В проточешском оппозиция восходящих и нисходящих долгих гласных превратилась в оппозицию долгих и кратких гласных. Гласные с нисходящей интонацией совпали с краткими гласными (дефонологизация). Характерно, что немаркированный ряд мелодической корреляции совпал с немаркированным же рядом количественной корреляции.

VII

Мутации групп фонем. Возможны и такие звуковые изменения, которые меняют не состав фонем данного языка, а лишь состав групп фонем. Так как фонологическая структура языка характеризуется не только составом фонем, но и составом групп фонем, то звуковое изменение, меняющее состав групп фонем, допустимых в данном языке, относится к области фонологии в той же мере, в какой и изменения в составе фонем. Имеются два вида фонологических мутаций.

Пример 30. В некоторых великорусских диалектах группа „é+ +палатализованная согласная" изменяется в группу „í + палатализованная согласная". Таким образом, отношение между вновь возникшей группой и исконной группой „í + палатализованная согласная" интерпретируется как дефонологизация, отношение между исконной группой „é + палатализованная согласная" и такой группой, как, например, „ó + палатализованная согласная",— как рефонологизация, а отношение между двумя комбинаторными вариантами фонемы é (один закрытый — перед палатализованными согласными и другой открытый — в прочих позициях) — как фонологизация. Состав фонем не изменился, но определенное сочетание фонем оказалось утраченным.

Если мутации групп фонем не меняют саму по себе систему фонем, то они проявляются в *функционировании* фонем. Меняется частота употребления тех или иных фонем и степень их функциональной нагрузки.

Пример 31. Мутация, рассмотренная в примере 30, свидетельствует об увеличении частоты фонемы í, а соответственно и об уменьшении частоты фонемы é. Функциональная нагрузка фонологической оппозиции é — í уменьшилась; прежде эти фонемы могли противопоставляться друг другу независимо от того, что̀ за ними следует; теперь же, после мутации, они могут противопоставляться друг другу лишь в том

Тем не менее замещения пары a—ȧ парой ā—a достаточно, чтобы в силу законов структурности системы вызвать рефонологизацию всех других пар.

случае, если за ними не следует палатализованный согласный. Но é в этой позиции появляется сравнительно редко, поскольку оно перешло в ó перед непалатализованными согласными, а в исходе слова дало частично ó, частично á; é без последующего палатализованного согласного появляется в этих диалектах лишь как рефлекс дифтонга i͜e („ѣ").

Было бы опасным упрощенчеством переоценивать роль статистического фактора в развитии языка; все же мы не должны забывать при этом и закон диалектики о переходе количества в качество. Низкая частота и незначительная функциональная нагрузка того или иного фонологического различия, естественно, способствуют его утрате.

Пример 32. В сербском диалекте, который отражает грамматика Брлича, оппозиция двух качеств ударения на кратком слоге была возможна лишь в начальном слоге после паузы [1]. Ограниченная область употребления, несомненно, способствовала утрате этой оппозиции; как только такая утрата произошла, открылся широкий простор для акцентуационных изменений в целом ряде сербских диалектов.

VIII

Изменения в объеме групп фонем. Все случаи фонологической мутации, которые мы рассмотрели выше, характеризуются одной общей чертой: все члены этих мутаций одинаковы в отношении своего объема: если A и B являются фонемами, то фонемами являются и A_1, B_1; если A и B являются группами фонем, то A_1 и B_1 тоже являются группами фонем того же объема. Но с точки зрения исторической фонологии не меньшее значение имеют такие мутации, в которых рефлекс A_1 не равен в отношении своего фонологического объема своему прототипу A.

1. Фонема расщепляется на группу фонем. Следовательно, противоположение двух фонем превращается в противоположение группы фонем одной фонеме (рефонологизация).

Пример 33. В некоторых сербохорватских диалектах долгая фонема i͜e („ѣ") дала двусложную группу из двух фонем i + e. Вместо дизъюнкции i͜e — i и т. д. появилась оппозиция группы фонем i + e фонеме i и т. д.

Пример 34. В украинском палатализованные лабиальные перед *а* дали группу „лабиальная + j"; p' : p (пара коррелятивных фонем) > > pj : p (отношение между группой фонем и фонемой); p' : j (дизъюнкция) > pj : j.

Противоположение фонемы группе фонем может превратиться в тождество двух групп фонем (дефонологизация).

Пример 35. В украинском группа pj, восходящая к p' (ср. пример 35), совпала с исконной группой „p + j". Ср., например, pjat' (< p'at') и pjanyi (с исконным pj).

---

[1] R. Jakobson. Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie.— TCLP, IV.

Возможно также превращение комбинаторного варианта в значимое противоположение группы фонем одной фонеме (фонологизация).

Пример 36. В украинском р' перед i и р' перед *а* (ср. пример 34) первоначально были комбинаторными вариантами одной фонемы р' (степень палатализации была различной в зависимости от последующего гласного). С переходом р' перед *а* в рj отношение между обоими вариантами фонологизовалось.

II. Группа фонем переходит в одну фонему. Здесь намечаются две возможности:

а) В результате такого перехода образуется фонема, которая уже существовала в системе.

Пример 37. В восточно- и южнославянских языках группа dl дала l. Этот результат тождествен одной из фонем исходной группы. Таким образом, в данном случае мы имеем, с одной стороны, дефонологизацию (а именно dl : l > l : l), а с другой стороны, рефонологизацию (а именно dl : n > l : n) и т. д.

Пример 38. Латинское сочетание dw в начале слова дало b. Этот результат не является тождественным ни одной из фонем исходной группы. Отношение dw к фонеме b дефонологизовалось, а к другим фонемам — рефонологизовалось.

б) В результате перехода образуется фонема, неизвестная до того данной системе.

Пример 39. В сербохорватском языке группы tj, dj перешли соответственно в ć и đ (палатальные смычные). Этот процесс характеризует рефонологизацию отношения между tj, dj и всеми прочими фонемами данного языка.

Пример 40. В киргизском после совпадения исконных долгих гласных с краткими образовались новые долгие из стяжения группы фонем, например ēr 'седло' (в отличие от er 'муж'); ср. узбекск. egœr 'седло'; или, например, кирг. tō 'гора' из * taw < * taɣ [1]. Эти стяжения групп фонем дали в результате новую корреляцию фонем.

Пример 41. Во французском языке переход группы фонем „гласная + n" в носовую гласную дал начало корреляции назализации в фонологической системе гласных.

Пример 42. В некоторых китайских диалектах переход группы „гласная + смычная" в гласную с гортанной смычкой (в китайской терминологии — пятый тон) дал начало новой просодической корреляции.

Многочисленные мутации типа dl > l (см. пример 37) представляют собою сведе́ние группы фонем к одной фонеме. Переход фонемы в звуковой нуль может ограничиться определенными группами фонем, но может иметь также и общий характер. Этот переход представляет собой частный случай той же мутации: любая группа фонем теряет какую-то определенную фонему.

Пример 43. Некоторые сербохорватские диалекты утратили ларингальное h (восходящее к праславянскому x); оно было утрачено

---

[1] Е. Поливанов. Введение в языкознание. Ленинград, 1928, с. 196.

во всех положениях. Это частный случай проявляющейся в этих диалектах общей тенденции распределять все шумные на пары звонких и глухих.

Обратного процесса, очевидно, не бывает: невозможно предположить, чтобы звуковой нуль во всех условиях дал фонему.

IX

Структура пучка мутаций. Обнаружив наличие ряда мутаций, возникших в одно и то же время, мы должны подвергнуть анализу весь пучок этих мутаций как целое. Связь между такими мутациями не может быть случайной; все они тесно связаны между собою. Необходимо вскрыть законы, управляющие их взаимными отношениями. Один из этих законов, весьма плодотворный для разработки принципов исторической фонологии, был вскрыт Поливановым: фонологизация «никогда без сопровождения другого новшества не осуществляется»; «в громадной массе случаев дивергенция [=фонологизация.— *Р. Я.*] сопутствуется той или иной конвергенцией [=дефонологизацией.— *Р. Я.*] и при этом диктуется ею» [1]. Здесь речь идет о фонологизации комбинаторных вариантов, и применительно к этим случаям закон не имеет исключений. Такое сочетание процессов фонологизации и дефонологизации можно рассматривать с точки зрения мутации групп фонем как рефонологизацию. Одно различие замещается другим различием, и этот комплекс мутаций отличается от рефонологизации только в одном-единственном отношении: при рефонологизации фонем носителями фонологических различий остаются рефлексы тех же фонем, которые противополагались друг другу фонологически и до мутации. Наоборот, при «рефонологизации групп фонем» противопоставление групп фонем сохраняется, но функция носителей различения переходит с одних фонем на другие, например на соседние фонемы в тех же группах фонем.

Пример 44. В некоторых китайских диалектах звонкие и глухие согласные совпадают. Корреляция по звонкости замещается регистровой корреляцией гласных, следующих за согласными: низкий тон гласного компенсирует звонкий характер предшествующего согласного, а высокий тон гласного соответствует глухому характеру предшествующего согласного [2]. Регистровое различие из комбинаторного варианта превращается в признак корреляции.

Пример 45. В северо-западных украинских диалектах, к которым относится говор прихода Корницы бывшей Седлецкой губернии [3], фонема á после палатализованных согласных реализовалась как диф-

---

[1] Е. Поливанов. Факторы..., с. 38.

[2] См. В. Karlgren. Etudes sur la phonologie chinoise. Stockholm, 1915, chap. 14, 16.

[3] См. Н. Янчук. Корницкий говор бывшего Константиновского уезда Седлецкой губернии.— В: „Труды постоянной комиссии по диалектологии русского языка", IX, с. 13 и сл.

тонг i̯a (комбинаторный вариант). В дальнейшем утрата палатализации r фонологизует противоположение i̯a — a в положении после r, и таким образом i̯a становится самостоятельной фонемой. Схема этой мутации в фонологической транскрипции имеет следующий вид:

r'á:rá > ri̯a:rá[1]

X

Сдвиг функций. В противоположность фонологизации комбинаторных вариантов фонологизация стилистических вариантов не связана с дефонологизацией (см. примеры 19, 20). Иными словами, в *рамках системы, принадлежащей к одному языковому стилю, не бывает фонологизаций, которые не компенсировались бы дефонологизациями.* Тенденция к умножению фонологических различий чужда отдельному функциональному диалекту; такая изолированная фонологизация возможна лишь как результат взаимодействия двух различных функциональных диалектов (двух стилей языка). Фонологизация звукового различия компенсируется здесь утратой его стилистической функции. Так возникает *пермутация функций.*

Сама дефонологизация часто основана на пермутации функций, в частности когда дефонологизация не связана ни с какой другой мутацией. Дефонологизация может быть обобщением и распространением такого явления, которое первоначально составляло специфическую черту особого языкового стиля, например небрежной и торопливой речи. Явление, характеризующее определенный стиль языка, особенно эмоциональный речевой оттенок, затем может быть перенесено в речь, которая не содержит этого оттенка и превращается таким образом в род языковой нормы.

Пример 46. Как свидетельствуют русские грамматики XVIII в., образованные москвичи еще сохраняли в своей речи дифтонг i̯e („ѣ") в качестве особой фонемы, однако в небрежной торопливой речи этот дифтонг уже смешивался с é. Аналогичное явление — стирание границ между i̯e и é, u̯o и ó — в „аллегровой" речи наблюдают диалектологи в великорусских говорах, сохраняющих в принципе различение этих фонем[2]. Это первый этап различия; вторым этапом был бы сдвиг отношений между стилем небрежным и стилем полным.

Пример 47. Смешение безударной фонемы e с безударной i, происходящее на наших глазах в говоре Москвы, первоначально реализуется только в непринужденной, небрежной речи. Различие между этими двумя фонемами сперва ощущалось как норма, и лишь следующее поколение приняло в качестве языковой нормы „аллегровый" стиль

[1] Ср. также примеры 16—18, где даны типичные случаи рефонологизации групп фонем. Это оттого, что в примере 16 дефонологизуется отношение i : ai, а в примере 17—ti : t# > t' # : t # и т. д. (# = звуковой нуль).

[2] См. Н. Дурново. Диалектологические разыскания в области великорусских говоров, I, кн. 2, 1918, с. 53 и сл.

безударного вокализма, распространив его на все стили произношения [1].

Если оставить в стороне взаимоотношения различных стилей, можно заметить, что языку чужда не только тенденция к умножению, но и к уменьшению, сокращению фонологических различий. *В рамках изолированного функционального диалекта нельзя говорить ни о расширении, ни о сужении фонологической системы, речь может идти лишь о ее перестройке, то есть о рефонологизации.*

XI

Интерпретация мутаций. Мы уже говорили, что звуковые изменения можно описать лишь с помощью „интегрального метода“. Необходимо исследовать, какие фонологические различия подверглись изменениям, какие остались неизменными и каким образом изменилась нагрузка и применение всех этих различий. Кроме того, необходимо рассматривать звуковые изменения в связи с разнофункциональными звуковыми системами. Но историческая фонология не исчерпывается одним описанием мутаций. Перед нами встает задача *интерпретации этих мутаций*.

Описание дает нам материал, имеющий отношение к двум языковым состояниям — к состоянию до мутации и к состоянию после мутации,— и позволяет ставить вопрос о направлении и смысле мутации. Как только этот вопрос поставлен, мы переходим из сферы диахронии в сферу синхронии. Мутация может быть предметом синхронного исследования, подобно неизменным лингвистическим элементам. Было бы серьезной ошибкой рассматривать статику и синхронию как синонимы. Статический срез — это фикция; это всего лишь вспомогательный научный прием, а не специфический модус бытия. Мы можем рассматривать восприятие фильма не только диахронически (во времени), но и синхронно; однако синхронный аспект фильма не идентичен отдельному кадру, вырезанному из этого фильма. Восприятие движения существует также в синхронном аспекте фильма. Точно так же обстоит дело и с языком.

Работа де Соссюра избавляет нас от необходимости доказывать, что рассмотрение языка с синхронной точки зрения является видом телеологического познания. *Рассматривая языковую мутацию в контексте лингвистической синхронии, мы тем самым включаем ее в круг телеологических проблем.* Из этого вытекает необходимость применения понятия „целенаправленность“ к цепи последовательных мутаций, то есть к диахронической лингвистике. Это, собственно говоря, логическое завершение того пути, на который вступили вот уже несколько десятилетий назад младограмматики, в той мере, в какой они предприняли

[1] В „Remarques sur l'évolution phonologique du russe“ (TCLP, II. Prague, 1929, p. 48 и сл.) я объясняю падение „слабых полугласных“ в общеславянском тем, что произношение, свойственное небрежному стилю речи, возобладало над другими и стало нормой.

первые попытки освободить лингвистику от методологии, господствовавшей в то время в естественных науках, в частности от квазидарвинистических штампов, которые распространяли в языкознании Шлейхер и его эпигоны.

Если в результате данной мутации устраняется существовавшее до нее нарушение равновесия системы, то функцию этой мутации определить нетрудно: это *восстановление равновесия*. Однако, восстанавливая рановесие в одной точке системы, мутация может нарушить его в других точках и тем самым создать необходимость в новых мутациях. Таким образом, часто возникает целая цепь стабилизационных мутаций.

Пример 48. Падение редуцированных гласных (слабых глухих ъ и ь) в славянских языках дало начало корреляции палатализации согласных. Для всех славянских языков характерна тенденция разобщить корреляцию палатализации согласных и мелодическую корреляцию гласных, устраняя одну из них. Те славянские языки, которые устранили мелодическую корреляцию гласных (то есть оппозиция восходящей и нисходящей интонации) в пользу корреляции палатализации, были поставлены перед альтернативой: либо отказаться от автономных количественных различий в системе гласных, либо отказаться от независимого ударения, поскольку обе эти корреляции редко совместимы друг с другом в языке, лишенном мелодической корреляции. Некоторые славянские языки избрали первый путь. Другие пошли по второму пути [1].

Но было бы ошибочно сводить сущность любой фонологической мутации к восстановлению равновесия. Если фонологическая система интеллектуального языка [то есть языка в его познавательной функции], как правило, и в самом деле стремится к равновесию, то в противоположность этому конститутивным элементом эмоционального и поэтического языка является как раз нарушение равновесия. Вот почему статическое фонологическое описание мало грешит против действительности в тех случаях, когда предметом этого описания является система языка в его познавательной функции.

Выразительные возможности эмоциональной речи приобретаются широким использованием нефонологических звуковых различий, существующих в данном языке, но для более высоких степеней эмоциональности речь требует и более действенных способов и не может останавливаться даже перед деформацией фонологической структуры. Так, например, смешиваются друг с другом разные фонемы, артикуляция которых изменяется с целью преодолеть автоматизм нейтральной речи; эмфатическая речь не останавливается перед нарушением наличных просодических корреляций; некоторые фонемы «проглатываются» в силу ускорения темпа. Всему этому благоприятствует тот факт, что в эмоциональной речи репрезентация уступает первенство экспрессивности и что благодаря этому фонологическая значимость отдельных

---

[1] Более подробно эту группу явлений я описал в „Remarques sur l'évolution phonologique du russe".— TCLP, II. Prague, 1929.

фонологических различий ослабевает. Поэтическая функция побуждает язык преодолевать автоматизм и неощутимость слова, что также ведет к смещениям в фонологической структуре.

Пример 49. Б. Милетич отмечает, что в штокавском наречии под влиянием эмфазы „нисходящая" интонация кратких гласных изменяется в „восходящую" интонацию [1].

Пример 50. Иногда стирание фонологических различий служит целям удовлетворения эстетических потребностей. Например, русский диалект Колымы характеризуется тенденцией к замене фонем r, l и особенно палатализованных r', l' фонемой j. Это произношение обозначается там термином *сладкогласие*; исследователь этого диалекта отмечает, что большинство жителей Колымы может без особого труда правильно произнести r', l', но считает такое произношение некрасивым [2].

Различные функции языка тесно связаны между собой, и пермутации функций непрерывны. Принцип равновесия и одновременная тенденция к его нарушению представляет собой неотъемлемые свойства языкового целого.

Связь статики и динамики — это одна из основных диалектических антиномий, составляющих самую суть языка. Без учета этого противоречия невозможно понять диалектику языкового развития. Попытки отождествить, с одной стороны, *синхронию, статику* и сферу приложения *телеологии*, а с другой — *диахронию, динамику* и сферу *механической причинности* неправомерно сужают рамки синхронии, превращают историческое языкознание в конгломерат разрозненных фактов и создают призрачную и вредную иллюзию о пропасти, разделяющей проблемы синхронии и диахронии.

---

[1] „O srbo-chrvatských intonacích v nářečí štokavském". Prague, 1926, 13—14, 20.

[2] В. Богораз. Областной словарь колымского русского наречия.— В: „Сборник Отделения русского языка и словесности ИАН", XVIII, № 4, с. 7.

К ОБЩЕМУ УЧЕНИЮ О ПАДЕЖЕ *

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ПАДЕЖА

Вопрос об общих значениях грамматических форм, естественно, образует основу учения о грамматической системе языка. Важность этого вопроса была принципиально ясна тому образу лингвистического мышления, который был связан с философскими течениями первой половины прошлого столетия; исчерпывающее решение этого вопроса было невозможно без дальнейшего обособления и уточнения лингвистической методологии. Однако, несмотря на это, следующий этап исследования скорее отодвинул в сторону названную проблему; механистическое языкознание наложило как бы запрет на проблему общего значения. История этого вопроса не входит в мою задачу, и поэтому я ограничусь лишь несколькими поясняющими примерами.

Известный русский лингвист Потебня отвергает учение о грамматическом общем значении как о субстанции, из которой как акциденции вытекают частные значения, и утверждает, что „общее значение" является только лишь абстракцией, искусственным препаратом, «только созданием личной мысли и в действительности существовать в языке не может». Ни язык, ни наука о языке не нуждаются в подобных общих значениях. В языке существуют лишь частные случаи, и форма имеет в речи каждый раз только одно и притом неразложимое значение, «то есть, говоря точнее, каждый раз есть другая форма». Отдельные употребления слова Потебня рассматривает как «однозвучные слова одного и того же семейства» и все его значения — «как равно частные и равно существенные» (с. 33 и сл.). Отрицание общего значения доведено здесь до логического конца, а именно до безграничного и бесплодного атомизирования языковых данных

Конечно, предпринимаются попытки сохранить понятие единства

---

* R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der russischen Kasus.— TCLP, VI, 1936. Перепечатана в „Roman Jakobson. Selected Writings", II. The Hague—Paris: Mouton, 1971, p. 23—71. Авторизованный перевод.— *Прим. ред.*

грамматической формы,— понятие, без которого распалось бы учение о формах. Пытаются оторвать форму от ее функции и особенно единство грамматической категории от единства ее значения; так думает, например, Марти, согласно которому падежи «являются не носителями каждый общего понятия, а скорее носителями целого пучка разнородных значений» (M a r t y, p. 32 ff; F u n k e, p. 57). Вследствие этого теряется с в я з ь м е ж д у з н а к о м и з н а ч е н и е м и вопросы значения несправедливо исключаются из области учения о знаке (из семиологии и особенно из лингвистики). Семантика — это ядро лингвистики и вообще любой теории знака — становится, таким образом, беспредметной, и возникают такие чудовищные лженаучные опыты, как создание морфологии, совершенно не принимающей во внимание значения форм.

Выдающийся лингвист школы Фортунатова Пешковский пытался поддержать принцип семантической характеристики грамматических форм, выдвигая тезис о том, что объединение форм с помощью значения может осуществиться не только посредством однородного значения, но также посредством «единого комплекса разнородных значений, одинаково повторяющихся в каждой из форм» (с. 24 и сл.).Таким образом оказываются, например, объединенными в одну и ту же падежную категорию русского творительного падежа понятия орудия, сравнения, пространственной и временной протяженности и т. д., которые «не имеют ничего общего между собой» и все же образуют грамматическое единство, поскольку эти разнородные значения «повторяются внутри каждой формы» так, что любое из окончаний творительного падежа может передавать все эти значения. Данное утверждение является неточным: каждое окончание творительного падежа у русских прилагательных мужского рода единственного числа совпадает с окончанием дательного падежа множественного числа (*злым*, *божьим*), каждое окончание именительного падежа единственного числа качественного прилагательного мужского рода совпадает с окончанием родительного падежа единственного числа этих же прилагательных женского рода (*злой — злой*; *старый — старой*; *тихий — тихой**; *синий — синей*; графические различия являются искусственными); однако то, что в каждом из этих случаев грамматические категории различны, несомненно. Они являются лишь парами омонимичных форм, и если бы отдельные значения падежа действительно «не имели бы ничего общего друг с другом», то падеж неизбежно распался бы на многие омонимичные, друг с другом не связанные формы. Однако о б ъ е к т и в н о е н а л и ч и е п а д е ж а в я з ы к е и, в противоположность этому, крайне субъективный характер его членения на частные значения совершенно ясны.

Пешковский сам должен был признать, что «установить число значений одной и той же формы и далее распределить эти значения на оттенки и на самостоятельные значения — дело необычайно трудное и выполняемое обычно разными лингвистами различно». Если, как пра-

* Имеется в виду литературная норма начала века.— *Прим. ред.*

вильно заключает Пешковский, было бы слишком опасно отделять понятие грамматической категории от ее объективного выражения, то есть от звуковой грамматической формы, то, с другой стороны, не следует отделять понятие этой категории и от ее объективной значимости, то есть от значения, которое является ее принадлежностью в языке („langue") и отличает ее от других категорий.

Если в учении о глаголе в русском языке, несмотря на суеверный страх атомистического мышления перед проблемой целого и его частей, вопрос об общих значениях грамматических форм был хотя бы затронут, то с вопросом о значениях падежей дело обстояло гораздо хуже. И не только чрезвычайная запутанность этой проблемы была тому виной. В языках романо-германского Запада флективное склонение представлено лишь в виде незначительных пережитков. Западные лингвисты при фиксации разнообразных употреблений отдельного падежа в античных и чуждых им языках с развитой системой склонения едва ли могли привлекать для контроля свое собственное языковое сознание. Поэтому вопрос о природе такой мнимо бесполезной категории, как падеж, большей частью подменялся механическим перечислением и описанием его различных частных значений. Посредством подобных разрозненных описаний западные лингвисты неоднократно пытались осмыслить также и содержание проблемы вида славянского глагола. Однако виды и некоторые другие особенности глагольной системы являются слишком специфичными для русского и других славянских языков, чтобы эти неудачные определения западного происхождения получили бы доступ в славянское языкознание.

Иначе обстоит дело с учением о падеже, где образцом для толкования проблемы падежа в славянских языках явилась уважаемая всеми классическая филология и санскритология. Тот факт, что флективное склонение сравнительно чуждо западным языкам, нашел свое отражение в лингвистике соответствующих стран, и ее влияние сделало чужеродной проблематику падежа в славистике, несмотря на важность склонения в большинстве славянских языковых систем [1]. Подобные примеры неправомерного и ведущего к недоразумениям применения чуждых западных критериев к явлениям родного языка не являются редкостью в славистике.

II

В юбилейном сборнике „Charisteria G. Mathesio..." (1932) мною был опубликован один из набросков по структурной грамматике современного русского языка, где я рассматривал общие значения русских глагольных форм. Те же принципы легли и в основу настоящей статьи о системе русских падежей. Такого рода описание кажется мне тем более своевременным, что вопрос об общих значениях падежа становится наконец предметом живой плодотворной дискуссии.

[1] Фактором, сыгравшим также значительную роль в истории учения о славянских падежах, является постепенный распад системы падежных противопоставлений в большинстве современных славянских языков, за исключением ареала восточнославянских и польского языков.

На международном конгрессе лингвистов в Риме в 1933 г. Макс Дёйчбайн сделал доклад о значении падежей в индогерманских языках (см. „Atti"), который содержал ряд интересных замечаний по систематизации основных падежных значений; однако за исходный момент им было принято застывшее основное значение без осознания в полной мере фактов языкового опыта. Общее же значение каждого падежа «обусловливается всей падежной системой данного языка» и может быть установлено лишь в результате исследования структуры этой системы, а общезначимые положения — только при сравнительном анализе сравнительной типологии отдельных языковых структур. Невозможно установить универсальные, действительные для всех времен и независимые от данной системы (или от типа системы) падежных противопоставлений значения падежа (см. „Atti", 146).

Значительным шагом вперед по пути научного освоения падежного строя является ценная книга Ельмслева „La catégorie des cas" (1935). Тонкий знаток языка, датский теоретик опирается на богатую отечественную традицию: на дальновидные наблюдения компаративистов от Раска до Педерсена, которые выдвинули тезис о необходимости широкого сравнительного исследования различных грамматических систем, на упорную борьбу Есперсена за имманентный функциональный анализ языка и особенно на прокладывающие новый путь попытки Брёндаля заложить основы целостной структурной морфологии. Значение книги Ельмслева — в критическом обзоре старых учений о падеже и в ясной, продуманной постановке вопроса. Основные тезисы Брёндаля связаны с прекрасной работой Вюльнера, далеко опередившей свою эпоху: «Грамматика — это теория основных значений или значимостей (Werte) и построенных с их помощью систем, и для того, чтобы решить свою задачу, грамматика должна идти эмпирическим путем» (Hjelmslev, 84). Из этой формулировки исследователь черпает три стержневые проблемы: основное значение, система, эмпирический метод.

Первое понятие становится ясным из следующего утверждения: «Падеж как языковая форма вообще обозначает не различные вещи, он обозначает одну-единственную вещь: он является носителем одного-единственного абстрактного понятия, из которого можно вывести его конкретные употребления» (Hjelmslev, 85). У меня вызывает возражение „*основное значение*" (signification fondamentale), которое легко можно спутать с термином „*главное значение*" (signification principale), тогда как в действительности автор имеет в виду то понятие, которое более точно передается термином „*общее значение*" (signification générale).

Нельзя ничего возразить против требования применения эмпирического, то есть имманентного, внутриязыкового метода; скорее хотелось бы, чтобы он применялся более последовательно. Не только недопустимо разъединять то, что с языковой точки зрения связано, но не следует также искусственно соединять то, что с языковой точки зрения является разъединенным. Не только две грамматические формы, но также и два класса форм отражают различие в значении (Wertun-

terschied). Слово в языке представляет собою функциональное единство, которое коренным образом отличается от словосочетания. Форма слова и форма словосочетания представляют два различных плана языковых ценностей. Таким образом, можно говорить не только о различии общих значений двух падежных категорий, но также и о различии между общими значениями категорий слова и словосочетания. Поэтому я сомневаюсь в правильности утверждения Ельмслева, согласно которому различия, *вызванные фиксированным порядком элементов, функционируют в том же плане соотношений, что и различия, проводимые падежными формантами*. Для русского языка нормальным считается порядок слов *подлежащее — сказуемое — прямое дополнение*: *отец любит сына*; *сын любит отца*. Допустима инверсия: *сына любит отец*. Подобная инверсия свидетельствует о том, что дополнение становится исходным пунктом высказывания, а подлежащее — тем пунктом, к которому оно направлено. Дополнение может быть исходным пунктом высказывания или как член антитезы, или как обозначение предмета, известного из предыдущего контекста, ситуации, или же когда с самого начала речь идет о привлечении внимания к предмету. Как бы то ни было, при этом нарушается обычное совпадение центра высказывания, то есть подлежащего с его исходным пунктом. Если же в подобном словосочетании падежные окончания обоих существительных никак не выражены, то нормальный порядок слов не должен быть нарушен. Например, *мать любит дочь*; *дочь любит мать*; или в стихотворной строфе: „*страх гонит стыд, стыд гонит страх*". На основании порядка слов мы можем установить, что в первом случае в качестве подлежащего выступает „страх" во втором случае — „стыд". В таких предложениях, как *отец любит сына*, *сына любит отец*, синтаксическая функция существительных передается их падежной формой, но там, где падежная форма неясна (*мать любит дочь*), функция существительного в предложении определяется порядком слов [1]. В тех языках, где отсутствует склонение, порядок слов полностью принимает на себя эту функцию. Однако мы не имеем права утверждать, что порядок слов может выражать падеж, он может выражать лишь синтаксические функции слов, что ни в коем случае не является тождественным. Брёндаль справедливо признал, что падеж — явление морфологической, а не синтаксической природы; «каждый падеж имеет свое назначение, или „функцию", однако не существует никакого необходимого соотношения между функцией падежа и функцией предложения; учение о падеже и морфология не есть синтаксис» („Atti", 146). Перенесение вопроса об общих падежных значениях из морфологии в область синтаксиса могло возникнуть только под давлением такого языкового мышления, которому чуждо восприятие падежа как морфологической категории.

---

[1] Следует отметить, что в случае, когда падежная форма существительных неясна, порядок слов в большинстве своем остается неизменным, и даже тогда, когда синтаксическое отношение очевидно из реальных значений слов. Например, можно сказать: *сына родила мать прошлым летом*, но ни в коем случае нельзя: *дочь родила мать*, а только — *мать родила дочь*.

Систему *сочетаний с предлогами* не следует смешивать также и с флективным склонением, поскольку языки, обладающие обеими упомянутыми категориями, во-первых, противопоставляют друг другу синтаксические употребления падежа с предлогом и без предлога (опосредованная — непосредственная связь) и, во-вторых, четко различают значения падежа и предлога как два различных рода значений: один и тот же падеж охватывает несколько предлогов, и те же самые предлоги могут требовать различных падежей. Так называемый переход языка от флективного строя к аналитическому в действительности представляет собой переход от одновременного сосуществования флективной и аналитической систем к монополии последней. В языке, объединяющем в себе систему предложных сочетаний с независимой системой падежей, значение обеих систем различается в том смысле, что в предложных сочетаниях обращается внимание на отношение само по себе, тогда как в беспредложном построении оно становится как бы свойством предмета.

«Атомистическому методу должна быть противопоставлена целостная точка зрения, которая превратила бы систему одновременно и в исходный пункт, и в конечную цель исследования»,— как верно отмечает Ельмслев; «однако,— продолжает он,— подобный подход еще полностью не разработан, и поэтому теории падежа еще до сих пор не существует» (с. 86 и сл.). Понимание того, что попытки изолированно зафиксировать отдельные падежи тщетны и что необходимо исходить из *всей системы падежных противопоставлений в целом*, есть закономерное следствие имманентного подхода к эмпирическим фактам языка, которому совершенно чуждо понятие изолированной формы, устанавливаемой независимо от системы языковых противопоставлений. В трактате об общей структуре падежной системы, которым заканчивается поучительная книга Ельмслева и который я надеюсь более обстоятельно обсудить после появления его второго тома, Ельмслев пытается рассматривать общее значение падежа в свете падежной системы как единого целого. В этом случае также нельзя ничего возразить против программных высказываний теоретика языка, скорее нужно было бы возразить против того, что при конкретном исследовании падежной системы автор недостаточно строго следует своим собственным принципам.

Основной вопрос, возникающий перед исследователем, гласит: какова объективная связь двух грамматических категорий, а именно двух падежей в языке, и прежде всего чем отличаются их общие значения? В „Charisteria“ я писал: «Исследователь, рассматривая две друг другу противопоставленные морфологические категории, часто исходит из того предположения, что обе эти категории равноправны и что каждая имеет свое собственное положительное значение: категория I обозначает α, категория II обозначает β, или, по меньшей мере, I обозначает α, II — отсутствие или отрицание α. В действительности общее значение коррелятивных категорий распределяется иначе: в случае, если категория I указывает на наличие α, то категория II не указывает на наличие α, то есть она не сообщает о том, присутствует

α или нет. Общее значение категории II по сравнению с категорией I ограничивается отсутствием „сигнализации α"». (с. 74) [см. также выше, с. 135].

Этот принцип признается и Ельмслевом: «Структура лингвистической системы не является таковой, чтобы было возможно установить различие между положительным и отрицательным членами. Реальное и универсальное противопоставление существует в действительности между определенным и неопределенным членами» (H j e l m s l e v, 101). Однако в описании конкретной падежной системы, например готского существительного, Ельмслев отступает от упомянутых руководящих положений. Так, например, он дает следующее определение готских именительного и винительного падежей: «Именительный падеж обозначает одновременно удаление и приближение, поскольку он является одновременно падежом „субъекта" и „предиката", но он требует обязательно присутствия отрицательного аспекта измерения, так как значение „субъекта" превалирует. Кроме того, именительный может быть нейтральным по отношению к этой оппозиции, если он берется вне контекста или выполняет роль звательного падежа. Винительный обозначает одновременно удаление и приближение, так как он выступает одновременно и как „субъект", и как „объект" в так называемой „конструкции винительного с инфинитивом"; но винительный падеж требует положительного аспекта противопоставления, так как значение его как объекта преобладает и часто лишь оно одно принимается во внимание. Кроме того, винительный падеж может быть нейтральным в составе падежного противопоставления, как это часто бывает в случае, когда он указывает время, промежуток времени, в пределах которого происходит действие» (см. с. 116 и сл.).

Здесь проблема общих значений явно вытеснена, с одной стороны, традиционным с п и с к о м о т д е л ь н ы х з н а ч е н и й или же синтаксическими функциями каждого из этих падежей (так, например, именительный падеж как падеж субъекта и предиката, как беспредикатная форма и как форма обращения), а с другой стороны, установлением главного значения для каждого падежа (у именительного «п р е о б л а д а е т значение „субъекта"», у винительного, напротив, «б е р е т в е р х значение „объекта" «и часто только это единственное значение принимается во внимание»), хотя в принципе исследователь осуждает подобный подход (см. с. 6 и сл.).

Предлагаемые наброски являются попыткой вскрыть м о р ф о л о г и ч е с к и е к о р р е л я ц и и, составляющие систему современного русского склонения, объяснить таким образом общие значения русских падежей и собрать материал для будущего сравнительного учения о падеже.

III

При сравнении русского и м е н и т е л ь н о г о падежа с в и н и т е л ь н ы м первый часто определяют как падеж, обозначающий субъекта деятельности, а второй — как падеж, обозначающий объект деятельности. Подобное определение винительного в общем и целом

является верным. Винительный падеж всегда свидетельствует о том, что какое-то д е й с т в и е до некоторой степени н а п р а в л е н о на указанный предмет, сказывается на нем, его охватывает. Таким образом, речь идет о «п р е д м е т е, к к о т о р о м у о т н о с и т с я д е й с т в и е»,— „Bezugsgegenstand", по терминологии Бюлера (с. 250).

Это общее значение характеризует обе синтаксические разновидности винительного падежа: 1) винительный падеж, который Пешковский определяет как «с и л ь н о у п р а в л я е м ы й», обозначает или в н у т р е н н и й о б ъ е к т действия, возникающий как результат действия (*писать письмо*), или в н е ш н и й о б ъ е к т, подверженный воздействию извне, но независимо от него существующий (*читать книгу*); 2) «с л а б о у п р а в л я е м ы й» винительный падеж обозначает отрезок времени или пространства, который полностью охвачен действием (*жить год*, *идти версту*), или объективированное содержание какого-нибудь высказывания (*горе горевать*, *шутки шутить*, *стоить деньги*). Слабоуправляемый винительный отличается от сильноуправляемого тем, что его содержание недостаточно объективировано и недостаточно самостоятельно по отношению к действию, и, таким образом, он колеблется между функцией дополнения и функцией обстоятельства образа действия. Он может быть связан при этом с непереходными глаголами и не способен к превращению в подлежащее пассивной конструкции; в пределах простого предложения он может соединяться с сильноуправляемым винительным (*всю дорогу меня мучила жажда*), тогда как два сильноуправляемых винительных несовместимы.

Значение винительного падежа так тесно и непосредственно связано с действием, что он может управляться только глаголом, а в случаях его самостоятельного употребления мы всегда можем ощутить этот мысленно добавленный опущенный глагол: *карету!*; *награду храбрым!* В таких обращениях, как: *Ваньку!*; *Лизу!* (это может быть вызов по телефону или энергичный оклик, распространенный в народных говорах), или в таких восклицательных предложениях, как: *Ну его* [вин.] *к лешему!*; *Пусть его* [вин.] *кутит!*; „*Эк его* [вин.] *заливается!*" (Гоголь), предмет, обозначенный винительным падежом, представлен как о б ъ е к т, п о о т н о ш е н и ю к к о т о р о м у г о в о р я щ и й а к т и в н о в ы р а ж а е т с в о ю т о ч к у з р е н и я, а именно: призыв, осуждение, предоставление свободы действия или удивление. Значение направленности связано также и с предложным винительным. Ср. такие сочетания, как: *на стол* ∾ *на столе*, *под стол* ∾ *под столом* и т. д.

Если распространенное определение винительного падежа в общем является правильным, то при традиционной характеристике именительного падежа как падежа, обозначающего действующего субъекта, ряд применений именительного падежа оказывается неохваченным. В предложении *Время — деньги* ни именительный падеж подлежащего, ни именительный сказуемого не указывают на наличие действия. В предложении *Сын наказан отцом* содержанием именительного паде-

жа оказывается объект действия; фактическая противоположность винительного падежа именительному состоит только в том, что винительный как бы указывает, что на объект направлено действие, именительный же, напротив, сам по себе не содержит указания ни на наличие, ни на отсутствие отношения к действию [1].

Указание на наличие отношения (Bezug) является, таким образом, признаком винительного в противоположность именительному, из чего, следовательно, вытекает, что винительный падеж нужно рассматривать как носителя отличительного признака, а именительный, соответственно, как лишенный признака член *корреляции* „отнесенности к действию". Положение индийских грамматиков о том, что именительный падеж не содержит ничего, кроме значения именного корня, рода и числа (остроумная теория, на которую несправедливо нападает Дельбрюк, критикуя ее за отсутствие понятия о падеже субъекта), применимо, как мы видим, и к русскому языку.

Указание на зависимое положение объекта, выраженного винительным падежом, обрекает саму падежную форму винительного на зависимую роль в предложении, в противоположность именительному, который сам по себе не является носителем синтагматических отношений. Именительный падеж в русском языке неоднократно правильно определялся как простое название предмета (Пешковский, с. 118), как *нулевой падеж* (cas zéro) (Карцевский, с. 18), короче говоря, как лишенная признака падежная форма. Тот факт, что именительный падеж, в противоположность всем другим падежам, ни в коей мере не ограничивает самораскрытия обозначаемого предмета (объекта) (то есть не говорит ни о его зависимости от действия, ни о его неполном присутствии в ситуации, описываемой высказыванием), существенно отделяет этот падеж от всех других падежей и делает его единственным носителем назывной функции в чистом виде. Именительный падеж непосредственно называет предмет, остальные же формы, по меткому определению Аристотеля, являются «не именами, а падежами имен». Назывная функция может быть единственной функцией первого падежа: название просто связывается с данным или воображаемым предметом. Сообщается его содержание: „*Булочная*",

---

[1] Я думаю, что в готском языке упомянутые падежи противопоставлены друг другу в подобном же смысле. Объединение противоположных функций, о котором говорит Ельмслев, в этих случаях принципиально различно: именительный падеж может выполнять либо ту, либо другую функцию, то есть, другими словами, ни одна из этих функций не является специфической для его общего значения; в противоположность этому винительный может сочетать в себе функции объекта и субъекта действия, например в соединении с инфинитивом (hausideduþ ina siukan= ἠκούσατε αὐτὸν ἠσθενηκέναι — предмет, стоящий в винительном падеже, является здесь одновременно объектом узнавания и субъектом заболевания), но значение объекта всегда остается при этом неотъемлемым признаком винительного, в то время как его второстепенная роль — роль субъекта — предназначена только для того, чтобы выразить одно из синтаксических употреблений этого падежа. Поэтому определение винительного падежа как падежа, обозначающего объект действия, включает в себя все частные значения винительного и не вызывает необходимости в необоснованном объяснении отдельных значений метонимическим использованием падежа.

„*Ревизор*" — таков язык вывесок и заглавий. Говорящий узнает и называет воспринимаемые предметы (население зоосада: *медведь, верблюд, лев*), личные впечатления (*холод, тоска*) или вымышленные образы (у Бальмонта: „*Вечер. Взморье. Вздохи ветра*"). Во всех этих случаях именительный функционирует как своего рода предикат по отношению к данной ситуации, которая независимо от того, эмпирична она или фиктивна, внешне противостоит высказыванию.

Именительный падеж является лишенной признака формой, выполняющей в речи назывную функцию. Однако именительный функционирует так же, как составная часть высказывания, которая не только называет предмет, но и нечто о нем сообщает. Но и в повествовательной речи назывная функция именительного падежа всегда соучаствует и даже играет руководящую роль: обозначаемый именительным падежом объект является п р е д м е т о м в ы с к а з ы в а н и я. Неполное слияние назывной и повествовательной функций обнаруживается особенно в таких случаях, как: *Осёл* (именное предложение), *тот* (подлежащее повествовательного предложения) *не требует большого ухода* (эту конструкцию подробно исследовал Травничек на чешском языковом материале; см. „Vĕty", с. 137 и сл.).

Хотя в одном и том же повествовательном высказывании именительный падеж может выполнять различные синтаксические функции и значения этих различных, обозначенных именительным падежом членов предложения могут быть неравными по своему объему, все же они неизбежно относятся к одному и тому же предмету, а именно к п р е д м е т у, о б о з н а ч е н н о м у п о с р е д с т в о м п о д л е ж а щ е г о п р е д л о ж е н и я. Только при этом ограничении тезис о том, что именительный является падежом подлежащего, применим (как, например, для русского языка, см. уже Puchmayer, 259), так как в противном случае ни именительный падеж не является единственным выразителем подлежашего (подлежащее может быть выражено также посредством родительного падежа), ни подлежащее — единственной синтаксической функцией именительного падежа (ср. им. п. сказуемого и им. п. подлежащего): *Онегин — добрый мой приятель* и „*Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы*" (Пушкин). Именительный падеж подлежащего и именительный сказуемого в первом предложении имеют в виду один и тот же предмет, так же как и во втором примере — подлежащее и приложение. Предикация знаменует отнесение сказуемостного значения к предмету, обозначенному подлежащим, тогда как аппозиция (и, соответственно, атрибутивная связь вообще) служит для выражения отнесенности значения. Формально „двойной именительный" содержит лишь указание на взаимосвязь двух значений, и только лексические значения имен или весь окружающий контекст могут дать понятие о том, какое из двух значений детерминирует и какое детерминировано; и часто, особенно в поэтическом языке, различие между подлежащим и именным сказуемым (или приложением) оказывается в большей или меньшей степени стертым (см., например, в марше Маяковского: „*Наш бог* [сказ.] — *бег* [подл.]. *Сердце* [подл.] — *наш барабан* [сказ.]").

Благодаря особому положению именительного падежа возникает своеобразная синтаксическая перспектива: имя (предмет), стоящее в именительном падеже, приобретает в высказывании ведущую роль — говорящий фиксирует на нем свое внимание. Сравним два высказывания: *Латвия соседствует с Эстонией — Эстония соседствует с Латвией.* Фактическое содержание обоих высказываний идентично. Однако центром повествования в первом случае оказывается Латвия, а во втором — Эстония. Гуссерль во втором томе своего сочинения „Логические исследования" („Logischen Untersuchungen"), исключительно важного для теории языка, анализирует подобную пару предложений как „a больше b" и „b меньше a" и устанавливает, что эти два предложения, хотя и описывают одно и то же предметное отношение, но все же по содержанию своего значения они различны (48). А различаются они иерархией значений.

Подчиненное положение значения винительного падежа в иерархии значений внутри высказывания остается таковым и в безличных предложениях. Особенность этих предложений заключается в том, что место главного, ведущего предмета остается вакантным, не будучи упраздненным. В синтаксическом плане можно было бы говорить о „нулевом" подлежащем: *Солдата* [вин. п.] *ранило в бок*; *Лодку* [вин. п.] *далеко отнесло*. В идентичных по своему содержанию предложениях (*Солдат* [им. п.] *ранен в бок*; *Лодка* [им. п.] *далеко отнесена*) оба предмета, стоящие в именительном падеже, занимают первое, ведущее место в иерархии значений. Винительный падеж сам по себе показывает, что в иерархии смысловых элементов данного высказывания он подчиняется чему-то вышестоящему, то есть в противоположность именительному он указывает на наличие иерархии значений. Образно выражаясь, винительный падеж сигнализирует о подчиненном характере какой-то точки, предполагая, таким образом, наличие над ней какой-либо другой данной или только подразумеваемой точки, связанной с первой. Тем самым винительный падеж указывает на „вертикальную" сущность высказывания, тогда как именительный падеж не обозначает ничего, кроме одной-единственной точки. Когда Андрей Белый в одном из своих стихотворений вместо предложения *ты видишь меня* [вин.] употребляет оборот „*ты видишь*—я" [им.], то синтаксически он выделяет только две независимые точки и тем самым устраняет иерархию значений.

Вопрос об общих падежных значениях относится к учению о слове, а вопрос об их частных значениях — к учению о словосочетании, так как общее значение падежа независимо от его окружения, тогда как его отдельные частные значения обусловлены разного рода конструкциями и различными формальными и лексическими значениями окружающих слов, поэтому они являются, так сказать, комбинаторными вариантами общего значения. Исследование значений падежа для установления ряда его частных значений и ограничение его общего значения как общего знаменателя частных значений было бы необоснованным упрощением проблемы. Частные значения, обусловленные синтаксически или фразеологиче-

ски, не образуют механического нагромождения; напротив, наблюдается закономерная иерархия частных значений. Конечно, не следует подменять вопрос об общем значении падежа вопросом о его специфическом значении или главном значении, и вообще, как это часто бывает, смешивать эти два вопроса. Однако, с другой стороны, мы не имеем права отвергать проблему иерархии частных значений, охватываемых общим значением. Как главное значение падежа, так и специфическое (частное) значение — это отнюдь не научная фикция, а реальный и существенный факт языка.

Мы устанавливаем, что два значения коррелятивны, то есть что общее значение одного падежа учитывает некий определенный признак (α) предметной данности, тогда как общее значение другого падежа ничего не говорит о наличии или отсутствии этого признака. В первом случае мы говорим о признаковой, во втором — о беспризнаковой категории. Из того факта, что обе эти категории противопоставлены друг другу, вытекает, что специфическим значением лишенного признака падежа становится указание на отсутствие признака. Если общее значение именительного падежа, в противоположность винительному, не указывает, подвергается ли определяемый предмет какому-либо действию (отсутствие сигнализации), то специфическое (частное) значение этого падежа указывает на то, что высказыванию неизвестно об этом действии (не-α сигнализовано) (ср. „Charisteria", 84). Этим же значением наделен и самостоятельно употребляемый именительный. Напротив, в случаях, когда контекст указывает на то, что предмет в именительном падеже подвергается действию (α-сигнализация), то это комбинаторное значение именительного, совпадающее со значением винительного падежа, расценивается как несобственное. То специфическое значение именительного, которое противопоставлено значению соотнесенного с ним (коррелятивного) падежа, то есть значение действующего субъекта или, точнее, значение субъекта переходного действия, рассматривается как главное значение именительного падежа. В этом значении другой падеж, кроме именительного, был бы неприменим. Говорят: *детей* [род.] *пришло!*; *никого* [род.] *не было*; можно сказать только: *Дети* [им.] *собирали ягоды*; *Никто* [им.] *не пел*, но ни в коем случае нельзя сказать: *Детей собирало ягоды*; *Никого не пело*. Синтаксическое употребление именительного падежа, которое придает ему такое значение, в противоположность употреблению, устраняющему разницу в значении между именительным и винительным, воспринимается, естественно, как беспризнаковое. Поэтому такие сочетания в активном залоге, как *писатели пишут книги*, *Пушкин написал «Полтаву»*, оказываются беспризнаковыми по сравнению с такими сочетаниями, как *книги пишутся писателями*, *«Полтава» написана Пушкиным*.

Наиболее подходящим воплощением для действующего субъекта, и особенно субъекта переходного действия, является *одушевленное существо*, а для объекта — *неодушевленный предмет* (ср. „Atti", 144). Обмен ролями — когда неодушевленный предмет выступает в качестве подлежащего в именительном падеже, а одушевленное существо — как

прямое дополнение в винительном падеже — ведет, соответственно, к известному оттенку персонификации: *грузовик раздавил ребенка*; *печь пожирает много угля*. Томсон, статистически исследовавший распределение обоих семантических типов (одушевленного и неодушевленного) между подлежащим и прямым дополнением, пришел к следующему выводу: при переходных глаголах человек является по преимуществу субъектом, вещь — объектом, а названия животных занимают промежуточное положение (XXIV, 305). Винительный падеж, обозначающий неодушевленный предмет, легко обходится без формального признака, который отличал бы его от именительного падежа, причем в большинстве случаев это не нарушает ясности высказывания. Ср. совпадение винительного падежа неодушевленных предметов с именительным в большинстве русских парадигм. Примечательно, что мы относим вопрос *что делает*, в противоположность вопросу *кто делает*, к объекту, а ни в коем случае не к субъекту.

Существуют также языки (например, баскский и северокавказские), где упомянутая и наиболее характерная функция именительного падежа, а именно функция субъекта переходного действия, становится единственной функцией этого падежа. Здесь соотношение падежа, лишенного признака, и падежа, содержащего признак, является обратным по сравнению с тем, которое наблюдается в русском (и в других языках с именительным — винительным падежами); признаковый падеж свидетельствует здесь не о том, что предмет подвергается действию, а, напротив, о том, что нечто подвергается его действию, тогда как беспризнаковый падеж ничего не говорит о наличии подобного действия. Уленбек называет первый падеж *транзитивом**, а второй — *интранзитивом* (интересное обсуждение этого вопроса см. у Кацнельсона (с. 56 и сл.)). Первый играет роль субъекта при переходных глаголах, второй же — беспризнаковый интранзитив,— естественно, может выполнять различные синтаксические функции, а именно функцию объекта при переходных глаголах и функцию субъекта при непереходных глаголах. Сравнение оппозиций именительный — винительный и транзитив — интранзитив с оппозициями глагольных залогов обнаруживает тесное р о д с т в о э т и х и м е н н ы х и г л а г о л ь н ы х к о р р е л я ц и й. Пара „транзитив — интранзитив" правильно рассматривается как противопоставление активного и медиопассивного залогов; было бы целесообразно рассматривать соответственно отношение именительного — винительного как противопоставление медиоактивного и пассивного залогов.

IV

При анализе якобы „столь многозначного" р о д и т е л ь н о г о п а д е ж а особенно ясно проявилась бесплодность атомистического подхода, в результате которого значение родительного расщепилось на ряд разнородных и подчас даже противоречащих друг другу част-

* В современной лингвистической литературе для этого падежа употребляется преимущественно термин „эргативный".— *Прим. ред.*

ных значений. Так, например, Пешковский в числе «отдельных родительных» русского языка называет родительный удаления, означающий предмет, «от которого направлено движение, выраженное в глагольной основе», и родительный цели, значение которого «прямо противоположно значению родительного удаления», так как он «обозначает предмет, на который или к которому направлено действие» (см. Пешковский, с. 264 и сл.). Ср. такие антитезы, как полемическое истолкование староверческого и нового православного учений в одном старообрядческом тексте: с одной стороны, *бегай блуда* [род. п.], а с другой стороны — *желай блуда* [род. п.]. В действительности же такие значения, как „направление от" и „направление к", вносятся в высказывание лексическими значениями глаголов, а в таких словосочетаниях, как „от зари до зари" — значениями предлогов. Уже возможность соединения в родительном падеже двух противоположных значений направления свидетельствует о том, что значению родительного как такового чужды понятия того или другого направления.

Из сравнения родительного падежа с именительным и винительным вытекает, что родительный всегда отмечает предел участия обозначаемого им предмета в содержании высказывания. Здесь, таким образом, внимание сосредоточивается на объеме предмета; поэтому мы можем определить противопоставление родительного падежа, указывающего на соотношения объема, падежам, не указывающим на эти соотношения (именительный, винительный), как корреляцию объема. Это противопоставление в сфере имени можно сравнить с видовой корреляцией в сфере глагола, характерная особенность которой состоит в указании границ действия; в соответствии с этим можно говорить и о видовой корреляции у имен.

Что касается противопоставления по сигнализации и несигнализации действия, направленного на обозначаемый предмет, то это различие в значении в родительном падеже снято, и этот падеж с одинаковым успехом может обозначать как подверженный действию, так и независимый предмет.

Сам по себе родительный падеж указывает лишь на то, что объем участия предмета в содержании высказывания меньше его полного объема. В какой мере ограничивается объем предмета, зависит от языкового или внеязыкового контекста. Предмет, обозначенный родительным, может выступать в содержании высказывания, во-первых, частично и, во-вторых, отрицательно. В первом случае употребление этого падежа свидетельствует об определенной или неопределенной степени участия предмета (genitivus partitivus — родительный разделительный) и тем самым устанавливает пространственную или временную границу. Во втором случае предмет остается вне содержания высказывания, причем контекст указывает либо на то, что содержание высказывания останавливается на границе предмета („родительный края или предела"), либо на то, тяготеет ли содержание высказывания к обозначаемому предмету („родительный цели"), или, напротив, удаляется от него („родительный удаления"), или исключа-

ет, вытесняет его („родительный отрицания") [1]. Рассмотрим отдельные синтаксические варианты обеих упомянутых разновидностей родительного падежа:

Родительный в именных предложениях: 1) *Новостей, новостей!*; народные обороты: *таких-то делов!* (примерно: „вот каких масштабов достигли дела"); *какого дела!* („вот его размеры" [2]); выкрик продавца зелени: «*Капусты! Огурцов!*». 2) «*Воды, воды!* [род. п.]... *но я напрасно страдальцу воду* [вин.] *подавал*» (Пушкин); «*спокойной ночи! всем вам спокойной ночи!*» (Есенин); «*лимончика бы!*» (Андрей Белый); «*ни голоса*» (Маяковский). Во всех примерах, собранных под этой рубрикой, предмет в родительном падеже остается вне объективного содержания высказывания, в каком бы отношении к этому содержанию он ни находился. Самостоятельно употребляемый родительный, как мы видим из примеров, показывает, что предмет развертывается или должен развернуться в какой-то неопределенной, но усматриваемой степени. Ситуация решает, какая из двух возможностей в данном случае имеется в виду.

Родительный субъекта: 1) *людей* [род.] *собралось* — *люди* [им.] *собрались* (то же самое, но без установки на множество); „*шуток* [род.] *было*" (Лермонтов) — *шутки* [им.] *были* (множество не разумеется). 2) *нужно спичек* [род.] — *нужны спички* [им.] (без установки на их фактическое отсутствие); *страшно смерти* [род.] — *страшна смерть* [им.] (в первом случае „смерть" является отрицательным персонажем, негативным „героем" высказывания и остается, таким образом, вне его содержания; его положительные персонажи — это те, кто страшится смерти; во втором случае „смерть" является положительным и единственным „персонажем" высказывания); *ответа* [род. п.] *не пришло* — *ответ* [им.] *не пришел* (в первом случае сам предмет как бы вычеркнут из содержания высказывания, во втором случае отрицается только действие).

Приглагольный родительный: 1) **Родительный партитивный** выступает в сочетаниях: а) с глаголами, непосредственно обозначающими изменение качества (то есть возрастание или уменьшение его), например: *успехи придают ему сил, припускает огня в лампе, набирает денег, с каждым днем убавляет хлеба*; б) с глаголами совершенного вида, вид которых обозначает абсолютный предел действия (см. „Charisteria", 76; Буслаев, с. 283 и сл.); например: *поел* (сов. вид) *хлеба* [род. п.] — *ел* (несов. вид) *хлеб* [вин. п.]; *взял* (сов.) *денег* [род.] — *брал* (несов.) *деньги* [вин.]; *наделал* (сов.) *долгов* [род.] — *делал* (несов.) *долги* [вин.]; *купить* (сов.) *баранок* [род.] — *покупать* (несов.) *баранки* [вин.]; *дай* (сов.) *мне твоего ножа* [3].

[1] Травничек верно учел частое отсутствие точной границы между отдельными синтаксическими значениями родительного падежа („Studie", § 70).

[2] Шахматов (§ 47) сомневается относительно происхождения последних оборотов, однако Травничек правильно обнаружил соответствующий родительный разделительный в чешском jakého to zvuku.

[3] Впрочем, родительный партитивный (или разделительный), ограничивающий во времени участие предмета в содержании высказывания, воспринимается как исчезающий в настоящее время архаизм. Например, у Крылова: „достали нот, баса, альта" в настоящее время в большинстве случаев понимается неправильно. По Шах-

Противоположная гипотеза Пешковского, согласно которой некоторые префиксы совершенного вида сочетаются исключительно с родительным падежом (с. 266 и сл.), неправильна. Что касается глаголов действительного залога, способных сочетаться с партитивным родительным, то для них сочетание с винительным вполне осуществимо, если только предмет не ограничивается в объеме (*накупил уйму*; *наговорил кучу комплиментов*). Слабоуправляемому винительному соответствует родительный расчлененного или ограниченного целого: *это произошло пятого января*; *шуточек нашутили*; *поездка стоит больших денег.*

2) **Родительный предела:** „*Одной ногой касаясь пола*" (Пушкин); „*достиг я высшей власти*" (Пушкин). **Родительный цели:** „*а он, безумный, ищет бури*" (Лермонтов); „*свобод хотели вы*" (Пушкин). **Родительный удаления:** *избежал верной гибели, бойся кары.* **Родительный отрицания:** „*Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной*" (Пушкин); *не читаю газет, не нашел квартиры.* В этих случаях родительный падеж обозначает отсутствие предмета в содержании высказывания. Однако, поскольку на этом отсутствии внимание не акцентируется, а, напротив, подчеркивается наличие данного предмета в словесном контексте или во внеязыковой ситуации, первичной по отношению к высказыванию, постольку родительный падеж после активных глаголов вытесняется винительным: *просит денег* [род.], *просит деньги* [вин.] (о которых уже шла речь; пример Пешковского); „*я цель свою достиг*" (Лермонтов). Цель здесь включена в сферу высказывания и представлена как заранее известная, поэтому мы говорим: *человек впервые достиг полюса* [род.], а не *полюс*; *я не слыхал этой сонаты* [род.] (акцент здесь делается на то, что эта соната неизвестна говорящему), *я не слыхал эту сонату* [вин.] (всякий акцент здесь отсутствует, и поэтому то обстоятельство, что я ее не слыхал, становится случайным фактом, который не в состоянии исключить упомянутую сонату из содержания высказывания — наличие сонаты перевешивает). Этот оттенок значения противопоставляет винительный падеж родительному.

Родительный падеж при прилагательных: 1) *полный мыслей* [род. п.] (разновидность родительного партитивного; ср. *полный мыслями* [твор. п.], где отсутствует количественно-партитивный оттенок); 2) *достойный признания* (разновидность родительного предела), *слаще яда*, *уговор дороже денег* (разновидность родительного удаления: предметы более низкого уровня вытеснены предметами высшего уровня).

Родительный при местоимении: *что нового?* (значение партитивное).

Присубстантивный (или приименной) родительный: как уже было установлено выше, родительный падеж свидетельствует о том, что обозначенный им предмет исключается из содержания высказывания

матову, родительный падеж выражает здесь совокупность или неопределенное множество однородных предметов (§ 425). Томсон утверждает, что подобный родительный временного ограничения еще доныне живет в бытовом языке многих образованных людей; однако для разговорного языка культурных центров это, конечно, неверно.

или представлен только частично. Эта установка не на предмет, а на смежное содержание или же всего на часть предмета свидетельствует о метонимической природе родительного или, в случае родительного партитивного, об особой синекдохической разновидности метонимии („меньшая объективизация", по удачному определению Гримма). Это особенно ясно обнаруживается как раз в случае присубстантивного родительного, что, как ни странно, оказалось незамеченным в специальной литературе, благодаря чему возникает искусственная пропасть между приглагольным и приименным употреблениями родительного падежа (см., например, Дельбрюк, с. 307 и сл.). Имя, от которого зависит родительный падеж, либо непосредственно ограничивает объем предмета в родительном (*стакан воды*, *часть дома*), либо абстрагирует от предмета какое-либо из его свойств (*красота девушки*), какое-то из его проявлений (*слово человека*), какое-то из его „страдательных" состояний (*разгром армии*), какую-то из его принадлежностей (*имущество ремесленника*), что-то из его окружения (*сосед кузнеца*); или же, напротив, носитель свойства абстрагируется от самого свойства, субъект или объект проявления — от самого проявления (*дева красоты*, *человек слова*, *жертвы разгрома*).

Присубстантивное употребление наиболее полно и отчетливо раскрывает семантическое своеобразие родительного; характерно, что это единственный падеж, который может быть подчинен чистому, то есть свободному от каких-либо оттенков глагольного значения, существительному. В связи с этим мы считаем, что присубстантивное употребление родительного является типичнейшим выражением этого падежа.

Такому чисто присубстантивному монопольному употреблению родительного противостоит его приглагольное употребление как точка максимального отличия падежей. Винительному падежу прямо противопоставлен родительный только при активных глаголах, так как сильноуправляемый винительный всегда предполагает активную форму глаголов. Глаголы, обозначающие удаление агенса от предмета в родительном падеже (*избегать*, *трусить*), не могут сочетаться с винительным падежом (по крайней мере в русском языке), потому что предмет, вызывающий удаление, рассматривается как деятельный фактор, а не как объект действия. При глаголе *лишать* пассивное лицо (Patiens) — тот, кого лишают,— противопоставлено предмету, которого это лицо лишается, другими словами, предмету, исключаемому из содержания высказывания: первый, естественно, функционирует как дополнение в винительном падеже, а второй — как дополнение в родительном падеже; присутствие обоих необходимо, и постановка прямого дополнения перед косвенным с необходимостью дифференцирует эти два дополнения, так что и в этом случае контраст падежей, по существу, не является необходимой предпосылкой для их различения; ср. *лишил отца* [вин.] *сына* [род.], *а мать* [вин.] *дочери* [род.]. Как справедливо отмечает Пешковский (с. 265 и сл.), родительные отрицания, цели (а также предела) имеют тенденцию к смешению с винительным, и отчетливость противопоставления нередко затушевыва-

ется. Наибольшую отличительную силу имеет противопоставление родительного партитивного винительному: *выпил вина* [род., некоторое количество] — *выпил вино* [вин. п.]. Одушевленные существа лишь в исключительных случаях могут выступать в родительном партитивном единственного числа (например: *отведай курицы*), поэтому у имен, обозначающих одушевленные существа, противопоставление винительного и родительного несущественно и в большинстве парадигм устранено: винительный одушевленных существительных приобретает ту же форму, что и родительный. Обобщение этого падежного синкретизма, распространяющее его также и на множественное число, приводит к уничтожению различия в значении: высказываниям *купил картины* [вин.] и *купил картин* [род.] (известное число) в случае, когда дополнением является одушевленное существо, соответствует одно-единственное высказывание: *купил лошадей* [вин.-род.] [1].

Совпадение винительного падежа с родительным указывает на одушевленность обозначаемого предмета. В то же время совпадение винительного падежа с именительным хотя и характерно для существительных неодушевленного рода, но не является для них достаточной приметой (ср. *мать* [им.-вин.], *мышь* [им.-вин.]). В русском склонении всегда бывает так, что если с некоторой приметой связано выражение одушевленности или неодушевленности, то противоположная категория не обозначается однозначно посредством противоположной приметы; в именительном падеже формы так называемого среднего рода указывают на неодушевленность предмета (единственные исключения — *существо* и *животное* — выражают категорию одушевленности самой своей основой), тогда как остальные формы именительного падежа встречаются в равной мере при обозначении и одушевленных существ, и неодушевленных предметов. Наличие двух форм родительного и соответственно двух форм местного падежа является приметой неодушевленности предмета; напротив, отсутствие подобного расщепления не дает никакой информации (ср. гл. VII). Сходным образом обстоит дело с родовыми противопоставлениями у существительных: большинство падежей имеет по одному окончанию, которое указывает на принадлежность слова к мужскому роду (например: род. п. ед. ч. *-а*, дат. п. *-у*, твор. п. *-ом*; им. п. мн. ч. *-а*, род. п. мн. ч. *-ов*), в то время как остальные окончания этих падежей не говорят о принадлежности слова к женскому роду (например: род. п. ед ч. *-и*, дат. п. *-е* или *-и*, твор. п. *-ою*; им. п. мн. ч. *-и*, род. п. мн. ч. *-ей* или нулевое окончание). Существительные обоих родов однозначно различаются родовой формой прилагательного в единственном числе. Эти два рода относятся друг к другу, как признаковая категория, показывающая, что слово не может обозначать мужчину (женский род), к беспризнаковой, не сообщающей о том, идет ли речь о мужчине или о женщине (так называемый мужской

---

[1] В польском языке винительный падеж множественного числа совпадает с родительным только при обозначении лиц так, что различие в значении остается почти незатронутым, так как противопоставление винительного падежа родительному партитивному у такого рода существительных возможно лишь в ничтожной мере.

род); ср.: *товарищ* (мужск. р.) *Иванова* (женск. р.) — *зубной врач* (мужск. р.).

Родительный падеж с предлогом по своему значению не отличается от прочих употреблений родительного падежа. И здесь посредством исключения части предмета или всего предмета в целом указываются границы этого предмета и его участие в высказывании, то есть передаются объемные соотношения, например: 1) *некоторые из нас* (род. партитивный); 2) *у, около, возле реки* (род. предела); *до реки, для славы* (род. цели); *из ружья, от реки* (род. удаления); *без забот, кроме зимы* (род. отрицания)[1].

V

Ни **творительный**, ни **дательный** падежи не выражают объемных отношений. Эти падежи находятся в корреляционной связи не с родительным, а с именительным и винительным. Как винительный, так и дательный указывают на то, что обозначаемый предмет затронут действием; напротив, творительный падеж, подобно именительному, ничего не сообщает ни о том, затронут ли предмет действием, ни о том, выполняет ли он сам какие-либо действия (то есть принимает ли в них участие или нет). Ср. *страна управляется министрами* [твор.] — *министры управляют страной* [твор.]; *они были встречены ребенком* [твор.] — *они встречали его ребенком* [твор.]. Следовательно, винительный и дательный в корреляции „отношения к действию“

---

[1] Мы оставляем в стороне вопрос о родительном падеже числительных, так как сочетания с числительными выражаются вообще посредством ряда своеобразных особенностей, и я надеюсь в скором времени рассмотреть этот вопрос отдельно. Если сочетание числительного с существительным не содержит указания ни на какой из падежных признаков, то синтаксически числительное можно понимать как субстантивированное обозначение количества, связанное же с ним имя выступает как партитивный родительный падеж, который количественно ограничивает предмет (*пять, сорок*, а также *сколько, несколько ведер*); если же сочетание имеет какой-либо из падежных признаков, то существительное становится носителем этого признака, а числительное — согласованным с ним в падеже определением (*трех, пяти, сорока*, а также *скольких, нескольких ведер*; *трем, пяти* и т. д. *ведрам*; *тремя, пятью* и т. д. *ведрами* и т. п.). Последнее недействительно для числительных от тысячи и выше (*тысяча, тысячи, тысяче — ведер*). В сочетании с именительным падежом числительных от 2 до 4 существительное стоит не в род. мн., а в род. ед. (*два, три, четыре ведра*); здесь можно сказать, что падежная форма отмечает не множественность, а лишь то обстоятельство, что объем обозначаемого предмета как целого (ед. ч.) не совпадает с его объемом, наличным в содержании высказывания. В этом смысле следовало бы расширить определение общего значения родительного, если бы мы хотели включить в сферу нашего рассмотрения сочетания с числительными и не принимать при этом во внимание факт их совершенно особого положения в языке. Тогда можно было бы констатировать: числительное указывает на то, что второй объем превышает первый, но падеж сам по себе означает лишь неравенство этих двух объемов; ср. градацию частных значений род. п.: *ни ведра, полведра, полтора ведра*. Характерно, что при таких числительных, грамматическая форма которых указывает на принадлежность исчисляемых предметов к классу одушевленных существ, конкретнее — к людям, форма существительного всегда сообщает о множественном числе: *двое, пятеро друзей*; *двоих, пятерых друзей* [род.]; *двоим, пятерым друзьям* [дат.] и т. д.

функционируют как признаковые падежи, то есть падежи, имеющие к действию отношение, падежи отношения, в противоположность беспризнаковым именительному и творительному. Наличие направленности действия на предмет засвидетельствовано употреблением обоих падежей отношения с предлогами, например: *в*, *на*, *за*, *под*, *через*, *сквозь*, *по (пояс)*; *к*, *навстречу*, *по(потоку)*. Значение направленности сохраняется и в том случае, когда подобное сочетание с предлогом подчинено не глаголу, а существительному: *вход в дом*, *дорога в Рим*, *ключ к двери*. Ранее уже упоминалось, что если общее значение именительного падежа в противоположность общему значению винительного не говорит о том, затронут ли обозначаемый предмет действием, то специфическое значение именительного указывает на то, что высказыванию ничего не известно о такой деятельности; особенно отчетливо проявляется природа именительного падежа, когда предмет представлен как источник действия. Это справедливо также для противопоставления творительный — дательный; именно главное значение творительного имел в виду Шахматов, когда усматривал существенное отличие творительного от дательного в том, что «первый означает не зависимое от глагола представление, не объект, испытывающий на себе действие, влияние глагольного признака, а, напротив, представление, способствующее развитию этого признака, видоизменяющее или определяющее его проявление» (§ 444).

В чем заключается отличие творительного и дательного падежа от именительного и винительного? Перефразируя два термина Понгса, я называю творительный и дательный периферийными падежами (die Randkasus), а именительный и винительный — полными падежами (Vollkasus) и для противопоставления этих двух типов падежей буду в дальнейшем пользоваться термином позиционная корреляция (Stellungskorrelation).

Периферийный падеж указывает на то, что соответствующее имя занимает в общем содержании высказывания периферийное положение, тогда как полный падеж не сообщает, о каком положении идет речь. Периферия всегда предполагает наличие центра, периферийный падеж предполагает наличие центрального содержания в высказывании, которое также попутно определяется падежом периферии. При этом его центральное содержание не обязательно должно иметь языковое выражение. Например, заглавия романов „Огнем и мечом", „И золотом и молотом" предполагают действие, по отношению к которому предметы в творительном падеже играют роль орудия. Надпись „Ивану Ивановичу Иванову" предполагает нечто, адресованное лицу, обозначенному дательным падежом, и это нечто, хотя оно и не выражено, является центральным, а адресат — периферийным содержанием высказывания.

Подчеркиваем, что специфическим свойством периферийных падежей является не то, что они свидетельствуют о наличии двух точек в высказывании, а только то, что эти точки рассматриваются как периферийные по отношению друг к другу; винительный падеж также свидетельствует о наличии двух точек, одна из которых подчинена дру-

гой, однако винительный падеж *не* означает, что эта подчиненная точка является лишь побочным содержанием высказывания, которое можно опустить без ущерба для основного содержания высказывания, как это бывает в случае с периферийными падежами. Глагол *делает* требует обязательного ответа на вопросы „кто" и „что", и соответственно глагол *не делает* требует ответа на вопросы „кто" и „чего" [род. п.]. Отсутствие здесь именительного и винительного (соответственно родительного) придает высказыванию эллиптический характер. Однако вопросы „чем [твор. п.] делает", „кому [дат. п.] делает" не вытекают из самого существа высказывания и не связаны непосредственно с его центром. Это, так сказать, побочные вопросы. Ср. также *дело делается, сделано.* Вопрос о деятеле (кем? [твор.]) является факультативным: *он дал все, что мог дать, каждый день он посылает письма*—отсутствие дательного не воспринимается здесь как пробел.

Фактические данные, описываемые, с одной стороны, такими высказываниями, как: *течение* [им.] *отнесло лодку*; *оленя ранила стрела* [им.]; *пахнет сено* [им.], а с другой — такими, как: *течением* [твор.] *отнесло лодку*; *оленя ранило стрелой* [твор.]; *пахнет сеном* [твор.], являются равноценными, однако значение этих высказываний различно; в обоих случаях носитель действия один и тот же, но в иерархии значений он в первом случае представлен подлежащим, а во втором — обстоятельством при сказуемом. Форма творительного падежа приписывает предмету побочное положение, причем из самого сочетания глагола с творительным падежом не явствует, только ли говорящее лицо придает предмету это второстепенное место или же он в действительности играет лишь второстепенную роль [1]. Ср.: *рисунок набросан пером* [твор. п.] — *рисунок набросан художником* [твор. п.]; в первом случае существительное, стоящее в творительном падеже, означает только вспомогательное средство, а именно выбранный для работы инструмент, во втором случае оно означает источник действия, вытесненного, однако, по сравнению с самим произведением на периферию высказывания, и расценивается, если можно так сказать, как некая предпосылка совершившегося факта.

В активных оборотах достаточно поставить творительный падеж рядом с именительным, чтобы предмет, стоящий в творительном падеже, получил объективную вспомогательную роль. Периферийное положение предмета выражается здесь через противопоставление средства и источника действия: *охотник* [им.] *ранил оленя стрелой* [твор.]; *сарай* [им.] *пахнет сеном* [твор.].

В пределах общего значения творительного падежа следует различать три семантических типа:

1. Творительный падеж указывает на какое-нибудь условие действия. Этот *творительный обусловливающего фактора*, поясняемый уже приведенными выше примерами, передает значение источника действия (*убит врагами*), движущей силы (*увлечен спортом*, *томится безде-*

---

[1] Интересные примеры подобного употребления русского творительного падежа приводит Педерсен (с. 134 и сл.).

лием), орудия *(жать серпом, распоряжаться деньгами, управлять машиной, владеть рабами)*, способа *(идти войной)*, арены движения *(идти лесом)*, времени действия *(путешествовать ночью)*. Такие дублеты, как *швырять камнями* [твор.] — *швырять камни* [вин.], Пешковский ошибочно принимает за „стилистические синонимы" (с. 269). В действительности и здесь творительный падеж указывает на вспомогательную или побочную роль предмета, а винительный — направленность действия на предмет. Здесь, следовательно, имеет место противопоставление средства и цели, орудия и достаточного самого по себе объекта. Поэтому мы говорим: *чтобы пробить стену, они швыряли в нее камнями* [твор.], но *он бесцельно швырял камни* [вин.] *в воду*. Еще более очевиден контраст словосочетаний: *говорить резкими словами — говорить резкие слова*. В одном случае говорящим принимается во внимание содержание речи, в другом — речь сама по себе. Тавтологический „творительный усиления" в привычной терминологии представляет собой род редупликации, подчеркивающий интенсивность действия *(криком кричать)*, тогда как тавтологический винительный, если можно так выразиться, вылущивает, извлекает объект действия из его наименования *(клич кликать)*. Творительный обусловливающего фактора относится к названному или подразумеваемому глаголу *(кнутом его!)* или к существительному со значением деятельности *(увлечение спортом, удар ножом, оскорбление действием, дорога лесом)*. Замена этого творительного падежа именительным означает ликвидацию синтаксической перспективы и расчленение предложения на равноценные отрезки: *«он ударил его, шашка* [им.] *наотмашь; комсомолец — к ноге нога* [им.]*! плечо* [им.] *к плечу! марш!»* (Маяковский).

2. *Творительный ограничения* очерчивает сферу действия признака, выраженного в сказуемом или в определении, к которому относится этот падеж: *помолодеть душой — юн душой — юный душой — юноша душой, он не мог примириться с несправедливостью*. Периферийное положение проявляется здесь как контраст части (Teilgebiet) и целого.

3. *Творительный деятельности* подразумевает тот же предмет, что и соотнесенный с ним (названный или подразумеваемый) полный падеж в том же высказывании, и означает, что речь идет о частичной функции предмета, об эпизодическом, преходящем свойстве (благоприобретенном и соответственно могущем быть утраченным). Творительный падеж присоединяется к сказуемому или входит в его состав: *он здесь судьей, он будет судьей, он стал судьей* [1], *он избран судьей, его назначили судьей, мы знавали его судьей, судьей он посетил нас, я не видал ее лица* [род.] *таким озабоченным* [твор.]. Однако в случае, когда имеется в виду постоянное, исконное, неотъемлемое свойство предмета или по крайней мере нет намерения оговорить его временный эпизодический характер, творительный падеж не употребляется: *все они были греки* [им.], *младший сын был дурак* [им.]. Предложение *будь татари-*

---

[1] В таких сочетаниях, как *стал судьей*, периферийное положение обосновано лишь семантически, а не синтаксически: в сочетании с глаголом *он стал* вопрос „кем, чем" (твор. п.) оказывается обязательным.

ном [твор.] мы воспринимаем как призыв к татарскому национальному сознанию, тогда как *будь татарин* [им.] в эпиграмме Пушкина означает: если ты по рождению татарин, то твоя национальная принадлежность останется при тебе при всех обстоятельствах. В шуточных стихах „*он был титулярный советник* [им.], *она — генеральская дочь, он робко в любви ей признался, она прогнала его прочь*" ранг титулярного советника воспринимается как некое обрамление действия, как нечто постоянное, и все, что ему предшествовало, и то, что за ним последовало, намеренно оставляется без внимания. Но: *он был титулярным, потом надворным советником* [твор.]. Если внимание говорящего концентрируется на отдельном отрезке времени и высказывание в связи с этим получает статический характер, то творительный падеж деятельности уступает место именительному.

Хертель (Hærtel) в своем содержательном обзоре предикативно употребляемых творительного и именительного падежей в языке Тургенева отмечает, что «существует большое количество таких предложений, в которых вместо ожидаемого творительного падежа стоит именительный, например предложения с *тогда*, *в свое время*, то есть с обстоятельством времени или с иными дополнениями, которые отсылают данное высказывание в область случайного» (с. 106). Однако и эти доказательства свидетельствуют о важном и тонком различении этих двух падежей, характерном для великого стилиста. В том случае, если пометы *тогда*, *в свое время* не даны в порядке антитезы, они требуют именительного с его статической коннотацией: *вы были тогда ребенок* [им.], *в свое время сильный был латинист*. Еще несколько показательных примеров: *он вернулся больной* [им.] (он мог быть болен и раньше) — *он вернулся больным* [твор.]; *я увидел дом, запущенный и опустелый* [им.] — *я увидел дом запущенным и опустелым* [твор.]: в последнем случае запущенность и опустение отчетливо противопоставлены другому, более раннему состоянию. „Ее сестра звалась Татьяна" [им.] (Пушкин) — ...*Татьяной* [твор.]; во втором случае в падежной форме получает выражение акт наименования, в первом — лишь факт обладания именем; мы бы сказали: *сестра звалась Таней* [твор.], *а когда подросла — Татьяной* [твор.]. Ср. *сестру* [вин.] *звали Татьяной* [твор.], или, при нарушении синтаксической перспективы: „— —*звали* (:) *Татьяна*" [им.]. То же самое наблюдается у Герцена: „*Один Парфенон* [вин.] *назвали* (:) *церковь* [им.] *святой Магдалины*". Шахматов ошибочно видит здесь „двойной винительный" (§ 430).

Не менее ясным, чем периферийное положение ограниченного во времени и, следовательно, синекдохического значения предмета, в противоположность его более широкому значению, является в иерархии значимостей высказывания периферийное положение метафорического значения предмета по отношению к его собственному значению в конструкции с т в о р и т е л ь н ы м п а д е ж о м с р а в н е н и я, внутреннюю связь которого с творительным деятельности правильно уловил уже Миклошич (с. 735): *у него грудь колесом, казак буйным соколом ринулся на врага*. Коль скоро образное значение начинает восприниматься как неразрывно связанное с пред-

метом и сравнение превращается в отождествление, основания для употребления творительного исчезают: *казак, буйный сокол* [им.], *ринулся на врага.*

Тавтологические конструкции раскрывают семантические особенности творительного деятельности или сравнения (различие в их значении здесь исчезает). Сопоставление таких сочетаний, как *сиднем сидел* или *дождь лил ливнем*, *с криком кричать* и др., показывает, что в обоих случаях творительный усиливает сказуемое, высвобождая и субстантивируя его содержание; однако в последнем случае это высвобожденное содержание должно быть охарактеризовано как модус сказуемого, а в первом — как тесно связанное со сказуемым свойство подлежащего (так называемая „вторичная предикация"). В таких оборотах, как *он остался дурак дураком, рожь лес лесом* (Шахматов, „Синтаксис", § 212 [2]), тавтологическое сочетание именительного и творительного повышает упомянутое свойство, преподнося его одновременно как субстанцию [им.] и акциденцию [твор.] или как отождествление [им.] и сравнение [твор.]. Пешковскому (с. 244) не удается, исходя из значения творительного падежа, объяснить тавтологические конструкции в таких противительных предложениях, как: *разговоры* [им.] *разговорами* [твор.], *но пора и за дело.* Между тем как раз в этом продуктивном типе словосочетаний наглядно сказывается общее значение творительного падежа: предмет, который только что был дан в именительном падеже, при помощи творительного оказывается, так сказать, отодвинутым в сторону, и ему отводится лишь периферийное положение в содержании высказывания. В пословице: *дружба* [им.] *дружбой* [твор.], а *служба* [им.] *службой* [твор.] оба предмета оттесняют друг друга на периферию содержания высказывания.

Как мы могли убедиться из вышеупомянутых случаев употребления творительного, этот падеж служит только для указания на периферийное положение и ничего больше не обозначает; среди периферийных падежей он занимает то же место беспризнаковой категории, которое присуще именительному падежу среди полных падежей. Соответственно этому творительный падеж, так же как и именительный, тяготеет к роли чисто „словарной формы". По мере осуществления этой тенденции творительный падеж, в соответствии с периферийностью своего положения, естественно, превращается в наречие. Ср. у Шахматова (с. 478) многочисленные примеры употребления Instrumentalia tantum, утвердившегося в качестве наречия: *опрометью, украдкой, тайком, дыбом, благим матом* и т. д.

Все, кроме периферийного положения в частных случаях употребления творительного падежа, передается посредством лексического значения существительного и контекста, а не посредством падежной формы. Только реальные (лексические) значения предметов в творительном падеже дают нам знать о том, что в стихах Маяковского „*морем букв, числ, плавай рыбой в воде*" „морем" является формой творительного падежа обусловливающего фактора (а именно пути), а „рыбой" — творительным сравнения. Связь этого периферийного падежа с центром

высказывания настолько свободна, что без лексических и формальных значений окружающих слов мы были бы не в состоянии установить, к чему и как относится форма творительного *жандармом* в следующих предложениях: *она знавала его жандармом, он знавал ее жандармом, он налетел жандармом на детвору, он пригрозил жандармом бродяге, он был назначен жандармом, он был убит жандармом*. Характерные примеры приводит и Потебня (506); с одной стороны: *она плетет косу втрое, девкою* [твор.], с другой стороны: *женщина девкою* [твор.] *иначе плетет косы, чем жёнкою* [твор.] или *девкою* [твор.] *красуется косою* [твор.], *а бабою* [твор.] *не светит волосом* [твор.].

Этот вид свободной связи ярко проявляется также и при предложном употреблении творительного падежа. Здесь обнаруживается то соотношение, которое Ельмслев (с. 129) определяет как „relation sans contact" ['отношение без контакта'], то есть творительный с предлогом выражает полное отсутствие какого-либо соприкосновения с предметом *(с, над, под, перед, за, между шарами)*.

Общее значение дательного падежа представляется вполне ясным. Дательный падеж, подобно творительному, указывает на периферийное положение предмета и, подобно винительному, на подверженность предмета действию. Поэтому дательный определяется как падеж непрямого, или косвенного, побочного объекта. По Шахматову, «дательный при глаголе выражает такое зависимое от глагола представление, к которому направлено действие глагола, не охватывая этого представления... и не касаясь его непосредственно» (§ 435).

Пешковский утверждает, что дательный указывает только на адресат, он свидетельствует только о простой направленности действия без соприкосновения с предметом (с. 267 и сл.). Незначительная близость связи объекта в дательном падеже с относящимся к нему действием проявляется при сравнении с объектом в винительном падеже прежде всего в том, что дательный указывает на независимое от действия существование предмета, тогда как винительный ничего не говорит об этом и может равным образом обозначать как внешний, так и внутренний объект. В своей книге, содержащей много интересных для общей грамматики замечаний, Владимир Скаличка пишет: «Нельзя согласиться, например, с тем, что имеется существенная разница между отношением глагола к существительному в таких случаях, как чешск. učiti se něčemu и studovati něco. Уже здесь чувствуется известная бессмыслица в употреблении дательного и винительного падежей. И когда мы безразлично употребляем „učiti se něčemu" или „učiti se něco", то, пожалуй, мы чувствуем разницу только, может быть, в стиле: конструкция с дательным педантичнее, „лучше", чем конструкция с винительным. Известная бессмысленность употребления дательного или винительного падежей здесь налицо» (с. 21). Подобное стирание значений характерно для чешского языка с его близкой к распаду системой падежных противопоставлений, но в русском языке с его стабильной системой падежей соответствующая пара слов *учиться* с дательным падежом и *учить* с вини-

тельным проявляет четкое смысловое различие. Можно сказать: *я учусь французскому языку* [дат.], так как французский язык существует независимо от того, что я его изучаю, но невозможно сказать: *я учусь своему уроку* [дат.], а только: *я учу свой урок* [вин.], так как мой урок вообще не существует вне связи с процессом моего обучения. Точно так же в таком употреблении дательного падежа с предлогом, как *это ведет его к гибели* [дат.] вместо *это вызывает его гибель* [вин.], дополнение в дательном воспринимается как легкая метафора, подобно тому как то же самое слово *гибель* в обороте *его ждет гибель* представляется здесь как нечто несомненное, заранее известное и вследствие этого как нечто наделенное идеальным существованием.

Обычно каждый данный глагол сам предопределяет, должно ли с семантической точки зрения дополнение рассматриваться как прямое или как косвенное, а в случае если глаголом связаны два дополнения, то глагол предписывает, какому из них отводится периферийное место, а какой должен рассматриваться как имеющий непосредственное отношение к действию. В предложении *я преподаю детям* [дат.] *историю* [вин.] „история" выступает как прямое дополнение, „дети" — как адресат. Наоборот, в предложении *я учу детей* [вин.] *истории* [дат.] „дети" рассматриваются как прямой объект моей деятельности, тогда как „история" — только как конечная цель этой деятельности. Иногда прямой и косвенной объекты являются взаимообратимыми, и, таким образом, противопоставление дательного и винительного семантически здесь недвусмысленно: *поэт уподобил девушку* [вин.] *розе* [дат.] и *поэт уподобил розу* [вин.] *девушке* [дат.]; *он предпочитает брата* [вин.] *сестре* [дат.] и *он предпочитает сестру* [вин.] *брату* [дат.]: действие имеет в виду предмет, выражаемый винительным падежом, но затрагивает также и предмет, выраженный дательным падежом, так как действие совершается с учетом этого последнего. В редких случаях глагол, привлекаемый для обозначения одной и той же ситуации, сочетается как с винительным, так и с дательным; к такого рода примерам относятся дублеты: *(по)дарить кого* [вин.] *чем* [твор.] — *(по)дарить кому* [дат.] *что* [вин.]; в первом случае прямым объектом действия является одариваемый, во втором — подарок; тот, кому предназначен подарок, становится при этом простым адресатом, в то время как подарок из орудия превращается в самоцель. Отрывок песни, которую цитирует Греч, удачно иллюстрирует это противопоставление: „*не дари меня ты златом, подари лишь мне себя*" (с. 155). „Золото" здесь обесценивается, а противопоставленный ему подарок выдвигается как полноценный образ.

„*Дательный падеж непосредственно возвратного назначения*" (Нилов, с. 143) характеризуется тем, что собственно агенс воспринимается здесь как адресат происходящего: действие или, точнее, состояние переживается независимо от активности переживающего (ср.: *больному* [дат.] *полегчало — больной почувствовал себя лучше*; *мне* [дат.] *не спится — я не сплю, я не могу спать*; *чего мне* [дат.] *хочется — чего я хочу*), или действие, выраженное инфинитивом, изображается как заранее предопределенное, заранее

предписанное или отвергнутое, а предмет, обозначаемый дательным падежом, соответственно понимается как воспринимающий приказ или запрет или предостережение со стороны судьбы (поговорки: *быть бычку* [дат.] *на веревочке*; из народной сказки: *носить вам* [дат.] *не переносить*; Лермонтов: „*не видать тебе* [дат.] *Тамары, как не видать своих ушей*"); при этом дар судьбы может быть представлен как предмет желаний или опасений говорящего: *вернуться бы ему* [дат.] *здоровым*; *денег бы нам* [дат.] *побольше*; *не попасть бы ему* [дат.] *в западню*.

Так называемый „*dativus ethicus*" прямо относит содержание высказывания к его адресату: дело изображается так, как будто действие этого высказывания затрагивает слушающего — даже как будто именно он имелся в виду, когда происходило действие высказывания: *пришел он тебе* [дат.] *домой — все двери настежь*; *тут вам* [дат.] *такой кавардак начался!*

Как дательный, так и творительный в беспредложном употреблении могут зависеть лишь от такого слова, которое несет в себе значение деятельности; поэтому они могут зависеть от существительного только тогда, 1) когда оно служит именем действия: *ответ критику*, *подарок сыну*, *угроза миру*, *торговля лесом* и пр.; 2) когда оно употребляется в качестве сказуемого и таким образом обязательно приобретает значение выполняемой функции: *русская песня — всем песням* [дат.] *песня*, *я всем вам* [дат.] *отец*, *он нам* [дат.] *не судья*, *он ростом* [твор.] *богатырь*; 3) реже — как приложение, которому в скрытой форме сопричастно значение события (бытия, пребывания, функционирования): *русская песня*, *всем песням* [дат.] *песня* (то есть песня, превосходящая все песни), *неслась над рекой*; *мать двух девиц*, *внучек Михайлу Макаровичу* [дат.] (этот пример из Достоевского приводится Пешковским (с. 290)). (Родство в русском языковом мышлении понимается как своего рода выполнение функции; ср.: *обе приходятся ему* [дат.] *внучками* [твор.]; *охотник*, *ростом* [твор.] *богатырь*, *вышел на медведя*); 4) когда существительное функционирует как одночленное именное предложение, иначе говоря, как сказуемое внеязыковой ситуации: *всем песням* [дат.] *песня*; *кума мне* [дат.]; то же самое полностью передается словами: *эта женщина приходится мне кумой* [твор.]; *богатырь ростом*; „*Чаплин пожарным*". Но в подобных случаях ни дательный, ни творительный не могут зависеть от подлежащего или дополнения. Например, нельзя сказать: *всем песням песня неслась над рекой*, или: *всем песням песня продолжает восхищать нас* (нельзя также сказать: *богатырь ростом пошел на медведя*; *встретил богатыря ростом*), однако мы говорим, например: *песнь песней* [род.] *продолжает восхищать нас*. Название предмета в родительном падеже обозначает здесь то целое (совокупность песен), из которого взята песня.

Значение дательного падежа „более удаленного объекта" выявляется в сочетаниях с предлогом *к*. Ср. такие противопоставления, как *к лесу — в лес*, с тем, что уже было сказано выше о предложном употреблении творительного падежа. Подобно этому, *стрельба по уткам* [дат.] дает меньше оснований говорить о попадании, чем *стрельба в уток* [вин.]. Можно сказать *оплакивать покойника* [вин.] и *оплакивать*

потерю [вин.] или же *плакать по покойнику* [дат.], но ни в коем случае нельзя сказать *плакать по потере* [1]. Сочетания многозначного предлога *по* с дательным падежом содержат различные оттенки значения „побочного" объекта. Характерным является противопоставление объекта в винительном падеже, на который направлено действие, и объекта в дательном падеже, которого действие касается лишь вскользь: *хлопнул его прямо в лоб — хлопнул его дружески по плечу*; *выхожу на поле — иду по полю*. Последнее высказывание противопоставлено, с другой стороны, такому высказыванию, как *иду полем*, где творительный падеж является не объектом действия, а как бы вспомогательным средством, посредником процесса ходьбы, его отдельным этапом на пути к чему-то иному. Ср.: *иду полем в деревню* или *иду полем, потом лесом и лугом*. Нельзя сказать *воздухом* [твор.] *летит птица*, а только *по воздуху* [дат.] *летит птица*, так как вне воздуха птица не летает. *Погорельцы построили новый поселок* [вин.], *каждый по избе* [дат.].— Отношение периферийного объекта к полному объекту предстает здесь как отношение частичного содержания к целому, на котором сосредоточено главное внимание. *Я узнал его по неуклюжей походке*.— Здесь следует различать два объекта моей деятельности: я заметил неуклюжую походку и вследствие этого узнал человека, что и является самым важным. *Я по рассеянности* [дат.] *запер дверь* [вин.].— Здесь моя деятельность также разлагается на два высказывания: я проявил рассеянность и вследствие этого — тут мы подходим к основному ядру высказывания — я запер дверь. Надо сказать, что и действующие лица этих двух моментов могут быть разными: *по его приказанию* [дат.] *я покинул комнату* [вин.]. Вышерассмотренному противопоставлению *учусь французскому языку — учу урок* соответствует различие между *отметка по французскому языку* [дат.]— *отметка за урок* [вин.].

При рассмотрении именительного и винительного мы обнаруживаем, что оба эти падежа максимально противопоставлены друг другу тогда, когда они выступают как субъект и объект переходного действия; при этом наиболее подходящим носителем первой функции оказывается одушевленное существо, а носителем второй функции — неодушевленный предмет. Творительный особенно резко противопоставлен другим падежам в своем орудийном значении. Что касается орудия, то оно существенно отличается от объектов действия, с одной стороны (соответственно творительный падеж орудия — от падежа отношения), и от субъекта действия, с другой (соответственно творительный падеж орудия — от именительного падежа). Остальные разновидности творительного падежа могут быть сравнительно легко заменены другими падежами, например: *медведь убит охотником* [твор.] → *охотник* [им.] *убил медведя*; *соседи шли друг на друга войной* [твор.] → *соседи вели друг с другом войну* [вин.]; *служил солдатом* [твор.] → *служил в солдатах* [местн. мн. ч.]; *летит соколом* [твор.]→ *ле-*

---

[1] Употребление местного падежа после *по* при глаголах скорби и печали, рекомендуемое школьными грамматиками, является ныне весьма архаичным.

тит, как сокол [им.]. Творительный падеж орудия может быть заменен другим падежом только при помощи очень остро ощутимой метонимии, приводящей к утрате действующим лицом его активной роли: *я пишу письмо пером* [твор.]→ *мое перо* [им.] *пишет письмо*. Творительный орудия при переходных глаголах обозначает, как правило, неодушевленный предмет.

Из всех разновидностей употребления дательного падежа дательный адресата при переходных глаголах наиболее четко противопоставлен другим падежам по значению. Его значение, за немногими исключениями, не может быть передано другими падежами (*дать книгу брату, писать письмо другу, говорить дерзости соседу*; ср.: *вернул отца* [вин.] *сыну* [дат.] или *сыну* [дат.] *отца* [вин.] и *отцу* [дат.] *сына* [вин.] или *сына* [вин.] *отцу* [дат.]), тогда как другие разновидности дательного падежа без существенного изменения в смысле могут быть заменены другими падежами (например: *я удивился твоему письму* [дат.]→ *я был удивлен твоим письмом* [твор.]; *предпочитаю розу резеде* [дат.]→ *оказываю предпочтение розе перед резедой* [твор.]; *я радуюсь твоей радости* [дат.]→ *я радуюсь твоей радостью* [твор.] и т. д.). Носителем дательного адресата большей частью выступает одушевленное существо (ср. Дельбрюк, 185; „Atti", 144), а носителем винительного падежа — неодушевленный предмет, особенно когда речь идет о *винительном внутреннего объекта*; именно этот винительный наиболее резко противопоставлен дательному, так как дательный способен обозначать только внешний объект (одушевленное существо в роли винительного внутреннего объекта является редким исключением: *бог создал человека*; *она родила младенца*)[1].

Следовательно, если мы будем рассматривать систему падежных противопоставлений во всей ее наиболее заостренной форме, то обнаружится тенденция к прямо-таки противоположному распределению одушевленности и неодушевленности между отдельными полными падежами, с одной стороны, и периферийными падежами — с другой:

И. одушевленный	В. неодушевленный
Т. неодушевленный	Д. одушевленный.

Характерным проявлением того, как закрепился этот контраст в языковом мышлении, служит система применяемых в школьном анализе „грамматических вопросов": *кто* [И.] *делает*; *что* [В.] *делает*; *чем* [Т.] *делает*; *кому* [Д.] *делает*.

---

[1] Выражение внутреннего объекта составляет главное значение винительного падежа; из параллельного противопоставления именительного творительному выявляется главное значение именительного падежа как центра высказывания. Это значение воплощено в подлежащем предложения; напротив, в роли сказуемого именительный падеж конкурирует с творительным.

VI

В местном падеже, как и в родительном, в отличие от дательного и винительного противопоставление по отношению к действию (Bezugsgegensatz) снимается. Подобно родительному, местный падеж может обозначать предмет, затронутый действием (ср.: *признаюсь в ошибке* [местн.] — *признаю ошибку* [вин.]; *сужу о событиях* [местн.] — *обсуждаю события* [вин.]); равным образом он может обозначать и предмет, о котором не сообщается, затронут он действием или нет (ср.: *площадь Маяковского в Москве* [местн.] — *площадь Маяковского, Москва* [им.]; *чудовище о трех головах* [местн.] — *чудовище с тремя головами* [твор.]).

Я говорю или пишу „луна" и подразумеваю под этим только одинединственный предмет; но если я говорю или пишу *о луне*, то слушатель (или читатель) заранее уведомляется о том, что имеются в виду два различных предмета, а именно луна и сообщение на эту тему, причем в первую очередь внимание уделено непосредственно сообщению и лишь косвенно, в качестве побочной темы высказывания, выступает „луна". То же самое происходит, когда мы слышим или читаем: „на луне" [местн.]: здесь имеются в виду два предмета — „луна" и нечто, находящееся или происходящее на ней, причем именно последнее образует ядро высказывания, тогда как „луна" сама по себе снова занимает периферийное место в содержании высказывания.

Может возникнуть вопрос, не связано ли это различие скорее с противопоставлением предложного и беспредложного употребления падежей, чем с различием самих падежей [1]. Правильно то, что русский предлог обозначает связь двух предметов друг с другом, и именно опосредствованную, по старому определению Греча, «наиболее слабую и отдаленную связь», которая дает возможность явственно различать оба члена. Однако сочетание с предлогом и для местного падежа в отличие от винительного, родительного, дательного и творительного падежей является не одной из синтаксических возможностей, а единственной неотъемлемой возможностью и необходимым условием, подобно тому, чем является беспредложная конструкция для именительного падежа или сочетание с глаголом (фактически выраженное или подразумеваемое) для винительного падежа. Значение сочетания с предлогом выступает при этом не как одно из частных значений местного падежа, а как его общее значение. Кроме того, местный падеж отчетливо выдвигает управляющее слово

---

[1] Местоимения, которые в отличие от других частей речи выражают посредством корневых морфем не лексические, а формальные значения, часто передают посредством различных корневых морфем такие оттенки значения, которые в иных случаях передаются противопоставлением морфологических и синтаксических форм; таковыми являются, с одной стороны, категория одушевленности и неодушевленности (противопоставление корневых морфем *к — ч*: *кто — что*, *кого — чего*), категории лица (*я*, *ты*, *он*) и, с другой стороны, совершенно особое противопоставление принадлежности и непринадлежности к предложному сочетанию, которое у местоимения третьего лица выражается последовательно в различии корневой морфемы *n'* и *j* (*него — его*, *нему — ему*, *нее — ее* и т. д.).

(Regens) в иерархии словесных значений внутри предложения, что не имеет места при предложном употреблении полных падежей (винительного и родительного) (что касается творительного и дательного падежей, то они выражают периферийное положение по отношению к главному элементу независимо от того, употребляются ли они с предлогом или нет). Местный падеж оповещает о своем собственном периферийном положении по отношению к управляющему члену предложения, выраженному или подразумеваемому. Содержание управляющего слова, специфицированное управляемым словом в местном падеже, проявляет по сравнению с последним „б о л ь ш у ю с т е п е н ь о б ъ е к т и в а ц и и". Предмет в местном падеже не выступает в высказывании в своем полном объеме. Таким образом, подобно родительному падежу, местный падеж является п а д е ж о м о б ъ е м а (Umfangskasus). Правда, он отличается от родительного тем, что в качестве п е р и ф е р и й н о г о п а д е ж а выдвигает н а б о л е е п е р е д н и й п л а н значение у п р а в л я ю щ е г о с л о в а: *рассказы о войне* [местн.]; *рассказывают о войне*: здесь пределы рассказов обозначены, война же представлена в этом высказывании лишь частично (партитивно). *Остров на реке*: „остров" полностью входит в высказывание, тогда как „река" дана не в полном объеме. *Подушка лежит на диване*: здесь в содержании высказывания участвует вся „подушка"; что касается „дивана", то в содержании высказывания участвует лишь поверхность дивана, то есть диван участвует лишь частично. *Грешник раскаялся в своей жизни* [местн.]: жизнь грешника исчерпывает содержание раскаяния, но раскаяние не исчерпывает жизни.

Предлог *при* с местным падежом обозначает временное ограничение (*при Петре*, то есть во времена Петра), зону принадлежности, влияния или восприятия органами чувств, в н у т р и к о т о р о й нечто происходит: *служил при дворе*, *он при фабрике*, *при городе слобода*, *сказал при жене*.

„*Местный падеж исчисляющего признака*" с предлогом *о* (ср. Н и л о в, с. 193, 195) содержит количественное ограничение предмета, который обозначен местным падежом; совокупность исчисляемых признаков характерна для управляющего слова и исчерпывающим образом охватывает его сущность: *стол о трех ножках*, *рука о шести пальцах*, но *стол с тремя трещинами*, *дом с двумя трубами* [твор.].

Таким образом, местный является признаковым падежом — по отношению к именительному, творительному, винительному и дательному падежам — как содержащий признак объема, а по отношению к именительному, винительному и родительному — как содержащий признак периферийности. Это, можно сказать, антипод абсолютно беспризнакового именительного: п а д е ж и, в с е г д а у п о т р е б л я е м ы е с п р е д л о г о м, и п а д е ж и, в с е г д а у п о т р е б л я е м ы е б е з п р е д л о г а, являются д и а м е т р а л ь н о п р о т и в о п о л о ж н ы м и. Следует заметить, что в русской грамматической традиции (уже Мелетий Смотрицкий в XVII в.) парадигмы склонения, естественно, начинавшиеся с именительного

падежа, заканчивались местным падежом. Обычное противопоставление именительного, винительного, родительного (наши полные падежи) остальным падежам (наши периферийные падежи), несмотря на несостоятельные обоснования такого деления, в основном было правильным (ср. W u n d t, II, S. 64, 72 f.).

VII

В склонении некоторых существительных, обозначающих неодушевленные предметы, родительный и местный падежи расщепляются каждый на два различных падежа, а именно: часть существительных мужского рода единственного числа с нулевым окончанием в именительном падеже различает д в а р о д и т е л ь н ы х — родительный I, оканчивающийся ударным или безударным *-а*, родительный II, оканчивающийся ударным или безударным *-у*; ряд частично тех же самых, частично других существительных того же склонения различает д в а т и п а м е с т н о г о п а д е ж а — местный I, который оканчивается на *-е* или на чередующийся с ним безударный альтернант, и местный II, оканчивающийся всегда на ударное *-у*. Часть существительных женского рода единственного числа с нулевым окончанием в именительном падеже также различает местный I, оканчивающийся на безударное *-и*, и местный II, оканчивающийся на ударное *-и*.

Не раз пытались определить функции указанных двух разновидностей родительного и местного, но большинство этих попыток охватывали в большинстве случаев только часть сферы их значений. Так, Богородицкий (с. 115) противопоставляет родительному особый „исходный" падеж (например, *из лесу*), а в области так называемого „предложного" падежа он различает „местный" *(на дому)* и „изъяснительный" *(о доме)*; все же остается неясным, почему исчезает „исходный" падеж в сочетании *из темного леса* или же где оттенок „исхода" в таких высказываниях, как *чашка чаю* и *прошу чаю*, и почему в сочетаниях *при доме*, *в вашем доме* вместо „местного" падежа появляется „изъяснительный". Дурново также не проводит четкой границы между обеими разновидностями родительного и местного, отмечая, что форма родительного на *-у* чаще всего встречается после слов, обозначающих количество. Он отличает также от предложного местный *(на возу, на мели)*, который «после *в* и *на* употребляется в чисто пространственном или временнóм значениях» (с. 247 и сл.).

Более пристальное внимание вопросу двоякого родительного падежа у „вещественных имен существительных" уделяет Томсон: «Если масса предстает пространственно ограниченной и обладает определенной формой, то мы все же рассматриваем эти признаки как случайные, так как они с субъективной точки зрения несущественны... У многих вещественных существительных мужского рода в родительном падеже употребляется окончание *-у* вместо *-а*, когда эти существительные обозначают понятие вещества в чистом виде» [XXVIII,

с. 108 и сл.]. В этой связи исследователь рассматривает такие сочетания, как *купи сыру* [род. II] вместо *сыра* [род. I], *бутылка меду* [род. II] вместо *приготовление меда* [род. I], *он купил лесу* [род. II] — *граница леса* [род. I]. Шахматов наиболее точно определяет пределы употребления рассматриваемых форм („Очерк", с. 100 и сл., 122 и сл.). Он устанавливает, что родительные падежи на *-у* могут быть образованы от слов с вещественным и собирательным значением, не подлежащих счету, а также с отвлеченным значением и что «индивидуализация или конкретизация вещественных понятий» влечет за собою появление окончания *-а*; исследователь приводит списки слов, которые в местном падеже после предлогов *в* и *на* получают ударное окончание *-у* или *-и*, которого, впрочем, часто избегают, если имя сопровождается определением, посредством которого индивидуализируется его значение. То же самое имеет место и в случае родительного падежа абстрактных существительных [1].

Итак, каково же общее значение явно параллельных противопоставлений род. I — род. II и местн. I — местн. II? Существительные, обладающие род. II или местн. II, обязательно должны иметь также род. I и местн. I. Родительный II и местный II по отношению к родительному I и местному I являются признаковыми категориями. В противоположность беспризнаковым родительному I и местному I они свидетельствуют о том, что обозначаемый ими предмет выступает в содержании высказывания не как определенная форма, а как нечто оформляющееся (Gestaltendes) или оформляемое (zu Gestaltendes). В соответствии с этим родительный II и местный II можно назвать *падежами оформления* (Gestaltungskasus), а соотношение, связывающее их с родительным I и местным I,— корреляцией оформления.

Объекты, представляющие собой массу, вещество, или принципиально родственные таковым абстрактные объекты, определенная (*ложка перцу, фунт гороху, много смеху*), неопределенная (*чаю, смеху было*) или нулевая (*нет чаю, без перцу, без смеху*) доза которых участвует в содержании высказывания, положительным или отрицательным образом оформляются лишь в силу ограничительной функции высказывания.

В тех случаях, когда объект, представляющий собой массу или абстрактное понятие, фигурирует не как материал, а как некая вещественная единица, определяемая, оцениваемая и воспринимаемая эмоционально именно в таком качестве, исчезают основания для употребления родительного II, который по своей сути отвлекается от вещественности обозначаемого. На этом различии базируются такие противопоставления, как: *рюмка коньяку* [род. II], *сколько коньяку, напился коньяку, не осталось коньяку, без коньяку* — *запах коньяка*,

---

[1] Этот вопрос затрагивает также Унбегаун в только что вышедшем содержательном труде по истории русского склонения; он придерживается в основном выводов Шахматова и объясняет тенденцией к „адвербиализации" те примеры употребления родительного II и местного II, в которых Шахматов усматривал в семантическом аспекте отсутствие индивидуализирующего значения (с. 123).

[род. I], *качество коньяка, крепче коньяка, разговор коснулся коньяка, опасаюсь коньяка, не люблю коньяка, от коньяка.* Правда, на границе обеих падежных форм встречаются случаи колебания в ту или другую сторону, но чаще и эти пограничные вариации семасиологизируются, например: *не пил коньяка* [род. I] (то есть не любил, не признавал этого напитка) — *не пил коньяку* [род. II] (то есть простая констатация, без какой-либо оценки предмета); *количество коньяка* [род. I]: „количество“ приобретает здесь семантический оттенок свойства, приписываемого предмету, тогда как *количество коньяку* [род. II] обозначает лишь массу, простую дозировку.

Когда высказывание превращает объект, выражающий массу или абстрактное понятие, в один из однородных и при этом исчисляемых предметов, то существительное перестает быть Singularia tantum, противопоставление единственности — множественности вступает в свои права *(различные чаи, всяческие запахи)* и родительный II теряет свои права: *нет чаю* [род. II], но: *в продаже нет ни китайского, ни цейлонского чая* [род. I]; *цветы без запаху* [род. II], но: *в букете не было цветов без сладкого или горького запаха* [род. I]. В нашу задачу не входит описание отдельных случаев употребления этих падежей, и мы ограничимся только установлением общих тенденций.

Предмет в роли вместилища, резервуара, местонахождения или меры обрамляет и оформляет этим своим качеством содержание высказывания. В употреблении с предлогами родительный II и местный II свидетельствуют о том, что эта функция резервуара или меры является основным или даже единственным принимаемым в соображение свойством предмета. Местный II не сочетается с предлогами *о* и *при (говорить о береге* [местн. I], *о крови, избушка при лесе)*, и соответственно этому не сочетается с предлогами *у, возле* и др. родительный II *(у леса* [род. I], *возле дома)*, так как эти предлоги не служат для обозначения оформляющей функции предмета. Напротив, местный II может сочетаться с предлогами *в* и *на (в лесу, в крови, на берегу, на возу)*, а родительный II — с предлогами *из, с* и др. в той мере, в какой эти предлоги связаны с отношением оформления (резервуара, меры). Родительный II в значении вместилища, резервуара, местонахождения, меры представляет собой непродуктивное грамматическое образование, и его употребление ограничивается некоторыми застывшими словосочетаниями, как, например: *из лесу, из дому, с полу, с возу*, особенно в обозначениях меры: *с часу, без году*; в противоположность этому местный II в соответствующем значении — ходовая форма.

В случае когда местный падеж с предлогом *в* не обозначает вместилища какой-либо вещи, а имеет в виду только вещь, наделенную известными свойствами, то употребление местного II, естественно, неуместно. Ср.: *сколько красоты в лесу* [мест. II] — *сколько красоты в лесе* [местн. I]; *меня раздражает мошкара в степи́* [местн. II] — *в сте́пи* [местн. I] *меня раздражает однообразие*; *но и в тени́* [местн. II] *путник не нашел спасения* (здесь „тень“ служит местонахождением путника) — *но и в те́ни* [местн. I] *путник не нашел спасения* (тень

не дала ему облегчения); *и в грязй* [местн. II] *можно найти алмаз* (грязь таит в себе алмаз), но *и в грязи* [местн. I] *можно найти своеобразную прелесть* (то есть своеобразная прелесть может быть свойством грязи).

Если содержимое рассматривается как акциденция содержащего и как раз последнее принимается во внимание, то местный II недопустим. Ср.: *на пруду́* [местн. II] *бабы белье полощут, на пруду́ лодки — сад запущен, на пру́де* [местн. I] *ряска; она появилась в шелку́* [местн. II] — *в шёлке* [местн. I] *появилась моль, в шёлке* [местн. I] *есть бумажные волокна; лепешки испечены на меду́* [местн. II] — *на ме́де* [местн. I] *показалась плесень.*

Если вид обрамления, который приписан контекстом данному предмету, для последнего необычен, так что значение локализирующего термина едва ли сводится к роли простого вместилища или местонахождения, и мы ощущаем некоторую самостоятельную значимость этого термина, то местный II не употребляется. Ср.: *в лесу́* [местн. II] *лежит туман — на ле́се* [местн. I] *лежит туман; в гробу́* [местн. II] *мертвец — на гро́бе* [местн. I] *венок; в чану́* [местн. II] — *на ча́не* [местн. I]; *в грязи́* [местн. II] — *на гря́зи* [местн. I] *тонкий слой снегу; сидит ворон на дубу́* [местн. II] — *отверстие в ду́бе* [местн. I]; *на валу́* [местн. II] *нашли остатки укреплений — в ва́ле* [местн. I] *нашли остатки укреплений.*

Для многих существительных достаточно появиться определению, чтобы соответствующий предмет перестал восприниматься в роли резервуара. В этих случаях вместо местного II выступает местный I (соответственно вместо родительного II — родительный I). *В гробу́* [М. II], но *в деревянном гро́бе* [М. I], *в разукрашенном гро́бе; в песку́* [М. II] — *в золотом песке́* [М. I]; *на возу́* [М. II] — *на чудовищном во́зе* [М. I]; *руки в крови́* [М. II] — *руки в человеческой кро́ви* [М. I]; *свиньи купаются в грязи́* [М. II] — *больной купается в целебной гря́зи* [М. I]; *из лесу* [Р. II] — *из темного ле́са* [Р. I].

Чем необычней определение, тем оно больше выделяет предмет и тем скорее местный II уступает свое место местному I. Ср.: *в родном краю́* [М. II] — *в экзотическом кра́е* [М. I].

VIII

Следующая таблица суммирует о б щ у ю с и с т е м у р у с с к и х п а д е ж н ы х п р о т и в о п о с т а в л е н и й как целое; причем внутри каждого противопоставления признаковый падеж занимает место либо справа, либо снизу:

$$\begin{matrix} (\text{И.} & \sim & \text{В.}) & \sim & (\text{Р. I} & \sim & \text{Р. II}) \\ \wr & & \wr & & \wr & & \wr \\ (\text{Т.} & \sim & \text{Д.}) & \sim & (\text{М. I} & \sim & \text{М. II}) \end{matrix}$$

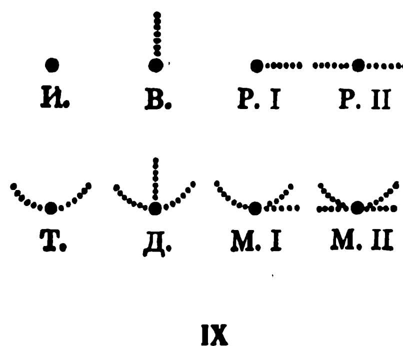
Для всех этих противопоставлений характерным является то, что признак всегда о т р и ц а т е л е н: признаковая (маркированная) категория иерархически снижает ранг предмета, тем или иным спо-

собом ограничивает полноту его развертывания. Так, падежи отношения (винительный и дательный) указывают на несамостоятельность предмета, падежи объема (родительные и местные) — на ограничение его объема, периферийные падежи (творительный, дательный и местные) — на его периферийное положение, а падежи оформления (Gestaltungskasus) (родительный II и местный II) — на то, что его функция ограничивается ролью содержания или содержимого (Enthaltensein). Чем больше корреляционных признаков заключено в падеже, тем многообразнее ограничение и снижение, которому подвергается значимость обозначаемого предмета в данном высказывании, и тем большую сложность приобретает его остальное содержание.

Итак, попытаемся схематически представить падежную систему русского языка. Как уже было отмечено выше, винительный падеж означает вертикальное положение, тогда как именительный не обозначает ничего, кроме одной-единственной точки (а именно: точки проекции предмета на плоскости высказывания). Подобная связь наблюдается также между дательным и творительным, но оба эти падежа отличаются от первой пары тем, что передают периферийное положение соответствующего предмета по отношению к содержанию высказывания. Это периферийное положение может быть изображено схематически как положение точки на сегменте; при этом для творительного падежа ничего не говорится о положении этой сегментной точки по отношению к предполагаемому центру (выше, ниже, на одинаковом уровне). Родительный предполагает наличие двух точек: с одной стороны, это точка проекции того предмета, о котором идет речь, на плоскость высказывания, с другой — граница предмета, остающаяся вне содержания высказывания. В противоположность обеим точкам, которые передаются винительным падежом, между точками, выражаемыми родительным, нет отношения подчинения друг другу. Следовательно, схематически мы можем изобразить родительный как исходную точку горизонтального отрезка. Схема местного падежа отличается только тем, что точка нанесена на сегмент таким образом, чтобы подчеркнуть периферийное положение предмета. Родительный II и местный II отличаются от родительного I и местного I тем, что ими обозначается не предмет как таковой, а только его соприкосновение с содержанием высказывания. Отношение между предметом и контекстом характеризуется только ограничением одного из них со стороны другого. Под углом зрения обозначаемого предмета точка касания — это лишь одна из его точек, и мы изображаем ее как точку на горизонтальном отрезке прямой, а не как объективно существующую конечную точку отрезка, как это имело место в случае родительного I и местного I. Какой из этих двух компонентов высказывания (предмет или контекст) является оформляющим фактором, а какой подвергается оформлению, родительный II не указывает; в случае употребления местного II оформляющая роль обязательно принадлежит обозначаемому этим падежом предмету, так как ключ

к пониманию (Innensein) содержания высказывания дается здесь благодаря периферийному положению точки касания.

Общая схема падежной системы



IX

Ни одно из склоняемых слов не реализует посредством своих падежных окончаний всю систему падежных противопоставлений русского языка. Характерными являются многообразные проявления *падежного синкретизма* (см. Д у р н о в о, с. 247 и сл.). Определенная *асимметрия*, которую, вообще говоря, можно рассматривать как фундаментальный фактор системы языка (ср. К а р ц е в с к и й.— В TCLP), присуща с и с т е м е р у с с к и х п а д е ж е й в ц е л о м: признаковый ряд объемной корреляции расчленяется на ином основании, чем беспризнаковый ряд: в первом случае действует корреляция оформления, во втором — корреляция отношения к действию. Противопоставление по оформлению большей частью упраздняется (или если рассматривать это исторически, то оказывается, что только в незначительной части существительных имеет место расщепление родительного и, соответственно, местного падежей на два падежа). Тем не менее асимметрия сохраняется, так как в падежах объема (родительный, местный) снимается противопоставление по отношению к действию, так что, например, родительный в равной мере может соответствовать как именительному, так и винительному падежу (*есть книга* — *нет книги*; *вижу книгу* — *не вижу книги*). Эта асимметрия в структуре системы дополняется а с и м м е т р и ч н ы м с т р о е н и е м о т д е л ь н ы х п а р а д и г м и распространяется на все склонение (сходную картину представляет собой русское спряжение). Это достигается — я рассматриваю вопрос в синхронном разрезе — посредством разнообразных форм падежного синкретизма.

Если в какой-либо парадигме наличествуют противопоставления по оформлению или хотя бы одно из них (Р. I — Р. II или М. I — М. II), то одно из противопоставлений по отношению к действию, а именно противопоставление именительного и винительного падежей, снимается.

<table>
<tr><td colspan="2">снег</td><td>снега</td><td>снéгу</td></tr>
<tr><td>снегом</td><td>снéгу</td><td>снеге</td><td>снегý</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">смех</td><td>смеха</td><td>смеху</td></tr>
<tr><td>смехом</td><td>смеху</td><td colspan="2">смехе</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">рай</td><td colspan="2">рая</td></tr>
<tr><td>раем</td><td>рáю</td><td>рае</td><td>раю́</td></tr>
</table>

Если именительный падеж отличается от винительного, то снимается либо различие винительного — родительного, либо соответствующее ему различие дательного — местного.

<table>
<tr><td>сын</td><td colspan="2">сына</td></tr>
<tr><td>сыном</td><td>сыну</td><td>сыне</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>жена</td><td>жену</td><td>жены</td></tr>
<tr><td>женою</td><td colspan="2">жене</td></tr>
</table>

Если одновременно сняты оба различия, то содержащие признак члены противопоставлений по отношению к действию и по объему сливаются, и в этом случае (единственный случай в русском литературном языке) асимметрия системы до некоторой степени преодолевается[1].

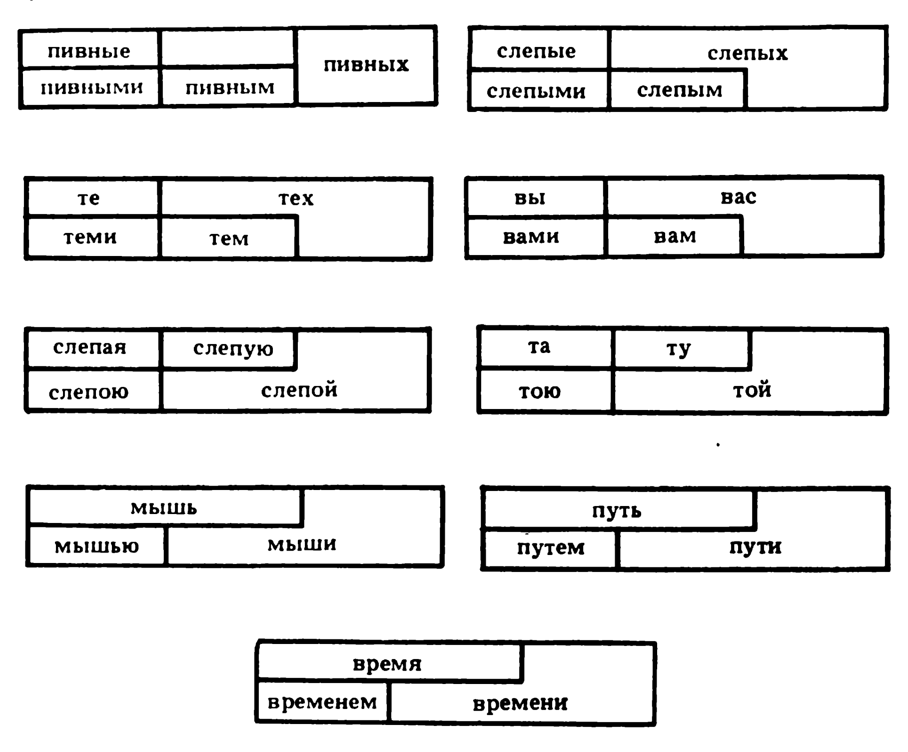
ты	тебя
тобою	тебе

Если в одну синкретическую форму сливаются падежи объема (родительный и местный), то по меньшей мере один из двух рядов позиционной корреляции (т. е. либо ряд полных, либо ряд периферийных падежей) оказывается сведенным лишь к одной-единственной

[1] В северных великорусских говорах встречается еще одна разновидность частичного выравнивания асимметрии: корреляция отношения к действию снимается в парадигме множественного числа.

руки	рук
рукам	руках

падежной форме. Асимметрия сохраняется даже и тогда, когда этот процесс происходит в обоих рядах [1].



Противопоставлениями, которые в русском склонении не могут быть устранены, являются противопоставления именительного — родительному, именительного — творительному, винительного — дательному. Слияние признаковых членов всех трех противопоставлений имеет место в народном склонении прилагательных и в склонении большинства местоимений женского рода, так как в народном языке

---

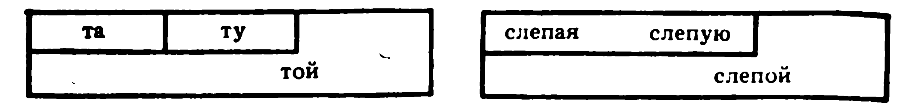
[1] В упомянутых северных великорусских говорах в соответствующих случаях достигается симметричное решение: каждый падеж выражает лишь один корреляционный признак:

Полный падеж	большие	больших	Объемный падеж
Периферийный падеж	большим		

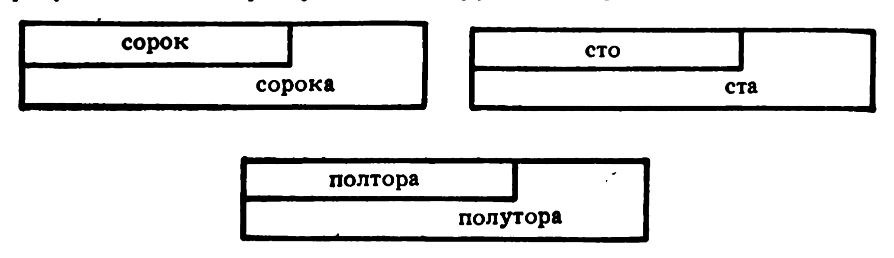
Подобным же образом распределялись падежные формы древнерусского двойственного числа:

И.-В.	друга	другу	Р. — М.
Т.-Д.	другома		

окончание творительного падежа *-ою* полностью вытеснено окончанием *-ой*. Все периферийные падежи здесь совпали, а корреляция по положению и корреляция по объему сливаются друг с другом [1].



Слияние признаковых членов, с одной стороны, и беспризнаковых членов всех трех упомянутых противопоставлений — с другой, образует наиболее простую из всех русских парадигм.



[1] В сербском языке все периферийные падежи во множественном числе имеют одну общую форму, в то время как все различия между полными падежами сохраняются:

удари	ударе	удара
ударима		

В чешском языке, напротив, существуют парадигмы множественного числа, упраздняющие все различия между полными падежами, но сохраняющие все различия между периферийными падежами:

znamení		
znameními	znamením	znameních

Эта особенность чешской парадигмы находит, между прочим, аналогию в гиляцком [совр. назв.— нивхский] языке, где она свойственна всей падежной системе:

1. təf (дом)		
2. təfkir	3. təftox	4. təvux

(1) „Абсолютный падеж", соответствующий в русском языке именительному, винительному и беспредложному родительному; (2) творительный падеж; (3) „аддитивный падеж", который в общем соответствует в русском языке дательному падежу; (4) „локативно-элативный падеж", соответствующий в русском языке местному и родительному с предлогом. Во множественном числе наблюдается то же соотношение, однако здесь существует тенденция вместо падежей периферийных употреблять абсолютный падеж (см. „Языки и письменности народов Севера", III, с. 197). Обратное соотношение между склонениями в обоих числах наблюдается в чешской парадигме (paní); во множественном числе имеет место описанное выше распределение, тогда как в единственном числе падежные различия полностью исчезают.

О более резкой противопоставленности именительного (и винительного, в той мере, в какой он совпадает с именительным) периферийным и объемным падежам свидетельствуют, кроме приведенных парадигм, следующие явления:

1) Дефективные местоимения, а именно: изолированные формы именительного падежа „некто", „нечто", а также отрицательные формы, не имеющие именительного падежа, „некого" [род.], „нечего" [род.], „некому" [дат.], „нечему" [дат.] и т. д. и возвратное „себя" [род.— вин.], „себе" [дат.], „собою" [твор.], которые выражают тождество несамостоятельного предмета с главным предметом и поэтому не могут иметь именительного падежа.

2) Супплетивные местоимения, именительный падеж которых имеет иную корневую морфему, чем все другие падежи: „я" [им.] — „меня" [род.— вин.], „мы" [им.] — „нас" [род.— вин.], „он" [им.] — „его" [род.— вин.] и т. д.

3) Существительные, у которых основа именительного падежа отличается от основы остальных падежных форм отсутствием „связующей морфемы" (см. Трубецкой, 14): *время* [им.— вин.] — *времени* [род.— дат.— местн.] и т. д.

4) Существительные, у которых ударение в именительном падеже всегда падает на корень, а в остальных падежах — на окончание: *гвóзди* [им.— вин.] — *гвоздéй* [род.], *гвоздя́м* [дат.] и т. д.

В данном исследовании я намеренно держался в границах чисто синхронного описания, хотя проблемы эволюции русской падежной системы напрашиваются сами собой: язык в результате грамматических аналогий допускает совпадение отдельных падежных форм и не оказывает никакого сопротивления омонимии падежных форм, возникающей под воздействием различных движущих сил; или, напротив, язык эффективно использует аналогию в целях сохранения старых противопоставлений или создания новых. Наиболее полно основные тенденции развития морфологии русского языка могут быть освещены путем последовательного сравнения нескольких родственных систем в их движении, конвергенциях и дивергенциях.

Если от языковой синхронии мы захотим перейти к сравнительно-историческому учению о падежах, или попытаемся включить намеченную нами схему современной падежной системы русского языка и схему глагольного строя в современное исследование всей совокупности частей речи русского языка и их взаимоотношений, или, наконец, предпримем поиски принципов типологии падежных систем, которые, несмотря на свою множественность, все же обнаруживают столь разительные соответствия в своих структурных законах,— то вся эта работа, для того чтобы быть плодотворной, потребует тщательного учета различных планов языковой системы, и в особенности различения таких двух уровней, как слово и словосочетание. Неоспоримой и прочной заслугой Брёндаля было его настойчивое обоснование этого существенного различия. Вульгарное представление, будто самостоятельное значение

может принадлежать лишь единицам, способным к самостоятельному употреблению, и в частности будто большинство падежей, будучи абстрагированы от своего словесного окружения, являются не более чем „мертвой материей",— это представление, упрощая дело, сводит на нет и искажает многие морфологические проблемы. В этой работе была сделана попытка освободить некоторые вопросы учения о падеже от этой ведущей к заблуждению предпосылки. Проблеме значения, в настоящее время законно вошедшей даже в учение о звуках (фонологию), должно быть отведено надлежащее место и в науке о словесных формах.

ЛИТЕРАТУРА

„Atti del III Congresso internazionale dei linguisti", 1935 (M. Deutschbein. „Bedeutung der Kasus im Indogermanischen", S. 141 ff., Diskussion, S. 145 f.).
Богородицкий В. Общий курс русской грамматики, 1935 (изд. 5-е).
Braun M. Das Kollektivum und das Plurale tantum im Russischen, 1930.
Brøndal V. Morfologi og Syntax, 1932.
Brøndal V. Structure et variabilité des systèmes morphologiques.— „Scientia", 1935, p. 109 ff.
Bühler K. Sprachtheorie, 1934.
Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики русского языка, II: Синтаксис, 1858.
Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, I, 1893.
Durnovo N. De la déclinaison en grand-russe littéraire moderne.— RES, II, p. 235 ff.
Funke O. Innere Sprachform, 1924.
Греч Н. Чтения о русском языке, II, 1840.
Hærtel E. Untersuchungen über Kasusanwendungen in der Sprache Turgenevs.— AfslPh., XXXIV, S. 61 ff.
Hjelmslev L. La catégorie des cas, I, 1935.
Husserl E. Logische Untersuchungen, II, 1913 (изд. 2-е).
„Charisteria G. Mathesio quinquagenario...", 1932. (Jakobson R. Zur Struktur des russischen Verbums, S. 74 ff.).
Кацнельсон С. К генезису номинативного предложения, 1936.
Karcevskij S. Système du verbe russe, 1927.
Karcevskij S. Du dualisme asymétrique du signe linguistique.— TCLP, I, p. 88 ff.
Marty A. Zur Sprachphilosophie. Die «logische», «lokalistische» und andere Kasustheorien, 1910.
Miklosich F. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, IV, 1883.
Нилов И. Русский падеж, 1930.
Pedersen H. Neues und nachträgliches.— KZ, XL, S. 129 ff.
Пешковский А. Русский синтаксис в научном освещении, 1934, (изд. 4-е).
Поливанов Е. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком, 1934.
Pongs H. Das Bild in der Dichtung, 1927.
Потебня А. Из записок по русской грамматике, I—II, 1888 (изд. 2-е).
Puchmayer A. Lehrgebäude der Russischen Sprache, 1820.
Skalička V. Zur ungarischen Grammatik, 1935.
Smotrickij M. Grammatiki slavenskija pravilnoe sintagma, 1618.
Шахматов А. Очерк современного русского литературного языка, 1925.
Шахматов А. Синтаксис русского языка, I, 1925.

Thomson A. Beiträge zur Kasuslehre.— IF, XXIV, S. 293 ff.; XXVIII, S. 107 ff.; XXIX, S. 249 ff.; XXX, S. 65 ff.
Trávníček F. Studie o českém vidu slovesném, 1923.
Trávníček F. Neslovesné věty v češtině, II: Věty nominální, 1931.
Trubetzkoy N. Das morphologische System der russischen Sprache (=TCLP, V, N 2).
Uhlenbek C. Zur Kasuslehre.— CZ, XXXIX, S. 600 ff.
Unbegaun B. La langue russe au XVIe siècle, I: La flexion des noms, 1935.
Wüllner F. Die Bedeutung der sprachlichen Kasus und Modi, 1827.
Wundt W. Völkerpsychologie, II: Die Sprache, 1922 (изд. 4-е).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД СЛАВЯНСКИМ СКЛОНЕНИЕМ

(СОСТАВ РУССКИХ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ)

*I. ДОКЛАД НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ (МОСКВА, 1958)**

1.

Настоящий доклад посвящен светлой памяти обоих моих московских учителей в области русского языкознания — Николая Николаевича Дурново, впервые широко поставившего вопрос о падежном синкретизме в русском склонении [1], и Дмитрия Николаевича Ушакова. Это он в начале своего курса по исторической морфологии предлагал слушателям определить происхождение яркой диалектной формы *трюф лошадёф*, присовокупляя, что, по существу, история склонения — это сплошной пример грамматической аналогии: вся наша задача в том и состоит, чтобы вскрыть ее действие и дать ему надлежащее объяснение.

Теперь общеизвестно, что интерпретация изменений языка предварительно требует точного описания его строя в каждый данный момент развития. «Le linguiste qui veut comprendre cet état doit-il faire table rase de tout ce qui l'a produit et ignorer la diachronie», согласно заостренной формулировке Ф. де Соссюра: «L'intervention de l'histoire ne peut que fausser son jugement» [2]. Именно для того, чтобы уяснить себе исторический процесс и усвоить правила игры аналогий, мы сперва должны временно закрыть глаза на прошлое.

Под этим углом зрения здесь будет в дискуссионном порядке подвергнута анализу система склонения в современном русском литературном языке.

В дальнейшем мы пользуемся следующими сокращениями:

И(менительный падеж), Р(одительный падеж), Д(ательный падеж), В(инительный падеж), Т(ворительный падеж), П(редложный падеж); ед(инственное) ч(исло), мн(ожественное) ч(исло); м(ужской) р(од), ж(енский) р(од), с(редний) р(од), од(ушевленный предмет), неод(ушевленный предмет).

---

* Доклад напечатан на русском языке в: «Roman Jakobson. Selected Writings», II, The Hague—Paris: Mouton, 1971, p. 154—183.— *Прим. ред.*

[1] N. Durnovo. De la déclinaison en grand-russe littéraire moderne.— „Revue des Études Slaves", II (1922).

[2] F. de Saussure. Cours de linguistique générale, 2e éd. Paris, 1922. Ср. „Курс общей лингвистики", перевод А. М. Сухотина. Москва, 1933.

2.

1. Традиционные обзоры склонения сводятся к следующим типам описей: 1) перечень наличных падежей; 2) перечень комбинаторных значений, свойственных каждому данному падежу в различных контекстах, в которых он встречается;3) перечень падежных форм, сгруппированных в парадигмы: каждая парадигма указывает, что с данной совокупностью падежных окончаний вступает в комбинацию определенный ряд грамматических основ. Дополнительно к этому перечню некоторые обозреватели (напр. Trager) перечисляют все окончания, которыми располагает в русской системе склонения каждый отдельный падеж [3]. Все названные виды регистрации дают необходимый подготовительный материал для грамматического анализа.

2. Одним из основополагающих понятий в развитии современного языкознания была проблема инвариантности, впервые осознанная в казанской школе на исходе семидесятых годов, одновременно и параллельно с успехами той же идеи в мировой математике. Если в лингвистике первый этап этих новых исканий дал начало учению о фонеме, т. е. об инварианте в плоскости звуковых вариаций, то теперь назрела настоятельная необходимость установить и истолковать инварианты грамматические. Издавна справедливо разграничивая две грамматические области — синтаксис и морфологию — и, сверх того, принципиально отмежевывая грамматику от лексики, языкознание все еще не поставило с надлежащей остротой и последовательностью топологический вопрос о тех свойствах каждой данной морфологической категории, которые остаются неизменными при всех наличных вариациях, или, точнее, вопрос об инвариантном отношении между двумя противоположными морфологическими категориями, не зависящем от их появления в той или иной лексической и синтаксической обстановке.

3. Каждый падеж в своем многообразном применении обнаруживает ряд более или менее разнородных значений. Различия между всеми этими частными, комбинаторными значениями определяются либо грамматическим, либо лексическим составом словосочетания. Ср., с одной стороны, семантические различия между Р. приглагольным и приименным или между Т. в активных и пассивных конструкциях, с другой же стороны — те варианты в падежном значении, которые обусловлены лексическим значением главного или управляемого слова. Исключительно с семантическим типом управляющего глагола связано различие между т. н. Р. удаления, цели, границы и т. д. (*беречься новшеств* — *желать новшеств*, *избежать берега* — *коснуться берега*); характер управляющего и управляемого существительного разнообразит комбинаторные значения присубстантивного Р.— ср. Р. субъекта: *любовь героя* и *желание героя*; Р. объекта: *убийство героя* и *желание славы*. В некоторых сочетаниях значение присубстантивного Р. остается двусмысленным, напр. *поиски сестры*, где выбор

---

[3] G. L. Trager. Russian Declensional Morphemes.— „Language", XXIX (1953).

между Р. субъекта и объекта не может быть сделан слушателем без помощи более емкого словесного контекста или фактической ситуации.

Каково бы ни было разнообразие семантических вариаций, зависящих от чисто синтаксических и лексических условий, все же единство падежа остается реальным и ненарушимым. Характерно, что грамматический параллелизм в русской народной поэзии нередко сопоставляет две формы одного и того же падежа, различающиеся и по своему окончанию, и по комбинаторному значению, так что единственным связующим элементом является общность падежной категории. Таково же сопоставление двух Т., различных и по внешней форме, и по своей функции, в „Слове о полку Игореве“: «растѣкашется мыслію [Т. орудия] по древу, сѣрымъ вълкомъ [Т. уподобления] по земли».

В каждом падеже все его частные, комбинаторные значения могут быть приведены к общему знаменателю. В отношении к прочим падежам той же системы склонения каждый падеж характеризуется своим инвариантным общим значением, собственной „значимостью“, согласно удачной передаче соссюровского термина valeur в переводе А. М. Сухотина (см. выше, прим. 2).

При всем богатстве комбинаторных вариантов в семантике русского Р. морфологический инвариант легко поддается извлечению: Р. сохраняет в любой вариации свое общее значение, отличающее его от И. и В. падежей. В Р. постоянно налицо установка на пределы участия означенного предмета в содержании высказывания. Р. всегда сигнализует степень объективирования предмета в данном контексте, и только контекст подскажет, уточнит, каковы же, собственно, эти пределы. Наличие может быть измерено (*сколько, столько-то новостей*), повышено (*новостей!* или *наслушались новостей*), ограничено (*послушали, коснулись новостей*), сведено к потенциальному состоянию (*ждали, хотели, искали новостей*) или к нулю (*не слыхали новостей, не было новостей*); наконец, оно может быть отклонено, отвергнуто (*избегали, пугались новостей*). Присубстантивный Р. оповещает, что трактуется не весь или не самый предмет, а лишь его часть, свойство, действие, состояние или смежные предметы (*обрывки, занимательность, влияние, возникновение, передача, источник, слушатель новостей*).

4. Т. различных имен в одном и том же контексте служит характерным образчиком многообразной вариации комбинаторных значений:

он	ел	ребенком	икру
он	ел	пудами	икру
он	ел	ложкой	икру
он	ел	дорогой	икру
он	ел	утром	икру
он	ел	грешным делом	икру

Тем не менее Т. во всех своих вариантах обнаруживает общий признак: периферийная, побочная роль в содержании высказывания при-

писывается данному предмету. Если этот общий признак отличает Т. от И., В. и Р. падежей, то, с другой стороны, он объединяет Т. с Д. и П. падежами. Но Д. в отличие от Т. сигнализирует (подобно В.) объект, на который направлена деятельность; П. в свою очередь отличается от Т., обозначая (подобно Р.) предел участия данного предмета в содержании высказывания [4].

Только в некоторых формах афазии значение грамматической категории утрачивает единство и сводится к отдельным контекстуальным значениям. Такие афазики располагают только ограниченным репертуаром готовых стереотипных контекстов и не в состоянии строить новые контексты. Стихи Маяковского с Т. падежом в новых, совершенно непривычных оборотах понятны лишь потому, что и поэт и читатель, владеющий русским языком, подсознательно владеют и общими значениями русских падежей, в частности значением Т.: «Никто не мешал *могилами* спать кудроголовым волхвам» („Человек"); «Столиц сердцебиение дикое ловил я, *Страстною площадью* лежа» („Люблю"); «За зевакой зевака, штаны пришедшие *Кузнецким* клёшить» („Хорошее отношение к лошадям").

5. Русская система падежей (как и всякая развитая падежная система) обнаруживает ряд изоморфных отношений. Например, Т.: И.=Д.: В.=П.: Р. В каждом из таких отношений падеж, сигнализирующий данный признак, противопоставлен падежу, лишенному подобной сигнализации. В результате анализа падежных значений обнаруживается, что эти значения разлагаются на меньшие дискретные инварианты — п а д е ж н ы е п р и з н а к и.

6. Если ограничить разбор русского склонения шестью первичными падежами и оставить покамест в стороне те два падежа, которые Пешковский называет „добавочными" (потому что «формы, составляющие звуковую характеристику этих падежей, образуются от сравнительно немногих основ») [5], то отчетливо выступают те три измерения, на которых базируется эта падежная система:

1) Признак направленности в В. и Д. противопоставлен отсутствию такового в И. и Т.; назовем В. и Д. н а п р а в л е н н ы м и падежами.

2) Признак объемности в Р. противопоставлен отсутствию такового в И. и В., и тот же признак в П. противопоставлен его отсутствию в Т. и Д.; назовем Р. и П. о б ъ е м н ы м и падежами в отличие от прочих, н е о б ъ е м н ы х падежей — И., В., Т. и Д.

3) По признаку периферийности Т., Д. и П. противопоставлены лишенным этого признака И., В. и Р.

Таким образом, И. является всецело беспризнаковым падежом по отношению к прочим, п р и з н а к о в ы м падежам, т. е. к трем

---

[4] По вопросам более подробного разбора русских падежных значений отсылаем к нашей работе 1936 г. (см. наст. сб., с. 133—175). Она вызвала оживленную, содержательную дискуссию, которой мы надеемся посвятить отдельную статью.

[5] А. М. П е ш к о в с к и й. Русский синтаксис в научном освещении, изд. 4-е, Москва, 1934.

однопризнаковым — В., Р., Т.— и двум двупризнаковым — Д. (направленность и периферийность) и П. (объемность и периферийность).

7. Грамматический анализ заставляет отвергнуть пережиток дососсюровских, противосистемных воззрений в доктрине самого Соссюра, продолжавшего утверждать, что только число падежей подлежит определению: «Par contre leur succession n'est pas ordonnée spatialement, et c'est par un acte purement arbitraire [!] que le grammairien les groupe d'une façon plutôt que d'une autre» (см. выше, прим. 2). Структурный подход к падежной системе вскрывает ее строго закономерный иерархический характер с беспризнаковым И. как исходным падежом, между тем как по взгляду, унаследованному Соссюром от младограмматической догматики с ее культом изолированных фактов, «le nominatif n'est nullement le premier cas de la déclinaison, et les termes pourront surgir dans tel ou tel ordre selon l'occasion».

8. Падежи направленные (В., Д.) и объемные (Р., П.) условно назовем определенными в противоположность падежам неопределенным, т. е. лишенным как направленности, так и объемности (И., Т.).

В. и И., которые сводятся к противопоставлению падежа, сигнализирующего объект процесса, падежу, не содержащему такой сигнализации, нередко называются, особенно в романском языкознании, падежами *прямыми*, в отличие от прочих, именуемых *косвенными*. В иной терминологии, восходящей к классической традиции, под прямым падежом разумеется только И.; мы же следуем за теми, кто обозначает одинаковым термином также В., т. е. падеж т. н. прямого дополнения. Это словоупотребление представляется нам менее искусственным, чем наименование И. и В. „грамматическими" падежами в противовес прочим падежам, прозванным „конкретными" или же „функциональными".

9. При всей плодотворности фонологического опыта для разысканий в других языковых планах нельзя автоматически прилагать фонологические критерии к грамматическим элементам, которые в отличие от фонологических, чисто различительных средств наделены собственным значением. Фонемы сами по себе ничего не означают: пара /t/ : /d/ соотнесена с прочими противопоставлениями согласных по глухости и звонкости внутри той же языковой системы; названные фонемы, принадлежа двум грамматическим единицам иначе одинаковым, напр. *творец*: *дворец*, являются знаком их различия. «Это шествуют творяне, Заменивши Д. на Т.», по меткому слову поэта Хлебникова. Но в применении к морфологическому плану легко может подать повод к недоразумениям тезис Соссюра: «pris isolément ni *Nacht* ni *Nächte* ne sont rien: donc tout est opposition» (см. выше, прим. 2). Конечно, отношение Nacht : Nächte предполагает наличие противопоставления грамматических категорий единственности и множественности в коде немецкого языка, но, поскольку такое противопоставление дано, форма Nächte, взятая в отдельности, сама по себе означает 'более одной ночи', тогда как ни /t/, ни /d/ сами по себе воистину «ne sont rien».

Некоторыми языковедами (в особенности Куриловичем[6] и de Groot'ом)[7] было высказано мнение, что в тех словосочетаниях, где нет возможности выбора между двумя падежами, единственно допустимый падеж лишен морфологической значимости и выполняет исключительно синтаксическую функцию. Мысль о том, что в контекстах, не допускающих падежного противопоставления, падежи семантически «ne sont rien», является характерным примером фонологической контрабанды в грамматических исследованиях. В ходячей пословице „на воре шапка горит" глагол подразумевается, даже и не будучи досказан: он для нас всецело предопределен контекстом и, следовательно, «избыточен», соответственно теории информации, но в то же время он полностью сохраняет свое словарное и грамматическое значение. Грамматическое значение В. четко выступает в чередованиях с Д. (*прости его* : *прости ему*), с Т. (*швырял камни* : *швырял камнями*), с Р. (*выпил водку* : *выпил водки*; *жаль девушку* : *жаль девушки*) или, наконец, с И. (*пришельцев грабят* : *пришельцы грабят*, где только различие падежных форм информирует слушателя этой фразы, которое из двух слов подчинено другому); но то же значение объекта, охватываемого действием, сохраняется за В. падежом и в тех случаях, когда данный глагол не допускает иного падежа, кроме В., напр. *убил лисицу*, *допил водку*, *жил неделю*, *проехал версту*. Конечно, семантическая разница между словосочетаниями *достичь Антарктики* и *завоевать Антарктику* связана с различием значений обоих глаголов, но если глагол *достичь* требует непременно родительного, а *завоевать* — винительного падежа, то в этом распределении управляемых падежей снова отражается семантическое противопоставление неполного овладения полному. Из двух греческих глаголов любви один — ἔραμαι — управляет только родительным, тогда как другой — φιλέω — требует винительного: это синтаксическое правило не раз приводилось как яркий пример чисто условного, семантически бессодержательного употребления падежей. Между тем первый глагол в противоположность другому выражает любовное томление, неполное обладание предметом вожделения, и родительный падеж дополнения строго соответствует такому глагольному значению. Подобным образом Р., как единственно допустимый падеж при супине, напр. в старославянских текстах, семантически вторит целевому, всего лишь потенциальному характеру действия, выраженного супином, и полная синтаксическая обусловленность Р. в этом сочетании отнюдь не снимает его собственного падежного значения, т. е. установки на степень объективации.

10. Вслед за регистрацией комбинаторных (синтаксически или лексически обусловленных) значений каждого падежа должна быть произведена дальнейшая операция — морфологический анализ па-

---

[6] J. Kuryłowicz. Le problème du classement des cas.— „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego", IX (1949).

[7] A. W. de Groot. Classification of Cases and Uses of Cases.— „For Roman Jakobson". The Hague, 1956.

дежных значений, который открывает лежащую в их основании систему минимальных единиц грамматической информации, т. е. падежных признаков, и по общности признака объединяет падежи в классы.

Точно так же регистрация падежных парадигм ставит на очередь обследование их сходных черт и расхождений, определение инвариантов русского склонения, т. е. общих законов, лежащих в основе всего многообразия современных парадигм, и, наконец, неизбежно выдвигает краеугольный вопрос: возможно ли установить изоморфность отношений между морфологическими категориями, с одной стороны, и их выражением, с другой?

3.

1. В русском языке различаются два основных вида склонений, субстантивный и адъективный, и промежуточные типы — парадигмы неличных местоимений и притяжательных прилагательных (см. 3.8). От общих правил, лежащих в основе этих склонений, несколько отступают собственно-личные (первого и второго лица) местоимения с примыкающим к ним возвратным местоимением и числительные (количественные, собирательные и соответствующие прономинальные).

2. Различение женского и неженского (мужско-среднего) рода имеет место только в единственном числе, различение мужского и среднего рода — только в прямых падежах единственного числа.

В русском склонении последовательно размежеваны парадигмы множественного и единственного числа, а в пределах последнего различаются „женские" и „неженские" типы склонения, причем последние подразделяются по форме прямых падежей на „мужские" и „средние" типы. Слова, изменяющиеся по родам, т. е. и номинальные и прономинальные прилагательные с примыкающим к ним по форме анафорическим местоимением т. н. „третьего лица" *он*, *оно*, *она*, обнаруживают полное соответствие между родом и типом склонения: женского рода все слова, принадлежащие к „женскому" типу склонения; мужского рода все слова, принадлежащие к „мужскому" типу склонения; среднего рода все слова, принадлежащие к типу „среднему".

Несколько сложней отношение между грамматическим родом и типом склонения у слов, не изменяющихся по родам, т. е. номинальных и прономинальных существительных. Слова женского или т. н. общего, т. е. факультативно женского рода могут принадлежать исключительно к „женскому" типу склонения, а слова среднего рода — исключительно к „среднему" типу. Существительные, обозначающие лица мужского пола, сохраняют мужской род и в тех немногих случаях, когда они принадлежат к „среднему" или „женскому" типу склонения (*подмастерье*; *слуга*, *судья*; *он — круглый сирота*; *я слышал*). К какому бы типу склонения ни принадлежали производные формы с суффиксами эмоциональной оценки, образованные от существительных мужского рода, они сохраняют тот же род: *дом*, *домишко*, *домище*, *домина*.

3. Ни одна парадигма не различает всех шести первичных падежей. Из этого числа в основных типах русского склонения насчитывается от пяти до трех раздельных падежных форм, а в одной из парадигм количественных числительных — всего лишь две формы [8].

Степень устойчивости различных падежных противопоставлений далеко не одинакова. В этом отношении они образуют строго закономерную иерархию.

Абсолютным постоянством отличается разделение необъемных падежей на периферийные и непериферийные, т. е. различие 1) между Т. и И., 2) между Д. и В. Следующим по постоянству является противопоставление Д. и Т. падежей.

С другой стороны, в современном русском склонении В. и Д., т. е. два направленных падежа, не могут оба одновременно отличаться от всех прочих падежных форм. Собственной формой наделен либо один из двух, либо ее нет ни у того ни у другого.

В парадигмах без собственной формы В. падежа он совпадает либо с И. (синкретизм прямых падежей), либо с Р. (синкретизм падежей определенных), причем 1) чередование обеих возможностей в пределах иначе одинаковой парадигмы мн. ч. или м. р. служит различению неодушевленности и одушевленности, 2) в номинальных формах ж. и с. рода В. всегда совпадает с И., а в местоимениях всех трех лиц — всегда с Р. независимо от рода, числа и одушевленности или неодушевленности.

В парадигмах без самостоятельной формы Д. падежа последний неизменно совпадает с П. ввиду вышеотмеченной устойчивости различия между Д. и Т. Иными словами, непериферийные падежи допускают выбор между двумя видами синкретизма, тогда как у периферийных падежей сокращение в числе форм совершается в первую очередь путем синкретизма обоих определенных падежей. Система периферийных падежей в этих случаях сведена к противопоставлению двух форм — определенного падежа (П.— Д.) и неопределенного (Т.), между тем как в тех севернорусских говорах, где совпали Т. и Д. в парадигмах множественного числа *(рукам, большим)*, периферийные падежи наряду с непериферийными могут свестись к противопоставлению объемного падежа (П.) и необъемного (Д.— Т.). Точно так же парадигмы двойственного числа в первоначальной славянской, в частности древнерусской, грамматической системе различали всего три синкретические единицы: общей форме объемных падежей (Р.— П.) противопоставлялись две формы падежей необъемных, а именно общая форма прямых падежей (И.— В.) и соответственно общая форма двух периферийных падежей (Д.— Т.). Слияние всех трех периферийных падежей, наблюдаемое в сербских парадигмах мн. ч., русскому языку совершенно чуждо.

---

[8] О несклоняемых существительных иностранного происхождения см. B. Unbegaun. Les substantifs indéclinables en russe.— „Revue des Études Slaves", XXIII (1947).

4. Пятипадежная система в современном русском языке **сводится** к двум основным разновидностям:

Разряд 1.1

И.		Р.
Т.	Д.	П.

(Пунктиром обозначены альтернирующие совпадения: И.— В. и Р.— В.)

α) „Неженский“ тип субстантивного склонения существительных в его основной разновидности (т. н. 1 склонение: И. *кулак* (од.), Р.— В. *кулака*; И.— В. *кулак* (неод.), Р. *кулака*; И.— В. *окно*, Р. *окна)* [9]:

#/o		a
om	u	e

β) **Адъективная парадигма м. и с. р. (*злой*, *злое*; о парадигмах, промежуточных между α и β, см. 3.8):**

oj/ojo		ovo
im	omu	om

γ) Субстантивные парадигмы мн. ч. (*дела*, *леса*, *усы*, *мячи*, *черты*; об альтернирующих окончаниях И. и Р. см. 4.5, 6):

i/a		#/ov/ej
am'i	am	ax

Разряд 1.2

И.	В.	Р.
Т.		П.

Сюда относится только „женский“ тип субстантивного склонения (*жена*, *судья*).

a	u	i
oj(u)		e

5. Четырехпадежная система либо модифицирует одну из двух разновидностей пятипадежной системы путем слияния Р. с П. (син-

[9] Латинским шрифтом без скобок мы пользуемся для морфонологической транскрипции морфем или их сочетаний, подставляя в случаях автоматического чередования фонемы тот альтернант, который появляется в обстановке независимой дифференциации, например -ovo на основании подударных альтернантов: ср. /étava/, /tavó/, /inóva/. Образчики пофонемной транскрипции выделены диагоналями, а примеры фонетического письма даны в квадратных скобках.

кретизм объемных падежей), либо сочетает обе названные разновидности, лишая как Д., так и В. их самостоятельной формы.

Разряд 2.1

И.		
Т.	Д.	П.

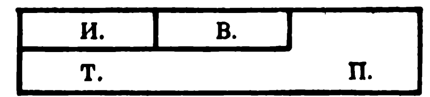
α) Адъективная парадигма мн. ч. (И. *злые* (од.), П.-Р.-В. *злых*; И.-В. *злые* (неод.), П.-Р. *злых*; о парадигмах, промежуточных между адъективной и субстантивной парадигмой мн. ч., см. 3.8):

iji		
im'i	im	ix

β) Отклоняющаяся от обычных норм парадигма местоимений *вы* и *мы* (с супплетивной основой в И. последнего слова):

i		
am'i	am	as

Разряд 2.2



И.	В.	
Т.		П.

Такой синкретизм всех трех косвенных определенных падежей находит себе выражение в адъективном склонении ж. р. (*злая*; о парадигмах, промежуточных между адъективной и соответствующей субстантивной, см. 3.8).

aja	uju	
oj(u)		oj

Разряд 2.3

И.	Р.
Т.	П.

Этот тип сводит как периферийные, так и непериферийные падежи к противопоставлению падежа определенного неопределенному. Он представлен двумя аномальными парадигмами с супплетивным И. Это, во-первых, местоимение третьего лица ж. р. (И. *она*, Р.-В. *ее*, Т. *ею*, П.-Д. *ей*), а во-вторых, собственно личные местоимения *я* и *ты* — оба общего, т. е. факультативно женского, рода, а также лишенное И. падежа, но всецело сходное с ними и по структуре кос-

венных падежей, и по своему роду возвратное местоимение (ср. *ты себя молодую пожалей*).

—	a
oj(u)	e

6. В трехпадежной системе В. совпадает с И., а Д. и П. с Р.
Разряд 3

И.	Р.
Т.	

Сюда относятся две близкие парадигмы субстантивного склонения:

α) Побочная парадигма „женского" типа (*ночь, лошадь*), к которой, помимо существительных ж. р., относится большинство количественных числительных (*пять, десять*):

#	i
ju	

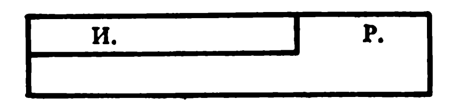
β) Побочная парадигма „неженского" типа, к которой принадлежит одно существительное м. р. с нулевым окончанием (*путь*) и небольшое число существительных среднего рода с окончанием -о и с наращением в косвенных падежах (*имя, семя*) [10]:

#/o	i
om	

В трехпадежной системе В. может совпадать единственно с И., потому что совпадение с Р. упразднило бы неотъемлемое различие между Д. и В. (ср. 3.3).

7. В порядке исключения находит себе место в русской морфологии двухпадежная система, сводящая склонение к противопоставлению падежей прямого и косвенного.

Разряд 4



Этот тип представлен числительными *сорок* (с нулевым окончанием) — *сорока* и *сто* (с окончанием -о) — *ста*, а также еще более прихотливым образчиком *полтора — полутора*.

---

[10] Уже Р. Кошутић справедливо усматривал в этом окончании автоматический безударный альтернант ударного -о, — „Граматика руског језика", I, Петроград, 1919.

8. Формы прямых падежей следуют основным субстантивным парадигмам, а формы косвенных падежей — адъективным парадигмам: 1) в притяжательных прилагательных с словообразовательным суффиксом — #j-/-ej-: bož-ej-# *(божий)*, bož-#j-a *(божья)*, bož-#j-u *(божью)*, bož-#j-i *(божьи)*, bož-#j-ovo *(божьего)*; к этой группе примыкает порядковое прилагательное *третий*[11]; 2) в прономинальных прилагательных *(чей, чьё, чья; весь, всё, вся; сам, само, сама)*; 3) в прономинальных существительных, за исключением слов женского *(она)* или общего *(я, ты)* рода. Особенностью третьей группы является полная или частичная супплетивность именительной формы *(он, оно — его; кто — кого; что — чего)*. Это местоименное склонение представляет несколько особенностей в начальном гласном окончания: 1) вместо -о в окончаниях ж. р. после мягких согласных и /j/ появляется -е: *чьею, чьей; моею, моей; всею, всей*; 2) начальному -i адъективных окончаний в отдельных местоимениях соответствует -е: мн. ч. *теми, тем, тех; всеми, всем, всех*; Т. м. р. *тем, всем*.

К этому смешанному типу склонения относятся также собирательные и прономинальные числительные, с тою разницей, что адъективные формы следуют парадигме мн. ч., а субстантивной формой И. служит форма среднего рода ед. ч. *(пятеро, трое, сколько — пятерых, троих, скольких*; уклоняется *оба, обе — обоих, обеих)*. Наконец, к тому же смешанному типу примыкает еще более аномальное склонение количестввенных числительных *два, три, четыре* с особенностями и в начальном, и в конечном гласном окончаний: *двух, трёх, четырёх; двумя, тремя, четырьмя.*

Для склонения простых местоимений и простых числительных характерен переход ударения на все реальные окончания, причем в двусложных окончаниях ударение падает на последний слог, кроме двусложных окончаний Т. на ju и m'i с обязательным ударением на первом слоге: *тогó, моегó, самогó, одногó; томý, моемý, самомý, однoмý; десятью́, двумя́*, но *однóю, моéю, всéю, однúми, моúми, всéми*[12].

4.

1. Падежные окончания могут быть либо нулевые (-#), либо реальные, т. е. состоящие из одной фонемы или большего числа фонем.

Реальные окончания подразделяются на однофонемные и полифонемные. Полифонемные падежные окончания содержат либо две, либо три фонемы. Однофонемные и двухфонемные падежные окончания односложны, трехфонемные всегда двусложны.

[11] Притяжательные прилагательные с суффиксами -ov-, -in-, следуют субстантивному образцу не только в прямых падежах, но и в тех формах, где однофонемному окончанию существительных соответствует трехфонемное окончание в адъективном склонении, т. е. в Р. и Д. неженской парадигмы (Р. *мельникова, сестрина*, Д. *мельникову, сестрину*). Из трех однофонемных окончаний этой субстантивной парадигмы здесь удержаны два, а в фамилиях с тем же суффиксом — все три (П. *Мельникове, Ильине*).

[12] Систему ударения в русском склонении мы предполагаем рассмотреть особо.

В двухфонемных окончаниях слоговая обычно предшествует неслоговой фонеме; только если с трехфонемным окончанием чередуется равнозначное двухфонемное окончание, идентичное с его последними двумя фонемами, то в таком двухфонемном окончании слоговая следует за неслоговой фонемой: Т. -oju/-ju *(ночью)* и в единичных случаях -am'i/-m'i *(людьми, лошадьми, детьми)*; ср. *тремя* и *четырьмя*.

Таким образом, однофонемные окончания всегда состоят из одной слоговой фонемы, двухфонемные содержат одну слоговую и одну неслоговую фонему, а трехфонемные — две слоговые фонемы и одну неслоговую. В трехфонемных окончаниях неслоговая фонема всегда занимает место между двумя слоговыми.

2. В падежных окончаниях, как однофонемных, так и полифонемных, находят себе применение все русские слоговые фонемы. Но из общего числа тридцати трех неслоговых фонем, бытующих в московской норме русского литературного языка, всего лишь четыре — /j/, /v/, /m'/ и /x/ — выступают в падежных окончаниях. Из них первые три появляются и в превокальном и в конечном положении, а /x/— только в конечном. Единственно в склонении личных местоимений, самом иррегулярном из всех склонений, а именно в Р. мн. ч. *нас, вас*, фонема /s/ служит заменой обычного /x/. В окончании -ov фонема /v/ автоматически утрачивает звонкость в русском литературном языке. Правда, и [m'] и [m] фигурируют в падежных окончаниях: ср., с одной стороны, *столами, злыми, ими, двумя*, с другой же стороны, *столом, столам, злым, злом, злому, ему, им, двум*,— но в морфологическом аспекте здесь нет противопоставления двух фонем, так как 1) в конце грамматических окончаний современный русский литературный язык не допускает мягких согласных (ср. *дамь* > *дам, сънъмь* > *сном, идуть* > *идут*) [13]; 2) внутри морфемы не бывает мягких губных перед /u/; следовательно, в независимой позиции падежные окончания знают только мягкую разновидность губного носового и, напротив, только твердую в тех севернорусских говорах, где либо формы Т. мн. ч. заменены формами Д. мн. ч., либо вместо новообразований *двумя, тремя*, усвоивших /m'/ под влиянием окончаний -am'i, -im'i, наблюдается обратное воздействие формы *двума*: *деньгамы, злымы* или *злыма, с вамы*.

3. По числу фонем падежные окончания распределяются следующим образом.

Нулевое окончание встречается только в И. ед. ч. *(стол, бой, конь, мышь)* и в Р. мн. ч. существительных *(слов, копий, рук, стай, дынь)*, а также в И. м. р. тех номинальных *(лисий, сестрин)* и прономинальных прилагательных *(мой, сам)*, которые в прямых падежах пользуются субстантивными окончаниями (ср. 3.8). Если в парадигме одного из двух чисел встречается нулевое окончание, то в другом числе того же слова не бывает форм с нулевым окончанием, за очень редкими исключениями (И. ед. ч. и Р. мн. ч. *чулок, солдат*). В пара-

---

[13] Окончание инфинитива не в счет: в этой морфеме за согласным следует # в альтернации с фонемой /i/ *(знать, несть — нести)*.

дигме одного из двух чисел, за сравнительно малочисленными исключениями, каждое существительное наделено одной падежной формой с нулевым окончанием (*стол — столов, бой — боёв, конь — коней, мышь — мышей; слово — слов, копьё — копий, рука — рук, стая — стай, семья — семей, дыня — дынь*) [14].

4. Закономерно разграничено употребление однофонемных окончаний, с одной стороны, и полифонемных, с другой.

Из всех падежей только Т. всегда наделен полифонемным окончанием. В ед. ч. оно всегда содержит две обязательные фонемы: -om, -im, -em, -oj(u) (ср. *рукой, рукою*), -ej(u) (ср. *моей, моею*), -ju. Т. мн. ч. характеризуется трехфонемным окончанием (-am'i, -im'i, -em'i, -um'a, -om'a), в единичных случаях лишенным начального гласного (*людьми, лошадьми, четырьмя*).

В адъективном склонении есть только полифонемные окончания.

Субстантивные окончания прямых падежей содержат не более одной фонемы. В субстантивном склонении ед. ч. все определенные падежи (В., Д., Р., П.) характеризуются однофонемными окончаниями.

Во мн. ч. всех склонений и в ж. р. адъективного склонения реальные окончания всех определенных падежей содержат по две фонемы: Д. мн. ч. -am, -im, -em, -um, -om; Р. мн. ч. -ov, -ej; П. мн. ч. -ax, -ix, -ex, -ux, -ox; общее окончание падежей в прилагательных ж. р. -oj.

Во всех падежах адъективного склонения, кроме П., окончания м. р. отличаются по числу фонем от окончаний мн. ч.: трехфонемным во мн. ч. окончаниям неопределенных падежей соответствуют двухфонемные окончания в ед. ч. (И. -iji : -oj, Т. -imi : -im). Напротив, окончания определенных падежей насчитывают по две фонемы во мн. ч., по три в ед. ч. (Р. -ix : -ovo, Д. -im : -omu), за исключением П. (-ix : -im).

5. Полифонемные окончания всегда содержат -j- в прямых падежах (-oj, -ojo, -aja, -uju, -iji), сверх того, j последовательно входит в полифонемные окончания косвенных падежей во всех парадигмах, по которым склоняются слова женского и общего (факультативно женского) рода: -oj, -oj(u), -ju.

Губная носовая фонема появляется единственно в окончаниях периферийных падежей. Она всегда налицо в полифонемных окончаниях Т. и Д., поскольку это не противоречит предыдущему правилу о -j- во всех полифонемных окончаниях женского типа склонений: Т. -om, -im, -em, -am'i, -im'i, -em'i, -um'a, -om'a; Д. -am, -im, -em, -um, -om.

Если полифонемные окончания трех периферийных падежей разнятся в начальном гласном, то та же носовая примета входит и в окончание П. (*злым, злому, злом*), в противном случае П. характеризуется собственной согласной приметой -x- (*столами, столам, столах; злыми, злым, злых; теми, тем, тех*).

[14] Вопрос о соотношении субстантивных форм И. ед. ч. и Р. мн. ч., а также Р. ед. ч. и И. мн. ч. подробно рассмотрен автором в статье „The relationship between genitive and plural in the declension of Russian nouns".

Если Р. располагает собственным полифонемным окончанием, то оно содержит -v-. С этой фонемой и ее автоматическим глухим альтернантом может соседить единственно /o/ (-ov, -ovo) или его автоматические альтернанты (ср. /krajóf/, /sarájaf/; /zlóva/, /samavó/, /jivó/, /s'ín'iva/). Односложная группа -ov после мягкого или шипящего согласного последовательно уступает место сочетанию -ej (*коней, степей, ночей, вещей, вшей, грошей, ножей*), сохраняясь после всех прочих согласных и /j/ (*чинов, отцов, боёв*).

Таким образом, носовая фонема служит приметой периферийных падежей, а шумные щелинные согласные — приметой объемных падежей: -x- — предложного, а -v- — родительного. В тех северно-русских говорах, которые заменили конечное /x/ в П. конечным /v/ или, точнее, его автоматическим глухим альтернантом /f/ (напр., *на зеленыф лугаф*), губной щелинный стал приметой обоих объемных падежей.

6. Если Д. или В. ед. ч. наделен самостоятельным окончанием, то его единственной или последней фонемой всегда бывает /u/: *слону, злому, тому*; *злую, ту*. Иными словами, в шестипадежной системе конечное /u/ принадлежит единственно направленным падежам, не разделяется ими ни с какими иными падежами и служит, таким образом, приметой направленных падежей.

Только окончание -e может служить в субстантивном склонении специфическим знаком П. и отличать его от всех прочих падежей.

Самостоятельному окончанию В. ед. ч. соответствует конечное -a в И.; если же В. лишен самостоятельного окончания, то для И. характерно нулевое окончание, альтернирующее с -o (*слон, вино*; *ночь, путь, время*; *сорок, сто*; об И. ед. ч. адъективного склонения см. 4.8), или же форма И. супплетивна (*я — меня*).

Реальному окончанию И. ед. ч. -o или -a соответствует, за небольшим числом исключений, нулевое окончание Р. мн. ч.; если же И. ед. ч. наделен нулевым окончанием, то в Р. мн. ч. мы обычно находим реальное окончание -ov в закономерной альтернации с -ej (ср. 4.5).

Однофонемным окончанием Р. является -i, если синкретизм определенных падежей имеет место только в периферийном ряду, т. е. Д.=П., а не в основном ряду, т. е. В.≠Р. (*жены, ночи, пути*), в остальных же случаях Р. оканчивается на -a (*слона, коня, тебя, сорока*).

7. Большей частью однофонемные окончания Р. ед. ч. и И. мн. ч. либо тождественны, либо различаются только просодически — по ударности и безударности. Р. падежу ед. ч., оканчивающемуся на -i, всегда отвечает -i в И. падеже мн. ч. (*страны́ — стра́ны, розы — розы, ночи — ночи, пути — пути*), кроме одной парадигмы (*имени — имена*). За исключением этого редкого типа, И. падежу мн. ч. на -a соответствует -a в Р. ед. ч. (*места́ — ме́ста, о́кна — окна́, копы́та — копы́та*; *вечера́ — ве́чера*).

Только существительные мужского типа склонения большей частью противопоставляют окончанию Р. ед. ч. -a И. падеж мн. ч. не на -a, а на -и, -ы (*ча́са — часы́, гвоздя́ — гво́зди, ра́ка — ра́ки, по-*

pá — попы́). В то время как обычно падежные окончания опознаются по внутренним атрибутам своих фонем, И. и Р., принадлежащие разным числам, дифференцируются преимущественно иными средствами — либо разноместным ударением, либо противопоставлением реального окончания нулевому (к интерпретации этого различия средств ср. примечание) [15].

Окончания И. мн. ч. -a и Р. мн. ч. -ov являются единственными родовыми показателями среди обычно внеродовых форм мн. ч.: в русском литературном языке И. мн. ч. на -a и Р. мн. ч. на -ov не могут быть образованы от существительных ж. р. Кроме того, различный род существительных ед. ч. передается и их косвенным падежам мн. ч., поскольку с ними согласуются формы *обоими*, *обеими* и т. п.; ср. *обоих дней* и *обеих ночей* (но в нелитературной разговорной речи обыкновенно *обоих ночей*).

8. В прямых падежах адъективного склонения окончание начинается и заканчивается тем гласным, из которого состоит однофонемное окончание соответствующей формы субстантивного склонения: -o, -ojo; -a, -aja; -u, -uju; -i, -iji. В И. м. р. # субстантивной формы повторяется в конце адъективного окончания, тогда его начальной фонемой служит под ударением /o/: *борзо́й* (о безударном положении см. 4.9).

В субстантивном склонении окончания всех периферийных падежей мн. ч. начинаются с -a-; в адъективном склонении окончания всех падежей мн. ч., а также Т. ед. ч. начинаются с -i- и лишь у немногих прономинальных прилагательных — с -e-. Кроме названных, все полифонемные окончания косвенных падежей начинаются с -o- (-om; -ovo, -omu, -om; -oj(u), -oj), альтернирующего в Р. мн. ч. существительных и в склонении местоимений ж. р. с -e- *(гостей; всей, всею)*.

Характерно, что Т. всегда выделяется среди прочих косвенных падежей той же парадигмы либо бо́льшим числом фонем, либо иным начальным гласным. В мн. ч. трехфонемное окончание Т. противостоит двухфонемному окончанию прочих косвенных падежей; в ж. р. прилагательных факультативная третья фонема отличает Т. от двухфонемных окончаний остальных косвенных падежей; в субстантивном склонении обязательные две фонемы отмежевывают окончание Т. ед. ч. от однофонемных окончаний других косвенных падежей ед. ч. и сближают его с двухфонемным типом соответствующих форм мн. ч.; наконец, начальным гласным своего окончания Т. падеж прилагательных м. р. отступает от других косвенных падежей ед. ч. и совпадает с падежными формами мн. числа.

9. Согласно традиционному московскому произношению, в падежных окончаниях после мягких согласных и /j/ безударными альтернантами ударных /o/ и /a/ являются:

1) в открытом конце слога — всегда /a/ *(море, зелье, имя, баня,*

---

[15] Под влиянием следующего мягкого согласного фонема /a/ в этих формах спорадически уступает место фонеме /i/.

куча, свая; мо́ря, зелья, зверя, жителя, плача, края; перья, ружья, братья; злое, злая);

2) перед /j/ — всегда /i/ (*банею, баней, кучей, сваей; синею, синей, горячей*);

3) в прочих положениях — /a/, если форма принадлежит субстантивному типу склонения (*морем, зельем, зверем, плачем; сараев, братьев; баням, кучам, сваям, елям, жителям; банями, кучами* и т. д.[15]; *банях, кучах* и т. д.), но обычно /i/, если форма принадлежит адъективному склонению (*синего, горячего; синему, горячему; синем, горячем*).

В открытом конце слова безударное /a/ служит закономерным альтернантом ударных /o/ и /a/. В субстантивном склонении, где полифонемные окончания чередуются с однофонемными, эта альтернация, автоматическая в однофонемных окончаниях, распространяется и на начальные гласные полифонемных окончаний, тогда как в адъективном склонении, где нет однофонемных окончаний и где, кроме того, нет форм с ударяемым окончанием после мягких согласных, начальные гласные полифонемных окончаний остаются вне действия такой альтернации.

В адъективном окончании И. м. р. ударному /o/ соответствует безударное /i/ в любом положении (*старый* /stárij/, *борзый* /ḃórzij/,), тогда как в прочих формах того же склонения ударному /o/ соответствует безударное /i/ только после мягких согласных и /j/ (Р. ж. р. *ка́рей* /kár'ij/, *коротко́шеей* /karatkašéjij/, но *старой* /stáraj/, *бо́рзой* /ḃórzaj/). Вероятно, в И. м. р., помимо книжного влияния и, может быть, аналогии с безударным окончанием мягких основ, сказалась и параллель stár-# : stár-i, stár-im # : stár-im'i, stár-ij # : stár-iji.

5.

1. Остается включить в круг анализа оба „добавочных“ падежа (ср. 2.6). Как ни ограничен круг неодушевленных существительных с нулевым окончанием именительного падежа, различающих в единственном числе два родительных и два предложных падежа (Р. I *сне́га* — Р. II *сне́гу*; П. I *сне́ге, те́ни* — П. II *снегу́, тени́*), есть все основания согласиться с недавними выводами П. С. Кузнецова, что «современный русский язык располагает не одним родительным падежом, как считает школьная грамматика, а двумя различными падежами» и что, соответственно, возникает «вопрос о необходимости для современной русской грамматики разграничения двух падежей в пределах предложного» [16].

Для сравнительной характеристики значений каждой из этих двух пар позволим себе привести следующий отрывок: „Долго не было сне́гу, заждались сне́га ребята. Зато сколько сне́гу намело в январе.

---

[16] П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка: Морфология. Москва, 1953.

Снéгу кругом! Набрали снéгу ребята, вылепили снежную бабу. Брюллов не любил снéга, пугался снéга. Земля в снегý наводила тоску. Вороны чего-то искали в снегý, но корму в снегý не было. «Художники чего-то ищут в снéге, но живописности в снéге нет»,— утверждал Брюллов. Раздраженно говорил он о снéге: «Цвет снéга напоминает молоко»".

Различие значений между П. II и П. I в одном и том же контексте (*ищут чего-то в снегý — ищут чего-то в снéге*) отчетливо выступает: снег — носитель искомого свойства (П. I) — противопоставлен снегу как просто месту поисков. Впрочем, Ebeling высказал сомнение, встречаются ли Р. I и Р. II в одинаковых контекстах, и пришел к заключению, что различие обоих падежей поэтому «лишено значения» [17]. Эти два падежа, однако, встречаются в тождественных словосочетаниях, как, напр., [количественный] *недостаток чаю* — [качественный] *недостаток чая*, где только разница падежных окончаний осведомляет слушателя или читателя о семантическом различии между обоими примерами, т. е. отсутствии надлежащего количества и внутреннем изъяне.

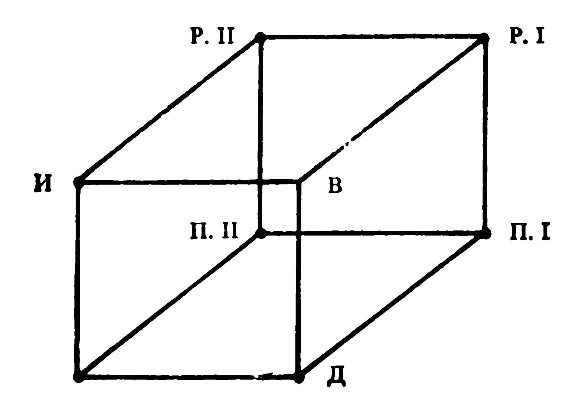
Поскольку Р. или П. распадаются на два падежа, первый Р. или П., в противоположность второму Р. или П., наделяет предмет свойством или состоянием, вытекающим из направленного на данный предмет действия. Так, снег выступает в Р. I как предмет томительного ожидания, неприязни, страха или как носитель оптического свойства, а в П. I — как предмет художественных исканий и тема разговора. Отношение Р. I к Р. II и П. I к П. II следует сопоставить с отношением Д. к Т., т. е. с противопоставлением сигнализированной направленности действия на предмет отсутствию подобной сигнализации. Собственно, каждый из четырех падежей, Р. I, П. I, В. и Д., в отличие от Р. II, П. II, И. и Т., наделяет предмет свойством или состоянием, вытекающим из направленного на предмет действия, и соответственно может быть назван падежом наделительным. Одинаковая грамматическая трактовка предметных свойств и результатов действия сказывается и в наличии предикативных форм у прилагательных и у причастий страдательных, но не у причастий действительных (*мёртв* и *убит*).

2. Таким образом, все восемь падежей русского склонения составляют трехмерную систему [см. схему на стр. 194] *:

---

[17] C. L. Ebeling. On the Meaning of the Russian Cases.— „Analecta Slavica". Amsterdam, 1955.

* На нашей схеме по техническим причинам выпала буква Т (= творительный падеж), которая должна находиться в левом нижнем углу куба на уровне дательного падежа.— *Прим. ред.*



Редкое сочетание признаков объемности и направленности находит себе место и в древнеиндийской падежной системе, но последняя обнаруживает иную иерархию обоих признаков: в отложительном падеже, который противопоставлен родительному и местному как направленный, а винительному и дательному как объемный, объемность определяет направленность, так что отложительный падеж сигнализирует направление от предмета в отличие от В. и Д., сигнализирующих направление к предмету. Противопоставление периферийности и непериферийности снято в отложительном падеже, и, таким образом, в древнеиндийских падежах оказываются использованными все возможные двухпризнаковые сочетания: направленность и периферийность в дательном, объемность и периферийность в местном, направленность и объемность в отложительном,— но ни один падеж не сочетает всех трех признаков, тогда как русский П. I — падеж трехпризнаковый (объемный, периферийный, наделительный).

3. Что касается до разверстки максимального инвентаря русских падежных форм, то в существительных ж. р., различающих П. I и П. II, оба эти падежа вместе с Р. и Д. оканчиваются на -i, но П. II противопоставляет ударное окончание безударному окончанию трех остальных падежей. В существительных м. р., различающих два П. и два Р., П. II вместе с Р. II и Д. оканчиваются на -u, но П. II противопоставляет ударное окончание безударному окончанию двух остальных падежей. В обоих примерах чисто просодическая дифференциация окончаний снова, как и в случае с Р. мн. ч., связана с объемными падежами (ср. прим. 8).

6.

1. Так как падеж — категория прежде всего морфологическая, синтаксический разбор употребления падежей не исчерпывает их интерпретации; проблема синтаксической вариации падежных значений неразрывно сопряжена с проблемой инвариантной значимости каждого падежа в отношении к остальным падежам морфологической

системы, а также с проблемой точной связи между падежами и прочими морфологическими категориями данного языка.

С другой стороны, изучая фонологическую сторону языка, мы неизбежно принимаем во внимание грамматические единицы, в пределах которых действуют те или иные звуковые законы, различаем звуковые явления, наблюдаемые внутри и на стыке слов, в конце и в начале слова, оговариваем звуковые особенности междуморфемного шва по сравнению с внутренним составом морфем. Далее встает вопрос о различиях в звуковом строе между отдельными классами грамматических единиц — между корневыми морфемами и разного рода аффиксами, между основами и флексиями (окончаниями). Как основы, так и окончания каждой части речи обнаруживают характерные отличия в своем внешнем строении, которые должны быть последовательно выделены. Например, надлежит установить специфический отбор фонем и фонемосочетаний в русских флексиях вообще и во флексиях спряжения и склонения порознь. Флексии склонения в свою очередь разделяются на несходные по своей звуковой характеристике окончания субстантивные и адъективные, с другой же стороны — именно фонологическими признаками деления всех флексий склонения служат такие грамматические категории, как число и род (последний в определенном соотношении с типом склонения). Структурный анализ звукового состава различных окончаний отдельного падежа в сопоставлении с иными падежами тех же парадигм нередко позволяет выделить общие фонологические черты данного падежа, напр. Т. (ср. 4.8) [18], или класса падежей.

Особую важность приобретает вопрос о падежном синкретизме, т. е. об упразднимых различиях между падежными флексиями и о порядке подобных упразднений. Наряду с полным синкретизмом требует тщательного обследования также синкретизм частичный, где сходство окончаний ограничивается либо одинаковым числом фонем (напр., во всех парадигмах мн. ч. реальные окончания падежей определенных содержат по две фонемы), либо общностью одной из фонем (напр., в любой парадигме мн. ч. все окончания периферийных падежей начинаются с одного и того же гласного, а в прочих типах склонения все полифонемные окончания периферийных падежей содержат одну и ту же неслоговую фонему; все полифонемные окончания косвенных падежей в женских типах склонения заключают -j-, а в остальных типах склонения все полифонемные окончания Т. и Д., т. е. необъемных периферийных падежей, содержат губную носовую фонему).

Вопрос о том, как функционируют фонемы в пределах той или иной морфологической категории, напр. падежных флексий вообще или же в данном числе, в парадигмах данного грамматического рода,

---

[18] С наибольшей четкостью и последовательностью творительный фонологически противопоставлен дательному: если Д. кончается слоговой фонемой, Т. кончается или начинается неслоговой фонемой; если же Д. кончается неслоговой фонемой, Т. кончается слоговой фонемой (обязательной или факультативной).

в данном классе падежей или просто в данном падеже, связывает воедино фонологию с морфологией. Выделяя в разнообразных полифонемных окончаниях известного падежа или падежного класса общую примету („marque“ или „consonne caractéristique de ces désinences“, как говорил уже Meillet) [19], специфичную для одного падежа или класса падежей, мы превращаем исследование грамматической формы собственно в разбор ее фонологического состава. Открывается связь между падежом и его отличительной фонемой (напр., -v- как показатель Р. падежа, -x- как показатель П. падежа) и, наконец, связь между составными элементами падежного значения и фонемами или составными элементами фонем: -m'- (в автоматической альтернации с /m/) выступает как примета падежного признака периферийности, а щелинность, общий атрибут -v- и -x-, служит приметой падежного признака объемности. Фонология и грамматика оказываются неразрывно связаны целой гаммой переходных, межрайонных проблем, а главное, нераздельностью речевого звука и значения (ср. „Selected Writings“, II, с. 103—114, наши общелингвистические замечания 1948 г.).

2. При сравнительном консерватизме совокупности русских падежных значений особенно поучительна многофазная перестройка системы падежных форм, выясняемая историей русского и праславянского языков. Преобразование и перераспределение падежного синкретизма, полного и частичного, требует синтетического обзора и внутреннего истолкования.

Звуковая характеристика падежей и падежных классов частью восходит к глубокой древности; напр., губная носовая примета периферийных падежей диалектически существовала уже в индоевропейскую эпоху наряду с другим диалектным вариантом -bh-, обнаруживая с последним общий характерный знак — лабиальность.

Многие особенности в звуковом облике падежных окончаний оказываются, напротив, новшествами, и для понимания их места и роли необходимо проследить, как именно реагировала система падежных форм на радикальные звуковые изменения в вокализме — на утрату носовых, на исчезновение интонационных и количественных различий и на падение слабых глухих: в каких направлениях была использована грамматическая аналогия для перелицовки этой системы? В частности, какие аналогические изменения обособили звуковой строй падежных окончаний от всех остальных русских форм? Таково, напр., появление безударной фонемы /a/, фонетически реализуемой в виде [ə], в тех положениях, где вне субстантивных падежных флексий эта фонема автоматически уступает место альтернанту /i/. Ср. /d'ikar'óm/— /l'ékar'am/, но /b'ir'óm/ — /víb'ir'im/ (ср. 4.9).

Какие звуковые изменения, происшедшие лишь в ограниченных грамматических условиях, преобразовали звуковой состав флексий вообще и звуковую характеристику отдельных падежей? Так, утрата мягкости согласных в конце флексий (ср. 4.2) ограничивает консо-

---

[19] A. Meillet. Le slave commun. Paris, 1923.

нантизм флексий по сравнению с основами. Фонетическое изменение сочетания /ogó/ в /ovó/ получило широкое распространение только в окончании Р. падежа и было перенесено по аналогии и в формы без конечного ударения. Стимулом к такой экспансии, если не к самому изменению, была, надо думать, возможность обобщения -v- в роли приметы Р. падежа.

3. Сравнение звуковой структуры русской системы падежных окончаний с инославянскими типами дает много показательных примеров и конвергентного, и дивергентного развития. Так, напр., из трех чешских неслоговых фонем, встречающихся в падежных окончаниях, -m-, как и в русском, служит приметой падежной периферийности; -h- с автоматическим конечным альтернантом /x/ специфицирует объемные падежи (zlého, somech, ženách, zlých, těch); -v- функционирует как показатель одушевленности (královi, králové). В сербском языке -m- является общей приметой всех полифонемных окончаний Т. падежа (*ударом*, *мачем*, *женом*, *нашим*, *нашом*, *новим*, *новом*), а во мн. ч. и в адъективном склонении м. р.— постоянной приметой всех периферийных падежей (Т.— Д.— П. мн. ч. *ударима*, *женами*, *новим*; Т. м. р. *новим*, Д. *новому*, П. *новом*). Назальность гласного в однофонемных окончаниях и назальность согласного в полифонемных окончаниях объединяет все формы польского Т. (głową, nocą, tą, złą; dworem, tym, złym, dworami, złymi).

Звуковой облик падежных флексий в их бытии и становлении получает новую, более полную интерпретацию в свете сравнительных славянских разысканий.

РУССКОЕ СПРЯЖЕНИЕ*

> Выше мы видели, что в тех случаях, когда формы обнаруживают частичное сходство, возникает вопрос, какую из них целесообразнее принять за исходную; нередко ответ на этот вопрос дает сама структура языка, так как, выбрав один путь, мы приходим к излишне усложненному описанию, а выбрав другой — к сравнительно простому.
>
> (Л. Блумфилд. Язык, XIII. 9)

0.1. Задачей настоящей статьи является строго синхронный формальный анализ модели спряжения в современном русском литературном языке. На исследование наложены два ограничения: 1) в статье рассматриваются только простые глаголы (глагольные основы с одним корнем без префикса) и 2) систематический анализ ограничивается чисто глагольными категориями (личные [finite] ** формы и инфинитив). Всестороннее описание деепричастий и собственно причастий как классов слов, переходных от глагола к наречию и прилагательному, должно быть предметом другого исследования. Однако принципы классификации будут тождественными в отношении всех глаголов во всех их формах.

0.2. В нашей транскрипции русских грамматических форм префикс отделяется от последующей морфемы знаком плюс (+), основа от окончания — знаком тире (—), суффиксы, являющиеся составными частями окончания, отделяются друг от друга дефисом (-). Знак ∾ обозначает чередование.

Акцентуационный знак акута (´) над аффиксом указывает на то, что этот аффикс находится постоянно под ударением; акцентуационный знак грависа (`) указывает на то, что аффикс никогда не несет ударения; отсутствие знака ударения означает, что данный аффикс может быть как ударным, так и безударным. Об акцентуационном знаке акута и отсутствии акцентуационного знака на основе см. п. 2.61 и 2.62.

---

* R. Jakobson. Russian Conjugation.— „Word", Vol. 4, № 3, 1948, p. 155—164. [Включена в: „Roman Jakobson. Selected Writings", II. The Hague — Paris: Mouton, 1971, p. 119—129. Авторизованный перевод.— *Прим. ред.*]

** В авторизованном переводе в соответствии с англ. finite последовательно используется термин «конечные формы». Редакция сочла возможным заменить этот термин на более обычный для лингвистической отечественной литературы термин «личные формы».— *Прим. ред.*

Основные понятия

1.1. Основа и окончание. Любая спрягаемая форма в русском языке состоит из *основы* и *окончания*. Окончание может быть *нулевым* (ср. 2.122).

1.2. Компоненты окончания [desinence] *. Окончание может состоять из одного или нескольких суффиксов.

В зависимости от своей позиции суффиксы являются либо *неконечными* (за ними должен следовать другой суффикс, в том числе нулевой; ср. 2.111, 2.121), либо *свободными* (они могут встречаться в конечной позиции).

Окончания, содержащие неконечный суффикс, называются *сложными* окончаниями в противоположность *простым*.

1.21. *Консонантные* и *вокалические окончания*. В зависимости от начальной фонемы окончания подразделяются на *консонантные* и *неконсонантные*. Последний класс имеет в своем составе, помимо окончаний, начинающихся с гласного (или состоящих из гласного), элемент, состоящий из нуля, который чередуется с гласным (ср. 2.122). Ради простоты вместо термина „*неконсонантное окончание*“ в дальнейшем будет употребляться термин „*вокалическое окончание*“. Эта дихотомия является стержневой для всей модели спряжения русского глагола.

1.3. Чередование основы. Основа русского глагола может иметь чередующиеся варианты в пределах одной и той же парадигмы.

Имеют место следующие чередования:

а) опущение одной или двух конечных фонем (ср. 2.21—2.23);

б) сопутствующее изменение того, что предшествует опущенной фонеме (ср. 2.24);

в) мутация согласного основы перед консонантными окончаниями (ср. 2.3);

г) видоизменение (смягчение) согласного основы перед вокалическими окончаниями (ср. 2.4—2.42);

д) вставка гласного в основу (ср. 2.5);

е) перенос ударения с основы на окончание и обратно (ср. 2.61—2.62), сопровождаемый автоматическими чередованиями [1] ударных и безударных гласных.

1.31. *Полная основа и усеченная основа.* Если один из альтернантов отличается от другого тем, что в нем оказывается опущенной конечная фонема, то более короткая форма называется *усеченной основой*, а более полная — *полной основой*.

1.32. *Основная форма полной основы.* При анализе и изображении полных основ мы пользуемся морфонологической транскрипцией. Если та или другая фонемная составляющая данной полной основы

---

* Р. О. Якобсон именует окончанием (desinence) совокупность послекорневых морфем глагольной словоформы. В отечественной лингвистической традиции термин «окончание» обычно понимается более узко.— *Прим. ред.*

[1] См. L. B l o o m f i e l d. Language. New York, 1933, 13.4. [См. перев. на русск. яз.: Л. Б л у м ф и л д. Язык. М., 1968.]

проявляется в виде разных альтернантов по сравнению с родственными формами, то мы принимаем за основной[1] тот альтернант, который обнаруживается в позиции, в которой был бы допустим также и другой альтернант.

Так, например, в чередующихся двух формах 1 л. ед. ч. наст. вр. smatr' —ú ∾ 2 л. ед. ч. smótr'—i-š вариант *o* мы относим к основному альтернанту полной основы smotr'e—, потому что только он встречается под ударением — единственная позиция, где фонологически[2] допустимы обе фонемы: *o* и *a*. В чередующихся формах инф. p'éč ∾ форма м. р. ед. ч. прош. вр. p'ók ~ форма ж. р. ед. ч. прош. вр. p'ik—l-á (или 1 л. ед. ч. наст. вр. p'ik—ú) основной следует считать также гласную под ударением. Так как *o* невозможно между двумя мягкими согласными основы, хотя и *o* и *e* встречаются между мягкой и твердой согласными (ср. форму м. р. ед. ч. прош. вр. p'ók и s'ék от s'ék—), то основной формой полной основы следует признать p'ok—. В чередующихся формах м. р. ед. ч. прош. вр. žók (или инф. žé—č) ∾ ж. р. ед. ч. прош. вр. žg—l-á (или 1 л. ед. ч. наст. вр. žg—ú) нулевой гласный является основным альтернантом полной основы žg—, так как основа может либо иметь гласный, либо не иметь его только перед окончаниями, образующими слог, то есть такими, как —l-a или —u. Что касается конечного согласного, то основным следует считать звонкий g: он появляется как перед гласными, так и перед l, то есть в тех позициях, где возможен также и глухой k.

В чередующихся формах 1 л. ед. ч. наст. вр. p'ik—ú ∾ 2 л. ед. ч. наст. вр. p'ič—ó-š согласный k является основным альтернантом, так как перед суффиксом —u морфонологически[3] допустимы как k, так и č (ср. p'ik—ú и rič—ú от ričá—), тогда как перед суффиксом —ó- k не встречается.

В чередующихся формах мужского рода прошедшего времени p'ók ∾ ж. р. прош. вр. p'ik—l-á (или v'ó—l ∾ v'i—l-á от v'od—) основной является безударная форма основы, потому что ударение на основе появляется здесь только в односложных образованиях, где оно фонологически неизбежно, тогда как в формах женского рода прошедшего времени допустимы обе возможности (p'ik—l-á и str'íg—l-á от str'íg—).

1.33. *Значение полных основ.* Усечение или модификация полной основы целиком зависит от последующего окончания, точно так же, как выбор одного из альтернирующих окончаний полностью определяется предшествующей основой. Таким образом, если дана полная основа, то, как правило, можно предсказать точную форму всей модели спряжения, то есть основу, окончание, а также место ударения.

---

[1] Ср. наводящие на интересные соображения замечания Л. Блумфилда о „теоретической основной форме“ (или об „искусственной исходной форме“) в цитированной выше работе („Language“, § 13.9).

[2] Согласно терминологии Блумфилда — а в т о м а т и ч е с к и; см. указ. раб., § 13.4.

[3] Согласно терминологии Блумфилда, г р а м м а т и ч е с к и; см. указ. раб., § 13.4.

Типы полных основ

1.4. Финали основ. Полные основы завершаются либо неслоговой фонемой (согласной или полугласной j), либо гласной. Основы первого рода называются *закрытыми* (ср. 2.22), основы второго рода — *открытыми*.

1.41. Один подкласс закрытых полных основ не затрагивается изменениями только в тех позициях, в каких подвергаются усечению открытые полные основы. Другой подкласс закрытых полных основ не затрагивается изменениями, по крайней мере частично, в тех же условиях, в каких остаются неизменными открытые полные основы. Первый подкласс можно назвать подклассом *ограниченно закрытых* [narrowly closed] полных основ, второй — подклассом *неограниченно закрытых* [broadly closed] полных основ (ср. 2. 221—2.222).

1.42. Полные основы называются *мягкими*, если их конечный согласный является мягким[1], и *твердыми*, если их конечный согласный является твердым.

1.5. Число слогов. Полные основы (так же, как и окончания) с нулевой гласной называются *неслоговыми*; все прочие полные основы являются *слоговыми* (ср. 2.5). Последние в свою очередь можно подразделить на *односложные* и *многосложные* (ср. 2.42 и 2.62).

1.6. Место ударения. Если при акцентуационном чередовании основная форма полной основы никогда не несет на себе ударения (ср. 1.32) или если ударение колеблется между двумя разными слогами основы в конечных формах, то такие полные основы мы называем *безударными* в противоположность *ударным полным основам* (ср. 2.62).

Ударные полные основы являются либо основами с *подвижным ударением*, которое при определенных условиях переходит с основы на окончание, либо основами с *неподвижным ударением*, которое всегда падает на основу (ср. 2.61).

1.7. Продуктивность. Модели полных основ, способные образовывать в современном русском литературном языке новые глаголы, называются *продуктивными* в противоположность *непродуктивным* моделям (ср. 2.7).

Общие правила

2.1. Распределение глагольных окончаний. Все личные формы прошедшего времени, а также инфинитив основываются на консонантных окончаниях, а все личные формы настоящего времени, а также повелительного наклонения — на вокалических окончаниях.

Вокалические окончания используют также деепричастие настоя-

---

[1] К русским „мягким" согласным фонологически принадлежат палатализованные (например: t', p', r') и „палатальные" (включая препалатальный č, палатально-альвеолярные š, ž и палатальный полугласный j).

щего времени и оба причастия (действительного и страдательного залогов) настоящего времени; с другой стороны, у деепричастий прошедшего времени, а также у причастия действительного залога прошедшего времени окончания являются консонантными. И лишь у причастия страдательного залога прошедшего времени консонантные и вокалические окончания чередуются: если полная основа принадлежит к ограниченно закрытому подклассу (ср. 2.221) или имеет на конце a, o, u, r, то окончание является консонантным: —n[1]∾ —t; в остальных случаях оно является вокалическим: —ón ∾ —ìn.

2.11. *Консонантные окончания.*

2.111. Прошедшее время. **Неконечный суффикс — l-, обозначающий прошедшее время, имеет после себя суффикс, указывающий на род или на множественное число: м. р.— нуль, ж. р. -a, средн. р. -o, мн. ч. -i. Суффикс — l- перед -i превращается в — l'-,** так как начальное i (или нуль, чередующийся с i) любого глагольного суффикса смягчает предшествующий согласный (ср. 2.122). **После тех согласных, которые не подлежат изменению перед окончанием прошедшего времени, суффикс — l- опускается, если только за ним не следует гласный** (p'ók ∾ p'ík—l-á, n'ós ∾ n'is — l-á).

2.112. Инфинитив.— t'∾—t'i∾ — č. **Альтернат — č замещает — t' после основы с конечным задненебным,** который в этом случае опускается (например, p'é — č вместо p'ék — t'); **у глаголов с безударными основами** (ср. 2.62) **— t', если ему предшествует согласный, приобретает i** (например, n'is — t'i); во всех остальных положениях встречается только —t'.

2.12. *Вокалические окончания.*

2.121. Настоящее время. **Первый (неконечный) суффикс, состоящий из одного гласного, обозначет настоящее время; второй (свободный) суффикс указывает либо на лицо и число (1-е л. ед. ч. -u, 1-е л. мн. ч. -m, 2-е л. ед. ч. -š, 2-е л. мн. ч. -t'i), либо только на лицо (3-е л. -t). Перед вокалическим суффиксом -u неконечный моновокалический суффикс невозможен** (то же самое имеет место и перед вокалическим суффиксом -a деепричастия настоящего времени; ср. 2.21). В остальных случаях первый суффикс появляется регулярно.

В 3-м лице мн. ч. (а также в причастии настоящего времени перед его специфическим суффиксом -šč-) первым суффиксом является —u∾—á, а во всех остальных личных формах настоящего времени **—i∾—ó.** Указанная разница приобретает функциональную значимость лишь в формах 3-го лица, где она служит для различения чисел: 3-е л. ед. ч. p'j—ó-t, 3-е л. мн. ч. p'j—ú-t от p'j—. Как было сказано, оба варианта этого временного суффикса (в 3-м лице, с одной стороны, и в личных формах — с другой) подвержены чередованиям в зависимости от ударения.

В безударном положении окончания настоящего времени начинают-

---

[1] Когда полная основа имеет на конце *a* или aj.

ся с высокого гласного (с —ŭ- в 3-м л. мн. ч., с —ì- в других личных формах)[1].

Под ударением окончания настоящего времени начинаются с нелабиализованного гласного (с —á- и с —í-) в мягких открытых полных основах[2] и с лабиализованного гласного в остальных случаях (с —ú- и с —ó-).

Например, 3-е л. мн. ч. pláč—u-t, 3-е л. ед. ч. pláč—i-t от pláka—; úč—u-t, ŭč—i-t от učí—; xran'—á-t, xran'—í-t от xran'í—; v'is'—á-t, v'is'—í-t от v'is'é—; mič—á-t, mič—í-t от mičá—; taj—á-t, taj—í-t от tají—; talkn—ú-t, talkn'—ó-t от talknú—; rv—ú-t, rv'—ó-t от rvá—; kuj—ú-t, kuj—ó-t от ková—; griz—ú-t, griz'—ó-t от gríz—.

2.122. Повелительное наклонение. **Повелительное наклонение в единственном числе имеет нулевое окончание, чередующееся с —ì в случае, когда предшествующий согласный является мягким** (ср. 2.111). **Альтернант —ì встречается после сочетаний из двух согласных или после основы, не имеющей неподвижного ударения** (ср. 2.61—2.62).

Примеры без —ì после единственного согласного и основы с неподвижным ударением: trónu—: повел. накл. trón'; pláka—: pláč.

Примеры с —ì после скопления двух согласных: kr'íknu— : kr'íkn'—i; jézd'i—: jézd'—i.

Примеры с —ì после основ, не имеющих фиксированного ударения: krád—: krad'—í, ср. 1-е л. ед. ч. наст. вр. krad—ú; s'id'é—: s'id'—í, ср. s'iž—ú; rub'—: rub'—í, ср. rubl'—ú (таковы же и соответствующие сложные глаголы с префиксом vi: ví+krad'—i, ví+s'id'—i, ví+rub'—i).

Однако **группа j—ì возможна только в том случае, если сама полная основа имеет на конце ji—.**

Например: tají—: taj—í; pojí—: paj—í; но stojá—: stój; p'j—: p'éj.

Инклюзив (категория, означающая, что к совершению действия приглашается вместе с говорящим и слушающий), **не имея специальной формы, использует 1-е лицо мн. ч. без местоимения от глаголов «совершенного» или «определенного» вида**[3].

Обе формы множественного числа — неинклюзивная и инклюзивная — присоединяют суффикс 2-го лица мн. ч. -t'i к соответствующей форме единственного числа.

Особый закон сандхи (фонологическая палатализация перед палатализованными согласными в таких формах, как gráp'—t'i, sláf'—t'i, v'ér'—t'i) отчетливо показывает, что их окончание может быть ин-

---

[1] В безударном, то есть в слабом, положении данный суффикс допускает только гласные высокие (diffuse), то есть наиболее слабые гласные; таким образом, это правило может быть названо „правилом аттракции по интенсивности“.

[2] Поскольку мягкие согласные характеризуются повышением тона и поскольку нелабиализованные гласные соотносятся с лабиализованными, как высокие с низкими, то сформулированное правило можно назвать „правилом аттракции по тональности“.

[3] То есть от любого „маркированного“ (признакового) вида. Ср. R. Jakobson. Signe zéro.—См. наст. сб., с. 222 и сл.

терпретировано только как нулевой суффикс, за которым следует суффикс множественного числа -t'i. Ср., например, этот же нулевой суффикс, за которым следует „рефлексивный" суффикс -sa в таких формах, как znakóm'—sa, vís'—sa, zabót'—sa, резко отличающихся от сходных скоплений согласных в zabí—t-ca, skr'ib'—ó-t-ca, 3-е л. ед. ч. от skr'is—t-ís' [1].

2.21. *Открытые полные основы.* **Открытые полные основы остаются без изменения перед консонантным окончанием и теряют свою конечную фонему перед вокалическим окончанием.** Например: l'ožá—: ж. р. прош. вр. l'ižá—l-a ∾ 3-е л. наст. вр. l'iž—á-t; poro—: paró—l-a ∾ pór'—u-t; dv'ínu—: dv'ínu—l-a ∾ dv'ín—u-t; govor'í—: gavar'í—l-a ∾ gavar'—á-t.

Это правило является импликацией более общего закона, согласно которому любая морфема, имеющая в конце гласный, теряет его перед суффиксом, начинающимся с гласного (например, суффикс причастия прош. вр. -ši теряет свой гласный перед вокалическим суффиксом склонения: -š-ìj, -š-àja, -š-òvo и т. д.).

2.22. *Закрытые полные основы.* Все закрытые полные основы остаются неизменными перед вокалическим окончанием.

2.221. Ограниченно закрытые полные основы. **Полные основы на j, v, n, m теряют свою конечную фонему перед консонантным окончанием.** Это единственные основы, которые, сохраняя одно и то же число слогов, являются регулярно закрытыми перед вокалическими окончаниями и открытыми перед консонантными окончаниями.

Например: d'élaj—: 3-е л. мн. ч. наст. вр. d'élaj—u-t ∾ 3-е л. ж. р. прош. вр. d'éla—l-a; stán—: stán—u-t ∾ stá—l-a; živ—: živ—ú-t ∾ ži—l-á.

2.222. Неограниченно закрытые полные основы. Все остальные закрытые полные основы (на k, g, t, d, s, z, b, r) остаются незатронутыми изменениями как перед вокалическими окончаниями, так и перед по крайней мере частью консонантных окончаний. **Конечные велярные согласные закрытых полных основ опускаются только перед окончанием инфинитива; конечные дентальные взрывные отпадают только перед окончанием прошедшего времени;** полные основы на s, z, b, r никогда не усекаются.

Например: p'ok—: м. р. прош. вр. p'ók, ж. р. p'ik—l-á ∾ инф. p'é—č; str'ig—: str'ík, str'íg—l-a ∾ str'í—č; m'ot—: m'ó—l, m'i—l-á ∾ m'is—t'í; klád—: klá—l, klá—l-a ∾ klás—t'; n'os—: n'ós, n'is—l-á, n'is—t'í; v'oz—: v'ós, v'iz—l-á, v'is—t'í; t'r—: t'ór, t'ór—l-a (об инфинитиве см. 3.1).

2.23. *Кардинальное* (deeper) *усечение.* **Если суффикс основы -nu— не означает мгновенности и имеет перед собою согласный, то он опускается в формах прошедшего времени.**

---

[1] См. R. Jakobson. Zur Struktur des russischen Verbums.— См. с. 210 и сл. наст. изд.

Например: gásnu— ∾ м. р. ед. ч. прош. вр. gás, ж. р. gás—l-a; iščéznu— ∾ iščés, iščéz—l-a.

Перед j— группа vá, если только ей предшествует a, опускается в настоящем времени, и ударение переходит на следующий слог.

Например: daváj—: повел. накл. daváj ∾ 1-е л. ед. ч. наст. вр. daj—ú, 3-е л. мн. ч. daj—ú-t ∾ ж. р. прош. вр. davá—l-a, инф. davá—t'.

2.24. *Сопутствующие изменения.* **Перед опущенным a— группа ov регулярно заменяется группой uj—, ударение переносится с a— на új—, если только это uj— не образует начального слога; в противном случае ударение переносится на последующую гласную** (но относительно повел. накл. ср. 2.122).

Например: s'étova— ∾ 1-е л. ед. ч. наст. вр. s'étuj—u, повел. накл. s'étuj; darová— ∾ darúj—u, darúj; ková— ∾ kuj—ú, kúj; pl'ová— ∾ pl'uj—ú, pl'új.

Перед опущенным j— гласная o в односложных основах и нуль в неслоговых основах замещаются гласной i.

Например: mój— ∾ ж. р. прош. вр. mí—l-a; p'j— ∾ p'i—l-á.

Перед опущенным носовым нуль в неслоговых основах замещается á.

Например: žm— ∾ ж. р. прош. вр. žá—l-a; žn— ∾ ж. р. прош. вр. žá—l-a.

2.3. Конвергенция конечных согласных в закрытых полных основах. Все конечные дентальные и лабиальные неограниченно закрытых полных основ совпадают в s перед окончанием инфинитива. Это — единственный согласный, который допускается в этой позиции.

Например: n'os— ∾ инф. n'is—t'í; gríz— ∾ grís—t'; m'ot— ∾ m'is—t'í; v'od— ∾ v'is—t'í; gr'ob— ∾ gr'is—t'í.

2.4. Мягкость и твердость конечного согласного. Открытая полная основа может заканчиваться любой из пяти гласных фонем русского языка: i, e, a, o, u; все они выпадают перед вокалическим окончанием. Последний согласный открытой полной основы является мягким (палатальным или палатализованным) перед i— и é—, твердым перед u— и ó—, твердым или палатальным (но никогда не палатализованным) перед a—. Закрытые основы могут заканчиваться на j или только на твердые согласные.

Например: l'iši—, v'ér'i—, kišé—, v'el'é—; gnú—, kolo—; pr'áta—, žda—, stučá—; znáj—, tr'as—.

2.41. *Мягкие полные основы.* **Если последний согласный полной основы является мягким, он сохраняет свою мягкость на протяжении всей парадигмы и только в 1-м лице ед. ч. настоящего времени смягчение становится „переходным"** [1] (поскольку это допускает данный согласный).

---

[1] Если твердый согласный превращается в палатализованный без каких-либо других изменений в его характере, то русисты называют такое смягчение „непереходным"; смягчение, сопровождаемое изменением в основном месте артикуляции (замещение велярного или дентального палатальным) или заменой одной фонемы сочета-

Переходное смягчение — понятие, хорошо известное русской фонологии,— состоит в замещении велярного или дентального палатальным согласным (k или t > č; x s > š; g d z > ž; zg zd > žǯ; sk st > šč) или в добавлении палатализованного l к любому лабиальному (p b f v m > pl' bl' fl' vl' ml').

Например: m'ét'i—: 1-е л. ед. ч. наст. вр. m'éč—u, 3-е л. мн. ч. m'ét'—u-t; mstí—: mšč—ú, mst'—á-t; s'id'é—: s'iž—ú, s'id'—á-t; jézd'i—: jéžǯ—u, jézd'—u-t; v'is'é—: v'iš—ú, v'is'—á-t; groz'í—: graž—ú, graz'—á-t; kup'í—: kupl'—ú, kúp'—u-t; l'ub'i—: l'ubl'—ú, l'úb'—u-t; graf'i—: grafl'—ú, graf'—á-t; stáv'i—: stávl'—u, stáv'—u-t; šum'é—: šuml'—ú, šum'—á-t.

2.42. *Твердые полные основы*. **Если последний согласный полной основы является твердым, то он смягчается только в следующих случаях:**

А. Согласный, за которым следует a— или o—, в многосложной основе смягчается перед любым вокалическим окончанием; смягчение является „переходным“ (если только данный согласный допускает его).

Например: pláka—: 1-е л. ед. ч. наст. вр. pláč—u, 3-е л. ед. ч. pláč—i-t, 3-е л. мн. ч. pláč—u-t, повел. накл. pláč; skaka—: skač—ú, skáč—i-t, skáč—u-t, skač—í; iska—: išč—ú, íšč—u-t, íšč—i-t, išč—í; brízga—: brížǯ—u, brížǯ—i-t и т. д.; paxa—: paš—ú, páš—i-t и т. д.; pr'áta—: pr'áč—u, pr'áč—i-t и т. д.; gloda—: glaž—ú, glóž—i-t и т. д.; p'isa—: p'iš—ú, p'íš—i-t и т. д.; máza—: máž—u, máž—i-t и т. д.; sípa—: sípl'—u, sípl'—i-t и т. д.; ora—: ar'—ú, ór'—i-t и .т. д.; kolo—: kal'—ú, kól'—i-t и т. д.

В. В остальных случаях согласный подвергается „непереходному“ смягчению перед любым вокалическим окончанием, которое не начинается с —u; велярные, однако, подвергаются „непереходному“ смягчению только перед окончаниями повелительного наклонения и „переходному“ смягчению в остальных случаях.

Например: односложные полные основы на a—: žda—: žd—ú, žd'—ó-t, žd—ú-t, žd'—í и т. д.; rva—: rv—ú, rv'—ó-t, rv—ú-t, rv'—í и т. д.; lga—: lg—ú, lž—ó-t, lg—ú-t, lg'—í и т. д.

Полные основы на u—: tonu—: tan—ú, tón'—i-t, tón—u-t, tan'—í и т. д.

Закрытые полные основы: pas—: pas—ú, pas'—ó-t, pas—ú-t, pas'—í и т. д.; p'ok—: p'ik—ú, p'ič—ó-t, p'ik-ú-t, p'ik'—í и т. д.; b'er'og—: b'ir'ig—ú, b'ir'iž—ó-t, b'ir'ig—ú-t, b'ir'ig'—í и т. д.

2.5. Вставные гласные. — Гласная вставляется в неслоговую полную основу перед неслоговым окончанием и — если основа имеет на конце r — перед любым консонантным окончанием. В качестве вставной гласной выступает é в инфинитиве и ó в остальных случаях.

нием фонем (эпентеза палатализованного согласного), называется „переходным“. Так, мы имеем следующие наборы: k (k')č, sk(sk')šč, tk tk'—,g(g')ž, zg(zg')žǯ, x(x')š, t t'č, st st' šč, d d'ž, zd zd' žǯ, s s' š, z z' ž, p p' pl', b b' bl', f f' fl', v v' vl', m m' ml', n n'—, r r' —, l l' —.

Например: žg—: м. р. прош. вр. žók, ж. р. žg—l-á, инф. žé—č; t'r—: t'ór, t'ór—l-a.

2.61. *Полные основы с подвижным и неподвижным ударением.* Во всех личных формах, а также в инфинитиве ударение падает на один и тот же слог ударной полной основы, за исключением, однако, того, что **в открытых и неограниченно закрытых полных основах ударение переходит с их конечного или единственного слога на первый или единственный слог вокалического окончания.**

В нашей транскрипции полной основы акцентуационным знаком акута (') отмечен тот единственный слог, который в личных формах может нести ударение.

Например: sáxar'i—: 1 л. ед. ч. наст. вр. sáxar'—u, 3 л. мн. ч. sáxar'—u-t, м. р. прош. вр. sáxar'i—l, ж. р. sáxar'i—l-a, мн. ч. sáxar'i—l'-i; carápnu—: carápn—u, carápn—u-t, carápnu—l, carápnu—l-a, carápnu—l'-i; v'el'é—: v'il'—ú, v'il'—á-t, v'il'é—l, v'il'é—l-a, v'il'é—l'-i; krád—: krad—ú, krad—ú-t, krá—l, krá—l-a, krá—l'-i; str'íg—: str'ig—ú, striž—ó-š, str'ík, str'íg—l-a, str'íg'—l'-i; но ударение остается неподвижным на конечном (или единственно) слоге ограниченно закрытых основ: rugáj—: rugáj—u, rugáj—u-t, rugá—l, rugá—l-a, rugá—l'-i; d'én—: d'én—u, d'én—u-t, d'é—l, d'é—l-a, d'é—l'-i.

2.62. *Безударные полные основы.* **Этот** тип представлен двумя разновидностями: **А. Глаголы с открытыми многосложными полными основами имеют ударение либо на простом окончании, либо на предшествующем гласном, если окончание является сложным** (ср. 1.2). **В. Остальные глаголы имеют ударение на последнем (или единственно) способном нести ударение слоге. Исключение составляют окончания среднего рода и множественного числа в прошедшем времени, ударение с которых передвигается на предшествующий слог** (ср. 1.32). **Под это исключение не подпадают, однако, всецело закрытые полные основы.**

В нашей морфонологической транскрипции отсутствие акцентуационного знака акута (') означает безударную полную основу.

Например: 1) открытые многосложные полные основы: xoxota—: повел. накл. xaxač—í, 1-е л. наст. вр. xaxač—ú, 2-е л. ед. ч. xaxóč—i-š, 3-е л. мн. ч. xaxóč—u-t и м. р. прош. вр. xaxatá—l, ж. р. xaxatá—l-a, мн. ч. xaxatá—l'-i; var'i—: var'—í, var'—ú, vár'—i-š, vár'—u-t, var'í—l, var'í—l-a, var'í—l'-i; 2) открытые односложные полные основы: žda—: žd'—í, žd—ú, žd'—ó-š, žd—ú-t, ždá—l, ж. р. žda—l-á, ср. р. zdá—l-a, мн. ч. ždá—l'-i; ограниченно закрытые основы: pliv—: pliv'—í, pliv—ú, pliv'—ó-š, pliv—ú-t, plí—l, ж. р. pli—l-á, но ср. р. plí—l-a, мн. ч. plí—l'-i; kl'an—: kl'in'—í, kl'in—ú, kl'in'—ó-š, kl'in—ú-t, kl'á-l, kl'i—l-á, но kl'á—l-a, kl'á—l'-i; l'j—: l'éj (ср. 2.122), l'j—ú, l'j—ó-š, l'j—ú-t, l'í—l, l'i—l-á, но l'í—l-a, l'í—l'-i; неограниченно закрытые основы: tr'as—: tr'is'—í, tr'is—ú, tr'is'—ó-š, tr'is—ú-t, tr'ás, tr'is—l-á, tr'is—l-ó, tr'is—l'-í, инф. tr'is—t'í; v'od—: v'id'—í, v'id—ú, v'id'—ó-š, v'id—ú-t, v'ó—l, v'i—l-á, v'i—l-ó, v'i—l'-í, v'is—

t'í; b'er'og—: b'ir'ig'—í, b'ir'ig—ú, b'ir'iž—ó-š, b'ir'ig—ú-t, b'ir'ók, b'ir'ig—l-á, b'ir'ig—l-ó, b'ir'ig—l'-í, b'ir'é—č (ср. 2.111).

2.7. Продуктивность. Продуктивными (ср. 1.7) являются все существующие глагольные типы с многосложной ударной полной основой, если она заканчивается высокой гласной (i, u) или если предвокальный альтернант основы оканчивается на „подвижное" j (ср. 2.221 и 2.24).

Например: xaltúr'i—; buz'í—; bl'ofnú—; šámaj—; 3-е л. мн. ч. наст. вр. šámaj—u-t ∾ ж. р. прош. вр. šáma—l-a; vigžel'áj—: v'igžil'áj—u-t, v'igžil'á—l-a; xam'éj—: xam'éj—u-t ∾ xam'é—l-a; tr'est'írova—: tr'ist'íruj—u-t ∾ tr'ist'írava—l-a; m'it'ingová—: m'it'ingúj—u ∾ m'it'ingavá—l-a.

2.8. Заключение. Правила, сформулированные выше и набранные прямым жирным шрифтом, позволяют каждому при беглом просмотре простого перечня полных основ вывести их полную модель спряжения со всеми возможными чередованиями в основе, окончании и в месте ударения. Если эти немногие правила дать в качестве введения, то достаточно было бы словаря, перечисляющего только полные основы глаголов, чтобы читатель мог составить себе полное представление о спряжении соответствующего глагола. Кроме того, эти же правила можно было бы переформулировать в доходчивой форме для целей обучения. Если полной основы в списке не окажется, потребуются две глагольные формы, чтобы установить ее в основном виде: форма женского рода прошедшего времени и какая-либо одна из форм настоящего времени, кроме формы 1-го лица ед. ч. (наиболее удобной для этой операции является форма 3-го лица мн. ч.). Кроме того, потребуется несколько дополнительных элементарных правил для овладения орфографией. И наконец, придется специально выучить некоторое число „непредсказуемых" неправильностей.

Исключения

3.1. Отдельные отклоняющиеся формы.

xot'é—: 2-е и 3-е л. ед. ч. наст. вр. xóč—i-š, xóč—i-t (вместо ожидаемого xat'—í-š, xat'—í-t).

b'ežá—: 1-е л. ед. ч. наст. вр. b'ig—ú, 3-е л. мн. ч. b'ig—ú-t, повел. b'ig'—í (вместо b'iž—ú и т. д.).

kl'an—: инф. kl'ás—t' (вместо kl'á—t').

id—: инф. i—t'í (вместо is—t'í; формы прош. вр. супплетивны).

m'r—, p'r—, t'r—, инф. m'ir'é—t', p'ir'é—t', t'ir'é—t' (вместо m'ér—t', p'ér—t', t'ér—t') [1].

sípa—, krápa—: повел. накл. síp', kráp' (вместо sípl'—i, krápl'—i).

3.2. Расхождения между видом основы в позиции перед гласными и перед согласными. Ожидаемое чередование согласных не имеет места

[1] Приставочный глагол с закрытой полной основой (u)+ šib— образует инфинитив от открытой полной основы (u)+šib'i—.

у четырех глаголов: ará— ∾ 3-е л. мн. ч. наст. вр. ar—ú-t; sosá— ∾ sas—ú-t; stona— ∾ stón—u-t, žáždа— ∾ žážd—u-t.

Дистрибуция твердого и мягкого согласных (ср. 2.41—42) и лабиализованного и нелабиализованного суффиксов наст. вр. (ср. 2.12) отклоняется от модели у следующих четырех глаголов: spa— ∾ sp'—á-t; r'ov'é— ∾ r'iv—ú-t; sm'ejá— ∾ sm'ij—ú-t-ca; ržá— ∾ rž—ú-t.

У четырех глаголов „переходное смягчение" t дает šč вместо регулярного č: kl'ev'eta— ∾ kl'iv'éšč—u-t; ropta— ∾ rópšč—u-t; skr'eže-ta— ∾ skr'ižéšč—u-t; tr'ep'eta— ∾ tr'ip'éšč—u-t.

Два глагола имеют совершенно неправильные чередования согласных: slá— ∾ šl'—ú-t; jéxa— ∾ jéd—u-t.

Неправильное чередование гласных имеет место у трех глаголов: molo— ∾ m'él'—u-t; poj— ∾ ж. р. прош. вр. p'é—l-a; br'éj ∾ br'í—l-a.

Нерегулярное чередование „гласный ∾ нуль" наблюдается у четырех глаголов: zva— ∾ zav—ú-t; bra— ∾ b'ir—ú-t; dra— ∾ d'ir—ú-t; tolok— ∾ talk—ú-t.

У четырех глаголов нарушена обычная модель ударения: rod'í—∾ ∾ ж. р. прош. вр. rad'i—l-á, ср. р. rad'í—l-a, мн. ч. rad'í—l'i (совершенный вид); pr'ad— ∾ pr'i—l-á, pr'á—l-a, pr'á—l'-i (ср. 2.62); l'éz— ∾ 3-е л. мн. ч. наст. вр. l'éz—u-t (ср. 2.61); dn'ová— ∾ dn'új—u-t (ср. 2.24).

У пяти глаголов наблюдаются наиболее сложные расхождения между видом основы в позиции перед гласным и согласным: 3-е л. мн. ч. наст. вр. gón'—u-t ∾ ж. р. прош. вр. gna—l-á; st'él'—u-t ∾ ~ stla—l-á (помимо правильного st'il'í—l-a); l'ág—u-t ∾ l'ig—l-á; s'ád—u-t ∾ s'é—l-a; búd—u-t ∾ bi—l-á.

3.3. Неправильные глаголы. Два глагола — jés—t' и dá—t' — имеют неправильную парадигму в настоящем времени и в повелительном наклонении: jé—m, jé—š, jés—t, jid'—í-m, jid'—í-t'i, jid'—á-t, повел. накл. jé—š; dá—m, dá—š, dás—t, dad'—í-m, dad'—í-t'i, dad—ú-t, dáj.

О СТРУКТУРЕ РУССКОГО ГЛАГОЛА* [1]

I

Одно из существенных свойств фонологических корреляций состоит в том, что оба члена корреляционной пары неравноправны: один член обладает соответствующим признаком, другой им не обладает; первый определяется как п р и з н а к о в ы й (м а р к и р о в а н н ы й), второй — как б е с п р и з н а к о в ы й (н е м а р к и р о в а н н ы й)[2]. Это же определение может служить основанием для характеристики м о р ф о л о г и ч е с к и х к о р р е л я ц и й. Вопрос о значении отдельных морфологических категорий в данном языке постоянно вызывает сомнения и разногласия среди исследователей языка. Чем объясняется большинство этих колебаний? Рассматривая две противопоставленные друг другу морфологические категории, исследователь часто исходит из предпосылки, что обе эти категории равноправны и каждая из них обладает свойственным ей положительным значением: категория I означает A, категория II означает B, или по крайней мере категория I означает A, категория II означает отсутствие, отрицание A. В действительности же о б щ и е з н а ч е н и я коррелятивных категорий распределяются иначе: если категория I указывает на наличие A, то категория II не указывает на наличие A, иными словами, она не свидетельствует о том, присутствует A или нет. Общее значение категории II сравнительно с категорией I ограничивается, таким образом, отсутствием „сигнализации A".

* См. R. J a k o b s o n. Zur Struktur der russischen Verbums.— In: „Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata". Prague, 1932, p. 74—84. Перепечатана в: „Roman Jakobson. Selected Writings", II, p. 3—15. Авторизованный перевод.— *Прим. ред.*

[1] Настоящая статья представляет собой предварительный набросок одной из глав структурной грамматики. Центральное место в статье занимает анализ императива — категории, которая может быть понята только с учетом разнообразия языковых функций. — *Прим. автора.*

[2] См. T r u b e t z k o y. Die phonologischen Systeme.— In: TCLP, IV, p. 97,

Если в определенном контексте категория II все же сигнализирует отсутствие А, то это является лишь одним из употреблений данной категории: значение здесь обусловлено ситуацией; и даже если такое значение является самой обычной функцией данной категории, исследователь тем не менее не должен отождествлять статистически преобладающее значение категории с ее общим значением. Подобного рода отождествление приводит к злоупотреблению понятием т р а н с п о з и ц и и. Транспозиция категории имеет место лишь там, где ощущается перенос значения (транспозицию я рассматриваю здесь только с точки зрения синхронии). Русское слово *ослица* свидетельствует о том, что это животное женского пола, в то время как общее значение слова *осел* не содержит в себе никакого указания на пол данного животного. Говоря *осел*, я не уточняю, идет здесь речь о самце или о самке; но если на вопрос *это ослица?* я отвечаю *нет, осел*, то мой ответ уже содержит указание на мужской пол животного — слово употреблено здесь в более узком смысле. Не нужно ли в таком случае значение слова *осел* без указания на пол понимать как более широкое? Нет! Ибо здесь отсутствует ощущение переносного значения, так же как, например, не являются метафорами выражения *товарищ Нина* или *эта девушка — его старый друг*. Однако перенос значения имеет место, например, в так называемом вежливом множественном или при ироническом употреблении первого лица множественного числа в смысле второго лица единственного; равным образом воспринимается как метафора употребление слова *дура* применительно к мужчине; такое употребление усиливает аффективную окраску слова.

Русские исследователи середины прошлого столетия правильно оценили существенное различие между общим и частным значением категории. Уже К. Аксаков строго различает понятие, выраженное посредством грамматической формы, с одной стороны, и производное понятие как факт употребления, с другой стороны [1]. Равным образом Н. Некрасов учит, что «главные значения дробятся в употреблении на множество частных значений, зависящих от смысла и тона целой речи» [2]. Он различает, следовательно, общее грамматическое значение формы и те эпизодические частные значения, которые она может приобрести в контексте. Связь между формой и значением он определяет в первом случае как фактическую, а во втором — как возможную. Принимая то, что имеет в языке значение лишь возможной связи, за связь фактическую, грамматисты приходят к установлению правил с множеством исключений. Из высказываний, приведенных ниже, вытекает следующее: уже Аксаков и Некрасов [3], а еще раньше Во-

---

[1] См. К. С. А к с а к о в. Сочинения филологические. Часть I, 1875, с. 414 и сл.

[2] Н. Н е к р а с о в. О значении форм русского глагола, 1865, с. 94 и сл., 115 и сл., 307 и сл.

[3] Оба эти лингвиста, замечательные исследователи русской языковой синхронии, естественно, недооценивались учеными, которые односторонне отдавали предпочтение историческому языкознанию. Например, Карский в своем „Очерке научной разработки русского языка" (1926) обходит молчанием работу Некрасова, а в адрес Ак-

стоков[1] в своих исследованиях об основных значениях отдельных русских морфологических категорий неоднократно констатировали, что, в то время как одна категория указывает на определенный признак, в другой категории этот признак остается неуказанным. Этот вывод неоднократно повторяется в позднейшей русской специальной литературе, особенно у Фортунатова[2], Шахматова[3], Пешковского[4], Карцевского[5]. Так, Шахматов рассматривает отдельные противопоставления глагольных категорий как „обосложнение" теми или иными сопутствующими представлениями[6]. Пешковский говорит о „нулевых категориях", в которых вследствие сравнения с противоположными категориями «о т с у т с т в и е значения создает здесь своего рода значение»; «подобными нулевыми категориями,— говорит он,— переполнен наш язык»[7]. Эта „нулевая категория", по существу, соответствует нашей беспризнаковой категории. Нулевыми или отрицательными значимостями оперирует и Карцевский, который при этом констатирует, что противоположения грамматических категорий б и н а р н ы[8].

Таким образом, морфологические корреляции и их распространение в языке получили всеобщее признание. Однако в конкретных грамматических описаниях они большей частью находятся на положении эпизодических, второстепенных понятий. Ныне необходимо сделать следующий шаг: понятие морфологической корреляции, как его сформулировал Трубецкой, должно быть положено в основу анализа грамматических систем. Если с точки зрения этого понятия мы будем рассматривать, например, систему русского глагола, то окажется, что этот последний может быть полностью сведен к системе немногих корреляций. Установление этих корреляций и составляет содержание настоящей работы. При этом мы пользуемся в большинстве случаев традиционной грамматической терминологией, хотя и признаем ее неточность.

II

К л а с с ы г л а г о л а образуются двумя видовыми и двумя залоговыми корреляциями.

сакова посылает лишь несколько бессодержательных упреков.— См. по этому поводу: Бодуэн де К у р т е н е Избранные труды по общему языкознанию, т. I. М., 1963, с. 363.

[1] А. В о с т о к о в. Русская грамматика, 1831*.

* Настоящая работа и ряд других русских работ выдержали несколько изданий, в связи с чем в указаниях страниц (в сносках) и в текстах цитат возможны некоторые отклонения.— *Прим. ред.*

[2] Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в. О залогах русского глагола.— „Известия Отд. русского языка и словесности АН", т. IV, кн. 4, 1899, 1153—1158.

[3] А. А. Ш а х м а т о в. Синтаксис русского языка, т. II. Учение о частях речи, 1927.

[4] А. М. П е ш к о в с к и й. Русский синтаксис в научном освещении, 1914; 3-е, совершенно переработанное изд.— 1928 г.

[5] S. K a r c e v s k i j. Système du verbe russe. Prague, 1927.

[6] А. А. Ш а х м а т о в. Указ. раб., § 523.

[7] А. М. П е ш к о в с к и й. Указ. раб., 31 (по третьему изданию).

[8] S. K a r c e v s k i j. Указ. раб., с. 18, 22 и сл.

Общая видовая корреляция: формы совершенного вида (признаковая категория) ~ формы несовершенного вида (беспризнаковая категория). Беспризнаковый характер форм несовершенного вида является, очевидно, общепризнанным. По Шахматову, «несовершенный вид означает обычное, неквалифицированное действие-состояние» [1]. Уже у Востокова «совершенный вид показывает действие с означением, что оно начато или кончено», тогда как несовершенный вид «показывает действие без означения начала и конца оному» [2]. Можно было бы сказать точнее, что формы совершенного вида в противоположность формам несовершенного вида указывают абсолютную границу действия. Мы подчеркиваем „абсолютную", так как глаголы, обозначающие повторяющиеся начинания и завершения многократных действий, остаются несовершенными *(захаживал)* [3]. Нам кажется чересчур узким определение, даваемое теми исследователями, которые ограничивают функцию форм совершенного вида обозначением недлительности действия; ср. такие глаголы совершенного вида, как *понастроить*, *повыталкивать*, *нагуляться*, в которых указывается на завершение действия, однако отсутствуют какие-либо указания на его „точечный" или „непродолжительный", „кратковременный" характер.

Внутри глаголов несовершенного вида существует следующая видовая корреляция: „итеративные" формы, обозначающие многократность действия (признаковая категория) ~ формы без указания на многократность. Общая видовая корреляция охватывает все формы спряжения, тогда как вторая корреляция принадлежит лишь прошедшему времени.

III

Общая залоговая корреляция: формы, обозначающие непереходность действия (признаковая категория) ~ формы без указания на непереходность, то есть формы „действительного залога" в широком смысле слова. Понимание форм действительного залога как беспризнаковых было свойственно, собственно говоря, уже Фортунатову [4].

Признаковый член упомянутой корреляции содержит в свою очередь корреляцию, членами которой являются формы „страдательного залога" (признаковая категория) ~ „возвратные формы". Формы страдательного залога указывают на то, что действие производится не субъектом, а переходит на него извне. В словосочетании *девушки*,

---

[1] А. А. Шахматов. Указ. раб., § 540.
[2] А. Востоков. Указ. раб., § 59.
[3] Несовершенными остаются и те глаголы, у которых абсолютный характер действия является факультативным (то есть не обозначен грамматически, а дан конкретной ситуацией). Ср. *вот он выходит* или *он часто выходит*.
[4] Ф. Ф. Фортунатов. Указ. раб., § 1153 и сл.

продаваемые на невольничьем рынке на „пассивность" указывает причастие; если же мы в этом словосочетании на место слова *продаваемые* подставим слово *продающиеся*, то „пассивность" будет выражена только контекстом, так как форма как таковая обозначает лишь непереходность. Ср., например, словосочетание *девушки, продающиеся за кусок хлеба*, где страдательное значение отсутствует вовсе, так как контекст его не подсказывает. Общая залоговая корреляция охватывает все формы спряжения; вторая корреляция затрагивает только причастия. В языковедческой литературе возникли сомнения по поводу того, куда должны быть отнесены при классификации глаголов так называемые „Communia" или „Reflexiva tantum" (*бояться* и т. п.). С точки зрения общей залоговой корреляции они являются непарными признаковыми формами.

IV

С и с т е м а с п р я ж е н и я. Я оставляю в стороне „составные" формы. Они лежат за пределами собственно морфологической системы глагола.

„Инфинитив" в отношении его „синтаксической" значимости характеризуется Карцевским как нулевая форма глагола: здесь речь идет о «выражении процесса вне всякого синтагматического отношения» [1]. Остальные глагольные формы указывают на наличие синтагматических отношений и функционируют, таким образом, в противоположность инфинитиву как признаковые члены корреляции.

Эта признаковая категория распадается в свою очередь на два коррелятивных ряда: „причастия" (признаковая категория) ~ „личные" формы. Шахматов определяет причастие как категорию, которая по сравнению с личными формами „обосложнена" представлением о пассивном признаке [2]. Так, в качестве признака корреляции здесь выступает признак адъективности („прилагательности"). Наоборот, причастия по отношению к прилагательным образуют признаковую категорию, сигнализирующую о „глагольности".

V

Л и ч н ы е ф о р м ы обладают „корреляцией наклонения". Изъявительное наклонение уже неоднократно определялось как отрицательное или нулевое. «Это действие — п р о с т о, действие, не осложненное никаким особым оттенком наклонения, подобно тому, как именительный падеж обозначает просто предмет, без оттенка падежности» [3]. Изъявительному наклонению как немаркированной кате-

---

[1] С. К а р ц е в с к и й. Указ. раб., с. 18, 158.

[2] А. А. Ш а х м а т о в. Указ. раб., § 536.

[3] А. М. П е ш к о в с к и й. Указ. раб., с. 126 (по первому изданию); ср. также С. К а р ц е в с к и й. Указ. раб., с. 141.

гории противополагается наклонение, указывающее на волюнтативный аспект (willkürhafter Einschlag) действия („модальность произвольного акта“ [1] — по Карцевскому); именно в указании на этот аспект и заключается признак корреляции. Действие, которое выражается этим наклонением, может быть произвольно приписано субъекту (*приди он, все бы уладилось*), оно может быть также произвольно навязано субъекту (*все говорят, а мы молчи*), оно может, наконец, представлять произвольное, неожиданное, немотивированное действие субъекта (*нечаянно загляни к нему смерть и подкоси ему ноги*). В предложениях последнего типа Некрасов видит выражение „самоличности действия“, что полностью соответствует мáстерской характеристике, которую он дает этой грамматической категории: «Действительной связи действия с лицом, действующим в ней самой, нет... лицо говорящее распоряжается, так сказать, в этом случае действием...» [2]

VI

Изъявительное наклонение обладает „временнóй корреляцией“: „прошедшее время“ (признаковая категория) ~ „настоящее время“. Прошедшее указывает на то, что действие относится к прошлому, тогда как настоящее как таковое не определено в отношении времени и является типично беспризнаковой категорией. Примечательным является понимание прошедшего времени в русском языке, предложенное К. Аксаковым и развитое затем Н. Некрасовым [3]: эта форма, в сущности, выражает не время, а только разрыв непосредственной связи между субъектом и действием; действие теряет, собственно говоря, свой характер действия и принимает просто значение признака субъекта.

Настоящее время обладает двумя „корреляциями лица“.

1. Личные формы (признаковая категория) ~ безличные формы. В качестве грамматически безличной формы функционирует так называемое „третье лицо“, которое само по себе не обозначает отнесенности действия к субъекту; эта форма становится семантически личной только в том случае, если дан субъект или по крайней мере если он подразумевается. Так называемые безличные глаголы с точки зрения упомянутой корреляции являются непарными беспризнаковыми формами.

2. Личные формы обладают корреляцией: форма первого лица (признаковая категория) ~ форма, которая не указывает на отнесенность действия к говорящему лицу. Это так называемая форма „второго лица“, которая функционирует как беспризнаковая кате-

---

[1] „Modalité d'acte arbitraire“; см. С. Карцевский. Указ. раб., с. 139 и сл.
[2] Н. Некрасов. Указ. раб., с. 105—106.
[3] К. Аксаков. Указ. раб., с. 412 и сл.; Н. Некрасов. Указ. раб., с. 306 и сл.

горня. **Общее значение** русской формы 2-го лица было метко охарактеризовано Пешковским как „обобщенно-личное“ [1]. Контекст определяет, к какому лицу, смотря по обстоятельствам, относится эта форма: к любому (*умрешь — похоронят*), к говорящему (*выпьешь, бывало*) или к тому конкретному лицу, к которому обращаются. Правда, эта форма употребляется преимущественно в последнем смысле; однако это лишь одно из ее частных значений, а в вопросе об общем значении формы статистический критерий неприменим: обычное, узуальное значение и общее значение несинонимичны. Кроме того, форма 2-го лица в своей обобщающей функции «все больше и больше развивается в (русском) языке за счет обычных личных предложений» [1]. Что касается обобщающего употребления формы 1-го лица, то оно воспринимается как переносное (pars pro toto).

Как настоящее, так и прошедшее время обладают „корреляцией числа“: „множественное число“ (признаковая категория) ~ „единственное число“. Общее значение беспризнаковой категории сводится к тому, что она не сигнализирует множественности. Это признавал уже Аксаков: «Единственное число общее, неопределеннее, более имеет в себе родового, так сказать, характера; поэтому чаще может переноситься в другие отношения, между тем как множественное имеет более частный характер» [2]. Однако в противоположность всем прочим глагольным корреляциям, которые мы рассматривали, корреляция числа в изъявительном наклонении (и равным образом в причастии) детерминируется извне: это не самостоятельная корреляция, а корреляция согласования, так как она передает грамматическое число подлежащего.

К числу корреляций согласования относятся также обе „родовые корреляции“, которые характеризуют единственное число прошедшего времени: 1) Средний род сигнализирует отсутствие отношения к полу [3]. Имена существительные среднего рода составляют, таким образом, признаковую категорию, в противоположность именам существительным не-среднего рода, которые могут указывать пол и тем самым не обозначают „отсутствия пола“ (Asexualität). 2) Имена существительные не-среднего рода распадаются на два коррелятивных ряда. Имена женского рода образуют признаковую категорию, тогда как имена мужского рода грамматически свидетельствуют лишь о том, что сигнализация женского рода отсутствует (ср. приведенные выше примеры: *осел, ослица* и т. д.).

VII

В противоположность изъявительному наклонению „**наклонение произвольного действия**“ не имеет корреляций: оно не имеет ни самостоятельной корреляции лица, ни само-

[1] А. М. Пешковский. Указ. раб., с. 430 и сл. (по третьему изданию).
[2] К. Аксаков. Указ. раб., 569.
[3] Ср. А. М. Пешковский. Указ. раб., с. 126 (по первому изданию): «...средний род... обозначает,.. нечто отрицательное, ни мужское, ни женское,..».

стоятельной корреляции времени, ни корреляций согласования в числе и роде [1]. Но это наклонение „двустороннее": с одной стороны, оно вместе с прочими глагольными категориями принадлежит р е п р е з е н т а т и в н о м у плану языка, а с другой стороны, оно, как и собственно императив, выполняет, если следовать терминологии К. Бюлера, а п е л л я т и в н у ю ф у н к ц и ю.

Языкознание признало, что звательный падеж лежит в другой плоскости, нежели остальные падежи, и что звательная форма обращения находится вне грамматического предложения. Равным образом следует отделить от других глагольных категорий и и м п е р а т и в, и л и п о в е л и т е л ь н о е н а к л о н е н и е, так как оно отмечено той же функцией, что и звательный падеж [2]. Повелительное наклонение нельзя рассматривать синтаксически как предикативную форму. Повелительные предложения, подобно обращению, являются полными и одновременно неразложимыми «вокативными односоставными предложениями» (Шахматов); они даже сходны между собою интонационно. Личное местоимение при повелительном наклонении *(ты иди)* по своей функции скорее обращение, чем подлежащее. Повелительное наклонение отчетливо выделяется внутри глагольной системы русского языка не только синтаксически, но и морфологически, и даже фонологически.

Хорошо известна тенденция языка сводить звательный падеж к чистой основе [3]. То же самое явление можно наблюдать и в русском повелительном наклонении. Беспризнаковая форма повелительного наклонения с точки зрения синхронии представляет собою основу настоящего времени без грамматического окончания. Строение этой формы определяется нижеследующими принципами: 1) Если в основе настоящего времени имеет место грамматическое чередование двух коррелятивных фонем (ударной и безударной гласной, палатализованной и непалатализованной согласной), то в повелительном наклонении появляется признаковый альтернант: безударная гласная *(хлопочи)*, палатальная согласная *(иди)*. 2) Если в основе настоящего времени имеет место чередование конечных согласных, то в повелительном наклонении появляется та согласная, которая бывает во втором лице настоящего времени *(суди, прости, люби)*; единственное исключение составляет чередование велярных с шипящими; в этом случае повелительное наклонение имеет всегда велярные *(лги, пеки,*

---

[1] Павский считал ошибочным стремление определять формы типа *сделай* как 2-е лицо ед. ч. Если даже форма повелительного наклонения типа *сделай* «чаще употребляется в значении 2-го лица ед. ч. и притом без добавления *ты*, то это еще не дает права называть ее формой 2-го лица. В значении 2-го лица она употребляется таще, чем все прочие лица» (Г. П а в с к и й. Филологические наблюдения над сосчавом русского языка. Рассуждение третье. О глаголе, 1850, § 90). Аналогичный взгляд развивается и Буслаевым; см. „Опыт исторической грамматики русского языка", II, 1858, с. 154. В некоторых новейших грамматиках понимание этого факта полностью утрачено.'

[2] Уже К. Аксаков признал, что «повелительное есть восклицание; оно соответствует звательному падежу» (К. А к с а к о в. Указ. раб., 568).

[3] Ср. S. O b n o r s k i j. Die Form des Vokativs im Russischen.— In: „Zeitschrift für slavische Philologie", Band I, 1925, S. 102 ff.

ляг). 3) Если основа настоящего времени односложна и имеет в исходе j, то в повелительном наклонении перед j появляется *е* как альтернант звукового нуля *(шей)*. 4) Если основа настоящего времени имеет в исходе группу согласных или если беспрефиксная основа состоит лишь из безударных слогов, то форма повелительного наклонения приобретает так называемый „паразитический гласный" (Flickvokal) i *(сохни, езди, колоти, выгороди)* [1]; единственное исключение: безударные основы настоящего времени на j глаголов, которые принадлежат к непродуктивным классам [2], сохраняют в повелительном наклонении ударение и обходятся без паразитического гласного *(стой, пой, жуй, создай)* [3].

Повелительное наклонение характеризуется следующими особыми корреляциями: 1) „Корреляцией соучастия": формы, сигнализирующие о намерении говорящего принять участие в действии (признаковая категория) ~ формы, не сигнализирующие этого. В роли признаковой категории выступает переосмысленная форма первого лица множественного числа настоящего времени *(двинем ~ двинь)*. 2) „Корреляцией числа": формы, указывающие на то, что желание говорящего направлено на некоторое множество (признаковая категория) ~ формы без указания на это *(двиньте ~ двинь, двинемте ~ двинем)*. Неоднократно поднимался вопрос, почему, собственно говоря, наклонение произвольного действия не использует в репрезентативном языке те формы множественного числа, которые оно употребляет там, где высказывание имеет апеллятивный характер. Эта проблема разрешается очень просто: к глаголу в повелительном наклонении вообще нельзя примыслить подлежащее; таким образом, в сфере повелительного наклонения корреляция числа является самостоятельной, а признаковый член самостоятельной корреляции не может быть перенесен в корреляцию согласования. 3) „Корреляцией интимности": формы, которые сигнализируют о до известной степени интимной или фамильярной окраске проявления желаний (признаковая категория) ~ формы, не сигнализирующие этого *(двинь-ка, двиньте-ка, двинемте-ка ~ двинь* и т. д.).

Различие между апеллятивной и репрезентативной функциями в системе русского глагола выражается не только в составе корреляций, но и непосредственно в способе их образования [4]. Формы повелительного наклонения отличаются от прочих глагольных форм агглютинацией окончаний: в повелительном наклонении каждое

---

[1] При палатализации гласный *i* в русском языке является обычным паразитическим звуком. Этот же паразитический гласный получает окончание инфинитива, если его основа имеет в исходе согласный *(нести)*. Ср. появление паразитического гласного *а* у возвратной морфемы *с* при тех же условиях (в фонологической транскрипции: dul'ĭs—dulsă, fp'ĭlas fp'ĭlsa).

[2] С. Карцевский. Указ. раб., с. 48 и сл.

[3] Напомню, что я употребляю понятие „паразитический гласный" исключительно в плане синхронии.

[4] Имеется еще одна особенность повелительного наклонения: функции вида здесь до некоторой степени модифицированы; ср. Карцевский. Указ. раб., с. 139.

окончание служит для выражения только одного признака корреляции; при накоплении признаков одно окончание наращивается на другое. Нулевое окончание = беспризнаковая форма повелительного наклонения, /ĭm/im/или /om/ = признак корреляции соучастия, /t'i/ = признак корреляции числа, /s/ = признак залоговой корреляции, /kă/ = признак корреляции интимности. Например, /dv'in'-ĭm-t'ĭ-s-kă/[1]. Именно этим агглютинативным характером соединения морфем в повелительном наклонении и объясняется относительная легкость, с которой его окончания добавляются к междометиям или к транспонированным формам изъявительного наклонения: *на-те*, *на-ка*, *ну-те-ка*, *брысь-те*, *пойду-ка*, народное *пошел-те* и т. д. Междометия *на*, *ну*, *брысь* и др. сливаются с беспризнаковой формой повелительного наклонения.

Агглютинация выражается также и фонологически: отдельные морфемы сохраняют здесь свою индивидуальность; окончания повелительного наклонения, если рассматривать их фонологически, трактуются не как части слова, а как энклитики. На стыке морфем в повелительном наклонении группа t'+s не изменяется. Напротив, в других глагольных формах группа t/t'+s превратилась в *c* с долгой смычкой. Ср. повел. накл. /zăbut'să/ ('забудься') — инфинитив /ăbutcă/ ('обуться'), 3-е л. мн. ч. наст. вр. /skr'ĭbutcă/ ('скребутся'); повел. накл. /v'it'să/ ('виться') — инфинитив /v'itcă/ ('виться'); повел. накл. /p'at'să/ ('пяться') — 3-е л. мн. ч. наст. вр. /tălp'atcă/ ('толпятся'). Вообще в повелительном наклонении палатализованные переднеязычные появляются перед непалатализованным s, что обычно не бывает внутри слова: /ăden'să/ ('оденься'), /žar'să/ ('жарься'), /kras'să/ ('красься'). Перед язычными в повелительном наклонении фигурируют палатальные губные, тогда как обычно внутри слова губные перед язычными не допускают палатализации: /păznăkom'kă/ ('познакомь-ка'), /sip'kă/ ('сыпь-ка'), /staf'kă/ ('ставь-ка'), /ŭpr'am'să/ ('упрямься'), /pr'ĭspăsop'să/ ('приспособься'), /slaf'să/ ('славься'), /grap't'ĭ/ ('грабьте') (наряду с /grapt'ĭ/), /gătof't'ĭ/ ('готовьте') (наряду с /gătoft'ĭ/). В повелительном наклонении сохраняется сочетание двух k, которое внутри слова обычно дает *хк*; ср. повелительное наклонение /l'akkă/ ('ляг-ка') — прилагательное /m'axkă/ ('мягко').

Русская грамматика объясняла повелительное наклонение, так сказать, метафорически: его элементы и их функции формально отождествлялись на основании частичного внешнего сходства с элементами и функциями других форм. Так, например, его паразитическая гласная и имеющие характер энклитик окончания механически включались в категорию аффиксов и т. д. По этой причине, разумеется, своеобразие повелительного наклонения не могло быть раскрыто.

[1] Здесь и ниже в косых скобках (/. . ./) дается фонологическая транскрипция форм.

VIII

П р и ч а с т и е характеризуется следующей корреляцией: формы, обозначающие предикативность (признаковая категория) ~ формы без обозначения этого, то есть „атрибутивные“ причастия. Страдательным атрибутивным причастиям противополагаются в качестве признаковой формы „предикативные“ причастия, а действительным атрибутивным причастиям — „деепричастия“. Ср. *юноша, томимый сомнением, скитается — юноша, томим сомнением, скитается; юноша, томящийся сомнением, скитается — юноша, томясь сомнением, скитается*. В противоположность страдательному предикативному причастию деепричастие в роли главного сказуемого почти неизвестно в литературном языке.

Все атрибутивные и страдательные предикативные причастия обладают теми же корреляциями согласования, что и прошедшее время изъявительного наклонения (а именно корреляциями числа и рода). Деепричастия лишены корреляций согласования. Атрибутивные причастия обладают, кроме того, падежными различиями (вопрос о структуре этого различия мы оставляем здесь открытым).

Причастия совершенного вида не имеют временно́й корреляции; причастиям несовершенного вида, правда, эта корреляция известна; однако пассивные причастия почти полностью потеряли временны́е различия; деепричастия несовершенного вида употребляют прошедшее время очень редко; даже у активных атрибутивных причастий наблюдается частичное стирание границ между обеими временны́ми категориями.

IX

Рассматривая так называемую субституцию грамматических категорий, мы констатируем, что, как правило, все сводится к и с п о л ь з о в а н и ю б е с п р и з н а к о в ы х ф о р м з а с ч е т с о о т в е т с т в у ю щ и х п р и з н а к о в ы х (например, замена личных форм инфинитивом, прошедшего времени — настоящим, первого лица — вторым, страдательного причастия — возвратным, множественного числа повелительного наклонения — его единственным числом). Обратные замены, естественно, являются лишь редкими исключениями и воспринимаются как переносная речь. Беспризнаковая форма функционирует в языковом мышлении как представитель коррелятивной пары; поэтому в известной степени ощущаются как первичные: формы несовершенного вида по отношению к формам совершенного, невозвратные формы — по отношению к возвратным, единственное число — по отношению к множественному, настоящее время — по отношению к прошедшему, атрибутивные причастия — по отношению к предикативным и т. д. И не случайно инфинитив квалифицируется нами как представитель глагола, как „словарная форма“.

Изучение афазии показывает, что признаковые категории теряются скорее, чем беспризнаковые (например, личные формы скорее, чем инфинитив, прошедшее время скорее, чем настоящее, третье лицо скорее, чем другие лица, и т. д.). Мне пришлось наблюдать полушутливое, полуаффективное семейное арго, в котором было упразднено спряжение: личные формы были заменены здесь безличными (*я любит*, *ты любит* и т. д.). То же явление известно и из языка детей. Для юмористической передачи русского языка в устах иностранца характерно использование 3-го лица вместо первых двух (в комедии Тургенева „Месяц в деревне" немец говорит «фи любит» в смысле 'вы любите'). Настоящее время глагола *быть* потеряло спряжение в русском языке: форма 3-го лица ед. ч. *есть* заменила формы всех лиц обоих чисел (*ты есть*, *таковы мы и есть*).

X

Мы полностью принимаем тезис Карцевского: асимметричная структура языкового знака является существенной предпосылкой языковых изменений [1]. Мы хотели бы указать здесь на две из многих антиномий, которые составляют основу структуры языка.

Асимметрия коррелятивных грамматических форм может быть охарактеризована как антиномия сигнализации А и несигнализации А. Два знака могут относиться к одной и той же предметной данности, но значение одного знака фиксирует известный признак А этой данности, тогда как значение другого знака оставляет этот признак неупомянутым. Например, ослица может быть обозначена как словом *ослица*, так и словом *осел*. При этом подразумевается один и тот же предмет, только во втором случае значение гораздо менее уточнено.

Из асимметрии коррелятивных форм вытекает антиномия общего и частного значений беспризнаковых форм или, другими словами, антиномия несигнализации А и сигнализации не-А. Один и тот же знак может обладать двумя различными значениями: в одном случае известный признак А подразумеваемой предметной данности остается незафиксированным, то есть его наличие не подтверждается и не отрицается; в другом случае отсутствие этого признака выступает на первый план. Например, слово *осел* может означать либо животное — безотносительно к его полу, либо только самца.

Эти противоречия составляют движущую силу грамматических мутаций.

---

[1] S. Karcevskij. Du dualisme asymétrique du signe linguistiques— TCLP, I, p. 88—92.

НУЛЕВОЙ ЗНАК *

Женевская школа рассматривает язык как систему взаимосвязанных синхронных противопоставлений. Естественно поэтому, что, подчеркивая асимметрический дуализм языковой системы, эта школа подняла вопрос о важности понятия „нуля“ для анализа языка.

Согласно основному положению Ф. де Соссюра [1], язык довольствуется противопоставлением наличия признака его отсутствию, и именно это „отсутствие“, противопоставленное „наличию“, иначе говоря, нулевой знак, послужило отправной точкой для развития ряда плодотворных идей Шарля Балли. Мы имеем в виду прежде всего его глубокие работы „Нулевая связка и связанные с ней явления“ [2] и „Нулевой знак“ [3], которые привлекли внимание к роли нулевого знака не только в морфологии, но и в синтаксисе, не только в грамматике, но также и в стилистике. Желательно продолжить исследования в этом направлении.

Нулевое окончание в склонении современных славянских языков — широко известное явление. Например, в русском языке форма именительного падежа единственного числа *супруг* противопоставляется всем остальным формам того же слова (род. и вин. *супруга*, дат. *супругу*, твор. *супругом* и т. д.) [4].

---

* R. Jakobson. Signe zero.— См. „Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally“. Genève, 1939. Перепечатано в: „Roman Jakobson. Selected Writings“, t. II. The Hague—Paris: Mouton, 1971, p. 211. Авторизованный перевод.— *Прим. ред.*

[1] „Курс общей лингвистики“, 1922, с. 124. [Русск. перевод см. в кн.: Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. Перев. с франц. яз. под ред. А. А. Холодовича. М., „Прогресс“, 1977, с. 119. Далее цитируется по русскому изданию.]

[2] BSL, XXIII, 1922, p. 1.

[3] Ch. Bally. Linguistique générale et linguistique française. Paris, 1932. [Русск. перевод: Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Перев. с франц. Е. В. и Т. В. Вентцель. М., ИЛ, 1955, с. 177 и сл. Далее цитируется по русскому изданию.]

[4] Поскольку анализируемые явления должны рассматриваться в связи со всей системой какого-то одного языка, я пользуюсь в этой работе примерами из моего родного языка.

Почти во всех парадигмах русского существительного среди падежных форм имеется одна-единственная форма с нулевым окончанием. Там, где родительный множественного числа и именительный единственного ранее имели форму с нулевым окончанием, родительный множественного во избежание омонимии принял положительное окончание *-ов (супругов)* или *-ей (коней)*. Нулевое окончание формы родительного падежа множественного числа осталось только в тех существительных, где тем или иным способом различаются формы родительного множественного и именительного единственного, будь то окончание (им. п. ед. ч. *жена*, *село* — род. п. мн. ч. *жён*, *сёл)*, место ударения (им. п. ед. ч. *вóлос* — род. п. мн. ч. *волóс*), словообразовательный суффикс (им. п. ед. ч. *боярин* — род. п. мн. ч. *бояр*) или же состав синтагмы, где употребляется данная падежная форма (им. п. ед. ч. *аршин* — род. п. мн. ч. *аршин*: „столько-то аршин").

Нулевое окончание (или нулевая ступень), противопоставленное наличию некоторой фонемы в грамматических чередованиях (например, в русском языке род. п. *рта* — им. п. *рот*), в точности соответствует определению Ш. Балли: «знак, имеющий определенную значимость, но не воплощенный в реальных звуках» [1]. Язык довольствуется противопоставлением наличия некоторого признака его отсутствию не только в плане означающих, но также и в плане означаемых [2].

2. В единственном числе парадигма *бог*, *супруг* систематически противопоставляется парадигме *нога*, *супруга*. В то время как первая из этих парадигм однозначно указывает на определенную грамматическую категорию, а именно не-женский род, члены второй парадигмы могут равным образом относиться к женскому и мужскому роду: существительные мужск. рода *слуга*, общего рода *недотрога* склоняются так же, как существительные женского рода *нога*, *супруга*. Ни одно из окончаний косвенных падежей парадигмы *бог*, *супруг* не может принадлежать существительным женского рода, а что касается формы именительного падежа этой парадигмы, то, строго говоря, ее нулевое окончание указывает на мужской род только в основах на твердую согласную, тогда как в основах на мягкую согласную или шипящую нулевое окончание может принадлежать равным образом существительным мужского рода *(день*, *муж)* и женского рода *(дань*, *мышь)*.

Как отмечалось выше, парадигма *бог*, *супруг* указывает на не-женский род, иначе говоря, на мужской или средний. Эти два рода различаются только в именительном падеже, а также и в винительном, если его форма совпадает с именительным. В именительном падеже нулевое окончание в точности указывает на не-средний род, а окончание *-о* и соответствующий ему безударный звук может принадлежать как среднему роду, так и мужскому (ср. р. *топорище* 'ручка топора', муж. р. *топорище* — увеличительное от *топор*).

---

[1] BSL, 23, p. 3; cp. R. Gauthiot. Note sur le degré zéro.— In: „Mélanges linguistiques offerts à A. Meillet". Paris, 1902, p. 51 sqq.

[2] Проблема нулевого значения рассматривалась в нашей брошюре „Новейшая русская поэзия". Прага, 1921, с. 67.

Итак, что касается противопоставления по роду, парадигма *нога, супруга* лишена различительной способности. С точки зрения рода члены данной парадигмы имеют определенную морфологическую форму, но она лишена функциональной значимости. Это форма с *нулевой морфологической функцией*. Сравнивая две формы именительного падежа *супруг* и *супруга*, мы видим, что в данном случае форма с нулевым окончанием является носителем положительной морфологической функции, в то время как ненулевое окончание с точки зрения различения по роду обладает только нулевой морфологической функцией.

Каково общее (грамматическое) значение категории рода в русском языке? Женский род указывает на то, что если означаемое является одушевленным или может мыслиться как одушевленное, то соответствующее лицо безусловно принадлежит к женскому полу (*супруга* всегда обозначает женщину). В противоположность этому общее значение мужского рода таково, что оно не содержит обязательного указания на пол: *супруг* может означать 'муж' (в узком смысле), но также и в более общем смысле — 'любой из супругов' (*оба супруга, один из супругов*). Ср.: *товарищ* (мужского рода, но в данном случае — женского пола) *Нина* (женского рода, женского пола) — *зубной врач* (мужского рода, в данном случае — женского пола).

Таким образом, если противопоставляются общие значения двух грамматических родов, то мужской род выступает как категория с *нулевым значением*. Здесь опять мы встречаемся с самым настоящим хиазмом: формы с нулевой грамматической функцией (типа *супруга*) обозначают род с положительным значением (женский) и, наоборот, формы с положительной морфологической функцией (типа *супруг*) характеризуют род с нулевым значением (мужской).

Функционирование системы языка, как я пытался однажды показать [1], основано именно на „противопоставлении некоторого факта ничему", то есть, согласно терминологии формальной логики, на *контрадикторном* (противоречащем) *противопоставлении*.

Так, например, именная и глагольная системы могут быть представлены в виде бинарных противопоставлений, где один из членов указывает на наличие определенного признака, а другой (беспризнаковый, немаркированный, нулевой член) — не указывает ни на наличие признака, ни на его отсутствие. Например, в русском языке совершенный вид глагола указывает на абсолютную законченность действия, по противопоставлению с несовершенным видом (нулевым видом), который не затрагивает вопроса о временнóй границе действия. Несовершенный вид *плавать, плыть* противопоставляется совершенному *приплыть, доплыть, поплыть* (здесь начало действия представлено как законченный акт), *поплавать, наплаваться, понаплавать*. Определенный вид (aspect déterminé, по терминологии С. Карцев-

[1] „Zur Structur des russischen Verbums".— In: „Charisteria G. Mathesio quinquagenario", 1932, p. 74 sqq.; „Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre".— In: „Travaux du Cercle Linguistique de Prague", VI, p. 240 sqq. [см. наст. изд., с. 133 и сл.]

ского) указывает на действие, рассматриваемое как единичный акт: *плыть* — 'находиться в процессе плавания',— тогда как неопределенный вид (нулевой) об этом ничего не говорит: *плавать* в зависимости от контекста может означать и единичный акт *(пока я плаваю, он сидит на берегу)*, и повторяющееся действие *(я часто плаваю)* [1], не совершившееся действие *(я не плавал)*, способность к действию при отсутствии реализации самого действия *(я плаваю, но не приходится)* и, наконец, действие, относительно которого неизвестно, совершалось оно однократно, многократно или вообще не совершалось *(ты плавал?)*. *Плавать* — это глагол несовершенного и неопределенного вида. Он обладает, таким образом, двумя нулевыми признаками вида. Но русский глагол не может иметь два положительных видовых признака, и поэтому противопоставление глаголов „определенного" и „неопределенного" вида возможно только в пределах несовершенного вида. Брёндаль отметил, что язык избегает чрезмерной сложности морфологических структур и что зачастую формы, сложные в отношении выражения одних категорий, оказываются относительно простыми в отношении других категорий [2].

Действительно, в русском языке настоящее время (нулевое) указывает на различие по лицам, в противоположность прошедшему, которое не различает формы лица: единственное число (имеющее нулевой знак числа) указывает на различие в роде, которое полностью снято во множественном числе. И все же, ограничивая „совмещение означаемых" (термин и понятие, введенные Ш. Балли) [3], грамматическая система никоим образом его не исключает. Дательный падеж и творительный противопоставлены винительному и именительному и указывают на периферийное положение означаемого в содержании высказывания, и с точки зрения данного противопоставления винительный и именительный — это нулевые падежи. Но, с другой стороны, и дательный и винительный показывают, что объект испытывает действие, и тем самым противопоставляются творительному и именительному падежам, которые уже с точки зрения этого противопоставления являются нулевыми падежами. Получается, что дательный падеж совмещает два грамматических значения, из которых одно — общее с винительным падежом, другое — с творительным. Именительный падеж функционирует как абсолютный нулевой падеж и различает, согласно принципу компенсации Брёндаля, мужской и средний род, тогда как косвенные падежи (признаковые, маркированные (caractérisés)) этих родов не различают.

Различие между именительным и винительным падежами полностью выявляет произвольный характер отношения между «противопоставлением чего-то ничему» в плане означаемых и противопоставлением того же типа в плане означающих. В языке существуют все три возможных случая такого соотношения: 1. Нулевому падежу соот-

---

[1] Ср.: *я часто плыву и думаю.*
[2] См. журн. „Slovo a slovesnost", 3 с. 256.
[3] Ш. Балли. Цит. соч., с. 115.

ветствует нулевое окончание: им. *супруг* — вин. *супруга*. 2. Обратное соотношение (ср. упомянутые выше хиазмы): им. мн. *господá* — вин. мн. *господ*. 3. Ни один из падежей не имеет нулевого окончания: им. *слуга* — вин. *слугу*.

Означаемые могут быть противопоставлены по принципу «наличие признака — отсутствие признака» не только в грамматике, но и в лексике. Один из двух синонимов может отличаться от другого наличием у первого некоторого дополнительного значения. Так, русские синонимы *девушка* и *девица* различаются тем, что первый из них имеет также значение 'девственница', и поэтому их нельзя поменять местами во фразе: *Она девица, но уже не девушка* (в значении 'она не замужем, но уже не девственница'). Точно так же в паре чешских синонимов mám rád (ср. нем. ich habe gern) и miluji (ich liebe) нулевым синонимом является именно первый из них: можно сказать mám rád šunku 'я люблю ветчину' и mám rád ródiče 'я люблю своих родителей', но глагол miluji добавляет значение страстного чувства, и во фразе miluji šunku он воспринимался бы в переносном смысле.

Аналогично обстоит дело, например, в случаях употребления существительного женского рода для обозначения лица мужского пола: «он — настоящая мастерица». Это подлинная замена знаков, метафора, в то время как обратный случай: «она — настоящий мастер» — всего лишь употребление общего, родового термина вместо более узкого «мастерица». Однако это тоже гипостаз, хотя и в значительно меньшей степени, так же как, в сущности, гипостазом является настоящее историческое (praesens historicum) или единственное число, употребленное в родовом значении (le singulier générique). Маркированный знак указывает на наличие А („мастерица"), противопоставленный ему нулевой знак не указывает ни на наличие, ни на отсутствие А (ни А, ни не-А). Нулевой знак, таким образом, правильно употреблен там, где А и не-А не различаются («тут было семь мастеров, в том числе две мастерицы»), а также там, где надо обозначить не-А («тут было пять мастеров (не-А) и две мастерицы (А)»). Гипостаз же имеет место тогда, когда нулевой знак служит именно для обозначения А: «она — настоящий мастер».

Шарль Балли обоснованно рассматривает многообразную игру гипостаза как существенное явление в структуре языка [1]. Е. Курилович подчеркнул важную роль, которую гипостаз играет в синтаксисе, когда мотивированное и специфическое употребление слов противопоставляется их основной, первичной функции [2]: «Функция эпитета — это первичная функция прилагательного». Прилагательное-эпитет указывает, таким образом, на *нулевой гипостаз*, противопоставляемый различным гипостатическим транспозициям — например, прилагательному в функции подлежащего („далекое пленяет нас") или прилагательному в функции дополнения („сейте разумное, доб-

---

[1] Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка, с. 181.

[2] См. „Dérivation lexicale et dérivation syntaxique".— BSL, 37, p. 79 sqq. (Ср. также цит. выше мою работу в „Travaux...", VI, с. 252 и сл. и с. 274.)

рое, вечное"). Во фразе deus bonus est прилагательное-предикат имеет внешний знак транспозиции, в то время как конструкция deus bonus представляет собой гипостаз в чистом виде [1].

3. В языках, где конструкция с опущением связки является единственно возможной, как, например, в русском, отсутствие связки в конструкциях типа *изба деревянная* воспринимается по противопоставлению с *изба была деревянная* и *изба будет деревянная* как нулевой знак связки по форме и настоящее время глагола по функции. Но в латыни и других языках, где конструкции со связкой и без нее представляют собой стилистические варианты, опущение связки во фразах типа deus bonus воспринимается по противопоставлению с deus bonus est как нуль связки по форме и признак экспрессивного стиля по функции. Наличие же связки, наоборот, воспринимается с точки зрения функции как *нуль выразительности*. Нулевой знак такого типа в латинском языке имеет стилистическую значимость. Последнее имеет в виду Балли, говоря о подразумеваемом знаке, основанном на существовании двух параллельных конструкций, когда предполагается возможность выбора нужного варианта говорящим [2]. Рядом с нулевым знаком, имеющим грамматическое значение, и подразумеваемым знаком Балли [3] ставит эллипсис, который он определяет как «повторение или антиципацию элемента, который необходимо присутствует в контексте или подсказывается ситуацией»: «Мы склонны понимать эллипсис скорее как „подразумевание" анафорических элементов, которые „репрезентируют" контекст, или же дейктических элементов, которые „презентируют" ситуацию» [3]. Так, на вопрос *Что делал дядя в клубе?* можно ответить, выбрав одну из двух параллельных конструкций — с „эксплицитным репрезентантом": *Он там обедал*, или с „имплицитным репрезентантом: *Обедал*. Таким образом, эллипсис — это *нулевой анафорический* (*или дейктический*) *знак*. Когда имеется выбор между двумя формами высказывания, одинаковыми по понятийному содержанию, такие формы никогда не бывают действительно эквивалентными. Обычно они образуют следующее противопоставление: с одной стороны, экспрессивный тип, составляющий одно целое с данной ситуацией или вызывающий воображаемую ситуацию в языке искусства, и, с другой стороны, тип с нулевой экспрессивной и дейктической значимостью. В русском языке, например, имеется прямой порядок слов, противопоставляемый разного рода инверсиям. Так, порядок слов, при котором сказуемое стоит после подлежащего и перед прямым дополнением, а эпитет предшествует имени, является нулевым. *Люди умирают* — это обобщенное высказывание. В противоположность ему высказывание *умирают люди* воспринимается как указание на определенный контекст или ситуацию или как эффективная реакция.

---

[1] Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка, с. 184, и BSL, XXIII, 1922, p. 2.
[2] BSL, XXIII, 1922, p. 4 sqq.
[3] Ш. Балли. Цит. соч., с. 175 и сл.

Эксплицитный язык научных утверждений допускает только *нулевой порядок слов*: *Земля вращается вокруг Солнца*. Напротив, повседневная речь — по преимуществу имплицитная — создает такие сочетания, как *вертятся дети вокруг елки*, *вокруг елки вертятся дети*, *вокруг елки дети вертятся*, *дети вокруг елки вертятся*. В случае оппозиции с нулевым порядком эти конструкции указывают на некую отправную точку, мотивированную контекстом или ситуацией (внеязыковым контекстом), тогда как нулевой порядок слов об этом ничего не сообщает. Однако там, где морфологические средства не вполне точно указывают на синтаксическую функцию слов, нулевой порядок слов является единственно возможным и имеет чисто грамматическое значение. Таков, например, случай, когда винительный падеж совпадает с именительным (*мать любит дочь*, *дочь любит мать*) или именительный (мн. ч.) с родительным (*дочери приятельницы*, *приятельницы дочери*) или когда прилагательное выступает в функции существительного (*слепой сумасшедший*, *сумасшедший слепой*).

В русском языке имеется два стилистических варианта для выражения мысли „я еду в машине“: *я еду* (с личным местоимением) и *еду* (без него). То же в чешском: já jedu и jedu. Однако между двумя языками есть большая разница: в русском языке в результате опущения вспомогательного глагола и глагола-связки в настоящем времени роль их личных окончаний должна была перейти к личному местоимению и сделать его употребление более обобщенным. Вследствие этого в русском языке „нормальной“ является двучленная конструкция, в то время как вариант с нулевым подлежащим стилистически окрашен [1]. В чешском же, напротив, нуль выразительности соотносится с нулевым подлежащим, а экспрессивность — с конструкцией já jedu. Первое лицо подчеркнуто наличием местоимения, что с грамматической точки зрения является плеоназмом. Излишнее употребление этого местоимения в чешском языке производит впечатление напыщенности стиля; в противоположность этому в русском именно слишком частое опущение местоимения первого лица воспринимается Достоевским как раздражающая чванливость („Крокодил“).

4. Как указывает Балли, существует параллелизм между фонологической системой и системой языка в целом. Корреляции фонем основаны на противопоставлении наличия некоторого фонического признака его отсутствию, или *нулевому признаку* [2]. Так, t, s, p и проч. отличаются от соответствующих мягких согласных t', s', p' и проч. отсутствием твердости, и те же фонемы отличаются от d, z, b и проч. отсутствием звучности. Это отсутствие имеет тот же характер, что и прочие виды нулевого знака в области грамматики, рассмотренные выше, и объединяет их тот факт, что речь идет не просто о нуле,

---

[1] S. Karcevski. Système du verbe russe. Prague, 1927, p. 133; R. Jakobson. Les enclitiques slaves.— In: „Atti del 3 Congresso Internazionale dei linguisti“, 1935, p. 388 ff.

[2] Ш. Балли. Цит. соч., с. 31 и сл., с. 181; „Travaux...“, p. 314—321.

но о нуле, противопоставляемом в пределах фонологической системы определенным положительным явлениям. Еще Соссюр выявил роль контрадикторных оппозиций в фонологии, приводя в качестве примера противопоставление носовых и ртовых гласных, где «отсутствие носового резонанса столь же значимо для характеристики фонем, как и наличие его» [1].

Анализируя фонему s в русском языке в ее отношениях с другими фонемами, мы видим, что положительные признаки этой фонемы не входят ни в какую контрадикторную оппозицию, то есть что наличие этих признаков никогда не противопоставляется их отсутствию. Помимо этих признаков, фонема s обладает только нулевыми признаками. Напротив, фонема z' имеет ряд положительных фонологических признаков, поддающихся точному анализу, по противопоставлению с отсутствием тех же признаков в коррелирующих фонемах (к признакам фонемы s здесь добавляется звонкость и мягкость).

Таким образом, здесь мы имеем случай фонологического совмещения, соответствующий совмещению означаемых (cumul des signifiés), как его трактует Балли. Принцип компенсации, установленный Брёндалем для морфологии и ограничивающий совмещение означаемых, также находит существенные аналогии в структуре фонологических систем.

Корреляция состоит из нескольких пар фонем, причем во всех этих парах содержится, с одной стороны, противопоставление наличия данного признака его отсутствию и, с другой стороны, общий субстрат (общая основа). Например, в русском пара z' — z содержит противопоставление мягкости и ее отсутствия и общий субстрат „звонкая щелевая свистящая". Однако этот общий субстрат может отсутствовать в одной из пар, и тогда одна из фонем, имеющая данный признак, противопоставляется просто отсутствию фонемы (или нулевой фонеме). Например, как справедливо утверждает Мартине, в соответствии с результатами структурного анализа в корреляцию придыхания, характерную для датского консонантизма, необходимо ввести оппозицию: наличие — отсутствие придыхания /h/ перед гласным в начале слова [2]. Так же и в русском языке, корреляция мягкости противопоставляет фонему j нулю (наличие — отсутствие йотации перед гласным в начале слова). В словах русского языка перед гласным *е* может стоять только мягкая согласная фонема, но не соответствующая твердая; перед *е* может стоять j, но *е* не может начинать слово. (Этому правилу не подчиняются междометия, и в частности дейктическое междометие *е* в различных сочетаниях.)

Таким образом, в позиции перед гласной фонемой *е* оппозиция мягких и твердых снимается; наличие оппозиции тем самым противопоставляется его отсутствию. Это отсутствие противопоставления (*нулевая оппозиция*) по сравнению с реализованной оппозицией выявляет сходство и различие двух членов нейтрализуемой оппо-

---

[1] Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики, с. 79.

[2] A. Martinet. La phonologie du mot en danois. Paris, 1937, p. 32.

зиции. Как отметил Дурново и как это доказали Н. Трубецкой и А. Мартине, фонологическая оппозиция, которая нейтрализуется в определенных позициях, представляет собой явление, существенно отличающееся от постоянных оппозиций [1]. Точно так же синкретизм морфологических форм в некоторых парадигмах или в некоторых грамматических категориях [2] или, наоборот, снятие противопоставления значений под воздействием определенного контекста — все это подчеркивает важность проблемы „нулевого противопоставления“ для лингвистики и для общей семиотики — науки, которая призвана исследовать сложные и причудливые соотношения между двумя переплетающимися понятиями — *знаком* и *нулем*.

---

[1] „Travaux...“, VI, p. 29 ff., p. 46 ff.

[2] Там же, с. 283 и сл.

ВЗГЛЯДЫ БОАСА НА ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ *

The man killed the bull 'человек убил быка'. Комментарий к этому предложению, который Боас дал в своем сжатом очерке „Язык" (1938), является ценнейшим вкладом в лингвистическую теорию. «В языке,— пишет Боас,— опыт, который должен быть сообщен другому, классифицируется с точки зрения целого ряда различных аспектов.» (1938, с. 127). Так, в предложениях the man killed the bull 'человек убил быка' и the bull killed the man 'бык убил человека' посредством прямой и обратной последовательности слов выражаются два разных события. В обоих предложениях речь идет о человеке (man) и быке (bull), — однако агенс и пациенс распределены по-разному.

Как считает Боас, грамматика выделяет и классифицирует различные аспекты опыта и изучает их выражение в языке. Более того, она выполняет еще одну важную функцию: «она определяет, какие аспекты того или иного опыта *должны* быть выражены». Боас тонко подметил обязательность грамматических категорий как специфическую особенность, отличающую их от лексических значений: «Когда мы говорим: „The man killed the bull", мы понимаем, что некий вполне определенный человек в прошлом убил одного, также вполне определенного быка. Мы не можем <говоря по-английски> выразить этот опыт так, чтобы осталось неясным, имеется в виду определенный или неопределенный человек или бык, один человек или один бык или много людей или быков, настоящее или прошедшее время. Нам приходится выбирать между несколькими аспектами, и на каком-то из этих аспектов мы должны остановиться. Эти обязательные аспекты выражаются с помощью грамматических средств.» (1938, с. 132). В речевом общении мы всякий раз имеем дело с набором альтернативных решений: нам надо выбирать одно из двух. Если речь идет о действии 'убить', а 'человек' и 'бык' соответственно выступают как

* Из работы „The Anthropology of Franz Boas: Essays on the Centennial of His Birth" (ed. American Anthropological Association, Memoir LXXX). Menasha, 1959, p. 134—145. [Перепечатана в: „Roman Jakobson. Selected Writings", II. The Hague — Paris: Mouton, 1971, p. 497.]

агенс и пациенс, то носитель английского языка должен прежде всего сделать выбор (A) между *пассивной* и *активной* конструкциями: в первой внимание сосредоточено на пациенсе, а во второй — на агенсе, и поэтому в первой агенс, а во второй пациенс могут быть не выражены (The bull was killed [by the man]; The man killed [the bull]). Поскольку упоминание об агенсе в пассивной конструкции факультативно, его опущение не следует считать эллипсисом, тогда как предложение Was killed by the man — это явный эллипсис. Выбрав активную конструкцию, говорящий должен далее сделать такие альтернативные выборы, как выбор (B) между *претеритом* (прошлым) и *не-претеритом*: killed *vs.* kills; (C) между *перфектом* (в интерпретации О. Есперсена (1924, 1954) — ретроспективом, пермансивом, инклюзивом) и *не-перфектом*: has killed *vs.* kills; had killed *vs.* killed; (D) между *прогрессивом* (расширенная временнáя форма, континуатив) и *не-прогрессивом*: is killing *vs.* kills; was killing *vs.* killed; has been killing *vs.* has killed; had been killing *vs.* had killed; (E) между *потенциалисом* и *не-потенциалисом*: will kill *vs.* kills; would kill *vs.* killed; will have killed *vs.* has killed; would have killed *vs.* had killed; will be killing *vs.* is killing; would be killing *vs.* was killing; will have been killing *vs.* has been killing; would have been killing *vs.* had been killing (другие вспомогательные глаголы из пар will — shall и can — may, которые имеют только формы претерита и не-претерита, опущены) [1].

Вспомогательный глагол to do, употребленный в конструкциях, связанных с суждением — подчеркнутое утверждение, „нексусное отрицание" и „нексусный вопрос" (термины Есперсена, 1924),— не сочетается с другими вспомогательными глаголами, и поэтому число возможных выборов (F) между *подчеркнутым утверждением* и *простым утверждением* (assertorial *vs.* non-assertorial) уменьшается до двух: does kill *vs.* kills, did kill *vs.* killed [2]. Поскольку любое нексусное отрицание и любой нексусный вопрос имеют явную модальность, связанную с выражением суждения (в терминах У. Куайна — „вердиктивную" модальность [от англ. verdict 'мнение', 'решение']), то в этих случаях простая глагольная форма (kills, killed) обязательно заменяется конструкцией с do: здесь нет альтернативного выбора. В то же время различие между подчеркнутым утверждением и простым утвердительным высказыванием требует выбора одной из двух возможных конструкций: the man does kill the bull или the man kills the bull; he did kill или he killed. Таким образом, отсутствие (или по крайней мере совершенно необычный характер) вопросительных конструкций типа killed he? или read you? в формальной структуре английского языка обусловлено семантически.

Все сказанное здесь о селективных категориях глагола в личных утвердительных конструкциях можно подытожить с помощью таблицы

---

[1] Перфект прогрессива и потенциалис прогрессива не употребляются в пассиве, поскольку две неличные формы вспомогательного глагола to be несовместимы.

[2] Кроме индикатива, этот вспомогательный глагол используется еще только в императиве: do kill! *vs.* kill!

(см. стр. 234). В этой таблице для обоих противопоставленных членов каждой категории приняты следующие обозначения: признаковый, „маркированный“ член обозначается плюсом; беспризнаковый, „немаркированный“ — минусом; минусами в скобках обозначается отсутствие соответствующих плюсов.

В результате выбора говорящим той или иной грамматической формы слушающий получает определенное количество информации (в битах). Обязательный характер, который эта информация имеет в речевом общении данного языкового коллектива, и значительные различия в составе грамматической информации по разным языкам прекрасно осознавались Боасом благодаря его удивительному проникновению в сущность многообразных семантических структур языков мира: «Аспекты <классификации опыта>, выбираемые различными группами языков, сильно варьируются. Приведем пример: для носителя английского языка определенность, число и время являются обязательными; в то же время в другом языке мы можем найти иные обязательные аспекты, например локализацию события (вблизи от говорящего или в другом месте), источник информации о событии (наблюдал ли говорящий событие лично, слышал ли о нем от кого-либо или вывел сведения о нем путем умозаключений) и т. д. Вместо того чтобы сказать The man killed the bull ‘Человек убил быка’, пришлось бы говорить ‘Этот человек (или люди) убивать (неопределенное время) на моих глазах того быка (или быков)’». (Boas, 1938, с. 133).

При этом Боас решительно предостерегает тех, кто, исходя из набора грамматических значений данного языка, пытается делать выводы о соответствующей культуре: аспектов, которые обязательно должны выражаться, в одном языке может быть много, а в другом — мало, однако «малочисленность обязательных аспектов отнюдь не приводит к неясности речи. Когда это необходимо, ясность может быть достигнута добавлением пояснительных слов». В тех языках, где нет грамматического времени и грамматического числа, время и множественность выражается с помощью лексических средств. Таким образом, основное различие между языками состоит не в том, что может или не может быть выражено, а в том, что должно или не должно сообщаться говорящими. Если русский говорит: „Я написал приятелю“, различие между определенностью и неопределенностью (по-английски the friend *vs.* a friend) не выражается, тогда как завершенность письма выражена совершенным видом глагола, а мужской пол приятеля — мужским родом соответствующего существительного. Поскольку в русском языке эти значения являются грамматическими, они не могут быть опущены в процессе общения. В английском же, задав по поводу высказывания „I wrote a friend“ вопрос, было ли закончено письмо и адресовалось оно мужчине или женщине, рискуешь получить в ответ маловежливое: „Не ваше дело!“

Грамматика воистину ars obligatoria, как называли ее преподаватели классических гимназий, поскольку она обязывает говорящего принимать решения типа „да — нет“. Как неоднократно указывал Боас, грамматические значения данного языка направляют внимание

Глагольные формы	Селективные категории английского глагола					
	A	B	C	D	E	F
1. kills	—	—	—	—	—	—
2. killed	—	+	—	—	—	—
3. has killed	—	—	+	—	—	(—)
4. had killed	—	+	+	—	—	(—)
5. will kill	—	—	—	—	+	(—)
6. would kill	—	+	—	—	+	(—)
7. will have killed	—	—	+	—	+	(—)
8. would have killed	—	+	+	—	+	(—)
9. is killing	—	—	—	+	—	(—)
10. was killing	—	+	—	+	—	(—)
11. has been killing	—	—	+	+	—	(—)
12. had been killing	—	+	+	+	—	(—)
13. will be killing	—	—	—	+	+	(—)
14. would be killing	—	+	—	+	+	(—)
15. will have been killing	—	—	+	+	+	(—)
16. would have been killing	—	+	+	+	+	(—)
17. does kill	—	—	(—)	(—)	(—)	+
18. did kill	—	+	(—)	(—)	(—)	+
19. is killed	+	—	—	—	—	(—)
20. was killed	+	+	—	—	—	(—)
21. has been killed	+	—	+	(—)	—	(—)
22. had been killed	+	+	+	(—)	—	(—)
23. will be killed	+	—	—	(—)	+	(—)
24. would be killed	+	+	—	(—)	+	(—)
25. will have been killed	+	—	+	(—	+	(—)
26. would have been killed	+	+	+	(—)	+	(—)
27. is being killed	+	—	—	+	—	(—)
28. was being killed	+	+	—	+	—	(—)

говорящего коллектива в определенную сторону и благодаря своему обязательному принудительному характеру оказывают влияние на поэзию, верования и даже на философское мышление; при этом, однако, они нисколько не мешают языкам приспосабливаться к нуждам, порождаемым развитием знания.

Наряду с теми значениями, которые являются грамматическими, и, следовательно, обязательными в одних языках, но лексическими и поэтому факультативными в других, Боас выделял определенные реляционные категории, обязательные во всех языках мира: «...способы выражения этих... категорий весьма различны, однако они

являются „необходимыми элементами грамматики"». К таким категориям принадлежат, например, различие между субъектом и предикатом, различие между предикацией и атрибуцией, а также грамматически оформленное различие между говорящим и слушающим. Проблема необходимых универсальных категорий была намечена Боасом и его проницательным учеником Сепиром (1921), вопреки младограмматикам, решительно осуждавшим всякую попытку искать универсалии, и является центральной проблемой современной лингвистики.

Вопрос о том, какая информация всегда и обязательно выражается при речевом общении во всех языках мира, а какая — только в некоторых языках, имеет для Боаса первостепенное значение. Обращение к этой проблеме позволяет отделить универсальную грамматику от грамматического описания конкретных языков. Более того, это помогло Боасу провести границу между морфологией и синтаксисом с их обязательными правилами и более свободной областью словаря и фразеологии. Если, разговаривая по-английски, мы хотим употребить существительное, то мы обязательно должны сделать два альтернативных выбора: один — между единственным и множественным числом и второй — между определенностью и неопределенностью. В то же время в некоторых американских индейских языках, где число и неопределенность не являются грамматическими категориями, различие между the thing — a thing, the things — things может либо просто игнорироваться, либо, если это нужно, выражаться лексическими средствами.

Боас ясно понимал, что любое различие в грамматических категориях несет семантическую информацию. Если язык — это инструмент для передачи информации, то невозможно описывать составные части этого инструмента, ничего не сказав об их функциях: ведь описание автомобиля, в котором не указывается назначение его рабочих частей, является неполным и неадекватным. В центре внимания Боаса всегда стоял ключевой вопрос: каково различие между наблюдаемыми грамматическими способами в отношении передаваемой ими информации. Боас никогда бы не принял несемантическую теорию грамматической структуры. Пораженческий тезис о том, что понятие смысла якобы является расплывчатым, сам представлялся Боасу расплывчатым и бессмысленным.

Тщательная и объективная методика Боаса ясно проявлялась в его работе с туземными информантами, особенно с индейцем из племени квакиутль (kwakiutl), который в течение долгого времени был его гостем в Нью-Йорке. Боас внимательно наблюдал за тем, как необычные для индейца впечатления от Нью-Йорка взаимодействовали с его родной системой социальных и культурных навыков. Боас очень любил изображать в разговоре безразличие этого индейца с острова Ванкувер перед манхэттенскими небоскребами („Мы строим дома один рядом с другим, а вы громоздите их друг на друга"), в Аквариуме („Таких рыб мы бросаем обратно в озеро") и в кино, где фильмы казались ему скучными и бессмысленными. Зато этот же самый ин-

деец мог часами стоять как зачарованный перед балаганами ярмарки на Таймс-сквер с ее великанами и карликами, бородатыми дамами и девицами с лисьими хвостами или в закусочных-автоматах, где он наблюдал чудесное появление напитков и сандвичей, чувствуя себя в мире волшебных сказок племени квакиутль. В то же самое время причудливая смесь родного языка с английским, при помощи которой он общался с белыми, дала Боасу неоценимый материал для проникновения в особенности грамматических значений языка квакиутль.

Равнозначные высказывания на двух языках, но прежде всего и главным образом — интерпретация понятий посредством эквивалентных выражений, как раз и являются тем, что лингвисты называют „значением" и что соответствует семиотическому определению значения символа как его „перевода в другие символы" (Чарльз Пирс, 1934). Таким образом, значение может и должно определяться в терминах чисто лингвистических разграничений и отождествлений — точно так же, как лингвистические разграничения со своей стороны всегда осуществляются с учетом их семантической функции. Реакции говорящих на свой собственный язык, или, как их еще можно назвать, «метаязыковые операции», являются уравнивающими пропозициями (equational propositions). Такие пропозиции применяются всякий раз, когда возникает сомнение в том, что оба собеседника используют один и тот же языковой код, или появляется желание выяснить, насколько хорошо высказывания одного из говорящих понимаются другим говорящим. Метаязыковая интерпретация сообщений посредством перифраз, синонимических выражений и переводов на другой язык или даже в знаки неязыковой природы играет огромную роль в любом процессе усвоения языка — как детьми, так и взрослыми. Уравнивающие пропозиции занимают в корпусе высказываний важное место, и наряду с другими элементами данного корпуса они могут быть подвергнуты дистрибутивному анализу (сказано ли и в каком контексте, что „А есть В", что „В есть А" и/или что „А не есть В" и „В не есть А"?). Таким образом, строго лингвистическая техника дистрибутивного анализа оказывается полностью применимой к проблемам значения — как грамматического, так и лексического, и значения больше не следует рассматривать как нечто „недоступно-субъективное". Толкование значений посредством метаязыковых операций, которые выполняются информантами,— это более надежный и объективный метод, чем обращение к информантам с вопросом о допустимости тех или иных предложений. Эллипсисы и анаколуфы, недопустимые в развернутом, тщательном стиле, легко могут быть отвергнуты информантом, хотя они возможны в разговорной, эмоциональной или поэтической речи.

Хомский поступил весьма изобретательно, попытавшись построить «полностью несемантическую теорию грамматической структуры». В действительности же его эксперимент — это великолепный argumentum a contrario, особенно полезный для еще ждущего своей очереди исследования иерархии грамматических значений. Примеры, приведенные Хомским в его „Синтаксических структурах" (1957),

могут служить интересными иллюстрациями к положениям Боаса о классе грамматических значений. Так, анализируя предложение „Бесцветные зеленые идеи яростно спят“ (1957, 15), рассматриваемое Хомским как образец бессмысленного высказывания, мы выявляем в нем имеющий форму множественного числа топик „идеи“, о котором говорится, что он находится в состоянии „сна“; оба члена имеют определения: „идеи“ характеризуются как „бесцветные зеленые“, а „сон“ — как „яростный“. Указанные грамматические отношения создают осмысленное предложение, для которого возможна проверка истинности: существуют или нет такие вещи, как „бесцветное зеленое“, „зеленые идеи“, „сонные идеи“ или „яростный сон“? „Бесцветное зеленое“ — это синонимическое выражение для „бледно-зеленое“, имеющее как явный оксюморон легкий юмористический оттенок. Эпитет „зеленое“ при слове „идеи“ — это метафора, напоминающая знаменитую строку Эндрью Марвелла „Green thought in a green shade“ ('Зеленая мысль в зеленой тени') или Льва Толстого „Все тот же ужас красный, белый, квадратный“, а также русскую идиому „тоска зеленая“. В фигуральном смысле глагол „спать“ означает 'быть в состоянии, похожем на сон, быть инертным, онемелым, апатичным и т. д.'; ведь говорят, например, his hatred never slept (букв. 'его ненависть никогда не спала'). Почему же тогда не могут чьи-нибудь идеи впасть в сон? И наконец, почему нельзя рассматривать слово „яростно“ как эмфатический синоним слова „крепко“? Делл Хаймз, используя рассматриваемое предложение, написал в 1957 г. вполне осмысленное стихотворение под тем же названием „Бесцветные зеленые идеи яростно спят“.

Но даже если мы будем педантично осуждать все образные выражения и отрицать существование зеленых идей, то и тогда, как в случаях „квадратуры круга“ или „птичьего молока“, «несуществование», фиктивность этих сущностей не имеет отношения к вопросу об их семантической значимости. Тот факт, что мы можем задавать вопрос, существуют ли они, служит предостережением против смешения онтологической нереальности с бессмысленностью. Нет также совершенно никаких оснований приписывать предложениям рассматриваемого здесь типа «более низкую степень грамматичности». В одном из словарей русского языка прилагательное *беременный* снабжено пометой „femininum tantum“, поскольку „беременный мужчина“ немыслим. Однако в самом этом предложении прилагательное *беременный* использовано именно в форме мужского рода; кроме того, „беременные мужчины“ фигурируют в фольклоре, в газетном юморе и в стихах Давида Бурлюка: «Мне нравится беременный мужчина, прислонившийся к памятнику Пушкина». Наконец, формы мужского рода этого прилагательного встречаются в случаях его фигурального употребления. Аналогичным образом одна ученица французской начальной школы утверждала, что в ее родном языке не только существительные, но и глаголы имеют род, например глагол couver 'высиживать цыплят' — женского рода, потому что «курицы высиживают цыплят, а петухи нет». Онтологические аргументы

не следует применять и для установления степеней грамматичности; нельзя исключать такие якобы «инвертированные непредложения», как golf plays John 'гольф играет Джоном (в Джона)' (Chomsky, 1957, 42; ср. такие вполне ясные высказывания, как John does not play golf; golf plays John 'Это не Джон играет в гольф, а гольф играет Джоном').

Действительная неграмматичность лишает высказывание всякой семантической информации. Чем больше синтаксических показателей опущено и тем самым чем меньше реляционных значений выражено, тем менее возможной становится проверка истинности данного сообщения. Одна лишь фразовая интонация объединяет такие mots en liberté, как «silent not night by silently unday» (Э. Э. Каммингз) или «Furiously sleep ideas green colorless» (Н. Хомский). Если высказывание It seems to move toward the end 'Дело, кажется, идет к концу' превратить в неграмматическое Move end toward seem, то за ним вряд ли может последовать вопрос „Это правда?" или „Вы действительно думаете, что это так?". Полностью неграмматичные высказывания в самом деле бессмысленны. Организующая сила грамматической структуры и налагаемые ею ограничения, признанные Боасом и противопоставленные им относительной свободе в выборе слов, становятся особенно явными при семантическом исследовании области бессмысленного.

ЛИТЕРАТУРА

Boas Franz. Language.— In: „General Anthropology". Boston, 1938.

Chao Y. R. How Chinese logic operates.— „Anthropological Linguistics", I, 1959, p. 1—8.

Chomsky N. Syntactic Structures. The Hague: Mouton and C°, 1957 (русск. перев.: Хомский Н. Синтаксические структуры.— В: „Новое в лингвистике", вып. II. М., 1962, с. 412—527).

Jespersen O. The Philosophy of Modern Grammar. London—New York, 1924.

Jespersen O. A Modern English Grammar on Historic Principles. (Reprinted.) London—Copenhagen, 1954.

Peirce Ch. S. Collected Papers, vol. 5. Cambridge: Harvard University Press, 1934.

Sapir E. Language. New York: Harcourt, Brace and C°, 1921.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР РАБОТ ПО ТЕОРИИ СТИХА *

В 1910 г. один из ведущих русских поэтов-символистов, теоретик и знаток поэзии Андрей Белый (1880—1934) выпустил книгу «Символизм», толстый том в 633 страницы большого формата. Около трети этой книги было посвящено исследованиям в области поэтики, главным образом ритмики. Автор полагал, что «ближайшая задача изысканий в области русской поэзии» — дать сравнительное определение ритма и метра и разграничить их роль в создании стиха. Белый утверждал, что до сих пор в России «только одни поэты, музыканты, да профессор Ф. Е. Корш работали в этом научном направлении» (с. 254). Это заявление было явной недооценкой. После временного спада интереса в России к поэтике и поэзии в 1850—1860-е гг. количество работ, посвященных строению русского стиха, в конце XIX — начале XX в. неуклонно возрастало (о хронологическом распределении этих публикаций см. „Slavia“, 1934, с. 419). Однако несомненно, что именно труд Андрея Белого впервые пролил свет на природу русского четырехстопного ямба, разнообразие его акцентных вариантов, а также на те значительные изменения, которые этот излюбленный русский размер претерпел с восемнадцатого до начала двадцатого века. Белый обнаружил различные и до него никем не подмеченные особенности этого размера и поставил целый ряд более широких проблем.

Я испытывал глубокую неудовлетворенность господствовавшим в то время ненаучным подходом к теории литературы и поверхностными, импрессионистическими работами критиков в этой области, поэтому меня чрезвычайно увлекла вдохновенная и вдохновляющая конкретность прозрений Белого, и в особенности его скрупулезное исследование поэтического мастерства. Отправной точкой исторического обзора Белого были стихи М. В. Ломоносова (1711—1765), признанного основоположника русских стихотворных норм для всего восемнадца-

---

* Roman J a k o b s o n. Retrospect.— In: „Roman Jakobson: Selected Writings (On Verse. Its Masters and Explorens)“, V. The Hague—Paris, 1979, p.569—602.

того века; я попытался в моем юношеском этюде 1911 г. применить метод Белого к произведениям более раннего искателя нового русского стиха В. К. Тредиаковского (1703—1769). Его четырехстопные ямбы и хореи демонстрируют огромное разнообразие экспериментальных ритмических вариантов стиха. К этой вольности склоняли его книжные схемы, унаследованные от силлабической системы стихосложения и, возможно, также гибкие формы русской устной народной поэзии, которая всегда привлекала внимание этого трудолюбивого новатора-стихотворца. В ответ на это Ломоносов властно установил модель стиха с жесткими ограничениями на разнообразие форм. Количественные исследования последних лет, проведенные русскими стиховедами (в особенности М. Л. Гаспаровым), подтвердили изумительное ритмическое разнообразие четырехстопного ямба Тредиаковского.

Исследования Белого по ритмике были подвергнуты суровой критике в журнале «Аполлон» (1910) Валерием Брюсовым (1873—1924), выдающимся поэтом и теоретиком, представителем старшего поколения русских символистов. Брюсов упрекал Белого в том, что тот ограничил свой анализ лишь одним элементом ритма, а именно — пропуском ударений на сильных местах (иктах), относительной частотой этих пропусков и распределением их по строке, оставив без внимания совокупность компонентов ритма как целостность, в том числе прежде всего расположение словоразделов в стихе. Правда, теоретически Белый признавал ритмообразующую роль расположения «межсловесных перерывов» в стихе, и в коллективных исследованиях, проводившихся в Москве в 1910—1911 гг. „Ритмическим кружком" под руководством Андрея Белого, понятие словоразделов было использовано для практической интерпретации русского стиха. Однако этим работам мешало недостаточное знакомство исследователей со строем языка и особенно с его потенциальными возможностями (словоразделы, улавливаемые сознанием, и словоразделы, требующие пауз,— не одно и то же).

Но вскоре стимулирующие идеи обоих поэтов были подхвачены лингвистически ориентированными учеными младшего поколения, которые пересмотрели положения Белого и Брюсова и продолжили их изыскания. В уставе Московского лингвистического кружка, составленном в 1914 г. семью студентами тогдашнего Историко-филологического факультета Московского университета, главной целью провозглашалось «исследование проблем лингвистики, метрики и фольклора». Устав был немедленно одобрен Российской академией наук, а провозглашенные в нем цели получили благосклонное одобрение и поддержку Ф. Е. Корша (1843—1915), специалиста по славистике и классическим и восточным языкам; Корш особенно приветствовал планы по изучению проблем стихосложения и устного народного творчества. Следует отметить, что первое совместное исследование молодого коллектива было посвящено метрическому анализу русских былин.

В течение первых лет революции деятельность нашего Кружка быстро активизировалась. Свидетельством достижений в области тео-

рии стиха были блестящие доклады Б. И. Ярхо (1889—1942) о латинских „каролингских ритмах“, Б. В. Томашевского (1890—1957) о пятистопном ямбе Пушкина и О. М. Брика (1888—1945) о «ритмико-синтаксических фигурах» и дискуссии по докладам, которые частично сохранились в форме подробных протоколов (их отдельные образцы опубликованы в „Ученых записках Тартуского государственного университета“, № 422/1977). Живые споры между исследователями стиха и мастерами стиха, которые шли не только на заседаниях Кружка, но и в частных беседах, помогали членам Кружка глубже понять сущность словесного искусства.

Нельзя не признать, что в культурной жизни России это была эпоха повышенного интереса к искусству поэзии и к трудам и домыслам об его истоках. Уже в 1919 г. можно было смело утверждать, что в России наступила эпоха «небывалого урожая поэтики», в особенности — научного изучения стиха (см. „Научные известия“ Академического центра Наркомпроса, № 2, Москва, 1922, с. 222 и сл.), а лет через пятнадцать можно было добавить, что «в настоящее время наука о стихе в России в некоторых отношениях оставила позади стиховедение Запада, особенно в вопросах связи стиховой просодии с языком, звука — со смыслом, ритмики и мелодики — с синтаксисом, и все это благодаря тому, что в русском стиховедении 1) покончено с поверхностным эмпиризмом, 2) проводится четкое разграничение между стихом и его декламацией, 3) соблюдается функциональный подход к поэтическому языку, 4) отвергаются нормативные оценки, 5) покончено с эстетическим эгоцентризмом, 6) стих рассматривается как социальное явление, 7) изжита антиномия метр — ритм и 8) делаются попытки диалектической интерпретации развития форм стиха». (Журнал „Slavia“, XIII, 1934, с. 417). В том же самом обзоре подчеркивается, что русское стиховедение начало оказывать влияние на западные исследования, например на важные достижения А. В. де Гроота (1892—1963).

На этом этапе русские ученые по большей части разрабатывали проблемы своего национального стихосложения; на следующем этапе им предстояло решить еще более сложную лингвистическую проблему — постепенно сравнить различные системы стиха и с помощью полученных данных заложить основы общей метрики, по-настоящему универсальной, применимой к любой системе стихосложения. Такая логика и побудила меня, когда в конце 1920 г. я переехал из Москвы в Прагу, погрузиться в изучение загадок чешского стиха, старого и современного. Результатом моих исследований явилась книга „О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским“ (1923) (см. Якобсон, 1979, с. 3—121). Позже я расширил свои наблюдения и выводы, распространив их на системы стиха других славянских языков на разных исторических этапах их развития, а затем подступился и к некоторым инородным системам стиха, принятым за пределами славянских языков.

В различных своих публикациях, лекциях и семинарах в период с двадцатых по семидесятые годы я главным образом указывал на проблемы, которые до этого обыкновенно недооценивались или не за-

мечались вовсе. Так, например, начиная с 1923 г. я неоднократно подчеркивал ту важную роль, которую играют в метрике фонологические, смыслоразличающие элементы, и между прочим именно анализ стиха дал мне возможность увидеть основу, на которой зиждется фонологическая система языка (см. Якобсон, 1979, с. 20—49).

На протяжении всей моей научной жизни меня всегда привлекали необъятные области стиховедения (Verslehre) с их множеством разнообразнейших проблем, заманчивых и все еще не решенных. Приведу примеры лишь ряда проблем, которых я решился коснуться. Проблема факторов вариативности, на которую я указал в моей книге о чешском стихе, была детализирована мною и позже, в исследовании о взаимодействии долгих и кратких гласных в чешском стихе (рукопись моей работы об их роли в поэзии К. Г. Махи погибла во время оккупации Чехословакии Гитлером), а также в моем исследовании, совместно с Алфом Соммерфельтом (1892—1965), об использовании в норвежском стихе двух видов тона норвежского словесного ударения (см. Якобсон, 1979, с. 178—188). Вспомогательные стихообразующие факторы, такие, как рифма в ее грамматической и антиграмматической тенденциях (см. Якобсон, 1979, с. 170—177), и аллитерация германского стиха, подчеркиваемая диссимиляцией последующих гласных (см. Якобсон, 1979, с. 189—200), получили новую интерпретацию. Приложением к последней работе служит заметка Зигфрида Фальфельса о сходных явлениях в исландском стихе (см. Якобсон, 1979, с. 198—200).

Когда сравниваешь различные формы стиха в пределах одной и той же литературной традиции, невозможно не коснуться проблемы семантических ассоциаций, связанных с некоторыми метрическими формами; эту связь я и пытался показать (см. Якобсон, 1979, с. 464—485), выявляя систему образов, традиционно сопровождающих русский пятистопный хорей (например, лермонтовское «Выхожу один я на дорогу»), а также, выражаясь в терминах классической филологии, различный „этос" отдельных размеров, использовавшихся в чешской романтической поэзии.

В поисках правил, которые лежат в основе метрических схем, принятых в национальной системе стиха, и ограничивают их количество, я исследовал все дошедшие до нас мордовские народные песни (см. Якобсон, 1979, с. 160—166) и весь запас стихотворных средств так называемого урегулированного китайского стиха (см. Якобсон, 1979, с. 215—223). Легко возникающее возражение, что «метр, вследствие самой своей природы, немедленно создает противоборствующие с ним тенденции», не учитывает «всего многообразия *реально* существующих и *практически применяемых* метрических форм», потому что любая система стихосложения и лежащие в ее основе правила могут эволюционировать, в результате чего может возникнуть запрет на какие-то формы, практически применяемые в стихе; или, наоборот, будут добавляться какие-то новые формы, еще реально не существующие. Более того, вследствие консерватизма устной стихотворной традиции и предпочтения устойчивых стиховых форм в ран-

нюю эпоху Тан (618—907 гг.) стих стремится избегать этих противоборствующих тенденций.

Именно проблемы общих правил, ограничивающих набор разрешаемых метром форм, а также эмблематической связи между поэтическим жанром и предпочитаемым им метром или метрами и привели меня к попытке реконструировать метрические формы речитативного стиха, существовавшего во всех славянских языках. С этой целью я провел сравнительный анализ эпических поэм и заплачек в устном народном стихе современных славянских народов. Опыт изучения славянского стиха в свою очередь дал мне возможность продолжить стимулирующие изыскания Антуана Мейе (1866—1936), изучавшего метрические системы индоевропейского стиха (см. Якобсон, 1966, с. 414—463). Мои выводы, подтвержденные тонкими наблюдениями Калверта Уоткинса [Watkins] и Грегори Надь [Nagy], как мне кажется, обоснованы настолько, что могут выдержать скептицизм отдельных ортодоксально мыслящих критиков, отставших от современной науки. В стиховедении, однако, особенно актуальным является сейчас типологическое сравнение национальных систем стиха; начиная с моего сравнительного исследования чешского и русского стиха в книге 1923 г. именно этой проблеме я и посвящал большую часть моих изысканий в области метрики.

С конца 50-х гг. в России началось бурное возрождение интереса к исследованию стиха, и после двух десятилетий молчания появилось множество публикаций по теории стиха и поэтике. Вновь возобновились исследовательские работы более раннего периода. В потоке новых исследований появилось немало значительных изысканий; в числе особенно важных следует назвать работы блестящего математика А. Н. Колмогорова. Нельзя не упомянуть о его работах, в которых он исследовал стих Маяковского (1963) и Цветаевой (1968). Он определил метр как «закономерность, проявляемую ритмом и достаточно постоянную, чтобы вызывать а) ожидание ее подтверждения в последующих строках и б) в случаях ее нарушения — специфическое ощущение перебоя». Нельзя не согласиться с замечанием Колмогорова (1968), что «метр живет в сознании и подсознании поэта не только в виде закона, исключающего одни варианты и разрешающего другие, но и в форме определенной системы предпочтений и тенденций», которые определяют относительную пригодность различных ритмических вариантов для данных целей.

В моем заключительном выступлении на конференции „Язык и стиль“ в 1958 г. в Индианском университете (опубликовано в сборнике по материалам этой конференции) я высказал следующие соображения:

«Метр (или, точнее, *модель стиха*) — это не только абстрактная теоретическая схема, которая лежит в основе структуры каждой отдельной строки (или, пользуясь терминологией логики, каждого

отдельного случая *реализации стиха*). Модель и случай ее реализации — взаимосвязанные понятия. Модель стиха предопределяет инвариантные особенности реализаций стиха и устанавливает пределы варьирования. Ни в коем случае нельзя отождествлять вариант *реализаций стиха* в каждом данном стихотворении и варианты *декламирования стиха*».

Для того чтобы найти правильный подход к проблеме стихотворного метра, необходимо отказаться от натянутых сравнений и вводящих в заблуждение уподоблений метрической модели различным ритмически упорядоченным явлениям природы. Конституенты любого метра — чисто лингвистические. Когда в своей замечательной лекции в Токио, опубликованной в 1970 г., Моррис Халле пытался найти точный научный ответ на трудный вопрос: «Какова роль метра в поэзии?» — ему пришлось дать единственно возможный ответ, что реализация метрической модели «с помощью фонологических элементов — это отличительный признак стиха». Или, пользуясь формулировкой „нового подхода", которую я дал в 1933 г. для Пражской энциклопедии (см. Якобсон, 1979, с. 148), метр — это не звучание, но «лингвистически значимые элементы, которые и являются строительным материалом стиха; в структуре стиха особенно важна роль, которую в общей системе языка играют элементы его просодической системы». Конституенты стихотворного метра — это реляционные понятия, возникающие в результате отношений между элементами; отношения, в которые вступают элементы метра,— это не отношения между однородными элементами, но отношения между элементами, находящимися в резкой оппозиции.

Главный вопрос, на который пытался дать ответ Халле,— можно ли найти объяснение неизменно бинарной структуре метрических моделей, и как найти такое объяснение,— полностью исчерпывается самой логикой возникновения отношений оппозиции. В основе общей типологии всех метров лежит связь базовой инвариантности с определенной вариативностью отношений между элементами, находящимися в оппозиции; особенно строго ограничивается варьируемость элементов, являющихся маркированным членом оппозиции. Идея о том, что отношения между элементами, значимыми для структуры языка, и лежат в основе систем стихосложения, приходила в голову ученым очень давно; в нашем веке под влиянием воинствующего эмпиризма об этих наиболее общих основах любого метра чаще всего забывали.

Современный исследователь поэтики и стиха Китая раннего средневековья не может не поразиться «той значимости в структуре стиха, которую там имел принцип бинарной оппозиции тонов». Выдающийся китайский ученый VIII в. н. э. Ван Чжан-лин дает высокую оценку урегулированному стиху своей эпохи, потому что в нем «объединены инь и ян», тогда как без этого антитетического приема стих, по словам цитируемого Ваном авторитетного ученого VII в., превращается в обыкновенный «звериный рёв» (см. Р. В. Бодмэн, 106, 400). Структура любого метра подразумевает совместное присутствие двух

противопоставляющихся конституентов, взаимодействующих между собой. Пользуясь точным определением Ган Шин-Бьо (1974), «*инь* и *ян* дополняют друг друга и чередуются друг с другом, в результате чего возникает единство». Принцип бинарных оппозиций, изложенный в древней китайской „Книге превращений" и легший в основу всей системы познания, сформировавшейся в Китае, неоднократно упоминается и используется в самых различных областях современных научных исследований (см., например, Рене Т о м, 1972 и Франсуа Ж а к о б, 1974).

У Августина его блестящие догадки по теории знаков замечательным образом отразились и на его размышлениях о важнейших проблемах теории стиха и в первую очередь на двух фундаментальных ее понятиях: единство и противоположность. В его диалоге „О музыке" (De Musica), сочиненном в 387—389 гг., высказано несколько глубоких мыслей, которые почти за шестнадцать веков не потеряли своей актуальности. Приводимые ниже цитаты, иллюстрирующие ход рассуждений Августина, взяты из прекрасного обзора его трудов и систематизации его идей, выполненного Джексоном Найтом [Knight].

Исходная точка рассуждений Учителя (II, 7, 15) — это вопрос о том, «каков же в действительности *принцип* (ratio), или закон стиха, какова же вся теоретическая структура и система правил, благодаря которым он и существует». Для того чтобы установить сущность системы ритма, необходимо «от материального перейти к нематериальному», а именно подняться от звучания, данного в действии произносящего стихи и в *слуховом восприятии слушающего* (in sensu audientis), к главному, *высшему уровню* (praestantissimum), а именно к интеллектуальной оценке воспринимаемого, к оценке искусства поэта «подойти к ритму и отойти от него». Соответственно, «воспринимаемый ритм — это плод работы духа» (VI, 2—4). «Мы оцениваем *запоминаемый ритм* (recordabiles numeri) с помощью *оценочного ритма*, существующего в нашем сознании (iudiciales numeri). Для такого сопоставления нам на помощь приходит некий внутренний свет, или интуиция. Сравнение дает нам возможность произвести *интуитивную оценку* (agnitio), которая есть новое *узнавание* чего-то старого (recognitio), а также некое *воспоминание* (recordatio)» (VI, 8).

По мнению Августина, основным условием любой ритмической системы является принцип произвольно привнесенной равнозначности (гл. 10—13). «Без приравнивания ничто не может быть ни пропорциональным, ни *ритмическим* (numerosus)». Учитель напоминает своему ученику, что «закон приравнивания есть всему глава», и это главенство (iure aequalitatis dominante) позволяет ответить на вопрос, «благодаря какому скрытому механизму, несмотря на все многообразие, стихотворные строки все-таки причастны равенству... Мы прекрасно понимаем, что на самом деле истинное равенство в них не достигается; и все-таки мы видим относительную и своеобразную красоту в творении, поскольку и пока оно хотя бы подражает этому равенству». Так, «*в ритме* (numeris), состоящем из временны́х долгот», один из двух кратких слогов в паре «равнозначных между собою членов (ра-

ria paribus)» может произноситься «дольше соседнего», но оцениваются они все равно как равнодлительные. «Душа наша утверждает, что незыблемое равенство слогов существует».

Кроме принципа эквивалентности, Августин также выдвигает мысль о пропорциональном, организованном взаимодействии противоположностей. «Свидетельство тому — ритм, воспринимаемый нашими чувствами». (Гл. 14): «Долгие слоги долги лишь в сравнении с краткими, а краткие слоги кратки лишь в сравнении с долгими. Как бы медленно мы ни произносили ямбический стих (◡ —), слоги в нем все равно остаются в пропорции 1 : 2 и стих по-прежнему остается ямбом (◡ —), тогда как чистый пиррихий (◡ ◡), произнесенный достаточно медленно, становится спондеем (– –), не по правилам грамматики, конечно, а по требованиям музыки».

Приведенное выше рассуждение, в котором Августин подчеркивает необходимость проводить различие между двумя аспектами в движении стиха, а именно — между «требованиями музыки» и «правилами грамматики», является вершиной его чисто семиотического подхода к проблемам метра и его последовательного отказа от какого бы то ни было механистического, чисто эмпирического, физического подхода. Декламатор и слушатель стиха осознают различие между «требованиями музыки» и «правилами грамматики» благодаря существующему в их сознании оценочному ритму (Judicial Rhythm). Главное структурное различие между метром в музыке и метром в поэзии — двойственный характер стихотворного ритма, основанного на конституентах двух типов: тех, что существуют в языке вне стиха, и тех, которые «возникают только в стихе» (см. Якобсон, 1979, с. 161),— свидетельствует о том, что проблему создания и восприятия стиха невозможно решить, не обращаясь к чисто лингвистическим категориям, известным носителям языка.

Слишком прямая аналогия стиха с музыкой, которую часто проводили теоретики стиха, ошибочна; М. С. Бердсли [Beardsley, 1972] справедливо отметил, что если заходить в аналогиях слишком далеко, то «это побуждает отыскивать мнимые и поверхностные сходства, которые мешают увидеть существенные различия». Если сравнивать стих с музыкой, то самое серьезное, существенное различие заключается в том, что ритмические группировки в музыке «на всех архитектонических уровнях являются результатом сходства и различия, объединения и размежевания звуков, воспринимаемых органами чувств и организованных сознанием» (Г. Купер и Л. Мейер, 1960), тогда как в стихе основой группировок является сегментация речевого потока словоразделами. Такая фразировка, навязанная стиху законами грамматики, основана на непроизвольном внимании говорящего/слушающего к объединению слогов, входящих в одну и ту же словесную единицу, и к размежеванию слогов, входящих в разные словесные единицы. Осознание таких „объединений“ и „размежеваний“ непременно; оно не зависит от того, является ли физическая реализация данного словораздела обязательной или факультативной. Ученые, которые по своей ограниченности сводили исследование сти-

ха и языка к чисто эмпирическому изучению внешнего и слышимого, не смогли оценить той огромной роли, которую играют слова и словоразделы в языковой и метрической структуре стиха.

Когда я подошел в моей книге „О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским" к этой главной проблеме «словораздела и его роли в стихе», я прежде всего использовал и развил «плодотворнейшее понятие потенциальности языковых явлений, защищаемое В. Матезиусом в его интересной работе „O potenciálnosti jevu jazykových" [„О потенциальности языковых явлений"] (1911)», которое выявило тот факт, что слово присутствует в нашем языковом сознании, не нуждаясь в непременных акустических границах. Тогда ученые и начали постепенно понимать, что существуют элементы, которые не требуют никакой двигательной или слуховой реализации, но которые тем не менее играют важнейшую роль в структуре стиха (см. Якобсон, 1979, с. 27 и сл., 148).

Намеренное или случайное забвение динамической сущности метра, неразрывно связанной с самим понятием стиха,— это ошибка, которая в работах по теории метра серьезно препятствовала правильной оценке взаимосвязи между движущим началом стиха и его фразировкой. Протяженность во времени — важнейший фактор структурирования всякого метра и необходимая предпосылка любого метрического анализа. Модные ныне пространственные метафоры в применении к конституентам метра грозят исказить природу стиха. Такие выражения, как «левый из двух слогов», расположенный «слева от ударения», или «в стихе слева направо», заимствованные из правил письма слева направо, неизбежно подставляют статичные клише на место динамического движения, существующего в нашем сознании и запечатленного в последовательности явлений, которые движутся во времени от прошлого к будущему, praetereunt, как говорил когда-то Августин (VI, 12).

В записных книжках юного Джерарда Мэнли Хопкинса (1844—1898) содержится целый ряд глубоких мыслей о природе стиха; среди них мы находим замечание, что в поэзии, как и в других «видах искусства, которые основаны на протяженности не в пространстве, а во времени, особую конструктивную роль играет последовательность интервалов, пусть даже самая несложная». Красота такой последовательности строится на соотношении ее частей, то есть на взаимозависимости инвариантности и варьирования; «таким образом, ритм — это сходство, измеряемое различием»; и как только «в ритме достигается регулярность», и «ритм, наконец, становится прекрасным», пытливый поэт старается «найти в нем неравномерность».

Существенные, неотъемлемые временные компоненты любого метра, переживаемые создателем стиха и теми, кто стих воспринимает, например оправдавшееся предвосхищение или обманутое ожидание, а также прогрессивная или, наоборот, регрессивная диссимиляция следующих один за другим конституентов, или, наконец, неравномерное чередование нисходящих и восходящих шагов поступательного движения стиха,— все это проявления, которые красноречиво свидетель-

ствуют о динамической природе любого метрического текста; они опровергают какую бы то ни было пространственную метафорику, например уподобление стихотворного метра расставленным в классной комнате партам. И все-таки „демон аналогии“ гениально попадает в больное место этой динамики метра, когда подсказывает Малларме его знаменитую фразу, фразируемую ею самою и живую «своей собственной индивидуальностью»: «La pénultième est morte». Эти слова произносятся в нисходящей интонации,— так, чтобы *Предпоследний* слог кончал стих, а *Мертв* отрывисто отделялось от этой роковой напряженности». Слова „предпоследний слог“ и „напряженность“ драматически объединяют концовочную каденцию и переход к ритму следующей строки: le deuil de l'inexplicable pénultième.

Я многим обязан первым достижениям гештальтпсихологии: таковы были пристальное внимание Курта Коффки к влиянию повторности на организацию временно́й последовательности (Коффка, 1909, с. 74), а также убедительное суждение Витторио Бенусси (Бенусси, 1913) об автономном «субъективном времени» и его утверждение, что без фразировки невозможно ощущение ритма; фразировка же может быть и относительно независимой от ударности. Со времени исследований Бориса Томашевского о четырехстопном и пятистопном ямбе Пушкина русские стиховеды собрали много статистических данных об этих двух столь различных движущих силах стиха: его ударности и словораздельной структуре. Сам Томашевский уделял главное внимание «акцентной конфигурации стиха»; однако этот пытливый ученый соглашался с главным утверждением моего сравнительного исследования чешского и русского стиха, а именно, что между просодическими и, соответственно, метрическими системами этих двух языков существует коренное различие: свободное ударение и независимые от него словоразделы русского языка в корне отличаются от взаимосвязанных словесных ударений и словоразделов чешского языка. Это различие в языковых и стиховых моделях совершенно очевидно требовало фонологической интерпретации.

П. Кипарский совершенно справедливо отмечает, что в исследованиях по теории метра значительную трудность представляет поиск общего знаменателя у разнообразных форм и выявление различия у внешне сходных форм, имеющих, казалось бы, общий знаменатель. Так, на поверхностный взгляд в чешском и русском стихе основные элементы сходны, но при внимательном изучении разницы их соотношений и их иерархической роли в просодической системе языка выявляется существенное различие в метрической значимости конституентов, столь сходных на первый взгляд. Две системы стиха коренным образом различаются, если они складываются из одинаковых основных элементов, но слагающихся в них неодинаковым образом.

По-видимому, стиховед должен прежде всего учитывать инвариантные структурные характеристики языка, используемые в создании метра. Такова, во-первых, фразировка — результат грамматических связей, объединяющих или размежевывающих слова и/или синтаксические группы. Таково, во-вторых, чередование некоторых просо-

дических элементов, находящихся во взаимной оппозиции. Эта бинарная оппозиция представляет собой противопоставление сильных и слабых членов: ударность/безударность (более сильное и более слабое динамическое ударение); долгота/краткость (удлиненные слоги и слоги нормальной длины). Последний тип оппозиции в разных языках реализуется по-разному: как долгий — краткий слоговый пик (лишенный второй гласной моры и возможности заменить ее согласным) в древнегреческом стихе, как долгий — краткий тональный пик в китайском стихе (Якобсон, 1979, с. 216 и сл.). Метрическая модель может также частично, а в так называемом „свободном" стихе полностью, основываться на синтаксической просодии — на оппозиции его двух типов интонаций. Сильные и слабые члены оппозиции, с одной стороны, используются как чередующиеся компоненты в последовательности стиха или его части, а с другой стороны, они используются как факультативные заменители одного из двух членов оппозиции, уравновешивая оставшийся член. Роль таких замен чрезвычайно велика: они обостряют восприятие противоположности и единства обоих членов.

Силлабизм как метрический принцип также использует оппозицию сильных и слабых членов, сходную с принципом акцентной или количественной оппозиции (первая основана на оппозиции ударность/безударность, вторая — на оппозиции долгота/краткость). Слоговое ядро функционирует как сильный член, а неслоговые, периферийные компоненты слога — как слабый. Два смежных гласных, не разделенные неслоговыми элементами, воспринимаются во многих моделях стиха как единый слог, как бы ни варьировались физические особенности этого хиатуса (зияния); mutatis mutandis, сходную функцию выполняет синерезис — стяжение гласных внутри слова.

Чем меньше функциональная нагрузка ударения в системе какого-либо языка, тем вероятнее для этого языка чисто силлабическая или преимущественно силлабическая система стихосложения. Это ярко видно из таких примеров, как стихосложение французское, армянское, грузинское (см. Церетели, 1974), мордовское (см. Поливанов, 1963) и многие другие. Рядом с этими языками, в которых ударение фонологически не значимо, языки со свободным, фонологически значимым ударением нередко формируют различные метрические модели, в которых оба фактора — силлабический и акцентный — действуют одновременно: каждый из них, на соответствующем уровне, строит оппозицию сильных и слабых членов.

В двусложных русских метрах, например в самом распространенном четырехстопном ямбе, каждое сильное место, кроме последнего, допускает или даже требует относительно частой замены ударного слога безударным. Первые стихотворные опыты Ломоносова, в которых в подражание их немецким образцам безударные слоги на сильных местах избегались (пример стиха 1741 года: *Всегда́шним льдо́м покры́ты во́лны,//Скачи́те ны́нь весе́лья по́лны*), показались современникам безвкусным педантством. Это заставило Ломоносова постепенно отойти от первоначальной жесткости (см. В. М. Жирмун-

с к и й, 1968). В самом деле, как заметил поэт и тонкий исследователь русского стиха Сергей Бобров (1889—1968) в своих комментариях к стиховедческим фантазиям Божидара (1916), ямбическая строфа, в которой настойчиво ударяются все сильные места, а словоразделы совпадают со стопоразделами — такова, например, строфа Алексея Мерзлякова (1778—1830): *Кудá бежáть, тоскý девáть?//Пойдý в лесá тоскý губúть,// Пойдý к рекáм тоскý топúть,//Пойдý в полá тоскý терáть*,— создает впечатление «ямбической какофонии».

В русских двусложных метрах регрессивная диссимиляция сильных мест проявляется прежде всего в обязательной ударности последнего, самого тяжелого икта и соответственно в минимальной ударности предпоследнего, самого легкого икта. Строки русского четырехстопного ямба, с пропуском ударения на третьем икте, ритмически разнообразятся в зависимости от места словораздела между вторым и четвертым иктами. Вот наглядный пример — строки из вступления к „Медному всаднику“:

Об нéй свежó / *воспоми*нáнье ***
По нéй стреми́*лся* / *один*óко ***
Невы́ держá*вное* / *те*чéнье ***
Люблю́ войнст*венную*/жи́вость ***

Сочетание двух смежных безударных иктов создает особенную гибкость ритмических вариаций благодаря шести возможным позициям словораздела между первым и последним иктами строки. Вот для примера шесть строк из стихов Бориса Пастернака (1890—1960):

1. И вóт,/ *хоть и без пани*брáтства ***
2. Батрá*чкам* / *напере*гонки́ ***
3. Взвивá*ется* / *до пото*лкá ***
4. Невé*домого* / *мятеж*á ***
5. Над рý*кописями* / *трясти́*сь ***
6. И стá*лкивающихся* / глы́б ***

Если в двух смежных строках четырехстопного ямба ударения пропущены на одних и тех же иктах, обе строки становятся выразительно симметричными; симметрия может подчеркиваться частичным или полным синтаксическим параллелизмом. В стихах Пушкина: *У беспокóйного Никúты,//У осторóжного Ильú* — полный грамматический параллелизм еще заметнее подчеркивается тождественным местом словораздела; в другом отрывке из „Евгения Онегина“: *Непостóянный обожáтель//Очаровáтельных актрúс* — строки спаяны повторением фонемы /а/ и грамматическим параллелизмом: обе строки содержат определение-прилагательное и определяемое существительное.

Ритмический, синтаксический и семантический параллелизм в строках с пропусками ударений на обоих внутренних иктах выделяет три вызывающие строки в первом четверостишии цикла „Ямбы“ Александра Блока (1880—1921) с их мятежным эпиграфом из Ювенала: Fecit indignatio versum. В первой строке первой строфы *О, я́ хочý безýмно жить* возникает акцентная двусмысленность: которое из двух серединных слов несет более сильное ударение: *безумно хочý*

или *безу́мно жить*? А за этой строкой следует фантасмагорическое трехстишие:

Всё су́щее — *увеко*ве́чить,
Безли́*чное* — *вочело*ве́чить,
Несбы́*вшееся* — *вопло*ти́ть!

Когда сталкиваются строки, в которых пропущено ударение на третьем икте, а в некоторых — также на первом или втором иктах, контраст становится особенно резким. Это видно в ямбах Пастернака:

1) Одна́жды Ге́гель, *не*наро́ком
И, вероя́тно, *на*уга́д
Назва́л исто́ри*ка* проро́ком,
Предска́зы*вающим* наза́д.
2) От *по*воро́та *к* *по*воро́ту
Чрез ме́стно*сти* и *вре*мена́
Через прегра́ды *и* красо́ты
Несе́тся к це́ли *и* она́.

Ср. такой же контрастный переход от безударности второго икта к безударности первого в ямбах Осипа Мандельштама (1891—1938):

Уга́ды*вается* каче́ль,
Не*до*малёва*ны* вуа́ли ***

В четырехстопных ямбах Пастернака можно встретить редчайший ритмический вариант: две смежных строки с двумя пропусками ударений на смежных иктах: *И по водопрово́дной се́ти*; *Под железнодоро́жный мост*. В стихах Александра Межирова (шестидесятых годов), разбираемых В. В. Ивановым (1966, 1973), сходный эффект вызывается редчайшим столкновением двух строк, лишенных ожидаемого ударения: в одной — на втором, в другой — на третьем икте:

*И разоча*рова́лся в су́ти
Боже́*ственного ма*стерства́.

Можно для любопытства сконструировать строки, в которых все икты, кроме последнего, будут лишены ударения; такова вторая строка шуточного двустишия: *Ука́з увя́з: — у ва́с зерно́//Неперераспределено́*! В своем трудоемком „Трактате о русском стихе" (1923) Георгий Шенгели (1894—1956) приводит шуточную ямбическую строфу, в которой, вопреки законам метра и рифмы, в одной строке снято ударение с четвертого, финального икта; эта строка состоит из одного-единственного слова с ударением на четвертом слоге (второй икт), но рифмуется с нормальной строкой четырехстопного ямба: *Распа́лась вся́, исче́зла вся́//— Расформиро́вывается*. В этой связи уместно вспомнить строку пятистопного хорея Брюсова, в которой за последним ударным слогом следует шесть безударных: *Шу́мы ре́чки, с да́льней пе́снью сме́шивающиеся*.

В работе А. Н. Колмогорова и А. В. Прохорова (1963) о стихе Эдуарда Багрицкого (1895—1934) было показано, что в пятистопных хореях этого поэта встречаются даже семисложные интервалы, не нарушающие слоговой и акцентной нормы стиха. На этих интервалах

«нет вспомогательных ударений, требуемых метрической моделью стиха, но в таких строках поэт достигает исключительной художественной выразительности»:

Тишина́... Прислу́шайся упря́мо
У́тлым у́хом: и поймёшь тогда́,
Ка́к несётся телефонogра́мма,
Вы́*тянувшаяся в провода́*...

(В этой строфе восемь неконечных иктов ударны и восемь безударны.)

Даже в тех метрических формах русского стиха, которые допускают некоторую свободу в количестве слогов между иктами, количество односложных интервалов урегулировано, и количество безударных слогов на неиктах определяется вероятностными законами языка. Колмогоров и Прохоров пришли к чрезвычайно важному выводу (1963): «Многие поэты двадцатого века, которые предпочитают использовать крупные единицы, например группы слогов, объединенных сильным ударением, проявляют удивительную способность к бессознательному четкому счету слогов».

В двусложных русских метрах, и в особенности в четырехстопном ямбе, безударные икты играют значительно более важную роль, чем ударные неикты (см., например, Т о м а ш е в с к и й, 1963 и Г а с п а р о в, 1977). Первые три икта стиха „Евгения Онегина" безударны примерно в тридцати процентах случаев, тогда как количество ударений на неиктах строго ограничено.

Поскольку первый неикт ямбической строки не подлежит ритмическому сравнению с каким-либо предыдущим контекстом, он легко принимает ударение и является единственной слабой позицией русского ямба, на которой может возникать сверхсхемное ударение; остальные слабые позиции фактически безударны. В качестве примера ударности на первом неикте приведу несколько строк четырехстопного ямба Пастернака:

Па́р так и ва́лит изо рта́ ***
Ду́х вырыва́ется нару́жу ***
Их предостерега́ют с бо́чек ***
Пе́л телефо́нный аппара́т ***
Но́г у поро́га не обтёрши ***

По подсчетам Томашевского, ударные анакрузы обнаруживаются примерно в восьми процентах строк „Онегина". На прочих же неиктах количество ударных слогов в среднем едва ли превышает один процент. По большей части это слова, принимаемые в русском стиховедении за слабоударные; их акцентуация колеблется между ударностью и безударностью (проклитичностью).

Так называемые „отяжеления" срединных неиктов ударными односложными словами (главным образом, после синтаксического шва) создают чрезвычайно редкие цепочки слогов — такие, как причудливые стихи Г. Р. Державина (1743—1816): *Поля́к*, *Ту́рк*, *Пе́рс*, *Пру́сс*, *Хи́н* и *Швёды* или то же с четырьмя смежными сильноударными односложными словами: *Бы́л крокоди́л*, *во́лхв*, *кня́зь*, *жре́ц*, *во́ждь* или *Рёв*

кра́в, гро́м жо́лн и ко́ней ржа́нье; таковы также нарочито вычурные стихи из переводческих экспериментов Брюсова (*Ка́к судия́ бди́т на земле́*; *Звучи́т, в костя́х мо́зг иссуша́я*). Эффект таких сильноударных односложных слов особенно заметен в тех случаях, когда они синтаксически сильнее связаны не с последующим, а с предыдущим словом, как, например, в стихах Тредиаковского: *Исче́з* ***мра́з*** *и треску́че зло́* или: *Произращение* ***нив*** *зря́*.

Одно из самых характерных свойств русских двусложных метров — запрет на ритмическую перестановку ударения в пределах одного слова. Ударение двусложных и многосложных слов не может оказаться на неиктовой позиции, когда их безударные слоги — на икте. Редкие случаи, когда на этих позициях оказываются подчиненные или служебные слова, используемые поэтом проклитически, не нарушают общего правила (такова, например, часто цитируемая строка Пушкина *Я предлага́ю вы́пить в его па́мять*). Как я писал в моей рецензии на „Краткий курс науки о стихе" Брюсова (1919), многосложные слова в русском стихе не могут переакцентироваться под влиянием ритма; это правило абсолютно. В числе сотен тысяч проанализированных ямбических стихов строки, начинающиеся двусложным или многосложным словом с ударением на первом слоге, оказываются редчайшим исключением, акробатическим трюком. Таковы, например, отдельные экспериментальные ямбы самого Брюсова, в которых двусложное слово с ударением, падающим на анакрузу, произносится с восходящей интонацией вопроса: «Та́йна? *А́х во́т что̀. Ка́к в рома́не. Я...*» — «У́мер? *Я̀ почита́л его́ досто́йней...*» (см. Я к о б с о н, 1979, с. 28 и сл., 136, 168, 240 и сл. и Г а с п а р о в, 1974, с. 196).

Особенности акцентной структуры национальной формы стиха в значительной степени зависят от того, выполняет ли ударение в данном языке самостоятельную смыслоразличительную функцию, и если да, то в какой мере. С углублением стиховедческих исследований все очевиднее становится основная особенность односложных слов: они не обладают смыслоразличительным ударением даже в тех языках, где такое ударение характерно для многосложных слов. Коренное различие между односложными и многосложными словами подтверждается различием их употребления в стихе, например их неодинаковым использованием на иктах и неиктах русского стиха (см. Я к о б с о н, 1979, с. 201 и сл.). Целый ряд правил метра английского стиха также основывается на кардинальном различии между односложными и многосложными словами.

Метрически значимая проблема взаимодействия между словесным ударением и различными степенями фразового ударения (см. Я к о б с о н, 1979, с. 167) неоднократно ставилась в работах стиховедов, исследующих иерархические отношения между системой ударений и синтаксическим уровнем метра. Пионерской работой в этой области была большая статья Осипа Брика „Ритм и синтаксис" (1927) (см. Я к о б с о н, 1979, с. 167 и сл.). Стиховедческие работы, в которых проводится исследование синтаксических структур, строились на использовании принципа бинарной оппозиции между относительно бо-

лее сильно выделенными и менее сильно выделенными слогами. В работах, посвященных проблемам метра, ученые старались последовательно применять принцип бинарной оппозиции, отказавшись от механического перечисления бесконечного количества уровней моторно-физической ударности слогов. Согласно точке зрения русских стиховедов, в последовательности смежных ударных слогов ударность второго слога более значима, чем ударность первого. Как заметил Шенгели, «первый играет роль трамплина для второго». В наше время подобная система «относительной выделенности» была разработана Марком Либерманом и Аланом Принсом (1977): с помощью своей системы эти авторы пытались объяснить соотнесенность английского языкового материала с «метрической сеткой».

Пересматривая законы метра, П. Кипарский справедливо подметил новые принципы американских стиховедов: «Мы сконцентрировали внимание на всего лишь одной проблеме метра», однако, бесспорно, эта проблема — одна из важнейших и ключевых.

Тщательное сравнительное исследование соотносящихся русских и английских метров, например ямба, вскрывает существенные расхождения между двумя системами, несмотря на все их внешнее поверхностное сходство. Метр русского ямба, как следует из вышесказанного, характеризуется почти константной безударностью неиктов и выразительной игрой ударных и безударных иктов. Ударения на иктах все-таки первенствуют, тогда как безударные слоги остаются в действенном значимом меньшинстве. В отличие от русского стиха, основная особенность ритма английского ямба — система бинарных оппозиций членов внутри многоуровневых грамматических конструкций.

Если в русской стиховой традиции самый распространенный, жизнеспособный и излюбленный метр, легко поддающийся индивидуальному и историческому варьированию,— четырехстопный ямб, а в английской — пятистопный, то это вряд ли случайно. Типичные признаки этих стиховых моделей, по-видимому, весьма успешно сочетаются с особенностями этих языков. Согласно справедливому выводу Тарлинской (1976), которая произвела широкий сравнительный анализ английского и русского стиха, английский пятистопный ямб — это в первую очередь организованная последовательность чередующихся синтаксических групп, в которых чередуются слова большей и меньшей степени грамматической самостоятельности и, соответственно, акцентной выделенности, тогда как русский ямб (в особенности четырехстопный) — это в первую очередь ряд обязательно безударных слогов, чередующихся с произвольно ударными слогами на неконечных иктах, завершающийся константно ударным слогом на конечном икте. Таким образом, перед нами два непохожих варианта ямбического метра: первый строится главным образом на грамматических оппозициях, второй — на фонологических. В английском ямбе основой метра является грамматический уровень языковой структуры, а фонологический уровень ему подчинен, тогда как в русском ямбе наоборот.

Одно из решающих различий между системами метра русского и английского ямба связано с проблемой допустимости ритмической инверсии ударений внутри двусложных слов. Употребление ударного слога таких слов на неикте, а безударного на икте тщательно избегается в русском ямбе, тогда как в английском ямбе, несмотря на целый ряд строгих правил метра, ограничивающих количество допустимых форм, подобные акцентные перестановки допустимы и широкоупотребительны.

Чем выше предсказуемость места словесного ударения в каком-либо языке, тем более характерна для его стиха широкая система акцентных вольностей. Эти отступления от строго метрического распределения словесных ударений по строке свидетельствуют о постепенном переходе от так называемого силлабо-тонического к так называемому чисто силлабическому стиху. Примером такого перехода является чешский и словацкий стих, так как словесное ударение в чешском и словацком языках закреплено за первым слогом, или польский стих, так как в польском языке словесное ударение падает на предпоследний слог. Эти системы стиха отличаются от русского, базирующегося на нефиксированном месте словесного ударения в русском языке. В отличие от западнославянских языков, в которых место словесного ударения целиком определяется границей словораздела, словесное ударение в английском языке еще сохраняет некоторые признаки произвольности. Это наглядные примеры большой разницы языков и систем стиха с полной и частичной предсказуемостью элементов. Однако правила, определяющие место словесного ударения в английском языке (об относительной жесткости этих правил см. в особенности Дж. Р. Р о с с, 1972 и М. Х а л л е, 1973), по-видимому, более строгие и всеобъемлющие, чем в русском языке; этим и объясняется непреодолимый разрыв между системами русского и английского стиха и, в частности, наличие отклонений в сторону силлабики, очевидных в английском белом пятистопном ямбе (или, mutatis mutandis, в немецких Sprachdichtungen Ганса Закса).

Такие существенные проблемы метрики английского стиха как закономерности распределения по строке словоразделов и их взаимодействие с системой оппозиций ударений еще ожидают своего решения, и даже в фундаментальном труде Марины Тарлинской „Английский стих" (1976) разработка этих проблем отложена на будущее. Зависимость ритма строки от преобладающей метрической структуры заполняющих ее слов давно привлекала внимание русских стиховедов, однако в английском стиховедении, как мимоходом отмечает Кипарский, эта проблема до сих пор остается вне поля зрения теоретиков метра. Впрочем, эту проблему затронул в свое время Джерард Мэнли Хопкинс в замечании о сонете Томаса Грея, а также о «торжественности и монотонности» строки Эдгара По «Ah distinctly/I remember». Высказывания У. К. Уимсетта [W i m s a t t, 1959] и Кипарского о выразительном взаимодействии ямбической последовательности ударных и безударных слогов с хореической фразировкой стиха у Теннисона лишь подчеркивают необходимость изучать структуру

словоразделов, не ограничивая подобное исследование *«главным* синтаксическим швом» строки. Хопкинс отмечал «удивительный нисходящий хореический ритм» ямбической строки сонета Грея: In vain to me the smiling/ mornings/shine, но, «с точки зрения ортодоксальной метрики», как иронически замечает Кипарский, такое суждение абсурдно; в самом деле, большинство исследователей прошло мимо основной особенности английского стиха. К счастью, фразировка как одно из важнейших свойств стиха была широко исследована на материале русской и других славянских стиховых систем. Сравнительное исследование стиховых систем славянских языков, проводимое в настоящее время международной группой стиховедов (см. Копчиньска и Пщоловска [Kopczyńska & Pszczołowska], 1978), выявило существование значимых расхождений систем стиха разных ареалов, и в особенности различия в метре языков со свободным ударением и языков, в которых словесное ударение постоянно или преимущественно падает на первый слог слова. Так, согласно метрической традиции чешского, словацкого, сербскохорватского хорея, по крайней мере один из двух словоразделов любого словосочетания проходит перед нечетной слоговой позицией и/или после четной слоговой позиции строки.

Перед всеми разделами метрики как дисциплины — перед метрикой чисто дескриптивной, исторической, сравнительной и общей — встают все новые исследовательские и теоретические проблемы. В науке о стихе следует прежде всего избегать поспешных и поверхностных аналогий между владением языком, реализующимся в речи его носителей, и метрами, актуализируемыми в стихе поэтов. Между практическим владением языком и поэтической функцией метрического канона пролегает глубокая пропасть. Наряду с основными и наиболее общими законами такого канона существуют периферийные, факультативные правила; именно они видоизменяют и раздвигают рамки канона. Эти явления ни в коей мере нельзя квалифицировать как «отклонения», «неметрические ухищрения»; по-видимому, поэты употребляют их намеренно, пытаясь оживить и обогатить канон наперекор правилам, созданным теоретиками стиха, какими бы основательными они ни казались. Например, Шекспир не был разрушителем унаследованного им метрического канона, но он не был и раболепным эпигоном; он творчески интерпретировал этот канон и последовательно его утверждал. Когда мы оцениваем отношение Шекспира к метрическому канону, анализируя его белый пятистопный ямб, и пытаемся решить, работал ли поэт в рамках канона или ломал его, мы приходим к выводу о справедливости первого предположения несмотря на то, что, согласно схоластической метрике, в его стихе обнаруживаются «недозволенные отступления» и «нарушения» канонизированной метрической схемы.

Каким бы уровнем структуры стиха ни занимался стиховед, ему неизбежно приходится сталкиваться с взаимосвязью инварианта и

вариантов. Здесь необходимо вновь подчеркнуть корреляцию между „моделью стиха" (verse design) и „конкретной реализацией" этой модели (verse instance). Поскольку в понятие метра входят не только предписания и запреты, но и правила предпочтений определенных форм, отбор поэтом отдельных, предпочитаемых им вариантов нуждается в специальном исследовании. Изучение метрических тождеств и различий неразрывно связано с оценкой их значимости: стихотворная форма — одна из самых важных особенностей поэтического языка; поэтому невозможно до конца понять ни одно правило метра, не уяснив для себя главного вопроса — какова функция этого правила в искусстве слова.

Огромное количество фактической информации, полученной главным образом русскими стиховедами, долго работавшими над статистическим обследованием большого стихотворного материала, обогатило нас ценными сведениями о различных вариантах каждого метра, об акцентной и словораздельной структуре стиха, характерной для данного поэта, для данного литературного направления или данной эпохи. Количественный анализ стиха дал также возможность проследить основные направления эволюции метров. Данные тщательного количественного анализа служат также надежной основой сравнения стихотворной и нестихотворной (прозаической) речи: рассматриваются просодические, лексические и синтаксические особенности стиха и прозы и выявляются черты сходства и различия между ними на всех уровнях языковой системы. Однако даже в такой области науки, как теория стиха, для которой применение подсчетов так естественно, одни только статистические данные не дают ответа на все вопросы.

Невозможно отрицать роль тех ограничений, которые накладывает на стих система языка, поэтому трудно переоценить значение работ, в которых исследуется сравнительная частота акцентно-слоговых типов слов в стихе и обычной, нестихотворной речи (см. Тарановский, 1966; Червенка, 1973; Копчиньска и Пщоловска, 1978). Однако приспособление стиха к особенностям своего языка и речи — это лишь одна сторона взаимоотношения между обычным языком и языком поэзии. Другая сторона, еще более интересная,— это тщательное исследование тех изменений, которые претерпевает языковой материал в стихе. Вообще, стих и поэзия должны рассматриваться как творчески используемая система различных ограничений, накладываемых на обычный язык. Очевидным образом, каждая система стиха сама по себе является ярким примером обязательных, целенаправленных ограничений. Поэт Андрей Белый, который первым подсчитал пропуски ударений в русском стихе, сосредоточил свое внимание на „фигурах", образованных сочетанием пропущенных ударений на различных стопах смежных строк (например, сочетание пропуска ударения на втором икте строки четырехстопного ямба с пропуском ударений на первом и третьем иктах последующей строки получило в упомянутой книге Белого (1910 г.) название „крыша"). Пионер научной метрики Б. В. Томашевский оспаривал это представление о подобных «фигурах» как о поэтическом приеме: на основе тео-

рии вероятностей он пришел к выводу, что так называемые „фигуры" «являются просто механическим результатом случайных сочетаний различных строк». Однако, если общее количество „фигур" в большом корпусе изометрических строк какого-либо поэта до некоторой степени предсказуемо, эти статистические данные не дают нам права утверждать, что, употребляя смежные строки с тождественной или неодинаковой ритмической структурой, поэт был безразличен к возникающему при этом ритмическому эффекту; распределение по стиху различных ритмических типов строк является важным элементом его композиции, в конечном счете связанным с индивидуальной семантической структурой стихотворения.

Два десятилетия отделяют первые исследовательские опыты Белого от его второй книги «Ритм как диалектика» (1929). Постепенно он осознал, каким мощным средством является «игра словоразделов». Белый понял, что границы между словами — это «потенциальная энергия строки» и выводил «кинематический образ тонического метра» из ограниченного набора словесных ударений и словоразделов. Белый чутко ощущал поэтический эффект, создаваемый построчным варьированием этих двух элементов, и видел в этих вариациях аналоги эмоций, идей и волевых импульсов, но его попытки уловить и схематизировать непрерывные сдвиги ударений и словоразделов с помощью графических кривых оказались механистическим, несостоятельным приемом исследования.

«Земля» Бориса Пастернака может послужить наглядной иллюстрацией быстро меняющегося разнообразия метрических вариантов строк на протяжении стихотворного текста. Текст, состоящий из сорока одной строки четырехстопного ямба, разделен на семь строф неравного объема (от четырех до восьми строк). Все строфы кончаются строкой с мужским окончанием и содержат по меньшей мере три строки с женским окончанием, две из которых примыкают к строке с мужским окончанием. Каждая строфа, состоящая более чем из четырех строк, содержит одно дополнительное мужское окончание. Строка с этим окончанием следует по меньшей мере за тремя строками с женским окончанием. В содержании этого стихотворения одновременно подчеркиваются и стираются границы между домом и окружающим его миром, землей и вселенной и, наконец, между человеческой скорбью и унылым холодом существования. Особенности содержания подчеркиваются формой стихотворения: каждая строфа характеризуется особым метрическим оформлением. Отметим хотя бы самые заметные особенности этой динамичной формы.

Я уже разбирал третью строфу этого стихотворения в „Лингвистике и поэтике". В ней говорится о «панибратстве» между улицей и «оконницей подслеповатой» и между закатом и белыми ночами. Именно в этой строфе подавляющее большинство неконечных иктовых позиций (семь из двенадцати) заполнены безударными слогами. Такие «скользящие» отступления от ударности иктов создают заметное варьирование ритма, приводящее к активно переживаемому чувству «обманутого

ожидания». Следует повторить, что само ожидание формируется преобладающей во всем этом стихотворении, да и во всей метрической традиции эпохи, ударностью иктовых позиций. На предпоследнем икте, однако, количество безударных слогов может превысить количество ударных. Так, в строфах II и III ударение на шестом слоге каждой строки регулярно опускается; в остальных строфах стихотворения лишь 53% предпоследних иктов заполнены ударными слогами. «Однако в таких случаях инерция ударности четных слогов, чередующихся с нечетными безударными слогами, заставляет нас ожидать ударения и на шестом слоге строки четырехстопного ямба». Более того, относительная слабоударность предпоследнего икта, противопоставляющаяся максимальной (константной) сильноударности последнего икта, типична для русских двусложных метров.

Характерная особенность строфы III разбираемого стихотворения — его четкая сегментация на две пары строк, причем каждая пара проявляет выразительный параллелизм ритмической формы: последнему слову строки предшествует слово с дактилическим окончанием в первых двух строках и слово с женским окончанием в третьей и четвертой строках:

И у́лица / запанибра́та
С око́нницей / подслепова́той,
И бе́лой но́чи / и зака́ту
Не размину́ться / у реки́.

Все три первые строфы, объединенные одинаковой мужской рифмой (I. *особняки́ — сундуки́*; II. *горшки́ — чердаки́*; III. *у реки́*),— это единственные строфы, начинающиеся строкой, содержащей всего два ударных икта (I. *В моско́вские особняки́*; II. *По деревя́нным антресо́лям*; III. *И у́лица запанибра́та*); наоборот, строфы V и VI, также объединенные одинаковой мужской рифмой (V. *сво́й — мастерско́й*; VI. *перегно́й — одно́й*) — это единственные строфы, начинающиеся полноударными строками (V. *И та́ же сме́сь огня́ и жу́ти*; VI. *Заче́м же пла́чет даль в тума́не*). В первой строфе преобладают внутристрочные словоразделы после четных слоговых позиций (четыре случая из пяти), которые задают ямбическую структуру стиха; в остальных же строфах преобладают словоразделы после нечетных слогов, особенно в срединной, IV строфе, содержащей тринадцать „хореических“ и три „ямбических“ словораздела.

Повествовательная, четвертая, строфа отличается от остального текста стихотворения своей консервативной и малотипичной для Пастернака тенденцией подчеркивать регулярность альтернации слабоударных и сильноударных иктов; первый икт ударен лишь в пяти строках из восьми строк этой строфы, второй икт — в семи строках. В остальном же тексте стихотворения ударения на первом икте охватывают 85% строк, а на втором икте — всего 55% строк.

Семь строк пятой строфы с точки зрения их грамматической структуры распадаются на две группы следующим образом: четыре строки содержат существительное в именительном падеже, предшествуемое существительным в родительном падеже; в трех других строках упот-

реблены шесть существительных в предложном падеже в функции обстоятельства места (вторая и две последних строки). Все строки первого грамматического типа полноударны, тогда как в строках второго типа (последние две) содержится лишь два иктовых ударения. Интересно отметить, что такое двойное опущение иктовых ударений, составляющее специфику строк на уровне их акцентно-метрической структуры, сопровождается двойным хиатусом на уровне их слоговой структуры, тогда как две предшествующие строки не только полноударны, но содержат между иктовыми позициями группы согласных:

И тéх же ве*рб скв*озны́е пру́тья,
И тéх же бéлы*х по*́чек *взд*у́тья
И на *о*кнé *и* на распу́тьи,
Н*а у*́лиц*е и* в мастерскóй.

Строфы III и V, отличающиеся от всех прочих отсутствием личных форм глагола, содержат также по паре смежных строк с пропуском двух иктовых ударений, несущих словораздел после второго икта, причем лексическая структура первых полустиший каждой пары сходна. Подобные пары строк в других строфах стихотворения не встречаются. Строфы III и V, третья от начала и третья от конца стихотворения, проявляют зеркальную симметрию структуры: пара смежных двухударных строк начинает строфу III и заканчивает строфу V. В обеих парах строк употреблены слова с корнями *улиц-* и *ок(о)н-*, однако в обратном порядке: III. *И у́лица/ — С окóнницей*; V. *И на окнé/— На у́лице*. Ср. также случаи лексического и звукового сходства в последующей строке третьей строфы *(И бéлой нóчи)* и в предыдущей строке пятой строфы *(И... бéлых пóчек)*. Эта зеркальная симметрия на лексическом и метрическом уровнях распространяется также на две первые и две последние строфы: ср. последнюю строку с мужским окончанием второй строфы *(И пáхнут/пы́лью/чердаки́)* и ближайшую к пятой строфе строку с мужским окончанием в строфе VI *(И гóрько/пáхнет/перегнóй)*. Сходная метрическая конфигурация обнаруживается также в последней строке с мужским окончанием центральной строфы и в последних строках крайних строф, причем все три строки семантически связаны с темой холода (I. *И пря́чут/шу́бы/в сундуки́*; IV. [*сты́нут*] *И тя́нут э́ту канитéль*; VII. *Согрéла / хóлод / бытия́*). Слово *весна*, упоминаемое в стихотворении только дважды, открывает второе полустишие первой строки с женским окончанием в первой и финальной строфах. Две последние шестистрочные строфы, связанные между собой одинаковой рифмой восьми строк с женскими окончаниями, заметно распадаются на некое подобие двустиший. Во всех двустишиях шестой строфы заключительное слово второй строки содержит на один предударный слог больше, чем заключительное слово предыдущей строки (***тумáне — перегнóй, призвáнье — расстоя́нья**, грáнью —* ***однóй***), и предфинальные слова всех двустиший способствуют созданию эффекта контраста между словами с финальным и предфинальным ударениями *(дáль — пáхн**ет**; моё — скучá**ли**; городскóю — тосковáть)*. Почти во всех этих строках наблюдается неодинаковое распределение ударных и безударных иктов; особо следует отметить строку, содер-

жащую редкий ритмический вариант: безударность двух первых иктов (*Чтобы за городско́ю гра́нью*). В половине строк этой строфы словораздел проходит после третьего, пятого и шестого слогов.

Все строки строфы VIII содержат три иктовых ударения; во всех этих строках неизменно ударен не только последний, но и первый икт. Второй икт несет ударения в трех четных строках, но безударен в трех нечетных. Наоборот, третий икт ударен во всех нечетных строках, но лишен ударения во всех четных. Таким образом, конец стихотворения характеризуется полным акцентным равновесием.

Разобранное выше стихотворение, своеобразное по своей структуре, свидетельствует о том, что в науке о стихе необходимо заниматься не только анализом широких корпусов текстов, но также уделять внимание динамике формы в пределах одного стихотворения с индивидуальной метрической структурой, и даже в пределах фрагмента стихотворения. Это наблюдение даст возможность понять функции различных метрических факторов и сочетаний нескольких факторов. В работах стиховедов, исследующих русский и другие славянские системы стихосложения, до настоящего времени наблюдался интерес к статистическому обследованию широких текстовых материалов, тогда как изучению частных специфических особенностей отдельных произведений, создающих поэтическую ценность стихотворения, до сих пор уделялось меньше внимания. Необходимость такого рода изысканий, разумеется, ничуть не уменьшает значимости той богатой информации, которая получена стиховедами в результате статистической обработки широких текстовых материалов.

Представляется уместным коснуться некоторых неразработанных проблем английского стихосложения на примерах белого пятистопного ямба Шелли. Эти примеры помогут показать, какую важную роль в искусстве поэта играют словоразделы и безударные икты в строке. Как отмечает в комментарии к „Аластору“ Мэри Шелли, «самый стих подчеркивает дух торжественности, который пронизывает это произведение: оно удивительно мелодично». К этому можно добавить, что «дух торжественности» выражен особенно четко в рядах полноударных строк, в которых словоразделы совпадают со стопоразделами:

> $_{11}$And all/ the shows / o' the world / are frail / and vain/
> To weep / a loss / that turns / their lights / to shade./
> It is / a woe/ too 'deep / for tears',/ when all/... *

Такие словоразделы могут быть не только мужскими, но иногда и симметрично расположенными женскими — например в строке $_{188}$**Rugged** / and dark, / **winding** / among / the springs/. Повторяющиеся словосочетания (вместо слов) тоже подчеркивают стопобойный ритм полно-

* Разбор стиха дается без перевода, так как перевод не способен передать метрическую структуру оригинала.— *Прим. ред.*

ударных строк: $_{185}$**Still fled** / before / the storm; /**still fled**, / like foam/. Приводимые ниже величественные строки из „Королевы Маб", VII усиливают торжественность ямбического ритма 1) четким метрико-грамматическим параллелизмом двух центральных по смыслу предложений, заканчивающихся подобозвучными существительными (**son** — **sins**); 2) ритмическим и одновременно семантическим контрастом между всемирным событием и «неприметным уголком земли»:

> $_{184}$O God! / repent / and save./
> One way / remains:
> **I will beget** / **a** Son, / and **He / shall bear**/
> **The sins** / of all / the world; / **He shall** / **arise** /
> **In an unnoticed corner of the earth**, /
> **And there** / **shall die** / **upon** / **a cross**, / **and purge**/

Строки с четырьмя иктовыми ударениями и тремя стопобойными словоразделами (мужскими или дактилическими) представляют собой незначительное, но функционально важное отклонение от строгой стопобойной модели. Примером могут послужить следующие строки из „Аластора":

> $_{207}$**He overleaps** / the bounds./ Alas! / Alas!
> $_{563}$**To overhang** / the world; / for wide / expand
> $_{4}$Your love, / **and recompense** / the boon / with mine;
> $_{84}$Its fields / of snow / **and pinnacles** / of ice
> $_{718}$But pale / despair / and cold / **tranquility**,

Можно заметить, что последний стих, содержащий три мужских словораздела внутри строки и дактилическую клаузулу в конце, противопоставляется ритмически и семантически предыдущему стиху, который содержит три женских словораздела внутри строки и энергичное односложное слово в конце: $_{717}$The passion[a]te / tumult / of a clinging/hope. Взаимосвязь между этими двумя строками подчеркивается аллитерацией их контрастирующих эпитетов: passionate — pale и clinging — cold.

Строки со сплошными „хореическими" (женскими) словоразделами намеренно вставляются поэтом между строками, содержащими мужские словоразделы после третьего или четвертого икта. Приведем в качестве примера следующие стихи:

> $_{151}$Had flushed / his cheek. / He dreamed / a veiled maid
> Sat / near him, / **talking** / **in** low / solemn / tones.
> Her voice / was like / the voice / of his / own soul...

Возникает эффектный контраст между строками с „хореическими" словоразделами и строками, в которых преобладают „ямбические" словоразделы. Таков, например, контраст между двумя строками с хореическим ритмом словоразделов, за которыми следует стих с ямбическим стопобойным ритмом:

> $_{326}$Like / serpent's / struggling / in a vulture's / grasp.
> Calm / and rejoicing / in the fearful / war
> Of wave / ruining / on wave, / and blast / on blast...

Строки с „хореическими“ словоразделами особенно заметны, если в них пропущено последнее *иктовое* ударение:

$_{6}$With sunset / and its gorgeous / ministers, /
$_{7}$And solemn / midnight's / tingling / silentness...
$_{466}$Or gorgeous / insect / floating / motionless...

Для того чтобы исследовать ритм акцентуации и словоразделов белого пятистопного ямба, необходимо выявить распределение по строке многосложных слов, которые (с проклитиками или сами по себе) служат причиной пропуска (или ослабления) иктовых ударений. Так, Шелли явно отдавал предпочтение многосложным словам, занимающим по меньшей мере два сильных и два слабых места: необходимо тщательное исследование их строения и предпочитаемых ими позиций в строке. Их типичные места в строках поэмы „Аластор“ способствуют облегчению четвертого и второго иктов и тем самым возникновению альтернации более тяжелых (5, 3, 1) и более облегченных (4 и 2) иктов:

$_{43}$Suspended / in the solitary / dome...
$_{378}$In calm / on the unfathomable / stream...
$_{612}$Guiding / its irresistible / career...

Такие стихи особенно выразительны, когда они стоят рядом со строками, изобилующими односложными словами:

$_{39}$Enough / from incommunicable / dream,
And twilight / phantoms / and deep / noon-day / thought...
$_{179}$High / over / the immeasurable / main
His / eyes / pursued / its / flight. /— Thou / hast / a home...

Строки $_{121}$poring on memorials $_{122}$Of the world's youth, предвосхищающие проникновение в $_{123}$The thrilling secrets of the birth of time, прозреваемое поэтом, который $_{125}$ever gazed $_{126}$And gazed, till meaning on his vacant mind $_{127}$Flashed like strong inspiration, причудливо насыщены пропусками ударений на иктах. Особенно выделяются две таких строки, в которых четыре многосложных слова содержат сочетания эффектно повторяющихся согласных:

$_{443}$Sculptured (sk. lp. r.) on alabaster (l. b. st. r) obelisk (b. l. sk)...
$_{114}$Or jasper (sp. r.) tomb (t. m.) or mutilated (m. tl. t.) sphinx (s...ks)...

Эти последовательности согласных, вводимые финальным словом предыдущей строки $_{112}$strange (str), образуют прямые анаграмматические ассоциации с героем поэмы: Alastor (l. st. r) or the Spirit (sp. r. t) of Solitude (s. l. t.).

Последующие строки построены на ярком контрасте мужских и женских словоразделов: мужские словоразделы обычно проходят после иктов (И), женские — после неиктов (Н):

$_{116}$Conceals (И) /. Among (И) / the ruined (Н) / temples (Н) / there,
Stupendous (Н) / columns (Н) /, and wild (Н) / images
Of more (И) / than man (И),/ where marble (Н) / daemons (Н) / watch
The Zodiac's (Н)/ brazen (Н) / myst[e]ry (Н),/ and dead (Н) / men

Ср. примеры строк, в которых чередование иктовых и неиктовых словоразделов происходит равномерно:

$_{147}$Beneath (И) / the hollow (Н) / rocks (И) / a nat[u]ral (Н) / bower,
$_{148}$Beside (И) / a sparkling (Н) / rivulet (И) / he stretched...
$_{176}$Her glowing (Н) / limbs (И) / beneath (И) / the sinuous (Н) / veil
$_{177}$Of woven (Н) / wind (И),/ her outspread (Н) / arms (И) / now (Н) / bare,

Особая выразительность строк с двумя иктовыми и с двумя неиктовыми словоразделами видна в стихах, описывающих движение и покачивание судна. Примеры:

$_{371}$ At length (И) / upon (И) / that gloomy (Н) / river's (Н) / flow;
Или: $_{388}$With dizzy(Н) / swiftness (Н),/ round, (И),/ and round (И),/ and round...,
$_{406}$Is closed (И) / by meeting (Н) / banks (И),/ whose yellow (Н) / flowers...,
$_{410}$Which nought (И) / but vagrant (Н) / bird (И),/ or wanton (Н) / wind...
$_{161}$Herself (И) / a poet (Н)./ Soon (И) / the solemn (Н) / mood...

Строка $_{81}$His rest / and food. / Nature's / most secret / steps, в которой конец предложения совпадает с окончанием первого полустишия, содержит во втором полустишии тематически важнейшие слова — по существу, не начало, а конец следующего инвертированного предложения: Nature's most secret steps $_{82}$He like her shadow has pursued. Второе полустишие строки 81 начинается словом с ритмическим сдвигом ударений (Nature's), допускаемым в начале предложения. Ритмическая инверсия сочетается с грамматической (компоненты второго полустишия строки 81 и первого полустишия строки 82). Таким образом, стопобойные словоразделы сближают торжественное слово Nature's с предыдущими существительными первого полустишия (His rest / and food./ Nature's/), тогда как женское окончание слова Nature's связывает его с последующим словом secret.

В пятистопном ямбе Байрона, особенно в его рифмованном стихе, также явно противопоставляются строки с иктовыми и неиктовыми словоразделами. Так, в числе многих гротескных контрастов, наблюдаемых в его сатире „Вальс" (1812), можно заметить в трех строках (197—199) целых восемь женских словоразделов (и еще две женских клаузулы в конце строк), а в двух следующих строках (200—201) — целых семь мужских словоразделов:

$_{197}$One hand reposing / on the royal / hip;/
The other / to the shoulder / no less / royal
Ascending / with affection / truly / loyal!
$_{200}$Thus front / to front / the partners move / or stand,
The foot / may rest / but none / withdraw / the hand...

Ср. также начальные четверостишия двух строф первой песни „Чайльд Гарольда": в первом преобладают мужские словоразделы, во втором — женские (преимущественно в середине строк):

LVI.

Her lover sinks /— she sheds / no ill-timed tear;
Her Chief / is slain /— she fills / his fatal post;
Her fellows flee /— she checks / their base / career;
The Foe / retires /— she heads / the sallying host...

LX

Oh, thou Parnassus! / whom I / now survey,
Not in the phrensy / of a dreamer's / eye,
Not in the fabled / landscape / of a lay,
By soaring / snow-clad / through thy / native / sky...

Выразительность строк с женским окончанием первого полустишия используется Байроном и в белом пятистопном ямбе. Так, женские словоразделы подчеркивают богохульные вопросы Каина в его первом монологе (Акт I).

$_{60}$Why did he
Yield to the Serpent // and the woman? / or
Yielding — why suffer? // What was there in this?
The tree was planted,// and why not for him?
If not, why place him / near it, // where it grew
The fairest / in the centre? // They had but
One answer / to all questions, // «'Twas his will...

Эти вопросы являются эффектным отражением ритмически аналогичной молитвы Адама в первых четырех строках мистерии „Каин":

$_{1}$God, the Eternal! // Infinite! All-wise! —
Who out of darkness // on the deep didst make
Light on the waters // with a word-all hail!
Jehovah, / with returning // light, All Hail!

Эти четыре подряд женских окончания в конце первых полустиший Адамова обращения к богу сменяются мужскими окончаниями полустиший и ямбическим ритмом словоразделов в следующем за этим обращением Евы к богу:

$_{5}$God! who / didst name / the day, // and separate
Morning / from night, // till then / divided never —
Who didst / divide // the wave / from wave / and call
Part of thy work // the firmament / — all hail!

Контраст между женскими и мужскими словоразделами характерен для таких соотносимых строк внутри XXXVI сонета Каммингза (1944), как, например, квазирифмующиеся стихи $_{1}$true lovers / in each / happening / of their / hearts и $_{3}$despite / what fear / denies, / what hope / asserts,— или для таких смежных строк: $_{7}$grim comics / of duration: / only love и $_{8}$immortally / occurs / beyond / the mind.

Несмотря на все деформации сонета в произведениях Э. Э. Каммингза, «поэта, смело маневрирующего между традицией и новацией» (как писала Айрин Ферли в монографии о его поэтике), основные функции пятистопного ямба в квазисонетах Каммингза — те же, что и в классическом сонете. В сонетах Каммингза возрастает количество многосложных слов (и, соответственно, пропусков иктовых ударений) и значительно варьируется расположение словоразделов. Это создает выразительные ритмические соотношения между смежными строками, как, например, в сонете XLVII (1963), в котором пропуски иктовых ударений распределяются по строкам следующим образом:

строка 1: икты 3.
строка 2: икты 4.

строка 3: икты 3.
строка 4: икты 2. 4.
строка 5: икты 2.
строка 6: икты 3.

₁faithfully / tinying / at twilight / voice
of deathless / earth's / innumerable / doom;
againing / (yes / by microscopic / yes)
acceptance / of irrevocable / time
particular / pure / truth / of patience / heard
above / the everywhereing / fact / of fear *

Последние пять строк сонета характеризуются удивительными повторениями и вариациями безударности пятых и вторых иктов в трех строках, поставленных поэтом в скобки; эти строки контрастируют с полноударными стихами, обрамляющими взятые в скобки строки:

$_{10}$substracted from my hope's own hope, receive
$_{11}$(undaunted quest of dark most downwardness
$_{12}$and marvelously self diminutive
$_{13}$whose universe a single leaf may be)
$_{14}$the more than thanks of always merest me

Ритмика этого отрывка очень похожа на ритмику последних пяти строк XLIII строфы Песни XIII „Дон Жуана" Байрона:

$_4$Upon my shoulders, here I must aver
$_5$My Muse a glass of **Weatherology**;
$_6$For Parliament is our barometer:
$_7$Let Radicals its other acts attack,
$_8$Its sessions form our only almanack.

	Байрон		Каммингз	
1: икты:	все	ударны	все	ударны
2: икты:		5		5
3: икты:	2	5	2	5
4: икты:	2		2	
5: икты:		5	все	ударны

Многосложные слова, занимающие три икта ямбической строки и столь широко употреблявшиеся у Шелли, типа $_{544}$Rocks, which **in unimaginable** forms (Аластор), выделяющиеся на фоне таких смежных строк, как $_{548}$With its wintry speed. On every side now rose, широко используются в ямбах Каммингза. Так, в его сонете XXXV (1935 г.) последняя строка $_{14}$the unimaginable **night not known**, скрепленная шестью звуками /n/ (ср. с аллитерацией в строке пятистопного ямба

* Американский поэт и драматург Эдвард Каммингз (1894—1962) не употреблял в своих стихах заглавных букв.— *Прим. ред.*

Пушкина (1830 г.): *Пренебрегающих презрённой пользой)* противопоставляется первой строке: **ıhow dark and single, where he ends, the earth.**

Ведущим подходом в моих исследованиях, будь то звуковая система языка или системы стихосложения, была всегда идея связующего, объединяющего инварианта, неразрывно и глубинно связанного с постоянной многообразной вариативностью. Эта общая идея проводится и в моих работах о поэзии (Я к о б с о н, 1979): идея о ведущих, повторяющихся мотивах, которые, видоизменяясь, проходят через все творчество таких русских поэтов, как Пушкин, Хлебников, Маяковский, Пастернак, и таких двух чешских романтиков, как Карел Гинек Маха и Карел Яромир Эрбен. Видоизменяющиеся образы и сюжеты автора сливаются в устойчивый индивидуальный миф, перерабатывающий биографию поэта и в свою очередь перерабатываемый ею. Та же мысль о соотношении инварианта и вариантов послужила стимулом к созданию моих „Предварительных заметок о путях русской поэзии" (Я к о б с о н, 1979, с. 227—236). Ее характерные постоянные инварианты открывают нам загадочное сосуществование непохожих, даже противоречивых, поэтических направлений в творчестве каждого выдающегося русского мастера слова, а также столь заметное волнообразное чередование поколений, создавших великих поэтов, с поколениями, не выдвинувшими больших поэтов, но богатых мастерами прозы или других областей культуры.

ЛИТЕРАТУРА

А в г у с т и н = St. A u g u s t i n e (s.a.). De Musica. A synopsis by Knight, W.E.J. (The Orthological Institute). London.

Б е л ы й (1910) = Б е л ы й А. Символизм. Москва, 1910.

Б е л ы й (1929) = Б е л ы й А. Ритм как диалектика и „Медный всадник". Москва, 1929.

Б е й л и = B a i l e y, J. Toward a Statistical Analysis of English Verse. Lisse, 1975.

Б е н у с с и = B e n u s s i, V. Psychologie der Zeitauffassung. Heidelberg, 1913.

Б е р д с л и = B e a r d s l e y, M. C. „Verse and music".— In: „Versification: Major Language Types". New York, M.L.A., 1972.

Б о д м э н = B o d m a n, R. W. Poetics and Prosody in Early Mediaeval China: A Study and Translation of Kūkai's Bunkyō Hifuron. (Cornell University), 1978.

Б о ж и д а р = Б о ж и д а р. Распевочное единство. (Под редакцией и с комментарием С. Боброва). Москва, 1916.

Б р и к = Б р и к О. М. Ритм и синтаксис. —„Новый Леф", № 3—6, 1927. (Перепечатана в „Michigan Slavic Materials", No.5, 1964: B r i k. Two Essays on Poetic Language.)

Б р ю с о в (1910) = Б р ю с о в В. Я. Об одном вопросе ритма.— „Аполлон", I, № 11, 1910, с. 52—60.

Б р ю с о в (1919) = Б р ю с о в В. Я. Наука о стихе. Москва, 1919.

Г а с п а р о в (1974) = Г а с п а р о в М. Л. Современный русский стих. Москва, 1974.

Г а с п а р о в (1977) = Г а с п а р о в М. Л. Легкий стих и тяжелый стих.— „Studia Metrica et Poetica", II. Tartu, 1977, с. 3—20.

Гроот = Groot, A. W. de. Algemene versleer. The Hague, 1946.

Жакоб = Jacob, F. Le modèle linguistique en biologie.— „Critique", XXX, 1974, с. 197—205.

Жирмунский = Жирмунский В. М. О национальных формах ямбического стиха: — В кн.: „Теория стиха". Ленинград, 1968, с. 7—23.

Иванов (1966) = Иванов В. В. Ритмическое строение «Баллады о цирке» Межирова.— В: „Poetics Poetyka Поэтика", II (Польская Академия наук), 1966, с. 276—299.

Иванов (1973) = Иванов В. В. Из наблюдений над четырехстопным ямбом современных поэтов.— In: „Slavic Poetics — Essays in Honor of Kiril Taranovsky". The Hague — Paris: Mouton, 1973, с. 231—238.

Иванов (1974) = Ivanov, V. V. On antisymmetrical and asymmetrical relations in natural languages and other semiotic systems: — „Linguistics", CXIX, 1974, p. 35—40.

Ган = Kang, Shin-Pyo. The structural principle or the Chinese world view.— In: „The Unconscious in Culture — The Structuralism of Claude Levi-Strauss in Perspective" (ed. by I. Rossi). New York, 1974, p. 198—207.

Kiparsky (1977) = Kiparsky, P. The rhythmic structure of English verse.— „Linguistic Inquiry", VII, 1977, p. 189—246.

Колмогоров (1963) = Колмогоров А. Н. К изучению ритмики Маяковского.— „Вопросы языкознания", XII, № 4, 1963, с. 64—71.

Колмогоров (1968) = Колмогоров А. Н. Пример изучения метра и его ритмических вариантов.— В: „Теория стиха" (Институт русской литературы Академии Наук СССР). Ленинград, 1968, с. 145—167.

Колмогоров и Прохоров (1963) = Колмогоров А. Н. и Прохоров А. В. О дольнике современной русской поэзии.— „Вопросы языкознания", XII, № 6, 1963, с. 84—95.

Колмогоров и Прохоров (1968) = Колмогоров А. Н. и Прохоров А. В. К основам русской классической метрики.— В: „Содружество наук и тайны творчества". Москва, с. 397—448.

Копчиньска, Пщоловска (1978) = Kopczyńska, Z. & Pszczołowska, L. (Eds.). Słowiańska metryka porównawcza, I (Polish Academy of Sciences), 1978.

Коффка = Koffka, K. Experimental-Untersuchungen zur Lehre vom Rhythmus.— „Zeitschrift für Psychologie", LII, 1909, S. 1—109.

Купер = Cooper G. W. & Meyer, L. B. The Rhythmic Structure of Music. (The University of Chicago Press), 1960.

Либерман = Liberman, M. & Prince, A. On stress and linguistic rhythm.— „Linguistic Inquiry", VII, 1977, p. 249—336.

Магнусон и Райдер = Magnuson, K. & Ryder, F. G. Second thoughts on English prosody.— „College English", XXXIII, 1971, p. 198—216.

Матезиус = Mathesius, V. On the potentiality of the phenomena of language.— In: „A Prague School Reader in Linguistics", complied by J. Vachek. (Indiana University Press), 1964, p. 1—32. Перевод чешской работы 1911 г.

Мейе = Meillet, A. Origines indo-européennes des mètres grecs. Paris, 1923.

Надь = Nagy, G. Comparative Studies in Greek and Indic Meter. (Harvard University Press), 1974.

Поливанов = Поливанов Е. Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники.— „Вопросы языкознания", XII, № 1, 1963, с. 99—112.

Росс = Ross, J. R. A reanalysis of English word stress.— In: „Contributions to Generative Phonology" (ed. by M. K. Brame). (University of Texas Press), 1972, p. 229—323.

Руды = Rudy, S. Jakobson's inquiry into verse and the emergence of structural poetics.— In: „Sound, Sign and Meaning — Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle" (ed by L. Matejka). Ann Arbor, 1976, p. 477—520.

Тарановский = Taranovski, K. Основные задачи статистического изучения славянского стиха.— В: „Poetics Poetyka Поэтика" II (Polish Academy of Sciences), 1966, p. 173—196.

Тарлинская = Tarlinskaja, M. English Verse. The Hague — Paris: Mouton, 1976.

Том = Thom, R. Stabilité structurelle et morphogénèse. (Reading, Ma.), 1972.
Томашевский = Томашевский Б. В. О стихе. Ленинград, 1929.
Уимсетт и Бердсли = Wimsatt, W. K. & Beardsley, M. C. The concept of meter; an exercise in abstraction.— PMLA, LXXIV, 1959, p. 585—598.
Уоткинс = Watkins, C. Indo-European metrics and archaic Irish verse.— „Celtica", VI, 1963, p. 194—249.
Ферли = Fairley, I. E. E. Cummings & Ungrammar. New York, 1975.
Халле (1970) = Halle, M. What is meter in poetry? — „Sciences of Language—The Journal of the Tokyo Institute for Advanced Study of Language", II, 1970, p. 139—159.
Халле (1973) = Halle, M. Stress rules in English: A new version.— „Linguistic Inquiry", IV, 1973, p. 451—464.
Халле и Кайзер = Halle, M. & Keyser, S. J. Illustration and defense of a theory of the iambic pentameter.— „College English", XXXIII, 1971, p. 154—176.
Хопкинс = Hopkins, G. M.— „The Journals and Papers" (ed. by H. House). London, 1959.
Церетели = Церетели Г. В. Метр и ритм в поэме Руставели и вопросы сравнительной версификации.— В: „Контекст, 1973" (Академия наук СССР). Москва, 1974, с. 114—137.
Червенка = Červenka, M. Ритмический импульс чешского стиха.— „Slavic Poetics — Essays in Honor of Kiril Taranovsky". The Hague — Paris: Mouton, 1973, p. 79—90.
Шенгели = Шенгели Г. Трактат о русском стихе. Петроград, 1923.
Якобсон (1960) = Jakobson, R. Linguistics and Poetics.— In: „Style in Language". (M.I.T. Press). 1960, p. 350—377.
Якобсон (1966) = Jakobson, R. Selected Writings, IV. The Hague — Paris: Mouton, 1966.
Якобсон (1979) = Jakobson, R. Selected Writings, V. The Hague — Paris: Mouton, 1979.

МОЗГ И ЯЗЫК

Полушария головного мозга и языковая структура в свете взаимодействия *

I

Нарушения речи, особенно ее звуковой стороны, вызываемые различными поражениями головного мозга, стали предметом изучения ряда наук. Изучение этого явления сделало афазию одним из главных объектов моих собственных исследований наряду с исследованиями противоположного, но вместе с тем и родственного круга явлений, относящихся к проблеме овладения языком. Структурные законы, управляющие афатическими расстройствами речи, были в общем виде намечены в докладе, подготовленном мною для V Международного конгресса лингвистов в Брюсселе в сентябре 1939 г. (см. J a k o b s o n, 1962, с. 317 и сл.).

В работе, представленной на симпозиум по речевым расстройствам, организованный Ciba Foundation (Лондон, май 1963 г.), я попытался обрисовать лингвистическую точку зрения на афазию и отстаивал необходимость такой классификации афатических синдромов, которая бы основывалась на «едином медико-лингвистическом подходе». Изучение афазии не могло более обходить стороной тот существенный факт, что собственно лингвистическая типология афатических расстройств, разработанная без учета анатомических данных, давала тем не менее удивительно связную картину, весьма близкую к топографии тех церебральных поражений, которые лежат в основе этих расстройств. Оказалось, что три лингвистические дихотомии афатических расстройств соответствуют схеме церебральных поражений, предложенной известным нейропсихологом А. Р. Лурия (см. J a k o b s o n, 1962, с. 289 и сл.). В науке о языке эти постепенно вырисовывающиеся соответствия между мозговыми и языковыми основами афатической типологии положили конец необоснованным монистическим «антилокализационным теориям», которые стремились свести различные типы

* Roman J a k o b s o n with the assistance of Kathy S a n t i l l i. Brain and Language. Cerebral Hemispheres and Linguistic Structure in Mutual Light. Columbus, Ohio: Slavica Publishers Inc., 1980. Текст статьи представляет собой лекцию, прочитанную 6 мая 1980 г. в Нью-Йоркском университете.

афазии к разным степеням одного и того же расстройства (см. Maruszewski, 1975, с. 35 и сл.; Luria, 1974). Идея взаимосвязи между топографией мозга и структурой языка стимулировала исследования на стыке ряда наук в начале 60-х гг., дав ученым новую, более широкую перспективу.

II

Как отмечалось во время заключительной дискуссии на Симпозиуме по моделям восприятия речи и зрительных образов в Бостоне в октябре 1964 г. (см. Jakobson, 1971, p. 338), Дональд Бродбент (Donald Broadbent, 1954) предложил, а Дорин Кимура (Doreen Kimura, 1961) значительно усовершенствовала необычные эксперименты по дихотическому прослушиванию — одновременной двухканальной бинауральной рецепции различных слуховых стимулов. Эти опыты доказали, что правое ухо более способно к точному узнаванию звуков речи, тогда как левое отличается от него тем, что эффективно различает все другие звуки (об этом см. Peuser. Dichotomous Stimulation, p. 250). Во время дискуссии отмечалось, что преимущественное восприятие речевых звуков правым ухом указывает на связь с левым полушарием. Перед нами стоит важная задача — установить и объяснить отличие речевых единиц, восприятие которых зависит от левого полушария, от всех других звуковых стимулов, которые связаны исключительно с правым полушарием. Различие между теми центральными механизмами, которые контролируют собственно языковую сферу, и теми, которые занимаются восприятием и узнаванием всех других звуков (будь то звуки, производимые человеком, или любые другие), долгое время недооценивалось; его часто игнорировали, а то и вовсе отрицали. Сегодня же область изучения исключительно речевых звуков все более резко отграничивается от области исследования неречевых (моторных и акустических) явлений.

Постепенно выявляемое существенное различие между специализированным мозговым обеспечением речевых и прочих слуховых феноменов требует в настоящий момент дальнейшего, значительно более широкого и конкретного изучения.

Помимо многочисленных медицинских исследований больных с «односторонними органическими кортикальными поражениями» (см. Brenda Milner, 1975, p. 7), дальнейший прогресс в изучении отдельных полушарий был достигнут благодаря опытам по рассечению мозга, связанным с рассечением церебральных комиссур,— операции, производимой на эпилептиках с 1960-х гг. (см. Gazzaniga & Sperry, 1967; Gazzaniga, 1970; Sperry, 1975). Выводы, сделанные на основе этих операций, подтвердили наличие тесных связей между речью (а также по крайней мере некоторыми видами письма и счета) и левым полушарием, а также — что было особенно интересно — наличие связи между высшими языковыми процессами и левым, доминантным полушарием. Выявление этой связи способствовало более глубокому пониманию структуры языка.

Проводимая в настоящее время на больных шизофренией и депрессией унилатеральная электросудорожная терапия (ЭСТ) впервые предоставила в распоряжение ученых систематические данные о связях между языком и мозгом у людей, не имеющих очаговых или других органических поражений мозга. В качестве единственной предшествующей попытки в том же направлении можно упомянуть инъекции амитал-натрия, о которых сообщила Б. Милнер (M i l n e r, 1975, p. 84 и сл.) и которые применялись для поочередной инактивации полушарий [1]. Тот факт, что унилатеральный шок вызывает кратковременную инактивацию одного из полушарий, за которой следует постепенное возвращение к нормальному состоянию, позволяет делать сравнения в масштабах, прежде недоступных. Благодаря процедуре, разрабатываемой с конца 1960-х гг. в некоторых медицинских центрах СССР, в последнее время были сделаны тонкие наблюдения над изменениями состояния и поведения испытуемых после унилатерального шока.

С начала 60-х гг. техника проведения ЭСТ была значительно усовершенствована (см., например, C a n n i c o t t, 1963; H a l l i d a y et al., 1968), однако функциональное различие между лево- и правосторонними шоками до недавнего времени не изучалось тщательно и систематически. Между тем вре́менная инактивация одного из полушарий, зависящая от стороны электрошока, приводит к противоположным результатам как в слуховой, так и в моторной сфере.

Для ознакомления с достижениями в данной области прежде всего следует обратиться к представляющим большой интерес материалам, опубликованным Институтом эволюционной физиологии и биохимии АН СССР: во-первых, к работе „Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий“, написанной совместно Балоновым и Деглиным (1976), и, во-вторых, к работе, написанной теми же авторами при участии ряда сотрудников,—„Унилатеральный электросудорожный припадок“ (1979). Важным вкладом в исследование данной проблемы являются работы известного советского языковеда Вячеслава Иванова, особенно его книга „Чет и нечет: асимметрия мозга и знаковых систем“ (1978), а также вышедшая позднее в Тарту „Семиотика устной речи и функциональная асимметрия мозга“ (1979). Интересна также книга Брагиной и Доброхотовой „Функциональная асимметрия и психопатология очаговых поражений мозга“ (1977), в которой подробно рассматривается проблема сравнительного изучения отношений между полушариями мозга.

Тщательное изучение Норманом Гешвиндом (Norman G e s c h w i n d, 1979) зависимости высших функций, таких, как язык, от «специализированных зон мозга» ставит перед рядом наук новые важные проблемы. Причем в то время, как лингвисты способны лишь констатировать сам факт функциональной асимметрии мозга, Гешвинду его богатый неврологический опыт позволяет коснуться также интересных проблем, связанных с материальными, анатомическими различиями

[1] Проба Вада.— *Прим. перев.*

двух полушарий (см. Geschwind, 1979, p. 196; Galaburda et al., 1978).

III

Описав совместно с Линдой Во в книге „Звуковая форма языка" (Jakobson R. & L. Waugh. The Sound Shape of Language, 1979) ряд предварительных наблюдений, я теперь хотел бы попробовать дать ответ на вопрос об общих отличиях двух групп слуховых стимулов — тех, которые обрабатываются левым, и тех, которые обрабатываются правым полушарием. Раздвоение церебральной локализации этих двух групп столь очевидно, что неизбежно встает вопрос о свойствах, которые присущи каждой из двух разновидностей и отличают их друг от друга.

Во-первых, различные эксперименты с дихотическим прослушиванием, во-вторых, данные, полученные в результате наблюдения больных, которым была сделана операция по расщеплению мозга, в-третьих, обследование больных с одним поврежденным полушарием, в-четвертых, и прежде всего, сравнительное изучение роли электрошоков при временной инактивации одного из полушарий — на основании всего этого можно точно определить спектр явлений, контролируемых соответственно левым и правым полушариями.

Весьма серьезные нарушения восприятия звуковых сигналов проявляются в том, что теряется возможность различения фонем по одному признаку (Балонов, Бару, Деглин, 1975). Обеднение и ломка фонемного репертуара, особенно согласных, наступает вскоре после шока, и постепенное восстановление прежнего, обычного набора занимает от 10—20 минут до полутора часов (см. Балонов и др., 1979, с. 70 и сл.; с. 87). Должна быть тщательно прослежена относительная хронология этого восстановления, как это было предложено сорок лет назад при исследовании восстановления речи больных после инсулиновых шоков, проводившихся в Упсале (см. Jakobson & Waugh, 1979, p. 34). Таким образом можно было бы получить новые данные по актуальной проблеме сходства между постепенным восстановлением речи больных после шока и процессом последовательного усвоения языка детьми.

IV

Первичная, информативная функция предельных компонентов языка, различительных признаков и их пучков — фонем, требует наличия опосредованного, даже многократно опосредованного отношения между ними до того, как эти элементарные кванты, сами по себе не обладающие „какой-либо определенной референцией" (см. Sapir. Selected Writings, 1949, p. 34) и имеющие лишь чисто различительную функцию, организуются в комплексы, обладающие референцией. Эта сфера

находится под полным контролем левого полушария. Балонов и Деглин в 10-й, последней главе их основного труда (Балонов, Деглин, 1976, с. 182) пишут: «Очевидно, что в норме левое полушарие осуществляет классификацию фонем по дифференциальным признакам и поддерживает иерархию этих признаков, обеспечивая устойчивость фонологической системы языка». А процесс инактивации левого полушария вскрывает ряд соответствий правилам, которые лежат в основе наступающего распада данной фонологической системы на слуховом и моторном уровнях (ср. Балонов, Деглин, 1976, с. 133, 136, 181 и сл.; Балонов и др., 1979, с. 103). В качестве примера симметрии между распадом систем (patterns) гласных и согласных можно привести относительную стабильность полюсов компактности /a/ и /k/ и взаимные замены тональных пар, таких, как |u|—|i| и |p|—|t|.

Даже опосредованный характер контекстуальных, избыточных признаков увеличивает их зависимость от левого полушария. Часто наблюдаемое возрастание дефицита избыточных вариаций в речи больных с преходящей инактивацией левого полушария является с лингвистической точки зрения фактом, заслуживающим особого внимания исследователей.

V

В противоположность многократно опосредованным языковым явлениям, зависящим от нормальной деятельности левого полушария, все те звуковые явления, которые требуют нормального функционирования правого полушария, имеют одну общую особенность: они обнаруживают прямое, непосредственное, остенсивное отношение между их внешней, материальной формой и тем, что они обозначают. Восприятие речевых звуков требует знания звуковой модели и ее когнитивного функционирования в данном языке, тогда как идентификация любого неречевого звука требует непосредственного узнавания воспринимаемого стимула, его идентификации по форме и значению.

Как эксперименты по дихотическому прослушиванию, так и данные о больных, подвергшихся унилатеральным электрошокам, снова и снова демонстрируют существование необходимой связи между этими различными неречевыми перцептами и деятельностью правого полушария. «Шумы окружающей среды, такие, как шум заводящегося автомобиля, затачивания карандаша, льющейся воды и другие неречевые звуки: кашель, плач, смех, зевание, храпение, сопение, вздыхание, пыхтение, всхлипывание», характеризовались как перцепты, контролируемые правым полушарием. Короче говоря, это полушарие обрабатывает любое непосредственно воспринимаемое слухом явление, относящееся к жизнедеятельности человека и животных, а также шумы окружающей среды (ср. Knox & Kimura, 1970; King & Kimura, 1972; Балонов, Деглин, 1977).

Своего рода указание на то, что один и тот же звук может соотноситься с разными полушариями, содержится в вводной части эпо-

хального труда Сепира (S a p i r. Sound Patterns of English, p. 33 и сл.), где он сравнивает два материально сходных звука — звук задувания свечи и предшествующий гласному wh в словах типа when, из которых первый является «„*непосредственно* функциональным действием“, тогда как второй не имеет *непосредственно* функционального значения, а есть лишь звено в построении символа»: «короче говоря, звук wh при задувании свечи является действием, а аналогичный речевой звук может при случае использоваться в игре, которая только соотносится с действием». Первый, очевидно, обрабатывается правым, а второй — левым полушарием.

Еще раз обратимся к наблюдениям, сделанным в СССР при проведении унилатеральной шокотерапии: «Пациенты с временно инактивированным правым полушарием оказывались беспомощными, сталкиваясь с последовательностью отчетливых слуховых стимулов, которые ими отлично узнавались, когда это полушарие функционировало: звон колоколов, пение птиц, плеск воды, ржание лошади, завывание метели, рев льва, плач ребенка, звон посуды, раскаты грома, хрюканье свиньи, лязг металла, крик петуха, лай собаки, мычание коровы, потрескивание дров в печке, звуки шагов, воркование голубя, гул самолета, гоготание гусей, звонок телефона, шум прибоя. Во время инактивации правого полушария пациенты принимали аплодисменты за веяние зерна, смех за плач, грозу за шум мотора, визг свиньи за шум гусеничного трактора, крик диких гусей за кваканье лягушек, лай собаки за кудахтанье кур, шум мотоцикла за звуки, издаваемые животным» (см. Б а л о н о в, Д е г л и н, 1976, гл. 5; J a k o b s o n & W a u g h, 1979, p. 34 ff.).

VI

Особое место занимают такие употребляемые в речи единицы, которые имеют характер, так сказать, непосредственных сигналов. Эти особые ингредиенты речи, среди которых можно назвать междометия и восклицания, выходят за рамки обычной синтаксической структуры языка — они не являются ни словами, ни предложениями. На них зачастую не распространяются фонологические правила обычного словаря, и семантически они редуцированы до стереотипных эмоциональных выражений.

Джон Хьюлингз Джексон, комментируя в своей известной работе 1874 г. сущность двойственности мозга (J a c k s o n, 1874, p. 135), писал: «Оратор-коммунист отнюдь не совершил ошибку, когда он начал свою речь словами „Слава богу, я атеист“, так как выражение „слава богу“ небрежно употребляется в разговорных формах речи людьми просто как восклицание, при этом они не задумываются над его значением». По словам Джексона, «таким восклицаниям присуща более высокая степень автоматизма, чем препозиционной речи». Для этих нулевых частей речи характерно то, что больные с полностью активным левым и одновременно инактивированным правым полушарием часто неправильно интерпретируют их или даже вообще утрачи-

вают. То же зачастую происходит с бранными словами и, с другой стороны, с ласкательными словами, а также с формулами вежливости. То же относится и к многочисленным словам-паразитам, таким, как „гм!“, а также к легкому, преднамеренному покашливанию посреди фразы (см. Вяч. Вс. Иванов, 1979, с. 131).

Вторая часть „Введения“ к книге Трубецкого „Основы фонологии“ называется „Фонология и звуковая стилистика“. В ней автор пытается установить различие между фонологическими, собственно смыслоразличительными компонентами и теми стилистическими модификациями звуков речи или их последовательностей, посредством которых эмоционально окрашенная речь отличается от эмоционально нейтральной, спокойной речи, либо без какой-либо спецификации лежащей в основе эмоции (например, немецкое schön с большей или меньшей долготой начального шипящего и с большей длительностью гласного), либо со спецификацией данной эмоции, такой, например, как дрожь в голосе, посредством которой передается чувство страха. В обоих случаях существует вполне естественное, непосредственное отношение между эмоцией и средствами, с помощью которых она выражается. Такая непосредственность требует контроля правого полушария — „немого“ и „эмоционального“ (Sperry, 1975, p. 11). Речь больного при отключении правого полушария лишена эмоций, тогда как активация правого полушария делает эмоциональные оттенки речи особенно очевидными. Какие бы звуковые свойства ни были присущи одновременно и фонематическим, и эмоциональным средствам языка, различный характер их употребления и их различная мозговая локализация проводят между ними резкую границу.

Изучая роль выражения разных эмоций в речи, следует иметь в виду справедливость замечания Гешвинда (Geschwind, 1979, p. 192) о том, что правое полушарие оказывает существенное влияние на эмоции и душевное состояние: «Поражения правого полушария не только порождают неадекватные эмоциональные реакции на собственное состояние пациента, но также препятствуют распознаванию эмоций других людей. Пациент с поражением левого полушария может оказаться неспособным понять высказывание, но во многих случаях он тем не менее способен распознать эмоциональный тон, с которым оно произнесено. Пациент с расстройством правого полушария обычно понимает значение того, что говорится, но он зачастую не может установить, говорится ли это сердито или шутливо».

Инактивация правого полушария делает речь больного монотонной, неэмоциональной, и он теряет способность регулировать свой голос в соответствии с эмоциональными ситуациями. С другой стороны, понижение эмоциональности ведет к болтливости. Таким образом, тормозящее влияние активного правого полушария сдерживает вербальную активность левого полушария и улучшает понимание языковых компонентов. В этом отношении оба полушария взаимодействуют. Вспомним, что более ста лет тому назад научная интуиция позволила проницательному Дж. Х. Джексону — что особенно четко было передано в его работе 1874 г.— отнести интеллектуальную речь к ле-

вому, а эмоциальную — к правому полушарию (см. J. H. Jackson, 1958, p. 134). Уже в 1866 г. самая ранняя из заметок Джексона по физиологии и патологии речи начинается утверждением, что существует два вида выражения — эмоциональный и интеллектуальный (см. J. H. Jackson, 1958, p. 121).

VII

Последние исследования речи в связи с унилатеральными электрошоками дали новые важные доказательства значительной автономности интонации предложений, и в частности эмоционально окрашенных интонаций. Ими дети овладевают прежде, чем звуковым строем родного языка; во многих случаях афазии мы также сталкиваемся с отсутствием зависимости между интонациями и фонологическим составом слова. Использование утвердительной, вопросительной и непосредственно эмоциональных интонаций вне речи как таковой или при быстрой и невнятной речи дает дополнительное доказательство автономного существования, так сказать, внеязыковых интонационных различий. В рабqтах Балонова и Деглина (Балонов, Деглин, 1976, с. 171 и сл.) всесторонне показана независимость такого типа интонаций от левого полушария, а их появление, ясная различимость и воспроизводимость соотносятся с нормальной деятельностью правого полушария: «В период инактивации правого полушария опознание интонаций резко ухудшается». Все полученные данные находят свое очевидное объяснение в непосредственности сигнальной функции этих интонаций, которые служат чем-то наподобие точки, запятой, вопросительного знака, восклицательного знака, эллипсиса.

Инактивация правого полушария ведет к дефициту остенсивной коммуникации. В семиотической литературе (см. особенно Osolsobě, 1967) этот способ коммуникации определяется как «помещение чего-либо в сферу когнитивной деятельности личности». Шорты и носки, выставленные в витрине, указывают на магазин белья. Остенсия соединяется синекдохой: голос жены больного, который он слышит, не видя ее, есть ее pars pro toto, так же как звук и/или гримаса зевания есть остенсивное, синекдохическое выражение притворной или действительной дремоты усталого или скучающего говорящего. Наличие эмоционального оттенка в звуках речи вводит непосредственную информацию взволнованности, которую говорящий вносит в свое сообщение.

VIII

В противоположность левому полушарию правое полушарие позволяет больному идентифицировать такие слуховые сигналы, как голоса знакомых, когда он слышит речь, не видя их самих, тогда как человек с инактивированным правым и активным левым полушария-

ми неспособен узнавать даже хорошо знакомые голоса, например голоса жены и детей; он также не замечает и смены говорящих. Короче говоря, все слышимые физиогномические симптомы для него не существуют, даже такие общие, как узнавание различия между мужскими и женскими голосами. Также оказывается невозможным определить в пространстве источник и направление звука голоса: «Итак, пространственный слух сохраняется неизменным после левосторонних унилатеральных шоков и нарушается после правосторонних» (Балонов с соавт., 1979, с. 91).

Главной способностью правого полушария в плане обработки объектов слуховой перцепции является прямая замена их на простое, конкретное представление, лежащее вне собственно языка, указывающее на ближайший источник звукового стимула, производимого и слышимого.

Сравнительное изучение речевых структур, порождаемых и/или воспринимаемых во время инактивации одного из полушарий, до сих пор было сосредоточено прежде всего на акустическом уровне языка. Не менее важные морфологический, синтаксический и лексический уровни такого сравнения до сих пор не дали достаточно материала для точных выводов и не изучались систематически.

При инактивации левого полушария число употребляемых и понимаемых слов и их встречаемость неуклонно уменьшаются, как и разнообразие и длина их синтаксических комбинаций и уровней подчинения. «После левосторонних шоков основную массу предложений составляют простые нераспространенные, то есть элементарно организованные предложения, в то время как после правосторонних УП (=унилатеральных припадков) резко увеличивается количество распространенных, то есть наиболее сложно синтаксически организованных предложений» (Балонов с соавт., 1979, с. 75 и сл.).

Инактивация левого полушария особенно отрицательно сказывается на глаголах (за исключением простейших форм императива типа „стой!", „иди!" или „помоги!") и вспомогательных словах, тогда как существительные в именительном падеже, значительно менее зависящие от контекста, в большей степени контролируются правым полушарием, особенно если не имеют сложной словообразовательной структуры, и в частности родства с глаголами. И наконец, более высокая устойчивость обнаруживается у наиболее конкретных и обычных существительных (см. Jakobson, 1980, с. 104 и сл.; о сложном вопросе относительно существительных, образованных от глаголов, см. Wolf & Koff, 1978).

Непосредственность перехода из языковой сферы в экстралингвистическую реальность делает слово менее зависимым от неповрежденности левого полушария. В этой связи крайняя степень зависимости так называемых грамматических „шифтеров" (по терминологии Есперсена) от интактности левого полушария является весьма знаменательной, поскольку общее значение шифтера включает одновременную двойную соотнесенность с кодом и сообщением (см. Jakobson, 1971, с. 130 и сл.). В противоположность нешифтерному характеру сущест-

вительного именно обязательное участие шифтеров в структуре глаголов усугубляет расхождение между глаголом и правым полушарием. Исчезновение шифтеров из набора грамматических категорий и атрофия синтаксического подчинения — два характерных результата подавления левого полушария.

Его инактивация лежит в основе десемантизации слов как на парадигматической, так и на синтагматической оси. Вяч. Иванов (1978, с. 39 и сл., 45) начал многообещающее изучение способности и неспособности пациентов при шоковой терапии различать синонимы, антонимы и омонимы. Исследование изменений в понимании семантических сходств, контрастов и метонимий и их связи с отключением одного из полушарий обещает открыть новые, заманчивые перспективы.

Левое полушарие занимается категоризацией как в грамматике, так и в вычислительных операциях (см. Иванов, 1979, с. 126).

Представляющий значительный интерес вопрос о взаимосвязи, существующей между почерком и полушариями головного мозга, не рассматривался в данном исследовании, чтобы не усложнять проблему добавлением еще одного сложного фактора — пространственного.

Обнаруженный исследованиями факт, что «вся гамма нарушений речи после левосторонних шоков значительно чаще имеет место у больных, страдающих депрессиями, и намного реже встречается у больных шизофренией» (Балонов с соавт., 1979, с. 69), требует дальнейшего изучения и анализа.

IX

Исследование различных звуковых стимулов останется неполным до тех пор, пока не будет осуществлено сравнение звуков речи с другой системой слуховых образов, а именно с музыкальными. Неоднократно наблюдалось и описывалось частое отсутствие связи между афазией и амузией. Афатическая потеря речи часто имеет место при сохранившейся или развившейся способности к пению.

Наблюдения Б. Милнер над больными-эпилептиками с височной лобэктомией показали, что преимущественно правое полушарие ведает музыкой (Milner, 1962); эксперименты Кимуры по дихотическому прослушиванию подтвердили этот вывод (Kimura, 1964). Опыт Кимуры с мелодиями «подтвердил к тому времени уже вполне установленный факт превосходства (в этом отношении) левого уха, то есть доминантности правого полушария» (Damásio & Damásio, 1977, с. 146). Влияние унилатеральных шоков было тщательно исследовано Балоновым и Деглиным (Балонов, Деглин, 1976, гл. 5, табл. 21; ср. Миндадзе и др., 1975). Инактивация правого полушария препятствует как идентификации коротких музыкальных фраз, так и узнаванию знакомых мелодий, а также воспроизведению услышанных мотивов, тогда как инактивация левого полушария благоприятствует этим способностям, усиливает их. Короче говоря, ситуация с музыкальными звуками создает синдром, в основном

сходный с восприятием неречевых звуков и эмоциональных ингредиентов речи. Подавление правого полушария может даже привести к тому, что больной окажется не в состоянии различить две такие несходные мелодии, как, например, популярная песня „Волга, Волга" и румба. Относительная непосредственность музыкального восприятия объясняет решающую роль правого полушария в узнавании, различении и отождествлении музыкальных фраз и мелодий, а также в их исполнении (Damásio & Damásio, 1977, p. 151).

Нет сомнения, однако, что вопрос о восприятии музыки все еще остается значительно менее исследованным, чем различные вопросы, связанные с восприятием речи, и что некоторые фундаментальные музыкальные проблемы ожидают дальнейшего, более глубокого изучения. Частичные отклонения от доминантности правого полушария в отношении восприятия музыки, которые порой отмечались (см. Bever & Chiarello, 1974; Gates & Bradshaw, 1977), должны быть исследованы с тем, чтобы выявить их спектр и в итоге объяснить это явление. Следует особенно учитывать разнообразие музыкальных кодов, которое обязывает исследователя научиться исключать из своего вопросника все те элементы, которые выходят за рамки собственно музыкального восприятия испытуемых. В частности, легко понять, почему узнавание знакомых мелодий более тесно связано с правым полушарием в противоположность операциям с незнакомыми мелодиями, процедурой, которая невольно ставит вопрос о лежащем в их основе коде и, следовательно, может привлекать левое полушарие с его кодирующей специализацией. Основное свойство музыкальных знаков, а именно «приписываемое сходство» («*imputed* similarity»), по-видимому, является подлинным ключом к разгадке неожиданных непонятных случаев их сдвига к левому полушарию (см. Jakobson, 1980, p. 22 ff.).

При сопоставлении музыки с языком сравнение должно ограничиваться исключительно языком в его поэтической функции.

Нужно также упомянуть о частом смешении исследователями неспособности воспринимать музыку и читать ноты; зачастую это смешение затрудняет отнесение музыки к одному из двух полушарий.

Наконец, мы сталкиваемся с своеобразной аналогией: правое полушарие обнаруживает большую способность и концентрацию при опознавании музыкальных фраз и/или мелодий как раз в случае, когда левое полушарие остается инактивированным (Балонов с соавт., 1979, с. 85 и сл.; табл. 8, 8), и это удивительно соответствует большей многословности и словесной точности речи левого полушария, когда правое не работает, в сравнении с интактной деятельностью обоих полушарий.

X

В интересной статье, посвященной функциональной асимметрии мозга, Брагина и Доброхотова (1977 а) говорят о том, что полушария мозга обнаруживают различную временну́ю ориентацию: правое

обращено в прошлое, левое — в будущее. Левое полушарие отвечает за абстрактное познание. Чувственное познание соотносится с правой стороной и прошлым, тогда как абстрактное познание — с левой стороной и будущим (с. 137, 146). Авторы подчеркивают, что в противоположность прошлому будущее «еще не дано для непосредственного переживания субъектом и не может быть опорой в формировании чувственных образов» (Брагина, Доброхотова, 1977а, с. 146).

Эти соображения находят неожиданное, яркое, хорошо обоснованное подтверждение в философских трудах Чарльза С. Пирса (см. Jakobson, 1980, p. 31 и сл.). Противопоставляя два типа знаков — *иконические* и *символические*,— он определяет первые как «воспроизведение того, что они репрезентуют; сознание интерпретирует их как таковые благодаря тому, что они являются *непосредственными* образами, то есть благодаря свойствам, которые принадлежат им самим по себе как чувственным объектам» (IV # 447). Символ же существует иначе, чем икона. Тогда как бытие иконы принадлежит *прошлому* опыту, сущностью символа, особенно такого, как словесный знак или структура языка, является действующее *общее* правило. По мнению Пирса, «То, что является истинно общим, относится к неопределенному будущему... Оно является потенциальным; и его способ существования есть esse in futuro» (II#148). «Значение символа в том, что он делает мысль и поведение рациональным и позволяет нам предсказывать будущее» (IV#448).

Это является ключом к объяснению тех «весьма удивительных недавних открытий», на которые указал Гешвинд (Geschwind, 1979, p. 192), а именно: «виды поведения, означающие катастрофическую реакцию или указывающие на беспокойно-депрессивную ориентацию настроения», особенно часто встречаются у больных с поражением левого полушария, «главным образом у лиц с тяжелой формой афазии». Такие реакции «обычно появляются после повторных неудач осуществить речевую коммуникацию» (Gainotti, 1972, p. 53).

Аналогичным образом эксперименты с унилатеральными электрошоками подтвердили заметный факт «резко выраженных отрицательных эмоций, вызванных выключением левого полушария» (Иванов, 1978, с. 107) и, следовательно, атрофией вербальных символов. «Отрицательный эмоциональный сдвиг», обусловленный левосторонним шоком, может довести печаль и тоску депрессивного больного до «кошмарного ужаса» (Балонов с соавт., 1979, с. 96 и сл.). Больной страдает от отсутствия структурированных символов, необходимых для планирования будущего. Именно с функциями „речевого полушария" Иванов связывает «осознание себя как единого целого» (1979, с. 135).

Агнозия символических правил и систем сопровождает инактивацию левого полушария. Инактивацию же правого полушария сопровождает агнозия противоположного типа — агнозия остенсии, когда res tota de parte более не узнается пациентом.

Полярность этих двух противоположных видов агнозии — в прямом соответствии со стороной, в которой производится унилатераль-

ный шок,— была выразительно проиллюстрирована в недавнем русском сообщении об использовании ЭСТ (Балонов с соавт., 1979, с. 92 и сл.). Во время инактивации левого полушария пациент теряет «формальную» ориентацию во времени, основанную на условном коде часов и календарных символах, но способен осуществлять прямую, субъективную оценку хода времени, тогда как при правосторонней инактивации сохраняются формальные реакции при одновременной неспособности вести непосредственную субъективную хронологию.

Исследование взаимоотношений между активированным и инактивированным полушарием открывает путь к пониманию индивидуального своеобразия и функциональной иерархии полушарий интактного мозга; значение этих индивидуальных различий для характерологических исследований не подлежит сомнению.

XI

Две группы вопросов возникают в ходе нейролингвистических исследований: во-первых, межполушарные проблемы требуют все более тщательного лингвистического или, более широко, семиотического изучения; во-вторых, проблему афазии изучают разные науки в зависимости от локализации поражения в левом полушарии. Эти исследования, начало которым было положено в 70-х гг. XIX в. главным образом медиками — П. Брока (1824—1880) (см. 1888), Дж. X. Джексон (1835—1911) (см. 1958) и К. Вернике (1848—1905) (см. Geschwind, 1967, Eggert, 1977),— стремятся дать новые ответы на накопившиеся здесь трудные вопросы.

Опыты с унилатеральными электрошоками уже показали, что эта новая методика не только может и непременно даст новое освещение проблемы взаимодействия обоих полушарий, но также представит картину подразделения на зоны доминантного (левого) полушария и соответствующую ему типологию афатических нарушений. Как показано Балоновым и Деглиным (Балонов, Деглин, 1976, с. 191), левосторонние электрошоки при более переднем и более заднем расположении электрода, безусловно, помогут выяснить существенное различие между задневисочными и лобновисочными поражениями мозга, различие, которое находит свое выражение в двух противоположных языковых синдромах афазии. В ходе разнообразных клинических наблюдений и экспериментов один из ведущих исследователей в области травматической афазии А. Р. Лурия в своих работах 70-х гг. (см. особенно 1973, 1974 и 1977) пришел к выводам, согласующимся с результатами более ранних попыток наметить и объяснить с лингвистических позиций дихотомические принципы афатических нарушений, хотя «мы пока еще в деталях не знаем психологических свойств и физиологических механизмов, лежащих в основе этих нарушений» (Luria, 1973, с. 64).

Хотя на первый взгляд эти лингвистические различия казались

«клинически несущественными» и хотя первоначально они не были «подтверждены неврологическими характеристиками», именно эти лингвистические различия Лурия в конечном итоге счел основополагающими для изучения афазии, считая, что наконец они «нашли основательное подтверждение со стороны современных представлений о функциональной организации мозга» (1977, с. 243). Таким образом, основные бинарные понятия, рассматривавшиеся с лингвистической точки зрения как ключевые для понимания очевидной дихотомии афатических нарушений, а именно такие пары, как кодирование/декодирование, синтагматика/парадигматика, смежность/сходство (contiguity/similarity) (см. J a k o b s o n, 1971, p. 229—259, 289—333; 1980, p. 93—111), постепенно проникли в современное нейропсихологическое изучение проблем афазии.

В настоящее время ведущие функции мозга, связанные с речепроизводством и речевосприятием, являются объектом пристального изучения, и представляется, что объединенные усилия лингвистов и невропатологов могут дать более глубокое понимание как структуры языка в ее связи с мозгом, так и структуры мозга в ее связи с языком. Первым шагом на этом пути явилось описание набора свойств, внутренне присущих каждому полушарию; эти два разнородных набора, оказывается, образуют дихотомическую систему диаметрально противоположных и в то же время комплементарных свойств. Такое положение дел заставляет набирающую силы нейролингвистику изучать любое проявление одного полушария обязательно в связи с другим полушарием.

Было необходимо составить перечень операций, производимых одним полушарием и недоступных другому. Взаимоисключающие перечни функций обоих полушарий требуют ясного описания «многих все еще довольно плохо определенных процессов», соотносящихся с правым полушарием (см. M i l n e r, 1975, p. 83). Однако очевидно, что при описании этих процессов мы должны опираться на принцип неопосредованности значения участвующих в них сигналов. Таким образом, например, *опосредованность* фонологических средств, таких, как различие высокого и низкого тона в политонических языках, подобных тайскому, указывает на зависимость этого различительного признака от деятельности левого полушария, как это было доказано экспериментами по дихотическому прослушиванию и унилатеральными шоками (см. J a k o b s o n & W a u g h, 1979, p. 45). С другой стороны, *неопосредованность* значения сигналов показывает специализацию правого полушария, когда, например, высокий тон сигнализирует либо о вопросительном предложении, либо об эмоциональном высказывании, либо, наконец, о присутствии женского голоса.

В заключение приведем один яркий пример (ср. M o n r a d — K r o h n, 1947): поражение левого полушария у женщины-норвежки, вызванное осколком бомбы, упразднило роль высоты тона в словесном контуре ее речи, но вместе с тем расширило употребление высоты тона в эмоциональных высказываниях, обрабатываемых правым полушарием. Каждая из двух сигнальных систем — как непосред-

ственная, так и опосредованная — закреплены за разными полушариями: непосредственные сигналы могут обрабатываться лишь правым полушарием, а опосредованные — левым.

Многими существенными предложениями и соображениями я обязан моим друзьям Норману Гешвинду и Алану Кейлеру.

Кембридж. Массачусетс,
апрель 1980

ЛИТЕРАТУРА

1. Балонов Л. Я., Деглин В. Л. Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий. Л.: Наука, 1976.

2. Балонов Л. Я., Баркан Д. В., Деглин В. Л., Кауфман Д. А. Николаенко Н. Н., Савранская Р. Г., Траченко О. П. Унилатеральный электросудорожный припадок. Л.: Наука, 1979.

3. Балонов Л. Я., Бару А. В., Деглин В. Л. Идентификация синтезированных гласноподобных стимулов в условиях преходящей инактивации доминантного и недоминантного полушарий.— „Физиология человека", 1975, № 1, с. 395—404.

4. Балонов Л. Я., Деглин В. Л. Восприятие звуковых неречевых образов (слуховой и музыкальный гнозис) в условиях инактивации доминантного и недоминантного полушарий.— „Физиология человека", 1977, № 3, с. 415—423.

5. Доброхотова Т. А., Брагина Н. Н. Функциональная асимметрия и психопатология очаговых поражений мозга. М.: Медицина, 1977

6. Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А. Проблема функциональной асимметрии мозга.— „Вопросы философии", 1977 а, № 2, с. 135—150.

7. Деглин В. Л. О латерализации механизма эмоциональной окраски поведения.— В кн: „Фармакологические основы антидепрессивного эффекта". Л., 1970, с. 158—162.

8. Деглин В. Л., Николаенко Н. Н. О роли доминантного полушария в регуляции эмоциональных состояний человека.— „Физиология человека", 1975, № 1, с. 418—426.

9. Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Советское радио, 1978.

10. Иванов Вяч. Вс. Нейросемиотика устной речи и функциональная асимметрия мозга.— „Ученые записки Тартуского гос. университета. Семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика", 481, Тарту, 1979, с. 121—142.

11. Миндадзе А. А., Мосидзе В. М., Какубери Т. Д. О „музыкальной" функции правого полушария мозга человека.— „Сообщения АН ГССР", 1975, т. 79, с. 457—459.

12. Bever T. G. & R. Chiarello. Cerebral dominance in musicians and non-musicians.— „Science", 185, 1974, p. 537—539.

13. Broadbent D. E. The role of auditory localization in attention and memory.— „Journal of Experimental Psychology", 47, 1954, p. 191—196.

14. Broca P. Mémoires sur le cerveau de l'homme. Paris, 1888.

15. Cannicott S. M. The technique of unilateral electroconvulsive therapy.— „American Journal of Psychiatry", 120, 1963, p. 477—480.

16. Damásio A. R. & Damásio Hanna. Musical faculty and cerebral dominance.— In: „Music and the Brain", ed. by Critchley et al. Springfield, 1977, p. 141—155.

17. Eggert G. H. Wernicke's Works on Aphasia: A Sourcebook and Review. The Hague, 1977.

18. G a i n o t t i Guido. Emotional behavior and hemispheric side of the lesion.— „Cortex", 8, 1972, p. 41—55.
19. G a l a b u r d a A. M., M. L e M a y, T. L. Kemper & Norman Geschwind. Right-Left asymmetries in the brain.— „Science", 199, 1978, p. 852—856.
20. G a t e s Anne & J. L. B r a d s h a w. Music perception and cerebral asymmetries.— „Cortex", 13, 1977, p. 390—401.
21. G a z z a n i g a M. S. The Bisected Brain. New York, 1970.
22. G a z z a n i g a M. S. & R. W. S p e r r y. Language after section of the cerebral commissures.— „Brain", 90, 1967, p. 131—148.
23. G e s c h w i n d N. Wernicke's Contribution to the Study of Aphasia.— „Cortex", 1967, 3, p. 449—463.
24. G e s c h w i n d N. Specializations of the human brain.— „Scientific American", 3, 1979, p. 180—199.
25. H a l l i d a y M. A., K. D a v i d s o n, M. W. B r o w n e & L. C. K r e e g e r. Comparisons of the effects on depression and memory of lateral E.C.T. and unilateral E.C.T. to the dominant and non-dominant hemispheres.— „British Journal of Psychiatry", 114, 1968, p. 997—1012.
26. J a c k s o n J. H. Selected Writings (ed. by J. Taylor), II. New York, 1958.
27. J a k o b s o n R. Selected Writings. I. The Hague, 1962.
28. J a k o b s o n R. Selected Writings. II. The Hague, 1971.
29. J a k o b s o n R. The Framework of Language. Ann Arbor, 1980.
30. J a k o b s o n R. & L. W a u g h. The Sound Shape of Language. Bloomington, Ind., and London, 1979.
31. K i m u r a D. Cerebral dominance and the perception of verbal stimuli.— „Canadian Journal of Psychology", 15, 1961, p. 166—171.
32. K i m u r a D. Left-Right differences in the perception of melodies.— „Quarterly Journal of Experimental Psychology", 16, 1964, p. 355—358.
33. K i n g F. L. & D. K i m u r a. Left-Ear superiority in dichotic perceptions of vocal nonverbal sounds.— „Canadian Journal for Psychology", 26, 1972, p. 111—116.
34. K n o x C. & D. K i m u r a. Cerebral processing of nonverbal sounds in boys and girls.— „Neuropsychologia", 8, 1970, p. 227—237.
35. L u r i a A. R. Two basic kinds of aphasic disorders.— „Linguistics", 115, 1973, p. 57—66.
35. L u r i a A. R. Language and Brain: Towards the basic problems of neurolinguistics.— In: „Brain and Language", I, 1974, p. 1—14.
36. L u r i a A. R. The contribution of linguistics to the theory of aphasia.— In: Roman Jakobson: Echoes of His Scholarship (ed. by D. Armstrong & C. H. van Schooneveld). Lisse, 1977, p. 237—251.
37. M a r u s z e w s k i M. Language Communication and the Brain. The Hague, 1975.
38. M i l n e r B. Laterality effects in audition.— In: „Interhemispheric Relations and Cerebral Dominance" (ed. by V. B. Mountcastle). Baltimore, 1962, p. 177—195.
39. M i l n e r B. Hemispheric Specialization: Scope and Limits.— In.: „Hemispheric Specialization and Interaction" (ed. by B. Milner). Cambridge, Mass., 1975, p. 75—88.
40. M o n a r d - K r o h n G. M. Dysprosody or altered prosody in language.— „Brain", 70, 1947, p. 405—415.
41. O s o l s o b ě I. Ostension as the limit form of communication and its significance in art.— „Estetika", 14, Prague, Czech paper 2—23 with an English summary, 1967.
42. P e i r c e Charles Sanders. Collected Papers II and IV, ed. by A. W. Burks, Cambridge, Mass., 1958.
43. P e u s e r G. Sprache und Gehirn: Eine Bibliographie zur Neurolinguistik, Munich, 1977.
44. S a p i r Edward. Selected Writings. Berkeley and Los Angeles, 1949.
45. S p e r r y R. W. Lateral Specialization in the Surgically Separated Hemispheres.— In: „Hemispheric Specialization and Interaction" (ed. by B. Milner). Cambridge, Mass., 1975, p. 5—19.

46. T r u b e t z k o y N. S. Grundzüge der Phonologie.— In: „Travaux du Cercle Linguistique de Prague“, 7; English translation by C.A.M. Bultaxe. Principles of Phonology. U. of California Press, 1939.
47. W o l f Catherine G. & Elissa K o f f. Memory for pure and verb-derived nouns: Implications for hemispheric specialization.— „Brain and Language“, 5, 1978, p. 36—41.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТИПЫ АФАЗИИ*

В настоящее время лишь немногие исследователи, работающие в области речевых расстройств, считают роль лингвистики в изучении афазии несущественной. Теперь в самых разных американских и европейских странах многочисленные научные коллективы предпринимают совместные попытки исследования различных проблем, связанных с речевыми нарушениями. В ряде научных центров неврологи, психологи, лингвисты и специалисты других областей знаний проводят совместную работу для описания, изучения, анализа явлений афазии и для получения наиболее точных диагнозов и прогнозов относительно дальнейшего течения болезни.

На междисциплинарном симпозиуме по речевым расстройствам, организованном „Ciba Foundation“ (Лондон, 1963 г.) (см. 2)**, было высказано мнение, что в течение длительного времени лингвистика была неспособна эффективно участвовать в исследовании афазии в связи с тем, что развитие структурного анализа в науке о языке представляет собой сравнительно недавнее явление. Однако в настоящее время, которое характеризуется интенсивным развитием такого анализа, лингвисты тоже должны сказать свое слово в области речевых нарушений. Участие лингвистов в такого рода исследованиях оказывается важным для изучения афазии, с одной стороны, и для общей лингвистики, с другой, поскольку очевидно наличие весьма тесных взаимосвязей между проблемами функционирования языка в норме и усвоения языка детьми и проблемами распада языковой способности, иллюстрируемого различными типами афатических нарушений. Становится все

* Roman J a k o b s o n. Linguistic Types of Aphasia.— In: „Roman Jakobson: Selected Writings“, vol. II (Word and Language). The Hague—Paris, p. 307—319. Настоящая работа представляет собой переработанный доклад на конференции по проблемам речи, языка и коммуникации в Калифорнийском унив-те (Лос-Анджелес, 1963 г.). При переводе мы ограничились лишь докладом Р. О. Якобсона. За докладом последовала дискуссия; тех, кто заинтересуется ею, отсылаем к с. 319—331 указанного издания.— *Прим. ред.*

** Цифры в скобках указывают номер работы в списке литературы, помещенном в конце статьи.— *Прим. ред.*

более ясным, что подобные нарушения имеют определенный порядок, так сказать, характеризуются особой упорядоченной иерархией расстройств; этот порядок существует реально и должен стать предметом научного анализа. Лорд Брейн, организатор упомянутого симпозиума, пошел даже дальше, утверждая, что те же аналитические методы могут быть использованы при изучении психопатической речи, особенно речи больных шизофренией (1). Лингвистические исследования в этой обширной области только лишь начались, но даже на нынешнем этапе явления шизофрении предоставляют лингвистам возможность уловить определенные фазы и аспекты в процессе течения болезни, которые вполне могли бы остаться незамеченными.

В предшествующие периоды развития науки, когда лингвистика играла крайне незначительную роль в изучении речевых расстройств, у ряда ученых, не являющихся специалистами по лингвистике, появились концепции афазии, в которых, грубо говоря, обнаруживалось полное игнорирование лингвистического аспекта в сфере патологии речи. Подобное намеренное игнорирование этого аспекта представляется недопустимым: коль скоро афазия поражает исключительно или преимущественно наш язык, то именно в науке о языке нужно искать первое пробное решение вопроса о типах афазии для конкретных случаев речевых расстройств. К сожалению, многие психологи считали, что афазия представлена только одним типом и что во всем разнообразии речевых расстройств нельзя обнаружить ни качественных, ни даже количественных различий. Эта теория находится в вопиющем противоречии со всеми существующими эмпирическими данными об афатических нарушениях. Анализ афазии невозможно ограничить чисто количественными методами. Лингвисты должны уделять и действительно уделяют пристальное внимание статистическим проблемам языка, и изучение языка в количественном аспекте является одним из важных разделов нашей науки. Однако для того, чтобы считать, необходимо знать то, что подвергается счету! было бы бесполезно считать какие-либо объекты без предварительного определения качественных характеристик, без классификации подвергаемых счету единиц и категорий.

Результаты чисто количественного анализа явлений афазии расходятся с лингвистическими фактами. Все так называемые доказательства, обосновывающие унитарный статус афазии, оказываются весьма поверхностными, поскольку они опираются на некие фиктивные научные понятия и абсолютно игнорируют факты фонологической, морфологической и синтаксической структуры языка. В настоящее время мы располагаем рядом объективных и тщательных описаний многочисленных случаев афазии, касающихся различных сторон языка. Этот материал недвусмысленно свидетельствует о существовании качественно различных, порой даже полярно противоположных типов расстройств. Разумеется, полярность некоторых типов не исключает возможности переходных или смешанных случаев — в этом отношении расстройства речи сходны со всеми другими патологическими изменениями личности.

Нельзя отрицать, что чисто полярные типы афазии встречаются весьма часто; подобного рода кардинальные дихотомии позволяют нам дать общую классификацию афатических нарушений. Несколько лет назад я имел возможность подробно обсудить одно из подобных нарушений (см. 11, с. 239 и сл.). В любом речевом событии существенную роль играют два фактора: селекция (выбор) и комбинация (сочетание). Если, например, я намереваюсь сказать нечто о своем отце, я должен сделать сознательный или подсознательный выбор одного из возможных слов: father 'отец', parent 'родитель', papa 'папа', dad, daddy 'папочка'; далее, если я хочу сказать, что он неважно себя чувствует, я опять-таки выбираю один из возможных способов выражения: ill 'больной', sick 'больной, болезненный', indisposed 'испытывающий недомогание', not healthy 'нездоровый', ailing 'хворый'. Селекции составляют один аспект двустороннего события, а комбинация двух выбранных речевых единиц, дающая предложение Father is sick 'Отец болен', составляет его другой аспект. Единицы, среди которых мы производим селекцию, взаимно связаны друг с другом различными типами и степенями сходства/различия, например: отношениями сходства, подобия, эквиваленсcти, похожести, аналогии, различных видовых типов, противоположности. В противовес селекции, базирующейся на внутренних (парадигматических) отношениях единиц, комбинация затрагивает внешние отношения единиц по их линейной смежности во всех видах и степенях: соседство, близость и отдаленность, подчинение и сочинение.

Лингвистическое переосмысление разнообразных случаев афазии, описанных в литературе на разных языках, а также мои собственные наблюдения над афатиками, владевшими разными языками, привели меня к выводу, что мы сталкиваемся с двумя основными типами афазии. Либо нарушается внутреннее отношение сходства и, соответственно, способность пациента к селекции, либо, наоборот, оказывается затронутым внешнее отношение смежности и, следовательно, способность к комбинации.

После публикации моих первых предварительных описаний указанной дихотомии (10, 11), до сих пор ускользавшей от внимания исследователей, я с большим удовлетворением получил поддержку и одобрение со стороны таких серьезных специалистов по афазии, как Лурия в Москве (17, 30), Уэпмен (4) и Гудгласс (6, 7, 8) в США. Их замечания, а также более ранние исследования, особенно работа Гольдштейна (5), побудили меня обратить особое внимание на очень тесную взаимосвязь между дихотомией селекции и комбинации и традиционным разграничением двух типов афазии, которые были известны под не совсем удачными названиями „сенсорной" и „моторной" афазии. Любая терминология достаточно условна, однако в данном случае эти названия создают ошибочное представление о том, что дело здесь сводится либо к нарушению артикуляторной способности, либо к повреждению сенсорного аппарата. Данное недоразумение исчезает, как только термин „моторный" заменяется термином „кодирование", а термин „сенсорный" — термином „декодирование". Таким путем мы заменяем слу-

чайные симптомы на более существенные признаки. Различие между расстройствами комбинации и селекции в значительной мере совпадает с различием между нарушениями кодирования и декодирования. Прежде чем обсуждать соотношение этих двух пар синдромов, представляется уместным описать основные типы афазии кодирования и декодирования.

Среди достижений неврологов, психиатров и психологов в изучении афазии исследования А. Р. Лурия представляются наиболее ценными. Это связано с двумя обстоятельствами: во-первых, Лурия исследовал разные типы афатических нарушений на нескольких уровнях, и, во-вторых, он имел возможность наблюдать в московских клиниках многочисленных пациентов-афатиков, в особенности участников войны, с мозговыми ранениями. Количество исследованных им случаев афазии, подтверждающих его результаты, производит большое впечатление. В книге, опубликованной в 1962 г. (30), и в работе, представленной на симпозиуме „Ciba Foundation", Лурия отмечает шесть типов нарушений, среди которых имеются основные типы расстройств кодирования, то есть традиционная афазия Брока́, или „моторная", в терминологии Лурия принадлежащая к „эфферентному" (или „кинетическому") типу, и основной тип расстройств декодирования, имеющий в этих исследованиях обычное название „сенсорной" афазии.

Я позволю себе коротко остановиться на вопросе об основных признаках эфферентной афазии на разных уровнях структуры языка. Разумеется, в каждом конкретном случае должны присутствовать отнюдь не все из отмеченных симптомов и затрагиваются отнюдь не все лингвистические уровни. В одних случаях нарушение носит преимущественно или исключительно фонологический характер, в других — речевые потери относятся главным образом или только к синтаксическому уровню.

При эфферентной афазии владение словами сохраняется, в особенности владение теми словами, которые не зависят от контекста,— в основном вещественными существительными, и в частности конкретными существительными, выполняющими главную функцию в речи. С другой стороны, построение предложения связано у таких пациентов со значительными трудностями: прежде всего, наблюдается утрата чисто грамматических слов, а именно слов-соединителей (союзов и предлогов), а также утрата таких строго грамматических слов, как местоимения. Чем более независимый статус имеет слово и чем ближе оно к классу обычных исходных слов, тем оно более жизнеспособно. Так, имена сохраняются лучше, чем глаголы, а существительные — лучше, чем прилагательные. Из всех падежей сохраняется лишь именительный, а глаголы употребляются в форме, наиболее близкой к имени. Скажем, если в системе глагольных форм данного языка имеется инфинитив, то эта форма обнаруживает более высокую сохраняемость при эфферентной афазии, чем личные глагольные формы. Традиционное название „телеграфный стиль" очень хорошо характеризует речь таких афатиков. Они склонны сводить свои высказывания к одному слову.

На фонологическом уровне владение фонемами сохраняется. Труд-

ности вызывают не сами фонемы, а их сочетания, переход от одной фонемы к другой и разнообразие фонем в составе многосложного слова. Чем более независим статус фонемы или различительного признака относительно контекста, тем выше вероятность сохранения данной единицы. Среди различительных признаков сегментные признаки более стойки, чем просодические, поскольку только последние затрагивают отношения между фонемами в составе фонемной цепочки.

Эфферентная афазия, таким образом, является типичным нарушением отношения по смежности, и явные свидетельства нарушения по смежности наблюдаются на всех уровнях языка. Корень как лексическая и наименее зависимая часть слова сохраняется лучше, чем грамматические суффиксы. Интересно, что однокоренные слова с различными суффиксами ассоциируются друг с другом по семантической смежности, тогда как разнокоренные слова с общим суффиксом обнаруживают семантическое сходство. Среди синтаксических отношений управление легче подвержено утрате, чем согласование, поскольку последнее связывает модификатор с главным словом не только по смежности, но и по сходству, тогда как управление ограничивается связью только по смежности. Существо эфферентного типа афазии с ее аграмматизмом наилучшим образом было выявлено еще в прошлом столетии горячим сторонником научного подхода к изучению афазии Хьюлингзом Джексоном (9). Он был первым, кто понял, что основная речевая неполноценность состоит в утрате способности строить правильные высказывания.

Так называемая сенсорная афазия, глубоко проанализированная Э. С. Бейном (27), представляет собой противоположный языковой синдром. В данном случае синтаксические целостности — предложения — сохраняются. Наиболее жизнеспособными являются те элементы, которые служат в качестве опорных для построения предложения, то есть так называемые „малые" (строевые) слова типа служебных, местоименных и т. п. Наречия и прилагательные сохраняются дольше, чем глаголы и существительные; сказуемое более устойчиво, чем подлежащее. Наибольшие трудности связаны с начальным существительным в предложении, особенно если пациент говорит на языке типа английского или французского, где подлежащее, как правило, занимает начальную позицию в предложении. Подобная трудность становится особенно серьезной в том случае, когда в качестве подлежащего выступает непроизводное существительное, то есть чистый корень с минимальной контекстной зависимостью. Любопытно, что отглагольные и отадъективные существительные уязвимы в гораздо меньшей степени.

Если требуемое слово не зависит от контекста, то для пациента, страдающего тяжелым расстройством селекции (то есть сходства), операция выбора этого слова становится непосильной задачей. Он неспособен построить предложение, выражающее тождество двух объектов, или назвать предъявляемый объект; часто он неспособен повторить то или иное слово в ответ на его произнесение другим человеком, хотя то же самое слово он легко может произнести в составе высказывания. Некоторые пациенты отклоняют просьбу повторить отрицание «нет»,

твечая непреднамеренно капризным высказыванием «Нет, я не могу».

Столкнувшись с этими двумя типами афазии, мы можем спросить себя, почему первый тип — утрата способности объединения, создания контекста — затрагивает в основном процесс кодирования и почему, с другой стороны, неспособность разложения общего контекста на компоненты, разделения компонентов и оперирования теми компонентами, которые обладают определенной независимостью от контекста, сказывается прежде всего на процессе декодирования. Прежде чем ответить на эти вопросы, представляется уместным обсудить дефекты сенсорного типа афазии на фонологическом уровне.

В данном случае мы снова наблюдаем сохранение сочетаний, однако в пределах этих сочетаний некоторые фонемы упрощаются, особонно те фонемы, которые не могут быть предсказаны на основе их окружения. Некоторые фонологические противопоставления утрачиваются. Для лингвистов это представляется совершенно ясным, и в соответствии с лингвистическим опытом Лурия (17, 30) неоднократно отмечает, что в случае сенсорной афазии утрачивается отнюдь не физический, но фонологический слух. Среди психологов, впрочем, все еще есть скептики, которые в подобных ссылках на нарушения фонологического восприятия усматривают лишь рискованные гипотезы. Однако без подобной гипотезы нельзя было бы объяснить, почему в таких языках, как чешский или венгерский, в которых противопоставление долгих и кратких гласных играет важную роль как в ударных, так и в безударных позициях, сенсорный афатик может утрачивать способность различения долгих и кратких гласных как при восприятии речи, так и в своей собственной речи. Здесь дело не в неспособности слышать или произносить гласные большей или меньшей длительности — утрачивается именно различительная смысловая значимость противопоставления по признаку долготы / краткости в фонологическом коде языка.

Фонологические дефекты сенсорных афатиков отражают иерархическую структуру фонологического уровня. Недавно появилась весьма важная работа (3) польского лингвиста Дорошевского, замечательного полевого исследователя, который самым тщательным образом исследовал и описал типичный случай сенсорной афазии. В этом отчете о ходе заболевания можно найти проницательные замечания о нарушении различения звонких и глухих согласных в польском языке. Эти данные выглядят особенно впечатляющими потому, что исследователь не имел предвзятого мнения и даже игнорировал сам принцип, который обосновывает и объясняет иерархический статус этих речевых дефектов. В оппозиции звонких и глухих согласных звонкие согласные составляют так называемую „маркированную“ категорию. В речи данного пациента многие звонкие согласные утрачивали признак звонкости, однако случаев замены глухих (немаркированных) фонем звонкими (маркированными) зарегистрировано не было. Кроме оппозиции звонкость (+) / глухость (—), в польской консонантной системе выделяется ряд других бинарных оппозиций: компактность (+) *vs.* диффузность (—), высокая тональность (+) *vs.* низкая тональность (—), резкость (+) *vs.* нерезкость (—). Существенно то, что при сенсорной афазии на-

блюдается тенденция к сокращению числа маркированных признаков в фонеме. Так, в речи польского афатика в 91% случаев компактные (+) согласные утрачивали признак звонкости и только в 35% случаев утрачивали этот признак диффузные (—) согласные. Из диффузных (—) согласных 57% высоких (+) и только 6% низких (—) становились глухими. Из диффузных высоких (— +) согласных 100% резких (+) фонем и только 50% нерезких (—) меняли признак звонкости на признак глухости.

Теперь вернемся к вопросу о том, почему нарушения комбинации, препятствующие построению сложных единиц и вообще всякому акту объединения, затрагивают прежде всего кодирующую способность пациента, тогда как нарушения селекции поражают преимущественно декодирующую способность. Оба указанных соотношения, которые на первый взгляд кажутся весьма произвольными и случайными, на самом деле глубоко обоснованы. Никаких других объяснений и не требуется для такого психолога, как доктор Осгуд, обнаруживший кардинальную разницу между интегративной и репрезентативной способностями человека (21).

В процессе кодирования нарушения затрагивают скорее общий контекст, чем его компоненты, а в процессе декодирования обнаруживается противоположная картина. Почему же при кодировании компоненты высказывания сохраняются? Дело здесь в том, что говорящий осуществляет выбор элементов до их сочетания в единое целое. Второй этап построения высказывания, то есть построение целого, подвержен нарушению в большей степени, а компоненты в гораздо большей степени жизнеспособны. Поэтому процесс кодирования и оказывается наиболее часто уязвим в случаях нарушения комбинации. Осуществляя декодирующие операции, мы прежде всего должны уловить целое; в этом состоит глубокое различие между статусом слушающего и статусом говорящего в речевом общении. Декодирующий партнер речевого акта гораздо чаще обращается к вероятностным решениям, чем кодирующий партнер. Так, для говорящего не существует проблемы омонимии; когда он произносит слово bank, он отлично знает, имеется в виду берег реки или финансовое учреждение, тогда как слушающий, пока у него нет опоры на контекст, борется с омонимией и вынужден прибегать к вероятностным испытаниям своих решений. Идентификация компонентов — второй этап, на котором слушающий как бы отождествляет себя с говорящим, ставя себя на его место: последовательный синтез переходит в симультанный синтез, и речевые последовательности дробятся на куски (chunks), как сказал бы Джордж Миллер (20). Представляется естественным, что консеквент [цель кодирующего = последующие единицы высказывания] менее устойчив, чем антецедент [предшествующие единицы высказывания], и поэтому процесс декодирования особенно уязвим в случае нарушений селекции.

Когда исследователи при обсуждении расстройств кодирования и декодирования предпочитают характеризовать их как «преимущественно расстройство кодирования» или «преимущественно расстрой-

ство декодирования», они очевидным образом правы, поскольку нет чистых случаев расстройств кодирования или декодирования, а есть лишь иерархические различия между ними. Декодирование в гораздо меньшей степени зависит от кодирования, чем наоборот. Более или менее устойчивые процессы декодирования вполне совместимы с тяжелыми случаями нарушения кодирования. Показательный случай недавно был отмечен Леннебергом (14): восьмилетний мальчик, полностью лишенный способности говорить, отлично понимал речь взрослых. С другой стороны, трудно вообразить себе случай сохранения в полном объеме способности кодирования при атрофии способности декодирования. Каждый из нас знает больше языков пассивно, чем активно, а запас слов, которые человек понимает, превосходит число реально используемых им слов. Сфера нашей декодирующей деятельности шире нашей кодирующей способности.

В данной связи представляются чрезвычайно важными данные о нарушениях внутренней речи в каждом тяжелом случае эфферентной афазии. Внутренней речи, составляющей кардинальную проблему как для лингвистов, так и для психологов, тем не менее уделялось недостаточно внимания до тех пор, пока эта тема не была вознаграждена достижениями современных исследований в СССР. Мне бы хотелось особо упомянуть исследования Выготского (26), Лурия (30), Жинкина (28), Соколова (31) и других авторов, названных в последней работе. В свете данных этих стимулирующих исследований изъяны внутренней речи, вызванные эфферентной афазией, становятся вполне понятными. Достаточно лишь сопоставить аграмматизм как основной признак эфферентного синдрома с предикативной природой внутренней речи и, сверх того, вспомнить, что внутренняя речь составляет обычный контекст нашей внешней, произносимой речи и что именно разрушение структуры контекста характеризует этот тип афазии.

Равным образом представляется совершенно естественным то, что сенсорный тип афазии влечет за собой нарушение способности к метаязыковым операциям. Важнейшая способность человека преобразовывать одни языковые знаки в другие (синонимичные, или более развернутые, или, наоборот, более сжатые) лежит в основе развития и использования языка, но данная метаязыковая функция ослабляется в случае сенсорной афазии, препятствующей любым внутриязыковым или межъязыковым преобразованиям и любой операции по идентификации языковых знаков.

Рассмотрев выше эфферентный тип афазии, характеризующий расстройства комбинации, и разнообразные случаи сенсорной афазии, связанной с расстройством селекции, мы можем обратиться и к другим типам афазии. Тип динамической афазии наиболее четко был выделен в работах Лурия (29, 30). Как и случай эфферентной афазии, этот тип афазии относится к области расстройств комбинации, однако не затрагивает ни фонологического, ни грамматического уровня. Пока пациент оперирует такими полностью кодифицированными в языке (как грамматически, так и лексически) единицами, как слова, или такими частично (только грамматически) кодифицированными единицами,

как предложения, у него не возникает никаких трудностей. Трудности начинаются тогда, когда речь пациента выходит за пределы предложения и высказывание состоит более чем из одного предложения. Объединение ряда предложений, не регулируемое какими-либо строгими правилами (иерархическими, субординативными правилами), составляет особо сложную задачу для пациентов с дефектами комбинации, и они не справляются с ней, особенно с построением монолога, то есть цельного сложного высказывания, конструирование которого возлагается на свободную волю говорящего.

Другим дефектом таких афатиков является притупление способности перехода от одной системы знаков к другой, например способности адекватной жестовой реакции на словесный приказ. В соответствии с указанием Лурия, в подобных случаях нарушается регулирующая функция речи (16, 30); фактически здесь мы имеем дело с неспособностью попеременного использования двух различных семиотических кодов в пределах одного дискурса. По сравнению с эфферентным типом динамическая разновидность афазии представляет собой просто ослабленную форму нарушения комбинации: в случае эфферентной афазии наблюдается полный распад некоторой способности, а в случае динамической афазии — ограничение способности.

В области расстройств селекции мы также обнаруживаем аналогию указанному дуализму распада и ограничения. Если распад процессов селекции представлен сенсорным типом афазии, то ограничение этих процессов проявляется в разновидности афазии, описанной Лурия (30, 18) под традиционным названием семантической афазии. Этот тип в свою очередь требует лингвистического переосмысления. В различных формах нарушений селекции слова и их внутренняя структура доставляют пациенту гораздо более серьезные затруднения, чем построение предложения. Морфология гораздо более трудна для него и в большей степени приводит его в замешательство, чем синтаксис. Чем больше слово в составе предложения зависит от синтаксического окружения, тем более высоки его шансы быть понятым и произнесенным сенсорным афатиком; при семантической афазии нарушение селекции принимает несколько ослабленную форму. Любая грамматическая категория, в частности грамматический класс существительных, сохраняется исключительно в первичной синтаксической функции. Морфология здесь уступает синтаксису. Каждая часть речи определяется по единственной характерной для нее синтаксической конструкции. Функции существительных сведены к приглагольной позиции, и существительные не воспринимаются адекватно в позиции модификатора другого существительного. Пациенты, страдающие семантической афазией, не могут уловить смысловое различие между такими словосочетаниями, как wife's brother 'брат жены' и brother's wife 'жена брата'. Предикативное употребление существительного, особенно в предложении без явно выраженного глагола-связки, как в русском языке, типа *Лев — зверь*, озадачивает такого афатика.

Порядок слов в случаях заболеваний такого рода становится гораздо более однообразным и твердым. Поскольку в английском языке

не только речь афатика, но и нормальная речь характеризуется довольно твердым порядком слов, обратимся к примеру языка с более свободным порядком слов. В русском языке основной порядок слов (подлежащее, сказуемое, дополнение) допускает перестановку в стилистических целях (дополнение, сказуемое, подлежащее), поскольку формы винительного падежа дополнения и именительного падежа подлежащего различаются своими окончаниями; ср. *Лука помнит Ольгу = Ольгу помнит Лука* vs. *Ольга помнит Луку = Луку помнит Ольга*. Для русского, страдающего семантической афазией, любое предшествующее глаголу существительное становится подлежащим, а любое послеглагольное существительное воспринимается как дополнение, невзирая на окончания. Все подобные примеры выявляют ограничение морфологии и закрепление жестко очерченной и устойчивой синтаксической модели предложения.

Две остальные формы афазии представляют собой, по-видимому, наиболее сложные и важные ее разновидности. Одна из них, названная Лурия (29, 30) *афферентной* (или *кинестетической*) *афазией*, принадлежит к классу нарушений кодирования, основанных на распаде способности к комбинации. В противоположность эфферентному типу расстройств комбинации, затрагивающему фонемные цепочки, афферентный тип характеризуется склеиванием [неразличением] отдельных фонем. Сенсорная афазия также обнаруживает дефекты в различении фонем, но там, как мы видели, нарушения владения фонемами, аналогичные трудностям владения словами, приводят к регулярному исчезновению определенных различительных признаков. Число возможных селекций уменьшается; например, в речи польского афатика, по данным работы (3), наличие признака компактности у согласного почти исключает противопоставление по звонкости — глухости. По-другому обстоит дело в случае афферентной афазии: здесь затруднение состоит в соединении различительных признаков в одной фонеме. Подобные пучки совместных признаков слишком сложны для таких пациентов, и они реализуют только один признак или часть признаков данной фонемы, заменяя ее другие составные признаки случайными элементами. Сохраненные признаки несут фонологическую информацию, а элементы-заменители просто заполняют некие ячейки в составе фонемы.

Этот тип афазии — как в лингвистическом, так и в клиническом аспекте — требует дальнейшего, более тонкого исследования. Я бы хотел, однако, упомянуть в данной связи исключительно ценный отчет о типичном заболевании афферентной афазией, подготовленный к публикации двумя польскими учеными, лингвистом Халиной Межеевской и психологом Мариушем Марушевским (19). Это исследование делает явным тот факт, что репертуар сохраняемых фонологических признаков отнюдь не постоянен и что в любой бинарной оппозиции главным может становиться любой ее член: звонкий и глухой, носовой и ротовый, непрерывный и прерванный, резкий и нерезкий, компактный и диффузный, высокий и низкий, диезный и недиезный (см. 13).

Нарушения комбинации затрагивают временные цепочки в эффе-

рентном типе афазии и пучки совместно реализуемых признаков в афферентном типе. Отношение между расстройствами комбинации и селекции (или, соответственно, между преимущественно кодирующим и декодирующим уровнем афазии) совпадает с дихотомией нарушений последовательности (сукцессивности) и одновременности (симультанности). При афферентном типе афазии соответствие между этими двумя дихотомиями теряет силу, поскольку здесь оказываются затронутыми лишь симультанные объединения.

Противоположное соотношение между этими двумя дихотомиями обнаруживается в амнестическом типе афазии (29, 30). Если пациента, страдающего амнестической афазией, попросить указать пальцем на свой глаз, он сделает это; аналогичным образом он выполнит просьбу указать пальцем на ухо. Но если ему сказать: «Покажите ваш глаз и ухо», то он покажет только один из названных органов, а о другом просто забудет или неправильно его идентифицирует. Наконец, просьба показать глаз, ухо и нос попросту поставит этого пациента в тупик. Здесь имеет место расстройство селекции, но в противоположность сенсорному типу амнестическая афазия затрагивает только итеративную селекцию, то есть селективную операцию повторения компонентов, развертываемых в предложении. Пациент должен сделать последовательно три разных выбора из одного и того же ряда „глаз — ухо — нос". Обратимся к примерам предложений с однородными членами: John, Peter, and Mary came to Boston 'Джон, Питер и Мэри приехали в Бостон' — предложение с тремя сочиненными существительными; John sang, Peter played, and Mary danced 'Джон пел, Питер играл, а Мэри танцевала' — сложносочиненное предложение с тремя составными частями. Сочинительные конструкции составляют единственный тип конструкций, который бывает затронут при амнестической афазии. Только в этом типе конструкций грамматическая последовательность лишена внутренней синтаксической иерархии, и, следовательно, только они допускают свободное добавление новых и опущение имеющихся единиц. Сочиненные слова, словосочетания и предложения соединяются друг с другом только по взаимному формальному сходству. В подобных конструкциях отношения сходства затрагивают не только ось одновременности в языке, но также и ось последовательности. В связи с подобной двойной игрой, разворачивающейся среди единиц, связанных отношением сходства, сочинительные конструкции вызывают наибольшие затруднения для пациентов с расстройствами подобия.

Таким образом, в основе шести главных типов афазии лежат три дихотомии: (а) комбинация, которая предполагает отношение смежности и затрагивает преимущественно кодирование, *vs.* селекция, которая предполагает отношение сходства и затрагивает преимущественно декодирование; (б) последовательность (сукцессивность) *vs.* одновременность (симультанность); (с) распад *vs.* ограничение. Для афферентного и амнестического типа афазии последняя дихотомия не релевантна. В другой моей работе (12, с. 300) дана предварительная схема, показывающая статус каждой из этих трех дихотомий.

Когда с чисто лингвистических позиций я осмысливал и классифицировал ценный материал, содержащийся в публикациях Лурия (15—17, 18, 29, 30), фактические данные в различных европейских и американских работах по афазии, а также материал моих собственных наблюдений, я заинтересовался также попытками классификации афатических нарушений, осуществляемыми с других научных позиций. Я последовал предостережению Хьюлингза Джексона против смешения разных уровней в исследовании афазии (9) и очертил свою типологию афатических нарушений на строго лингвистической основе. В то же время я понимал, что призыв к автономии вовсе не должен означать изоляции. Если автономия ценна, то изоляция всегда бывает вредна. После завершения автономного исследования каждого отдельного уровня полезно и даже необходимо предпринять поиск корреляций между разными уровнями. Поэтому я естественным образом пришел к вопросу о том, что сделано в сложной области изучения топографии мозга, какие функциональные отделы коры головного мозга признаются ответственными за различные типы речевых расстройств. Я обратился к результатам топографического исследования мозга, в частности к данным Лурия (29, 15, 30) и Прибрама (24). После ряда бесед с Прибрамом в Стэнфорде мы пришли к выводу о наличии тесной связи между локализацией поражений головного мозга и лингвистической типологией афатических нарушений. Для всех трех указанных выше лингвистических дихотомий можно предложить в предварительном порядке топографические аналоги в головном мозге.

Расстройства комбинации (смежности), как представляется, связаны с поражениями передних отделов коры головного мозга, а расстройства селекции (подобия) — с поражениями задних отделов. Если мы сопоставим основные разновидности этих двух типов расстройств, то есть эфферентный тип и сенсорную афазию, то увидим, что первый тип связан с передневисочными поражениями, а второй тип — с задневисочными поражениями. Имеются два типа более легких нарушений, соответствующих указанным двум типам речевых расстройств: способность к комбинации подвергается ограничению в случае „динамических“ нарушений, а способность к селекции — в случае „семантических“ нарушений. Эти две ослабленные формы афазии (характеризующиеся только ограничением в противоположность распаду) связаны с двумя полярными отделами мозга: лобный внутренний отдел переднего мозга отвечает за „динамические“ нарушения, а задний внутренний отдел (заднепариетальный и парието-затылочный отделы) — за „семантические“ нарушения (15, 17, 30, 24).

В эфферентном и динамическом типах расстройств комбинации затронута ось последовательности в языке, тогда как сенсорный и семантический типы расстройств селекции затрагивают ось одновременности. Что касается двух переходных типов, то один из них — афферентная афазия — представляет собой расстройство комбинации, затрагивающее ось одновременности, а второй тип — амнестическая афазия — нарушение селекции, связанное с осью последовательности. Эти переходные типы связаны с поражением центральных областей

коры головного мозга: афферентный тип — с ретроцентральными поражениями, а амнестический тип — с центральновисочными поражениями (ср. данные Лурия (29, 30) и точку зрения Пенфилда на интерпретирующую функцию коры головного мозга (23)).

Работы Лурия и Прибрама (30, 25) и их совместные исследования — как в Стэнфордском университете, так и в Институте им. Бурденко в Москве — говорят о том, что дихотомия «последовательность — одновременность» соответствует структурному различию между медиобазальными и дорсолатеральными отделами мозга (см. 12, с. 303). Если эти мозговые корреляты лингвистических координат окажутся верными, данное соответствие откроет новые перспективы в изучении запутанной проблемы соотношений между нашим последовательным и симультанным восприятиями в частности между восприятием таких развертывающихся во времени, преимущественно последовательных явлений, как речь и музыка, и восприятием таких типично пространственных, преимущественно симультанных явлений, как виды изобразительного искусства Мне представляется, что дихотомия «последовательность — одновременность», играющая столь существенную, еще не окончательно исследованную роль в языке, дает ключ для предстоящего исследования различных знаковых систем в их взаимосвязи. Возможно, изучение этого дуализма прольет новый свет на различные функции и функциональные отделы головного мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1. B r a i n, W. R. Statement of the problem.— In: „Disorders of Language" (A.V.S. de Reuck, M. O'Connor, eds.). London, 1964, p. 5—20.

2. d e R e u c k, A.V.S., O'C o n n o r, M. (Eds.). Disorders of Language. London, 1964.

3. D o r o s z e w s k y, W. Język — system znaków a procesy mowy.— „Sprawozd. Prac Nauk. Wydz. Nauk Społecz.", 1963, 6, str. 1—16.

4. F i l l e n b a u m, S., J o n e s, L. V., W e p m a n, J. M. Some linguistic features of speech from aphasic patients.— „Language and Speech", 1961, 4, p. 91—108.

5. G o l d s t e i n, K. Language and Language Disturbances; Aphasic Symptom Complexes and Their Significance for Medicine and Theory of Language. New York, 1948.

6. G o o d g l a s s, H., B e r k o, J. Agrammatism and inflectional morphology in English.— „Journal of Speech and Hearing Research", 1960, 3, p. 257—267.

7. G o o d g l a s s, H., H u n t, J. Grammatical complexity and aphasic speech.— „Word", 1958, 14, p. 197—207.

8. G o o d g l a s s, H., M a y e r, J. Agrammatism in aphasia.— „Journal of Speech and Hearing Disorders", 1958, 23, p. 99—111.

9. J a c k s o n, J. H. Selected Writings, vol. II (J. Taylor, Ed.). New York, 1958.

10. J a k o b s o n, R. Aphasia as a linguistic topic.— In: „Jakobson R.: Selected Writings", vol. II. The Hague — Paris, 1971, p. 229—238.

11. J a k o b s o n R. Two aspects of language and two types of aphasic impairments.— In: „Jakobson R.: Selected Writings", vol. II. The Hague — Paris, 1971, p. 239—259.

12. J a k o b s o n R. Toward a linguistic classification of aphasic impairments.— In: „Jakobson R.: Selected Writings", vol. II. The Hague — Paris, 1971, p. 287—306.

13. J a k o b s o n, R., H a l l e, M. Phonology and phonetics.— In: „Jakobson R.: Selected Writings", vol. I. The Hague, 1962.

14. L e n n e b e r g, E. H. Understanding language without ability to speak: a case report.— „J. Abnorm. Soc. Psychol.", 1962, 65, p. 419—425.

15. L u r i a, A. R. Brain disorders and language analysis.— „Language and Speech", 1958, 1, p. 14—34.

16. L u r i a, A. R. The directive function speech in development and dissolution.— „Word", 1959, 15, p. 341—352; p. 453—464.

17. L u r i a, A. R. Disorders of «simultaneous perception» in a case of bilateral occipito-parietal brain injury.— „Brain", 1959, 82, p. 437—449.

18. L u r i a, A. R. Factors and forms of aphasia.— In: „Disorders of Language" (A.V.S. de Reuck and M. O'Connor, eds.). London, 1964, p. 143—167.

19. M a r u s z e w s k i, M., M i e r z e j e w s k a, H. Zastosowanie analizy lingwistycznej w badaniach nad afazją.— „Studia Psychologiczne", 1964, 5, p. 73—103.

20. M i l l e r, G. A. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information.— „Psyhological Review", 1956, 63, p. 81—97.

21. O s g o o d, C. E. Motivational dynamics of language behavior.— In: „Nebraska Symposium on Motivation" (M. Jones, Ed.). Lincoln, 1957, p. 348—424.

22. O s g o o d, C. E., M i r o n, M. S. (Eds.). Approaches to the Study of Aphasia. Urbana, 1963.

23. P e n f i e l d, W., R o b e r t s, L. Speech and Brain-Mechanisms. Princeton, 1959.

24. P r i b r a m, K. H. The intrinsic systems of the forebrain.— In: „Handbook of Physiology; Neurophysiology", II (J. Field, H. W. Magoun, V. E. Hall, Eds.). Washington, D. C., 1960, p. 1323—1344.

25. P r i b r a m, K. H. A review of theory in physiological psychology.— „Annual Review of Psychology", 1960, 11, p. 1—40.

26. V y g o t s k y, L. S. Thought and Language (E. Haufmann, G. Vakar, Eds.). Cambridge, 1962.

27. Б е й н Э. С. Основные законы структуры слова и грамматического строения речи при афазиях.— „Вопросы психологии", 1957, 4, с. 90.

28. Ж и н к и н Н. И. Механизмы речи. М. (Акад. пед. наук. РСФСР), 1958.

29. Л у р и я А. Р. Травматическая афазия. М. (Акад. мед. наук УССР), 1947.

30. Л у р и я А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушение при локальных поражениях мозга. М. (изд-во МГУ), 1962.

31. С о к о л о в А. Н. Исследования по проблеме речевых механизмов мышления.— В кн.: „Психологическая наука в СССР", том I, М. (Акад. пед. наук РСФСР), 1959, с. 488—515.

ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ В ЯЗЫКЕ *

Во второй части „Logische Untersuchungen“ [1] Эдмонда Гуссерля — эта а работа до сих пор является одним из самых вдохновенных вкладов в изучение феноменологии языка — два раздела, посвященные „целому и части“, знакомят с философскими размышлениями на тему „идей чистой грамматики“. Несмотря на многочисленные аспекты взаимозависимости целого и частей в языке, лингвисты долгое время были склонны игнорировать этот аспект.

„Totality“ [2] Эдуарда Сепира — первая и, к сожалению, почти единственная завершенная часть задуманного им обширного труда „Основы изучения языка“ (1930) — открывается ссылкой на психологические факторы, которые затрудняли анализ отношения „часть — целое“: «1) ощущение необходимости сделать остановку или неспособности продолжать речь после формального или неформального учета множества или конгломерата объектов; 2) ощущение неспособности или нежелание разбивать объект на более мелкие объекты».

Изучающие лингвистику часто сталкивались с трудностями при переходе от дробного множества к расширенному множеству или же к другой, меньшей части множества, что дало повод к возникновению различных изоляционистских направлений в науке о языке. Например, внешняя, воспринимаемая часть знака, его signans, умышленно исследовалась без обращения к знаку в целом, который объединяет signans с signatum, то есть с воспринимаемой, переводимой семантической частью всего signum.

Другая трудность состояла в рассмотрении *предложения* как наивысшей языковой единицы. Образования более высокого уровня, а именно *высказывания*, которые могут объединять сочетания предложений, а также *дискурс*, который обычно представляет собой обмен высказываниями, оставались за пределами лингвистического анализа.

---

* „Parts and Wholes in Language“.— In: “Parts and Wholes“. (Ed. by D. Lerner). New York—London, 1963. Включена в: “Roman Jakobson. Selected Writings“ II, 1971, pp. 280—284

[1] Halle, 1902.

[2] „Language Monographs“, № 6 (Linguistic Society of America), 1930.

Вместе с тем на предложение часто смотрели как на минимальную актуальную речевую единицу, тогда как низшие единицы типа *слова* или его наименьшей значимой составляющей — *морфемы* (и даже его фонемных компонентов) рассматривались учеными как простые научные конструкты, навязываемые речевой действительности. Тот факт, что все эти единицы, начиная с *дискурса* и кончая его элементарными компонентами (*различительными признаками*), имеют совершенно различные статусы по отношению к вербальному коду и представляют различные степени относительной зависимости, не оправдывает попыток исключить некоторые из этих единиц из реалистического и исчерпывающего описания языка как такового, то есть из многоэтажной иерархии целого и частей. Тем не менее существует конкретная реальность, которая в некоторой степени оправдывает эти свойственные ученым ограничительные подходы: ведь каждый из них отражает какой-либо тип серьезных языковых нарушений. Это те патологические случаи, когда речь ограничена высказываниями, состоящими из одного предложения, или же повторением готовых предложений, а возможность комбинировать слова в новые предложения полностью утрачена; или же эта способность может сохраниться, но оказываются подавленными деривационные и флективные операции, когда пациент не способен более оперировать морфологическими составляющими слова. Наконец, может быть сохранен словарный фонд, но затруднено узнавание и воспроизводство новых слов, потому что для пациента фонемные компоненты больше не являются самостоятельными дифференциальными элементами, посредством которых нормальные говорящие и слушающие могут распознавать слова, которые они никогда не употребляли и не слышали ранее.

В своем интересном очерке „Целое, сумма и органичные единства"[3] Эрнест Нагель (E. Nagel) пытается охарактеризовать некоторые типы отношений между целым и частью. Заслуживает внимания тот факт, что каждый из этих типов играет существенную роль в структуре языка и что пренебрежение ими может привести к искажению и обеднению всей языковой системы.

Как указывает Нагель, «слово „целое" может означать процесс, одна из частей которого является уже другим процессом». Самая последняя стадия анализа речи убедительно показывает важность изучения и сопоставления различных фаз целого речевого события, начиная с источника и кончая целью: намерение, иннервация, постепенное порождение, передача, слушание, восприятие, понимание. Многочисленные факты изоляционистского подхода к проблеме, когда исследование ограничивалось только одной фазой процесса, без обращения к последующей фазе, или когда имели место путаница и смешение фаз, следующих одна за другой, нередко затрудняли анализ и лишали его продуктивных классификационных критериев. В рамках целого речевого процесса место каждой фазы требует адекватного объяснения.

---

[3] Перепечатано в „Parts and Wholes" (ed. by D. Lerner), New York—London, 1963.

При другом типе отношений между частью и целым слово „целое“ «означает некоторый временной период, в пределах которого частями являются временные интервалы», и, как подчеркивает Нагель, ни целое, ни части не должны с необходимостью быть непрерывными во времени. Вербальное сообщение, например предложение, является временным периодом, то есть целым, а его части — временными интервалами в пределах этого целого. Грамматический разбор предложения, как и лингвистический анализ вообще, обязательно должен следовать принципу „непосредственных составляющих“, сформулированному Гуссерлем и тщательно разработанному американскими лингвистами.

Эти составляющие — явный пример фактически прерывных частей, таких, как, например, подлежащее в начале и сказуемое в конце монгольского предложения. С другой стороны, любое сообщение может рассматриваться и должно рассматриваться как временной интервал в пределах вербализованного или невербализованного, непрерывного или прерывного временного контекста; и перед нами встает почти неизученный вопрос о взаимосвязи сообщения и контекста. Например, еще не были подвергнуты тщательному анализу структурные законы эллипсиса

Сравнение неполных и эксплицитных сообщений — интереснейшая проблема фрагментарных суждений, которая была плодотворно обрисована в интерпретации „blanks“ („незаполненных мест“) Чарльза Пирса [4] и в семиотических исследованиях Фреге [5] и Гуссерля,— как это ни странно, не нашла никакого отклика у лингвистов. Искусственная трактовка сообщений без обращения к предполагаемому контексту еще раз наглядно подтверждает неправомерность превращения простой части в кажущееся самостоятельное целое.

Смежным является вопрос о зависимости сообщения от ситуации, относящейся к данному моменту времени, когда речевое событие «пространственно включено» в целое «с пространственной протяженностью» (Нагель). Пространственно-временные границы сообщения становятся одним из камней преткновения при любом объективном подходе к языку. С реалистической точки зрения язык не может быть интерпретирован как изолированное и герметически закрытое целое, а должен рассматриваться одновременно и как целое, и как часть.

Когда Нагель напоминает нам, что слово *целое* может обозначать «свойство объекта или процесса, а *часть* — некоторое аналогичное свойство, которое занимает первое место в конкретных специфических отношениях», мы можем представить наш вышеприведенный пример с signum как целое, а signans и signatum — как его тесно сопряженные части. Несмотря на экспериментальный интерес этого искусственного разделения на некоторых этапах лингвистического анализа, конечная цель исследования — понять отношение этих двух частей к знаку в целом.

---

[4] P e i r c e, C. S. The simplest mathematics.— In: „Collected Papers of Charles Sanders Peirce“, IV. Cambridge, Mass., 1933.

[5] F r e g e, G. Philosophical Writings. Oxford, 1952.

Если под „целым“ мы подразумеваем «любой класс, набор или совокупность элементов», то „часть“ может означать «либо любой подходящий подкласс исходного множества, либо любой элемент этого множества» (Нагель). Структура вербального кода, возможно, представляет собой самый поразительный и сложный пример иерархии отношений между целым и частью. От модели предложения как целого мы переходим к различным синтаксическим образцам предложений, с одной стороны, и к грамматическим составляющим предложения — с другой. Когда мы достигаем уровня слова, то тогда либо само слово как представитель класса слов, либо опять-таки морфологические составляющие слова выступают как части. Постепенно мы достигаем конечной стадии — анализа наименьших значимых единиц в виде различительных признаков. Важной структурной особенностью языка является то, что ни на одной из стадий расчленения высших единиц на составляющие их части невозможно встретить фрагменты, которые не несут никакой информации.

Отношение между определенным объектом в качестве целого и его свойствами в качестве частей (Нагель) весьма типично для языка, потому что не только любая классификация морфем или сложных грамматических образований основывается на их абстрактных семантических свойствах, но также и любая конечная фонемная составляющая — различительный признак — представляет собой абстрактное, относительное, противопоставленное свойство.

Утверждение Нагеля о том, что «слово „целое“ может относиться к модели отношений между конкретными специфическими типами объектов или событий, модели, которая может получать воплощение при различных обстоятельствах и с различными модификациями»,— это утверждение находит подтверждение в фактах языка с его реляционными инвариантами и многочисленными контекстуальными и стилистическими вариациями. Этот тип отношений между частью и целым, который лингвисты долгое время недооценивали, наконец-то привлек их внимание, особенно в отношении к контекстуальным вариантам в фонологии и в грамматике. В области лексики, которая пока остается неисследованной провинцией на карте лингвистики, изучение инвариантов и вариаций все еще подчиняется средневековой доктрине modi significandi.

Стилистические вариации, особенно в области фонологии, постепенно начали завоевывать внимание тех исследователей языка, которые до последнего времени были одержимы изоляционистской идеей о монолитном вербальном коде. Разнообразие функциональных, взаимообратимых субкодов требует точного и последовательного структурного анализа. Такой анализ делает возможным синхроническое изучение фонологических и грамматических изменений в их развитии, что изначально свидетельствует о необходимом сосуществовании старых и новых форм в двух соотнесенных субкодах, и таким образом устанавливается мост между описательной и исторической лингвистикой. С другой стороны, исследование системы субкодов включает в себя исследования различных форм междиалектных и даже межъязы-

ковых кодовых переключений, и, таким образом, возникает тесная связь между описанием индивидуального, или локального, диалекта и широкими горизонтами лингвистической географии.

Если целое является „моделью отношений", то часть, как замечает Нагель, может также относиться к «любому из элементов, которые соотнесены по этой модели в конкретном ее воплощении». Так он затрагивает вопрос о фундаментальном различии между замыслом и конкретным воплощением, вопрос о соотношении между частью и целым, которое лингвисты признали, но не сделали при этом никаких явных и далеко идущих выводов.

Наконец, с развитием типологических исследований наука о языке сможет дать ответ на вопрос Нагеля о системах, «части которых находятся в различных взаимоотношениях динамической зависимости». Универсальные и почти универсальные законы импликации, которые лежат в основе этой таксономии, выявляют строгую фонемную и грамматическую стратификацию, определяющую подобным же образом постепенное овладение языком детьми и его распад при афазии.

Постоянное внимание к разнообразным формам отношений между целым и частью поможет шире раздвинуть рамки нашей науки; это позволит проводить систематический анализ вербальных сообщений, причем будет приниматься во внимание как код, так и контекст; благодаря этому будет раскрыто сложное взаимодействие разных уровней языка — от самых больших до самых мелких единиц, а также постоянное взаимодействие различных вербальных функций. В результате в описательную лингвистику будут введены временны́е и пространственные факторы, а при поисках общих, универсальных законов мы приблизимся к доказательству научной истинности глубокого предвидения Анри Делакруа: «Une langue est une variation historique sur le grand thème humain du langage» ('Язык есть не что иное, как историческая вариация на одну из основных тем — на тему о речевой деятельности человека') [9].

Воистину богатая шкала связей между целым и частями оказывается вовлеченной в строение языка, где pars pro toto и, с другой стороны, totum pro parte, genus pro specie и species pro individuo являются фундаментальными устройствами.

---

[9] Delacroix, H. Le langage et la pensée. Paris, 1924.

РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ *

Для всех людей — и только для людей — язык является средством умственной и духовной жизни и средством общения. Поэтому вполне понятно, что изучение этого точного и эффективного инструмента, а также элементов математики принадлежит к числу наиболее древних научных дисциплин. Вслед за самым ранним из дошедших до нашего времени лингвистических трудов, шумерской грамматикой, появившейся около 4 тысяч лет назад, дальнейшее развитие человеческого знания в самых разных странах отмечено постоянными усилиями осмыслить строение отдельных языков и строение языка вообще, а также всевозможными спекуляциями по поводу таинственного дара речи и загадки человеческого языка. Если мы обратимся к индийской и греколатинской лингвистической традиции начиная с дохристианской эпохи, то мы вряд ли сможем отыскать хотя бы один период в их развитии, который не характеризовался бы устойчивым вниманием к тому или иному аспекту языка. Во многих случаях важные лингвистические открытия в последующие периоды незаслуженно отметались. Так, например, были отвергнуты исторические достижения лингвистической теории схоластов (в особенности их семантической теории) после того, как, по словам Чарльза Сэндерса Пирса, «варварский гнев обрушился на средневековое философское мышление».

На протяжении XIX столетия основные исследовательские интересы ученых были направлены на все разнообразие языков, взятых в пространстве и во времени. Лингвистика считалась исключительно сравнительной дисциплиной, и главной или даже единственной целью сравнения языков признавалось установление генетических отношений между родственными языками, восходящими к предположительно единому языку-предку. Регулярность изменений, претерпеваемых каждым из этих языков в любой данный период времени, составляла

---

* Roman J a k o b s o n. Verbal communication.— „Scientific American", 1972, vol. 227, N 3, p. 73—80.

общепризнанную теоретическую предпосылку для перехода от наблюдаемого разнообразия языков к их предполагаемому исходному единству.

Этот принцип был тщательно разработан школой младограмматиков, доминировавшей в европейской (прежде всего в немецкой) лингвистике в течение последней трети XIX в. Один из корифеев младограмматиков, Карл Бругманн (1849—1919), рассматривал их «лингвистическую философию» в качестве противоядия против «произвольности и ошибок, которым повсеместно подвержен грубый эмпиризм». Эта философия предполагала признание двух типов единообразия, каждый из которых связан с последовательными стадиями: (1) предшествующее единообразие и последующее многообразие и (2) закономерный, «не допускающий исключений» переход от предшествующего этапа к последующему в пределах данного речевого сообщества. Таким образом, вопрос о сходстве и различии языковых явлений относился преимущественно или даже исключительно к их временно́й последовательности, тогда как сосуществование и взаимодействие явлений инвариантности и вариативности в пределах данного состояния языка оставались попросту незамеченными.

В эту же эпоху, ознаменованную ростом влияния указанной лингвистической школы, в нескольких географически удаленных друг от друга районах появились исследователи и теоретики языка, которые значительно опередили лингвистические воззрения своего времени. Эти ученые, смело предвосхитившие научные поиски современной лингвистики, родились около середины XIX в., а их в высшей степени оригинальные научные положения, совершенно независимые друг от друга и при этом отмеченные глубоким родством, были выдвинуты в 70-х и в начале 80-х гг. прошлого века. Еще не были созданы методологические и философские предпосылки для немедленной реализации их новаторских идей, а уже важные проблемы, поднятые этими учеными, обнаруживают удивительный параллелизм с идеями, лежащими в основе развития современной математики и физики,— как по времени их возникновения, так и по существу.

Именно в 70-х гг. прошлого века как в математике, так и в трудах лингвистического авангарда все возрастающее значение получили сопряженные понятия инвариантности и вариативности и в качестве следствия была поставлена задача извлечения из потока вариаций относительно инвариантных сущностей. Историческое предложение «изучать компоненты многообразия с учетом тех свойств, которые не затрагиваются преобразованиями данной группы», выдвинутое в 1872 г. Феликсом Клейном (1849—1925) в его „Erlanger Programm“, было нацелено на построение обобщенной геометрии. Аналогичный принцип воодушевил ряд изысканий лингвистического авангарда того же времени, в частности немногие первоначальные публикации Г. Суита (1845—1912), Бодуэна де Куртене (1845—1929), Й. Винтелера (1846—1929), Н. Крушевского (1851—1887) и Ф. де Соссюра (1857—1913).

Все они считали младограмматическую доктрину либо неадекватной, либо недостаточной для построения более общей, имманентной науки о языке, как писал Крушевский Бодуэну в дальновидном письме 1882 г. Каждый из этих смелых новаторов, отваживавшихся глядеть далеко вперед, «несет печать трагедии на своей жизненной судьбе» (я цитирую слова из моего очерка о трудной и полной превратностей научной деятельности Г. Суита), что явилось следствием противодействия их усилиям со стороны консервативного окружения и — что, возможно, было даже более пагубно — следствием общего идеологического направления викторианской эпохи, препятствовавшего конкретной реализации и дальнейшему развитию дерзких замыслов и непривычных научных подходов.

В начале 30-х гг. текущего столетия Н. С. Трубецкой (1890—1938), мудрый и проницательный лингвист, работавший в период между двумя мировыми войнами, совершенно случайно натолкнулся на диссертацию Винтелера. В письме от января 1931 г. Трубецкой с волнением сообщал об удивительной проницательности Винтелера, чьи предвидения и методы в свое время встретили полное непонимание, что и предопределило для него участь простого школьного учителя. Книга Винтелера „Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus in ihren Grundzügen dargestellt" [„Керенцский говор в кантоне Гларус, представленный с точки зрения его основных черт"], завершенная в 1875 г. и опубликованная годом позже в Лейпциге, содержит анализ его родного швейцарско-немецкого диалекта, «обрисованного в его основах», и обнаруживает редкую глубину проникновения в важнейшие особенности структуры языка, и в частности в кардинальные вопросы звуковой структуры. В мемуарах семидесятилетнего Винтелера „Wissen und Leben", написанных в 1916 г. для Цюрихского журнала, выходившего раз в две недели, приводится суждение о деятельности Винтелера, услышанное им через четыре года после публикации его диссертации: «Если бы он начал свою научную деятельность по-другому, он мог бы стать университетским профессором, а сейчас он обречен пожизненно оставаться школьным учителем». Отошедший от дел преподаватель кантональной школы в Аарау признавался, как часто его печалила выпавшая ему жестокая судьба. Даже скромная карьера Винтелера была омрачена непониманием и подвергалась опасности в связи с обвинениями в его адрес в том, что он «более красный, чем социалисты».

Юный Альберт Эйнштейн, оставивший столь глубоко презираемую им мюнхенскую гимназию с ее строго регламентированной суровой дисциплиной, пытался поступить в Федеральное высшее техническое училище в Цюрихе, но не выдержал вступительного экзамена и в 1895 г. нашел прибежище в более либеральной кантональной школе в Аарау, примерно в 25 милях от Цюриха. В недавно опубликованном очерке Джералда Холтона (см. „American Scholar", Vol. 41, No. 1, Winter, 1971—1972) рассказывается, что время, проведенное в Аарау, оказалось «решающим поворотным периодом» в развитии личности Эйнштейна; сам Эйнштейн неоднократно признавал значительность

этого периода его биографии. Принятый как пансионер и как член семьи в кругу родных Йоста Винтелера, Эйнштейн нашел, как говорят его биографы, свою «счастливую звезду». Даже после переезда в Цюрих для продолжения образования он не пропускал возможности позвонить по телефону своему дорогому старому другу в Аарау. Сорока годами позже, во время своего пребывания в принстонском Институте высших исследований, он все еще вспоминал и возвеличивал «дальновидного папашу Винтелера».

Именно в либеральной атмосфере школы в Аарау молодой Эйнштейн открыл в себе неодолимую тягу к науке. Когда мы читаем о «мысленном эксперименте», который был осуществлен в Аарау этим удивительным юношей и который в конечном итоге привел его к теории относительности, сама собой напрашивается мысль о том влиянии, какое на него оказали ежедневные беседы с прозорливым филологом. Винтелер оставался верен принципу «конфигурационной относительности» (Relativität der Verhältnisse), который он применил в своей диссертации при рассмотрении звуковой структуры языка. В частности, его теория требовала последовательного разграничения в языке относительно инвариантных и вариативных сущностей, названных соответственно «существенными» и «случайными» свойствами. Согласно проницательному выводу Винтелера, звуки речи не могут быть правильно оценены в изоляции, но только в их отношении ко всем другим звуковым единицам данного языка и с учетом тех функций, которые они выполняют в составе всего многообразия таких единиц. В соответствии с этим положением отважный самоучка (как называл себя в предисловии к своему труду „Die Kerenzer Mundart..." сам автор) явным образом признал и исследовал свойства симметрии, присущие единой звуковой совокупности.

Эйнштейн, будущий сторонник принципа «интуитивного проникновения [Einfühlung] в данные внешнего опыта», очевидным образом ощутил духовное родство с ревностным приверженцем науки, каким был Винтелер, который отважился в 1875 г. предпослать своей книге следующее заявление: «Моя работа в своей основе адресована тем читателям, которые способны понять языковую форму как проявление человеческого духа, связанное с духом гораздо теснее и шире, чем даже совершеннейшие произведения литературы. Таким образом, адресаты моей работы должны постигнуть смысл исследования скрытых сил, обусловливающих постоянное движение языковой формы, как такой задачи, которая по своей цели и значимости соперничает с любой другой областью знания».

Рассказы о свободном и живом обмене мнениями, царившем в семейном кругу Винтелера, усиливают уверенность в том, что его волнующие идеи оставили глубокий след в чутком сознании Эйнштейна. Поэтому, как кажется, известная притча о семени, обреченном на «бесплодную гибель»,— притча, которая с самой ранней юности преследовала воображение Винтелера, в применении к самому Винтелеру была опровергнута тем, что он существенно повлиял на Эйнштейна.

История взаимоотношений Винтелера и Эйнштейна дает нам новый

значительный пример плодотворной взаимной связи между лингвистикой и математикой, пример исторического параллелизма в их развитии и особенно радикальной разницы между двумя аналогичными стадиями развития, пройденными обеими науками. Как неоднократно указывали историки математики, понятие инвариантности получило широкое применение в науке только в нашем столетии — после того, как в ходе постепенного развития науки была раскрыта и освоена «обратная сторона понятия инвариантности» — идея относительности с ее следствиями. Появление теории Эйнштейна и достижения в анализе чисто топологических отношений на самом деле находят поразительные соответствия среди параллельно развивавшихся аналогичных лингвистических концепций и методов. Нынешний явно конструктивный период в истории лингвистики предстает как следствие прозрений и догадок Винтелера и других новаторов науки.

В младограмматической традиции понятия и термины „сравнительная" и „общая" лингвистика почти не различались и сравнительный метод сводился только к историческому или, строго говоря, генеалогическому изучению родственных диалектов и языков. В настоящее время, по существу, любая лингвистическая проблема получает сравнительное освещение. Любой вопрос, связанный с языком вообще и с конкретными языками в частности, предстает как операция сравнения в исследовании отношений эквивалентности, лежащих в основе структуры данного языка и при этом позволяющих нам объяснять структурные сходства и расхождения между разными языками независимо от того, насколько далеки они друг от друга по своему происхождению и ареалу. Решающая процедура научного исследования различных уровней языковой структуры состоит в последовательном выявлении и идентификации относительных инвариантов из всего многообразия вариаций. Варианты исследуются в связи с набором разнообразных трансформаций, которым они подвергаются; этот набор может и должен быть точно установлен.

К какому бы уровню языка мы ни обратились, два неотъемлемых свойства языковой структуры вынудят нас прибегнуть к сугубо относительным, топологическим формулировкам. Во-первых, каждый единичный компонент любой языковой системы строится на основе оппозиции двух логических противоположностей: наличие некоторой характеристики („маркированность") в противоположность ее отсутствию („немаркированность"). В целой структурной сети языка обнаруживается иерархическая аранжировка элементов, которая в пределах каждого уровня построена в соответствии с одним и тем же дихотомическим принципом противоположения маркированных и немаркированных единиц. Во-вторых, постоянное, всеобъемлющее, исполненное глубокого смысла взаимодействие инвариантов и вариантов оказывается существенным, сокровенным свойством языка на всех его уровнях.

Эти две дихотомии — маркированность / немаркированность и вариативность / инвариантность — нерасторжимо связаны с исходной сутью и назначением языка, то есть с тем фактом, что, как сказал

Эдуард Сепир (1884—1939), «язык является по самой своей сути средством общения в любом известном обществе». Все, что можно передать и реально передается посредством языка, находится в необходимой и тесной связи со значением и всегда несет семантическую информацию. Выдвижение языкового значения на передний план в структурном анализе явилось одним из наиболее строгих требований к исследованию языка в результате совместных усилий лингвистов разных стран в течение последних пяти десятилетий. Так, например, 20 лет назад французский лингвист Эмиль Бенвенист, один из ведущих представителей структурного направления, в своей программной работе заявил, что внимательное рассмотрение строения любого языка в конечном счете приводит к «центральному вопросу о значении» и что более глубокое проникновение в суть этой проблемы откроет путь для будущего обнаружения «трансформационных законов, действующих в языковых структурах».

Правда, в американской лингвистике велась экспериментальная работа в рамках концепции, упрощающей данную проблематику. Сначала были предприняты многочисленные попытки «анализировать языковую структуру без обращения к значению». В ряде последующих работ вопрос об устранении значения из лингвистического исследования ставился более осторожно: значение огульно не изгонялось из исследования, но не допускалось при изучении грамматических структур, проводимом под такими лозунгами, как «Лингвистическое описание минус грамматика есть семантика». Все эти предварительные попытки, несомненно, представляют значительный интерес — в особенности потому, что они наглядно продемонстрировали научному миру могущество вездесущего семантического критерия, независимо от того, какой уровень и компонент языка подвергается исследованию. Больше уже нельзя продолжать играть в прятки со значением и оценивать языковые структуры независимо от семантических проблем. К какому бы уровню в языковом спектре мы ни обращались, начиная от звуковых компонентов языковых знаков и кончая речью в целом, мы непременно должны помнить, что все в языке наделено смысловой и трансформационной значимостью.

Так, обращаясь к звукам речи, мы должны иметь в виду то обстоятельство, что они разительно отличаются от всех других воспринимаемых слухом явлений. Одно из удивительных открытий последних лет состоит в том, что, когда два звука одновременно достигают обоих ушей, любые речевые сигналы, будь то слова, бессмысленные слоги и даже отдельные звуки речи, лучше различаются и идентифицируются правым ухом, а все другие акустические раздражители, такие, как музыка и окружающие шумы, лучше распознаются левым ухом. Звуковые компоненты языка обязаны своим особым положением в корковых отделах мозга и в соответствующей зоне аппарата слуха исключительно их речевым функциям, и впредь постоянное внимание к этим

функциям должно направлять любое плодотворное исследование звуков речи.

В звуковой структуре любого языка содержится определенное ограниченное число „различительных признаков", дискретных и элементарных инвариантных единиц, которые могут — под воздействием набора трансформаций — претерпевать весьма значительные изменения в отношении любых их черт, кроме тех, которые являются для них определяющими. «Категориальная природа идентификации при восприятии», описанная психологом Джеромом С. Брунером в его памятном труде „Neural Mechanisms in Perception" [„Нервные механизмы в восприятии"] (1956), подтверждает постоянство и значимость различительных признаков в речевой коммуникации, в которой они составляют основу способности смыслоразличения.

Система различительных признаков представляет собой эффективный и экономичный код: каждый признак — это бинарная оппозиция наличия и отсутствия какой-либо характеристики. Выбор и взаимодействие различительных признаков в любом языке обнаруживают удивительную регулярность. Сопоставление существующих фонологических структур и законов, регулирующих развитие языка у детей, позволяет нам описать примерную типологию признаковых систем и правила их внутренней иерархической аранжировки. Коммуникативная релевантность различительных признаков, основанная на их семантической значимости, исключает любые случайные явления в их структуре. Инвентарь различительных признаков, существующих в языках мира, предельно ограничен, а совместимость признаков в пределах одного языка ограничивается общими импликативными законами.

Наиболее вероятное объяснение этих либо полностью, либо почти универсальных принципов, относящихся к совместимости и взаимодействию признаков в языке, по-видимому, коренится во внутренней логике коммуникативных систем, наделенных свойствами саморегулирования и самоуправления. При поиске универсальной матрицы различительных признаков необходимо, конечно, обращаться к тому же методу выявления инвариантов, который используется для материала отдельных языков: различительный признак с его неизменными категориальными характеристиками может варьировать с точки зрения его физического воплощения в конкретных языках.

Трансформации, посредством которых из инвариантов получаются варианты, грубо могут быть подразделены на два типа в соответствии с производимыми изменениями: контекстуальные и стилистические. Контекстуальные варианты указывают на совместную (в одном звуке) или последовательную (в одной цепочке звуков) встречаемость данного признака, а стилистические варианты обеспечивают маркированное — эмоциональное или поэтическое — добавление к нейтральной, чисто когнитивной информации, передаваемой данным признаком. Указанные типы инвариантов и вариантов принадлежат к единому общему языковому коду, благодаря которому собеседники наделены способностью понимать друг друга.

При изучении речевой коммуникации необходимо учитывать то обстоятельство, что в любом речевом сообществе и в любом существующем языковом коде отсутствует жесткое единообразие; всякий человек входит одновременно в несколько речевых сообществ разного объема; он вносит разнообразие в свой код и сочетает в себе различные коды. На каждом уровне языкового кода мы наблюдаем шкалу переходов, варьирующую от максимальной эксплицитности до самой сжатой эллиптичной структуры, и эта шкала подвержена действию набора строгих трансформационных правил. Кардинальное свойство языка, отмеченное основателем семиотики Чарльзом Сэндерсом Пирсом (1839—1914), а именно переводимость любого языкового знака в другой, более эксплицитный знак, имеет большое значение для процесса коммуникации в том отношении, что оно противостоит языковой неоднозначности, порождаемой лексической и грамматической омонимией или наложением эллиптичных форм.

Люди обычно проявляют более узкую языковую компетенцию в качестве отправителей речевых сообщений и более широкую компетенцию в качестве их получателей. Различия в структуре и объеме между кодами адресантов и адресатов привлекают все более пристальное внимание со стороны как изучающих, так и преподающих языки и лингвистику. Суть этого расхождения была уловлена еще Св. Августином: «Во мне слово предшествует звуку [In me prius est verbum, posterior vox], но для тебя, стремящегося понять меня, именно звук первым доходит до твоего уха, чтобы внедрить слово в твою душу». Двусторонние трансформации, дающие возможность определить состояние выходных данных по состоянию входных данных и наоборот, составляют существенную предпосылку для всякой успешной коммуникации.

В структуре нашего языкового кода значительную роль играют как пространственные, так и временные факторы. Разнообразные формы междиалектных кодовых переключений входят в число повседневных приемов в нашем речевом общении. Билингвизм или многоязычие, обеспечивающие возможность полного или частичного перехода от одного языка к другому, нельзя строго отграничить от междиалектных колебаний. Взаимодействие и взаимовлияние разных языков в речевой деятельности полиглота подчиняются тем же закономерностям, которые действуют в случае перевода с одного языка на другой.

Что касается фактора времени, то здесь я приведу выдвинутые мною ранее возражения против упорного мнения о статичном характере языкового кода. Они сводятся к тому, что любое изменение сначала возникает в лингвистической синхронии в процессе сосуществования и намеренного чередования устаревающей и новомодной манеры выражения. Таким образом, лингвистическая синхрония сама оказывается динамичной; любой языковой код на всех его уровнях подвержен чередованиям, и в любом чередовании одна из чередующихся единиц наделена дополнительной информационной значимостью и, следовательно, приобретает некий маркированный статус в противоположность нейтральному, немаркированному статусу дру-

гой единицы. Историческая финология и грамматика, например тысячелетняя история структуры звука, слова и предложения в английском языке, перерастают в единое исследование выявляемых языковых констант и развертывающихся во времени трансформаций, причем и те и другие требуют адекватного объяснения.

Беспримерная эффективность языка коренится в последовательном наложении нескольких взаимосвязанных уровней, каждый из которых особым образом структурирован. Система нескольких различительных признаков служит для построения более дифференцированного морфологического кода, состоящего из единиц, наделенных неотъемлемым значением, а именно из слов и — в тех языках, где слова разложимы на значимые элементы,— из их минимальных значимых компонентов (корней и аффиксов), называемых морфемами. Анализ морфологических единиц опять-таки обнаруживает систему относительных инвариантов — бинарных оппозиций маркированных и немаркированных грамматических категорий. Однако здесь мы сталкиваемся с существенным различием между фонологической и грамматической оппозицией: в первом случае связанные друг с другом противоположности располагаются в плоскости восприятия языка (signans, или „означающее"), тогда как во втором случае такие противоположности лежат в плоскости понимания языка (signatum, или „означаемое")

Для иллюстрации этого различия приведем сначала пример оппозиции наличия и отсутствия некоторой фонологической характеристики: возьмем признак назализованности / неназализованности, представленный в таких парах согласных, как m/b и n/d, или в паре французских гласных в словах bon и beau. С другой стороны, в грамматической оппозиции типа «прошедшее / настоящее» первый член — маркированное время — сигнализирует о предшествовании сообщаемого события речевому акту, тогда как общее значение немаркированного настоящего времени не несет информации об отношении между сообщаемым событием и речевым актом. Это отношение изменчиво, и его значение зависит от контекста. Сравните различные контекстные значения одной и той же формы настоящего времени в следующих четырех предложениях:

Spring begins to-day 'Сегодня начинается весна';

A year from today he begins a new trip 'Ровно через год после этого он отправляется в новое путешествие';

With the death of Caesar a new era begins for Rome 'Со смертью Цезаря для Рима начинается новая эпоха';

Life begins at 50 'Жизнь начинается в 50 лет'.

Здесь опять, как и при рассмотрении звуковой структуры, мы сталкиваемся с важнейшим свойством естественных языков — с их контекстной связанностью. Именно это свойство отделяет их от надстроенных над ними формализованных искусственных структур, тяготеющих к контекстной свободе. Существенное различие между кон-

текстно-свободными и контекстно-связанными знаковыми системами было четко обозначено еще Н. Хомским, однако, как сетует Д. А. Уолтерс в своей книге „Information and Control" (1970), специфическим свойствам контекстно-связанных грамматик все еще уделяется гораздо меньше внимания, чем контекстно-свободным грамматикам. А ведь именно контекстная связанность естественного языка на *всех* его уровнях обусловливает наблюдаемое в нем необыкновенное изобилие свободных вариантов. Диалектическое напряжение между инвариантами и вариантами, которые сами по себе оказываются наделенными значимостью, обеспечивает творческую силу языка.

В качестве аналога фонологической системы *различительных* признаков морфология располагает столь же последовательной и согласованной ступенчатой организацией тоже бинарных *понятийных* признаков; они остаются инвариантными и при воздействии набора трансформаций, преобразующих общие значения грамматических категорий в вариативные контекстуальные (в том числе ситуационные) значения. Таким образом, мы проходим путь от одной грамматической области к высшей грамматической области, а именно, от морфологии как изучения целостно кодируемых единиц к анализу синтаксических структур, в которых сочетаются обусловленные кодом матрицы (формы для заполнения) и свободный или, как это обычно бывает в речевой коммуникации, *относительно* свободный выбор слов, заполняющих эти матрицы.

В словах обнаруживается два очевидных различных типа семантической значимости. Обязательное *грамматическое* значение (то есть категориальное относительное понятие или группа понятий, которые слова постоянно и вынужденно выражают) дополняется во всех знаменательных словах *лексическим* значением. Подобно грамматическому значению, любое общее лексическое значение в свою очередь представляет собой инвариант, который под воздействием разнообразных контекстуальных и ситуационных трансформаций порождает сущности, которые Леонард Блумфилд (1887—1949) четко определил как «маргинальные, переносные» значения. Они воспринимаются как производные от немаркированного общего значения, и эти значения-тропы либо подчиняются регламентациям языкового кода, либо представляются отклонениями от него, диктуемыми ad hoc [случаем].

Правила синтаксиса упорядочены, и эти правила и сам их порядок определяют „грамматический процесс", который неизбежно передает „грамматическое понятие", если прибегнуть к удачным терминам, введенным Сепиром. Любая синтаксическая структура является членом трансформационной цепи, и в любых двух частично синонимичных конструкциях обнаруживается взаимоотношение маркированности и немаркированности. Например, в английском языке пассивный залог маркирован относительно немаркированного активного залога. Поэтому такое выражение, как Lions are hunted by natives, близкое, но не тождественное по смыслу предложению Natives hunt lions, характеризуется сдвигом в смысловой перспективе от агента действия

к цели путем вынесения lions в фокус внимания, в связи с чем возникает возможность опущения агента: Lions are hunted *.

По своему общему значению любое существительное представляет собой родовое название, относящееся ко всем членам некоторого класса или ко всем стадиям динамического процесса. Контекстуальное, равно как и ситуационное, получение из этих общих значений конкретных значений тех или иных существительных достигается посредством трансформации, имеющей широчайший диапазон. Это взаимодействие универсальных и единичных сущностей, которое часто лингвистами недооценивается, с давних времен обсуждается логиками и философами языка; ср. формулу схоласта XII в. Иоанна Солсберийского: «Nominantur singularia sed universalia significantur» ('Единичные сущности именуются, а универсальные сущности обозначаются'), на которую неоднократно ссылается Пирс.

Наблюдая чрезвычайно ценный для науки процесс постепенного усвоения языка ребенком, мы видим, насколько решающее значение имеет появление в его речи предложений с подлежащим и сказуемым. Это освобождает речь ребенка от подчинения речевого акта условиям „здесь и сейчас" и дает ему возможность обращаться к событиям, удаленным от него во времени и в пространстве, или даже к вымышленным событиям. Эта способность, которую механицисты иногда именуют „смещенной речью", на самом деле является первым и главным подтверждением автономности языка. В знаковых системах, отличных от естественных или искусственных языков, нет аналогичных средств для построения общих или отождествляющих высказываний, для построения логических суждений.

Развитие языка ребенка зависит от его способности вырабатывать в себе метаязык, то есть сопоставлять языковые знаки и говорить о самом языке. Метаязык как часть языка вообще тоже является структурным образованием, не имеющим аналогов в других знаковых системах. Основатель московской лингвистической школы Ф. Ф. Фортунатов (1848—1914) подчеркивал, что «явления языка по известной стороне сами принадлежат к явлениям мысли». Межличностная коммуникация, одна из необходимых предпосылок самого доступа ребенка к языку, постепенно дополняется внутренним оперированием с языком. Внутренняя речь, то есть диалог с самим собой, представляет собой могучую надстройку над нашим речевым общением. Как показывает исследование речевых нарушений, нарушения внутренней речи занимают заметное место среди речевых расстройств. Меньшая зависимость от внешнего контроля способствует более активной роли внутренней речи в формировании новых идей.

Отношение эквивалентности, идея которого под разными назва-

---

* Анализируемые в данном абзаце три английских предложения невозможно перевести на русский язык с сохранением структурных соотношений в силу того, что русский эквивалент глагола hunt — глагол 'охотиться' — не является переходным и не образует формы пассивного залога. В качестве аналогичных русских предложений можно привести, например, следующие три предложения: *Туземцы преследуют львов — Львы преследуются туземцами — Львы преследуются.— Прим. перев.*

ниями — „трансформация“, „передача“ (transference), „трансляция“ и „транспозиция“ — постепенно усваивается лингвистами в разных странах мира с периода между мировыми войнами, оказывается главной движущей силой языка. При учете этого отношения ряд дискуссионных вопросов речевой коммуникации может получить более точную и эксплицитную трактовку.

Письменный язык очевидным образом является трансформом устной речи. Все нормальные люди умеют говорить, но почти половина населения земного шара полностью неграмотна, и реальное умение читать и писать является достоянием едва ли не меньшинства людей на Земле. Однако и сама грамотность является вторичным приобретением человека. Какая бы система письменных символов ни использовалась человеком, она служит, как правило, для фиксации произносимых слов. Наряду с инвариантами, общими для устного и для письменного языка, каждая из этих систем обнаруживает в своем строении и употреблении ряд присущих ей особенностей. В частности, те свойства письменных текстов, которые связаны с их развертыванием в пространстве, отличают их от чисто временно́го развертывания устных высказываний. Сравнительное изучение языковых структур и их роли в социальном общении — настоятельная задача, которой уже больше нельзя пренебрегать. Такие исследования помогут развеять многие поспешные обобщения. Так, например, обучение и непрерывная передача информации от поколения к поколению, далеко не ограниченные в отношении своих средств миром письма, столь же успешно осуществляются в устной традиции обучения и в ораторском искусстве. Широкое распространение письменного слова в недалеком прошлом дополняется в настоящее время такими техническими средствами передачи устных сообщений широкой аудитории, как радио, телевидение и звукозапись. В своей статье „Лингвистика и поэтика“ * я предпринял попытку наметить шесть базисных функций речевой коммуникации: референтивная, эмотивная, конативная, поэтическая, фатическая и метаязыковая. Взаимодействие этих функций и, в частности, соответствующие грамматические трансформации не могут получить адекватного лингвистического освещения, если не будут полностью преодолены пережитки механистических воззрений. Например, распространение референтивной (иначе говоря, связанной с передачей идей) функции на некоторые случаи высказываний, наделенных, по существу, конативной функцией, затемняет очевидное трансформационное отношение эквивалентности между первичными императивными формами типа „Go!“ 'Иди!', с одной стороны, и парафрастическими оборотами типа „I wish you would go“ 'Я хочу, чтобы ты пошел', „I order you to go“ 'Я приказываю тебе пойти', „You must go“ 'Ты должен идти' или „You should go“ 'Тебе следует

* Русский перевод этой статьи см. в сборнике „Структурализм: «за» и «против»“, М., 1975, с. 193—230.— *Прим. перев.*

пойти', с другой стороны; выражению волеизъявления в такого рода оборотах насильственно навязывается истинностное значение, свойственное высказываниям с референтивной функцией. Попытки интерпретации императивных форм как трансформов повествовательных высказываний ставят с ног на голову реальные отношения в естественной иерархии лингвистических структур.

Наконец, анализ грамматических трансформаций и их содержания должен включать и анализ поэтической функции языка, поскольку существо этой функции состоит в выдвижении как раз трансформаций на передний план. Именно намеренное поэтическое использование в речи лексических и грамматических вторичных значений, тропов и риторических фигур наиболее ярко демонстрирует творческую мощь языка. Вряд ли можно считать случайной такую маркированную инновацию, как обратная временнáя перспектива, к которой недавно обратились независимо друг от друга три русских поэта:

«Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.
„Завтра мы пошли в лес",— говоришь ты».

(А. Вознесенский).

«Я нашелся однажды завтра».

(С. Кирсанов).

«Это было завтра».

(Г. Глинка).

В письме от 21 марта 1955 г., за четыре недели до смерти, Эйнштейн писал: «Жесткое разграничение между прошлым, настоящим и будущим имеет лишь смысл иллюзии, хотя и весьма живучей».

ЯЗЫК В ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ СИСТЕМАМ КОММУНИКАЦИИ *

Эдуард Сепир указывал на тот очевидный факт, что «язык является коммуникативным процессом в чистом виде в каждом известном нам обществе». Наука о языке исследует строение речевых сообщений и лежащий в их основе код. Структурные характеристики языка интерпретируются в свете задач, которые они выполняют в различных процессах коммуникации, и, следовательно, лингвистику можно кратко определить как изучение коммуникации, осуществляемой с помощью речевых сообщений. Мы анализируем эти сообщения с учетом всех относящихся к ним факторов, таких, как неотъемлемые свойства сообщения самого по себе, его адресанта и адресата, либо действительного, либо лишь предполагаемого адресантом в качестве реципиента. Мы изучаем характер контакта между этими двумя участниками речевого акта; мы стремимся выявить код, общий для адресанта и адресата; мы пытаемся найти характерные общие черты, а также различия между операциями кодирования, осуществляемыми адресантом, и способностью декодирования, присущей адресату. Наконец, мы пытаемся определить место, занимаемое данным сообщением в контексте окружающих сообщений, которые либо принадлежат к тому же самому акту коммуникации, либо связывают вспоминаемое прошлое с предполагаемым будущим, и мы задаемся основополагающим вопросом об отношении данного сообщения к универсуму дискурса.

Рассматривая роли участников речевого акта, мы должны разграничивать несколько существенных аспектов в их взаимодействии, а именно: основную форму их отношений, чередование процессов кодирования и декодирования во время коммуникации и кардинальные различия между этими аспектами при диалогической речи и монологе. Вопросом, подлежащим изучению, является увеличение „радиуса ком-

---

* Roman J a k o b s o n. Language in relation to other communication systems.— In: „Linguaggi nella società e nella tecnica", Milano, 1970, p. 3—16.

муникации", под которым понимается совокупность реплик и ответов на них между людьми определенного множества, и расширение аудитории монологической речи, которая может быть адресована тем, «кого она касается». В то же время исследователям в областях психологии, неврологии и прежде всего лингвистики становится все более очевидным тот факт, что язык является средством не только интерперсональной, но и интраперсональной коммуникации. Эта последняя область, которую раньше недооценивали или попросту игнорировали, сейчас, в значительной мере под влиянием блестящих исследований Л. С. Выготского и А. Н. Соколова, стала актуальной и заострила важные вопросы изучения внутреннего существования речи и разных аспектов внутренней речи, которая формирует, программирует и завершает наше высказывание и в общем виде управляет внутренней и внешней стороной нашего речевого поведения, равно как и нашей молчаливой реакцией на какие-либо сообщения. Среди многих проблем, которым Чарльз Сэндерс Пирс со свойственной ему прозорливостью уделял больше внимания, чем его современники, была проблема субстанции и значимости молчаливых внутренних диалогов человека с самим собой, «как если бы это был кто-то другой». Речевое взаимодействие, перекидывающее мосты через пространственные барьеры между собеседниками, захватывает и временны́е аспекты языковой коммуникации, связывая воедино прошлое, настоящее и будущее одного человека.

Хотя среди всех сообщений, используемых при человеческой коммуникации, речевые сообщения играют доминирующую роль, мы все равно должны принимать во внимание и остальные виды сообщений, употребляемые в человеческом обществе, и исследовать их структурные и функциональные особенности, не забывая, однако, что для всего человечества первичным средством коммуникации является язык и что такая иерархия коммуникативных средств необходимо отражается на всех остальных, вторичных типах сообщений, передаваемых человеком, и вызывает того или иного рода зависимость этих сообщений от языка, и в частности от владения языком и от его использования для сопровождения или объяснения любых других сообщений. Каждое сообщение состоит из знаков; соответственно наука о знаках, называемая *семиотикой*, занимается общими принципами, лежащими в основе структуры всех знаков, с учетом их использования в составе сообщений и характера этих сообщений, а также особенностей различных знаковых систем и сообщений, использующих эти разные типы знаков. Семиотика, которую предвидели философы XVII—XVIII вв. и основы которой были заложены в конце 1860-х гг. Чарльзом Сэндерсом Пирсом и на рубеже XIX—XX вв.— Фердинандом де Соссюром (последний называл эту науку несколько иначе — sémiologie), сейчас в разных странах переживает процесс стремительного и бурного развития.

Семиотика как исследование коммуникации посредством всех типов сообщений составляет концентрический круг, ближайший к лингвистике как исследованию коммуникации с помощью речевых

сообщений; следующий, более широкий концентрический круг образует общая наука о коммуникации, которая включает социальную антропологию, социологию и экономику. Можно снова и снова цитировать все еще актуальное напоминание Сепира о том, что «каждая культурная система и каждый единичный акт общественного поведения явно или скрыто подразумевает коммуникацию». Следует помнить, что, какой бы уровень коммуникации мы ни рассматривали, он, как и любой другой уровень, предполагает обмен сообщениями того или иного рода и тем самым не может мыслиться в отрыве от семиотического уровня, который в свою очередь отводит главенствующую роль языку. Вопрос о семиотических и в особенности языковых составляющих, присутствующих в каждой системе человеческой коммуникации, должен служить важным направляющим фактором в будущих исследованиях всех типов социальной коммуникации. Опыт, накопленный лингвистической наукой, уже стал учитываться и творчески использоваться в современных антропологических и экономических исследованиях — воистину творчески, поскольку тщательно разработанную и продуктивную лингвистическую модель нельзя механически переносить на другую область; эта модель эффективна лишь тогда, когда она не вступает в противоречие с автономными свойствами соответствующей предметной области.

Автор настоящей статьи в своем исследовании „Лингвистика в ее отношении к другим наукам“ * затронул некоторые вопросы отношений между исследованием коммуникации с помощью речевых, равно как и других, сообщений и общим исследованием коммуникации. В настоящей статье наше внимание будет сосредоточено на проблеме необходимости классификации знаковых систем и соответствующих типов сообщений с учетом языка и речевых сообщений. Без попыток подобной типологии невозможно глубокое научное изучение ни коммуникации с помощью сообщений, ни даже человеческой коммуникации в общем виде.

Согласно доктрине стоиков, суть знаков, и особенно языковых знаков, лежит в неотъемлемо присущей им двусторонней структуре, то есть в нерасторжимом единстве непосредственно воспринимаемого signans [*означающего*] и подразумеваемого, понимаемого signatum [*означаемого*] (соответствующие термины являются традиционными латинскими переводами исходных греческих терминов). Несмотря на производившиеся как в древние, так и в новые времена попытки ревизии этих понятий или по меньшей мере изменения хотя бы одного элемента из тройки signum, signans, signatum, предложенная более двух тысячелетий назад модель знака остается самой прочной и надежной основой для современных все углубляющихся и расширяющихся семиотических исследований. Многообразные типы отношений между signans и signatum все еще остаются обязательным отправным пунктом любой классификации семиотических структур, при условии что исследователю благополучно удается избежать двух в равной мере опас-

---

* См. настоящий сборник, с. 369—420.

ных заблуждений: с одной стороны, попыток втиснуть любую семиотическую систему в лингвистическую схему без выявления специфики этой системы; с другой стороны, полного игнорирования общих свойств семиотических систем, которое может нанести только вред интересам сравнительной и общей семиотики.

Подразделение знаков на индексные, иконические и символические, которое Пирс предложил в знаменитой работе 1867 г. и продолжал разрабатывать до конца своей жизни, на самом деле основывается на двух дихотомиях. Одна из них — это противопоставление смежности и сходства. Индексное отношение между signans и signatum зиждется на их фактической, существующей в действительности смежности. Типичный пример индекса — это указание пальцем на определенный предмет. Иконическое отношение между signans и signatum — это, по словам Пирса, «простая общность по некоторому свойству», то есть относительное сходство, ощущаемое тем, кто интерпретирует знак, например картина, в которой зритель узнает знакомый ему пейзаж. Для обозначения третьего класса мы сохраняем пирсовский термин „символ", несмотря на нежелательную вариативность и даже противоречивость значений, традиционно связываемых с этим термином; другие названия, используемые для обозначения того же самого понятия, представляются столь же неоднозначными. В противоположность фактической смежности между автомобилем, на который указывают пальцем, и направлением жеста указательного пальца и в противоположность фактическому сходству между автомобилем и его изображением или его схемой никакой фактической близости между существительным car 'автомобиль' и транспортным средством, которое имеет такое наименование, вовсе не требуется. В такого рода знаке signans и signatum соотнесены «безотносительно к какой бы то ни было фактической связи». Смежность между двумя составляющими компонентами символа «можно назвать приписанным (imputed) свойством», как удачно отметил Пирс в работе 1867 г.

Элемент известности, конвенциональности связи присутствует и в двух остальных типах знаков, индексных и иконических. Полное понимание картин и схем требует предварительного обучения. Ни один род живописи не свободен от идеографических, символических элементов. Проекция трехмерного пространства на двухмерную плоскость посредством изобразительной перспективы любого типа является приписанным свойством, и, если на картине изображены два человека, один из которых выше другого, мы должны быть знакомы с особенностями определенной традиции, в соответствии с которой как более крупные могут изображаться фигуры, либо находящиеся ближе к зрителю, либо играющие более важную роль, либо действительно имеющие бо́льшие размеры. Речь идет не о трех категориально автономных типах знаков, но только о различной иерархии, приписываемой взаимодействующим типам отношений между signans и signatum данных знаков, и в действительности наблюдаются такие промежуточные варианты знаков, как символико-иконические, иконическо-символические и т. п.

Любая попытка рассматривать языковые знаки как всецело конвенциональные, „произвольные символы" ведет к неадекватному упрощению действительного положения вещей. Иконичность играет существенную и необходимую, хотя и явно подчиненную, роль на разных уровнях языковой структуры. Индексный аспект языка, прозорливо отмеченный Пирсом, занимает все более важное место в лингвистических исследованиях. В то же время трудно найти пример чистого индекса, полностью свободного от символических и/или иконических черт. Типично индексные знаки уличного движения, выражающие hic et nunc, включают конвенциональные, символические компоненты, как, например, оппозиция зеленого и красного цвета. Даже жест указания на предмет включает символические коннотации, зависящие от культурной традиции, и может иметь такие значения, как указания на необходимость уничтожения, проклятие или желание иметь соответствующий предмет.

Кроме разнообразных типов *семиозиса* (semiosis = различные отношения между signans и signatum), сама природа signans имеет очень важное значение для выявления структуры сообщений и их типологии. В человеческом обществе все пять органов чувств выполняют семиотические функции. Среди многочисленных примеров можно указать знаки, передаваемые через осязание (рукопожатия, похлопывания по спине, поцелуи), обоняние (запах духов или ладана) и вкус (дегустация блюд или напитков). Хотя систематическое исследование семиотических аспектов подобных знаков в разных культурах дало бы интересные и неожиданные результаты, совершенно очевидно, что наибольшая часть социально значимых, богатых и существенных для человеческого общества знаковых систем воспринимается посредством зрения и слуха. Существует очевидное различие между аудиальными (слуховыми) и визуальными (зрительными) знаками. В системах аудиальных знаков в качестве структурного фактора никогда не выступает пространство, но всегда — время в двух ипостасях — последовательности и одновременности; структурирование визуальных знаков обязательно связано с пространством и может либо абстрагироваться от времени, как, например, в живописи и скульптуре, либо привносить временно́й фактор, как, например, в кино. Превалирование иконических знаков среди чисто пространственных, визуальных знаков и преобладание символов среди чисто временны́х, аудиальных знаков позволяют нам установить взаимосвязь между несколькими критериями, релевантными для классификации знаковых систем и их последующего семиотического анализа и психологической интерпретации. Две наиболее сложные системы чисто аудиальных, временны́х сигналов — устный язык и музыка — имеют, как сказали бы физики, строго прерывную, „гранулированную" структуру. Они построены из дискретных элементарных единиц — принцип, совершенно чуждый пространственным семиотическим системам. Эти элементарные единицы, их комбинации и правила образования сложных структур являются специальными, сформулированными именно для данного случая средствами.

В соответствии со способом производства знаки можно подразделить на непосредственно органические и инструментальные. Среди визуальных знаков жесты производятся непосредственно частями тела, в то время как живопись и скульптура предполагают использование инструментов. Среди аудиальных знаков речь и вокальная музыка принадлежат к первому типу, а инструментальная музыка — ко второму. Важно разграничивать производство знаков с помощью инструментов и простое инструментальное воспроизводство органических знаков. Передача речевых сигналов посредством фонографа, телефона или радио не меняет структуры передаваемой речи: звуковая система остается неизменной. Однако подобное распространение во времени и пространстве не может не оказать влияния на отношения между говорящим и его аудиторией и вместе с тем на построение сообщений. Таким образом, изменение условий устной коммуникации и повышение роли новых технических средств может отразиться на дискурсе и стать важной темой лингвистических и социологических исследований. Более того, такие технические средства, как телефон и радио, которые лишают аудиальное восприятие визуальной поддержки, вряд ли не окажут влияния как на восприятие, так и на производство речевых сообщений. Очевидно, что нельзя считать только техническим средством воспроизведения действительности такое современное изобретение, как кино, которое из простого механического копирования различных визуальных образов стремительно развилось в сложную автономную семиотическую систему.

Знаки ad hoc, производимые той или иной частью человеческого тела непосредственно или с помощью специальных инструментов, следует противопоставить семиотически значимому демонстрированию готовых предметов. Использование вещей как знаков, которое чешский исследователь этой специфической формы коммуникации И. Осолсобе назвал *демонстрацией* (ostension), можно проиллюстрировать на примерах композиционно размещенных образцов товаров в витринах магазинов, отобранных по принципу синекдохи, или метафорических подношений цветов, например букета красных роз как знака любви. Особым типом демонстрации является театральное представление, где люди как актеры (signantia) изображают людей как персонажей (signata).

Каждый знак предполагает наличие интерпретатора. Перцептивный тип семиотической коммуникации требует двух отдельных интерпретаторов — адресанта и адресата сообщения. Однако, как уже было сказано, внутренняя речь объединяет адресанта и адресата в одном лице, а эллиптические формы интраперсональной коммуникации нельзя свести к одним только вербальным знакам. Мнемонический узел на носовом платке, служивший для русских напоминанием о важном деле, является типичным примером внутренней коммуникации между прошлым и последующим состоянием одного и того же человека.

Система конвенциальных символов, декодируемая получателем сообщения в условиях отсутствия адресанта, который имел бы намерение послать это сообщение, используется в разных формах гадания.

Так, при предсказаниях, основанных на полете птиц, традиционный код гадания позволяет прорицателю извлекать сведения о человеческой судьбе, играющей роль signatum, из наблюдаемых вариаций полета птицы, которая является всего лишь источником сообщения, не будучи его адресантом. Широко распространены и непреднамеренные иконические знаки; так, Фрейд отмечает, что некоторые грибы легко вызывают фаллический образ. Возможно, в некоторых случаях подобное сравнение можно определить, в терминах Пирса, как *символическо-иконические* знаки, порожденные или по меньшей мере подкрепленные в воображении индивида метафорическими ассоциациями, присутствующими в устной традиции(ср. термин микологии phallus impudicus).

Среди индексов существует широкий круг знаков, интерпретируемых их получателем, но не имеющих явного отправителя. Животные не оставляют умышленно следов для охотников, но тем не менее эти следы выполняют роль signantia, позволяющих охотнику вывести соответствующие signata и тем самым определить вид дичи, а также направление и давность движения животного. Сходным образом симптомы болезней используются врачами как индексы; тем самым *семиологию* (или, иначе, *симптоматологию*) — отрасль медицины, занимающуюся знаками, которые указывают на недуг и уточняют его характер,— можно было бы включить в сферу семиотики, если вслед за Пирсом считать непреднамеренные индексы подвидом более широкого семиотического класса. Тот факт, что их необходимо интерпретировать как сущности, служащие для выведения существования других сущностей (aliquid stat pro aliquo), заставляет нас считать непреднамеренные индексы разновидностью знаков, однако мы не должны упускать из виду кардинальное различие между *коммуникацией*, которая имплицирует реального или предполагаемого адресанта, и *информацией*, источник которой нельзя считать адресантом тех знаков, которые интерпретируются их получателем.

Язык служит примером чисто семиотической системы. Все языковые явления — от мельчайших единиц языка до целых высказываний или обмена высказываниями — всегда функционируют как знаки, и только как знаки. Исследование знаков, однако, нельзя свести к таким чисто семиотическим системам; оно должно принимать во внимание также и прикладные семиотические структуры, такие, как, например, архитектура, одежда или питание. С одной стороны, верно что мы не обращаем особого внимания на знаки, заложенные в архитектуре, но, с другой стороны, столь же очевидно, что задача строителей не сводится только к тому, чтобы у нас была крыша над головой. В конструктивных принципах любого архитектурного стиля, и особенно в их реализации в трехмерном пространстве, явно или неявно находит выражение семиозис. Каждое здание — это одновременно и некоторый вид сооружения, и определенный тип сообщения. Сходным образом каждый предмет одежды отвечает тем или иным утилитарным требованиям и в то же время обнаруживает различные семиотические черты, что подробно описано в пионерской монографии П. Г. Богатырева, посвященной знаковым системам в словацкой народной одежде.

Историческое и географическое исследование моды и кулинарного искусства с позиций семиотики могло бы привести к новым и неожиданным типологическим выводам.

Основные функции языка — референтивная, эмотивная, конативная, фатическая, поэтическая и метаязыковая,— а также их разная иерархическая упорядоченность в разных типах сообщений уже выделены и неоднократно обсуждались. Такой прагматический подход к языку может привести mutatis mutandis к аналогичному рассмотрению других семиотических систем: какие из этих и иных функций они выполняют, в какой комбинации и в какой иерархической упорядоченности. Исключительно благодарным предметом сравнительного типологического исследования являются семиотические структуры с доминирующей поэтической, или (избегая термина, соотносимого в основном с искусством слова) эстетической, художественной функцией.

В предыдущих работах автора настоящей статьи была предпринята попытка выделения двух важнейших факторов, которые действуют на всех уровнях языка. Первый из этих факторов — *селекция* — «опирается на эквивалентность, сходство и различие, синонимию и антонимию», тогда как второй — *комбинация*,— регулирующий построение любой последовательности, «основан на смежности». Прослеживая роль этих двух факторов в поэтическом языке, можно заметить, что поэтическая функция проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации. Эквивалентность становится средством конструирования последовательности.

Николя Рюве, сочетающий тонкое чувство языка, особенно языка художественной литературы, с редкими научными познаниями в сфере музыки, констатирует, что музыкальный синтаксис — это синтаксис эквивалентностей: разные единицы находятся в отношениях многосторонней эквивалентности. Это утверждение подсказывает естественный ответ на сложный вопрос о музыкальном семиозисе: не будучи направленной на какой-либо внешний объект, музыка оказывается «un langage qui se signifie soi-même» *. Разнотипный и разноуровневый параллелелизм музыкальной структуры позволяет слушателю-интерпретатору на основе любого музыкального отрывка предположить, каким будет его продолжение, то есть вывести из одной составляющей музыкальной структуры следующую за ней вторую составляющую, такую, что их совокупность будет образовывать связное музыкальное целое. Именно подобная гармония частей, равно как и их объединение в композиционное единство, выполняет роль signatum в музыке. Следует ли подкреплять этот вывод многочисленными свидетельствами композиторов прошлого и настоящего? Или, быть может, достаточно сослаться на убедительный афоризм Стравинского: «Вся музыка — это не что иное, как последовательность импульсов, сходящихся к финалу». Код, с помощью которого распознается эквивалентность частей и их корреляция с целым, в значительной мере яв-

* 'языком, который обозначает себя самого'.

ляется известным, предписываемым набором параллелизмов, которые признаны данной эпохой, культурой или музыкальным направлением.

Из сказанного вытекает несколько следствий. Классификация отношений между signans и signatum, описанная в начале настоящей статьи, включает три основных типа отношений: фактическая смежность, условная (предписанная) смежность и фактическое сходство. Однако взаимодействие двух дихотомий — смежность/ сходство и фактическое / условное — предполагает наличие четвертого типа отношений, а именно условного сходства. Это сочетание характерно для музыкального семиозиса. Интровертивный семиозис (сообщение, означающее себя самое) неразрывно связан с эстетической функцией знаковых систем и доминирует не только в музыке, но также в поэтической зауми, абстрактной живописи и скульптуре, где, как отметила Дора Валье в своей монографии „L'Art Abstrait" (1967), «chaque élément n'existe qu'en fonction du reste» *. Однако в поэзии и изобразительном искусстве вообще интровертивный семиозис всегда играет ведущую роль, сосуществуя и взаимодействуя с экстравертивным семиозисом; в то же время референтивный компонент может отсутствовать или быть минимальным, как, например, в музыкальных сообщениях, даже если это так называемое программное музыкальное произведение. То, что было сказано об отсутствии референтивного, концептуального компонента, никак не касается эмотивных коннотаций, передаваемых и музыкой, и поэтической заумью, и абстрактным изобразительным искусством. Все еще сохраняет актуальность вопрос, некогда поставленный Сепиром: «Не кроется ли сила музыки в том, что она точно и тонко отражает уровень умственной деятельности, почти неуловимый и невыразимый иными способами?»

При исследовании коммуникации необходимо проводить четкую грань между гомогенными сообщениями, основывающимися на одной семиотической системе, и синкретическими сообщениями, основывающимися на комбинации или объединении разных знаковых систем. Рассмотрим некоторые привычные формы коммуникации второго типа. Антропология сталкивается с задачей сравнительного исследования видов традиционного синкретизма семиотических систем и их распространенности в культурах мира. Вряд ли найдется примитивная культура, в которой бы отсутствовала поэзия, однако, как представляется, в некоторых культурах стихи только поются, но не произносятся; в то же время, по-видимому, пение имеет более широкое распространение, чем инструментальная музыка. Подобный синкретизм поэзии и музыки, вероятно, первичен по отношению как к поэзии, так и к музыке в чистом виде. Визуальные сигналы, производимые с помощью телодвижений, тяготеют к комбинированию с теми или иными аудиальными знаковыми системами: жесты рук и мимика функционируют как знаки, дополняющие или заменяющие словесные высказывания, тогда как движения ног и торса преимущественно (а в некоторых культурах исключительно) связаны с инструментальной

* 'каждый элемент существует только как функция от остальных'.

музыкой. В современной культуре имеются очень сложные синкретические представления, такие, как мюзиклы и особенно кинематографические мюзиклы, сочетающие целый ряд аудиальных и визуальных семиотических средств.

Сигналы являются особым типом знаков, которые следует отделять от других знаковых систем. Как и любой другой знак, сигнал содержит signatum, но в отличие от всех остальных знаков сигналы, даже если они и принадлежат к некоторому более широкому коду свободно выбираемых единиц, не могут быть сгруппированы адресантом таким образом, чтобы их набор дал новую семиотическую конструкцию. Все комбинации простых сигналов (в случаях, когда система допускает не только простые, но и комбинированные сигналы) заданы кодом, так что корпус допустимых сообщений сводится к коду. Сигналы обычно относятся к индексно-символическим или индексно-иконическим знакам. Сигналы могут быть пространственными и временными, визуальными и аудиальными. Они широко применяются для социальной коммуникации. Приведем несколько примеров: значки и другие эмблемы, товарные знаки, марки, знамена, вымпелы, дорожные сигналы, световые сигналы, предупредительные звуковые сигналы, звуки горна.

И наконец, из всех семиотических систем, которые используются в человеческом обществе, следует выделить пропозициональные системы. В отличие от пропозициональных систем, которые включают естественный язык и производные от него системы, все прочие системы можно назвать идеоморфическими, поскольку их строение относительно независимо от структуры языка, хотя появление и использование этих систем невозможно без существования языка. Среди пропозициональных систем доминирующую роль играет устный язык, который как онтогенетически, так и филогенетически первичен относительно всех остальных систем этого класса. Двумя типичными примерами заменителей, используемых отчасти в случаях необходимости передачи на большие расстояния, а отчасти в ритуальных целях, могут служить преобразования речевых сообщений с помощью свиста и барабанного боя; первый способ является непосредственно органическим, второй — инструментальным; обе эти системы опираются на общую основу — обычную речь, которая подвергается компрессии и сохраняет лишь некоторые свои черты.

Самым важным способом транспонирования речи в другую среду является письмо, которое обеспечивает большую стабильность и доступность сообщения для адресата, удаленного от адресанта во времени и/или расстоянии. Независимо от того, какие единицы передают графические знаки в данной системе письма — отдельные фонемы, слоги или целые слова,— эти графические знаки, как правило, функционируют как signantia для соответствующих единиц устного языка. Тем не менее, как лингвисты поняли примерно в 30-х гг. и как особенно четко и выпукло показали фонологи Пражского лингвистического кружка, графемный аспект языка характеризуется относительной автономностью. Письменный язык имеет тенденцию к раз-

витию собственных структурных свойств, в связи с чем история двух основных форм языка — устной и письменной — богата диалектическими противоречиями и чередованиями состояний отталкивания и притяжения. В течение последних десятилетий имевшееся ранее преобладание письменного и печатного слова столкнулось с конкуренцией со стороны устной речи, транслируемой по радио и телевидению. Кардинальное различие между слушателем и читателем и, соответственно, между деятельностью говорящего и пишущего кроется в переносе речевой последовательности из времени в пространство, что ослабляет свойство однонаправленности, характерное для речевого потока. Слушающий синтезирует последовательность уже тогда, когда ее элементы перестали существовать, а для читателя verba manent [слова сохраняются], и он может вернуться от последующих частей сообщения к предыдущим. Тем не менее, как показали недавно проведенные эксперименты, даже после того, как чтение вслух у начинающего сменяется внутренним молчаливым чтением опытного читателя, у него сохраняется скрытое артикуляторное сопровождение чтения.

Формализованные языки, которые используются для разных научных и технических целей, являются искусственными трансформами естественного языка — и в особенности его письменной разновидности. Елена Викторовна Падучева, один из наиболее наблюдательных исследователей неявных и иррациональных форм естественного языка, рассматривает много интересных случаев такого рода, к которым относятся, например, семантическая неопределенность предложений типа *Друзья Пети и Вани пришли*: оно может подразумевать либо друзей (друга) только Пети плюс друзей (друга) только Вани, либо только их общих друзей, либо, наконец, их общих друзей (общего друга) плюс друзей (друга) каждого из них. Однако творческая сила естественного языка зиждется именно на характерной для него скрытой способности обходить излишние детали и на учете контекста. Именно существование подобных семантических переменных, прозорливо замеченных схоластами в их поисках шкалы suppositiones [замен], обеспечивает так называемую „контекстную связанность", которая характерна для единиц естественного языка.

Уникальность естественного языка по сравнению со всеми остальными семиотическими системами заложена в самих его основах. Обобщенные значения языковых знаков уточняются и индивидуализируются под давлением изменчивых контекстов или невербализованных, но потенциально вербализуемых ситуаций.

Исключительное разнообразие определенным образом закодированных значимых единиц (морфем и слов) достигается посредством прозрачной системы их дифференциальных компонентов, не имеющих собственных значений (различительные признаки, фонемы и правила их комбинирования). Эти компоненты являются семиотическими единицами sui generis [специфическими]. Signatum такой единицы — это только ее отличимость от других единиц, то есть предполагаемое семантическое неравенство пар слов и / или морфем, различающихся только наличием/отсутствием данной единицы.

В естественном языке существует принципиальное различие между лексическими единицами и идиоматическими оборотами, закодированными как целое, с одной стороны, и синтаксическими структурами, задающими совокупность синтаксических отношений между лексическими единицами, но допускающими достаточно свободный выбор этих единиц, с другой стороны. Еще большей гибкостью и степенью свободы правил организации отличается соединение фраз в сверхфразовые единства.

Как лексические и грамматические тропы и фигуры, так и композиционные средства, регулирующие построение диалога и монолога, имеют близкие аналогии в выразительных приемах киноискусства, в котором демонстрация действий профессиональных актеров и статистов, занятых в фильме, а также определенная обстановка преобразуются — посредством режиссерской, операторской работы и монтажа (тропы кино) — в связное киноповествование.

Хотя кинокартина и соперничает с повествованием на естественном языке, существует такой важный тип синтаксической структуры, который невыразим никакими средствами, кроме естественного или формализованного языка: это суждения общие и особенно суждения отождествляющие. Именно это преимущество обеспечивает могущество и главенство языка в человеческом мышлении и познавательной коммуникации.

ЗНАЧЕНИЕ КРУШЕВСКОГО В РАЗВИТИИ НАУКИ О ЯЗЫКЕ*

Jan Baudouin de Courtenay (1845—1929) и Mikołaj Habdank Kruszewski (1851—1887) — два гениальных теоретика польского происхождения, которых языкознание дало мировой науке на склоне прошлого века. Второй из них, верный ученик и соратник Бодуэна, по отзыву самого учителя, превзошел последнего в философичности, обстоятельности и точности строго аналитического метода.

Крушевский, уроженец волынского города Луцка, поступил по окончании Холмской гимназии на историко-филологический факультет Варшавского университета. Научная ориентация Крушевского определилась с его первых студенческих лет. Хотя в Варшавском университете он записался на историческое отделение историко-филологического факультета, он «мало занимался историей, а работал главным образом над философией», как повествует о жизни покойного Бодуэн де Куртенэ.[1] Недаром в своих „Положениях" (1881) Крушевский в первую очередь заявил, что главная задача языкознания «не восстановление картины прошлого в языке, а раскрытие законов явлений языка», и, следовательно, по самой своей методологической природе лингвистика сближается не с „историческими", а с естественными науками [2]. В том же году Бодуэн выступил с аналогичным заявлением, что задача всех подлинных наук «состоит в очищении предмета исследования от всяких „случайностей" и произвола и в отыскивании „правильности" и „законности". С этой точки зрения все науки, занимающиеся сопоставлением и обобщением подробностей, будут естественными, если выдвигают на первый план кроющуюся в явлениях строй-

---

* Статья напечатана на русском языке в „Roman Jakobson. Selected Writings", т. II. The Hague—Paris: Mouton, 1971, с. 429—449. — *Прим. ред.*

[1] „Mikołaj Kruszewski, jego życie i prace naukowe".— „Prace Filologiczne", II (1888), III (1889). Перепечатано в книге J. Baudouin de Courtenay, Szkice językoznawcze (Варшава, 1904). Русский перевод — в „Избранных трудах по общему языкознанию И. А. Бодуэна де Куртенэ", I (Москва, 1963).

[2] „Положения".— „Русский Филологический Вестник", V (1881), с. 107—109.

ность и правильность; останавливаясь же на одних только случайностях и частностях, все эти науки суть науки „исторические" (в том смысле, как этот эпитет прилагается к так наз. „всеобщей истории"). При таком взгляде на вещи вне естественных наук и математики нет места для какой бы то ни было действительной науки»[3]. Несмотря на дальнейшие перемены в подходе Бодуэна к этому кругу вопросов, он признавал, что краеугольный тезис Крушевского до известной степени составляет его «самостоятельный вклад»[4].

Даровитого варшавского студента прежде всего увлекали вопросы логики и психологии; профессор М. М. Троицкий, фанатический приверженец английской мысли от Бэкона, Локка и Юма до Милля и Бэна, обстоятельно ознакомил своего ученика с методологией и проблематикой этих двух дисциплин. По воспоминаниям Бодуэна, «огромную роль играло изучение основных логических и психологических сочинений английских философов, конспектирование этих трудов, их переработка и т. д. Это была превосходная школа мышления, побуждавшая к точной формулировке собственных мыслей, а также к удачному обобщению частностей». Другой варшавский профессор Крушевского, известный славянский филолог и фольклорист М. А. Колосов, «заметив в молодом ученом пристрастие к языкознанию и недюжинные способности, посоветовал ему по окончании университета, для дальнейшего усовершенствования в этой науке, направиться в Харьков» к А. А. Потебне, у которого учился сам Колосов, или же в Казань к Бодуэну. В кандидатской работе Крушевского на тему, рекомендованную учителем, о русских заговорах и заклинаниях, законченной в начале 1875 г. и опубликованной в 1876 г.[5], уже ясно проявляются все характерные черты его научного облика: творческая оригинальность и проникновенность, сосредоточенное внимание к «логическим основаниям» языка и мышления на любом их культурном уровне, тонкое чутье к языковым вопросам, в данном случае к слову в его магической функции, и увлечение проблемой «стереотипных приемов», характерных для языка и для фольклора.

Учительствуя в Троицке, захолустном городе Оренбургской губ., и копя средства на лингвистические занятия под руководством Бодуэна, он перечитал в 1876 г. одну из замечательнейших работ последнего, петербургскую вступительную лекцию „О языковедении и языке», которую он же тщетно пытался осилить в начале своей уни-

---

[3] „Несколько слов о сравнительной грамматике индоевропейских языков".— „Журнал Министерства Народного Просвещения", CCXIII (1881).

[4] „Szkice językoznawcze", с. 127.

[5] „Заговоры как вид русской народной поэзии".—„Известия Варшавского Университета", 1876. Труды Колосова правильно охарактеризованы в обзоре В. В. Виноградова „Русская наука о русском литературном языке".— „Ученые Записки Моск. Гос. Университета", CVI (1946), с. 90: «Трезвый, но голый эмпиризм изложения, не обремененного никакими гипотезами и обобщениями, отражал кризис лингвистической мысли, порвавшей с романтическими исканиями предшествующего периода, но не открывшей еще никаких новых перспектив и задач исследования».

верситетской учебы, когда она только что вышла в феврале 1871 г.[6] На этот раз юного Крушевского особенно поразили замечания Бодуэна о различных «силах», действующих в языке, и 30 сент. 1876 г. он писал из Троицка автору:

«Вы будете смеяться над тем, что меня, едва приступившего к лингвистическим занятиям, уже влечет к философским, а скорее логическим воззрениям на лингвистику, но это результат не того, что я принимаюсь за языкознание, а того, что я издавна увлекаюсь философией.*** И не знаю я, может ли меня что-либо привлечь с большей притягательной силой к языкознанию, чем этот бессознательный характер языковых сил; я только теперь приметил, что, перечисляя эти силы, Вы последовательно присовокупляете термин „бессознательный". Меня это интересует, потому что это вяжется с той идеей, которая уже давно забилась колом в мою голову, а именно с идеей о бессознательном процессе вообще, с идеей, отличающейся коренным образом от идеи Гартмана. Для выяснения этой разницы я принялся в течение каникул именно за томительное и нудное изучение философии Гартмана в переработке Козлова. Сейчас, разумеется, место Гартмана заняли ученические тетради, но я надеюсь к нему еще вернуться.— Еще один вопрос меня чрезвычайно занимает. Имеется ли в лингвистике какой-либо один закон, и если да, то какой именно общий закон, который был бы одинаково применим ко всем лингвистическим явлениям? Такой, например, общий закон, каким в психологии является закон ассоциации, и без которого, как правильно судит логика, наука перестает быть наукой. Нет ли такого труда или статьи, где бы лингвистика рассматривалась под углом зрения логики, как, например, рассматриваются другие науки в конце второго тома «Логики» Милля? Если что-либо такое существует и если Вы не сочтете вредным подступ к учебе с конца, то прошу указать мне [7]».

В этом замечательном документе уже ярко сказалась типичная для всех лингвистических трудов Крушевского установка на логику бессознательных процессов, а также его неустанное стремление, которое Бодуэн окрестил «пристрастием к законам» (łapczyowością na prawa). Именно в основополагающем тезисе о «возможности и необходимости науки, для которой конечной целью должно быть открытие законов, управляющих языковыми явлениями», коренится тесная связь Крушевского с нынешней лингвистической мыслью. Непоколебимое убеждение, что «язык представляет одно гармоническое целое», и неустанные усилия вскрыть внутреннюю закономерность в его, по выражению Крушевского, «структурной системе» — все это обеспечивает героическим исканиям безвременно погибшего ученого одно из руководя-

---

[6] „Некоторые общие замечания о языковедении и языке".— „Журнал Министерства Народного Просвещения", CLIII (1871).
[7] См. „Szkice językoznawcze", с. 134.

щих мест в истории борьбы за подлинно научную теорию языка, даже если бы мы приняли во внимание слова, вырвавшиеся у Бодуэна под позднейшим наплывом научного разочарования и усталого скепсиса, будто бы Крушевский «вообще не открыл никаких законов в языке» [8]. Порвавши с тем абстрактным, математическим мышлением, в котором Бодуэн постоянно усматривал основную особенность доктрины Крушевского, он силился уверить и читателей и самого себя, что «это одни лишь методологические постулаты, т. е. субъективные „законы" теоретического мышления, в которых нельзя усмотреть законов, связывающих изучаемые явления и факты» [9].

Восхищаясь вершинными достижениями сравнительной истории индоевропейских языков, Крушевский в то же время горячо возражал против монополии „археологического" направления в лингвистике, которое подменяет широкую проблематику общего языкознания опытами реконструкции индоевропейского праязыка, и доказывал, что даже для установления генетических филиаций «простой эмпирический прием сравнения недостаточен; на каждом шагу нам необходима помощь дедукции из фонетических и морфологических законов, прочно установленных» систематическим анализом структуры живых языков [10].

Краткие промежутки между многочисленными университетскими лекциями и уроками русского языка и литературы в Родионовском институте благородных девиц, которые Крушевский взял на себя, «вынужденный необходимостью попечения о семье», он посвятил лихорадочной исследовательской работе, но и в этих урывочных лингвистических разысканиях провел молодой ученый всего неполных пять лет. Свою первую языковедческую работу pro venia legendi он представил в конце 1879 г., и ему еще не исполнилось тридцати трех лет, когда в 1884 г. он был и физически и душевно разбит роковым недугом, положившим неумолимый конец его творческому научному пути за три года до кончины, последовавшей 12 ноября 1887 г. Уже в 1885 г. он чувствовал близость помешательства и несколько раз хотел покончить с собой, а в начале следующего года, после сурового пароксизма неизлечимой болезни, подписав прошение об отставке вскоре после своего назначения ординарным профессором, Крушевский, по рассказу Бодуэна, печально промолвил: «Ах, как быстро прошел я через сцену» — и впал на другой же день в невменяемое состояние. Во введении к „Очерку науки о языке" (1883), основополагающему труду ученого, четко подведены итоги его лингвистических разысканий:

«Занимаясь под руководством проф. Бодуэна де Куртенэ и будучи твердо убежден, что область языковых явлений, наравне с другими областями существующего, подчинена известным законам в общенаучном

---

[8] „Szkice językoznawcze", с. 167.
[9] „O «prawach głosowych»",— „Rocznik Sławistyczny", III (1910).
[10] „Очерк науки о языке" (Казань, 1883).

смысле этого слова, я изучал живую речь в надежде уяснить себе когда-нибудь эти законы. Мало-помалу я пришел к некоторому цельному воззрению на язык, к некоторой — сказал бы я, если бы не боялся упрека в нескромности,— теории языка. Я мечтал о том, что посвящу этому предмету несколько лет труда и не стану печатать мою работу, пока ее основные идеи не будут изложены с достаточной убедительностью. Разные причины заставляют меня печатать ее гораздо раньше, чем я предполагал. Я принужден помириться с тем, что вместо законченной и обработанной в подробностях картины у меня вышел пока только неполный ее абрис ***. Считая эту книгу только предварительным очерком, я не теряю надежды представить в будущем обработку того же предмета в более совершенном виде ***. Читатель, который умеет ценить обобщение само по себе и помнит, что не всякий настолько счастлив, чтобы располагать своим временем и иметь достаточно физических сил для продолжительной и кропотливой обработки частностей,— такой читатель, надеюсь, отнесется снисходительно к многочисленным недостаткам моей книги» [11].

Автор усматривал главную слабость научного языкознания в крайней скудости обобщений, а его очередную задачу — в структурном анализе слова, тогда как предложение, второй предмет разысканий, по отзыву казанской вступительной лекции, читанной Крушевским 15 января 1880 г., «еще почти не вошло в науку о языке» [12]. В глазах молодого исследователя общее языкознание настоятельно требовало именно широких, пускай первоначально рабочих, гипотетических обобщений, даже если новая теория «на первых порах своего появления приобретает применение слишком широкое»; он ясно осознавал, что дальнейшее «усовершенствование новой теории чаще всего состоит в ее ограничении» [13]. Крушевскому был присущ глубокий пафос творческого почина и развития новой научной системы.

В тех же „Известиях Казанского Университета", где Бодуэн печатал ценнейшие обзоры своих плодотворных открытий, в 1883 г. он рецензировал только что вышедший „Очерк" Крушевского как «плод мысли самостоятельной и привыкшей к логическому анализу», а также «вклад в лингвистическую литературу вообще», обогащающий ее новыми идеями [14], и двадцать лет спустя он снова заявил, что эта книга «остается до сих пор одним из лучших общелингвистических сочинений не только на русском языке» [15]. Эти отзывы несравненно важней и справедливей, чем его обширная памятка „Mikołaj Kruszewski" („Prace filologiczne", 1888—1889), написанная в пылу авторского

[11] „Очерк", с. 8.

[12] „Предмет, деление и метод науки о языке".— „Русский Филологический Вестник", XXXI (1894).

[13] „Об «аналогии» и «народной этимологии»".— „Русский Филологический Вестник", II (1879).

[14] „Отзыв о кандидатской диссертации Н. В. Крушевского «Очерк науки о языке»". — „Известия Казанского Университета", 1883.

[15] „Лингвистические заметки и афоризмы".— „Журнал Министерства Народного Просвещения", CCCXLVI—CCCXLVII (1903).

полемического пересмотра заветов т. н. казанской школы, созданной на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов молодым Бодуэном и его покойным соратником.

3 мая 1882 г. Крушевский комментировал в письме к путешествовавшему за границей Бодуэну свою работу по подготовке „Очерка":

«Не знаю, каково будет заглавие моего исследования, а предмет его таков: 1) Наряду с теперешней наукой о языке необходима другая, более общая, нечто в виде феноменологии языка. 2) Некоторое (бессознательное) предчувствие такой науки можно заметить в новоявленной фракции младограмматиков. Однако проповедуемые ими принципы либо непригодны для построения на них такой науки, либо недостаточны. 3) Можно вскрыть в самом языке прочные основы такой науки» [16].

Эта для своей эпохи исключительная по прозорливости и четкости формулировок декларация вызвала недоумение и раздражение Бодуэна, который именно в конце восьмидесятых годов, в годы юрьевской профессорской деятельности, отчасти поступился своим казанским новаторским радикализмом и попытался подменить в языковом анализе прежние поиски внутренне-лингвистических критериев псевдопсихологическими ссылками, причем первоначальный анализ звуковых элементов под углом зрения их языковых функций шаг за шагом уступал место выморочной „психофонетике". Как ни учащались с годами уступки Бодуэна идеологическому канону ученой среды его времени, он оставался гениальным искателем, и, по рассказу его дочери Цесарии Ендржеевич, в своей предпоследней беседе с нею отец, парируя замечание о психологизме его лингвистических работ, категорически заявил: «В действительности я всю свою жизнь был собственно феноменологом». Таким образом, научное самоопределение Бодуэна на конечном этапе его деятельности сближается с задачами, поставленными его казанским соратником в письме без мала полувековой давности.

В основу своего подхода к языку, его строю и развитию Крушевский положил последовательное разграничение двоякого рода отношений между языковыми элементами, а именно их внутренней связи по сходству и их внешней связи по смежности. Это учение о двух лингвистических осях, навеянное классификацией ассоциаций у английских психологов и ее радикального приверженца Троицкого, но поднятое Крушевским с механистического на феноменологический уровень, выросло в его труде в стройную, целостную и необычайно плодотворную теорию языка. Считая слово первичным предметом лингвистики, исследователь прежде всего к слову применяет свой бинарный подход. Согласно „Очерку", «каждое слово связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами» по «материальному», т. е. лексическому звуковому составу, по грамматической форме или же по значению, «и столь же бесчисленными связями смежности с

---

[16] См. „Szkice językoznawcze", с. 134—135.

разными своими спутниками во всевозможных фразах». Таким образом, «слова должны укладываться в нашем уме в системы, или гнезда, или семьи» (все три термина синонимичны в „Очерке"). При этом обнаруживается сложная иерархия объединений: «в языке образуются более или менее многочисленные семейства слов, родственных по корню, суффиксу или префиксу». Слова одного семейства проявляют черты единообразия либо «в том материале, из которого они построены», либо «в самом своем строении». Крушевский подчеркивает, что наша память способна хранить «типы слов отдельно от самих слов». Наряду с определенными типами слов вскрывается «связь между отдельными типами», т. е. своего рода «структурные семейства, системы типов». С другой стороны, языковед обращает внимание на «известное число общих категорий», т. е. грамматических понятий, и каждая из них в свою очередь образует особую «семью, или систему», определяемую Крушевским как «посредственная или косвенная связь слов».

Если всякое слово способно «возбуждать в нашем духе другие слова, с которыми оно сходно, и возбуждаться этими словами», связанными с ним узами сходства внутреннего или внешнего, т. е. «по своему значению» или же «по своей структуре и отчасти по своим звукам», то, следуя закону ассоциации по смежности, «слова должны строиться в ряды»; в этом направлении опять-таки сказывается «способность слов возбуждать друг друга», и мы соответственно «привыкаем употреблять данное слово чаще с одним, нежели с другим словом».

Наряду с гнездами и рядами слов Крушевский рассматривает гнезда морфологических элементов слова (или морфем, согласно термину, изобретенному и пущенному в ход Бодуэном), а также ряды смежных элементов в пределах слова. Многообразием ассоциаций по сходству и смежности обусловлено обособление этих единиц «в нашем сознании или, вернее, в нашем чутье языка; только это обстоятельство и делает их морфологическими элементами слова».

Характерно, что связь по сходству между синтаксическими структурами не вошла в лингвистический кругозор Крушевского, как, к слову сказать, вопрос о парадигматике (rapports associatifs) синтаксических форм не нашел себе определенного ответа и у Соссюра, а между тем, казалось бы, четкое различение между материальным и формальным составом слова в работах Крушевского могло бы навести его на мысль о словосочетаниях, связанных между собою двоякого рода отношениями, т. е. узами сходства и смежности.

Анализируя взаимные связи слов, Крушевский отожествляет сходство с порядком сосуществования, а смежность с порядком временной последовательности, но при этом учитывает, что сосуществование двух аспектов слова — его внешнего облика и значения — базируется на ассоциации по смежности, связывающей оба этих аспекта «в неразлучную пару». Однако для нашей памяти «такая связь оказывается непрочной, недостаточной»; она должна быть подкреплена ассоциацией по сходству с другими словами. Именно непрочностью и недостаточностью традиционной связи по смежности между звукосочетанием и внутренним содержанием слова, иначе говоря, его „символическим ха-

рактером", объясняет Крушевский «беспредельную изменяемость» языковых элементов. Процесс развития языка изображается в „Очерке" как «вечный антагонизм между прогрессивной силой, обусловливаемой ассоциациями по сходству, и консервативной, обусловливаемой ассоциациями по смежности». Уже в своих ранних работах исследователь пытался охватить обобщенной формулировкой различные процессы языковых изменений. В своей пробной лекции 1879 г. „Об «аналогии» и «народной этимологии»" он убедительно показал, что оба эти явления, обычно трактуемые как два различных процесса, в действительности представляют собой лишь две разновидности по существу единого процесса словесной ассимиляции, которую Крушевский характеризует как «интегрирующую силу» в языковом развитии: он рассматривает т. н. «грамматическую аналогию» как морфологическую ассимиляцию, а т. н. «народную этимологию» как ассимиляцию лексическую, и в своем позднем, петербургском курсе „Введения в языковедение" Бодуэн принял это обобщение своего покойного сотрудника [17]. Родственным процессом представляется Крушевскому также ассимиляция фонетическая [18]. Правда, между морфологической и фонетической ассимиляцией наблюдается существенное различие в распределении обеих ассоциаций. В первом случае те или иные морфологические элементы слова перестраиваются по образцу элементов, занимающих соответствующее место в ином словообразующем ряду, во втором же случае, в фонетической ассимиляции, вместо приноравливания к „сородичам" происходит односторонняя или взаимная аккомодация между „спутниками" в пределах данного ряда. В основу ассоциации по сходству морфологическая ассимиляция кладет сосуществование, а фонетическая — временную последовательность. Любопытно, что статике звуковой системы Крушевский противопоставлял динамику, рассматривающую звуки речи в зависимости от временной последовательности, включая сюда в своих лекциях 1880 г. по антропофонике не только зависимость звука от смежных звуков в пределах данного звукоряда („предмет динамики в точном смысле слова", т. е. série syntagmatique, согласно Соссюру), но также судьбы звука в исторической смене языковых этапов (l'axe de successivité, в концепции Соссюра) [19].

В кратком экскурсе Крушевского „О морфологической абсорбции" наблюдение его учителя Бодуэна над сокращением тем в пользу окончаний оказалось частным случаем более широкого обобщения, формулируемого „как стремление последующих морфологических единиц поглотить единицы предшествующие" [20]. В „Очерке" все эти явления были осознаны как частные проявления основного процесса в языковой

[17] Сошлюсь на „Введение в языковедение" в 5-м литографированном издании (Петроград, 1917), превосходящем старшие версии и широтой, и точностью формулировок: см. И. А. Бодуэн де Куртене. „Избранные труды по общему языкознанию", II. Москва, 1963.

[18] „Русский Филологический Вестник", II (1879), с. 120.

[19] „Антропофоника".— „Русский Филологический Вестник", XXXI (1894).

[20] „О морфологической абсорбции".— „Русский Филологический Вестник", IV (1880).

эволюции, усвоившего название „переинтеграция". Согласно вышеупомянутому отзыву Бодуэна о только что вышедшем труде Крушевского, «предположение во всех сторонах жизни языка всеобъемлющего процесса переинтеграции встречается *** в лингвистической литературе впервые в его книге. Обобщение это заимствовано из других наук, занимающихся исследованием жизни в самом обширном смысле этого слова». Как поучает Крушевский, переинтеграция, базирующаяся на связях по сходству, ведет к упорядочению языковых систем. Гармонией грамматических систем мы обязаны только процессу переинтеграции, «только творчеству языка, то есть нашей способности производить слова», вместо того чтобы их попросту механически воспроизводить. Обсуждая выбор модели, практикуемый языком при морфологической перестройке, лингвист предостерегает перед упрощенными ссылками на присутствие ф о р м а л ь н о й модели в подавляющем количестве слов. Не меньшую роль может играть тенденция к з в у к о в о м у единообразию, связанная с привычностью служащих образцом звуков и звукосочетаний. Обилие слов данного морфологического типа может быть контрсбалансировано различием в частоте словоупотребления, и потому наиболее ходкие слова наименее поддаются переинтеграции.

Чрезвычайно оригинальны наблюдения автора над конкурирующими вариантами, которые либо восходят к сосуществующим территориальным разновидностям, т. е. являются коренными и заимствованными дублетами, либо принадлежат двум последовательным этапам языкового развития, т.е. соотносятся как унаследованные архаизмы и новообразования. Вообще в вопросе сосуществования вариантов Крушевский, да и другие лингвисты казанской школы далеко ушли вперед от привычной механистической трактовки языковых изменений. Бодуэн, потерявший в своей памятке 1888 г. свой прежний общий язык с покойным Крушевским, поступился первоначальным пониманием вопросов переинтеграции, которую Крушевский признавал за «наиболее выдающийся процесс в развитии языка», наблюдаемый и в элементарнейших, и в сложнейших языковых явлениях. В частности, тот же Бодуэн, который с казанских лекций до последних трудов сам оперировал «нулевым элементом», усвоенным из древнеиндусского языкознания, в некрологе отказывался, наперекор Крушевскому, «считать переинтеграцией простую потерю целым какой-либо составной части». Вообще в проблеме утрат автор „Очерка" обнаруживал несравненно более конструктивную точку зрения, нежели современные ему языковеды. Достаточно прочесть его вывод в курсе французской грамматики, опубликованном лишь в 1891 г. В. Богородицким: отметив частичное или полное исчезновение составляющих глагольную систему форм, в частности «таких, которые бесспорно нужны языку», Крушевский заключает: «Биологические аналогии (исчезновение — необходимое условие развития)» [21]. А в „Очерке" он последовательно проводит мысль, что факторы разрушительного характера яв-

[21] „Французская грамматика".— „Русский Филологический Вестник". XXV—XXVI (1891).

ляются «в высшей степени благодетельными для языка». Разрушительно действуя только по отношению к наличным в данное время системам слов, «они и только они доставляют постоянно языку новый материал, без которого немыслим никакой прогресс языка, ни структурный, ни тем более материальный, лексический». Здесь Крушевский подхватил и развил подсказанную молодым Бодуэном мысль о «забвении и непонимании производительном, положительном, вызывающем нечто новое, поощряя бессознательное обобщение в новых направлениях» [22].

В „Очерке" утверждается, что «слова своим происхождением обязаны ассоциациям сходства», так как первоначально название дается предмету «вследствие какого-нибудь его сходства с чем-нибудь уже названным»; следует оговорить, что наряду с названием метафорического происхождения возможны имена метонимические, данные по смежности. Равно и последующее утверждение (о том, что в дальнейшем, как только из тропа слово превращается в собственный и полный знак вещи, оно становится обязано своим значением привычной смежности между внешним обликом и внутренним содержанием) недоучло живучей семантической связи слова с его сородичами. Однако необходимо отметить, что это упрощенное распределение ассоциаций малохарактерно для Крушевского. Напротив, он обращает внимание на нередкую благоприобретенную связь между внешним строем и значением «слов, образующих одну семью»; например, предлоги благодаря сходству своей грамматической функции «мало-помалу путем производства приобретают также сходные наружные признаки». Согласно отважному выводу автора, яркие примеры заметного внешнего сходства, сопутствующего значительному сходству внутреннему, могут быть объяснены «только участием продуктивной силы». Замечательна ссылка Крушевского на категорию числительных, парадигматическую семью слов, выстроенных в последовательный ряд, причем между смежными сочленами этого ряда в разнообразных языках проявляется четкое стремление к взаимному внешнему уподоблению.

Существенную часть языковой теории Крушевского составляет анализ морфологических единиц. Одна и та же единица в контексте различных генетически родственных слов может характеризоваться альтернацией одного или нескольких, а порой даже всех составных элементов. В качестве примера Крушевский приводит русский глагольный корень nos-, выступающий в целом ряде иных звуковых разновидностей, как-то: n'os-, n'es-, n'es'-, nos'-, noš-, naš-. Поставив себе с самого начала задачей разработку «морфологически-этимологического отдела науки о звуках» и вообще исследование «звуков в связи со значением слов», Бодуэн де Куртенэ уделял в своих казанских курсах повышенное внимание грамматическим чередованиям звуков не столько в историческом, сколько в строго описательном, синхроническом разрезе. „Русский Филологический Вестник" 1881 г. открывается магистерской диссертацией Крушевского «К вопросу о гуне",

[22] См. выше, примечание 6.

посвященной старославянским альтернациям гласных [23]; глава „Общие замечания о чередованиях звуков" впервые в лингвистической литературе предлагает теорию и классификацию звуковых альтернаций. Вскоре Бодуэн напечатал в том же томе журнала отрывки из лекций 1880/81 уч. года по сравнительной грамматике славянских языков с кратким обзором типов альтернаций и с заключительным заявлением Suum cuique, подчеркивающим, что изложенные мысли только в известной степени составляют личную собственность автора: Крушевский, принимавший с 1878 г. активное участие в университетских занятиях Бодуэна, развил во введении к своей магистерской диссертации и в его немецкой переделке «свои собственные мысли об этом предмете *** точнее и научнее». Согласно указанию Бодуэна,

«большая научность изложения г. Крушевского состоит в строгом логическом анализе общих понятий, в разложении их на их составные части, в определении необходимых признаков отдельных чередований и в общей логической стройности всей системы. Равным образом заслугу г. Крушевского составляет желание дойти этим путем до определения настоящих законов в фонетике, т. е. таких законов, от которых не было бы никаких исключений.— Только теперь, когда эти мысли формулированы и представлены так наглядно г. Крушевским, возможны их дальнейшее развитие и разработка» [24].

Обзор альтернаций, включенный Бодуэном в отрывки из лекций, представляет, по его словам, дальнейшее развитие и его собственных мыслей, и мыслей Крушевского.

Еще с большей настойчивостью выдвинул Бодуэн заслуги Крушевского, обсуждая в „Ученых Записках Казанского университета" (1881) труд о гуне, и особенно его вводную часть:

«Для надлежащего понимания статики языка необходимо определить и всесторонне исследовать не только отдельные звуки, но тоже их чередования, т. е. пары гомогенных (одного происхождения) звуков, различающихся между собой в антропофоническом (звукофизиологическом) отношении. Поставленный таким образом фонетический вопрос на место „переходов" или „изменений" одних звуков в другие вводит коэкзистенцию гомогенов ***. Мысль о чередованиях звуков и о различении разных категорий звуков возникла раньше г. Крушевского, и, стало быть, она не составляет его личного достояния. Но формулировка этой теории в том виде, как она представлена в книге Крушевского, является результатом его самостоятельных обобщений. Только после этой формулировки и после введения в нее необходимых для научной точности технических терминов сделалось возможным дальнейшее развитие и совершенствование теории чередований. Затем неотъемлемую собственность г. Крушевского и вместе с тем весь-

[23] „К вопросу о гуне".— „Русский Филологический Вестник". V (1881).

[24] „Некоторые отделы «сравнительной грамматики» славянских языков".— „Русский Филологический Вестник", V (1881).

ма важный вклад в науку представляет анализ признаков, по которым следует отличать отдельные категории чередований. Сколько мне известно, подобный аналитический метод не встречается в прежних лингвистических сочинениях, и он впервые применен г. Крушевским. Этим методом г. Крушевский обязан изучению не лингвистики, а новейшей логики, с которою он знаком основательно и отлично умеет применять ее к изучению данных из области языковедения» [25].

Заимствовав в 1880 г. у Соссюра термин „фонема", Крушевский придал ему несколько иное значение. Если сопоставление генетически тождественных морфологических единиц в родственных языках обнаруживает серию закономерных фонетических соответствий, то общий прототип этого многообразного потомства, т. е. инвариант, лежащий в основе позднейшей разноязычной вариации и отличный от всех прочих элементов праязыковой звуковой системы, получил в знаменитом трактате юного Соссюра „Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes" (1878) наименование „фонема" [26].

Крушевский применил тот же термин к чередованию различных фонетических единиц, входящих в тождественную морфологическую единицу в рамках одного и того же языка. Историческим инвариантом по отношению к таким вариациям является общий звуковой прототип, тогда как синхроническим инвариантом служит одинаковое положение альтернантов внутри данной морфологической единицы и, наконец, общие звуковые свойства обоих альтернантов. Согласно одному из заключительных тезисов магистерской диссертации Крушевского, «без принятия фонем невозможно научное изложение фонетики и морфологии». Понятие фонемы было для него неразрывно связано с проблемой инвариантности и вариаций, но если в работах Крушевского этот термин был прикреплен к отдельным альтернантам, то Бодуэн в вышеупомянутом экскурсе 1881 г. прозорливо признал необходимым «обобщение известных фонем в фонемы более общие, в фонемы высшего порядка» и приведение раздельных альтернантов «к более общему знаменателю».

Вопрос об односторонней или же двусторонней предсказуемости был остро поставлен Крушевским и лег в основу замечаний Бодуэна о «чисто фонетической дивергенции», как, например, русское чередование *e* закрытого перед „мягкими" согласными и открытого в прочих положениях ([ét'i]—[ètu]) или заднего *y* после „твердых" согласных и переднего *i* в прочих положениях ([darý] — [car'í]). Идея комбинаторных вариантов и их общего знаменателя внутри одной и той же морфологической единицы, естественно, влекла за собой дальнейший шаг, т. е. розыск словоразличительных элементов, представленных

---

[25] „К вопросу о гуне. Исследование Н. В. Крушевского".— „Ученые Записки Казанского университета", 1881, № 3.

[26] О происхождении этого термина см. также в моей работе: „The Kazan' School of Polish Linguistics and Its Place in the International Development of Phonology".

в различных звукосочетаниях различными комбинаторными вариантами,— розыск, в конечном итоге независимый от наличия или отсутствия подобных вариаций в пределах одной и той же морфемы. До такого этапа на пути, справедливо охарактеризованного Бодуэном как «научный процесс все большего и большего обобщения», Крушевский, видимо, не дошел, хотя вопрос о функциональных тождествах и различиях в звуковом строении словесного материала не был ему чужд. Свои «общие замечания о чередовании звуков» сам Крушевский считал «первой и не совсем бесплодной попыткой поставить фонетику на строго научную почву», т. е. подойти к звукам речи под углом зрения их лингвистических функций [27], но в этой многосторонней проблематике он остановился на одной лишь теории альтернаций в звуковом составе морфологических единиц. В итогах научной деятельности покойного языковеда, полемически подведенных Бодуэном, остается в силе веское возражение, что привычное деление предложений на слова, слов на морфологические единицы — морфемы, а последних на «голые, безотносительные к значению (bezznaczeniowe) звуки» обнаруживает в своей заключительной стадии «неоправданный и противоречащий логике прыжок» потому что в лингвистических единицах различной емкости, а именно в предложениях, словах и морфемах, основную роль играет значение. Следовательно, звуки соизмеримы с лингвистическими, значимыми единицами, лишь поскольку первые трактуются в их отношении к значению. Иными словами, «морфемы разлагаются не на звуки, но на фонемы», причем различение связей по сходству и по смежности оказывается приложимо не только к предложениям, словам и морфемам, но также к фонемам и их сочетаниям. «В каждом из этих планов мы находим и системы, или гнезда,— в силу ассоциации по сходству, и, с другой стороны, ряды — в силу ассоциации по смежности».

Справедливо учтя, что проблематика фонемы отнюдь не исчерпывается «подвижными компонентами морфемы», т. е. «фонемами альтернирующими», Бодуэн в своих работах девяностых годов не нашел лингвистического обоснования „фонетических атомов“ (как он окрестил мельчайшие единицы речевой цепи в семидесятых годах) и предпринял бесплодную попытку подменить внутриязыковую интерпретацию мнимо психологическим определением: фонема превратилась в „психический эквивалент звука“. На этом этапе понятие фонемы потеряло оперативную значимость, и даже граница между фонемами и их комбинаторными вариантами оказалась стертой [28]. Однако в последнем двадцатилетии своей жизни Бодуэн, поддержанный одним из его даровитейших учеников — Л. В. Щербой, постепенно проникается

[27] „Ответ г. Brückner'y“.— „Русский Филологический Вестник“, VII (1882).

[28] „Próba teorji alternacyj fonetycznych“.— „Rozprawy Wydzialu filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie, XX (1894); „Versuch einer Theorie phonetisches Alternationen“ (Страсбург, 1895); „Fonema, fonemat“.— „Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana“, XXII. (Варшава, 1895). Любопытно, что открытие фонетических атомов вовсе не упомянуто в автобиографических итогах исследовательской деятельности, подведенных Бодуэном к концу века: см. „Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых“ под редакцией С. А. Венгерова, V (СПб., 1897), с. 18—45.

мыслью о «связях фонетических представлений с представлениями морфологическими и семантическими»[29]. В петроградском курсе „Введения в языковедение" Бодуэн категорически заявляет, что фонемы «становятся языковыми ценностями и могут быть рассматриваемы лингвистически» исключительно в силу морфологизации и семантизации, т. е. именно в силу своей связи с морфологическими и семантическими представлениями[30].

В той же главе своего курса Бодуэн, издавна осознавший необходимость распространить на звуковой состав речи дихотомию Крушевского, непосредственно подошел к вопросу разложения фонетических атомов: «семасиологизуются и морфологизуются не цельные, неделимые фонемы», а только «более дробные произносительно-слуховые элементы [„кинакемы", согласно авторскому словоновшеству] как их составные части». Таким образом, фонема оказывается комплексом простейших, далее неделимых, членораздельных компонентов речи. В 1910 г., резюмируя свои размышления о «звуковых законах», Бодуэн отчетливо предугадал основополагающую для дальнейшей стадии лингвистического анализа предпосылку: «фонемы представляют собой не отдельные ноты, а аккорды, слагающиеся из нескольких элементов», тогда как Соссюр в своем курсе того же года по сравнительной морфологии учил: «Il n'y a rien de plus uniforme, plus pauvre, que l'ordre de la langue: la parole (comme la musique sans les accords) est linéaire»[31]. Возможность самостоятельной роли отдельных звуковых «качеств» (например, в паре русских слов *гнил* и *гниль*) отмечалась уже Крушевским. Но извлечь из этих путеводных замечаний конкретные аналитические выводы предстояло ученикам и последователям обоих пионеров.

«В любой естественной науке такие работы, как Brugmann'a и de Saussure'a, произвели бы сильное движение: они были бы разбираемы и переводимы, вызвали бы целый ряд новых работ»,— писал Крушевский, рецензируя в „Русском Филологическом Вестнике" 1880 г. их недавние труды, «но в лингвистике, где чуть не у каждого специалиста свой метод, своя подготовка, свои задачи и где вследствие этого весьма немногие специалисты способны понимать друг друга, замечательные открытия Brugmann'a и еще более замечательные de Saussure'a прошли едва замеченными». Рецензент зорко учел методологическое значение соссюровского опыта «сделать из морфологии путеводную нить при исследованиях фонетических»[32]. Немецкую переработ-

[29] „O związku wyobrażeń fonetycznych z wyobrażeniami morfologicznymi i semazjologicznymi".— „Comptes rendus des séances de la Société des sciences et des lettres de Varsovie", I (1908).

[30] См. выше, примечание 17. Ср. также „Różnica między fonetyką a psychofonetyką".— „Comptes rendus des séances de la Société des sciences et des lettres de Varsovie", XX (1927).

[31] См. французское резюме Бодуэна „Les lois phonétiques".— „Rocznik Slawistyczny", III (1910), и R. G o d e l, Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure (Женева — Париж, 1957), с. 206.

[32] „Новейшие открытия в области арио-европейского вокализма".— „Русский Филологический Вестник", IV (1880),

ку вступительного этюда к диссертации о гуне Крушевский сам выпустил отдельной брошюрой „Über die Lautabwechslung" (Казань, 1881)[33], так как германские языковедческие журналы отказались ее печатать под предлогом, что «она занимается больше методологией, чем языкознанием». Тем не менее авторские идеи просочились на запад. Глава младограмматиков Ч. Бругман, которого названная брошюра предостерегала против злоупотребления термином и понятием „звуковых переходов", предлагая взамен синхроническую идею чередований, тем не менее заявил в журнале „Literarisches Centralblatt" 1882 г., что «каждый языковед, относящийся с интересом и пониманием к принципам истории языка, прочтет эту статью с удовольствием и пользой». Именно на брошюре Крушевского В. Радлов построил свой доклад о звуковых альтернациях в тюркских языках, опубликованный в „Трудах Берлинского Международного Востоковедческого Съезда" 1881 г.[34]

Бодуэн, посетивший Париж в конце 1881 г., был в ноябрьском заседании предложен, а в декабрьском выбран в члены парижского Société de Linguistique и оба раза преподнес Обществу по одной своей работе и по одной Крушевского (сперва его немецкую брошюру, а затем диссертацию о гуне)[35]. На том же декабрьском заседании Общества его вице-секретарь Ferdinand de Saussure посвятил свой доклад фонетике романских говоров Швейцарии, а в январе в присутствии Соссюра и романиста Л. Авэ (L. Havet) состоялся доклад Бодуэна по вопросам славянской фонетики. Это был казанский, наиболее динамический и творческий период в работе нашего лингвиста, и семь лет спустя в письме к Бодуэну Соссюр с отрадой вспоминал о их парижских беседах, а в ноябре 1891 г., заняв новосозданную кафедру сравнительной истории индоевропейских языков в Женевском университете, он в начале курса, как свидетельствуют его записки, подчеркнул необходимость изучения живых языков для понимания общих принципов языка, с другой же стороны — бесплодность и методологическую несостоятельность изучения отдельных языков, если бы такая работа не сопровождалась последовательным стремлением «à venir illustrer le problème général du langage». В качестве ученых, успешно сочетающих крайнюю специализацию с даром крайнего обобщения, Соссюр назвал романских языковедов Гастона Пари, Павла Мейера и Гуго Шухардта, германиста Германа Пауля и славистов Бодуэна де Куртенэ и Крушевского[36]. В то время только что вышла в

[33] „Über die Lautabwechslung" (Казань, 1881).

[34] „Die Lautalternation und ihre Bedeutung für die Sprachentwickelung, belegt durch Beispiele aus den Türksprachen".— In: „Abhandlungen des 5. Internat. Orientalisten-Congresses gehalten zu Berlin in 1881" (Берлин, 1882).

[35] См. E. Benveniste. Lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet. Appendice II.— „Cahiers Ferdinand de Saussure", XXI (1964), и его же памятку „Ferdinand de Saussure à l'Ecole des Hautes Etudes".— „Ecole Pratique des Hautes Etudes". Annuaire (1964/1965). В библиотеке Женевского университета хранятся три работы Крушевского, подаренные автором Соссюру: „Über die Lautabwechslung" (с пометками последнего), „К вопросу о гуне" и „Лингвистические заметки".

[36] „Notes inédites de F. de Saussure".— „Cahiers Ferdinand de Saussure", XII (1954), с. 66.

немецкой версии вторая половина „Очерка“ Крушевского (см. ниже сл. абз.) Наконец, набрасывая свой, по обыкновению так и не дописанный критический отзыв о книге своего ученика Альбера Сешеэ „Programme et méthodes de la linguistique théorique“ (Париж — Женева, 1908), Соссюр отметил, что предшествующие опыты по теории языка, начиная от Гумбольдта до Германа Пауля и Вундта, содержат один лишь подготовительный материал: «Бодуэн де Куртенэ и Крушевский стояли ближе, чем кто-либо иной, к теоретической концепции языка, не выходя при этом за пределы чисто лингвистических умозаключений; между тем они остались неизвестными миру западных ученых» [37].

Глубокое убеждение Крушевского в донаучности всего, что было сделано в области теоретической лингвистики, подверглось резкому осуждению в вышеупомянутом некрологе, вышедшем из-под пера Бодуэна, но полностью разделяется Соссюром. Как низко последний расценивал прославленные труды предшественников, свидетельствует его знаменательная беседа 19 января 1909 г., цитируемая в книге Роберта Годеля „Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure“ (1957). Рассматривая вопрос о необходимости разработать общую грамматику, он заявил: «Нет темы труднее; пришлось бы подвергнуть обсуждению и, следственно, опровергнуть все, что Герман Пауль и современники написали по этому поводу». Соссюр был, без сомнения, основательно знаком с работами Крушевского, привезенными в Париж Бодуэном, по меньшей мере с рассуждением „Über die Lautabwechslung“; между прочим, вышеназванный романист Л. Авэ, от которого Соссюр в 1878 г. перенял термин „фонема“, прочел названную брошюру и рекомендовал ее читателям „Revue critique“. Явно усвоил Соссюр и немецкую версию „Очерка науки о языке“, озаглавленную „Prinzipien der Sprachentwickelung“ и печатавшуюся горячим приверженцем этой работы, фонетистом и лингвистом Ф. Техмером в его „Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft“ с 1884 до 1890 г.[38]

Идеи Крушевского явно оказали глубокое и благотворное влияние на теоретическую мысль Соссюра, в частности на его лекции по общему языкознанию, читанные в 1906—1911 гг., т. е. как раз в ту эпоху его деятельности, которая отразилась в примечательном наброске рецензии на Сешеэ. Оригинальное учение Николая Крушевского о гармоническом целом языковой системы и ее частей и о двух структурных принципах, лежащих в основе языка, нашло себе точное соответствие в соссюровском „Cours de linguistique générale“. Вторая часть этого курса, „Синхроническая лингвистика“, безусловно, восходит, особенно в своих последних главах, к названному синтетическому труду Кру-

---

[37] R. Godel, с. 51. Ср. повторные сетования А. Мейе на незнакомство западного ученого мира с идеями Бодуэна: А. А. Леонтьев. Бодуэн и французская лингвистика.— „Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка“, XXV (1966), с. 331 и сл. Что касается Крушевского, то он оставался недооценен и полузабыт и в польской, и в русской, и в международной научной печати.

[38] „Prinzipien der Sprachentwickelung“.— „Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft“, I (1884), II (1885), III (1886), V (1890).

шевского. Вплоть до деталей воспринято его противопоставление двух типов языковых отношений: с одной стороны, ассоциация по смежности, связывающая языковые единицы в ряды, и, соответственно, в лекциях Соссюра учение о «синтагматических отношениях» между членами линейного ряда (suite linéaire), с другой же стороны, ассоциация по сходству, своего рода «узы сродства», группирующие весь наличный состав языковой системы в множество координированных семейств, или гнезд, а в передаче Соссюра solidarité associative (со ссылкой на тип ассоциации не в самом термине, но в его определении) и характерное пояснительное обозначение «groupement par familles». Через женевский „Cours" основополагающая мысль „Очерка" о двух языковых осях, синтагматической и, как нынче принято говорить, парадигматической, прочно вошла в современную международную лингвистику. Этой дихотомией, как и рядом других идей Крушевского, воспользовался и Бодуэн в своих поздних трудах, особенно в петербургских литографированных курсах „Введения в языковедение", но следует отметить, что концепция Крушевского в этом плане несравненно систематичней, последовательней и шире, чем у Бодуэна и Соссюра. Она дает надлежащее место и объяснение принципу т. н. „аналогии" и перебрасывает мост из синхронической лингвистики в диахронию, тогда как в лекциях Соссюра подсказанная Крушевским антиномия между неизменностью и изменчивостью знаков, их солидарностью с прошлым и неверностью прошлому оказалась лишена внутреннего обоснования, а вопросы грамматической аналогии и народной этимологии остались неприкаянными. Вопрос о языковом производстве, увлекательно развернутый в связи с дуализмом сходства и смежности, не нашел себе отклика ни у Бодуэна, ни у Соссюра, да и вообще были надолго преданы забвению два смелых тезиса Крушевского: один о «вечном творчестве языка», выдвинутый в „Очерке" с прямой ссылкой на Гумбольдта, а другой, замыкающий книгу и открывающий на будущее время жгучую дискуссию: «Развиваясь, язык вечно стремится к полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий [39].

Написано в Кембридже, Масс., зимой 1965/66 г. для подготовленного к печати тома избранных сочинений Крушевского в польских переводах Е. Куриловича и К. Поморской.

---

[39] В интересах истории творческой лингвистической мысли необходимо изучить и напечатать поныне не изданные труды Крушевского, отмеченные в статье М. В. Черепанова „Язык как система в понимании Н. В. Крушевского".— „Ученые Записки Глазовского Гос. Пед. Института им. В. Г. Короленко", VII (1958): «Неопубликованные рукописи Н. В. Крушевского из личного архива В. А. Богородицкого, находящегося в распоряжении наследницы Богородицкого А. Н. Мироносицкой: 1. Курс лекций, читанный Н. В. Крушевским в 1883/84 учебном году в Казанском университете,— „Сравнительная фонетика древнейших представителей арноевропейской семьи языков"; 2. Рукопись по сравнительному языкознанию и лингвистической палеонтологии; 3. Рефераты, посвященные отдельным трудам К. Бругманна, Г. Пауля, Г. Мейера Г. И. Асколи, Л. Мазинга, В. Ягича, А. Куна, П. А. Лавровского, Г. Курциуса» (с. 26).

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК В ЕВРОПЕЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ *

Дорогие друзья! На настоящем симпозиуме, посвященном европейским основаниям американской лингвистики, меня попросили рассказать о науке о языке в Америке и в Европе двадцатого столетия. Данная тема была, очевидно, предложена потому, что я оказался свидетелем интернационального развития лингвистической мысли в течение длительного периода, состоящего из шести десятилетий. Я следил за этим развитием сначала в старших классах Лазаревского Института восточных языков, потом — изучая лингвистику и занимаясь научно-исследовательской работой в Московском университете, затем в Праге и других западноевропейских, в особенности в скандинавских, центрах лингвистической мысли, а начиная с сороковых годов — в Америке, нередко наезжая и в другие зоны интенсивных лингвистических изысканий.

Как сказал мой именитый коллега Эйнар Хауген в своей последней статье „Полвека Лингвистического общества" (Haugen, 1974), «каждый из нас дорожит своими воспоминаниями». Поэтому позвольте мне обратиться к моему первому, хотя и не непосредственному знакомству с ЛОА **. В марте 1925 г. ведущий чешский ученый, специалист как по англистике, так и по общему языкознанию, Вилем Матезиус вместе со своим преданным младшим сподвижником, также специалистом в указанных областях, Богумилом Трнкой пригласили Сергея Карцевского и меня на консультативное совещание. Матезиус начал с объявления о двух событиях. Первым из них было десятилетие Московского лингвистического кружка, который, надо добавить, к тому времени уже распался; создание этого кружка в 1915 г. и его бур-

* Roman Jakobson. The twentieth century in European and American linguistics: movements and continuity.— In: „The European Background of American Linguistics". Dordrecht, 1979. Доклад, прочитанный в связи с 50-летием Лингвистического Общества Америки.

** Лингвистическое Общество Америки.— *Прим. перев.*

ная деятельность надолго стимулировали развитие русской и интернациональной лингвистики и поэтики. Когда в 1920 г. я приезжал в Прагу, Матезиус расспросил меня о структуре и работе Московского кружка, а затем сказал: «Нам здесь тоже нужна будет такая группа, но пока еще рано. Надо подождать дальнейших продвижений». Перед началом наших дебатов в 1925 г. он сообщил и самую последнюю и многообещающую новость — о том, что образовалось Лингвистическое Общество Америки. Матезиус был одним из тех европейских лингвистов, кто с пристальным вниманием и симпатией следил за внушительным подъемом исследовательской деятельности американцев в науке о языке.

В октябре 1926 г. состоялось первое собрание Пражского лингвистического кружка. Общеизвестно, что это пражское сообщество, которое, как это ни странно покажется на первый взгляд, также распалось, дало мощный и долго ощущавшийся толчок развитию лингвистической мысли в Европе и в других местах. С самого начала между Лингвистическим Обществом Америки и Пражским лингвистическим кружком существовала тесная связь. Я не знаю, ясно ли молодому поколению ученых, насколько прочными были эти отношения. Письма Н. С. Трубецкого (J a k o b s o n, 1975) обнаруживают некоторые новые данные о разносторонних связях между американскими лингвистами и „école de Prague" *. В конце 1931 г. Трубецкой, погруженный тогда в изучение языков американских индейцев, подчеркивал, что «большинство американских ученых, которые занимаются языками индейцев, прекрасно описывают системы звуков, и их описания дают все необходимое для фонологической характеристики любого конкретного языка, включая эксплицитный перечень имеющихся консонантных сочетаний для разных позиций внутри морфем или на морфемных стыках». Трубецкой сохранял весьма высокое мнение об американском лингвисте, которого он называл «мой товарищ по Лейпцигу». Это был Леонард Блумфилд, сидевший в 1913 г. на одной скамье с Трубецким и с Л. Теньером на лекциях Лескина и Бругмана. Блумфилд же высоко оценил «великолепную,— как он сказал,— статью Трубецкого о системе гласных», написанную в 1929 г. (H o c k e t t, 1970 : 247), и посвятил свое проницательное исследование 1939 г. „Морфофонемика меномини" (H o c k e t t, 1970 : 351—362) памяти Н. С. Трубецкого.

У Пражского кружка были очень тесные связи с Эдуардом Сепиром. Когда в 1930 г. мы проводили Международную фонологическую конференцию, Сепир хотя и не смог на нее приехать, но вел с Трубецким оживленную переписку об этом собрании в Праге и о ходе дискуссий относительно языковой, и в особенности фонологической, структуры. От этой переписки почти ничего не осталось. Те из писем Сепира, которые не попали в руки гестапо, пропали, когда квартира вдовы

---

* 'Пражской школой' — (франц.) — *Прим. перев.*

Трубецкого в Вене была разрушена во время бомбежки. В свою очередь письма Трубецкого погибли, когда Сепир в конце жизни уничтожил весь свой эпистолярный архив. Тем не менее некоторые выдержки из одних писем Сепира остались в корреспонденции Трубецкого, а другие он цитировал на наших заседаниях. Примечательно, что Сепир подчеркивал сходство между своим и нашим подходами к основным проблемам фонологии.

И это отнюдь не единственные случаи трансокеанских схождений между лингвистами американского и европейского авангардов. Можно вспомнить и рассказать здесь о замечательном документе, опубликованном в журнале „Language" (Vol. 18, р. 307—309). В августе 1942 г. Лингвистическое Общество Америки получило через Антифашистский комитет советских ученых каблограмму. Это было письмо-телеграмма, отправленное из Москвы и подписанное выдающимся русским языковедом, бывшим секретарем Московского лингвистического кружка Григорием Винокуром. В этом телеграфном сообщении Г. Винокур подчеркивал, что молодым русским лингвистам, и прежде всего фонологам Московской школы, были особенно близки поиски и устремления ЛОА. Он отмечал, что советские языковеды глубоко ценили Сепира. По-видимому, первым изданием за границей книги Сепира „Язык" явился великолепный русский перевод этого исторического руководства, выполненный русским лингвистом А. М. Сухотиным с интересными редакционными комментариями о параллельных путях в языкознании разных стран.

В свете всех этих и многих других взаимосвязей вопрос об антагонизме, существующем якобы между американскими и европейскими лингвистами, снимается сам собой. Каждый реальный контакт опровергает представления о том, что это два раздельных взаимонепроницаемых научных мира с двумя различными и несовместимыми мировоззрениями. Иногда можно услышать утверждения, будто бы американские лингвисты не признают своих европейских коллег, и особенно тех, кто искал прибежища в их стране. Одним из тех, кого вторая мировая война привела в западное полушарие, был я, и я должен заявить, что подлинные ученые, выдающиеся американские лингвисты, приняли меня с братским гостеприимством и с искренней готовностью к научному сотрудничеству. Если же и встречались проявления враждебности и неприятия — а их нельзя было не заметить,— то исходили они только от отдельных ярых чиновников или же узколобых завзятых бюрократов и дельцов от науки, и я рад выразить свою признательность за ту единодушную моральную поддержку и защиту, которую мне оказывали такие истинные деятели науки, как Чарльз Фриз, Зеллиг Харрис, Чарльз Моррис, Кеннет Пайк, Мейер Шапиро, Моррис Сводеш, Стит Томпсон, Гарри В. Велтен, Чарльз Ф. Фёгелин и многие другие.

Одним из первых американских лингвистов, с кем я встретился по приезде сюда и кто стал настоящим моим другом, был Леонард Блумфилд. Как в устной, так и в письменной форме он неоднократно выражал свое неприятие нетерпимости любого рода и выступал против «тле-

творного воздействия, которое оказывает odium theologicum»*, и против «осуждения всякого, кто не согласен» с вашими интересами и мнениями или же «кто просто предпочитает говорить о чем-то ином». Тот факт, что кто-то, писал Блумфилд в 1945 г., «не согласен в отношении методологии и теории с другим, включая меня самого, не имеет значения; было бы пагубно иметь лишь одну общепринятую доктрину». Я вспоминаю наши дружеские и живые споры; Блумфилд хотел, чтобы я остался и работал вместе с ним в Йельском университете, и заверял меня, что был бы счастлив иметь рядом кого-нибудь, с кем можно было бы по-настоящему поспорить. Великий лингвист решительно отвергал всяческую себялюбивую и самодовольную ограниченность.

С первых же дней пребывания в этой стране в июне 1941 г. я испытал на себе, насколько глубоко был прав впоследствии Блумфилд в суждении, высказанном им в некрологе Францу Боасу:

«Доброта и великодушие его не знали границ». (Hockett, 1970: 408). Блумфилд же мудро подытожил и фундаментальную роль, которую сыграл для американского языкознания этот родившийся в Германии ученый, приехавший в Соединенные Штаты в возрасте двадцати восьми лет: «Те достижения, которые были потом сделаны в фиксации и описании человеческой речи, произросли из корней, ствола и мощных ветвей дела жизни Боаса». А вспоминая самого основателя и искусного руководителя труда „Хрестоматия по языкам американских индейцев", я вижу перед собой его дом в Грантвуде (штат Нью-Джерси), пронизанный атмосферой дружелюбия и благожелательности, где хозяин с присущим ему глубоким чувством юмора говорил в моем присутствии своей сестре: «Якобсон ist ein seltsamer Mann! ** Он думает, что я американский лингвист!»

Боас твердо верил в интернациональный характер языкознания, как и любой другой истинной науки, и никогда не согласился бы с упорными требованиями замыкать научные теории и исследования в рамки узкого регионализма. Он настаивал на том, что любая аналогия с борьбой за национальные интересы в политике и экономике является здесь поверхностной и натянутой. В науке о языке нет запатентованных открытий и каких-либо осложнений с межгрупповой или межличностной конкуренцией, с правилами ввоза и вывоза товаров или догм. Чем прочнее и теснее сотрудничество лингвистов всего мира, тем шире горизонты нашей науки. Боас любил отыскивать наглядные примеры конвергентного развития или билатерального распространения не только в универсуме самих языков, но и во всем творческом мире науки о языке.

Можно добавить, что изоляционистские тенденции в научной жизни обоих полушарий оставались лишь временными и незначительными эпизодами и что международная роль американских лингвистов и, в частности, трансокеанское влияние достижений американцев в тео-

---

* 'теологическая ненависть'. — *Прим. перев.*

** 'Странный человек этот Якобсон!' (нем.) — *Прим. перев.*

рии языка обнаруживаются столь же рано, как и европейские модели в американском языкознании.

В течение второй половины прошлого века именно в Германии получили наиболее широкое развитие и распространение исследования в области сравнительной индоевропеистики. Однако новые и плодотворные идеи в общем языкознании возникали за пределами ее ученого мира. К концу XIX в. Карл Бругман и Август Лескин, два ведущих немецких компаративиста и проповедника учения всемирно известной лейпцигской школы младограмматиков, подчеркнуто признавали, что европейские исследования по истории языков получили мощный толчок для своего развития благодаря оригинальной трактовке общих принципов и методов американским лингвистом Уильямом Дуайтом Уитни. Одновременно с ними Фердинанд де Соссюр (J a k o b s o n, 1971: XXVIII—XLIII) утверждал, что Уитни, сам не написавший о сравнительном языкознании ни одной страницы, был единственным, кто «оказал влияние на все исследования по сравнительной грамматике», притом что в науке о языке в Германии, где, как считают, эта наука родилась, где ее развивали и вынашивали многочисленные последователи, по мнению Соссюра (а также и Уитни), не проявляли «ни малейшего желания достичь определенной степени абстракции, которая нужна, чтобы ею руководствоваться в том, что ты делаешь, и находить оправдание, почему ты это делаешь, в общей перспективе всех наук». Снова обратившись в конце своей научной деятельности к «теоретическому подходу к языку», Соссюр неоднократно и с уважением отзывался об «американце Уитни, кто ни разу не сказал на эту тему ни единого слова, которое нельзя было бы не признать справедливым». Труды Уитни по общему языкознанию были сразу же переведены на французский, итальянский, голландский и шведский языки и имели куда более широкое и глубокое влияние в Европе, чем у него на родине.

В течение многих лет американские исследователи языка, поглощенные частностями, забывали, казалось, о давнем завете Уитни, заклинавшего их не терять из виду «те великие истины и принципы, которые лежат в основе их деятельности и определяют ее смысл и осознание которых должно направлять ее ход от начала и до конца» (1867). Леонард Блумфилд был фактически первым американским ученым, кто с первых же своих шагов в лингвистической теории стремился возродить для исследования языка завещанное Уитни.

Высказывая мнение о том, что „Принципы науки о языке" Уитни были скорее и глубже освоены в Старом Свете, можно отметить параллельно и то, как в Новом Свете был принят „Курс общей лингвистики" Соссюра. Хотя это посмертное издание и открывало новую эпоху в истории языкознания, при его появлении нашлось всего несколько лингвистов, способных усвоить основные уроки женевского учителя. Первоначально большинство западноевропейских специалистов за пределами его родной Швейцарии относились к концепции Соссюра сдержанно, и, как это ни удивительно, одной из стран, где его теория ассимилировалась особенно медленно, оказалась Франция. Одним из

самых первых непредубежденных ценителей и приверженцев „Курса“ стал американский ученый. О двух первых изданиях Соссюра Блумфилд высказывался не только в отдельной рецензии на них в журнале „Modern Language Journal“ (1923—1924; Hockett, 1970 : 106—109), но и в своем критическом разборе „Языка“ Сепира (1922; Hockett, 1970 : 91—94) и „Философии грамматики“ Есперсена (1927; Hockett, 1970: 141—143), а также в нескольких из своих последующих текстов, которые все стали общедоступными благодаря Чарльзу Ф. Хоккету и его великолепной антологии (1970).

Согласно вышеупомянутой рецензии на „Курс“, девятнадцатый век «проявлял мало или совсем не проявлял интереса к общим аспектам человеческой речи»; таким образом, Соссюр в своих лекциях по общему языкознанию «стоял почти особняком», и его посмертно изданная работа «дала нам для науки о человеческой речи ее теоретический фундамент». Рецензируя „Язык“ Сепира, Блумфилд приходит к выводу, что вопрос о взаимовлиянии или о простом совпадении новаторских идей «не имеет значения для науки», однако попутно он отмечает, что Сепиру, возможно, была знакома книга Соссюра, «которая дает теоретическое основание для новейшей тенденции в лингвистических исследованиях». Он был особенно рад вид видеть, что Сепир «занимается вопросами синхронии (в терминологии Соссюра) до того, как берется за диахронию, и отводит первой не меньше места, чем второй».

Блумфилд принимает у Соссюра не только его строгое деление лингвистики на синхроническую и диахроническую, но и другую отстаиваемую в „Курсе“ дихотомию, а именно строгую бифуркацию человеческой речи (langage) на абсолютно однородную систему (langue) и «фактическое речевое высказывание» (parole). Он заявляет о своем полном согласии с «фундаментальными принципами» „Курса“ (Hockett, 1970 : 141—142; 107): «Для меня, как и для де Соссюра... и в определенной степени для Сепира... вся эта соссюровская la parole * лежит за пределами компетенции нашей науки... Наша наука может иметь дело только с теми чертами языка — la langue, по Соссюру,— которые являются общими для всех членов данного речевого коллектива: фонемы, грамматические категории, лексикон и т. д. ... Грамматические или лексические утверждения по сути своей — абстракция». Но, по мнению Блумфилда, Соссюр «доказывает, сознательно и по всей форме, что психология и фонетика не имеют никакого значения и в принципе не требуются для исследования языка». Абстрактные характеристики la langue у Соссюра образуют «систему настолько жесткую, что даже при отсутствии адекватных сведений по физиологии и при том состоянии хаоса, в котором пребывает психология, мы тем не менее можем,— утверждает Блумфилд,— подвергнуть такую систему научному анализу».

Согласно программным работам Блумфилда двадцатых годов, „новейшая тенденция“ с ее соссюровским теоретическим фундаментом

* ‘речь’ (франц.). — *Прим. перев.*

«затрагивает два критических момента». В первом случае, и Блумфилд еще раз подчеркивает этот момент в своей работе 1927 г. „О последних исследованиях по общему языкознанию" (H o c k e t t, 1970: 173—190), намеченный Соссюром контур отношений между „синхронической" и „диахронической" наукой о языке дает «теоретическое обоснование» для признания в настоящее время за дескриптивной лингвистикой ее места «рядом с историческим языкознанием, а пожалуй, и впереди его» (1970:179). В данной связи стоит упомянуть, что Блумфилд осознал даже разительное противоречие между поисками новых путей в синхронической лингвистике Соссюра и стабильной, почти младограмматической позицией последнего по отношению к «лингвистической истории» и склонен был считать, что здесь вряд ли можно узнать «что-то фундаментальное, чего не знал еще Лескин» (см. H o c k e t t, 1970 : 177—178 и 542).

Касаясь второго критического момента «современной тенденции» в языкознании, Блумфилд настоятельно рекомендует два ограничительных определения единственно достижимой в нем цели: он приводит соссюровский довод в пользу «la langue — социально однородной языковой модели» (H o c k e t t, 1970:177) и призыв Сепира «исследовать функцию и форму произвольных символических систем, которые мы называем языками» (H o c k e t t, 1970:92—93, 143).

Настаивая на том, что данный предмет должен изучаться «в себе самом и для себя», Блумфилд воспроизводит буквально заключительные слова „Курса". И, как это ни странно, оказывается, что тут он верен тексту опубликованных лекций Соссюра в большей степени, чем сам лектор. Как выяснилось впоследствии, выделенное курсивом заключительное предложение в „Курсе": «La linguistique a pour unique et véritable object la langue envisagée en elle-même et pour elle-même» *, несмотря на то что покойный учитель никогда не произносил его, добавили к посмертно изданной книге восстановившие ее редакторы как «l'idée fondamentale de ce cours» **. Согласно подлинным заметкам и лекциям Соссюра, язык следует рассматривать не в изоляции, но как особый случай среди других знаковых систем в рамках общей науки о знаках, которую он называет sémiologie ***.

Тесная связь первых шагов в общем языкознании Блумфилда (можно добавить — и Сепира) с европейской наукой о языке, так же как и значимость Уитни для Старого Света, свидетельствует о постоянных взаимосвязях между лингвистами обоих полушарий.

Когда Блумфилд впервые обратился к «идее фонемы», он внимательно изучал концепции, развиваемые школой Суита, Пасси и Дэниеля Джоунза, и при встрече со мной упоминал, сколь многим он был обязан «классическому руководству» Генри Суита „Практическое исследование языков" (1900). Занявшись данной проблематикой, Блум-

* 'единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя'. (Перев. с франц. А. М. Сухотина. См. Фердинанд де С о с с ю р. Труды по языкознанию. М., «Прогресс», 1977.)— *Прим. перев.*

** 'основополагающую идею этого курса' (франц.).— *Прим. перев.*

*** 'семиологией' (франц.).— *Прим. перев.*

филд сразу же сопоставил различие между дискретностью фонем и «реальным континуумом звуков речи» с соссюровской оппозицией langue/parole * (H o c k e t t, 1970:179) и нашел «точные формулировки» в „Versuch einer Theorie der phonetischen Alternationen" ** (1895) Бодуэна де Куртене (H o c k e t t, 1970:248). В этой же книге он обнаружил для себя и продуктивное понятие с предложенным для него Бодуэном де Куртене терминологическим обозначением *морфема* (H o c k e t t, 1970:130). Этому же названию, заимствованному также из терминологии Бодуэна, во французской лингвистической литературе ошибочно придали значение „аффикс".

В европейской языковедческой традиции есть несколько классических трудов, которые неизменно привлекают к себе особое внимание и пользуются признанием в американской науке о языке. Так, те две книги, которые столь пленили Н. Хомского — одна, написанная Гумбольдтом, и другая — Отто Есперсеном,— неоднократно со времени своего появления получали от американских лингвистов живые и хвалебные отзывы. Так, по оценке Сепира, «новые горизонты лингвистической мысли, открываемые трудами Вильгельма фон Гумбольдта», и его трактат „Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues..." *** заставили Блумфилда прийти в восхищение от «интуиции этого великого ученого»; что же касается шедевра Есперсена, то Бернард Блох в 1941 г. признавал «величие „Философии грамматики"», а Блумфилд в своей рецензии 1927 г. подчеркнул, что эта книга «навечно обогатит собой английскую грамматику» (H o c k e t t, 1970:143, 180).

Широко распространенный миф о наличии одной-единственной и единообразной американской лингвистической школы и о ее безраздельном контроле по всей стране, пусть даже в течение только определенных периодов в развитии науки о языке в Соединенных Штатах, не соответствует действительному положению вещей. Ни географическая, ни историческая значительность того или иного научного направления не может определяться по количеству его последователей, которые, как метко заметил Мартин Джоос (J o o s, 1957: V), «усваивают принятые в данное время приемы, но не вдумываются в то, что за ними стоит». Что действительно имеет значение, так это только качество как теоретически, так и эмпирически достигнутых результатов.

В Америке, как и в Европе, всегда имелось, к счастью, внушительное разнообразие подходов к основополагающим принципам, методам и задачам лингвистики. В своих первых трудах Лингвистическое Общество Америки продемонстрировало поразительное различие во взглядах. Его первый президент Германн Коллиц из Университета Джонса Гопкинса на открытии Общества в своей речи „Границы и

---

* 'язык/речь' (франц.).— *Прим. перев.*

** „Опыт теории фонетических альтернаций".— *Прим. перев.*

*** „О различии строения человеческих языков [и его влиянии на духовное развитие человечества]".— *Прим. перев.*

цели лингвистической науки“ 28 декабря 1928 г. (C o l l i t z, 1925) говорил о том, что условия для нового этапа в развитии «общей, или „философской“, грамматики» быстро становятся все более благоприятными. Коллиц сделал упор на главные проблемы общего языкознания, одна из которых касается «соотношения грамматических форм и мыслительных категорий». Он ссылался в данной связи на «компетентное исследование, написанное американским ученым», а именно: „Грамматику и мышление“ Альберта Д. Шеффилда (Нью-Йорк, 1912; H o c k e t t, 1970:34), книгу, чье появление, надо добавить, Блумфилд «искренне приветствовал» в своей рецензии 1912 г. как «трезво написанную работу о более общих аспектах языка». Другую проблему общего языкознания Коллиц определил как «единообразные явления, а также и условия, постоянно или регулярно воспроизводящиеся в человеческой речи вообще». Последняя проблема вскоре после того стала предметом разногласий на собраниях ЛОА: скептики были расположены отрицать существование общих категорий, поскольку ни один лингвист не может знать, какие из них встречаются, и встречаются ли они вообще, во всех языках мира, тогда как Сепир со все возрастающим упорством трудился над серией предварительных работ к своим „Основаниям языка“ — широкомасштабной программе универсальной грамматики, чем он так дорожил до конца своих дней.

То место в упомянутой речи Коллица, где говорилось о «мыслительных категориях» как коррелятах внешних форм, содержало намек на вопрос, который вот-вот должен был на десятилетия стать постоянным casus belli * между двумя лингвистическими течениями в Америке, где их соответственно окрестили „ментализмом“ и „механицизмом“, или „физикализмом“. В отношении затронутых в речи Коллица центральных проблем общего языкознания у Блумфилда в его вступительной статье „Для чего создано лингвистическое общество“ (для первого выпуска журнала Общества „Language“ (H o c k e t t, 1970:109—112)) был принят примирительный тон: «Наука о языке, имеющая дело с самым существенным и простейшим из всех общественных институтов человека, есть наука о человеке (или наука ментальная, или, как говорили раньше, моральная)... Лингвистике остается решать, что распространено широко и что частично свойственно всей человеческой речи вообще». Однако уже две составляющие второй выпуск того же тома журнала теоретические статьи — „Звуковые модели в языке“ Сепира и „Лингвистика и психология“ А. П. Вейсса — выявили наличие крупного научного раскола. Эпохальная статья Сепира — один из самых дальнозорких вкладов, сделанных американцами в овладение лингвистической методологией и в ее прогресс,— декларирует с первых же строк, что никакие языковые явления или процессы, и в особенности звуковые модели и звуковые процессы речи (например, умлаут или так называемый закон Гримма), не могут быть правильно поняты в простых механических сенсомоторных терминах. Ведущая роль отводилась здесь «интуитивному выравниванию модели», прису-

* ‘повод к войне; формальный повод к объявлению войны’ (лат.).— *Прим. перев.*

щему всем носителям данного языка. Как пишет автор статьи в заключение, весь ее пафос и ее цель состояли в намерении показать, что фонетические явления не являются физическими явлениями per se *, и дать «специальную иллюстрацию необходимости проникнуть в то, что скрывается за чувственными данными выражения любого типа и посредством этого уловить интуитивно ощущаемые и сообщаемые формы, которые одни только придают такому выражению значимость».

Нападки Сепира на механистические подходы к языку свидетельствовали о том, что взгляды его резко расходятся со взглядами бихевиориста-психолога Альберта Пауля Вейсса. Статья последнего появилась в журнале „Language" по рекомендации Блумфилда, который преподавал вместе с Вейссом в Университете штата Огайо в 1921—1927 гг. и попадал под все более сильное влияние его доктрины. В этой статье 1925 г. Вейсс представляет создаваемую языковым поведением «организацию сложного многоклеточного типа» и отводит письменному языку ведущую роль в увеличении все «более эффективного сенсомоторного взаимообмена между живыми и мертвыми». В пространном очерке Блумфилда „Лингвистические аспекты науки" (1939) с многочисленными отсылками на Вейсса этот образ был подхвачен и развит: «Язык ликвидирует разрыв между отдельными нервными системами... Точно так же, как отдельно взятые клетки соединяются в многоклеточный организм животного, так и обособленные человеческие личности объединяются в речевой коллектив... Мы можем не метафорически говорить здесь о социальном организме».

Но особенно прочно привязывает Блумфилда к работам Вейсса требование последнего рассуждать о поведении человека только в терминах, обозначающих понятие материального. Рассматривая «Соотношение между структурализмом и бихевиоризмом» в журнале „Psychological Review" (1917), Вейсс отвергает стремления структуралистов «описывать структуру разума или сознания» и заявляет, что всякое сотрудничество между ними и бихевиористами окажется невозможным после того, как будут тщательно рассмотрены стоящие за этими методами фундаментальные представления и теоретические установки каждого из них.

В соответствии с данными указаниями Блумфилд налагал запрет на любое „менталистское воззрение" как на «донаучный подход к тому, что связано с человеком», или даже как на «снадобье первобытного анимизма» с его «телеологическим и анимистическим многословием», а именно: воля, волеизъявление, желание, страсть, чувство, ощущение, восприятие, разум, мысль, всеобщность, вера и другие «маловразумительные спиритически-телеологические словечки нашей клановой речи». В упоминавшихся „Лингвистических аспектах науки" (Bloomfield, 1939:13) можно натолкнуться на парадоксально сформулированное признание: «Автор настоящей работы верит [!] в то, что научное описание мира... не требует никаких менталистских

---

* 'сами по себе' (лат.) — *Прим. перев.*

терминов». В своем президентском обращении к членам Лингвистического Общества Америки в 1935 г. Блумфилд предсказывал, что «уже при жизни следующих поколений» терминология ментализма и анимизма «будет отвергнута, как мы отвергли Птолемееву астрономию» (H o c k e t t, 1970: 322).

Это разительное несходство по самой сути их научного мировоззрения между двумя вдохновителями Лингвистического Общества находило-таки и свое открытое выражение — в устных отзывах Сепира о «школярских познаниях Блумфилда в психологии» и в кличке „шаман", данной Блумфилдом Сепиру (H o c k e t t, 1970:540). На диаметральную противоположность в отношении обоих из них к таким вещам, как «синтез лингвистики и других наук», специально указывалось в работах Блумфилда (H o c k e t t, 1970:227, 249).

Это различие между двумя методами подхода усугублялось с годами и заметно повлияло на направление и судьбы семантических исследований в американской лингвистике. С одной стороны, изучение „коммуникативного символизма" языка по всем его рангам и на всех уровнях, от звуковой модели, через лексические и грамматические понятия к «единому значению непрерывного повествования», играло все более важную роль в деятельности Сепира. И в 1937 г., прямо ссылаясь на его вдохновляющее учение, Бенджамен Л. Уорф сказал, что «сама суть языкознания заключается в поисках значения» (W h o r f, 1956: 79). С другой стороны, Блумфилд, хотя он и ясно представлял себе, что обращение с речевыми формами и даже их фонемными компонентами «предполагает учет значений», признавался в то же время в своей работе „Значение" (1943), что «оперирование значениями чревато неприятными последствиями», если только вы не встаете на «распространенную *(менталистскую)* точку зрения» и не говорите, что «речевые формы отражают ненаблюдаемые, нематериальные явления *в сознании* говорящих и слушающих» (H o c k e t t, 1970:401).

Трудности, связанные с учетом значения при отрицании любых „ментальных" явлений, привели к неоднократным попыткам со стороны младшего поколения исследователей языка анализировать языковую структуру без какого бы то ни было упоминания о семантике, что шло вразрез с признанием значения как неизбежного критерия у Блумфилда. Сам Блумфилд был готов отрицать не только законность таких притязаний, но и просто возможность их существования (ср. F r i e s, 1954). Тем не менее к концу сороковых годов эксперименты в антисемантической лингвистике получили широкое распространение. Летом 1945 г. меня пригласили прочесть цикл лекций в Чикагском университете. Когда я сообщил им название предполагаемого цикла: „Значение как центральная проблема языкознания», с факультета последовало дружеское предупреждение, что эта тема является рискованной.

Было бы заблуждением, однако, рассматривать отказ от семантической интерпретации как общую и специфическую черту американской лингвистической методологии хотя бы и на какой-то краткий промежуток времени. Этот преходящий остракизм был интересной и

плодотворной пробой, которой сопутствовала и поучительная на нее критика и на смену которой пришло не менее пылко и громко приветствуемое стремление поощрять семантический анализ сначала в лексике, а затем и в грамматике.

И наконец, о том, что несет на себе печать американского происхождения. Это наука о семиотике, которую создавал с шестидесятых годов прошлого века, в конце его и в начале двадцатого века Чарльз Сэндерс Пирс, знаковая теория, в которую, как справедливо признавал (под влиянием Чарльза Морриса) Блумфилд, «основной вклад внесла лингвистика» и которая в свою очередь подготовила основания для подлинно лингвистической семантики. Однако, несмотря на это, *семиотика* Пирса в течение десятилетий оставалась роковым образом неизвестной лингвистам как Нового, так и Старого Света.

Подведем итоги. Наука о языке в Америке дала ряд замечательных, выдающихся мыслителей международного значения — назову только тех из них, кого уже нет с нами: Уитни, Пирс, Боас, Сепир, Блумфилд, Уорф. То, что мы видим в настоящий момент и что оказывается чрезвычайно своевременным,— это все возрастающая интернационализация лингвистической науки, избавившейся от нелепого страха перед заграничными образцами и «интеллектуальным фритредерством».

Можно пока еще упрекнуть американских исследователей и ученых, как и их коллег в различных европейских странах, в том, что они часто бывают склонны ограничивать круг своего знакомства с научной литературой книгами и статьями, издаваемыми на их родном языке и у себя на родине, и ссылаются преимущественно на местные публикации. В ряде случаев эта склонность проистекает просто из недостаточного владения иностранными языками — дефект, имеющий среди лингвистов широкое распространение. По этой именно причине до сих пор пребывают в неизвестности серьезные исследования, написанные на русском и других славянских языках, хотя некоторые из них и открывают новые перспективы.

Наконец, стоит упомянуть и о наиболее отрицательном явлении в американской лингвистической жизни. Блумфилд, который в 1912 г. выражал «скромную надежду... на то, что наука о языке сможет со временем занять в Америке подобающее ей место среди других наук» (Hockett, 1970:33), незадолго перед концом своей научной деятельности вернулся к этому вопросу в примечательном обзоре „Лингвистическому Обществу двадцать один год". Он был, безусловно, прав, делая вывод, что «статус нашей науки вовне оставляет желать много лучшего, хотя и имеются кое-какие сдвиги». Сейчас, однако, эти сдвиги быстро сходят на нет. И снова видно, что вина в том не лингвистов, а тех бюрократов, кто под предлогом нехватки и экономии средств намерен упразднять или сокращать отделения и кафедры общего языкознания, сравнительной индоевропеистики, романских, скандинавских, славянских и других языков. Прилагаются усилия к тому, что-

бы, по язвительному выражению Сепира, обеспечить «языкознанию в Америке весьма бледный вид», поскольку эта наука, по-видимому, вряд ли способна «приносить денежный доход» (S a p i r, 1925: 4—150). Подобные действия в ущерб науке вызывают глубокое сожаление. Несмотря на современный кризис, Америка пока еще богаче большинства европейских стран, но ни в одной из них, даже в условиях экономического спада, не ликвидировались школы подготовки научных кадров и их лингвистические программы. В заключение позвольте мне тем не менее еще раз процитировать Леонарда Блумфилда. Пророчество, сделанное им сорок пять лет назад на совместном заседании Лингвистического Общества Америки и Ассоциации современных языков, гласит:

> «Я верю, что в недалеком будущем — при жизни, скажем, нескольких последующих поколений — лингвистика станет одной из главных областей научного прогресса».

Разве мы все, здесь присутствующие, не разделяем этой уверенности?

ЛИТЕРАТУРА

B a u d o u i n d e C o u r t e n a y, 1895 = B a u d o u i n d e C o u r t e n a y, Jan. Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, 1895.

B l o c h, 1941 = B l o c h, Bernard. Review of Jespersen O. Efficiency in linguistic change.— „Language", vol. 17, 1941, p. 350—353.

B l o o m f i e l d, 1939 = B l o o m f i e l d, Leonard. Linguistic aspects of science.— In: „International Encyclopedia of Unified Science", 1 : 4. University of Chicago Press, 1939.

C o l l i t z, 1925 = C o l l i t z, Hermann. Scope and aim of linguistic science.— „Language", vol. 1, 1925, p. 14—16.

F r i e s, 1954 = F r i e s, Charles. Meaning and linguistic analysis.— „Language", vol. 30, 1954, p. 57—68.

H a u g e n, 1974 = H a u g e n, Einar. Half a century of the Linguistic Society.— „Language", vol. 50, 1974, p. 619—621.

H o c k e t t, 1970 = H o c k e t t, Charles. A Leonard Bloomfield Anthology. Bloomington and London: Indiana University Press, 1970.

J a k o b s o n, 1971 = J a k o b s o n, Roman. The world response to Whitney's *Principles of Linguistic Science*.— In: S i l v e r s t e i n, Michael (ed.). Whitney on Language. Cambridge (Mass.) and London: M.I.T. Press, 1971.

J a k o b s o n, 1975 = J a k o b s o n, Roman (ed.). N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. The Hague and Paris: Mouton, 1975.

J o o s, 1957= J o o s, Martin (ed.). Readings in Linguistics [I]. Washington, American Council of Learned Societies, 1957.

S a p i r, 1924 = S a p i r, Edward. The grammarian and his language.— „American Mercury", vol. 1, 1924, p. 149—155.

S w e e t, 1899= S w e e t, Henry. The Practical Study of Languages. New York, Dent, 1899.

W e i s s, 1917= W e i s s Albert P. The relation between structural and behavior psychology.— „Psychololgical Review", vol. 24, 1917, p. 301—317.

W e i s s, 1925= W e i s s, Albert P. A theoretical Basis of Human Behavior. Columbus: Adams, 1925.

W h i t n e y, 1867= W h i t n e y, William Dwight. Language and the Study of Language. Twelve lectures on the principles of linguistic science. New York: Scribner, 1867.

W h o r f, 1956 = W h o r f, Benjamin L, Language Thought and Reality. Cambridge Mass.: M.I.T. Press, 1956.

О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПЕРЕВОДА *

Бертран Рассел как-то заметил: «Невозможно понять, что означает слово „сыр“, если не обладать нелингвистическим знакомством с сыром» [1]. Однако если, следуя основному философскому положению того же Рассела, мы будем «в традиционных философских проблемах обращать особое внимание именно на их лингвистический аспект», то нам придется признать, что понять значение слова cheese 'сыр' можно, лишь обладая лингвистическим знанием того значения, которое приписывается этому слову в английском лексиконе. Представитель культуры, кулинария которой не знает сыра, поймет английское слово cheese 'сыр' только в том случае, если он знает, что на этом языке слово cheese означает „продукт питания, сделанный из свернувшегося молока“, при условии, что он, хотя бы чисто лингвистически, знаком с понятием „свернувшееся молоко“. Мы никогда не пробовали ни амброзии, ни нектара и обладаем только лингвистическим знанием слов „амброзия“, „нектар“, а также слова „боги“ — названия мифических потребителей этих продуктов; однако мы понимаем эти слова и знаем, в каком контексте они обычно употребляются.

Значение слов „сыр“, „яблоко“, „нектар“, „знакомство“, „но“, „просто“ и вообще любого слова и любой фразы является несомненно лингвистическим или, если выражаться более точно и обобщенно, семиотическим фактом. Самым простым и верным аргументом против тех, кто приписывает значение (signatum) не знаку, а самому предмету, будет то, что никто никогда не нюхал и не пробовал на вкус значение слов «сыр» или «яблоко». Не существует signatum без signum. Значение слова «сыр» невозможно вывести из нелингвистического знания вкуса чеддера или камамбера без помощи словесного обозначения. Чтобы ввести незнакомое слово, требуется некий набор лингвистических зна-

---

* R. Jakobson. On Linguistic Aspects of Translation.— In: R. A. Brower (ed). On Translation. New York: Oxford University Press, 1966, p. 232—239.

ков. Если нам просто укажут на предмет, мы не сможем определить, является ли слово „сыр“ названием именно этого конкретного предмета или же любой коробки камамбера, камамбера вообще или любого сорта сыра, или любого молочного продукта, любого продукта вообще или вообще названием коробки независимо от ее содержимого. И вообще, означает ли это слово название неизвестного нам понятия? А может быть, оно выражает намерение предложить, продать этот предмет, запрет или, быть может, проклятие? (Кстати, указательный жест действительно может выражать проклятие: в некоторых культурах, в частности в Африке, этот жест выражает угрозу.)

Для нас, лингвистов и просто носителей языка, значением любого лингвистического знака является его перевод в другой знак, особенно в такой, в котором, как настойчиво подчеркивал Пирс [2], этот тонкий исследователь природы знаков, «оно более полно развернуто». Так, название „холостяк“ можно преобразовать в более явно выраженное объяснение — 'неженатый человек', в случае если требуется более высокая степень эксплицитности.

Мы различаем три способа интепретации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки того же языка, на другой язык или же в другую, невербальную систему символов. Этим трем видам перевода можно дать следующие названия:

1) Внутриязыковой перевод, или *переименование*,— интерпретация вербальных знаков с помощью других знаков того же языка.

2) Межъязыковой перевод, или *собственно перевод*,— интерпретация вербальных знаков посредством какого-либо иного языка.

3) Межсемиотический перевод, или *трансмутация*,— интерпретация вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем.

При внутриязыковом переводе слова используется либо другое слово, более или менее синонимичное первому, либо парафраза. Однако синонимы, как правило, не обладают полной эквивалентностью, например: Every celibate is a bachelor, but not every bachelor is a celibate 'Каждый, давший обет безбрачия,— холостяк, но не каждый холостяк — это человек, давший обет безбрачия'. Слово или фразеологический оборот (иначе говоря, единицу кода более высокого уровня) можно полностью интепретировать только через эквивалентную комбинацию кодовых единиц, то есть через сообщение, относящееся к этой единице. Every bachelor is an unmarried man, and every unmarried man is a bachelor 'Каждый холостяк — это неженатый человек, и каждый неженатый — холостяк' или: Every celibate is bound not to marry, and everyone who is bound not to marry is a celibate 'Каждый, кто дает обет безбрачия, обязуется не жениться, и каждый, кто обязуется не жениться, есть человек, давший обет безбрачия'.

Точно так же на уровне межъязыкового перевода обычно нет полной эквивалентности между единицами кода, но сообщения, в которых они используются, могут служить адекватными интерпретациями иностранных кодовых единиц или целых сообщений. Английское слово cheese не полностью соответствует своему обычному русскому гете-

рониму «сыр», потому что его разновидность — cottage cheese 'творог' — на русском языке не означает 'сыр'. По-русски можно сказать: „Принеси сыру и творогу" — Bring cheese and [sic] cottage cheese. На литературном русском языке продукт, сделанный из спрессованного свернувшегося молока, называется „сыром" только тогда, когда для его производства используется особый фермент.

Однако чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного целого сообщения другим. Такой перевод представляет собой косвенную речь; переводчик перекодирует и передает сообщение, полученное им из какого-то источника. Таким образом, в переводе участвуют два эквивалентных сообщения, в двух различных кодах. Эквивалентность при существовании различия — это кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики. Как и любой получатель вербального сообщения, лингвист является его интерпретатором. Наука о языке не может интепретировать ни одного лингвистического явления без перевода его знаков в другие знаки той же системы или в знаки другой системы. Любое сравнение двух языков предполагает рассмотрение их взаимной переводимости. Широко распространенная практика межъязыковой коммуникации, в частности переводческая деятельность, должна постоянно находиться под пристальным наблюдением лингвистической науки. Трудно переоценить, насколько велика насущная необходимость, а также какова теоретическая и практическая ценность двуязычных словарей, которые давали бы тщательно выполненные сравнительные дефиниции всех соответственных единиц в отношении их значения и сферы употребления. Точно так же необходимы двуязычные грамматики, в которых указывалось бы, что́ объединяет и что́ различает эту пару языков в выборе и разграничении грамматических категорий. И в практике, и в теории перевода предостаточно запутанных проблем, и время от времени делаются попытки разрубить гордиев узел, провозглашая догму непереводимости. «Господин обыватель, доморощенный логик», так живо нарисованный Б. Л. Уорфом, по-видимому, должен был прийти к следующему выводу: «Факты по-разному выглядят в глазах носителей разных языков, которые дают им различное языковое выражение» [3]. В России в первые годы после революции некоторые фанатичные фантазеры выступали с предложениями в корне пересмотреть традиционный язык, в частности искоренить такие вводящие в заблуждение слова, как «восход солнца», «заход солнца». Однако мы до сих пор употребляем эти реликты птолемеевского взгляда на мир, не отрицая при этом учения Коперника, и нам легко перейти от обычных разговоров о восходе и заходе солнца к идее вращения Земли просто потому, что любой знак легко перевести в другой, такой, который мы находим более точным и более развернутым.

Способность говорить на каком-то языке подразумевает также способность говорить об этом языке. Такая «метаязыковая» процедура позволяет пересматривать и заново описывать используемую языком лексику. Взаимодополнительность этих уровней — языка-объек-

та и метаязыка — впервые отметил Нильс Бор: все хорошо описанные экспериментальные факты выражаются посредством обычного языка, «в котором практическое употребление каждого слова находится в комплементарном отношении к попыткам дать ему точную дефиницию» [4]. Весь познавательный опыт и его классификацию можно выразить на любом существующем языке. Там, где отсутствует понятие или слово, можно разнообразить и обогащать терминологию путем слов-заимствований, калек, неологизмов, семантических сдвигов и, наконец, с помощью парафраз. Так, в недавно созданном литературном языке чукчей, живущих в северо-восточной Сибири, „винт" передается как 'вращающийся гвоздь', „сталь" — 'твердое железо', „жесть" — 'тонкое железо', „мел" — 'пишущее мыло', „часы" — 'стучащее сердце'. Даже кажущиеся противоречивыми парафразы типа electrical horse-street car 'электрическая конка'—первоначальное русское название трамвая — или flying steamship 'летающий пароход' — jena paragot (корякское название самолета) означают просто электрический аналог конки, летающий аналог парохода и не мешают коммуникации, точно так же, как не возникает никаких препятствий и неудобств при восприятии двойного оксюморона cold beef-and-pork hot dog 'бутерброд с холодной сосиской' (букв.: 'холодная горячая собака из говядины со свининой').

Отсутствие в языке перевода какого-либо грамматического явления отнюдь не означает невозможности точной передачи всей понятийной информации, содержащейся в оригинале. Наряду с традиционными союзами and 'и' и or 'или' сейчас стал еще употребляться новый союз and/or 'и/или', применение которого несколько лет назад обсуждалось в остроумной книге „Федеральная проза. — Как пишут в Вашингтоне и/или для него" [5]. В одном из самодийских наречий [6] из этих трех союзов встречается только последний. Несмотря на эти различия в инвентаре союзов, все три вида сообщений (отмеченных в языке государственных чиновников) можно точно воспроизвести как на традиционном английском языке, так и на этом самодийском языке.

Американский вариант:
1. John and Peter 'Джон и Питер'.
2. John or Peter 'Джон или Питер'.
3. John and/or Peter will come 'Придет либо Джон, либо Питер, либо оба'.

На традиционном английском это будет выглядеть так:
3. John and Peter or one of them will come 'Придут Джон и Питер или один из них'.

На самодийском:
1. John and/or Peter both will come 'Джон и Питер (или один из них), придут оба'.
2. John and/or Peter, one of them will come 'Придут Джон и Питер, один из них'.

Если в данном языке отсутствует какая-либо грамматическая категория, ее значение может быть передано на этот язык лексическим

путем. Форма двойственного числа, как, например, старорусское „брата", переводится с помощью числительного: two brothers 'два брата'. Труднее точно следовать оригиналу, когда мы переводим на язык, в котором есть грамматическая категория, отсутствующая в языке оригинала. Когда мы переводим английское предложение she has brothers на язык, в котором различаются формы двойственного и множественного числа, мы вынуждены либо самостоятельно делать выбор между двумя утверждениями: „у нее два брата" и „у нее больше двух братьев", либо предоставить решение слушателю и сказать: „у нее или два брата, или больше". Точно так же, переводя на английский с языка, в котором отсутствует грамматическая категория числа, необходимо выбрать один из двух возможных вариантов: brother 'брат' или brothers 'братья' — или поставить получателя этого сообщения в ситуацию выбора: She has either one or more than one brother 'У нее есть или один брат, или больше, чем один'.

По точному замечанию Боаса, грамматическая структура (pattern) языка (в противоположность лексическому фонду) определяет те аспекты опыта, которые обязательно выражаются в данном языке: «Мы обязаны сделать выбор, и нам приходится выбирать тот или иной аспект» [7]. Чтобы точно перевести английскую фразу I hired a worker на русский язык, необходима дополнительная информация — завершено или не завершено было действие, женского или мужского пола был worker,— потому что переводчику необходимо сделать выбор между глаголами совершенного и несовершенного вида («нанял» или «нанимал»), а также между существительными мужского и женского рода («работника» или «работницу»). Если спросить англичанина, произнесшего эту фразу, какого пола работник был нанят, вопрос может показаться не относящимся к делу или даже нескромным, тогда как в русском варианте фразы ответ на этот вопрос обязателен. С другой стороны, каков бы ни был при переводе выбор русских грамматических форм, русский перевод этой фразы не дает ответа, нанят ли этот работник до сих пор или нет (перфектное и простое время), был ли этот работник (работница) какой-то определенный или неизвестный (определенный или неопределенный артикль). Поскольку информация, которой требуют английская и русская грамматические структуры, неодинакова, мы имеем два совершенно разных набора ситуаций с возможностью того или иного выбора; поэтому цепочка переводов одного и того же изолированного предложения с английского языка на русский и обратно может привести к полному искажению исходного смысла. Швейцарский лингвист С. Карцевский как-то сравнил такую постепенную потерю с процессом циркулярного обмена валюты по неблагоприятному курсу. Но очевидно, что чем полнее комплекс сообщения, тем меньше потеря информации.

Языки различаются между собой главным образом тем, что в них *должно* быть выражено, а не тем, что в них *может* быть выражено. С каждым глаголом данного языка обязательно связан целый ряд вопросов, требующих утвердительного или отрицательного ответа, как, например: было ли описываемое действие связано с намерением

его завершить? Есть ли указание на то, что описываемое действие совершалось до момента речи, или нет? Естественно, что внимание носителей языка будет постоянно сосредоточено на таких деталях, которые обязательны в их вербальном коде.

В своей когнитивной функции язык в наименьшей степени зависит от грамматических моделей, потому что определение нашего опыта находится в комплементарном отношении к метаязыковым операциям; когнитивный уровень языка не только допускает, но и прямо требует перекодирующей интерпретации, то есть перевода. Предполагать, что когнитивный материал невозможно выразить и невозможно перевести — значит впадать в противоречие. Но в шутках, фантазиях, сказках, то есть в том, что мы называем «вербальной мифологией», и, конечно, прежде всего в поэзии, грамматические категории имеют важное семантическое значение. В таких случаях проблема перевода становится гораздо более запутанной и противоречивой.

Даже такая категория, как грамматический род, которую часто приводят как пример формальной категории, играет большую роль в мифологической стороне деятельности речевого коллектива. В русском языке принадлежность к женскому полу выражается грамматическим женским родом, принадлежность к мужскому полу — мужским родом. Персонификация и метафоризация неодушевленных предметов определяются их принадлежностью к грамматическому роду. Опыт, проведенный в Московском психологическом институте (1915), показал, что носители русского языка, которых просили провести персонификацию дней недели, представляли понедельник, вторник, четверг как лиц мужского пола, а среду, пятницу, субботу — как лиц женского пола, не отдавая себе отчета в том, что такой выбор был обусловлен принадлежностью первых трех названий к грамматическому мужскому роду, а трех вторых — к женскому. Тот факт, что слово „пятница" в некоторых славянских языках — мужского рода, а в других — женского, отражен в фольклорных традициях этих народов, у которых с этим днем связаны различные ритуалы. Известная русская примета о том, что упавший нож предвещает появление мужчины, а упавшая вилка — появление женщины, определяется принадлежностью слова „нож" к мужскому, а слова „вилка" к женскому роду. В славянских и других языках, где слово „день" — мужского рода, а „ночь" — женского, поэты описывают день как возлюбленного ночи. Русского художника Репина удивило то, что немецкие художники изображают грех в виде женщины; он не подумал о том, что слово „грех" в немецком языке — женского рода (die Sünde), тогда как в русском — мужского. Точно так же русскому ребенку, читающему немецкие сказки в переводе, было удивительно, что „смерть" — явная женщина (слово, имеющее в русском языке женский грамматический род) — была изображена в виде старика (нем. der Tod — мужского рода). Название книги стихов Бориса Пастернака, „Сестра моя — жизнь" вполне естественно на русском языке, где слово „жизнь" — женского рода, но это название привело в отчаяние чешского поэта Йозефа

Хора, когда он пытался перевести эти стихи, ибо на чешском языке это слово — мужского рода (život).

Какова была первая проблема, возникшая при самом зарождении славянской литературы? Как ни странно, переводческая проблема передачи символики, связанной с выражением грамматического рода, при когнитивной нерелевантности этой проблемы оказалась основной темой самого раннего оригинального славянского текста — предисловия к первому переводу Евангелия, сделанному в начале 860-х годов основателем славянской литературы и церковной обрядности Константином Философом. Недавно текст был восстановлен и прокомментирован А. Вайаном [8]. «Греческий не всегда можно передать при переводе на другой язык идентичными средствами, и на разные языки он передается по-разному,— пишет этот славянский проповедник,— греческие существительные мужского рода, такие, как ποταμός 'река' и ἀστήρ 'звезда', в каком-нибудь другом языке могут иметь женский род, например „рѣka", „звѣзда" — в славянском». Согласно комментарию Вайана, из-за этого расхождения в славянском переводе Евангелия от Матфея в двух стихах (7 : 25 и 2:9) стирается символика отождествления рек с демонами, а звезд — с ангелами. Но этому поэтическому препятствию святой Константин решительно противопоставляет учение Дионисия Ареопагита, который призывал главное внимание уделять когнитивным ценностям (силѣ разуму), а не словам самим по себе.

В поэзии вербальные уравнения стали конструктивным принципом построения текста. Синтаксические и морфологические категории, корни, аффиксы, фонемы и их компоненты (различительные признаки) — короче, любые элементы вербального кода противопоставляются, сопоставляются, помещаются рядом по принципу сходства или контраста и имеют свое собственное автономное значение. Фонетическое сходство воспринимается как какая-то семантическая связь. В поэтическом искусстве царит каламбур, или, выражаясь более ученым языком и, возможно, более точным, парономазия, и независимо от того, беспредельна эта власть или ограничена, поэзия по определению является непереводимой. Возможна только творческая транспозиция, либо внутриязыковая — из одной поэтической формы в другую, либо межъязыковая — с одного языка на другой, и наконец, межсемиотическая транспозиция — из одной системы знаков в другую, например из вербального искусства — в музыку, танец, кино, живопись.

Если бы мы перевели традиционное итальянское изречение Traduttore, traditore как 'переводчик — предатель', мы лишили бы итальянскую рифмованную эпиграмму всей ее парономастической ценности. Поэтому когнитивный подход к этой фразе заставил бы нас превратить этот афоризм в более развернутое высказывание и ответить на вопросы «переводчик каких сообщений?», «предатель каких ценностей?».

ЛИТЕРАТУРА

[1] R u s s e l l, Bertrand. Logical positivism.— „Revue Internationale de Philosophie", IV, 1950, p. 18; ср. с. 3.
[2] Ср.: D e w e y, John. Peirce's theory of linguistic signs, thought and meaning.— „The Journal of Philosophy", XLIII, 1946, p. 91.
[3] W h o r f, Benjamin Lee. Language, Thought and Reality. Cambridge, Mass., 1956, p. 235.
[4] B o h r, Niels. On the notions of causality and complementarity.— „Dialectica", I, 1948, p. 317 f.
[5] M a s t e r s o n, James R. and W e n d e l l, Brooks Phillips. Federal Prose. Chapel Hilt, N. C., 1948, p. 40 f.
[6] Ср.: B e r g s l a n d, Knut. Finsk-ugrisk og almen språkvitenskap.— „Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap", XV, 1949, p. 374 f.
[7] B o a s, Franz. Language.— In: „General Anthropology". Boston, 1938, p. 132 f.
[8] V a i l l a n t, André. La Préface de l'Evangeliaire vieux-slave.— „Revue des Etudes Slaves", XXIV, 1948, p. 5 f.

ЛИНГВИСТИКА В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ НАУКАМ *

1. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НАУКОЙ О ЯЗЫКЕ И ДРУГИМИ НАУКАМИ

А. Место лингвистики среди наук о человеке

Лозунг автономии лингвистики был выдвинут Антуаном Мейе на Первом съезде лингвистов (Гаага, 1928 г.); в своем заключительном докладе секретарь съезда, известный голландский лингвист Й. Схрайнен, ссылаясь на выступление Мейе, охарактеризовал это историческое событие как «торжественный акт эмансипации лингвистики»: «C'était un coup d'essai, une tentative... La linguistique a, au grand jour et devant le forum du monde entier, plaidé ses propres causes...» ** (1, p. 97). Это была насущная и своевременная программа, выполнение которой в течение последующих десятилетий углубило и расширило методы и задачи нашей науки. Однако сейчас мы сталкиваемся с настоятельной необходимостью тщательной совместной работы ученых самых разных специальностей. Особенно пристального внимания требуют взаимоотношения между лингвистикой и смежными науками.

Необходимость сочетания внутренней консолидации лингвистики со значительным расширением ее горизонтов была провозглашена Эдвардом Сепиром вскоре после съезда в Гааге — по-видимому, как непосредственная реакция на основной лозунг этого съезда. Сепир утверждал, что лингвисты, хотят они этого или не хотят, «должны больше интересоваться разнообразными антропологическими, социологическими и психологическими проблемами, вторгающимися в сферу лингвистики», поскольку «современный лингвист не может замкнуться в своей традиционной области. Если он не лишен воображения, он должен в той или иной степени вникать в вопросы, связывающие лингвистику с антропологией, историей культуры, с социологией, с психологией, с философией, а также с рядом более отдаленных об-

* R. Jakobson. Linguistics in its relation to other sciences.— In: "Main trends of research in the social and human sciences". Part one: Social sciences. Paris—The Hague: Mouton, 1970, p. 419—463.— *Прим. ред.*

** 'Это воистину первый шаг, первая попытка... Перед широкой международной аудиторией лингвистика открыто защищала свои позиции' ***.

*** Здесь и далее примечания в сносках содержат переводы с немецкого и французского языков, выполненные переводчицей настоящей работы Н. Н. Перцовой.— *Прим. ред.*

ластей, таких, как физика и физиология» (155 или 154, p. 166, 161).

Следует добавить, что при отсутствии тесной связи между двумя взаимодополняющими понятиями — автономией и интеграцией — лингвистическое исследование рискует оказаться на ложном пути: либо идея автономии вырождается в сепаратизм и изоляционизм, пагубный, как всякая узость интересов, либо мы становимся на противоположный путь и компрометируем разумный принцип интеграции тем, что заменяем необходимую автономию агрессивной гетерономией (или „колониализмом"). Другими словами, следует уделять равное внимание как особенностям структуры и развития любой области знания, так и общим основам и путям развития разных областей знания и их взаимозависимости.

Недавно в связи с подготовкой настоящего сборника Совет консультантов, созданный Отделом общественных наук при ЮНЕСКО, провел междисциплинарное совещание представителей разных номотетических (т. е. выявляющих общие закономерности) наук о человеке, которые обычно называют „общественными" или „гуманитарными" науками, и в ходе этого совещания произошел плодотворный обмен мнениями о перспективах междисциплинарного сотрудничества в области этих наук. Так же знаменателен непроизвольный и разносторонний интерес к связям между наукой о языке и многими смежными дисциплинами, который проявился в ходе X Международного съезда лингвистов (Бухарест, 1967). Оказалось, что проблемы взаимосвязей наук о человеке сконцентрированы вокруг лингвистики. Этот факт объясняется прежде всего исключительно регулярной и замкнутой структурированностью языка и той важной ролью, которую он играет в культуре; с другой стороны, как антропологи, так и психологи признают, что лингвистика является наиболее продвинутой и точной наукой о человеке и, следовательно, является методологической моделью для остальных смежных наук (101, p. 37, 66; 73, p. 9). Пиаже пишет (137, p. 25): «La linguistique est sans doute la plus avancée des sciences sociales, par sa structuration théorique aussi bien que par la précision de son devoir, et elle entretient avec d'autres disciplines des relations d'un grand intérêt» *. Уже в начале нашего столетия Пирс указал на особое положение «обширной и прекрасно разработанной науки о языке» среди «исследований мыслительной деятельности и продуктов этой деятельности» (136, I, § 271).

В противоположность всем остальным наукам о человеке и некоторым естественным наукам, возникшим сравнительно недавно, исследование языка принадлежит к немногим областям знания, появившимся в глубокой древности. Тонкое описание грамматики шумерского языка, старейшее из дошедших до нас грамматических описаний, отдалено от нас почти четырьмя тысячелетиями. Как в лингвистиче-

* 'Без сомнения, лингвистика является наиболее продвинутой из общественных наук благодаря своей теоретической структурированности и четкому пониманию своих задач, и ее взаимодействие с другими дисциплинами дает очень интересные результаты'.

ской теории, так и в эмпирических исследованиях прослеживается изменчивая и в то же время непрерывная традиция, идущая от древней Индии и Греции через значительные достижения науки Средневековья и эпохи Возрождения, эпохи рационализма и Просвещения к разнообразным научным направлениям двух последних веков.

Именно богатый и разносторонний научный опыт побудил нас задаться следующими вопросами: какое место занимает лингвистика среди наук о человеке и каковы перспективы междисциплинарного сотрудничества на взаимовыгодной основе без ущерба для внутренних потребностей и свойств каждой из этих наук? Иногда высказываются сомнения относительно того, удается ли наукам о человеке образовать такое «превосходное междисциплинарное содружество», какое связывает естественные науки, поскольку строгая логическая преемственность и иерархическая упорядоченность базисных понятий по степени обобщенности и сложности, заданные в явном виде при взаимодействии естественных наук, по-видимому, отсутствуют в науках о человеке (137, p. 2). Вероятно, подобные сомнения отражают те ранние попытки классификации наук, которые не учитывали роли науки о языке. Однако если в качестве точки отсчета при попытке упорядочения наук о человеке будет избрана именно лингвистика, то подобная система, базирующаяся на «принципиальном родстве классифицируемых объектов», встанет на твердую теоретическую основу.

Внутренняя логика, присущая наукам о человеке, в свою очередь требует их последовательного упорядочения, параллельного связям и сцеплениям, существующим в естественных науках. Язык является одной из систем знаков, а лингвистика как наука о речевых знаках — это не что иное, как часть семиотики, общей науки о знаках, которая была предугадана, названа и очерчена в „Опыте о человеческом разуме" Джона Локка: «σημειωτική, или „учение о знаках", наиболее привычными из которых являются слова» (108: книга IV, гл. XXI, § 4). Чарльз Сэндерс Пирс, считавший, что многие отрывки „Опыта..." «положили начало основательному анализу, который не получил развития в дальнейшем», использовал и термин Локка „семиотика" (σημειωτική), и определение семиотики как „учении о знаках" (136: II, § 649, p. 227). Этот пионер и «отшельник» исследований в области новой дисциплины в 1867 г. предпринял первую из своих многочисленных попыток классификации знаков (I, § 545 и сл.) и всю свою дальнейшую жизнь посвятил «изучению сущности знаковых систем и фундаментальных различий между ними» (V, § 488). Поскольку относящиеся к 1890-м гг. наброски Пирса, в которых эта новая отрасль знаний впервые названа семиотикой, были опубликованы лишь в посмертном издании научного наследия Пирса, они едва ли были известны швейцарскому лингвисту Фердинанду де Соссюру, когда, подобно своему американскому предшественнику, он осознал необходимость общей науки о знаках, которой он дал предварительное название „sémiologie" („семиология") и которую он считал необхо-

димой для описания языка, а также связей языка с другими знаковыми системами: «Puisqu'elle n'existe pas encore, on ne peut dire ce qu'elle sera; mais elle a droit à l'existence, sa place est déterminée d'avance... Par là, non seulement on éclairera le problème linguistique, mais nous pensions qu'en considérant les rites, les coutumes, etc., comme des signes, ces faits apparaîtront sous un autre jour, et on sentira le besoin de les grouper dans la sémiologie et de les expliquer par les lois de cette science» * (156, p. 33).

Первая, в высшей степени интересная трактовка взглядов Соссюра на возникающую науку о знаках принадлежит его женевскому коллеге А. Навиллю: «M. Ferdinand de Saussure insiste sur l'importance d'une science très générale, qu'il appelle *sémiologie* et dont l'objet serait les lois de la création et de la transformation des signes et de leur sens. La sémiologie est une partie essentielle de la sociologie» ** [поскольку, согласно Навиллю, общественная жизнь немыслима без существования коммуникативных знаков]. «Comme le plus important des systèmes de signes c'est le langage conventionnel des hommes, la science sémiologique la plus avancée c'est la linguistique ou science des lois de la vie du langage. La linguistique est, ou du moins tend à devenir de plus en plus, une science des lois» *** (127).

На наших глазах эта новая дисциплина стремительно и спонтанно развивалась: исследовалась общая теория знаков, были описаны различные знаковые системы, даны их сравнительный анализ и классификация. Локк и Соссюр были правы: язык является центральной и самой важной из всех семиотических систем. Поэтому, как отметил Леонард Блумфилд, «лингвистика вносит основной вклад в семиотику» (11, p. 55). В то же время любое сопоставление языка с той или иной знаковой системой другой природы имеет непреходящее значение для лингвистики, поскольку оно выявляет как свойства, объединяющие языковую систему со всеми или некоторыми из других семиотических систем, так и специфические свойства естественного языка.

Отношения между вербальной системой и другими знаковыми системами могут служить отправным пунктом классификации знаковых систем. Один из видов семиотических систем составляют разнообразные заменители устного языка. К последним относится письмо,

---

* 'Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, и ее место определено заранее... Благодаря этому не только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем, при рассмотрении обрядов, обычаев и т. п. как знаков все эти явления также выступят в новом свете, так что явится потребность объединить их все в рамках семиологии и разъяснить их законами этой науки'.

** 'Фердинанд де Соссюр подчеркивает важность весьма общей науки, названной им *семиологией*, объектом которой будут законы создания и изменения знаков и их смыслов. Семиология является важной составной частью социологии'.

*** 'Поскольку самой важной из знаковых систем является естественный язык, наиболее продвинутая часть семиотики — это лингвистика, то есть наука о законах жизни языка. Лингвистика является или по крайней мере все больше становится наукой, исследующей законы'.

которое как онтогенетически, так и филогенетически является вторичной и необязательной манифестацией общечеловеческой устной речи, хотя иногда графические и фонологические аспекты языка рассматриваются учеными как две равнозначные „субстанции" (см., например, 66). Однако при рассмотрении отношений между графическими и фонологическими сущностями первые всегда трактуются как *signans* [означающее], а вторые — как *signatum* [означаемое]. В то же время письменный язык, часто недооцениваемый лингвистами, заслуживает самостоятельного научного анализа с точки зрения особенностей письма и чтения. Другими примерами заменителей устной речи могут служить ее манифестации с помощью свиста или барабанного боя; азбука Морзе представляет собой двойное замещение: используемые в ней точки и тире — это signans, имеющие в качестве signatum обычный алфавит. (153, p. 20; 154, p. 7).

В большей или меньшей степени формализованные языки, используемые как искусственные конструкты в разных областях науки и техники, можно считать трансформами естественного языка (ср. 138). Сравнительное исследование формализованного и естественного языка представляет большой интерес с точки зрения выявления их общих и различных свойств; такое исследование требует совместной работы лингвистов и логиков — специалистов по формализованным языкам. По не утратившему свое значение замечанию Блумфилда, логика «является дисциплиной, тесно связанной с лингвистикой» (11, p. 55). Подобная совместная работа помогает лингвисту более точно и эксплицитно формулировать особенности естественного языка как такового. В то же время производимый логиком анализ формализованных суперструктур требует их систематического соотнесения с их естественным основанием, которое должно подвергнуться точному лингвистическому анализу. Серьезным препятствием подобному объединенному сравнительному исследованию может служить все еще бытующий взгляд на естественный язык как на неоптимальную символическую систему, которой органически присущи неточность, неопределенность, неоднозначность и неясность. По удачному наблюдению Хомского, то обстоятельство, что искусственные формализованные языки достаточно хорошо задаются контекстно-свободными грамматиками, а естественным языкам свойственна контекстная связанность, служит основанием для выделения двух семиотических классов языков (32, p. 9; 30, p. 441). Вариативность значений и особенно разнообразие и широта метафорических переносов значений, а также возможность бесчисленных перифразировок — это как раз те свойства естественного языка, которые обусловливают творческую силу языка и полет фантазии не только в поэзии, но и в науке. Итак, неопределенность и творческая сила оказываются полностью взаимосвязанными. Один из первых и основных участников математической дискуссии по проблемам финитности, Эмиль Пост, отмечал решающую роль «обычного языка» при «рождении новых идей», их возвышение над «морем бессознательного» и последующее оформление смутных интуитивных процессов «в связь точных мыслей» (141, p. 430). Фрей-

довское понятие id *, несомненно, подсказано es-Satze **; немецкое новообразование Gestalt ('структура') стимулировало формирование нового направления в психологии ***. Как отметил Хаттен, «стимулирующее научное общение невозможно без использования метафорического языка», а такие фигуральные термины, как field 'поле' или flow 'поток', наложили существенный отпечаток на физическую мысль (70, р. 84). Именно естественный язык мощно и безотказно поддерживает «способность изобретения, возможность образного или творческого мышления» — тот дар, который один исследователь эволюции человека назвал «самой существенной характеристикой интеллекта» (65, р. 359).

Специалисты в областях как формализованных, так и естественных языков должны учитывать функциональные различия между этими двумя типами языков (135). Не следует переделывать андерсеновскую сказку о гадком утенке, и презрение логика к синонимии и омонимии естественного языка так же неуместно, как недоумение лингвиста по поводу тавтологичности высказываний формальной логики. На протяжении всей долгой истории лингвистики не только логики, но иногда и сами лингвисты пытаются произвольно навязать естественному языку те или иные умозрительные построения. Так, производились весьма надуманные попытки свести естественный язык лишь к утвердительным предложениям, рассматривая остальные виды предложений (вопросительные и побудительные) как варианты или перифразы утвердительных предложений.

Всякий раз, когда встает какая-либо проблема, касающаяся естественного языка, логики пускают в оборот фундаментальные понятия, выработанные на базе формальных языков, тогда как традиционные лингвисты могут отталкиваться только от конкретного анализа языкового материала. Вследствие этого возникают и разные подходы к таким проблемам, как смысл *vs.* денотат и интенсионал *vs.* экстенсионал или теоремы о существовании и универсум дискурса. Однако такое несовпадение подходов можно трактовать как наличие двух истинных, хотя и неполных, моделей описания, которые находятся в отношении, удачно названном Нильсом Бором „принципом дополнительности".

Считается, что максимальной точностью обладает формальный язык математики (14, р. 68), но в то же время сами математики неоднократно отмечали, какими глубокими корнями он связан с обычным языком. Так, по мнению Бореля, в основе любого логического исчисления непременно лежит постулат существования обычного языка (la langue vulgaire) (15, р. 160); по словам Вайсмана, в математику следует внести раздел, исследующий те зависимости, которые существуют между математическими символами и смыслами слов

---

* Букв. „оно", обозначающее бессознательное в психике.— *Прим. ред.*

** Предложение, в котором в качестве субъекта выступает безличное местоимение es 'оно'.— *Прим. ред.*

*** Имеется в виду так называемая *гештальтпсихология*. — *Прим. ред.*

разговорного языка (183, p. 118). Что касается науки о языке, адекватный вывод относительно рассматриваемого соотношения содержится в словах Блумфилда о том, что «поскольку математика связана с языковой деятельностью», то эта дисциплина, естественно, предполагает существование лингвистики (11, p. 55).

В отношении между контекстно-свободными и контекстно-связанными структурами математика и обычный язык являются двумя полярными системами, и каждая из этих систем оказывается оптимальным метаязыком для структурного анализа другой (117). Так называемая математическая лингвистика должна отвечать как лингвистическим, так и математическим требованиям, и, следовательно, она должна находиться под систематическим взаимным контролем специалистов обеих дисциплин. Для разных разделов математики — теории множеств, булевой алгебры, топологии, статистики, теории вероятностей, теории игр и теории информации (176) — оказывается полезным экскурс в область структуры естественного языка с целью выявления как несовпадений, так и универсальных инвариантов в структурах разных типов. Красноречивым примером может служить новая книга Зеллига Харриса (62), в которой грамматика описывается в терминах теории множеств с последующим сравнением естественного языка и формализованных конструктов.

Другая область семиотики охватывает широкий класс *идиоморфических* систем, которые связаны с языком лишь косвенно. Сопровождающие речь жесты характеризуются Сепиром как класс «полностью несамостоятельных» знаков (154, p. 7). Несмотря на то, что жестикуляция обычно сопутствует речевым высказываниям, между этими двумя коммуникативными системами нет взаимно-однозначного соответствия. Более того, существуют семиотические системы физических движений, не связанные с речью. Эти системы, как и вообще все знаковые системы, структура и функционирование которых не зависят от языка, должны подвергнуться сопоставительному анализу с учетом как сходств, так и различий между каждой семиотической системой и языком.

Классификация используемых человеком знаковых систем должна производиться на основе ряда критериев, таких, как, например, отношение между *signans* и *signatum* (в соответствии с пирсовским триадическим делением знаков на индексы, иконические знаки и символы и последующим подразделением этих классов); разграничение производства новых знаков и простого семиотического воспроизводства готовых объектов (132; 150); различие между знаками, производимыми посредством простых физических движений и посредством инструментов; разница между чистыми и прикладными семиотическими структурами; визуальный *vs.* аудиальный, пространственный *vs.* временной семиозис; гомогенные и синкретические образования; разнообразные отношения между адресантом и адресатом, в частности интраперсональная, интерперсональная или полиперсональная коммуникация. В каждом из этих критериев очевидным образом должны учитываться промежуточные и гибридные формы (см. 80).

Вопрос о существовании и иерархии тех базисных функций, которые мы обнаруживаем в языке, а именно ориентации на такие компоненты речевого сообщения, как референт, код, адресант, адресат, их контакт или, наконец, само сообщение (81), должен быть распространен и на области других семиотических систем. В частности, сопоставительный анализ структур, характеризующихся преимущественной ориентацией на само сообщение (художественной функцией), или, иначе говоря, параллельное исследование разных видов искусства, литературы, музыки, живописи, балета, театра и кино, относится к наиболее насущным и перспективным задачам семиотической науки. Разумеется, анализ художественной литературы лежит в сфере непосредственных интересов и задач лингвиста и заставляет его обращать особое внимание на сложные проблемы поэзии и поэтики. Поэтику можно охарактеризовать как исследование поэтической функции языка и искусства слова, связанного с этой функцией, а также художественной функции семиотических систем вообще. Сопоставительное изучение поэзии и других искусств содружеством лингвистов и искусствоведов разного профиля стоит на повестке дня, особенно в связи с наличием речевого компонента в составе различных неоднородных образований типа вокальной музыки, драматического театра и звукового кино. (О релевантности письменного языка для живописи см. 25а.)

Несмотря на очевидную структурную автономию знаковых систем, которые мы назвали идиоморфическими, они наряду с другими типами семиотических систем, используемых людьми, стали предметом внимания двух выдающихся лингвистов — Э. Сепира и Э. Бенвениста. Сепир писал, что «фонетический язык первенствует над всеми другими типами коммуникативного символизма» (154, р. 7); по мнению Бенвениста, «le langage est l'expression symbolique par excellence» *, а все остальные коммуникативные системы «en sont derivés et le supposent» ** (8, p. 28). Первичность языковых знаков относительно всех остальных видов осознанной семиотической деятельности человека подтверждается исследованиями развития детей. «Коммуникативный символизм» жестов ребенка, умеющего говорить, существенно отличается от рефлексивных движений ребенка, не владеющего языком.

Таким образом, предметом семиотики является коммуникация, осуществляемая посредством сообщений любого вида, в то время как предметом лингвистики является коммуникация, осуществляемая посредством сообщений на естественном языке. Тем самым вторая из двух названных наук о человеке имеет более узкий предмет исследования, хотя в то же время любая человеческая коммуникация внеязыковой природы предполагает существование сообщений на естественном языке, но не наоборот.

---

* 'язык есть символическая система в чистом виде'.

** 'производны от языка и предполагают его существование'.

Самым тесным образом связан с лингвистикой круг семиотических дисциплин; следующим, более широким кругом является совокупность коммуникативных дисциплин. Когда мы говорим, что язык или любая другая система знаков является средством коммуникации, мы не должны забывать, что при исследовании коммуникации нельзя накладывать ограничений на коммуникативные средства или ее участников. В частности, нередко игнорируется тот факт, что, помимо наиболее распространенной, интерперсональной коммуникации, существует интраперсональная коммуникация. До последнего времени в лингвистической литературе не рассматривалась проблема внутренней речи, метко названной Пирсом «диалогом с самим собой», а ведь именно внутренняя речь является кардинальным фактором в языковой цепи и служит связующим звеном между прошлым и будущим человека (136: IV, § 6; см. также 180; 194; 196; 165; 154, р. 15).

Выдвижение понятия коммуникации в качестве изначального для общественных наук было естественной задачей лингвистики. По словам Сепира, «каждая культурная система и каждый отдельный случай поведения в обществе явно или неявно связаны с коммуникацией». Будучи «изменчивой структурой», общество являет собой «весьма запутанную сеть отношений частичного или полного понимания между своими членами внутри групп разной величины и разной степени сложности», что «творчески подтверждается отдельными актами коммуникации» (154, р. 104; ср. также 16). Понимая, что «язык задает самый эксплицитный тип коммуникативного поведения», Сепир в то же время отмечал как важность других типов и систем коммуникации, так и сложность связей этих систем с языком.

Леви-Строссу принадлежит наиболее ясное описание рассматриваемой области, а также многообещающая попытка «à interpréter la société dans son ensemble en fonction d'une théorie de la communication» * (101, р. 95; 103). Он предлагает ввести единую науку о коммуникации, которая охватывает социальную антропологию, экономику и лингвистику (последнюю уместно заменить более широкой наукой — семиотикой). Нельзя не согласиться с концепцией Леви-Стросса, согласно которой общественная коммуникация осуществляется на трех разных уровнях: обмен сообщениями, обмен удобствами (а именно товарами и услугами) и обмен женщинами (или, быть может, в более обобщенном виде, обмен брачными партнерами). Таким образом, лингвистика (вместе с другими семиотическими дисциплинами), экономика и, наконец, исследования родства и брака «занимаются однотипными проблемами на различных стратегических уровнях и действительно относятся к одной и той же области».

На всех трех уровнях коммуникации фундаментальная роль принадлежит языку. Во-первых, как с онтогенетической, так и с филогенетической точки зрения все названные типы коммуникации предполагают предварительное существование языка. Во-вторых, они сопровождаются речевыми и/или другими типами семиотического поведе-

* 'описать общество, взятое в целом, в терминах теории коммуникации'.

ния. В-третьих, все случаи неречевого поведения могут быть вербализованы, то есть переведены в речевое поведение — в ситуации либо манифестированной, либо по крайней мере внутренней речи.

В настоящей статье мы не будем подробно останавливаться на спорных вопросах, касающихся разграничения социальной антропологии и социологии, считая эти науки двумя разделами одной и той же дисциплины. Согласно шутливой формуле, которую предлагает Стейн Роккен (см. 55), социальная антропология — это наука о человеке, рассматриваемом как *говорящее* животное, а социология — наука о человеке, рассматриваемом как *пишущее* животное. Такое подразделение демонстрирует релевантность двух разных уровней манифестации языка для сети социальной коммуникации в целом.

Если рассматривать две области лингвистического исследования — анализ кодифицированных языковых единиц, с одной стороны, и анализ дискурса — с другой (8, p. 130; 61),— то становится очевидной необходимость предварительного лингвистического исследования структуры мифа и других традиционных устных форм. Они не только представляют собой единицы высокого уровня в структуре дискурса, но и обладают специфическими чертами по сравнению с другими единицами того же уровня, а именно такие тексты являются кодифицированными, они имеют готовую композицию. Именно Соссюр в своих заметках о Нибелунгах прозорливо указывал на необходимость семиотической интерпретации мифов: «Il est vrai qu'en allant au fond des choses, on s'aperçoit dans ce domaine, comme dans le domaine parent de la linguistique, que toutes les incongruités de la pensée proviennent d'une insuffisante réflexion sur ce qu'est l'identité ou les caractères de l'identité lorsque'il s'agit d'un être inexistant comme le *mot*, ou la *personne mythique*, ou une *lettre de l'alphabet*, qui ne sont que différentes formes du SIGNE au sens philosophique» * (54, p. 136). Вербальный аспект религиозных систем становится своевременным и плодотворным предметом исследования (25); и систематический научный анализ мифов, и особенно анализ их синтаксической и семантической структуры, не только закладывает фундамент теоретического научного подхода к мифологии, но также может дать эффективный импульс для предпринимаемых лингвистами попыток анализа дискурса. (Ср., например, эксперименты Леви-Стросса — 101: XI; 102; 104 — в свете их соотношения с новыми задачами, стоящими перед наукой о языке,— 23).

Ритуалы обычно представляют собой комбинацию речевого и пантомимического компонентов, и, как отметил Лич (96), в этих церемониалах присутствуют определенные типы информации, которые никогда не вербализуются его участниками, но выражаются только

---

* 'Действительно, если вдуматься, то мы заметим, что в этой области, как и в родственной ей области лингвистики, все несообразности имеют один источник: недостаточное понимание предмета речи и его свойств, когда рассматриваются объекты несуществующие, такие, как *слово*, или *мифический персонаж*, или *буква алфавита*, которые представляют собой не что иное, как различные виды ЗНАКА в философском смысле'.

с помощью действий. Однако эта семиологическая традиция по меньшей мере всегда зависит от стоящей за ритуалом языковой системы, которая переходит от поколения к поколению.

Очевидно, что язык является составной частью культуры, но в рамках культуры в целом он функционирует как ее подструктура, фундамент и универсальное средство. В связи с этим «очевидно, что гораздо проще отделить лингвистику от остальных аспектов культуры и определять ее отдельно, нежели идти в противоположном направлении» (91, p. 124; 178). Некоторые своеобразные черты естественного языка связаны с тем особым местом, которое занимает язык по отношению к культуре; в этой связи прежде всего следует отметить раннее усвоение языка детьми, а также тот факт, что известные лингвистам языки мира — как древние, так и современные — своей фонологической и грамматической структурой никак не отражают степень культурного развития общества.

Тонкие наблюдения Уорфа (189) дают основание предполагать существование запутанного взаимодействия между способом упорядочения грамматических понятий и нашими обыденными, подсознательными, мифологическими и поэтическими образами; из этого, однако, не вытекает первичная безоговорочная соотнесенность языковых моделей с чисто мыслительными операциями или непосредственная выводимость системы грамматических категорий из характерного для данного народа мировоззрения.

Языковое оформление ухаживания, брака, родственных отношений и табу является их необходимым инструментом. Тщательное и исчерпывающее исследование Женевьевой Калам-Гриоль прагматики языка в эротической, общественной и религиозной жизни общества является наглядной иллюстрацией решающей роли языкового поведения во всех областях социальной антропологии (26).

На протяжении многовековой истории экономики и лингвистики неоднократно вставали объединяющие эти науки вопросы. Можно вспомнить, что экономисты эпохи Просвещения неоднократно обращались к лингвистическим проблемам; так, например, Робер Жак Тюрго предпринял этимологические исследования для „Энциклопедии“, а Адам Смит писал о происхождении языка. Хорошо известно влияние таких понятий Тарда, как цикл, обмен, ценность, выход/вход, производитель/потребитель, на лингвистическую концепцию Соссюра. Взгляды на многие общие вопросы, такие, как, например, „динамическая синхрония“, противоречие с системой и ее непрерывное движение, развивались в обеих науках параллельно. Неоднократно предпринимались попытки переосмысления фундаментальных экономических понятий с точки зрения семиотики. В начале XVIII в. русский экономист Иван Посошков бросил крылатое выражение «Рубль — это не серебро, а слово правителя», а согласно Джону Ло, деньги имеют ценность только как знаки, заверенные подписью принца. И в настоящее время Талкотт Парсонс (134; 134а) рассматривает деньги как «высоко специализированный язык», циркуляцию денег — как «отправление сообщений», а денежную систему — как

«код в грамматико-синтаксическом смысле». Или, как сказал Ферручио Росси-Ланди, «l'economia in senso proprio è studio di quel settore del segnico non-verbale, che consiste nella circolazione di un particolar tipo di messaggi solitamente chiamati „merci". Piú in breve, e con una formula: *l'economia è studio dei messaggi-merci»* * (148, p. 62). Для того чтобы избежать метафорического расширения термина „язык", возможно, предпочтительнее рассматривать деньги как семиотическую систему особого назначения. Для точного описания этой сферы коммуникации представляется необходимой семиотическая интерпретация соответствующих процессов и понятий. Поскольку, однако, по справедливому замечанию Парсонса, «язык является самой общей формой» знаковых систем, лингвистам выпало на долю предложить самые эффективные модели для такого анализа. Существуют и другие основания для соотнесения экономических и лингвистических исследований: «обмен» денежных ценностей на слова (134, p. 358), непосредственная сопутствующая роль языка при финансовых операциях и переводимость денег в собственно сообщения на естественном языке, например в чековых и тому подобных обязательствах (67, p. 568). Воистину символический языковой аспект экономического взаимодействия заслуживает междисциплинарного изучения как одна из наиболее выигрышных задач *прикладной* семиотики.

Итак, взаимодействие людей с целью получения брачных партнеров и товаров или услуг оказывается в значительной степени сводимым к обмену вспомогательными сообщениями, и общая наука о коммуникации естественно объединяется с собственно семиотикой как исследование обмена сообщениями и внутренних кодов этих сообщений, а также тех сфер, в которых сообщения играют важную, но сопутствующую роль. Так или иначе, семиотика занимает центральное место в рамках науки о коммуникации в целом и является основой для всех остальных областей этой науки, в то время как в рамках семиотики центральное место отводится лингвистике, которая влияет на все остальные разделы семиотики. Образуются концентрические круги:

1. Исследование коммуникации посредством речевых сообщений = лингвистика.

2. Исследование коммуникации посредством сообщений любого вида = семиотика (сюда включается и коммуникация посредством речевых сообщений).

3. Исследование коммуникации = социальная антропология вместе с экономикой (сюда включается и коммуникация посредством любых сообщений).

Ведущиеся в настоящее время исследования в рамках таких пересекающихся направлений, как социолингвистика, антропологическая лингвистика, этнолингвистика или лингвистика фольклора, представ-

---

* 'Экономика в собственном смысле — это изучение того раздела неязыковых знаков, который состоит в циркуляции сообщений особого типа, обычно называемых „товарами". Короче говоря, *экономика — это изучение сообщений-товаров*'.

ляют собой зримый протест против все еще существующих пережитков соссюровской тенденции ограничения задач и целей лингвистики. Тем не менее такое ограничение задач и целей, налагаемое отдельным лингвистом или лингвистическим направлением на предмет своего исследования, нельзя считать «пагубным»; всякое пристальное исследование ограниченной области внутри лингвистики, любое самоограничение и узкая специализация заслуживают право на существование. Ошибочным и пагубным можно считать только пренебрежение к другим сферам языка как к якобы несущественным и второстепенным; особенно же вредны попытки полного изъятия таких сфер из «истинной» лингвистики. В рамках лингвистического эксперимента допустимо намеренное абстрагирование от тех или иных свойств языка. Примером такого подхода могут служить эксперименты большой группы американских лингвистов, в которых при анализе сначала языка в целом, а потом только его грамматической структуры не принималось во внимание значение. Другим примером того же рода является ставшая недавно вновь популярной тенденция Соссюра ограничиваться анализом кода (*языка*, языковой компетенции), противоречащая диалектической неразложимости дихотомии *язык/речь* (код/сообщение, языковая компетенция/употребление).

Какими бы полезными и поучительными ни были эксперименты, ограничивающие предмет исследования, подобные ограничения нельзя считать обязательными для лингвистической науки в целом. Круг тем, которые недавно стали предметом изучения в рамках области, именуемой социолингвистикой, действительно заслуживает пристального внимания. Можно добавить, что многие из этих тем имеют долгую историю исследования и были забыты сравнительно недавно. Все темы такого рода являются неотъемлемыми частями лингвистики, и их описание, равно как и описание собственно языковых явлений, требует обращения к структурному анализу.

Нельзя не согласиться с Деллом Хаймзом, автором широкой программы исследований по этнолингвистике и социолингвистике, в том, что эти области должны в конечном счете слиться с собственно лингвистикой (74, p. 152), поскольку последнюю нельзя отделять и изолировать от «вопросов реального функционирования и роли языка в жизни человека» (72, p. 13).

Каждый языковый код непременно имеет набор разных подкодов, которые связаны с ним отношением обратимости, то есть функциональных вариантов языка. Общество, говорящее на одном языке, всегда имеет в своем распоряжении: а) более эксплицитные и более эллиптичные языковые модели и упорядоченную шкалу переходов от максимальной эксплицитности к крайней эллиптичности; б) осознанную вариативность стилей от архаичного до новомодного; в) структурные различия между официальной, формальной и неформальной, небрежной речью. Не совпадающие в разных обществах многочисленные правила, разрешающие, предписывающие или запрещающие говорить или умалчивать, должны служить естественной предпосылкой для всякой истинно порождающей грамматики. Далее, наше

языковое поведение управляется правилами построения диалога и монолога. В частности, различные вербальные отношения между адресантом и адресатом задают существенную часть нашего языкового кода и прямо задают значения грамматических категорий, например категории лица. Тщательное и точное научное описание определенного языка не может обойтись без грамматических и лексических правил, касающихся наличия или отсутствия различий между собеседниками с точки зрения их социального положения, пола или возраста; определение места таких правил в общем описании языка представляет собой сложную лингвистическую проблему.

Различия между собеседниками и степень их совместимости являются факторами решающего значения для образования многочисленных разнородных подкодов как внутри общества, говорящего на одном языке, так и внутри идиолекта отдельного человека. Переменный «радиус коммуникаций» — удачный термин Сепира (см. 154, p. 107) — затрагивает междиалектный и межъязыковой обмен сообщениями и обычно формирует многодиалектные, а иногда и многоязычные объединения и взаимодействия языковых систем отдельных людей и даже обществ в целом. Интересной лингвистической задачей, которая часто остается вне поля зрения исследователей, является точное сравнение более высокой, как правило, языковой компетенции индивида в роли слушающего с более низкой языковой компетенцией того же индивида в роли говорящего (68; 177).

Центробежные и центростремительные силы, захватывающие территориальные и социальные диалекты, на протяжении многих десятилетий остаются в мировой лингвистике одной из популярных тем. Произведенное недавно применение структурного анализа к полевым исследованиям в области социальной диалектологии (92; 93) еще раз развеяло миф об однородных речевых группах и показало, что носители языка отдают себе отчет в вариативности, различиях и изменениях языковых моделей; тем самым была еще раз проиллюстрирована наша мысль о том, что метаязык является решающим внутриязыковым фактором.

Необходимость решить проблему стандартизации и планирования (63; 170) и тем самым положить конец последним суеверным пережиткам тезиса младограмматиков о невмешательстве в жизнь языка («оставьте свой язык в покое») принадлежит к неотложным лингвистическим задачам, тесно связанным с постоянно увеличивающимся радиусом коммуникации.

Наш беглый очерк тем, выделенных в последние годы в программах работ по социо- и этнолингвистике (см., например, 75; 59; 17; 106; 29; 58; 46; 48), показывает, что все эти темы требуют строгого проникновенного лингвистического анализа и непосредственно относятся к сфере собственно лингвистики. Уильям Брайт проницательно подметил точку пересечения всех этих программ: «Предметом социолингвистики является не что иное, как языковое *многообразие*» (17, p. 11; см. также 73). Более того, это многообразие можно считать и основным предметом мировой лингвистической мысли в ее стрем-

лении преодолеть соссюровскую модель *языка*, рассматривающую язык как статичную однородную систему обязательных правил, и дополнить этот упрощенный и искусственный конструкт динамической картиной разнообразного изменчивого кода, в которой присутствует как многофункциональность языка, так и временные и пространственные факторы, исключенные Соссюром из системы языка. До тех пор, пока такое понимание языка находит последователей, мы должны повторять, что всякое экспериментальное сужение языковой реальности может привести к ценным научным выводам, если только мы не принимаем намеренно суженную рамками эксперимента картину за неограниченную языковую реальность.

Поскольку языковые сообщения, анализируемые лингвистами, связаны с обменом внеязыковыми сообщениями или с обменом удобствами и брачными партнерами, лингвистические исследования необходимо дополнить более широкими семиотическими и антропологическими исследованиями. Как предвидел Трубецкой в письме 1926 г. (174), обобщенная наука о коммуникации имеет своей задачей, по формулировке Брайта (17), «систематическую ковариантность языковых и социальных структур». Или, по словам Бенвениста, «le problème sera bien plutôt de découvrir la base commune à la langue et à la société, les principes qui commandent ces deux structures, en définissant d'abord les unités qui dans l'une et dans l'autre se prêteraient à être comparées, et d'en faire ressortir l'interdépendance» * (8, p. 15).

Леви-Стросс представляет себе будущее таких междисциплинарных исследований следующим образом: «Nous sommes conduits, en effet, à nous demander si divers aspects de la vie sociale (y compris l'art et la réligion) — dont nous savons déjà que l'étude peut s'aider de méthodes et de notions empruntées à la linguistique — ne consistent pas en phénomènes dont la nature rejoint celle même du langage... il faudra pousser l'analyse des différents aspects de la vie sociale assez profondément pour atteindre un niveau où le passage deviendra possible de l'un à l'autre; c'est-à-dire élaborer une sorte de code universel, capable d'exprimer les propriétés communes aux structures spécifiques relevant de chaque aspect. L'emploi de ce code devra être légitime pour chaque système pris isolément, et pour tous quand il s'agira de les comparer. On se mettra ainsi en position de savoir si l'on a atteint leur nature la plus profonde et s'ils consistent ou non en réalités du même type» ** (101, p. 71). Он предусматривает «диалог» с лингвистами об

* 'проблема состоит скорее в обнаружении общей базы языка и общества, тех принципов, которые регулируют обе эти структуры путем определения в обеих структурах единиц, подлежащих сравнению, а также в выявлении зависимостей между ними'.

** 'Таким образом, мы должны задаться вопросом о том, действительно ли различные аспекты общественной жизни (включая искусство и религию), о которых мы уже знаем, что их исследование может включать методы и понятия, заимствованные из лингвистики, состоят из явлений, природа которых сводится к природе языка... Следует углубить анализ различных аспектов общественной жизни, чтобы достичь такого уровня, на котором станет возможным переход от одного к другому, т. е. выработать некий универсальный код, способный выразить общие черты специфических структур, описывающих эти аспекты. Использование подобного кода правомерно

отношениях между языком и обществом (р. 90). Можно вспомнить и мнение Дюркгейма, который отмечал все возрастающую главенствующую роль лингвистики среди общественных наук, и его отеческое указание о построении лингвистической социологии (см. 3). Однако к сегодняшнему дню первые шаги в этом направлении были предприняты именно лингвистами; сюда относятся, например, интересные попытки выявления корреляции языка и социокультурных сфер, предпринятые русскими лингвистами на рубеже 1920-х и 1930-х гг. (179; 140; 76). Социологи признают «горькую правду» о том, что проникновение в язык может дать социологии больше, чем социология лингвистике, и что отсутствие подготовки по «формальной лингвистике» мешает социологам плодотворно использовать связь их предмета с языком (106, р. 3—6).

Переменный радиус коммуникации, проблема контакта между участниками коммуникации, то есть круг задач, касающихся «коммуникации и трансформации», которые Парсонс удачно назвал экологическими аспектами систем, подсказывает определенный характер соответствий между языком и обществом. Так, удивительная диалектная однородность языка кочевников очевидным образом связана с широкой областью их странствий. В охотничьих племенах охотники подолгу не общаются с женщинами, зато находятся в тесном контакте с животными. Вследствие этого возникают существенные языковые различия между мужчинами и женщинами, которые еще усиливаются благодаря существованию многочисленных табу, вводимых охотниками для того, чтобы их не поняли животные.

Отношения между психологией и лингвистикой или, в общем виде, между психологией и науками о коммуникации существенно отличаются от отношений в трех концентрических кругах, описанных выше, а именно коммуникации с помощью речевых сообщений, коммуникации с помощью любых сообщений и коммуникации вообще. Психология языка, или, в современной терминологии, психолингвистика (этот термин представляет собой перевод немецкого Sprachpsychologie с перестановкой корней), имеет долгую историю, хотя сейчас и модно утверждать, что до последнего времени психологи не интересовались языком, а лингвисты — психологией (см., например, 126). Блументаль прав, говоря, что эта современная точка зрения «дает неверное представление об исторических фактах» (12), но даже он недооценивает действительный объем и продолжительность таких междисциплинарных исследований. В мировой истории науки начиная с середины XIX в. едва ли найдется психологическая школа, которая бы не предпринимала попыток применения своих принципов и технических приемов исследования к языковым явлениям и которая бы не проделала значительной работы в области языка. Более

для каждой системы в отдельности и для всех систем — в том случае, если встает вопрос об их сопоставлении. Тогда окажется возможным понимание того, действительно ли мы описали их суть и состоят ли они из компонентов одного и того же типа'.

того, все эти сменяющие друг друга направления наложили существенный отпечаток на современные лингвистические течения. Верно, однако, что сильная приверженность к психологии сменилась в ходе развития современной лингвистики не менее сильным отталкиванием, и наблюдаемое сейчас отчуждение объясняется несколькими причинами.

В первой трети нашего века, при становлении структурного направления в науке о языке, возникла насущная необходимость использования в лингвистическом описании строгих собственно языковых критериев. Несмотря на то что Соссюр испытывал живой интерес к связям между двумя названными науками, он выступал против чрезмерной зависимости лингвистики от психологии и подчеркивал важность радикального разделения подходов этих наук (54). Гуссерлианская феноменология с ее борьбой против традиции экспансии психологии была другим важным фактором, существенно повлиявшим на европейскую науку в период между мировыми войнами. И наконец, как справедливо отмечали некоторые лингвисты и как особенно четко указал Сепир, большинство психологов этого времени все еще не признавало «фундаментальной важности символизма в поведении»; Сепир предсказывал, что именно пристальное внимание к своеобразному символизму языка «будет способствовать обогащению психологии» (154, р. 163).

Ожидания Сепира вскоре подтвердила книга Карла Бюлера (24), которая все еще остается, быть может, самым ценным вкладом психологии в лингвистику. Шаг за шагом, хотя часто повторяя друг друга, психологи, занимающиеся языком, начинали осознавать, что мыслительные операции, которые связаны с языком и семиотикой, кардинально отличаются от всех других психологических явлений. Все более очевидной становилась необходимость овладения лингвистическим аппаратом. Однако обращенный к психологам призыв Джорджа Миллера (122; 121) глубже вникать в сложные проблемы языка все еще остается актуальным.

Постоянно увеличивающийся рост ценных исследований в этой области (см., например, 130; 131; 109; 99; 163; 113) не может не стимулировать оживленную дискуссию психологов и лингвистов. Такие важные вопросы, как внутренние аспекты речи, так называемые мыслительные стратегии собеседников, требуют психологических экспериментов и объяснений. Среди релевантных вопросов, частично рассматриваемых психологами, а частично еще ожидающих решения, можно назвать речевое программирование и речевое восприятие, внимание и утомление слушающего, избыточность как противодействие психологическому шуму, оперативная память и симультанный синтез, способность запоминания и забывания информации, использование языкового кода при синтезе и восприятии речи, интериоризация речи, роль мыслительных операций разных типов в изучении языка, взаимосвязь разных степеней владения речью с разными степенями интеллектуального развития, а также отношения между речевыми и умственными дефектами и, наконец, значение языка для мыс-

лительных операций сравнительно с доязыковыми стадиями развития ребенка.

Mutatis mutandis, аналогичные семиотические проблемы возникают по отношению к другим формам семиотической коммуникации вообще. Во всех этих случаях имеется четко очерченная область для плодотворной работы психологов. И до той поры, пока психологи не пытаются заниматься сложными вопросами собственно языковой формы и значения, используя чуждые лингвистике критерии и методы, как лингвисты, так и психологи должны извлекать полезные уроки из своих совместных исследований. Однако нельзя забывать, что лингвистические процессы и понятия, или, иначе говоря, все *signantia* и *signata* в их взаимоотношениях, требуют в первую очередь собственно лингвистического анализа и осмысления. Все еще не изжившие себя попытки чисто психологического подхода к собственно языковым явлениям обречены на провал. Примером тому может служить предлагаемый в объемном хрестоматийном труде Кайнца план психологической грамматики как «объясняющей и интерпретирующей дисциплины», в противоположность лингвистической грамматике, которая, по мнению Кайнца, является чисто описательной и исторической; подобный план выявляет вопиющее непонимание рамок и задач лингвистического анализа (86, I, p. 63). Так, утверждая, что из использования в определенном языке союзов психолог может вывести «die Gesetze des Gedankenaufbaus» * (86, p. 62), Кайнц демонстрирует непонимание основ лингвистической структуры и анализа. Аналогичным образом никакие психологические ухищрения не смогут заменить полный и строгий структурный анализ постепенного, ежедневного усвоения ребенком языка; такое исследование требует продуманного применения чисто лингвистической техники и методологии. Естественно, будет оправданным призыв психолога к сопоставлению такого лингвистического анализа и данных об изменении умственного развития и поведения ребенка (120).

Наука о коммуникации на всех трех своих уровнях занимается разнообразными правилами и ролями коммуникации, ролями ее участников и правилами их участия в коммуникации; в то же время психология концентрирует внимание на самих индивидуальных участниках, их природе, личности и внутреннем мире. Психология языка — это прежде всего научное описание носителей языка, и потому две дисциплины, занимающиеся речевой деятельностью, скорее взаимовыгодно дополняют друг друга, чем пересекаются.

Одним из типичных примеров внимания психологов к речевой деятельности и к ее участникам может служить стремление психоаналитиков открыть privata privatissima ** языка путем попыток вербализации невербализованного, подсознательного опыта, внешнего воплощения внутренней речи; и здесь как для теории психоанализа, так и для практики психотерапии могут оказаться полезными исследо-

---

* 'законы построения мысли'.

** 'сокровенные тайны'.

вания Лакана, касающиеся пересмотра и переосмысления корреляции между *signans* и *signatum* в мыслительном и языковом опыте пациента (94).

Если бы психоаналитик руководствовался опытом лингвистики, то его соображения о примате *signans* могли бы в свою очередь обогатить взгляд лингвиста на двустороннюю природу языковых структур.

Б. Лингвистика и естественные науки

Если от собственно антропологии мы переходим к биологии, науке о жизни всего органического мира, то исследования различных типов человеческой коммуникации составляют лишь часть более широкой области исследований. Эту более широкую область можно обозначить как исследование способов и форм коммуникации живых существ. Мы оказываемся перед решающей дихотомией: не только язык, но все системы коммуникации человека (а эти системы так или иначе опираются на язык) существенно отличаются от систем коммуникации прочих живых существ, потому что для человечества каждая система коммуникации коррелирует с языком, и внутри общей сети человеческой коммуникации язык играет доминирующую роль.

Назовем несколько существенных черт, принципиально отличающих языковые знаки от способов передачи сообщений у животных: образная и творческая сила языка, его способность манипулировать абстракциями и фикциями, а также описывать вещи и события, отдаленные в пространстве и/или времени, в противоположность hic et nunc сигналов животных; структурная иерархия составляющих языка, которая была названа «двойным членением» в глубоком труде Бубриха 1930 г. (22), то есть дихотомия различительных (фонемных) и значимых (грамматических) единиц с дальнейшим подразделением грамматической структуры на уровни слова и предложения (кодированные единицы *vs.* кодированные совокупности); использование «двухуровневых», в частности оценочных, утверждений, наконец, совокупность и обратимая иерархия разных совмещенных функций и операций языка: референтивной, конативной, эмотивной, фатической, поэтической, метаязыковой. Число различающихся сигналов, производимых животными, ограничено таким образом, что весь корпус разных сообщений совпадает с их кодом. Названные особенности структуры любого человеческого языка полностью отсутствуют у животных, тогда как некоторые другие свойства, ранее считавшиеся принадлежностью лишь человеческой речи, были недавно обнаружены у разных видов приматов (4).

Переход от «зоосемиотики» к человеческому языку являет собой качественный скачок, вопреки устаревшему бихевиористскому утверждению, что «язык» животных отличается от языка человека степенью, но не качеством. В то же время мы не можем поддерживать недавние возражения лингвистов против «изучения коммуникативных

систем животных теми же средствами, что и изучение языка человека»; эти возражения мотивируются вероятным отсутствием «преемственности (в эволюционном смысле) между грамматиками языков человека и коммуникативными системами животных» (31, р. 73). Однако никакая революция, сколь бы радикальной она ни была, не разрывает эволюционной преемственности, и систематическое сопоставление речи человека и других семиотических структур и видов деятельности с этологическими данными о коммуникативных средствах всех остальных живых существ обещает более строгое разграничение двух названных областей (20; 193), а также более глубокое понимание их субстанциальной общности и не менее существенных различий. Такой сравнительный анализ будет способствовать расширению общей теории знака.

До недавнего времени наблюдения и описания коммуникации животных часто относились к задачам, не заслуживающим внимания; имеющиеся записи общения животных сплошь и рядом фрагментарны, бессистемны и поверхностны. Сейчас мы располагаем гораздо более богатыми данными, собранными с бо́льшим знанием дела и тщательностью; однако во многих случаях эти ценные, собранные кропотливым трудом данные получают антропоморфическую интерпретацию. Так, коммуникация цикад, несмотря на настойчивые попытки представить ее в виде разветвленной семиотической системы, сводится лишь к следующим сигналам: щелчок (tick), используемый как сигнал для общения на большом расстоянии, стрекотание (buzz) — для общения на малом расстоянии, и звук, объединяющий два первых (squawk), когда сигнал обращен как к удаленным, так и находящимся рядом реципиентам (2).

Традиционная трактовка различий языка человека и коммуникации животных с помощью оппозиции культурного *vs.* естественного явления представляется упрощенной. Большие сложности встают и при замене ее на оппозицию двух классов естественных явлений (40; р. 55). Становление коммуникации животных являет собой, как сказал Торп, «сбалансированное сочетание наследственных и приобретенных свойств». Это подтвердили эксперименты с певчими птицами, которых еще до того, как они вылупились из яйца, изолировали от их сородичей, а иногда даже оглушали (173; 171; 172). Таким птицам удавалось воспроизвести основной звуковой контур пения, присущего их виду, или даже вариант пения своего подвида, так что структура их пения «фундаментально не искажалась» и могла со временем мало-помалу исправляться. Если птица с неповрежденным слухом возвращалась в свое естественное окружение, качество ее пения улучшалось и ее репертуар мог увеличиться, но только в том случае, если птица еще не достигла созревания; так, зяблики старше тринадцати месяцев не могли ни улучшить, ни изменить своего пения. Чем ниже организм, тем большую роль в его развитии играет природа, однако и низшим организмам может быть полезно обучение (118, р. 316). Как сказал Галамбош, обучение — это процесс, «общий для осьминога, кошки и пчелы, невзирая на различия их нервных систем» (50, р. 233).

При усвоении ребенком языка также скрещиваются природные и культурные факторы: врожденные свойства служат необходимой основой для приобретенных. Однако эти два фактора иерархизированы в противоположных направлениях: для детей роль детерминирующего фактора играет обучение, а для птенцов, щенков и других детенышей животных — наследственность. Ребенок не может начать говорить без контакта с говорящими, но, если такой контакт есть, ребенок по достижении семилетнего возраста выучивает язык, на котором говорят окружающие, независимо от того, какой именно это язык (116); в то же время и в юности, и в зрелые годы он может выучить также и другие языки. Все это означает, что овладение исходной системой коммуникации как для птиц и других животных, так и для человека может иметь место только в определенных возрастных пределах.

Это удивительное явление, а также тот важный факт, что речь — универсально человеческое и исключительно человеческое свойство, настоятельно требуют внимательного исследования биологических предпосылок человеческого языка. Утверждение Блумфилда о том, что среди отдельных отраслей науки лингвистика занимает место между «биологией, с одной стороны, и этнологией, социологией и психологией, с другой» (11, p. 55), остается в высшей степени актуальным. Полный провал механистического переноса биологических теорий, например теорий Дарвина и Менделя, в сферу науки о языке (157; 51) или смешения языковых и расовых критериев имел своим следствием то, что в течение определенного времени лингвисты испытывали недоверие к сотрудничеству с биологами; однако сейчас, когда исследование как языка, так и живой природы существенно продвинулось вперед и вплотную подошло к новым решающим проблемам и их решению, от подобного скептицизма пора отказаться. Исследования такого рода требуют сотрудничества биологов и лингвистов, которое поможет предотвратить появление непродуманных «биологических теорий развития языка» (как в 98), далеких как от собственно языковых данных, так и от культурных аспектов языка.

Язык и другие средства человеческой коммуникации в их различных взаимодействиях — mutatis mutandis — имеют много поучительных аналогий с передачей информации у других видов живых существ. «Адаптивная природа коммуникации» во всем своем многообразии, суть которой была выявлена Уоллесом и Србом (184, ch. X), сводима к двум взаимосвязанным классам: адаптация к окружению и адаптация окружения к собственным нуждам. Воистину она стала одной из «наиболее волнующих» биологических проблем, и, mutatis mutandis, трудно переоценить ее значение для современной лингвистики. Сходные процессы в жизни языка и в коммуникации животных достойны тщательного исследования и сопоставления, полезного как для этологии, так и для лингвистики. В период между мировыми войнами возникло первое содружество ученых двух дисциплин, имевшее целью изучение двух аспектов эволюции: адаптации и конвергентной эволюции (83, p. 107—235). Именно тогда внимание лингвистов было привлечено к биологическому понятию мимикрии (83, p. 107), и одно-

временно биологи стали рассматривать разные типы мимикрии как способ коммуникации (184, p. 88 ff.). Дивергентное развитие, противопоставляемое при распространении коммуникации конвергентной тенденции и естественно сопоставляемое с диффузией, привлекает все большее внимание как лингвистов, так и биологов. Известные способы манифестации языкового нонконформизма, своеобразия или «узости» (esprit de clocher, в терминологии Соссюра) находят интересные этологические аналогии, и биологи исследуют и описывают то, что они называют «местными диалектами», по которым различаются животные одного вида, например вороны или пчелы. Так, два живущих по соседству и тесно связанных подвида летающих светляков отличаются способами своего свечения при ухаживании за самкой (184, p. 88). Многие наблюдатели отмечают различия в пении птиц одного и того же вида в разных «диалектных регионах». По мнению Торпа, «это настоящие диалекты, они не базируются на генетических различиях».

В течение последних пятидесяти лет происходит постепенное открытие все новых важных универсалий в области фонологии и грамматики языка. Очевидно, что ни в одном из бесчисленных языков мира не могут обнаружиться структурные черты, вступающие в противоречие с наследственными способностями ребенка к постепенному усвоению языка. Человеческий язык является, как сказал бы биолог, специфированным для вида. У каждого ребенка имеются наследственные склонности, предрасположение к обучению языку в его окружении; по словам Гёте, «Ein jeder lernt nur, was er lernen kann» *, и ни один филологический или грамматический закон не преступит границ возможностей новичка. Вопрос о том, в каких пределах наследственная способность воспринимать, приспосабливать к себе и использовать язык старших соотносится с врожденным характером языковых универсалий, остается полностью спекулятивным и бесплодным. Очевидно, что унаследованные и воспринятые модели тесно связаны: они взаимодействуют и взаимно дополняют друг друга.

Как и всякая другая социальная система, стремящаяся сохранить свое динамическое равновесие, язык явно проявляет свойства саморегулирования и самоуправления (95, p. 73; 107). Те импликативные правила, которые составляют большинство фонологических и грамматических универсалий и лежат в основе типологии языков, в значительной мере заложены во внутренней логике языковых структур и не предполагают обязательного существования особых «обобщенных инструкций». Например, как давно показал Корш в своей четкой работе по сравнительному синтаксису (89), гипотактические конструкции вообще и относительные предложения в частности далеко не являются универсальными, и во многих языках такие конструкции возникли недавно. Тем не менее, когда бы они ни появились, они устойчиво образуются по одним и тем же структурным правилам, которые, как предположил Корш, отражают определенные «общие

---

* 'Каждый выучивает то, что он может выучить'.

законы мышления» или, добавим мы, присущи саморегулированию и собственному движению языка.

Стоит отметить, что приписываемые языку «строгие пределы варьирования» теряют свою обязательность в секретных жаргонах и языковых играх, носящих приватный или полуприватный характер, а также в индивидуальном поэтическом языке или в изобретенных языках. Новаторское исследование Проппа (142), развитое и углубленное в последние годы (100; 56; 159), выявило четкие структурные законы, по которым строятся все волшебные сказки в русской (как и любой другой) устной традиции и которые используют строго ограниченный набор композиционных моделей. Подобные строгие законы не приложимы, однако, к сказкам, принадлежащим перу отдельных авторов,— таким, как сказки Андерсена или Гофмана. В значительной степени указанная строгость этих общих законов объясняется тем обстоятельством, что как язык, так и фольклор требуют коллективного соглашения и подчиняются подсознательной общественной цензуре (13). Именно факт принадлежности к «строго социальному типу человеческого поведения», как писал Сепир, обусловливает регулярность столь высокой степени, что ее «формулирование обычно выпадает лишь на долю специалистов в области естественных наук» (155 или 154, p. 166).

«Адаптивная природа коммуникации», которую справедливо подчеркивают современные биологи, проявляется в поведении как высших, так и низших организмов, которые приспосабливаются к своему жизненному окружению или, наоборот, приспосабливают это окружение к себе. Одним из наиболее радикальных примеров настойчивого и интенсивного приспособления служит имитационное и потому творческое усвоение ребенком языка родителей или других взрослых, которое не объясняется недавно выдвинутым неверным предположением, что для такого обучения ничего не требуется, «кроме поверхностной адаптации к структуре поведения взрослых» (98, p. 378).

Способность ребенка воспринимать любой первый язык или, в более общем виде, способность человеческого существа, и особенно юного, управлять неизвестными ему языковыми моделями, по-видимому, прежде всего объясняется соответствующей генетической информацией зародыша, однако из этого не следует, что для ребенка, который учится говорить, язык взрослых — это только «сырой материал» (98, p. 375). Например, ни одна из морфологических категорий русского глагола — лицо, род, число, время, вид, наклонение, залог — не принадлежит к универсалиям, и дети, как показали многочисленные и точные наблюдения, прилагают много усилий, чтобы усвоить эти грамматические процессы и понятия, шаг за шагом постигают многочисленные сложности, содержащиеся в коде взрослых. Ребенок использует для овладения этим кодом все доступные ему средства, такие, как первоначальное упрощение с выбором доступных ему компонентов, последовательное приближение к коду, метаязыковые эксперименты толкования, различные формы обучения и настойчивые требования объяснений (60; 87). Все это явно противоречит легковес-

ным утверждениям об «отсутствии необходимости обучения языку» (98, p. 379). Но вопрос о генетических способностях встает при обращении к фундаментальным основам человеческого языка.

Впечатляющие открытия последних лет в области молекулярной генетики описаны самими исследователями с помощью терминологии, заимствованной из лингвистики и теории коммуникации. Название книги Дж. и М. Бидлов „Язык жизни" — не просто фигуральное выражение, и исключительно высокая степень подобия систем генетической и языковой информации полностью объясняет ведущую мысль этой книги: «расшифровка ДНК-кода выявила, что мы обладаем языком, который гораздо старше иероглифики, языком, который так же стар, как сама жизнь, языком, который является самым живым из всех языков» (6, p. 207).

Из последних трудов, посвященных ДНК-коду, и в особенности из работ Крика (34) и Яновского (191) о «четырехбуквенном языке, вложенном в молекулы нуклеиновой кислоты», мы узнаем, что вся детализированная и специфическая генетическая информация содержится в сообщениях, закодированных в молекулах, а именно в линейной упорядоченности „кодовых слов", или „кодонов". Каждое слово состоит из трех единиц, называемых „нуклеотидными основами" или „буквами" кодового „алфавита". Этот алфавит состоит из четырех различных букв, «используемых для записи генетического сообщения». „Словарь" генетического кода содержит 64 различных слова, которые определяются как „триплеты", поскольку каждое из них строится как последовательность трех букв. 61 слово имеет индивидуальное значение, 3 оставшихся слова служат сигналами конца генетических сообщений.

В своей вступительной речи в Collège de France Жакоб живо описал изумление, которое испытали ученые, узнав об этом нуклеиновом алфавите: «À l'ancienne notion du gène, structure intégrale que l'on comparait à la boule d'un chapelet, a donc succédé celle d'une séquence de quatre éléments répétés par permutations. L'hérédité est déterminée par un message chimique inscrit le long des chromosomes. La surprise, c'est que la spécificité génétique soit écrite, non avec des idéogrammes comme en chinois, mais avec un alphabet comme en français, ou plutôt en Morse. Le sens du message provient de la combinaison des signes en mots et de l'arrangement des mots en phrases... A posteriori, cette solution apparaît bien comme la seule logique. Comment assurer autrement pareille diversité d'architectures avec une telle simplicité de moyens?» * (78, p. 22).

---

* «Если ранее бытовало представление о гене как об интегральной структуре, которую сравнивали с шариком в составе четок, то теперь ген рассматривается как последовательность, составленная из четырех элементов, повторяемых в разном порядке. Наследственность определяется химическим сообщением, записанным в хромосомах. Достойно удивления то, что генетическая информация записывается не посредством идеограмм, как в китайском языке, но посредством алфавита типа французского — или даже скорее алфавита азбуки Морзе. Смысл сообщения образуется путем объединения знаков в слова и слов во фразы... Опыт показывает, что это ре-

Поскольку буквы — это просто корреляты фонологических единиц языка, а элементы азбуки Морзе — вторичные корреляты букв, исходные единицы генетического кода следует сопоставлять с фонемами. Можно сказать, что среди всех систем передачи информации только генетический код и языковой код базируются на использовании дискретных компонентов, которые сами по себе не имеют смысла, но служат для построения минимальных единиц, имеющих смысл, то есть сущностей, наделенных собственным смыслом в данном коде. Сравнивая достижения лингвистов и генетиков, Жакоб справедливо заметил: «Dans les deux cas, il s'agit d'unités qui en elles-mêmes sont absolument vides de sens, mais qui, groupées de certaines façons, prennent un sens, qui est soit le sens des mots dans la langage, soit un sens au point de vue biologique, c'est-à-dire pour l'expression des fonctions qui sont contenues, qui sont „écrites" le long du message chimique génétique» * (79).

Однако сходство структур в двух рассматриваемых информационных системах простирается гораздо дальше. Все отношения между фонемами разложимы на ряд бинарных оппозиций элементарных дифференциальных признаков. Аналогичным образом за четырьмя „буквами" нуклеиновых кодов (тимин — T, цитозин — C, гуанин — G и аденин — A) стоят две бинарные оппозиции (см. 125, р. 13; 49; 35, р. 167). По оппозиции размера („трансверсия", в терминологии Фриза и Крика) два пиримидина — T и C — противопоставлены двум более крупным пуринам — G и A. В то же время внутри пары пиримидинов (T *vs.* C), а также внутри пары пуринов (G *vs.* A) наличествует отношение «рефлексивной конгруэнтности» (186, р. 43), или, по терминологии Фриза и Крика, отношение „транзитивности", которое задает противопоставление дающего и получающего. Таким образом, T : G=C : A и T : C=G : A. Только дважды противопоставленные элементы оказываются совместимыми в цепи молекулы ДНК: T с A и C с G.

Как лингвисты, так и биологи относят иерархическую структуру языковых и генетических сообщений к фундаментальным научным принципам. Как указал Бенвенист, «une unité linguistique ne sera reçue telle que si on peut l'identifier *dans* une unité plus haute» ** (8, р. 123). И тот же принцип стоит за анализом „генетического языка". Переход от лексических единиц к синтаксическим группам разного ранга параллелен переходу от кодонов к „цистронам" и „оперонам";

шение выглядит как единственно возможное с логической точки зрения. В самом деле, как еще можно объяснить такое разнообразие форм, получаемых столь простыми средствами?'

* 'В обоих случаях речь идет о единицах, которые, взятые сами по себе, полностью лишены значения, но, будучи определенным образом сгруппированы, приобретают его; это либо значение слов, либо значение в биологическом смысле, а именно значение, выражающее функции, которые содержатся или «записаны» в генетическом химическом сообщении'.

** 'языковая единица имеет лишь тот статус, который она получает в составе единицы высшего порядка'.

два последних уровня генетических последовательностей биологи сравнивают с синтаксическими группами разной степени сложности (144), а ограничения на дистрибуцию кодонов внутри таких конструкций были названы „синтаксисом ДНК-цепи" (42а). В генетическом сообщении „слова“ не отделены друг от друга; специальные сигналы в составе конструкций указывают на начало и конец оперона и на границы цистронов внутри оперона; эти сигналы метафорически именуются „знаками пунктуации“ или „запятыми“ (77, р. 1475). Они действительно соответствуют делимитативным средствам, используемым для фонологического выделения в речи фраз, во фразе простых предложений и словосочетаний (Grenzsignale Трубецкого; см. 175). Если же от синтаксиса мы перейдем к все еще недостаточно исследованной области дискурса, то последний, как представляется, имеет сходство с „макроорганизацией“ генетических сообщений и двумя ее составляющими самого высокого уровня — „репликонами“ и „сегрегонами“ (144).

В противоположность контекстно-свободным формальным языкам разных типов естественный язык является контекстно-связанным, что особенно наглядно проявляется в случаях неоднозначности слов. Последние наблюдения изменений в значениях кодонов, связанных с их позицией в генетическом сообщении (33), можно считать еще одной сходной чертой двух систем.

Строгая „колинеарность“ во временно́й последовательности операций кодирования и декодирования характеризует как вербальный язык, так и базисное явление молекулярной генетики — пептидный язык. Здесь мы снова сталкиваемся с вполне естественным заимствованием биологами лингвистических понятий и терминов. Биологи, сопоставляя исходные сообщения с их пептидными трансляциями, обнаружили „синонимичные кодоны“. Одна из коммуникативных функций синонимии в речи состоит в предотвращении частичной омонимии (так, adapt ‘приспосабливать’ заменяется синонимом adjust, поскольку в речи легко принять adapt за его частичный омоним adopt ‘принимать’), и биологи задаются вопросом о том, не лежат ли в основе выбора одного из синонимичных кодонов аналогичные тонкие различия, «et cette redondance donne quelque souplesse à l’écriture de l’hérédité» * (78, р. 25; см. также 33а).

Лингвистика и родственные ей науки имеют дело в основном с речевой цепью или сходными формами взаимной коммуникации, в которых роли адресанта и адресата меняются, и последний реагирует на сообщение — либо словесно, либо молча. При рассмотрении генетической информации соответствующий параллелизм, по мнению многих ученых, отсутствует: «механизм клетки может осуществлять трансляцию только в одном направлении» (34, р. 56). Однако открытые генетиками цепи регулирования — подавления и ретроторможения (112; 124; 77; 119, ch. X), как представляется, позволяют предположить

* ‘и подобная избыточность привносит определенную гибкость в запись наследственной информации’.

хотя бы отдаленную аналогию между молекулярными процессами и диалогической природой речи. Такое регулирующее взаимодействие внутри „психологической команды" генотипа касается управления и выбора генетических инструкций, которые либо принимаются, либо отвергаются, тогда как передача наследственной информации ячейкам плода и организму на последующих стадиях его развития сохраняет прямой, цепочечный порядок. Современная лингвистика сталкивается с аналогичными проблемами. Различные вопросы, касающиеся обмена вербальной информацией в пространстве, заслоняли проблему языка как наследия; сейчас на повестке дня стоит рассмотрение временнóй, программирующей роли языка как моста, перекинутого от прошлого к будущему. Интересно, что известный русский специалист по биомеханике Н. А. Бернштейн в 1966 г. в заключении к своей книге (9, р. 334) удачно сравнил «запечатленные в молекулах ДНК и РНК» коды (которые отображают «процессы предстоящего развития и роста») с «речью как психобиологической и психосоциальной структурой», обеспечивающей предварительную «модель будущего».

Каким образом следует интерпретировать все эти бросающиеся в глаза соответствия между генетическим кодом, который «в своей основе оказывается единым для всех организмов» (185, р. 386), и базисной моделью, лежащей в основе вербальных кодов всех человеческих языков и, nota bene, не имеющей аналогий среди любых семиотических систем, кроме естественного языка. Вопрос об этих изоморфных чертах становится особенно поучительным, если мы примем во внимание тот факт, что они не имеют параллелей ни в одной из систем коммуникации животных.

Генетический код как первичная манифестация жизни, с одной стороны, и язык как универсальный человеческий дар, обеспечивающий важнейший переход от «дочеловеческого» состояния к цивилизации, с другой стороны,— это два фундаментальных резерва информации, передаваемой от предков к потомкам, хранилища молекулярной наследственности и языкового наследия — двух необходимых предпосылок культурной традиции.

Названные свойства, общие для систем вербальной и генетической информации, обеспечивают как видообразование, так и беспредельную индивидуализацию. Подобно тому как вид, по мнению биологов,— это «краеугольный камень эволюции» и без видообразования не было бы ни разнообразия органической жизни, ни адаптации (119, р. 621; 43; 45), языки с их структурными закономерностями, динамическим равновесием и комбинаторной способностью производны от универсальных лингвистических законов. Далее, если биологи понимают, что все разнообразие индивидуальных организмов, будучи далеко не случайным, представляет собой «универсальный и необходимый феномен живой природы» (161, р. 386), то лингвисты усматривают в неограниченной вариативности идиолектов и бесконечном разнообразии вербальных сообщений творческую силу языка. Лингвистика разделяет с биологией точку зрения, согласно которой «ста-

бильность и вариативность заложены в одной и той же структуре (112, p. 99) и имплицируют друг друга.

Поскольку «наследственность сама по себе является фундаментальной формой коммуникации» (184, p. 71) и поскольку универсальная структура языкового кода, несомненно, обусловливается молекулярным строением Homo sapiens, то естественно задаться вопросом, является ли изоморфизм двух различных кодов, генетического и языкового, результатом конвергентного развития, вызванного сходными потребностями, или же, быть может, основы языковых структур, наложенные на молекулярную коммуникацию, были построены прямо по ее структурным принципам.

Молекулярный порядок наследования не оказывает никакого влияния на разнообразные типы формального и семантического строения различных языков. Однако существует одна особенность индивидуальной речи, которая позволяет предположить возможность генетического наследования. Кроме разнообразной информации, намеренно передаваемой говорящим, речи отдельного человека присущи собственные неотъемлемые и неизменные характеристики, которые манифестируются в основном с помощью нижней зоны речевого аппарата, от диафрагмы до глотки. Исследование подобных индивидуальных характеристик, названное Schallanalyse ['анализ звука'], было начато Эдвардом Зиверсом и разрабатывалось им совместно с его учеником, талантливым музыковедом Густавом Бекингом, на протяжении первой трети нашего века (160; 7). Выяснилось, что каждый человек, когда он говорит, пишет или музицирует, принадлежит к одному из трех базисных типов (с дальнейшим подразделением), что выражается во всем поведении индивида особого рода ритмическими кривыми, получившими название Generallkurven ['общие кривые'] или Personalkurven ['персональные кривые']; их называют также Beckingkurven ['кривые Бекинга'], поскольку они были открыты Бекингом в ходе его совместной работы с Зиверсом. Эти три типа кривых имеют следующий вид (7, p. 52 f.):

Hauptschlag: Общий тип		Nebenschlag: Подтип	
spitz	—	spitz	(тип Гейне)
'острый'	—	'острый'	
spitz	—	rund	(тип Гёте)
'острый'	—	'круглый'	
rund	—	rund	(тип Шиллера)
'круглый'	—	'круглый'	

Если и исполнитель, и автор литературного или музыкального произведения принадлежат к одному и тому же кинестетическому типу, то в силу этой родственности исполнение данного произведения достигнет подлинного эффекта; если же исполнитель и автор принадлежат к двум противоположным типам, то исполнение затруднено (Hemmungen). Выяснилось, что эти идиосинкратические типы и взаимоотношения между ними проявляются во всех видах моторной деятельности человека, в движениях тела, жестах, мимике, в почерке

и манере письма, в танцах, занятиях спортом и флирте. Притяжения и отталкивания распространяются не только на моторную, но и на все другие сферы. Более того, определенные звуковые и зрительные стимулы сходным образом воздействуют на каждый из трех типов, и, следовательно, эти стимулы могут либо вызывать, либо гасить реакцию, как подтвердили эксперименты с чтением одних и тех же стихов, которое сопровождалось показом фигур то совпадающего, то противоположного характера.

В своей интересной работе, суммирующей результаты исследования персональных кривых, Зиверс пишет, «dass sie das konstanteste sind, was es überhaupt beim denkenden und handelnden Menschen gibt: wenigstens ist mir trotz mehrjährigen Suchen kein Fall bekannt geworden, dass ein Individuum beim eigenen Produzieren über mehr als eine Beckingkurve frei verfügte, mag es auch sonst noch so reich sein an klanglicher Variabilität... Es lässt sich auch nicht bezweifeln, dass die Beckingkurve zum *angeborenen* Besitz der Individuums gehört (wie ich bei Neugeborenen habe feststellen können), und dass bei ihrer Übertragung vom Individuum zu Individuum die üblichen Allgemeingesetze der Vererbung eine grosse, wenn auch nicht die allein ausschlaggebende Rolle spielen. So ist es auch allein zu verstehen, wenn ganze Stämme oder gar Völker sich manchmal fast bis zur Ausschliesslichkeit nur einer und derselben Beckingkurve bedienen» * (160, p. 74). Врожденный характер таких «индивидуальных кривых» кажется вероятным, но этот вопрос все же требует тщательной проверки.

Данное исследование, демонстрирующее исключительное мастерство и тонкую интуицию ее авторов, но фактически лишенное теоретического фундамента, к сожалению, не было продолжено, однако сейчас его можно и следует возобновить на основе новых методологических принципов. Опыт психофизической типологии Зиверса и Бекинга следует сопоставить с такими проблемами, как притяжения и отталкивания между вступающими в контакт людьми, типы потомства у родителей, имеющих несовпадающие типы, и влияние этих факторов на отношения родителей и детей. Вопрос о том, может ли наследование таких личностных, в сущности эстетических компонентов языка иметь более широкое филогенетическое приложение, остается открытым.

Физик Нильс Бор неоднократно советовал биологам преодолеть страх перед «такими понятиями, как целеполагание, которые чужды

---

* 'что эти кривые являются самыми постоянными и вообще присущими мыслящим и действующим людям: по крайней мере мне после многолетних поисков не удалось выявить ни одного случая, когда индивидуум мог бы свободно владеть в своей деятельности более чем одной кривой Бекинга, пусть даже другие звуковые характеристики его речи весьма богаты и разнообразны. Не остается также сомнений в том, что кривая Бекинга принадлежит к врожденным свойствам индивидуума (как я установил на основании изучения поведения новорожденных) и что при их переходе от индивидуума к индивидууму общие законы наследования играют весьма значительную, хотя и не решающую роль. Именно этим объясняется то, что некоторым целым племенам или даже народам почти исключительно свойственна одна и та же кривая Бекинга'.

физике, но напрашиваются при описании органического мира». По его мнению, две научные позиции — механистическая и противоположная ей — «не являют собой два противоречащих друг другу взгляда на биологические проблемы, а скорее подчеркивают взаимоисключающий характер условий наблюдения, в равной степени необходимых для более глубокого описания жизни» (14, p. 100). Программная работа Розенблюта, Винера и Бигелоу о целеполагании и телеологии (147) с содержащейся в ней скрупулезной классификацией целенаправленного поведения стала, как отмечает Кэмпбелл (27, p. 5), «полезным введением» к его книге — и, можно добавить, ко многим другим важным исследованиям, касающимся эволюции жизни и особенно человека.

Дискуссия современных биологов о целеполагании представляет исключительный интерес для всех областей знания, связанных с функционированием организмов; полученные выводы могут стать основой общей модели средств и конечных целей, последовательное применение которой внесет вклад в решение таких проблем лингвистики, как назначение языка, саморегулируемое сохранение его общности и динамического равновесия (гомеостатика), а также языковые изменения (28, 44). Хотя в биологии порой все еще пользуются теми же словами и выражениями, которые были характерны для исторической лингвистики в ее доструктурный период — «слепые, случайные изменения», «случайные ошибки», «множащиеся ошибки»,— в ней уже завоевали право на существование такие кардинальные понятия, как «целеполагание», «антиципация», «инициатива и предвидение» (36, p. 239; 172, ch. 1). Уоллес и Срб считают традиционное уклонение от телеологической терминологии и от апелляций к цели устаревшим, поскольку соответствующие проблемы сейчас уже никто не соотносит с верой в élan vital (184, p. 109). По мнению Эмерсона, биологи вынуждены «признать существование направленности к будущим функциям у таких «доментальных» организмов, как растения или низшие животные». Он не видит необходимости «заключать слово *цель* в кавычки» (45, p. 207) и полагает, что «гомеостатика и выявление целей — это одна и та же вещь» (44, p. 162).

Создатели кибернетики считали понятия „телеология" и „цель, контролируемая обратной связью" синонимичными (147); такой подход развивался и в биологических исследованиях Уоддингтона (181; 182) и Шмальгаузена (168; 169). Как недавно отметил ведущий русский биолог нашего времени Н. А. Бернштейн, «многочисленные наблюдения и факты во всех областях биологии уже давно указывали на неоспоримую целесообразность устройств и процессов, присущих живым организмам. Эта целесообразность прямо бросалась в глаза как резкое, может быть, даже решающее отличие живых систем от каких бы то ни было объектов неживой природы... В применении к биологическим объектам к вопросам „как?" и „почему?", исчерпывающе достаточным в физике или химии, необходимо добавить еще третий, равноправный с ними вопрос „для чего?"» (9, p. 326). «И только введенные биокибернетикой понятия кода и кодированной предвос-

хищающей модели будущего указали на безупречно материалистический выход из этого кажущегося тупика» (9, р. 327). «Все наблюдения над становлением организма как в эмбрио- и онтогенезе, так и на филогенетической лестнице... показывают, что организм в развитии и действиях стремится к максимуму негэнтропии, еще совместимому для него с жизнеустойчивостью. Такая формулировка биологической „цели"... не требует никакой психологизации...» (9, р. 328). «Для правильного осмысления любого рефлекса или вида реакции привлечение к делу вопроса „для чего?" не только необходимо и неизбежно, но по своей биологической важности выдвигает этот вопрос на первое место» (9, р. 331). «Именно обнаружение возможности построения и комбинирования организмом материальных кодов, отображающих все бесчисленные формы активности и экстраполяции предстоящего, начиная с тропизмов и кончая наиболее сложными формами направленного воздействия на окружение, позволяет нам теперь говорить о целенаправленности, целеустремленности и т. д. любого организма, начиная, может быть, уже с протистов, нимало не рискуя соскользнуть к финализму» (9, р. 309).

Еще более решительно призвал к автономии науки о жизни известный гарвардский биолог Джордж Гейлорд Симпсон: «Физические науки справедливо исключили из своего круга телеологию — принцип, согласно которому цель определяет средства, результат связан в обратном направлении с причиной при помощи фактора намерения, и понятие полезности всегда находит свое объяснение» (162, р. 370). «Но в биологии не только допустимо, но и необходимо задаваться телеологическими вопросами, касающимися функции или полезности для живых организмов всего, что имеется и происходит в них» (162, р. 371). Симпсон постоянно подчеркивает, что «целевой аспект организма несомненен», а при попытках его опровержения «от биологии отбрасывается био» (161, р. 86). В ранней работе, посвященной пересмотру роли телеологии, Джонас Солк писал, что «живые системы требуют иных способов исследования, чем неживые системы; идея цели живых систем является не только релевантной, но и основной». Он поясняет, что «в самой природе организма заложена ориентация на те изменения, которые в нем происходят. Внутренняя природа организма влияет на степень и направление изменений, которые могут произойти; изменение, которое происходит, добавляется к другим, а все изменения, взятые в совокупности, представляются теми „причинами", к которым стремился организм в своем развитии, и слово „причина" в этом контексте приобретает философский смысл конечной цели» (152).

По аналогии с научной астрономией, которая пришла на смену спекулятивной астрологии, Питтендрай предложил заменить термин „телеология" на „телеономия", чтобы стала очевидной независимость «выявления и описания конечной целенаправленности» от аристотелевской метафизической догмы. Новый термин подчеркивает ту мысль, что все формы организации, которые являются характерными для жизни, «относительны и целенаправленны» и что любая случай-

ность — это «конверсия некоторой организации» (139, р. 394). Новый термин оказался удачным (190), и, по мнению Моно, «la Téléonomie, c'est le mot qu'on peut employer si, par pudeur objective, on préfère éviter „finalité". Cependant, «tout se passe» comme si les êtres vivants étaient structurés, organisés et conditionnés en vue d'une fin: la survie de l'individu, mais sur tout celle de l'espèce» * (125, р. 9). Моно описывает нервную систему как «наиболее продвинутую теленомическую структуру» и отваживается интерпретировать появление высших, принадлежащих исключительно человеку систем как следствие появления языка, который превратил биосферу в «новую сферу, ноосферу, область идей и сознания». Иначе говоря, «c'est le langage qui aurait créé l'homme, plutôt que l'homme le langage» ** (р. 23).

Если вопрос целенаправленности все еще остается дискуссионным в биологии, то при обращении к человеку, к его социальной жизни и институтам, и в особенности к его языку, все сомнения тут же отпадают. Последний, по меткому выражению МакКэя, «является телеологической и целенаправленной системой» (114, ср. 71). Устаревшее убеждение, что «целенаправленность логически не может быть источником языкового развития» (98, р. 378), искажает саму природу языка и целенаправленного человеческого поведения.

Суеверный страх перед моделью целеполагания, рецидивы которого все еще сказываются на некоторых лингвистах,— это последний пережиток бесплодных попыток сузить предмет лингвистики. Приведем в качестве характерного примера утверждение одного лингвиста, что «при обсуждении места человека в природе ментализм недопустим», поскольку «человек — это животное, подчиняющееся всем биологическим законам», и, наконец, что «единственно верной является позиция физикализма», поскольку «жизнь — это часть неорганического мира, подчиняющаяся всем законам физики» (69, р. 136; 67).

Квазибиологический уклон в лингвистике получает резкий отпор со стороны самих биологов. Относительно антиментализма биологи учат нас следующему: в эволюции человеческой природы «интеллект объединяет и направляет знания», это «целенаправленный ментальный процесс с опознанной ролью средств и целей» (65, р. 367). Что же касается анимализма, то генетик Добжанский называет экстравагантную позицию, согласно которой человек — это только животное, «образчиком „генетического" заблуждения». Критикуя всеобъемлющий биологизм, он напоминает нам, что «эволюцию человека нельзя считать чисто биологическим процессом, поскольку, кроме биологического компонента, следует в то же время принимать во внимание и культурный фактор» (41, р. 18). Обращаясь к упрощенному физикализму, можно отметить, что «в действительности организмам свой-

* 'Телеономия — это слово, которое можно использовать тогда, когда из-за законной неловкости мы избегаем термина „конечная цель". Однако «все на свете происходит» так, как если бы живые существа представляли собой структуры, организованные и устроенные в перспективе некоей конечной цели: выживание отдельного индивида и в особенности вида в целом'.

** 'скорее язык создал человека, чем человек — язык'.

ственны характеристики и процессы, которые отсутствуют у неорганических веществ и реакций» (162, р. 367). В то время как биология полностью осознала, что единицы наследственности являются дискретными, то есть несмешиваемыми, тот же лингвист, который привержен духу сужения предмета своей науки, осмеливается объяснять дискретные составляющие языкового кода посредством «явления смешения», считая такое объяснение «единственно (!) логически (!) возможным (!) способом» (69, р. 142).

Основной филогенетический вопрос лингвистики — происхождение языка,— который был осужден и запрещен доктриной младограмматиков, должен сейчас рассматриваться в совокупности с другими изменениями, ознаменовавшими переход от дочеловеческого существования к человеческому обществу. Подобное сопоставление может пролить свет и на вопросы относительной хронологии. Так, производились попытки выявления взаимосвязи между языком и изобразительным искусством (22; 143). По-видимому, способность изображения фигур имплицирует присутствие языка, и, следовательно, первые рисунки указывают на наличие голосовой щели с вероятностью terminus ante quem.

Более того, мы можем связать три универсальных достижения, принадлежащих исключительно человеку: 1) производство орудий для создания орудий; 2) появление фонологических элементов, выполняющих только различительную функцию, не имеющих собственного смысла, но используемых для построения единиц, которые имеют смысл, а именно — морфем и слов; 3) табуирование кровосмешения, которое убедительно интерпретируется антропологами (115; 188; 105; 151) как необходимое предварительное условие более широкого обмена брачными партнерами, в связи с чем расширяются родственные связи и, далее, возникают экономические, кооперативные и оборонительные содружества. Короче говоря, это последнее достижение делает возможным создание человеческих «сообществ, не ограничивающихся рамками семьи» (133). Именно данные три новшества способствовали формированию вспомогательных, вторичных средств, необходимых для образования человеческого общества с его материальной, языковой и духовной культурой. Эти вторичные средства сами по себе являются лишь промежуточными, и только появление совокупности всех трех названных выше достижений должно было стать решающим фактором при формировании человеческого интеллекта. Зачатки этих трех фундаментально сходных достижений должны были появиться в пределах одного палеонтологического периода, и древнейшие из найденных в раскопках образцов орудий, предназначенных для изготовления орудий (например, резцы — см. 129, р. 95), позволяют нам постулировать предположительное время возникновения языка. Членораздельная речь была необходима, в частности, для формулирования правил определения и запрещения кровосмешения, которые ознаменовали переход к экзогамии, что делает возможным дальнейшее уточнение хода эволюционного развития. Как указывают психологи, «подразделение брачных партнеров на дозволенных, благо-

приятных и запрещенных в связи с недопустимостью «кровосмешения» управляется системой наименований, которой может овладеть лишь существо, владеющее человеческим языком» (21, p. 75). Сходным образом можно предположить, что язык играл важную роль при развитии и распространении производства орудий.

Физиология речепроизводства, пройдя стадию частичных конкретных наблюдений, поднялась сейчас на уровень широких междисциплинарных обобщений. Поучительными примерами могут служить предпринятое Жинкиным всестороннее описание механизмов речи (195) и плодотворные эксперименты, проведенные прежде всего в лабораториях Ленинграда, Лос-Анджелеса, Лунда, Нью-Йорка, Праги, Санта-Барбары, Стокгольма, Токио и т. д. Фонетисты должны принимать во внимание и новую биомеханическую интерпретацию программируемых и контролируемых движений, которая была предложена Бернштейном и его коллегами (9). Исследование звуков речи как целенаправленных моторных команд и действий, особенно в связи с их воздействием на слух и их назначением в рамках всего языка, требует междисциплинарного объединения; всестороннее описание фонетики включает широкий круг проблем, начиная от биомеханических аспектов артикуляторных движений и кончая тонкостями чисто фонологического анализа. Как только подобное объединение будет достигнуто, анализ речи встанет на строгий научный фундамент и будет отвечать методологическому требованию «необходимости релятивистской инвариантности», предъявляемому ко всем областям современных исследований (14, p. 71).

В результате совместной работы нейробиологов и лингвистов по сравнительному анализу различных повреждений коры головного мозга и вызываемых ими типов афазии стало возможным глубокое проникновение в суть отношений между организмом человека и его языковой деятельностью. С помощью собственно лингвистического анализа шесть типов афазии, описанных Лурия (110) и другими современными нейробиологами (64), удалось свести к трем дихотомиям. В результате этого анализа построена модель последовательных и симметричных отношений; сравнение этой чисто лингвистической модели с аналитическими данными о месте мозгового повреждения выявляет тот факт, что повреждение определенного участка мозга связано с определенным типом афазии (84). Развитие междисциплинарного „нейролингвистического" сотрудничества в исследованиях афазии и речи душевнобольных (111; 42), несомненно, откроет новые перспективы как для изучения мозга и его функций, так и для науки о языке и других семиотических систем.

Новых результатов, касающихся биологической базы естественного языка, можно ожидать и от обобщения опыта, получаемого при операциях на мозге (см. 166). Сравнительное исследование афазии, с одной стороны, и аграфии и алексии, с другой, может пролить свет на отношения между устным и письменным языком; параллельный анализ расстройств речи и других нарушений в системах человече-

ской коммуникации, таких, как, например, нарушения системы жестикуляции, будет полезен для общей семиотики (84, р. 289).

До настоящего времени почти ничего не известно о внутренних механизмах языковой деятельности, в частности о нейрофизиологической основе производства и восприятия различительных признаков. Надо надеяться, что в ближайшем будущем нейробиология даст ответ на этот вопрос, который представляет особый интерес для понимания и дальнейшего исследования исходных единиц языка. С быстрым развитием физической акустики эти единицы получают все более точное описание; однако для проведения границ между инвариантами и вариантами нужны, во-первых, усилия лингвистов, равно осознающих как трудности выявления фонологических систем, так и их внутреннюю автономность, и, во-вторых, более систематические контакты между акустиками и лингвистами; результатом этого явится более полное и ясное представление об универсальных фонологических законах (82). Исследования такого рода особенно плодотворны, когда лингвистические данные непосредственно сопоставляются с психофизическими, как, например, в недавних экспериментах Йилмаза, выявивших базисную структурную однородность не только между гласными и согласными, но и между слуховым восприятием звуков речи и зрительным восприятием цветов (192).

Акустика является единственным разделом физики, который имеет общий предмет исследования с наукой о языке. Однако существенная переориентация как в физике, так и в лингвистике нашего века выдвинула на первый план ряд важных вопросов, которые оказались общими для этих двух наук и заслуживают того, чтобы стать предметом совместного обсуждения. Ф. де Соссюр все еще полагал, что «dans la plupart des domaines qui sont objets de science, la question des unités ne se pose même pas, elles sont données d'emblée» * (156, р. 23). В те времена лингвисты считали свою науку единственной дисциплиной, испытывающей трудности при постулировании своих элементарных единиц. Сегодня аналогичные проблемы встают во многих областях знания. Так, физика элементарных частиц сталкивается со спорным вопросом о том, следует ли считать «элементарные» частицы построенными из еще более мелких дискретных единиц, называемых „кварками"; общие принципы, выработанные в ходе подобных физических и лингвистических дискуссий, могут оказаться интересными и полезными также и для других областей.

Хотя тот факт, что взаимоотношения между объектом наблюдения и наблюдателем и зависимость полученной информации от позиции наблюдателя, то есть, вкратце, неотделимость объективного содержания от наблюдающего субъекта (14, рр. 30, 307), сейчас осознается как физиками, так и лингвистами, лингвистика все еще не сделала из него всех необходимых выводов; например, исследователи порой сталкиваются с трудностями, проистекающими из неразличения по-

---

* 'в большинстве областей, служащих предметом науки, вопрос о единицах даже не встает, они заданы изначально'.

зиций говорящего и слушающего. Возможность и желательность применения в лингвистике принципа дополнительности, предложенного Бором, подчеркивал его выдающийся соотечественник Вигго Брёндаль (19), однако это предложение все еще остается нереализованным. Можно привести еще много примеров общих теоретических и методологических проблем, таких, как понятия симметрии и асимметрии, которые приобретают все более важное значение как в лингвистике, так и в естественных науках, или вопросы „темпорального" или „морфемного" детерминизма и обратимости *vs.* необратимости изменений (83, р. 527, 652). Несколько важных вопросов, общих для наук о коммуникации и о термодинамике, в частности проблема соотношения информации и энтропии (18), открывают новые горизонты.

Основным результатом объединенного семинара физиков и лингвистов, который мы с Нильсом Бором провели около десяти лет назад в Массачусетском технологическом институте, был вывод о том, что противоположение точных наук, и особенно физики, лингвистике как науке, обладающей меньшей степенью точности, является поверхностным. На самом деле, в точных науках «наблюдение является, по существу, односторонним процессом» (14, р. 232); *информация*, полученная физиком из внешнего мира, состоит просто из односторонних «индексов», и при интерпретации данных опыта он навязывает этим индексам свой собственный символический код, то есть дополняет опыт «игрой воображения» (выступление Бриллюэна; 18, р. 21); в то же время языковой код действительно существует и функционирует в рамках языковой общности как необходимый и эффективный инструмент двустороннего процесса *интеркоммуникации*. Вследствие этого исследователь реалистического склада, который является и участником, и наблюдателем такого обмена коммуникативными сигналами, просто преобразует их в форму метаязыкового символического кода и тем самым может добиться более высокой степени правдоподобия при интерпретации рассматриваемого явления.

Итак, поскольку наука — это языковое представление опыта (70, р. 15), взаимодействие между имеющимися объектами и языковыми средствами их представления требует контроля над этими средствами, что является необходимой предпосылкой существования любой науки. Эта задача требует обращения к науке о языке, науку же о языке в свою очередь следует призвать к расширению границ ее аналитических операций.

III. СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

На первый взгляд кажется, что современная лингвистическая теория являет собой поразительное разнообразие противоречащих друг другу доктрин. Как и любой период новаторского экспериментирования, современная стадия лингвистических исследований отмечена интенсивной борьбой и страстными дискуссиями. И все же внима-

тельное, непредубежденное рассмотрение всех этих ограниченных доктрин и жарких споров выявляет общую основу, стоящую за бьющей в глаза пестротой терминов, лозунгов и технических средств. Используя противопоставление глубинной и поверхностной структуры, популярное в современной лингвистике, можно сказать, что большинство якобы непримиримых противоречий относится к поверхности нашей науки, тогда как ее глубинные основания на протяжении десятилетий сохраняют удивительное единство. Эта общность основополагающих тенденций производит особенно сильное впечатление по сравнению с существенной неоднородностью доктрин, характерной для некоторых более ранних этапов развития лингвистики, прежде всего в XIX в. и в первые годы XX в. Фактически большинство современных разногласий проистекает частично из-за несходства терминологии и исследовательского стиля, а частично из-за различий в выборе тех лингвистических проблем, которые данный ученый или данная научная школа считает самыми насущными и важными. Порой такое разграничение выливается в неоправданное сужение исследований и игнорирование тех, которые объявляются недостойными рассмотрения.

Сейчас в разных науках происходят сходные явления. Подобно тому как общая топология служит основой и задает направление для целого ряда математических исследований, разнообразие лингвистических подходов отражает лишь многообразие взаимно дополняющих аспектов. Этот взгляд приобретает все больше сторонников среди лингвистов. Так, Н. Хомский (1968) подчеркивает необходимость объединения двух основных лингвистических направлений, одно из которых «подняло на качественно новый уровень точность описания языка», а другое «занимается абстрактными обобщениями».

Исследование языковой структуры является основной задачей всех направлений современной лингвистики, а кардинальный принцип такого структурного (или, по другой терминологии, номотетического) подхода к языку, разделяемый всеми направлениями лингвистики, можно определить как сочетание инвариантности и относительности. Традиционная тенденция, названная Сепиром «приверженностью к абсолютизму», сейчас уже в значительной мере преодолена. Исследование языковой структуры требовало все более глубокого проникновения во внутренние связи и в сугубо относительный и иерархический характер всех составляющих этой структуры. Следующим необходимым шагом было единообразное описание общих законов, управляющих разными языковыми системами, а затем выявление взаимосвязей между этими законами. Итак, выявление и интерпретация языковой структуры в целом, или, иначе говоря, «стремление к объяснительной адекватности», было основной задачей сложившегося в период между мировыми войнами научного направления, которое было названо «структурной лингвистикой» и получило права гражданства в Праге в 1928—1929 гг.

Предпринимаемые иногда попытки неправомерного преувеличения разногласий между разными направлениями могут исказить действи-

тельное историческое развитие лингвистики, начиная с периода первой мировой войны по настоящее время. Так, дешевый миф о последовательных переворотах, якобы потрясавших в этот период науку о языке, совершенно произвольно приписывает некоторым фазам этого периода развития лингвистики те или иные стремления или идеи. Например, структурное направление общей лингвистики, оформившееся на международных съездах конца 20-х — начала 30-х гг., сейчас обвиняют в том, что оно якобы было оторвано от философии, тогда как на самом деле структурная лингвистика в разных странах имела в то время тесные и плодотворные связи с гуссерлианской и гегелевской феноменологией. В начале 20-х гг. в Московском лингвистическом кружке под руководством Густава Шпета, который был, по мнению Гуссерля, одним из наиболее талантливых его учеников, велись постоянные жаркие дискуссии об использовании в лингвистике Logische Untersuchungen *, а также о плодотворном предложении Гуссерля и Антона Марти вернуться к разработке «универсальной грамматики, которая была задумана рационалистами XVII—XVIII вв.» и предвосхищена средневековыми философами языка. Т. Г. Масарик и Марти, подобно их другу Гуссерлю вышедшие из школы Франца Брентано, оказали существенное влияние на Вилема Матезиуса. Впоследствии Матезиус основал Пражский лингвистический кружок, в котором нашли отклик как общие идеи Гуссерля, так и его замечательное личное обращение от 11 ноября 1935 г.— „Phänomenologie der Sprache“ **. Журнал Копенгагенского лингвистического кружка „Acta Linguistica“ был открыт в 1939 г. редакционной статьей Вигго Брёндаля, в которой структура языка рассматривалась «comme objet autonome et par conséqent comme non-dérivable des éléments dont elle n'est ni l'agrégat ni la somme; c'est pourquoi il faut considérer l'étude des systèmes possibles et de leur forme comme étant de la plus grande importance» ***. Существенно, что очерк, развивающий этот тезис, заканчивается указанием на «проникновенное исследование Гуссерля по феноменологии» как на источник концепции Брёндаля. Значительную роль в развитии феноменологии языка и теории структурной лингвистики сыграл Хендрик Пос (1898—1955), датский последователь Гуссерля.

Существенное место в формировании структурной лингвистики занимает феноменология и диалектика Гегеля. Примером этого могут служить исследования упомянутых выше групп и отдельных ученых. Эмиль Бенвенист в предисловии к книге „Origines de la formation des noms en indo-européen“ **** пишет: «De fait, on ne va guère au delà de la constatation. L'effort considérable et méritoire, qui a été employé à la description des formes, n'a été suivi d'aucune tentative sérieuse

* 'логических исследований'.

** „Феноменология языка“.

*** 'как автономный объект и, следовательно, как объект, не выводимый из составных частей, относительно которых он являлся бы совокупностью или суммой; именно поэтому следует обратить особое внимание на изучение возможных систем и их строение'.

**** „Происхождение образования имен в индоевропейском языке“.

pour les interpréter» *. Это предисловие заканчивается апелляцией к полезному гегелевскому принципу «Das Wahre ist das Ganze» **.

Добавим, что Николай Крушевский, который, возможно, в большей степени, чем все остальные лингвисты конца XIX в., заслужил право считаться провозвестником современной лингвистики, писал в 1882 г. Бодуэну де Куртене, что наряду с существующей наукой о языке следует основать новую, «более общую науку», которую он определил как «своего рода феноменологию языка». По его мнению, «основания этой науки следует искать в самом языке». Понятие феноменологии рассматривалось в книге молодого ученого Эдуарда фон Гартмана „Phänomenologie des Unbewussten" *** (1875), которая в историческом исследовании Шпигельберга названа «единственной вехой на пути от Гегеля к Гуссерлю». Еще до работы Гартмана Крушевский писал, что именно «бессознательный характер» языковых процессов заставляет его обращаться к логике языка и проблеме общих лингвистических законов. Хотя Крушевский и находил книгу Гартмана скучной, а его концепцию бессознательных процессов неудовлетворительной, некоторые положения главы этой книги, посвященной языку, пересекаются как с исследованиями самого Крушевского, так и с современной лингвистической теорией; особенно это касается положения Гартмана об универсальности ядерных грамматических категорий (Grundformen), которые он считал «unbewusste Schöpfung des Genius der Menschheit» ****, а также его комментариев к учению Гумбольдта о языке и мышлении. В свою очередь Крушевский подчеркивал (1883) «неизменную созидательную силу языка», подкрепляя свое мнение ссылками на Гумбольдта. В своем обращении ко Второму международному съезду лингвистов (1931) Матезиус назвал гумбольдтианскую лингвистическую концепцию существенной составной частью «функциональной и структурной лингвистики». Один из первых французских структуралистов, Люсьен Теньер, характеризуя Гумбольдта как «un esprit universel hautement cultivé et armé en particulier d'une culture scientifique approfondie» *****, в то же время осуждал младограмматическую школу, которая недооценивала подобную духовную высоту, отдавая предпочтение «un simple technicien de la grammaire comparée comme Bopp» ******. Таким образом, недавние обращения к Гумбольдту (Г. Рамишвили, Н. Хомский) просто усиливают ту тенденцию, которая и ранее прослеживалась в структурной лингвистике.

---

* 'Фактически никто не выходит за пределы простой констатации фактов. Не было предпринято ни одной серьезной попытки интерпретировать те формы, описанию которых уделялось столько внимания и усилий'.

** 'Истина есть целое'.

*** „Феноменология бессознательного".

**** 'бессознательным творением человеческого гения'.

***** 'универсальный ум, высокопросвещенный и обладающий, в частности, высокой научной культурой'.

****** 'непритязательным добросовестным исполнителям-компаративистам, таким, как Бопп'.

Легенда о «воинствующем антипсихологизме», который якобы был свойствен структурализму, основывается на недоразумении. Когда феноменологически ориентированные лингвисты выдвинули лозунг антипсихологизма, они использовали этот термин так же, как и Гуссерль, противопоставлявший модель новой феноменологической психологии, в которой основополагающая роль отводится понятию целенаправленности (intentionality), традиционному бихевиоризму и другим разновидностям психологии, изучающим соотношения стимула и реакции. Именно эта новая модель и выросшие на ее базе психологические исследования вызывали у лингвистов живой интерес и готовность к сотрудничеству.

Можно вспомнить точки пересечения в исследованиях Соссюра и Клапареда, плодотворные дискуссии Н. С. Трубецкого и Карла Бюлера, пристальный интерес западноевропейских и американских лингвистов к успехам гештальтпсихологии, а также полезное предупреждение двух американских исследователей в области соотношения языка и мышления Э. Сепира и Б. Л. Уорфа специалистам по гештальтпсихологии — совет «обходить» вопросы, связанные с языком, потому что у психологов «нет ни времени, ни достаточной лингвистической подготовки для проникновения в эту область», а также потому, что «их идеи и терминология, заимствованные из старой лабораторной психологии, пригодны скорее для предположений, чем для утверждений» (Уорф). Сходным образом Сепир, будучи убежденным в том, что лингвистика призвана сыграть особую роль в развитии психологии, все же считал, что «по-настоящему плодотворная интеграция лингвистических и психологических исследований возможна лишь в будущем», поскольку лингвистика является одной из наиболее сложных для психологов областей.

Единственным ответвлением современной лингвистики, которое можно считать антифилософским, антименталистским и антисемантическим, является так называемое механистическое направление американской лингвистики, которое было влиятельным в основном в сороковые годы, но сейчас почти полностью прекратило свое существование. Строгое ограничение проблематики, характерное для этого направления, можно трактовать, однако, как набор полезных узких экспериментов, никак не связанных с философским кредо экспериментализма. В любом случае, за исключением особенностей одной исследовательской группы, никак не связанной со всеми остальными группами современного лингвистического мира, анализ языковых структур является общим знаменателем всех лингвистических направлений нашей эпохи. И эта особенность четко противопоставляет лингвистику последних 40—50 лет основным направлениям исследований и задачам лингвистики предшествующего периода.

Конец XIX — начало XX в. характеризуется повышенным интересом к сравнительно-историческим исследованиям. Однако одновременно ученые-одиночки в разных странах подходят к структурному взгляду на язык. Кульминацией этих работ явился „Cours de linguistique générale" Фердинанда де Соссюра — посмертное издание курса

лекций, записанных его учениками Ш. Балли и А. Сеше. Пять последующих десятилетий стали свидетелями невиданного подъема и капитальной ревизии лингвистической науки, и самым наглядным способом демонстрации важнейших новшеств явилось бы их сравнение с отправной точкой новой эры в науке о языке — с концепцией Соссюра.

Большая часть фундаментальных теоретических понятий и принципов, предложенных Соссюром, была выдвинута ранее в работах его старших современников Бодуэна де Куртене и Крушевского. Однако в „Курсе" эти понятия представлены в более четкой и развернутой форме, и особо подчеркнуты такие факты, как взаимосвязь системы и ее составляющих, чисто относительный и оппозитивный характер языковых единиц и базисные антиномии, с которыми мы сталкиваемся при обращении к естественному языку. В то же время нельзя не сказать, что фактический анализ языковых систем остался задачей будущих исследователей, и именно выработка эффективных методов такого анализа становится важнейшим вопросом лингвистической теории и практики на протяжении целого ряда десятилетий.

Одним из важнейших достоинств „Курса" является постоянное пристальное внимание автора к противопоставлениям «qu'on rencontre dès qu'on cherche à faire la théorie de langage» *. Было важно понять, что цельность и единство лингвистики недостижимы, пока не обнаружены дихотомии языка. Следовало преодолеть то, что Гуссерль назвал «Halbheiten oder unzulässige Verabsolutierungen von nur relativ und abstraktiv berechtigten Einseitigkeiten» **, и существенной чертой послесоссюровской лингвистики явилось стремление выявить эти противопоставления.

В самом конце своей научной деятельности Соссюр принял концепцию стоиков о двустороннем языковом знаке, состоящем из воспринимаемого *signans* и понимаемого *signatum*. Он считал, что эти два элемента тесно связаны «et s'apellent l'un l'autre» ***, но связь между signans и signatum произвольна, и «вся система языка опирается на иррациональный принцип произвольности знака». Это положение было существенно пересмотрено, и попытка ограничить произвольность связи между двумя аспектами языкового знака с помощью относительных, грамматических обоснований оказалась неудовлетворительной. Существование внутренних, иконических связей между signans и signatum и в особенности тесных связей между грамматическими понятиями и их фонологической манифестацией заставляет усомниться в традиционном, соссюровском положении о «произвольности языкового знака». В послесоссюровской лингвистике проблема отношений между signans и signatum была распространена и на фонологиче-

---

* 'с которыми исследователь сталкивается, как только он пытается построить теорию языка'.

** 'половинчатыми решениями или недопустимой абсолютизацией лишь относительно и абстрактно обоснованных односторонних сущностей',

*** 'и ссылаются друг на друга'.

ский уровень языка, и внимание лингвистов привлекали вопросы, касающиеся как взаимодействий фонологического и грамматического уровней, так и их структурных аналогий.

«Линейность signans», провозглашенная Соссюром как очевидный фундаментальный принцип, который имел бесчисленные последствия для науки о языке, была подорвана расчленением фонем на совместно реализуемые компоненты («дифференциальные признаки»). Вместе с тем вопрос о последовательном порядке в структуре signatum вновь приобретает то же значение, какое он имел в классическую эпоху; это возрастающее внимание к иерархии непосредственных составляющих помогает преодолеть недостатки традиционного прямолинейного взгляда на эту структуру как на линейную последовательность. Замечания Соссюра о несущественности «субстанции», с помощью которой выражается языковая форма, и о произвольности отношений между формой и субстанцией были критически пересмотрены, в результате чего установлена иерархическая зависимость между первичной устной речью и ее письменными вариантами; выдвинуто требование исчерпывающего сравнительного исследования различных автономных свойств устного и письменного вариантов языка; выяснилось, что звуковые модели, используемые для смыслоразличения, базируются на семиотической селекции и адаптации к естественным возможностям человеческого произношения; предприняты попытки типологического анализа фонологических систем на строго реляционном фундаменте, на основе чего были выведены универсальные фонологические законы.

Соссюровская дихотомия langue — parole имеет такие аналогии, как предложенное Бодуэном де Куртене в 1870 г. противопоставление *язык* — *речь*, или, используя более современные и не столь неоднозначные термины, „код" (соссюровский code de la langue) — „сообщение" и, наконец, „компетенция" — „употребление".

Приведенные в одном и том же разделе книги Соссюра пояснения этого противопоставления допускают возможность двоякого толкования: «Sans doute, ces deux objets sont étroitement liés et se supposent l'un l'autre» *; но в то же время автор говорит о невозможности охвата речевой деятельности в целом («le tout global du langage»), настаивает на строгом разграничении исследований языка и речи и даже объявляет язык единственным объектом собственно лингвистики. Хотя такая ограниченная программа все еще находит последователей, на деле полное разделение двух этих аспектов превращается в признание двух иерархических отношений: анализ кода с должным вниманием к сообщению или наоборот. Без сопоставления кода с сообщением ни в коем случае нельзя проникнуть в творческую силу языка. Соссюровское определение *языка* (langue) как «la partie sociale du langage, extérieure à l'individu» ** — в противоположность *речи* (parole) как простого индивидуального акта — не рассматривает ни существова-

---

* 'Несомненно, оба эти объекта тесно связаны между собой и предполагают друг друга'.

** 'социальной части речевой деятельности, внешней по отношению к индивиду'.

ние персонального кода, благодаря которому исчезает разрозненный набор единичных речевых актов и появляется индивид, характеризуемый постоянством и единством личности, ни интерперсональную, социальную, взаимно адаптивную природу «circuit de la parole» *, которая предполагает участие по меньшей мере двух индивидов.

Единство кода, «в сущности одного и того же» для всех членов речевого сообщества, провозглашенное в „Курсе" и все еще иногда признаваемое,— не что иное, как фикция. Как правило, каждый индивид одновременно принадлежит к нескольким речевым сообществам с разными радиусами и свойствами. Любой общий код — это совокупность, составленная из иерархии различных подкодов, один из которых выбирает говорящий в соответствии с функцией сообщения, его адресатом и характером отношений между собеседниками. Подкоды позволяют передавать информацию с неодинаковой полнотой — от высокой эксплицитности до разных степеней эллиптичности. Когда одностороннее внимание к когнитивной, референтивной функции языка уступило место исследованию других, столь же важных языковых функций, проблема отношений между кодом и сообщением стала еще более тонкой и многогранной.

Язык, по Соссюру, «следует изучать сам по себе», и он «никогда не требует преднамеренного обдумывания» со стороны говорящего. Наблюдаемый в последнее время стремительный прогресс прикладной лингвистики, с такими ее областями, как языковое планирование и языковая политика, обучение языку, теория коммуникации и т. д., является естественным и правомерным ответвлением современной целенаправленной лингвистической мысли, но чужд соссюровскому взгляду на лингвистику и господствующей научной идеологии его времени.

Вслед за Крушевским Соссюр учил, что „генеративные" операции в языке связаны с двумя типами отношений: первое, опирающееся на селекцию, было названо им „ассоциативным", „интуитивным" или „парадигматическим", а второе, опирающееся на комбинацию,— „синтагматическим" или „дискурсивным". Термины „парадигматический" и „синтагматический" получили широкое распространение, однако интерпретация как самих этих понятий, так и отношений между ними претерпела существенные изменения. Согласно „Курсу" Ф. де Соссюра, членам парадигматического ряда несвойствен некоторый фиксированный порядок, «et c'est par un acte purement arbitraire que le grammairien les groupe d'une façon plutôt que d'une autre» **; в настоящее время на смену такому интуитивному подходу пришло более глубокое проникновение в стратификацию парадигм; парадигма задается с помощью набора корреляций между „маркированными" и „немаркированными" членами, или, согласно другой формулировке, между глубинными (ядерными) и поверхностными структурами.

---

* 'речевой цепи'.

** 'и лингвист совершенно произвольно группирует их именно этим, а не иным способом',

В концепции Соссюра синтаксис «rentre dans la syntagmatique» *, и в синтаксических структурах нельзя выделить четких границ между фактами langue и фактами parole. В современной лингвистике проведена четкая граница между структурой слова и структурой предложения; так называемая трансформационная грамматика может рассматриваться как удачное развитие идеи парадигматического анализа применительно к сфере синтаксиса. Система, объединяющая черты синтаксического и парадигматического анализа, оказалась применимой к обработке сверхфразовых единств и диалогов. Филологическая интерпретация целых текстов в значительной степени относится к сфере лингвистики, и разрыв между двумя науками, о котором говорил Соссюр, начинает сокращаться.

По мере расширения и углубления парадигматического анализа взаимосвязи между грамматическими «процессами» и «понятиями» (в трактовке Сепира) приобретают еще большее значение, и вновь и вновь подтверждается тот факт, что свойства разных грамматических уровней играют существенную роль в семантической интерпретации. Растущий интерес к разнообразным вопросам, связанным с контекстом, проливает новый свет на центральный, хотя и почти забытый вопрос лингвистической семантики — вопрос об отношении между контекстуальным и общим смыслом. Семантический анализ языка может многое почерпнуть из исследований метаязыковых сообщений, которым до последнего времени практически не уделялось внимания.

Различие между двумя лингвистическими дисциплинами — синхронической и диахронической лингвистикой — было четко описано и проиллюстрировано Бодуэном де Куртене в его работах последней трети XIX в. Под влиянием лекций Брентано по дескриптивной психологии, новой дисциплине, восполняющей пробелы традиционных исследований по генетической психологии, Марти и Масарик в середине 80-х годов XIX в. говорили о необходимости синхронического описания как о первой и основной лингвистической задаче, которая должна предшествовать диахроническим исследованиям. Согласно Соссюру, радикальная, внутренняя дихотомия синхронии и диахронии связана с особыми трудностями для лингвистики и требует полного размежевания двух аспектов: предметом исследования могут быть либо сосуществующие отношения внутри языковой системы «d'où toute intervention du temps est exclue» **, либо совокупность последовательных изменений одного языкового факта без обращения к системе языка. Другими словами, Соссюр предлагает новый, структурный подход к синхронии, но придерживается старых, антиструктурных младограмматических воззрений на историческую лингвистику. Ошибочное соссюровское отождествление двух дихотомий — синхрония *versus* диахрония и статика *versus* динамика — было отвергнуто послесоссюровской лингвистикой. Начало и конец каждого процесса языкового изменения относится также и к синхронии, соответствующие состоя-

---

* 'относится к сфере синтагматики'.

** 'с абстрагированием от временнóго фактора'.

ния принадлежат двум подкодам одного и того же языка. Таким образом, ни одно языковое изменение не может быть понято или проинтерпретировано безотносительно к системе языка, которая претерпевает это изменение, и к его последствиям в рамках этой системы; и наоборот, нельзя полно и адекватно описать язык без учета тех изменений, которые уже начались, но еще не завершились. Декларируемое Соссюром «запрещение одновременного исследования отношений во времени и отношений в системе» теряет свою силу. Выясняется, что языковые изменения относятся к динамической синхронии.

Современная диахроническая лингвистика изучает последовательность динамических синхронических состояний языка, сопоставляет их, выявляет эволюцию языка в рамках широкой исторической перспективы и обращает пристальное внимание не только на изменения в языковой системе, но и на ее постоянные, статические элементы. Внимание к системе языка и применение в диахроническом анализе принципов синхронического анализа позволили современной исторической лингвистике достигнуть впечатляющих результатов в области внутренней реконструкции. В то же время, концентрируя свое внимание на исторической стратификации языковых систем, исследователи обнаруживают высокую степень подобия этой стратификации синхроническим моделям языка. Современному лингвисту вряд ли следует руководствоваться положением, которое было весьма актуальным полвека назад, когда необходимо было очертить круг задач дескриптивной лингвистики: «L'opposition entre le diachronique et le synchronique éclate sur tous les points» *.

По мнению Соссюра, как только мы обращаемся к вопросу о пространственных отношениях между языковыми явлениями, мы покидаем „внутреннюю" лингвистику и переходим во „внешнюю" лингвистику. Однако развитие лингвистической географии, ареальной лингвистики и исследование общих черт в языках соседствующих народов — все это заставляет нас рассматривать пространственно-временную модель языковых соотношений как интегральную часть „идиосинхронической" системы, если воспользоваться новообразованным термином Соссюра. В результате напряженной полевой работы современных лингвистов стало понятно, что код, используемый любым носителем данного языка или диалекта, нельзя считать неизменным и однородным: он включает элементы разных подкодов, отражающие существующую в данном радиусе коммуникации вариативность. Стало еще более очевидным, что как в коде, так и в цепи сообщений постоянно взаимодействуют конформизм и нонконформизм (или, в терминологии Соссюра, force unifiante и force particulariste) — как в пространственном, так и во временном аспекте языка. Прослеживаемая в „Курсе" тенденция к изоляции двух этих аспектов была отвергнута в ходе последующего развития лингвистики; так, предлагаемое Соссюром разграничение источников (foyers) инновации и областей ее распространения оказалось неправомерным, поскольку любая инновация обретает

---

* 'Оппозиция диахронии и синхронии бросается в глаза, о чем бы ни шла речь'.

право на существование только в результате своего распространения во времени и пространстве.

В сравнительной лингвистике общие черты языков связываются с их родством. Но в настоящее время центр тяжести переносится на типологическое сравнение языков и на поиски упорядоченных законов, лежащих в основе этой типологии и регулирующих как функционирование языков мира, так и процессы их усвоения детьми. Эти универсальные законы ограничивают разнообразие языковых кодов подобно тому, как упорядоченные структурированные правила каждого языкового кода ограничивают разнообразие допустимых сообщений. На повестке дня стоят выявление, сопоставление и интерпретация этих двойных ограничений; и лингвистика находится на пороге выполнения своей центральной задачи, которую мудро предвидел Фердинанд де Соссюр: «найти те силы, которые постоянно и универсально действуют во всех языках».

ЛИТЕРАТУРА

1. „Actes du Premier Congrès de Linguistes, 10—15 avril 1928". Leiden, 1928.

2. Alexander R. D., Moore T. E. Studies on the acoustical behavior of seventeen-year cicadas.— „The Ohio Journal of Science", 1958, 58.

3. Alpert H. Emile Durkheim and Sociology. New York, 1939.

4. Altmann S. A. The structure of primate social communication.— In: Altmann S. A. (ed.). Social Communication among Primates, Chicago, 1967.

5. Arm D. L. (ed.). Journeys in Science. Albuquerque, 1967.

6. Beadle G., Beadle M. The Language of Life: an Introduction to the Science of Genetics. New York, 1966.

7. Becking G. Der musikalische Rhythmus als Erkenntnisquelle. Augsburg, 1928.

8. Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966, Chap. II, X.

9. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.

10. Bever T., Weksel W. (eds.). The Structure and Psychology of Language. New York, 1968.

11. Bloomfield L. Linguistic Aspects of Science. Chicago, 1939.

12. Blumenthal A. L. Early psycholinguistic research.— In: (10).

13. Bogatyrev P., Jakobson R. Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens.— In: „Donum Natalicium Schrijnen", Nijmegen — Utrecht, 1929.

14. Bohr N. Atomic Physics and Human Knowledge. New York, 1962.

15. Borel E. Leçons de la théorie des fonctions. Paris, 1914.

16. Braga G. Comunicazione e società. Milan, 1961.

17. Bright W. (ed.). Sociolinguistics. The Hague, 1966.

18. Brillouin L. Scientific Uncertainty and Information. New York — London, 1964.

19. Brõndal V. Essais de linguistique générale. Copenhagen, 1943.

20. Bronowski J. Human and animal languages.— In: „To Honor Roman Jakobson", The Hague — Paris, 1967.

21. Bruner J. S. Toward a Theory of Instruction. New York, 1968.

22. Б у б р и х Д. Несколько слов о потоке речи.— „Бюллетень ЛОИКФУН", 1930, 5.

23. B u c h l e r I. R., S e l b y H. A. A Formal Study of Myth. Austin, 1968.

24. B ü h l e r K. Sprachtheorie. Jena, 1934.

25. B u r k e K. The Rhetoric of Religion. Boston, 1961.

25a. B u t o r M. Les mots dans la peinture. Geneva, 1969.

26. C a l a m e - G r i a u l e G. Ethnologie et langage. Paris, 1965.

27. C a m p b e l l B. G. Human Evolution — an Introduction to Man's Adaptations. Chicago, 1967.

28. C a n n o n W. B. The Wisdom of the Body. New York, 1932.

29. C a p e l l A. Studies in Socio-Linguistics. The Hague, 1966.

30. C h o m s k y N. The formal nature of language.— In: L e n n e b e r g E. H. „Biological foundations of language", Appendix. New York, 1967.

31. C h o m s k y N. The general properties of language.— In: (123).

32. C h o m s k y N. On the notion „Rule of grammar".— In: (85). Русск. перевод— в кн.: „Новое в лингвистике", вып. 4. М., 1965, с. 34—65.

33. C l a r k B.F.C., M a r c k e r K. A. How proteins start.— „Scientific American", 1968, 218.

33a. C o a t e s W. A. Near-homonymy as a factor in language change.— „Language", 1968, 44.

34. C r i c k F.H.C. The genetic code.— „Scientific American", Oct., 1962, 211; Oct. 1966, 215.

35. C r i c k F.H.C. The recent excitement in the coding problem.— „Progress in Nucleic Acid Research", 1963, 1.

36. D a r l i n g t o n C. D. The Evolution of Genetic Systems. New York, 1958.

37. D a v i s M. (ed.). The Undecidable — Basic Papers on Undecidable Propositions, Unsolvable Problems, and Computable Functions. New York, 1965.

38. D e l a f r e s n a y e J. F. (ed.). Brain Mechanisms and Learning (a symposium organized by the Council for International Organizations of Medical Sciences). Oxford, 1961.

39. D e V o r e I. (ed.). Primate Behavior. New York, 1965.

40. D o b z h a n s k y T. Heredity and the Nature of Man. New York, 1964.

41. D o b z h a n s k y T. Mankind Evolving. New Haven (Conn.), 1962.

42. D u b o i s J., I r i g a r a y L., M a r c i e P., H é c a e n H. Pathologie du langage.— „Langages", 1967, 5.

42a. E d e n M. Inadequacies of neo-darwinian evolution as a scientific theory.— In: „The Wistar Symposium Monograph. 5", June, 1967.

43. E m e r s o n A. E. The evolution of behavior among social insects.— In: (145).

44. E m e r s o n A. E. Homeostasis and comparison of systems.— In: (57).

45. E m e r s o n A. E. The impact of Darwin on biology.— „Acta Biotheoretica", 1962, 15 (4).

46. E r v i n - T r i p p S. Sociolinguistics.— In: „Working Paper" No. 3. Language-Behavior Research Laboratory. Berkeley, 1967.

47. „Ethnoscience".— „Anthropological Linguistics", 1966, 7 (8).

48. F i s h m a n J. A. (ed.). Readings in the Sociology of Language. The Hague — Paris, 1968.

49. F r e e s e E. The difference between spontaneous and base-analogue induced mutations of phage T_4.— „Proceedings of the National Academy of Sciences", 1958, 35.

50. G a l a m b o s R. Changing concepts of the learning mechanism.— In: (38).

51. van G i n n e k e n. La biologie de la base d'articulation.— „Journal de Psychologie", 1933, 30.

52. G i n s b u r g S. The mathematical theory of context-free languages. New York, 1966. Русск. перевод: Г и н з б у р г С. Математическая теория контекстно-свободных языков. М., 1970.

53. G l a d w i n T., S t u r t e v a n t W. C. (eds.). Anthropology and Human Behavior. Washington, D. C., 1962.

54. G o d e l R. Les sources manuscrites du „Cours de linguistique générale" de F. de Saussure. Geneva — Paris, 1957.

55. G o o d y J., W a t t I. The consequences of literacy.— „Comparative Studies in Social History", 1963, 5.

56. G r e i m a s A. J. Le conte populaire russe — analyse fonctionnelle.— „International Journal of Slavic Linguistics and Poetics", 1965, 9.

57. G r i n k e r R. R. (ed.). Toward a Theory of Human Behavior. New York, 1967.

58. G u m p e r z J. J., H y m e s D. (eds.). Directions in Sociolinguistics. New York, 1967.

59. G u m p e r z J. J., H y m e s D. (eds.) The ethnography of communication.— „American Anthropologist", 1964, 66 (6, Part 2).

60. Г в о з д е в А. Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.

61. H a r r i s Z. S. Discourse Analysis. The Hague, 1963.

62. H a r r i s Z. S. Mathematical Structures of Language. New York, 1968.

63. H a u g e n E. Language Conflict and Language Planning. Cambridge (Mass.), 1966.

64. H é c a e n H. Brain mechanisms suggested by studies of parietal lobes.— См. (123).

65. H e r r i c k C. J. The Evolution of Human Nature. New York, 1956.

66. H j e l m s l e v L. Prolegomena to a Theory of Language. Madison, 1961. Русск. перевод: Е л ь м с л е в Л. Пролегомены к теории языка.— В кн.: „Новое в лингвистике", вып. 1, М., 1960, с. 264—389.

67. H o c k e t t C. F. Biophysics, linguistics, and the unity of science.— „American Scientist", 1948, 36.

68. H o c k e t t C. F. Grammar for the hearer.— In: (85). Русск. перевод — в кн.: „Новое в лингвистике", вып. 4. М., 1965, с. 139—166.

69. H o c k e t t C. F., A s c h e r R. The human revolution.— In: „Current Anthropology", 1964.

70. H u t t e n E. H. The Language of Modern Physics. London — New York, 1956.

71. H u x l e y J. S. Cultural process and evolution.— In: (145).

72. H y m e s D. H. Directions in (ethno-)linguistic theory.— „American Anthropologist", 1964, 66 (3, Part 2).

73. H y m e s D. H. The ethnography of speaking.— In: (53).

74. H y m e s D. H. Toward ethnographies of communication.— In: (59).

75. H y m e s D. H. (ed.). Language in Culture and Society. New York — Evanston — London, 1964.

76. И в а н о в А. И., Я к у б и н с к и й Л. П. Очерки по языку. Л., 1932.

77. J a c o b F. Genetics of the bacterial cell.— „Science", 1966, June 10, 152.

78. J a c o b F. Leçon inaugurale (faite le vendredi 7 mai 1965). Paris, Collège de France.

79. J a c o b F., J a k o b s o n R., L é v i - S t r a u s s C., H é r i t i e r P. L. Vivre et parler.— „Lettres françaises" 1221—1222, Feb. 1968.

80. J a k o b s o n R. Language in relation to other systems of communication.— In: „Linguaggi nella società e nella tecnica". Milano, 1970, p. 3—16. См. наст. сб.

81. J a k o b s o n R. Linguistics and poetics.— In: (158).

82. J a k o b s o n R. The role of phonic elements in speech perception.— „Zeitschrift für Phonetik", 1968, 121.

83. J a k o b s o n R. Selected Writings, vol. I. The Hague, 1962.

84. J a k o b s o n R. Selected Writings, vol. II. The Hague — Paris, 1970: „Toward a linguistic classification of aphasic impairments"; „Linguistic types of aphasia", p. 307—333. См. наст. сб., с. 287—299.

85. J a k o b s o n R. (ed.). Structure of language and its mathematical aspects. (American Mathematical Society, „Proceedings of Symposia in Applied Mathematics", 12), 1961.

86. K a i n z F. Psychologie der Sprache. I—IV. Stuttgart, 1954—1962.

87. K a p e r W. Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung erläutert im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses für Sprachliches. Groningen, 1959.

88. K o c h S. (ed.). Psychology: a Study of a Science. VI. New York, 1963.

89. К о р ш Ф. Е. Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877.

90. K r o e b e r A. L. (ed.). Anthropology Today. Chicago, 1953.

91. K r o e b e r A. L., K l u c k h o h n C. Culture.— „Papers of the Peabody Museum", 1952, 47 (1).

92. L a b o v W. The reflections of social processes in linguistic structures.— In: (48). Русск. перевод — в кн.: „Новое в лингвистике", вып. 7. М., 1975, с. 320—335.

93. L a b o v W. The Social Stratification of English in New York City. Washington, D. C., 1966.

94. L a c a n J. Ecrits. Paris, 1966: „Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse"; Index raisonné: „L'ordre symbolique".

95. L a n g e O. Wholes and Parts — a General Theory of System Behavior. Warsaw, 1962.

96. L e a c h E. Ritualization in man in relation to conceptual and social development.— „Philosophical Transactions of the Royal Society of London", 1967, 251.

97. L e a c h E. (ed.). The Structural Study of Myth and Totemism. London, 1967.

98. L e n n e b e r g E. H. Biological Foundations of Language. New York, 1967.

99. Л е о н т ь е в А. А. Психолингвистика. Л., 1967.

100. L é v i - S t r a u s s C. L'analyse morphologique des contes russes.— „International Journal of Slavic Linguistics and Poetics", 1960, 3.

101. L é v i - S t r a u s s C. Anthropologie structurale. Paris, 1958.

102. L é v i - S t r a u s s C. Mythologiques, I, II, III. Paris, 1964, 1967, 1968.

103. L é v i - S t r a u s s C. Social structure. Chap. XV, XVII.— In: (90), (101).

104. L é v i - S t r a u s s C. The story of Asdiwal.— In: (97).

105. L é v i - S t r a u s s C. Les structures élémentaires de la parenté. Paris, 1949.

106. L i e b e r s o n S. (ed.). Explorations in Sociolinguistics. The Hague, 1966.

107. Л я п у н о в А. А. О некоторых общих вопросах кибернетики.— В кн.: „Проблемы кибернетики", вып. 1, 1958.

108. L o c k e J. Essay concerning humane understanding. London, 1690.

109. L o u n s b u r y F. G. Linguistics and psychology.— In: (88).

110. L u r i a A. R. Human Brain and Psychological Processes. New York, 1966.

111. L u r i a A. R. Problems and facts in neurolinguistics.— „International Social Science Journal", 1967, 19 (1).

112. L w o f f A. Biological Order. Cambridge (Mass.)., 1965.

113. L y o n s J., W a l e s R. J. (eds.) Psycholinguistics Papers. Edinburgh, 1966.

114. M a c K a y D. M. Communication and meaning — a functional approach.— In: (128).

115. M a l i n o w s k i B. Culture.— In: „Encyclopedia of the Social Sciences", IV, 1931.
116. M a l s o n L. Les enfants sauvages. Mythe et réalité. Paris, 1964.
117. M a r c u s S. Introduction mathématique à la linguistique structurale. Paris, 1967.
118. M a r l e r P. Communication in monkeys and apes.— In: (39).
119. M a y r E. Animal Species and Evolution. Cambridge (Mass.), 1966.
120. M c N e i l l D. Developmental sociolinguistics.— In: (164).
121. M i l l e r G. A. Psycholinguistic approaches to the study of communication.— In: (5).
122. M i l l e r G. A. Some preliminaries to psycholinguistics.— „American Psychologist", 1965, 20.
123. M i l l i k a n C. H., D a r l e y F. L. (eds.). Brain Mechanisms Underlying Speech and Language. New York, 1967.
124. M o n o d J. From enzymatic adaptation to allosteric transitions.— „Science", 1966, 154.
125. M o n o d J. Leçon inaugurale faite le vendredi 3 novembre 1967. Paris, Collège de France.
126. M o w r e r O. H. The psychologist looks at language.— „American Psychologist", 1954, 9.
127. N a v i l l e A. Nouvelle classification des sciences. Étude philosophique. Paris, 1901, Chap. V.
128. N o r t h r o p F. S., L i v i n g s t o n e H. (eds.). Cross-cultural Understanding: Epistemology in Anthropology. New York, 1964.
129. O a k l e y K. P. Man the Tool-maker. Chicago, 1960.
130. O s g o o d C. E. Psycholinguistics.— In: (88).
131. O s g o o d C. E., S e b e o k T. A. Psycholinguistics. A Survey of Theory and Research Problems. Bloomington (Ind.), 1965.
132. O s o l s o b ě I. Ostension as the limit form of communication.— „Estetika", 1967, 4.
133. P a r s o n s T. The incest taboo in relation to social structure and the socialization of the child.— „British Journal of Sociology", 1954, 7.
134. P a r s o n s T. Sociological Theory and Modern Society. New York, 1967.
134a. P a r s o n s T. Systems analysis; social systems.— In: „International Encyclopedia of the Social Sciences". New York, 1968.
135. P e l c J. Funkcjonalne podejście do semiotyki logicznej języka naturalnego.— „Studia filosoficzne", 1967.
136. P e i r c e C. S. Collected papers, I—IV. Cambridge (Mass.), 1965.
137. P i a g e t J. La psychologie, les relations interdisciplinaires et le système des sciences.— Communication to the International Congress of Psychology held at Moscow, 1966.
138. P i l c h H., S c h u l t e - T i g g e s F., S e i l e r H., U n g e h e u e r G. Die Struktur formalisiester Sprachen. Darmstadt, 1965.
139. P i t t e n d r i g h C. S. Adaptation, natural selection, and behavior.— In: (145).
140. П о л и в а н о в Е. Д. За марксистское языкознание. М., 1931.
141. P o s t E. Absolutely unsolvable problems and relatively undecidable propositions.— In: (37).
142. П р о п п В. Морфология сказки. Л., 1928.
143. P u m p h r e y R. J. The origin of language.— „Acta Psychologica", 1953, 9.
144. Р а т н е р В. Линейная упорядоченность генетических сообщений.— В кн.: „Проблемы кибернетики", вып. 16, 1966.

145. Roe A., Simpson G. G. (eds.) Behavior and Evolution. New Haven, Yale Univ. Press, 1958, Chap. XVIII.

146. Rosenberg S. (ed.). Directions in Psycholinguistics. London, 1965.

147. Rosenblueth A., Wiener N., Bigelow J. Behavior, purpose and teleology.— „Philosophy of Science", 1943, 10.

148. Rossi-Landi F. Il linguaggio come lavoro e come mercato. Milan, 1968, Chap. II.

149. Rossi-Landi F. Note di semiotica.— „Nuova Corrente", 1967, 41.

150. Ruesch J., Kees W. Nonverbal Communication. Berkeley, 1961.

151. Sahlins M. D. The social life of monkeys, apes and primitive man.— In: (167).

152. Salk J. Human purpose — a biological necessity.— In: „Bulletin of the Phillips Exeter Academy", June, 1961.

153. Sapir E. Language. New York, 1921. Русск. перевод: Сепир Э. Язык. М., 1933.

154. Sapir E. Selected Writings. Berkeley — Los Angeles, 1963: „Language"; „Communication".

155. Sapir E. The status of linguistics as a science.— „Language", 1929, 5.

156. de Saussure F. Cours de linguistique générale. Paris, 1922. Русск. перевод: „Курс общей лингвистики".— В кн.: Ф. де Соссюр „Труды по языкознанию". М., 1977, с. 31—285.

157. Schleicher A. Die darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar, 1863.

158. Sebeok T. (ed.). Style in Language. New York, 1960.

159. Серебряный С. Д. Интерпретация формулы В. Я. Проппа.— В кн.: „Тезисы докладов второй летней школы по вторичным моделирующим системам", Тартуский Гос. Университет, Тарту, 1966.

160. Sievers E. Ziele und Wege der Schallanalyse.— In: „Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft — Festschrift für W. Streitberg", Heidelberg, 1924.

161. Simpson G. G. Biology and the nature of life.— „Science", 1962, 39.

162. Simpson G. G. The crisis in biology.— „American Scholar", 1967, 36.

163. Slama-Cazacu T. Introducere in psiholingvisticâ. Bucharest, 1968.

164. Smith F., Miller G. A. The Genesis of Language — a Psycholinguistic Approach. Cambridge (Mass.) — London, 1966.

165. Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968.

166. Sperry R. W., Gazzaniga M. S. Language following surgical disconnection of the hemispheres.— In: (123).

167. Spuhler J. N. (ed.). The Evolution of Man's Capacity for Culture. Detroit, 1959.

168. Шмальгаузен И. Что такое наследственная информация? — В кн.: „Проблемы кибернетики", вып. 16. М., 1966.

169. Шмальгаузен И. Эволюция в свете кибернетики.— В кн.: „Проблемы кибернетики", вып. 13. М., 1965.

170. Tauli V. Introduction to a Theory of Language Planning. Uppsala, 1968.

171. Thorpe W. H. Bird Song. Cambridge, 1961.

172. Thorpe W. H. Learning and Instinct in Animals. London, 1963.

173. Thorpe W. H. Some caracteristics of the early learning period in birds.— In: (38).

174. Trubetzkoy N. S. Grundzüge der Phonologie. Göttingen, 1962: „Autobiographische Notizen". Русск. перевод: Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.

175. T r u b e t z k o y N. S. Die phonologischen Grenzsignale.— In: „Proceedings of the 2nd International Congress of Phonetic Sciences", Cambridge, 1936.

176. U n g e h e u e r S. Language in the light of information theory.— „International Social Science Journal", 1967, 19.

177. У с п е н с к и й Б. А. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различения „говорящего" (адресанта) и „слушающего" (адресата).— In: „To Honor Roman Jakobson", III. The Hague — Paris, 1967.

178. V o e g e l i n C. F. A „testing frame" for language and culture.— „American Anthropologist", 1950.

179. В о л о ш и н о в В. Марксизм и философия языка. Л., 1929.

180. В ы г о т с к и й Л. С. Мышление и речь. М., 1956.

181. W a d d i n g t o n C. H. The nature of Life. London, 1961.

182. W a d d i n g t o n C. H. The Strategy of the Genes. London — New York, 1957.

183. W a i s m a n n F. Introduction to Mathematical Thinking: The Formation of Concepts in Modern Mathematics. New York, 1957.

184. W a l l a c e B., S r b A. M. Adaptation. Englewood Cliffs — (N. J.), 1964.

185. W a t s o n J. D. Molecular Biology of the Genes. New York — Amsterdam, 1965.

186. W e y l H. Symmetry. Princeton (N. J.), 1952.

187. W h i t e L. A. The Evolution of Culture. New York — Toronto —London, 1959: Chap. IV: „The transition from anthropoid society to human society".

188. W h i t e L. A. The Science of Culture. New York, 1949: „The definition and prohibition of incest".

189. W h o r f B. L. Language, Thought and Reality. New York, 1965.

190. W i l l i a m s G. C. Adaptation and Natural Selection. Princeton (N. J.), 1966.

191. Y a n o f s k y C. Gene structure and protein structure.— „Scientific American", May 1967, 216.

192. Y i l m a z H. A theory of speech perception, I—II.— „Bulletin of Mathematical Biophysics", 1967—1968, 29—30.

193. Ž i n k i n N. I. An application of the theory of algorithms to the study of animal speech.— In: „Acoustic Behaviour of Animals", Amsterdam, 1963.

194. Ж и н к и н Н. И. Исследования внутренней речи по методике центральных речевых помех.— „Известия Академии педагогических наук РСФСР", 1960, 113.

195. Ж и н к и н Н. И. Механизмы речи. М., 1958.

196. Ж и н к и н Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи.— „Вопросы языкознания", 1964, 6.

197. Ж и н к и н Н. И. Внутренние коды языка и внешние коды речи.— In: „To Honor Roman Jakobson", III. The Hague — Paris, 1967.

РОЛЬ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ЭКЗЕГЕЗЕ СЛОВА О ПЪЛКУ ИГОРЕВѢ *

Интерпретация литературных памятников Киевской Руси требует изощренного понимания древнерусской стилистики и семантики грамматических и словарных единиц и сочетаний, глубоко отличной от позднейших языковых норм. Эти памятники могут быть полностью освоены лишь на фоне могучего и своеобычного хозяйственного, политического и культурного подъема Руси на пороге истекающего тысячелетия.

„Слово о пълку Игоревѣ" да и вообще русская литература конца XII и начала XIII века особенно сложны: подобно русской классической прозе второй половины XIX века, это литература великого кризиса и о великом кризисе. Далее, „Слово" и другие произведения русского словесного искусства на рубеже XII и XIII веков являются характерными продуктами художественного направления, которое охватило в то время различные страны Европы; этот стиль — „trobar clus", „ornatus difficilis" — зиждется на многоплановом символизме и изобилует смелыми контрастами, прихотливостью пространственных и временных дигрессий, сокровенными намеками и загадками, сложной игрой тропов и фигур, нарочитым совмещением несродных жанров и источников. Например, „Слово" сочетает разнообразные элементы устной традиции с византийскими книжными мотивами.

Все эти компоненты „Слова", глубоко чуждые русскому обществу екатерининских времен, делали разбор и перевод, да и самое издание мусин-пушкинской рукописи непосильной задачей. К сожалению, многие промахи и ошибки первых переписчиков, переводчиков и комментаторов новонайденного памятника надолго вошли в научный обиход. Особенно в разбивке текста на слова и предложения, editio princeps продолжает тяготеть над исследователями „Слова", несмотря на признания первых редакторов в беспомощной отсебятине.

Поэтому насущной необходимостью была именно тщательная, кропотливая, строго филологическая критика текста. Она позволяет не только восстановить и понять работу писца XVI века, но даже в зна-

* Тезисы краковского университетского доклада 17 января 1958 года, опубликованные в бюллетене „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", № 24 (1960). Перепечатано в: „Roman Jakobson. Selected Writings", IV. The Hague — Paris: Mouton, 1966, p. 518—519.

чительной степени реконструировать первоначальный текст „Слова“ и шаг за шагом освобождает памятник от „темных мест“ и hapax'ов.

Параллельно с экзегезой „Слова“ ведется филологическая работа над т. н. „Задонщиной“, своего рода центоном, монтажом парафраз и буквальных цитат из „Слова“. Как проникновенно показал Д. С. Лихачев, „Задонщина“, сложенная вслед за Куликовской победой над „погаными“, была ликующей репликой на скорбное „Слово“ о победе „поганых“ над Игорем. Сравнительный анализ вариантов позволяет воссоздать первоначальный текст „Задонщины“ до ее просодического облика включительно. Реконструкция этого памятника оказывает существенную помощь при филологической критике „Слова“, а эта критика в свою очередь бросает новый свет на историю текста „Задонщины“.

Последняя была задумана и написана как вторая часть диптиха. Автор сам говорит во вступлении: «Сперва я списал „Жалость земли Русьскые“» (т. е. „Слово о полку Игореве“), «потом же я написал „Жалость и похвалу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его — князю Владимиру Андреевичу“» (т. е. „Задонщину“). Оба произведения явно переписывались вместе. Лишь так поддается объяснению наличие новых цитат не только из „Задонщины“, но и непосредственно из „Слова“ в отдельных, даже поздних вариантах „Сказания о Мамаевом побоище“. Из списков „Задонщины“ одни дошли до нас без ее начала, другие же были вклинены как отдельный эпизод в историю русской борьбы с татарами; поэтому в обоих случаях „Слово“, т.е. первая часть диптиха, отсутствует в сохранившихся рукописях.

УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ НАЧАЛО *

На протяжении десятилетий и особенно с конца 30-х годов я имел возможность наблюдать особенности письменной речи одного полиглота моего поколения. В заметках и заготовках для своих работ у него постоянно повторялось одно и то же бессознательное отклонение от принятого написания: а именно, он опускал первую букву слова независимо от его длины или состава, а также опускал первую цифру многозначного числа. В последнем случае начальная цифра легко забывалась, поэтому случалось, что такая запись, как 311, ошибочно воспринималась как одиннадцать, что и приводило пишущего к неверным вычислениям. Такие случаи, когда ускользало начало, имели место во всех языках с латинским письмом, которыми он пользовался,— в английском, французском, немецком, чешском и польском, а также и в русском с его отличным от латинского письмом — кириллицей. Эти аграфические злоключения, хотя и редкие, все же встречались в его письменной речи в таком количестве, что они требовали тщательного наблюдения и объяснения.

Осенью 1980 г. человек, о котором идет речь, перенес слабый удар, основным следствием которого было временное нарушение левого зрительного поля. Через несколько дней после госпитализации он уже был в состоянии вернуться к активной интеллектуальной деятельности, но появилась одна особенность, которая постоянно мешала ему читать. Терялась начальная буква некоторых слов; это создавало у читающего впечатление внезапных провалов в тексте, намеренно требующих специального заполнения с помощью его кратковременной памяти. Заполнение опущенного необходимо и возможно было либо потому, что из-за пропуска образовывались звуковые комбинации, не существующие в данном языке (например, превращение imbecile в mbecile в английском), либо звуковая модель используемого языка допускала образовавшуюся звуковую группу, которая оказывалась бессмысленной в предлагаемом контексте, или, наконец, правила моделирования давали возможность заполнить пропуск, но в этом случае возникала необходимость выбора из нескольких таких возмож-

* R. Jakobson. The evasive initial.— „Mémoires de la Société finno-ougrien". Helsinki, 1982, t. 181, p. 151—152. Настоящая заметка является последней напечатанной при жизни Р. Якобсона работой.—*Прим. ред.*

ностей (например, группе ong могли бы предшествовать l, r, s, t, g). Следует отметить, что пропуски происходили независимо от степени и характера искажения, возникавшего из-за них для читающего. Но, конечно, восстановление пропусков требовало от краткосрочной памяти напряжения разной степени.

Если, как в рассматриваемом случае, больной сам осознавал эту свою склонность к опусканию начала при чтении, ранее проявлявшаяся тенденция к пропуску начальных компонент на письме, как это ни странно, исчезала.

Правши составляют подавляющее большинство читающих и пишущих. В культурах, где читают и пишут слева направо, существует ярко выраженный параллелизм между подходом правши к тексту, с которым он имеет дело, и системами письма, организованными слева направо (изнутри — наружу). Опускание начала в читательском восприятии является в этом пучке связанных между собой процессов вполне объяснимой операцией эллиптического характера. И вот обнаружилось, что никакого опускания начала не было, когда описанному в этой заметке пациенту было предложено поупражняться в чтении древнееврейского текста.

РАБОТЫ Р. О. ЯКОБСОНА, ИЗДАННЫЕ В СССР В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Р. Якобсон. Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки.— В кн.: «Труды отдела древнерусской литературы» (АН СССР, Ин-т русской литературы). М.— Л., 1958, т. 14, с. 102—121.

Р. Якобсон. О соотношении между песенной и разговорной народной речью.— «Вопросы языкознания». М., 1962, № 3, с. 87—90.

Р. Якобсон. Морфологические наблюдения над славянским склонением. — В кн.: «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. 2. Проблемы славянского языкознания» (тезисы). М., 1962, с. 31—33.

Р. Якобсон (совместно с Г. М. Фантом и М. Халле). Введение в анализ речи.— В кн.: «Новое в лингвистике», вып. 2. М., 1962, с. 173—230.

Р. Якобсон (совместно с М. Халле). Фонология и ее отношение к фонетике.— В кн.: «Новое в лингвистике», вып. 2. М., 1962, с. 231—278.

Р. Якобсон. О латинизации международных телеграмм на русском языке.— «Вопросы языкознания». М., 1963, № 1, с. 111—113.

Р. Якобсон. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание.— В кн.: «Новое в лингвистике», вып. 3. М., 1963, с. 95—105.

Р. Якобсон. Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами.— В кн.: «Новое в лингвистике», вып. 4. М., 1965, с. 372—377.

Р. Якобсон. Итоги девятого конгресса лингвистов.— В кн.: «Новое в лингвистике», вып. 4. М., 1965, с. 576—588.

Р. Якобсон. Значение лингвистических универсалий для языкознания.— В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1965, с. 383—394.

Р. Якобсон. Лингвистика и теория связи.— В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1965, с. 435—444.

Р. Якобсон. Выступление на Первом Международном симпозиуме «Знак и система языка».— В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1965, с. 395—402.

Р. Якобсон. Да и нет в мимике.— В кн.: «Язык и человек». М., 1970, с. 284—289.

Р. Якобсон. В поисках сущности языка.— В кн.: «Сборник переводов по вопросам информационной теории и практики», № 16. М., 1970, с. 4—15. Перепечатано в кн.: «Семиотика». М., 1983, с. 102—117.

Р. Якобсон. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии.— В кн.: «VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук». Москва, 3—10 августа 1964. Т. 5. М., 1970, с. 608—619.

Р. Якобсон. Круговорот лингвистических терминов.— В кн.: «Фонетика. Фонология. Грамматика». М., 1971, с. 384—387.

Р. Якобсон. К вопросу о зрительных и слуховых знаках.— В кн.: «Семиотика и искусствометрия». М., 1972, с. 82—87.

Р. Якобсон. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: «Принципы типологического анализа языков различного строя». М., 1972, с. 95—113.

Р. Якобсон. Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии.— В кн.: «Принципы типологического анализа языков различного строя». М., 1972, с. 246—257.

Р. Якобсон. Слово и язык.— В кн.: «Мимохилвели. 6—9 (1969—1972)». Тбилиси, 1972, с. 540—552 (на груз. языке).

Р. Якобсон. Лингвистика и поэтика.— В кн.: «Структурализм: „за“ и „против“». М., 1975, с. 193—230.

Р. Якобсон (совместно с К. Леви-Строссом). «Кошки» Шарля Бодлера.— В кн.: «Структурализм: „за“ и „против“». М., 1975, с. 231—255.

Р. Якобсон. Русские отголоски древнечешских памятников о Людмиле.— В кн.: «Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции». М., 1976, с. 46—50.

Р. Якобсон. О лингвистических аспектах перевода.— В кн.: «Вопросы теории перевода». М., 1978, с. 16—24.

Р. Якобсон. К языковедческой проблематике сознания и бессознательного.— В кн.: «Бессознательное: природа, функция, методы исследования. 3. Познание. Общение. Личность» (тезисы). Тбилиси, 1979, с. 156—157.

Р. Якобсон. Древнеармянский ВАХАГН в свете сравнительной мифологии.— «Историко-филологический журнал». Ереван, 1982, № 4, с. 80—83.

Р. Якобсон. Поэзия грамматики и грамматика поэзии.— В кн.: «Семиотика». М., 1983, с. 462—482.

Р. Якобсон. Разбор тобольских стихов Радищева.— В кн.: «XVIII век. Сборник 7. Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры» (АН СССР, Ин-т русской литературы). М.— Л., 1966, с. 228—236.

Р. Якобсон. Композиция и космология плача Ярославны.— в кн.: «Труды отдела древнерусской литературы» (АН СССР, Ин-т русской литературы). М.— Л., 1969, т. 24, с. 32—34.

Р. Якобсон. Игра в аду у Пушкина и Хлебникова.— В кн.: «Сравнительное изучение литератур». Л., 1976, с. 35—37.

Р. Якобсон. Афазия как лингвистическая проблема.— В кн.: «Афазия и восстановительное обучение. Тексты». М., 1983, с. 138—142.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

По соображениям компактности в настоящем указателе отсутствует бо́льшая часть свободных словосочетаний типа *различительный признак*, *фонологическая значимость*, *морфологическая корреляция*, *грамматическая система* и т. п. Термины, входящие в состав этих словосочетаний, зафиксированы в соответствующих статьях указателя; так, всякое употребление Р. О. Якобсоном термина *различительный признак* фиксируется одновременно в вокабуле *различие* и в вокабуле *признак; речевая коммуникация* — одновременно в вокабулах *речь* и *коммуникация* и т. п.

Значительная часть синтаксических дериватов от каждого термина фиксируется в вокабуле этого термина. Так, вхождения прилагательного *акустический* зафиксированы в вокабуле *акустика*, *артикуляторный* — в вокабуле *артикуляция* и т. п. Глаголы фиксируются в вокабулах соответствующих отглагольных имен; например, любое вхождение глагола *понимать* фиксируется в вокабуле *понимание*, *воспринимать* — в вокабуле *восприятие*, *звучать* — в вокабуле *звук* и т. п.

Специально отметим несколько устойчивых (хотя и неидиоматичных) словосочетаний, вхождения которых подверглись разложению на вхождения составляющих их терминологических компонентов: *комбинаторный вариант* (= *комбинация* и *вариант*), *стилистический вариант* (= *стилистика* и *вариант*), *грамматическое значение* (= *грамматика* и *значение*), *грамматическая категория*, *грамматическая форма*, *дифференциальный элемент* (= *дифференциация* и *элемент*), *звуковые законы* (= *звук* и *законы*), *значимые элементы* (= *значимость* и *элемент*), *историческая фонология* (= *история* и *фонология*), *лексическое значение* (= *лексика* и *значение*), *морфологическая корреляция* (= *морфология* и *корреляция*), *речевые нарушения* (= *речь* и *нарушения*), *различительный признак* (= *различие* и *признак*), *различительный элемент* (= *различие* и *элемент*), *иктовое ударение* (= *икт* и *ударение*) и т. д. В особенности часто подвергались разложению на компоненты атрибутивные сочетания с терминами *система*, *структура*, *функция*, *единица*, *элемент*, *отношение*.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

При пользовании настоящим указателем следует учесть, что в нем зафиксированы не только вхождения фамилий, но также ссылки на тех авторов, работы которых упоминаются в списках литературы, в том числе ссылки, зашифрованные в настоящем издании цифрами (на стр. 287—300 и 369—420 наст. изд.). Поэтому, например, цифры страниц 376, 378, 383, 393, 406, 414, даваемые в статье указателя «Бенвенист Э.», означают, что на этих страницах есть ссылки на работы Э. Бенвениста (в частности, зашифрованные цифрой 8 по библиографическому списку (см. с. 414 настоящего издания).

СОДЕРЖАНИЕ

Р. Якобсон

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

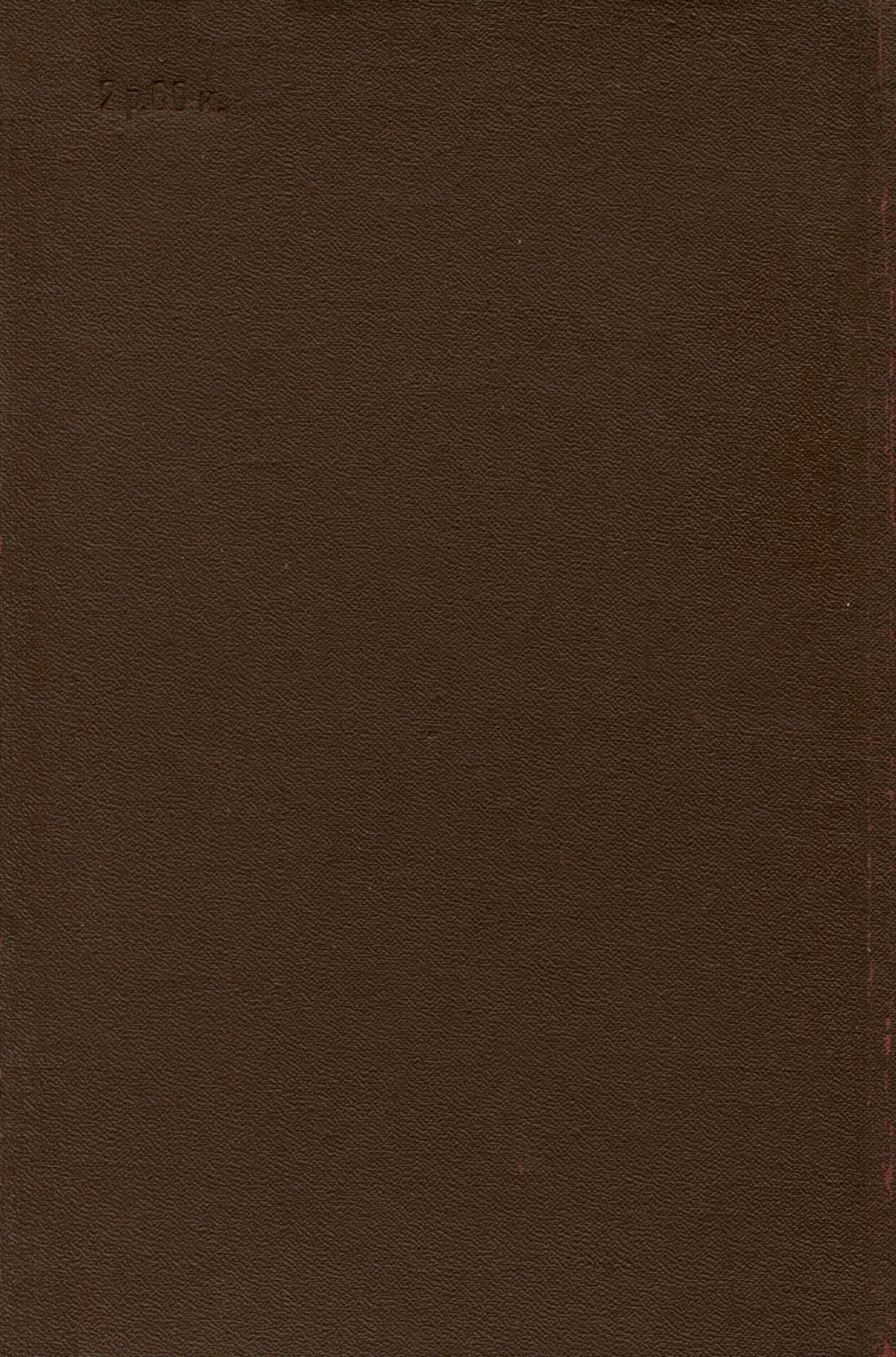
ИБ № 13585

Редактор *М. А. Оборина*
Художественный редактор *Ю. В. Булдаков*
Технический редактор *Е. В. Джиоева*
Корректор *Н. И. Мороз*

Сдано в набор 22.12.83. Подписано в печать 30.07.84. Формат 60Х90¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 28,5+0,1 печ. л. вклеек. Усл. кр.-отт. 28,6. Уч.-изд. л. 30,10. Тираж 6900 экз. Заказ № 457. Цена 2 р. 60 к. Изд. № 38664

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.


2 р. 60 к.